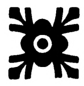
Вяч. Шишков

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в восьми томах



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том шестой

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ

Историческое повествование

Книга первая

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962

ЖЕНЕ И ДРУГУ

Клавдии Михайловне Шишковой

ПОСВЯЩАЮ

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ

Историческое повествование

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Казак Пугачев. Сражение при Гросс-Эггерсдорфе

1

Казак Емельян Пугачев родился в Зимовейской станице Войска Донского. Родители его жили в бедности, занимались хлебопашеством.

Емельян — парнишка озорной, любил драки, преотлично воровал на бахчах арбузы, лихо ездил без седла, умел попеть и поплясать. Отец его, Иван Пугач, да и старики станичники говорили ему:

— Ну, Омелька, казак из тебя добрый будет... Расти, брат! Турку бить пойдешь...

— Я в Запорожье утеку, в Сечу, — отвечал парнишка, поблескивая темными, большими, чуть раскосыми глазами.

До их станицы иным часом долетали кой-какие вести об удивительных воинственных людях, живущих по Днепру — на островах Хортице и Тамаковском, да по речке Подпильной.

Как-то в летнюю пору Емельян со сверстниками забрался на островок, что против их родной станицы.

— Запорожцы! — кричал он детворе. — Тут Запорожская Сеча будет у нас. Вали все добро в кучу. Оно общее. А я кошевой атаман Омелька Грозный...

Ежели кто украдет — того на раду, на суд, камень к ногам да в воду... Во как у нас!

Ребята складывали в кучу сухари, лепешки, яйца. Васька-сосед баклагу пива притащил, Ерошка — одноглазого живого петуха (привязали за ногу к тачке). У всех луки, стрелы, копья, деревянные сабли.

Гостила о ту пору в Зимовейской, у своей тетки, ледащенькая девчонка из соседней станицы Есауловской. Мальчишки и ее уманили с собой, хотя Омелька знал, что в настоящую Сечу бабам впуску нет.

Соньке он сделал снисхождение.

По приказу атамана она остригла ему овечьими ножницами голову, оставив только на темени клок волос — чуприну.

— Оселедец зовется, — пояснил Омелька Грозный. Он наклеил себе из конского хвоста запорожские усищи, взял в руку палку с воткнутым на конце зеленым яблоком. — Это по-казацки буздыхан зовется, булава. Кто меня не станет слушать, чалпан долой с плеч.

Одноглазый петух то и дело распевал ку-ка-ре-ку, а к вечеру, когда запорожцы проголодались, певуну оттяпали голову, ощипали его. Костер горел ярко, от котла с петухом вкусный пар валил. Запорожцы наелись, стали пить пиво. Хотя пива было маловато, но все, по казацким обычаям, притворились пьяными, ходили по острову в обнимку, пели песни.

Ванька дернул Соньку за косичку. Сонька закричала, смазала Ваньку ложкой по щеке, тот заплакал и дважды ударил девчонку кулаком в нос. Девчонка замотала головой и тоже заплакала.

Из кустов выскочил атаман Грозный.

— Эге-ге... Соньку забижать? Ладно... — Он созвал всех на раду, в круг, взял булаву с объеденным кем-то яблоком.

Ванька присужден был к розгам. Спустили с него штаны и дали дерку.

— Плакать не моги, а то камень к ногам да в воду...

Сонька торжествовала. С умилением она посматривала на длинноусого запорожца, защитника своего, атамана Грозного.

— Сеча, спать! — приказал Емельян. — А чуть тревога, все вскакивать. Сей ночи будем брать в полон Царьград с турецким султаном. А встретятся молоденькие туркини — тоже хватай в нашу Сечу. На хорошеньких поженимся...

Сонька сразу сникла и надулась. Исподлобья посматривая на Емельку, она сказала:

— Дурак стриженый. Баран! Вот ужо-ужо матке скажу, она те вздует... И про петуха скажу.

— Геть, замолчь! — прикрикнул атаман, закурил батькину с тютюном люльку, заплевался, закашлялся. — Ну, старики станишники, — обратился он к детворе, — теперь по своим куреням и спать.

Ночью раздалась тревога: Сонька со всех сил колотила палкой в котел, Емельян свистал и гикал:

— Гей, Сеча!.. Все на-конь... В поход, куренные атаманы-молодцы! Постоим за веру православную! Айда Царьград воевать.

Через час они уже были на бахче. Им удалось связать пасечника, древнего дедку Наума. Он был сильно пьян, таращил глаза на свору ребятишек, мычал, плевался. Омелька Грозный командовал:

— Хорошень вяжи султана!.. Стой за правую веру! Срезай кавуны, которые поядреней.

А утром всю «запорожскую сечу» больно пересекли вицами родители. Омельке Грозному досталась особо жаркая парёха: и за несусветное озорство, и за стриженую, как у худой овцы, башку. Попало и Соньке от тетки ее.

Через десять лет девчонка выросла. Возмужал и Емельян. Их поженили. С той поры Сонька стала Софьей Дмитриевной Пугачевой.

Но прошла веселая неделя, и сердце Софьи из жарких ночей упало прямо в ледяную стужу: Емельяна угнали в Пруссию, отдав под начало полковника Ильи Денисова, походного атамана донских полков.

2

Русское воинство под водительством главнокомандующего, старого графа Апраксина, покинув Польшу, с весны 1757 года, отряд за отрядом, стало вступать в пределы Пруссии. Телеги, арбы, таратайки растянулись на многие версты (во всей армии было до тридцати тысяч подвод).

Проехав Польшу с грязнейшими дорогами и бедным населением, Емельян Пугачев приметил, что пошли места, совсем отменные от польских. Теперь попадались чистые, хорошо построенные селения, мощенные камнем, обсаженные деревьями добрые дороги, прочные мосты. Всюду исправный порядок, довольство. Жители не бежали от русских, а сидели в своих домах: женщины выносили солдатам свежую воду, квас, а иногда и хлеб да парочку яичек. Словом, русское войско двигалось как будто по дружеской стране. Пугачева это удивляло.

Он не понимал, как не понимало и большинство солдат, из-за чего идет война. Правда, в праздничные дни, когда служили в походных церквах обедни, полковые священники в проповедях призывали проливать кровь свою и вражью во имя божие, обещая царство небесное за доблестную смерть на поле брани. А за что проливать кровь — об этом проповедники помалкивали. Начальство тоже пыталось иногда объяснить, раздавало манифесты, царицыны разные указы, но толку было мало. Пугачев спрашивал хорунжих, есаулов, те в один голос отвечали: «По указу ее императорского величества государыни Елизаветы».

Семилетняя война имеет свою, довольно сложную историю. Она была продолжением войны за так называемое «австрийское наследство»[1]. Король прусский Фридрих II, одаренный стратег, был политиком ловким, лишенным совести и благопристойности. Он, не стесняясь, говорил:

— Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно силы, — занимайте ее немедленно.

---

[1] 1740—1748 гг.

Как только вы это сделаете, вы всегда найдете достаточное количество юристов, которые докажут, что вы имели все права на занятую территорию.

Руководствуясь этим правилом, он возмечтал захватить часть земель своей союзницы Австрии, где была королевой Мария-Терезия.

Перед началом войны Фридрих был союзником Франции и врагом Англии, находившейся в жестокой колониальной войне с Францией. В то же время Россия состояла в давнишнем дружественном союзе с Австрией и в деловом договорном соглашении с Англией. Но воинственный Фридрих разом разрушил политическое равновесие Европы, существовавшее десятки лет. И вышло так, что путем интриг и темных комбинаций союзница России — Англия, к немалому возмущению русского двора, перешла на сторону своего старого врага — Пруссии, а Франция, оскорбленная вероломством своего бывшего союзника Фридриха, переметнувшегося на сторону Англии, объявила себя защитницей Австрии. Россия, опасаясь захватнической политики Фридриха II, высказала свое непреклонное намерение оставаться верной своей союзнице — Австрии.

Таким образом, нарушив свои прежние взаимоотношения, европейские державы разбились на два враждующих лагеря: против Пруссии и Англии оказались три великих державы — Россия, Франция, Австрия. А вскоре к ним примкнула еще и Швеция.

Фридрих II никак не ожидал, что Россия ввяжется в эту войну. Правда, он был невысокого мнения о русской армии. «Москвитяне суть дикие орды, — говорил король, — они никак не могут сопротивляться моим благоустроенным войскам».

Тем не менее, видя перед собой столь грозную коалицию, он несколько опешил.

Он имел под ружьем двести тысяч войска — против него шло триста. Однако надежда была на то, что, пока русский медведь соберется с силами и выползет из своей берлоги, он, Фридрих, успеет по отдельности разгромить своих врагов. Чтоб ослабить русских, он мечтал поднять против них турок и устроить

в Петербурге дворцовый переворот. Но Турция, не подготовленная к войне, наотрез отказалась ссориться с Россией. В перспективе оставался Петербург.

Фридрих знал, что русская императрица Елизавета к нему издавна питает отвращение, зато был почти уверен, что великий князь, голштинец Петр, считавший себя вечным подмастерьем Фридриха, окажет ему помощь. С женой Петра — Екатериной, немкой по природе, пожалуй, тоже можно варить пиво. Если в ней расщекотать тщеславие, если обольстить ее призраком короны, она может оказаться в числе его клевретов. Да, да, он опутает Россию сетью всяческих интриг и затем на поле брани поставит эту державу на колени!

Итак, подкуп, интриги, шпионаж — вот верные союзники Фридриха II.

В это время при русском дворе состоял в качестве английского посланника молодой, образованный, энергичный и ловкий сэр Уильямс. Он сразу же стал агентом Фридриха и, тонко маскируясь, начал действовать во вред российским интересам.

3

Уже стоял конец июня, но погода все еще холодная, трава чуть-чуть пробивалась, свежего корма лошадям не было, покупали овес и сено. Поэтому кавалерийские отряды часто посылались за фуражом по окрестным селениям и поместьям, платили за фураж наличными, все шло как не надо лучше.

Но вскорости случилась пренеприятная оказия. Был выслан на разведку отряд в полтысячи сабель драгунского полка, чугуевских и донских казаков. Отрядом командовал легкомысленный французик Де ла Рю. Проехав два десятка миль и не видя неприятеля, майор заключил, что неприятель сидит еще очень далеко, где-то у черта на куличках. В деревне Кумелен он вольготно расположился с отрядом на бивак, стал гулять и пить, а глядя на него, стал бражничать и весь его отряд.

Вдруг — тревога: «Неприятель, неприятель!» Бражники носились по деревне, ловили коней, кричали. Пьяный майор, раскачиваясь в седле, мчался вдоль улицы, махал саблей, орал пронзительно: «За деревню! Стройся... Сабли вон!..»

И не успели еще драгуны как следует построиться, как увидали мчащихся на них желтых и черных прусских гусар. Казаки с флангов ударили на неприятеля, стараясь превеликим гиканьем и криком устрашить врага. Но прусские гусары не робкого десятка — они дали казакам два хороших, из пистолетов, залпа, казаки повернули коней и врассыпную — наутек, а гусары устремились прямо на русских драгун. Те опрометью, без выстрела, поскакали по полям. Неприятель, «сидя на плечах» драгун, гнал их через две деревни, пока с русской стороны не подоспел сикурс. Наших убито было шестьдесят человек, двадцать шесть захвачено в плен, у неприятеля оказалась сраженною одна лошадь.

Восемнадцатилетний Емельян Пугачев получил в этой стычке первую боевую закалку. Красный, чубастый, весь как кипяток, он кричал на своих: «Так-то вы, дьяволы, воюете?!» Свои посылали его к черту, трясли бородами, обзывали «щенячьей лапой».

Постыдное бегство наших произвело на армию угнетающее впечатление: стало быть, враг силен, а мы слабы. Фельдмаршал, рассвирепев, разжаловал майора Де ла Рю в солдаты, а вахмистра его команды Дрябова, отличившегося храбростью, произвел в поручики.

Вскоре через понтонные мосты были переброшены из-за реки Прегель и остальные части армии вместе с главной квартирой фельдмаршала Апраксина. Пучеглазый, внушительного телосложения, тучный и обрюзгший, фельдмаршал ехал в богатом, с графскими гербами, экипаже вместе с двумя собачонками — кудлатой и облезшей, за ним на двадцати пяти трехконных рыдванах следовало его личное имущество и штат прислуги — повара, лакеи, камердинеры, два

куафера, негр, священник и портной, везли походную церковь, несколько палаток, кухню, погреб вин. Было похоже, что это передвигается не главный полководец, которому вверено стотысячное воинство, а знатный вельможа совершает от безделья пышное путешествие по европейским странам. Глядя на эту обременительную для армии канитель, солдаты горестно шептались у костров.

На последнем апраксинском возу, набитом ящиками с бакалеей и всяческими сладостями, сидел юркий, плутоватый человек, лакей не лакей, а доверенный Апраксина — некий Барышников, держал золотую клетку с попугаем.

Пугачев тут как тут, трясется на лошаденке рядом с возом и все посматривает на невиданную птицу, все посматривает. Птица серая, нос крючком, на голове красный хохолок, а на клетке золоченая княжеская корона. А попугай молчал-молчал, да и прогнусил казаку по-человечьи:

— Здравия желаю, ваше величество!

Пугачев, вытаращив глаза, скакнул с лошаденкой в сторону, схватился за шапку.

— Вот это птаха, — сказал он, оправившись, и вновь подъехал к возу. — Дядька, а как твоя птаха зовется?

— Попугай!

— А пошто ж ее пугать!

— Бестолочь! Название у ей такое — попугай. А ты кто и по какой причине здесь околачиваешься?

— Нам приказано господину фельдмаршалу палатку ставить...

В это время попугай отчетливо залопотал:

— Пушка, пушка... Баталия.

У Пугачева зашевелились на затылке волосы, он мысленно перекрестился и подумал: «Ну и чертова птичка... Не иначе — оборотень».

Хмурым взором он окинул растянувшийся на версту фельдмаршальский обоз, взглянул на пару жирных окороков, висевших на перекладине последнего воза, ему страшно захотелось есть, а брюхо его

с непривычки болело от незнаемой в России картошки... Он запальчиво крикнул Барышникову:

— А вы, должно, с графом на свадьбу к Фридриху собрались. Гляди, он вас женит! — и, стегнув лошаденку, помчался с дороги в лес.

На днях был занят без боя чистенький городок Гумбинен и несколько селений. В конце июля произошла вторая стычка казаков с отрядом неприятеля. На этот раз казаки опрокинули пруссаков и загнали их в болото. Пугачев впервые окровавил тут свою саблю, был этим счастлив, чувствовал себя, как под хмельком. Да и вся армия приободрилась: стало быть, пруссаки тоже умеют казать спины.

4

Время проходило в мелких стычках. Войска двигались в боевом порядке, всяк находился в своей части, и Пугачеву нельзя было слоняться где попало.

В середине августа войска снова переправились через реку Прегель, вышли на Гросс-Эггерсдорфское поле. Вся русская армия расположилась на прекрасном, хорошо укрепленном природою месте. Так по крайней мере казалось военачальникам.

Место это представляло собой возвышенную равнину, версты две длиной, около версты шириной. Сзади — с обрывистыми и крутыми берегами река, ограждающая тыл армии, впереди — неширокая, в полторы версты, полоса непролазного леса, подошедшего справа к самой реке, а с четвертой стороны, слева, — огромный и глубокий буерак. Из этого места было лишь два выхода: справа — небольшая прогалина между лесом и рекой, слева — проход в четверть версты между лесом и буераком. Стотысячная армия расположилась тылом к реке, фронтом к лесу, а за полосой леса простиралось обширное Гросс-Эггерсдорфское поле.

О неприятеле ни слуху ни духу. Как будто его и нет. Разбив палатки, армия проводила время в праздности.

Но Пугачев не дремал, для него безделье хуже смерти. Он еще в Польше познакомился со старым бомбардиром Павлом Носовым. Пожилой, но крепкий еще вояка полюбил веселого и дотошного казака, который о всем любопытствовал: как устроена пушка, как ее наводят, как из нее палят. Да не только о всем этом любопытствовал, а и выказал тут же на глазах бомбардира большую в обращении с орудием сметливость.

Вот и теперь — вдвоем сидели они возле потухшего костра. Емельян подтачивал прорезь в пушечном запале, пел донские песни, старик чинил штаны. Только что выстиранные подштанники бомбардира сушились на шесте; голые ноги его волосаты, тощи, в левой икре выхвачен осколком гранаты кусок мускула, давнишняя рана затянута синеватой кожей.

— Конешно, место доброе, борониться можно, — сказал Носов, — только командиры наши не вовсе хороши... Надо бы чрез лес дороги ладить к полю, а мы вот с тобой, Омелька, песни поем.

— Да, — ответил Емельян. — Ежели поднапрут на нас со всех сторон, нам и податься некуда...

— Напереть не напрут, — возразил старик, раскуривая трубку, — а выходы отсюдова тесноваты, с обозом каша будет.

Пугачев подумал, большеглазо посмотрел в сторону реки, сказал:

— И на кой прах все обозы сюда постащили. Я бы их оставил за рекой, а через реку мосты навел бы, лесу-то много здесь.

Под пегими усами старика растеклась приятная улыбка, он прищурился на парня, тряхнул головой, ласково сказал:

— Башка у тебя варит... Дело говоришь. Тебе бы, Омелька, ахвицером быть... Только вот темный ты, навроде меня: читать-писать не смыслишь.

— К грамоте у меня сердце не больно лежит, дядя Павел. Я воевать люблю. Пошто мне грамота? Вот, сказывают, солдата Дрябова и без грамоты в офицеры произвели. Чуешь?

— Дрябов не солдат, а вахмистр был.

— Все едино, что хлеб, что мякина. Не барин же! Вот и я добьюсь. Душа из меня вон, добьюсь!..

— Бахвал ты, — так же ласково забрюзжал старик, вдевая в иглу провощенную нитку. — У тебя, чтоб быть ахвицером, кишка тонка. Это дело господское... А мы с тобой, Омелька, в подлом сословии родились. Голытьба мы.

Емельян перестал мурлыкать песню, отложил в сторону напильник.

— Это какое такое подлое сословие? — спросил он сквозь зубы и покосился на изрытое морщинами лицо бомбардира.

Тот стал, кряхтя, надевать штаны.

— Мы подлого званья с тобой, Омелька. Голытьба! И вся солдатня наша подлого званья... Не люди мы.

— А кто же? — вскричал Пугачев и ударил себя в грудь.

Прогудел вдали пушечный выстрел, за ним другой — поближе. Никто не обратил на них внимания. Но вот ударили еще три выстрела. В армии поднялась тревога. По плацдарму уже носились на лошадях адъютанты с ординарцами, кричали:

— Выходи в строй!.. Выводи полки перед фрунт. Шевели-и-ись...

Люди бросали все, чем занимались, выскакивали из палаток, седлали лошадей, хватали ружья, надевали амуницию, бежали каждый к месту своего полка, строились в ряды. Повсюду негромкий шум, звяк оружия, беготня, понуждение от начальства. Очень быстро боевые полки были на своих местах, ожидая повеления, куда идти. И уже всем мерещился за лесом неприятель. Большинство солдат еще ни разу не бывало в деле. Всех прохватывал внутренний холодок, в острых образах рисовалась первая встреча с врагом, кровавый бой.

Заиграла музыка, развернулись знамена, полки с великой поспешностью были выведены за лес, на

просторное Эггерсдорфское поле. А там — что за притча? — неприятеля нет и в помине, поле чисто, вдали лес чернел, и хоть бы один человек попался на глаза. Пусто.

Простояли до вечера, сожгли деревню и церемониальным маршем возвратились в лагерь. О неприятеле опять забыли думать. Офицеры играли в карты, пили вино, шутили; генерал-майор Хомяков в двадцатый раз перебирал свою коллекцию тростей; фельдмаршал Апраксин за обедом объелся жареным поросенком с кашей, ему дважды ставили клизму; казаки пели и плясали; солдаты стирали в реке, искали друг у друга в головах, собирали грибы в лесу.

Ночь прошла благополучно. Поутру били не генеральный марш, а зорю, — значит, и сей день армия будет в спокойствии стоять на месте.

Однако после полудня, когда армия обедала, стукнул выстрел вестовой пушки. В это время бомбардир Носов снял с тагана котелок похлебки из баранины, а Пугачев вытащил из-за голенища деревянную ложку.

— Ого, — сказал старик, — тревога! Пожалуй, и пожрать не дадут.

— Наматывай!..

Оба, обжигаясь, принялись хлебать. Ударил второй выстрел. В армии началось легкое движение. Пугачев поймал кусок баранины и по-волчьи проворно рвал его зубами.

Ударил третий выстрел. Тогда поднялись по всему лагерю великое смятение и шум. У бомбардира с Пугачевым упали из рук ложки. Всюду беготня, крик и понуждение. Земля тряслась от тяжести и грохота пушек, вывозимых откормленными лошадьми на позицию. Воздух дрожал от гиканья погонщиков и фурлейтов, стегающих лошадей кнутами.

Через час полки были выведены в поле и построены. Пред войсками уже разъезжал великолепный фельдмаршал Апраксин, окруженный великолепнейшей свитой. Конь под огромным фельдмаршалом скакал, плясал, бил ногами. Фельдмаршал кряхтел,

но лицо у него грозное, он часто сплевывал гнилую отрыжку, утирался надушенным платком.

В свите гарцевал на рослом коне генерал-майор Петр Панин, живой и подвижной, глаза насмешливы, губы сжаты в ядовитой улыбке, — он косится на толстое брюхо фельдмаршала.

Сытые кони начищены, лоснятся, отливают на солнце атласом. И все блестит, и все сверкает: оружие, наборная сбруя, чеканные седла, расшитые шелком и золотом дорогие попоны.

Армия стояла, обращенная лицом к врагу. Но врага и на этот раз не было в помине. С чувством напряженного ожидания армия стоит час и два.

— Черт знает, — нахлобучив шляпу на глаза, чтоб не палило солнце, раздраженно бросает фельдмаршал свите. — Где ж неприятель? Какого же рожна он не идет?.. Трусит?..

— Нет, граф, неприятель храбр и скоропоспешен, — отозвался известный дерзкий остряк Петр Иванович Панин, в глазах его полускрытый смех. — Неприятель или заканчивает обед и пьет шампанское, или обходит нас с тыла.

— Вы думаете? — Граф Апраксин подымает густые брови и, болезненно постанывая, косится вполуоборот через плечо назад, где тыл. — Не может тому статься, чтоб с тылу...

— А кроме сего, мне мыслится, — продолжал Панин, отмахиваясь красным платком от комаров, — мне мыслится, что никогда так не бывает, чтоб одна армия стояла наготове, при всем параде, с пушками, а другая, вражеская, таким же парадом шла навстречу. Баталии зачастую зачинаются внезапно. Но ради чего мы сюда пришли и здесь стоим, как индюки? Осмелюсь, граф, узнать...

— Утром разведка донесла, — пожимая плечами, стал как бы оправдываться граф Апраксин, — будто граф Доná, самый лучший прусский генерал, стоит за лесом с сорока эскадронами гусар да драгун, а главные силы пруссаков подходят к лесу.

Вдали то здесь, то там потрескивала ружейная перестрелка казачьей разведки с неприятелем.

С пригорка было пущено в лес несколько бомб из шуваловских дальнобойных гаубиц. Стоявшая под лесом деревня загорелась. Ответа из-за леса не последовало. Полки снова отведены в лагерь.

5

Главная ставка Апраксина — целый поселок: большие и маленькие палатки для адъютантов и прислуги, походная церковь, склады, кухня, канцелярия, парикмахерская, баня.

В круглой палатке фельдмаршала начался военный совет. Большой овальный стол накрыт красною скатертью с золотыми кистями (граф любил во всем пышность), горело в шандалах и канделябрах сорок восемь свечей, за столом сам Апраксин и генералитет в походной форме. По правую руку Апраксина — генерал Веймарн (он все время войны «водил» Апраксина, как бычка на веревочке), по левую — молодой, но очень талантливый генерал Вильбуа, который частенько говаривал своим приятелям: «При нынешних порядках у меня пропадает всякая охота воевать. Черт их возьми!.. Здесь надо притворяться таким же дураком, как и все... Иначе всех сделаешь себе врагами». На столе хорошая немецкая карта, гусиные перья, карандаши, бумага; на коленях Апраксина черный мопс, такой же пучеглазый и тупорылый, как хозяин. Земля прикрыта коврами. Накурено. Тикают бронзовые часы. Два лакея снимают щипцами нагар со свечей, подают кофе, разливают по бокалам и рюмкам вино и ликеры.

Пыхтя и посапывая, Апраксин говорит ленивым, надтреснутым тенорком:

— По всему видимому, неприятель не хочет нам дать открытой баталии, он боится высунуть из лесу свой нос и выйти в поле. По всему видимому, он пытается, заняв самую тесную дефилею, заградить нам путь к дальнейшему продвижению нашей армии вперед и всем тем воспрепятствовать, чтоб мы его не обошли и не вышли прямо к Кенигсбергу. Таково мое

мнение после зрелых размышлений. А вы как мыслите, молодежь? Граф Румянцев, вы? Генерал Вильбуа?

Курносый, толстощекий, быстрый взглядом Румянцев повел плечом и командирским, слегка осипшим басом с горячностью сказал:

— Мой сказ короток, ваше сиятельство. Нам надлежит немедля идти врагу навстречу, принудить дать баталию и разбить его в пух и в прах.

«Баталия, баталия!» — крикнул из клетки попугай тоже командирским басом и почесал лапой за ухом. Генералитет улыбнулся. Вильбуа и Румянцев громко захохотали. Мопс не то с завистью, не то с презрением покосился на чертову птичку и с чувством собачьего достоинства лизнул хозяина в дряблый подбородок.

Апраксин поцеловал мопса в шиворот (граф Захар Чернышев сделал брезгливую гримасу). Обведя присутствующих ленивым взором, фельдмаршал спросил:

— Но куда и каким местом к нему идти? Ежели прямо через Эггерсдорфское поле — идти не можно: враг стоит за большим лесом, а сквозь оный только одна узкая дорога, да и та пруссаками занята. Как вы, господа, сей тактический вопрос желали бы разрешить?

После коротких рассуждений решено вести войска через поле, обходить лес с левой стороны и опрокинуться на врага всей силой.

— А главное: не мешкать, действовать быстро, — сказали в один голос Румянцев и Чернышев.

— Совершенно согласен с вами, господа генералы, — кивнул им Апраксин. — Мы и впрямь во всем поспешаем слишком... медленно... И так уж канцлер Бестужев, Алексей Петрович, то и дело пишет мне: «Поспешай, поспешай, про тебя небылицы по Питеру плетут». Да и матушка Елизавета недовольна, апробацией не жалует, — долго, мол, в Польше позадержались вы. А как тут поспешать?.. Поспешишь, людей насмешишь.

— А не поспешишь, врага упустишь, ваше сиятельство, — ядовито заговорил Петр Панин и незаметно переглянулся с Румянцевым. — И кто с умом спешит, тот всегда и во всем успевает. Возьмем генерала Фермора. Он в Либаве присоединил к себе подвезенные морем наши полки, восемнадцатого июня вступил в Пруссию, двадцатого обложил Мемель, а уже двадцать четвертого эту крепость взял. А мы полгода пропировали в Польше и до сих пор не унюхали, чем пахнет вражий порох... Государыня императрица за столь сугубое поспешание вряд ли по головке погладит нас.

Апраксин сидел весь красный, будто Панин не словами стегал его, а парил в жаркой бане веником. Маскируя свое смущение, он стал сонливо зевать и закрещивать гнилозубый рот, потом, ища хоть в ком-нибудь поддержки и не находя ее, обиженно сказал:

— Ау, ау... Плохой я главнокомандующий. Я фельдмаршал мирный, а не военный. Я так и государыне молвил. Ну что ж, господа, назначайте вместо меня Фермора, он генерал боевой. Сменяйте, сменяйте меня... ежели дана вам на то власть. А ежели этой власти за вами нет, то... по-ве-леваю!.. — Апраксин сбросил с колен мопса и встал. Весь генералитет точно так же поднялся. — Повелеваю: завтра чем свет по вестовой моей пушке выступать в поход. А вам, Петр Иванович, — выпучив глаза, обратился он к злословному Панину, — зная вас за отважного воина, я предоставляю случай особо отличиться. Для сего определяю вас в самое жаркое дело.

«Ах ты старый кабан», — подумал Панин и — вслух:

— Я *жары* не боюсь, ваше сиятельство. Но не терплю тех, кто тщится нагнать на меня холоду. Я не труслив, но горд. А пруссаков бояться — на войну не ходить. Весь к услугам вашего сиятельства!

Генералитет отпущен.

Апраксин устал. Ленивый и нерасторопный, он не подумал о разработке диспозиции войск на завтрашний день, он только успел набросать коротенький при-

каз по армии и прилег часок-другой всхрапнуть. А там видно будет, ночь-то длинна.

Выходя из палатки, Панин шепнул Румянцеву:

— Не смею утверждать категорически, но мнится мне, что этот безмозглый баран не побрезгует положить себе в карман от прусского командования кое-какой куртаж.

— О да, — живо согласился Румянцев. — Его медлительность припахивает изменой.

— Во всяком случае, она равносильна измене, — подхватил Панин.

По армии объявлен приказ: всех солдат снабдить на трое суток провизией, вывести «перед фрунт», всем ночевать «в ружьё».

Каким-то случаем прусское командование сведало о предстоящем наступлении русских. И пока граф Апраксин спал себе и почитывал спокойно, проворный враг плел хитроумные сети, чтоб погубить нас.

6

Пред утром 19 августа густой туман рассеялся. Лошади, опустив головы, дремали. На траве, на палатках и всюду лежала роса.

Ударила вестовая пушка, лагерь пришел в движение. Вместо обычной зори стали бить генеральный марш. Значит, готовься к походу. Вскоре прозвучал сигнал: «На воза!» — и войска тотчас стали снимать все палатки, мазать колеса дегтем, впрягать в повозки лошадей, грузить имущество. Фурлейты спрашивали: «Брать ли рогатки?» Приказ: «Брать, брать». (Деревянных рогаток — тысячи, целый лес. Они — большая обуза. Их возят в особых телегах за каждым полком для прикрытия фронта от неприятельской конницы).

Через двадцать минут обозы тронулись в путь. Было еще темно.

Равнина — где лагерь — как дно муравейника. Все копошилось, серело, алело, чернело, двигалось взад и вперед, вправо и влево. Люди сползались в живые кучки, эти кучки росли, то вытягиваясь

в линию, то сжимаясь в квадрат. Кучек все больше и больше. Вот они ощетинились сталью. По всем направлениям засновали всадники. С тысячи мест сизыми киверами потянулись к небу дымки догорающих костров.

Емельян Пугачев кой-как, вразвалку, сидит в седле вблизи палатки атамана Денисова. Конь под ним высокий, белый. Емельян привел его из ночной разведки: смахнул башку прусскому драгуну-барину, а коня его увел. Коню этому сегодня хватит работки: Пугачев за свою особую расторопность назначен был вчера ординарцем полковника-атамана Денисова.

Донцы еще прохлаждаются, наскоро пьют кипяток с солью и хлебом. Грузный, заспанный Денисов выходит из палатки, вестовой подает ему умываться. За рекой, по далекому горизонту медленно растекалась заря. В лесу куковала ранняя кукушка.

В противоположной стороне, почти за две версты от Пугачева, там, где темный выход в Эггерсдорфское поле, — сплошное огромное месиво; оттуда доносились невообразимый шум, треск, скрип, выкрики. Денисов, вытираясь рушником, спросил Пугачева:

— Что там такое?

— А это, надо полагать, обозы сбились в кучу... Порядку нет, ваше высокородие.

— А ну, слетай!

Пугачев гикнул и умчался.

У выхода в поле действительно творилось нечто ужасное. Впереди тесной дефилеи, чрез которую тянулись бесчисленные обозы, растеклась ручьевина по заболоченной местности. Непролазным киселем густела грязища. Передние повозки завязли, задние стали напирать на них, обгонять их и — по грудь коням — увязали сами, на них надвигались задние. Тут же, вперемежку с повозками, шли побатальонно воинские части.

В конце концов лавина в не одну тысячу повозок закупорила весь проход—пушкой не пробьешь. Здесь все перемешалось: артиллерия с ящиками и снарядами, солдатские обозы, генеральские экипажи, многие сотни телег с рогатками, офицерские повозки,

А сзади на это месиво из лошадей, солдат, повозок напирали двинувшиеся полки. Всюду крики: «Дорогу, дорогу!» Но дороги не было.

И в момент такой бестолковщины, в момент отчаянных, но безуспешных попыток освободить проход, по войску и обозам покатилась сначала тихая молва: пруссаки наступают, они уже близко; затем разговоры — все крепче и крепче, вот послышались отдельные панические выкрики: «Неприятель, неприятель!» Но путем никто ничего не знал еще.

Тем временем 2-й Московский полк, уже выведенный в Эггерсдорфское поле, вдруг увидел пред собой грозные шеренги спешившего к нему врага. Полк стоял как раз у выхода с забитой обозами прогалины и прикрывал доступ в лагерь. Командиры и солдаты диву дались: каким манером враг, никем не замеченный, мог пройти версты четыре полем и почти сесть на шею нашим? А где ж была разведка? И о чем думало главное командование?

Небольшая колонна артиллерии, находящаяся при Московском полку, тотчас открыла по неприятелю огонь.

Этот близкий гром пушек произвел в обозной толпе смятение. Люди сразу как бы посходили с ума. Поднялись вопли.

В одном месте командиры кричали: «Сюда! Сюда! Артиллерию сюда!» В другом раздавалось: «Конницу скорей, конницу!» Но яростней всех был вопль: «Обозы прочь, назад!.. Прочь, прочь! Обозы назад, назад, назад!..» Возницы и фурманы с гиком и руганью в три кнута полосовали лошадей. Генералы, полковники и простые офицеры потеряли всякий разум, они совались возле обозов без памяти, не зная, что им делать.

Почти все полки еще находились за обозом в лагере, а пробраться на поле с амуницией, с пушками сквозь густейший непролазный лес было невозможно. «Просеки, просеки рубить!» — бестолково раздавалась запоздалая команда. Но тут уже не до просек. Полки дожидались, пока расчистят от обоза злосчастную прогалину. Успел вывести свою дивизию на бранное поле лишь генерал-аншеф Лопухин.

А пушки гремели и гремели. Неприятельские ядра, проносясь со свистом, уже стали шуркать по обозам.

Часть донцов умудрилась пробраться меж обозами и опушкой леса и, спешившись, выстроилась на отдаленном пригорке в левой стороне поля. Пригорок прикрыт с тыла болотом и кустарником. Тут же была и батарея со старым бомбардиром Павлом Носовым. Вскоре подошел еще армейский полк.

Емельян Пугачев сидел на коне, ждал поручений атамана, во все стороны вертел головой. Справа и вперед от него видно было все Эггерсдорфское поле. На нем — прусская армия как на ладони. А за полем, верстах в пяти, зеленел огромный лес. Атаман Денисов то и дело прикладывал к глазу подзорную трубу.

Начинало светать. Вставало солнце.

Пруссаки вытянулись двумя длинными линиями на том самом месте, где вчера стояли две развернутых линии русских. И снова — возмущенные наши голоса:

— Каким это способом пруссаки подкрались к нам? Этакое позорище! Проспать врага... С потрохами продают нас!

7

Гросс-Эггерсдорфская битва началась ровно в восемь часов утра.

Наши немногие гренадерские полки только еще выстраивались вдоль опушки леса. Между тем первая линия пруссаков быстрым шагом уже двинулась в атаку и, приблизясь, дала по нашим залп. Русские не отвечали. «Почему наши молчат?» — заговорили между собой люди на пригорке, где Пугачев. Но русские молчали потому, что продолжали строиться, вытягиваться в линию, да и пули неприятеля пока не долетали.

Пруссаки, заряжая на ходу ружья, продвинулись еще на несколько сажен и дали второй залп. Русские опять смолчали. Они все еще вытягивали боевую свою

линию. «Бегом, бегом!» — покрикивали там офицеры. Петр Панин скакал на коне, поощряя солдат: «Поспешай, братцы, да в лоб его, в лоб!» Второй залп кой-кого из гренадер зацепил, человек десять упало. Зарядив на ходу ружья, пруссаки дали третий дружный залп. Их фронт стал помаленьку заволакиваться дымом.

Тем временем русские полки уже успели развернуть свой фронт больше чем на версту. Генерал Лопухин, бесстрашно проносясь на коне вдоль фронта, командовал: «Стрелять метко, в три шеренги, залпами!» И сразу треснул дружный залп. Загремели русские пушки. Началась жаркая, врассыпную, перестрелка.

Все затянуло дымом.

Через поле отдельными частями перебегали подкрепления из второй линии пруссаков, подвозились порох и снаряды, прыгали по кочкам пушки, скакали взад и вперед вражеские ординарцы.

Враг упорную атаку направил в два места: против главного входа в лагерь, где кипела перестрелка, и против второго входа с левой стороны. Но там стойко держался 1-й Гренадерский полк под командою полковника Языкова. Враг всюду действовал по заранее составленной диспозиции, а русские валили «наобум святых», как бог на душу положит.

Враг измышлял запереть русских в лагере и всех, кто там был, передушить.

Главнокомандующий Апраксин, окруженный свитой, громоздился на коне в значительном отдалении от битвы. Он не отрывал от глаз трубу, но плохо видел и мало понимал в происходящем. Он почти не отдавал никаких приказов, только покрикивал: «Валяй, валяй!»

Пугачев первый заметил кавалерию, показавшуюся на правом фланге врага. Заметил ее и Панин. Он подскакал к графу Апраксину.

— Ваше сиятельство! Прикажите казакам атаковать неприятельскую конницу.

— Валяй, валяй, голубчик, валяй! Ах, это вы Петр Иваныч? — замахал трубой и заохал Апраксин.

Панин полетел стрелой на пригорок к атаману Денисову. Пугачев стрелой с пригорка от Денисова к Апраксину.

— Стой, казак! — на всем скаку крикнул Панин. Оба коня враз остановились. Приседая на задние ноги, они пахали землю передними. — Куда?

— К главнокомандующему... Конница вражья объявилась.

— Передай приказ атаману Денисову — взять вражью конницу в пики!

Кругом пахло порохом. Сизо-голубыми клочьями тянулись струи дыма. Всюду задирчивый треск ружейных выстрелов и то близкие, то далекие раскаты пушечной пальбы.

Пугачев подкатил к своим. Полторы тысячи донцов уже успели сесть на коней. Раздалась команда. Туча казаков — пики наперевес — с пронзительным гиканьем стремительно мчалась на врага. Прусская конница поджидала атаку недвижно. Подпустив донцов поближе, пруссаки дали по ним уверенный залп. Донцы опешили, ряды их смешались, гиканье смолкло, многие упали с коней. Пальнули в пруссаков беглым огнем. Пруссаки вновь ответили залпом. Донцы повернули коней и марш-марш назад. Прусские кирасиры и драгуны — палаши наголо — помчались за ними. Обскакивая болото с кустарником, они гнали казаков к русскому фронту и, настигнув, стали их рубить. Казакам некуда деваться. Тогда левый наш фланг расступился, пропустил лавину донцов. Первый эскадрон прусских кирасир успел прорваться на хвосте донцов за русский фронт и там рубил направо и налево кого придется. В нашем тылу — вой, крик, паника. Меж тем полки неприятельской конницы в полном порядке поэскадронно неудержимо текли быстрой рекой чрез поле на передовую линию русских. Казалось, враги презирали страх, смерть и нашу пехоту, угрожая стоптать ее.

Атаман Денисов наблюдал с возвышения, бесновался: «Ах, черти, ах, черти!» И крикнул стоявшему рядом с ним Пугачеву: «Лети на батарею! Огонь картечью! Разини, дьяволы!» Пугачев, весь дрожа, по-

скакал. Бомбардиры уже успели повернуть батарею в сторону мчавшейся конницы врага, забивали пушки картечью.

Пугачев вместе с бомбардиром Носовым стал наводить в сторону неприятеля медную пушку. Прусские эскадроны, взвивая густейшую пыль, один за другим четко скакали. Наша пехота овладела собой, стала отстреливаться, пытаясь сомкнуть разорванный фронт.

«Пли!» И вдруг ахнули сразу пять пушек. Залп был удачен, картечь сражала пруссаков десятками, сотнями. Фронт пехоты сомкнулся. С правого фланга скакали три сотни чугуевцев. А сзади них мчался Панин. «Пли!» И снова оглушительный залп. Вражеские эскадроны смешались, повернули назад, в беспорядке поскакали полем обратно к лесу. Донцы оправились, вместе с чугуевцами бросились преследовать врага, рубили, сажали на пики. Эскадрон, прорвавшийся за русский фронт, был весь уничтожен.

Пугачев так увлекся баталией, что забыл свою обязанность ординарца. Вольной птицей перелетал он теперь с места на место, куда его тянула удаль.

А над фронтом, где разгорался жестокий бой, стояло густейшее облако дыма: с той и другой стороны продолжалась неумолчная ружейная перестрелка, пальба из пушек и гаубиц.

Перевес был целиком на стороне неприятеля. Мы были очень малочисленны, у нас дралось всего одиннадцать полков. И резерв в нужном количестве к нам не поступал: от своих главных сил, от лагеря, мы были отрезаны.

Апраксин вконец растерялся. Все шло самотеком, вразброд, каждый военачальник действовал на свой страх и риск. Сильная артиллерия пруссаков работала отлично, тогда как большая часть русской завязла в болотах, застряла среди обоза в лагере и, лишь постепенно выпрастываясь, орудие за орудием, медленно выходила на позиции. Хотя обозы в нашем лагере, двигаясь назад, постепенно освобождали выход в поле и казалось, что теперь можно кой-как выводить из лагеря войска и подвозить снаряды, но

сметливый враг в оба выхода из лагеря направил всю силу артиллерийского огня, а затем двинул в бой свежие полки.

Пугачев, рискуя жизнью, проник на коне в запертый со всех сторон русский лагерь. Там был видимый порядок: полки стояли под ружьем, артиллерия в упряжке. Но вместе с тем — всеобщая какая-то выжидательная напряженность и тупое уныние среди людей. Прислушиваясь к канонаде, к долетавшим чрез лес глухим звукам битвы и не в силах помочь своим братьям, многие солдаты горестно трясли головами, крадучись утирали мокрые глаза, а иные плакали в открытую, справедливо ожесточаясь на погибельные распорядки командования.

Пугачев увидел: от лагеря чрез лес ведут к бранному полю две просеки, но топоров мало, работы хватит на неделю. «Эх, черти генералы!.. Вразумить вас некому», — подумал он и спросил бородатого лесоруба:

— Пошто войско не посылают на фрунт?

— Два полка прутся лесом на выручку, — ответил бородач. — С пушками было тронулись да со снарядами. Только, вишь, побросали все, куда тут. Вон она, пушка-то, вон другая... Несподручно. Ради этого и просеку ведем, понял?

— Кто спослал полки-то?

— Сам Румянцев. Эвот-эвот он сидит рядом с графом Чернышевым... Курносый такой, толсторожий... А нет ли у тя покурить, казак?

Но Пугачев, ничтоже сумняшеся, уже подлетел к двум молодым графам, сидевшим друг против друга на барабанах. Подъехал, спрыгнул с коня, вытянулся во фрунт и, охваченный жаром битвы, бесстрашно обратился к быстроглазому Румянцеву:

— Ваше превосходительство! Треба солдат на фрунт поболе... Двух полков маловато. Наших дюже колотят...

— Откуда ты?

— От графа Апраксина, — соврал Пугачев. — Вам приказ велено отдать...

Глаза Румянцева под высоко вскинутыми бровями сердито запрыгали, он вскочил и крикнул:

— Пошли его, старого мопса, ко всем чертям!.. — Румянцев знал, что фельдмаршал Апраксин в немилости у царицы Елизаветы, и в выражениях по его адресу не церемонился. Апраксина и прочих генералов он стал пушить сплеча по-матушке. (Пугачев приятно улыбнулся.) Обращаясь к Чернышеву, Румянцев возбужденно заговорил: — Чрез каждые десять минут шлют ко мне гонцов, даже Панин был: «Выводи, выводи...» А как я выведу, раз мы, по милости Апраксина, заперты?.. Я давно послал Рязанский полк тем местом, где обозы захрясли, а много ли из полка на фрунт явилось? Две роты... А ребята — молодец к молодцу. — Румянцев вздохнул, передернул плечами и, выколачивая короткую трубку о барабан, сердито добавил: — Беда, ежели львами командует баран.

— Н-да-а... — протянул Чернышев. — Пожалуй, лучше, когда баранами командует лев.

— В сто раз лучше!

Помедля и ничуть не стесняясь присутствия Пугачева, граф Захар Чернышев сказал:

— Он до крайности ленив и труслив, наш Апраксин. В третьем году пьяный гетман Разумовский едва морду не набил ему. Граф только покряхтел, и — никакого отпора... Трус!

Румянцев вынул изо рта трубку, сплюнул и с желчностью проговорил:

— Этот толстобрюхий бегемот выписал себе из Петербурга двенадцать пар шикарного обмундирования, надеясь в Риге да в Варшаве сражаться с дамами. Вот скотина!.. С таким фельдмаршалом не до побед.

Из лесу выводили под руки раненых с забинтованными лбами, окровавленными лицами, вытекшими глазами, с руками на перевязи; некоторые, шатаясь, шли самостоятельно; некоторые со стоном ползли на четвереньках. Это изувеченные на Эггерсдорфском поле гренадеры каким-то чудом пробрались сквозь лес, чрез который трудно пройти даже медведю. Все

тянулись к полевому лазарету, что расположился в трех больших палатках. Оттуда доносились вопли и проклятья. Пугачев, косясь на лазарет, спросил Румянцева:

— Прикажете ехать?

Румянцев в ответ махнул рукой, подозвал к себе кого-то из раненых. Пугачев призадержался сесть в седло, его одолевало мальчишеское любопытство.

— Где ранен?

— На левом фланге, ваше-ство...

— Сядь. — И Румянцев подкатил пожилому гренадеру свой барабан. — Ну что, жарко в бою?

— Жарко... А ён все лезет да лезет. Наших много полегло, к лесу подаваться стали, а он знай лезет, знай лезет... Распорядок добрый у него, а у нас порядку ни синь пороху. Только генерал Лопухин за всех орудует...

Генерал-аншеф В. А. Лопухин, видя, как обессилевшие солдаты его дивизии шаг за шагом стали отходить назад, то скакал на коне перед отступавшими, то, бросив раненую лошадь, бежал по рядам войск, чуть не плача умолял:

— Братцы, ребятушки... Стойте, не рушьте фрунта! За честь России! Братцы, за мной!..

Изнемогший, он сам истекал кровью, перебитая рука болталась, в сапоге жмыхала кровь.

Летали, рвались неприятельские бомбы, стегала картечь, пули с визгом вырывали обреченных. Мужественные гренадеры и прочие потрепанные неприятелем полки все еще держались как непреоборимая стена.

Однако от минуты к минуте русскому фронту становилось тяжелей. Вот уже два часа отстреливались от ретивого врага, но были на исходе порох и свинец. Некоторые смельчаки с отчаянием бросались вперед, выхватывали из сумки убитого противника порох, патроны и посылали во врага его же пули. Иные, раненные, окровавленные, прижавшись спиной к дереву, бессильно оборонялись штыками, били врага прикладами. Иные, в припадке безумия, остервенело кида-

лись в толпу неприятеля, мысля поразить их всех, и, растерзанные, гибли.

Наши ряды сильно поредели, офицеры побиты и поранены, фронт дрогнул, круто подался вспять, ближе к лесу. Неприятель, заметив эту ретираду, с удвоенным ожесточением бросился на отступавших. Завязался дьявольский рукопашный бой.

Того, кто обессилел, кололи, топтали, как падаль, резали, душили. Русских осталось немного; неприятель подавлял числом и натиском свежих сил. Изнемогающий генерал Лопухин поощрял своих, кричал безумным голосом:

— Вперед! Коли! Коли!

Вот его схватили и, залитого кровью, волокли по земле в полон. Трое наших гренадер, забыв, что сами погибали, разъяренными волками бросились выручать своего генерала и, уже мертвого, растерзанного, перетащили на свою сторону.

Вся опушка леса оглашалась воплем, стоном, криками убиваемых. Кровь текла ручьями. Прижатые к лесу богатыри-гренадеры все еще продолжали обороняться с яростью. Но враг уже врезался в обоз и победоносно бежал дальше, в самый лагерь. Полное поражение русских было очевидно.

Враг торжествовал.

8

И вдруг:

— Идут!.. Наши идут!.. Держись, ребята!!! — прозвенел чей-то резкий, как медный звук трубы, голос. Это орал что есть силы Пугачев. Он гикнул: — Р-рубай, так и так!.. Рубай!!! — выхватил саблю и врезался в ряды противника.

Из лесу вымахнули четыре всадника. Впереди на вороном скакуне Румянцев. За ним рота за ротой выбегали из гущи непролазного леса солдаты 3-го Гренадерского и Новогородского полков.

Они быстро — бегом, бегом — строились в боевой порядок. Пред их фронтом гневный проскакал Румянцев.

— Ребята, осмотрись! — командовал он. — Целься верней! Залп!

С треском ударило несколько тысяч еще холодных, не закопченных порохом ружей.

— Залп!!!

И вновь убийственный залп.

— Довольно, — приказал Румянцев. Его сабля сверкнула на солнце. — Ребята, в штыки!!!

И с оглушающим ревом «ура, ура!» несколько тысяч бодрых солдат ринулись в бой. За ними, забыв усталость, бросились измученные гренадерские полки: Московский, Рязанский и остатки дивизии Лопухина.

Крепкий фронт неприятеля на протяжении двух верст был опрокинут. Пруссаки пробовали сопротивляться, стреляли, оборонялись штыками, но русские, не останавливаясь, стремительно перли вперед, сметая все на своем пути.

Враг побежал.

— Валяй, валяй, валяй! С нами бог! — носился на грузном коне в тылу наших войск грузный Апраксин. Его так растрясло, он так был взволнован и нервно раздавлен событиями, что больше не в силах держаться в седле. С адъютантом и взводом гусар он отъехал в самое безопасное место, повалился в холодок и, раскинув руки и ноги, пыхтел, как морж на льдине.

Сражением руководили теперь генералы Румянцев и Фермор. Пушки неприятеля, хотя и не особенно метко, все же тревожили наших. Но с правого фланга уже спешили на быстроногих конях чугуевцы — в атаку на батареи врага.

С левого фланга скакали донцы, за ними — полтысячи полуголых калмыков: они спустили по пояс красные суконные бешметы и, ощетинив пики, с визгом мчались колоть и топтать утекавших пруссаков.

Пугачев, давно отбившись от своих, работал то с гусарами, то с пехотой, колол и рубил, счастливо спасаясь от смерти.

Горячий генерал-майор Петр Панин, увлеченный удачным исходом сражения, ускакал далеко вперед,

вслед за гусарами. Тут было жарко. Неприятель на это место двинул из-за леса остатки резервов. Тут шел ожесточенный бой, последняя ставка неприятеля. Завязалась огневая перестрелка. Пугачев палил из ружья.

Вдруг видит он: на левом фланге отряда конь Панина с разбегу упал на колени, Панин перелетел через конскую шею; конь, прошитый вражьими пулями, перевернулся на бок, взлягнул ногами, затих. К Панину с криком: «Эге!.. Генерал, генерал!» — стремительно бежало с десяток пруссаков. Пугачев ударил плетью коня, что есть силы подскакал к генералу, спрыгнул:

— Садись враз, — и подсобил белому от страха и потерявшему силы Панину залезть в седло.

— А ты как же?

— Не сумлевайтесь, у меня ноги волчьи, утеку! — И Пугачев ударил коня ладонью по холке.

— Спасибо, казак! — И Панин пришпорил рысистого коня.

Над Эггерсдорфским полем, от леса до леса, висела пылища и желто-сизый дым. Горели деревни.

Баталия кончилась. Почва подмокла от конской и человеческой крови. Было 3 часа дня 19 августа 1757 года.

Панин долго допытывался потом и не мог отыскать казака, который даровал ему жизнь на поле сражения. Он хотел оказать казаку-герою высокую милость.

Чрез семнадцать лет, и тоже на поле брани, но при других обстоятельствах, судьба вновь столкнет лицом к лицу графа Петра Панина и донского казака Емельяна Пугачева — мужицкого царя. Казак узнает графа и не подаст о том вида. Граф не узнает казака, но барской рукой отблагодарит его за спасение от смерти — громкой, на всю Россию, пощечиной. Сердце казака обольется тогда кипучей кровью и желчью.

Когда все стало приходить в порядок, казак Пугачев держал ответ пред атаманом Денисовым.

— Где твой конь?

— Убили.

— Ты мой ординарец... Куда ты, песий сын, пропал?

— Воевал.

— Где мой рысак Пегаш? Он выдан тебе под присмотр.

— Я воевал... Я пруссаков бил. За всем не усмотришь. Сбежал, должно, ваш конь.

Полковник Илья Денисов, суровый службист, кликнул двух старых, преданных ему казаков и приказал им: ординарца Емельяна Пугачева за его тяжкие преступления по службе выдрать нещадно плетью.

К Пугачеву тотчас же подошли два пожилых казака.

— А ну-ка, молодчик, спускай портки, — сказал сквозь зубы рыжебородый, с плеткой в руке, детина.

Пугачев, тяжело дыша, выжидательно уставился в усатое лицо полковника Денисова, как бы вопрошая мрачного начальника — шутит он или взаправду действует?

— Ну! Вали его на землю, — сказал Денисов.

— Ваше высокоблагородие, — взмолился Пугачев. — За что же это? Ведь я по-честному воевал. А ваш Пегаш...

— Молчать!

— Пегаш ваш найдется, вашескородие... Да я вам рысака такого добуду, что...

— Молчать, безрогая скотина!.. Хуже будет.

Пугачева схватили, брякнули на землю.

— Не позорьте, пощадите, вашескородие... Заслужу! — закричал Пугачев истошно.

Поверженный вниз лицом, он умолк, взглянул на притихших, хмурых зевак вокруг, зажмурился, стиснул зубы и скрюченными пальцами вцепился в пахучую полынь-траву.

Экзекуция началась, но, как ни усердствовал рыжебородый, Пугачев терпел: ни стона, ни вздоха, только скрипел зубами.

— Довольно! — крикнул атаман Денисов.

Емельян встал, с трудом натянул рубаху, его из стороны в сторону покачивало. Он выплюнул набившуюся в рот землю со стебельком полыни и стоял против атамана, вперив взор ему под ноги.

— Можешь идти, Пугачев, — сказал атаман. — Другой раз помни...

Пугачев нога за ногу пошел прочь. Да, он будет помнить... Ему век не забыть этой награды за боевой труд его.

Спина болезненно ныла, словно обваренная кипятком, сквозь рубаху пятнами проступала кровь.

— Больно, Омеля? — сочувственно спрашивали провожавшие его товарищи.

Вместо ответа Емельян так взглянул на них, что люди прикусили языки.

А через день-другой Пугачев носился среди казаков как ни в чем не бывало. Разве только стал он менее разговорчив, а уж если принимался «точить лясы», то тут ему — никто не перечь. Со старшими по войску он приметно играл надвое: поддакивая и соглашаясь, он вместе с тем таил в глазах бесшабашную ухмылку, точно говоря про себя: «Вот он я, попробуй-ка — ухватить меня».

И тот же атаман Денисов, приглядываясь к Емельяну, говорил о нем не иначе, как о «превеликом бестии».

— Храбр и дерзок хлопец, но зело двусмыслен. Мало я его драл.

Впрочем, и это новое в Емельяне с течением времени примелькалось и перестало задевать внимание окружающих.

27 августа, поздно вечером, в Царское Село, где жила императрица Елизавета, прискакал с театра войны курьер: генерал-майор Петр Панин с трубящими в серебряные трубы почтальонами. Он привез известие о нашей полной победе 19 августа над прусским фельдмаршалом Левальдом на берегах Прегеля, при деревне Гросс-Эггерсдорф. Обнимая Па-

нина, Елизавета прослезилась. А на другой день, в четыре часа утра, с Петропавловской крепости прогрохотал сто один пушечный выстрел. Столица торжественно стала праздновать первую над пруссаками викторию.

ГЛАВА II

Бой при деревне Цорндорф. Вечеринка у братьев Орловых

1

В сущности, празднества оказались преждевременными: русская армия вместо преследования неприятеля стала отходить к границе, оставляя врагам с таким трудом завоеванные земли. Поспешное отступление походило на бегство: приказано жечь фуры, топить в воде порох и снаряды, заклепывать пушки. Солдаты недоумевали, по всем воинским частям стало перелетать из уст в уста страшное слово: «Измена». Союзники громко выражали свое возмущение по поводу ничем не оправданных действий русского командования. Конечно, был недоволен всем этим и правящий Петербург. Главнокомандующий фельдмаршал Апраксин был смещен, на его место назначен генерал Фермор.

Война затягивалась. Необходимо было подсылать в действующую армию подкрепления из России. Рекрутский набор дал сорок три тысячи человек, из них укомплектовано в полки двадцать четыре тысячи рекрутов, а куда подевались остальные девятнадцать тысяч — неизвестно. Сенат запрашивал об этом Военную коллегию, но быстро собрать надлежащие сведения о пропавших рекрутах было невозможно: почта работала столь медленно, что приказ, отправленный из Петербурга, например, в Смоленск, тащился туда месяц и двенадцать дней.

В исходе зимы генерал кригскомиссар князь Яков Шаховской, проезжая по улицам Москвы, повстречал

вблизи главного военного госпиталя странный обоз: на нескольких дровнях валялись рекруты.

— Стой! Куда? — спросил он сопровождавшего обоз унтер-офицера.

— Да вот на людей хвороба напала, ваше превосходительство, — ответил тот. — Возили в госпиталь, да не приняли, сказывают: места нет, в обрат велели везти, в команду.

— А скажи-ка ты мне, унтер, не таясь, из-за чего такая хвороба ежегодно нападает на молодых парней, на новобранцев? — спросил князь.

Унтер помялся, взглянул в добродушное стариковское лицо князя и сказал:

— Ежели молвить по правде, ваше превосходительство, сие приключается от непорядка. Рекрутов из деревень пригоняют, а жительство им не приготовлено и кормиться им, сердешным, почитай, нечем. И околачиваются они в лютую стужу где попало, по дворам да по улицам. А ночуют либо в торговых банях из милости, либо где-нито под мостом, али в складах дровяных, по-собачьи. Вот и студятся. А бабы, глядя на них, плачут: вот, мол, сколь сладко нашим сынкам царскую-то службу отбывать. Чрез сие великий ропот идет промеж народа.

— Ну, это ты далеко шагнул, унтер, а по сути прав, прав, — вздохнув и печально покивав головой, сказал старик.

Лежавшие на дровнях больные, с посиневшими лицами новобранцы тоскливо и растерянно посматривали на князя, с робостью умоляли: «Ради бога, не оставь, барин... Умираем». А некоторые казались полумертвыми, остекленевшими глазами они безжизненно глядели в морозное небо.

— Повертывай за мной, — приказал унтер-офицеру князь Шаховской.

Возле главного крыльца госпиталя, куда подкатил в карете князь, стояло еще четверо дровней с умирающими и больными. Князь едва успел выйти из кареты, как к нему сбежали по ступенькам крыльца главный врач и комиссар.

— Это позорище, господа, — набросился на них Шаховской.

Больные и умирающие, услыша «заступление» за них, завыли с дровней, закричали:

— Погибаем, спасите, добрые люди!

Тогда главный врач и комиссар оба вдруг стали, торопясь, говорить Шаховскому:

— Ваше сиятельство, не извольте ходить дальше крыльца, у нас тут люди в жестоких лихорадках да в прилипчивых горячках. Ими не токмо покои, но и сени наполнены. Сделалась великая духота, а окна, по зимнему делу, отворять неможно. Они не токмо один другого заражают, но и прислугу ввергают в болезнь. А посему присылаемые команды мы отсылаем обратно, чтоб не умножать на счет госпиталя численность мертвых.

Тут два подошедших от дровней унтер-офицера доложили князю: несколько человек уже умерли в пути, а иные, находясь в прежалком от стужи состоянии, замерзают...

— Вот что, — сказал взволнованный князь врачу. — Приказываю немедленно вывести из госпиталя на частные квартиры все посторонние службы, а в освободившееся помещение принять больных. Немедленно!

Врач и комиссар, кланяясь, ответили:

— Способа к тому, ваше сиятельство, никакого нет. Никто ни за какую цену, боясь заразы, не решается для сей цели уступить свой дом.

Князь вспомнил, что недалеко от госпиталя, на берегу Яузы-реки, имеется немалое деревянное строение, в коем помещалась дворцовая пивоварня, но в отсутствие ее величества производство напитков там ныне сокращено. Князь своей властью приказал: перевести прачечную и всех госпитальных служителей в пивоваренный дворцового ведомства двор. Приказ князя был исполнен.

Шаховской этим случаем поверг себя в печальные размышления: уж ежели в Москве обращаются с новобранцами хуже, чем с собаками, то что же в осталь-

ной России? Так вот куда подевались девятнадцать тысяч недостающих рекрутов!

Находящееся в Петербурге дворцовое ведомство, обиженное самочинством Шаховского и по проискам братьев Шуваловых, послало на него жалобу в сенат. А вскоре из Петербурга приехал к Шаховскому офицер и подал ему бумагу от начальника страшной Тайной канцелярии Александра Шувалова: «Ее императорскому величеству известно учинилось, что вы самовольно заняли в дворцовом пивоваренном доме те камеры, в коих для собственного потребления ее величества производятся пиво и кислые щи, и поместили в них прачек, кои со всякими нечистотами белье с больных моют...» — и т. д., а в конце бумаги приказ: «Всех больных и прачек немедленно перевести из той пивоварни в дом ваш для жилья их, не обходя ни единого покоя в ваших палатах, а также и вашей спальни».

Князь Шаховской сразу заскучал. Он дал себе зарок никогда впредь не вступаться в милом своем отечестве за угнетенных и страдающих.

Действующая армия стояла тем временем на винтер-квартирах. Среди офицерства ходили упорные слухи, что бывший главнокомандующий Апраксин будет предан суду за государственную измену. Многие считали изменой неожиданное отступление после нашей победы при Гросс-Эггерсдорфском поле.

Огромный обоз с личным имуществом Апраксина стал грузиться для отправки в Россию. А месяца за два перед этим преданный графу Апраксину прасол Барышников, тот, что, сидя на возу, вел разговор с Емельяном Пугачевым о птичке-попугайке, повез в Петербург семь бочонков знаменитых селедок в дар графине и письмо графа к ее сиятельству.

Далее по поводу этих необычных селедок начинаются разные сплетни и домыслы. Будто бы граф сказал Барышникову:

— Вот тебе накладные, голубчик, вот тебе пропуска через заставы, сдай графине селедки в целости и

письмо не утеряй. Селедки превкусные, я их купил задешево.

Барышников катил на тройке, селедки сдал в целости, получил от графини благодарность. Графиня спросила:

— Неужели, голубчик, граф не вручил тебе письма на мое имя?

— Никак нет, ваше сиятельство.

Через три месяца приехал граф. Облобызав графиню, он прежде всего будто бы спросил:

— Ну как, вкусны ль селедочки?

— Очень замечательные, — ответила графиня, — последний бочонок доедаем.

Граф побелел, спросил:

— А мое письмо? А золото?

— Никакого золота не видела, никакого письма не получила.

Тут Апраксин будто бы выдохнул: «Ах он мерзавец!» — и упал мертвым.

На самом же деле было несколько иначе. Графа Апраксина отозвали не в Петербург, а в Нарву и предали суду. Туда тайным образом приезжал «великий инквизитор» А. Шувалов снимать с него допросы. Следствие и суд тянулись больше года. Апраксина перевели поближе к Петербургу, в селение Четыре Руки, где во время допроса с ним приключился разрыв сердца.

А вскоре после его смерти на петербургском горизонте появился и стал действовать маленький безвестный человек из бедных посадских города Вязьмы — Иван Сидорович Барышников, впоследствии ставший большим и знатным.

2

В начале 1758 года столица Восточной Пруссии славный город Кенигсберг сдался без боя. Русские встречены были колокольным по всему городу звоном, на башнях и возле городских ворот играли в трубы и литавры, граждане стояли шпалерами в угрюмом молчании.

Емельян Пугачев ехал на каурой кобыленке, в тороках у него сухари и поросенок, закупленный им в попутном селении. Выставив из-под шапки черный чуб, он с любопытством глазел на красивый город, на чисто одетых жителей. А румяной девчонке с подобранными косами подмигнул и помахал шапкой:

— Эй, как тебя... Матреша! Вот и мы...

В Емельяне Пугачеве вдруг заговорило чувство патриота: город сдался без боя — значит, русская армия сильна... А ежели хитрый Фридрих иным часом и порядочно-таки накладывает русским — это от плохих начальников. Был главнокомандующим толстомясый «крякун» граф Апраксин — будто бы вором оказался, взятку взял, родине изменил; отозвали в Питер. Был главнокомандующим генерал Фермор, тоже не из прытких.

Казачий отряд расположился на торговой площади, против кирхи и ратуши с высокой башней. Было холодно, ленивый порошил снежок. Зажгли костры.

У Пугачева, пока он добывал огня, поросенка украли, а сухари он отнес в подарок бомбардиру Павлу Носову, старому другу и наставнику его по стрельбе из пушки.

К кострам приходили горожане — большей частью подвыпившая мастеровщина да мальчишки — садились у костров, что-то талалакали по-своему; но Емельян ничего не понимал. Делились табаком, приносили пиво, картофель, вяленую рыбу. Приходили подчас и женщины.

Подошла Матильда с этаким-этаким широким задом, должно быть прачка: руки красные, моклыжки на пальцах стерты, и на плече корзина. А с прачкой — девушка, голубые глаза блестят, а губки аккуратные. Надо быть, прачкина дочка. У дальних костров толпился народ, солдаты пели песни, плясали. А возле Емелькина костра остались только эти двое. Девчонка улыбается да все посматривает на Емельяна, все посматривает... А Емельян лицом чист, глаза веселые, кой-какие черные усишки стали пробиваться. Девчонка глядела, глядела, да и говорит:

— Ви ист дайн наме? (Как твое имя?)

— Исть дать вам?.. — переспросил Пугачев. — Да чего я вам дам? Сам все съел!.. На вот! — И он, порывшись в вещевом мешке, подал девушке завалящий ржаной сухарь.

Та затрясла головой и отстранилась, а толстозадая поставила корзину, взялась за бока и захохотала на всю площадь. Девушка, обращаясь к казаку, опять что-то залопотала не по-русски. Емельян мазнул пальцем по усишкам, прикинул в мыслях и ответил:

— Нетути, я не женат пока, я холостой. Хочешь замуж за меня?

Девушка переглянулась с матерью, улыбнулась и потупилась. Емельян от пива был совсем веселенький. Он подумал, что девчонка, пожалуй, не прочь бы выйти за него на небольшое время замуж: мужики все на войне, одно старичье осталось...

— Да вы садитесь, чего стоять-то... В ногах правды нет! — Сидя на брошенном у костра седле, он подтащил войлочный потник, раскинул его возле себя и вежливо потянул девушку к себе за край подола: — Садись, Настя, не бойся!

Та быстро нагнулась и с хохотом ударила Емельяна по озорной руке. Емельян также захохотал и сказал толстой прачке, елико возможно поясняя свои слова жестами:

— А ты, мамаша, шагала бы отсюда прочь... Глянь — прешпект какой важнецкий, церковь божия... Иди пройдись.

— Найн, найн, — затрясла головой прачка.

— Ну, най так най... Черт с тобой, старая ведьма! — сказал Емельян с досадой.

В нем вдруг взыграла кровь донского степняка: он вскочил, вмиг облапил завизжавшую девушку, два раза чмокнул в щечку, а третий раз в уста. Но грузная прачка, хрипло заорав, дала ему такого леща по шее, что Емельян посунулся носом. И обе женщины с руганью побежали прочь.

С угла на угол сонно закричали караульные, залаяли сторожевые псы. От соседнего костра раздался смех.

— Эй, Омелька!.. Баба-то удалей тебя, ладно смазала, — скалил зубы проснувшийся казак.

Емельян потер шею, опять присел к костру, стрельнув смеющимся глазом вслед удалявшимся злодейкам, пробурчал:

— Погодь, погодь, немецкая корова!

Он вынул оселок, поплевал на него, стал натачивать саблю. Собаки смолкли, снова тишина. Редкий летел снежок. На площади сквозь мглу серели торговые будки и ларьки. Где-то через площадь высоко огонек мутнел. С башни ратуши плавно прозвучал серебряный звон — одиннадцать. Прошел быстрым маршем военный патруль. Казачьи костры погасли.

Емелька громко позевнул, поскреб пятерней густые волосы, привязал к ноге дремавшую свою лошаденку и, сладко улыбаясь грезам, завалился спать, седло в голову. Сны снились военные: топот копыт, барабан, звон сабель.

Пугачев жил весь в битвах. Жажда подвига, отвага, мечта о лихих наездах охватили его всего. Он мало думал о доме, о родных и совсем не думал о смерти. Он сжился с боевой обстановкой и чувствовал себя в ней, как рыба в большой реке.

Его часть вскоре отозвана была из Кенигсберга на поле военных действий.

3

4 августа 1758 года русские войска подошли к Кюстрину и калеными ядрами в несколько дней сожгли почти весь город. Фридрих, находившийся возле Праги, кинулся на выручку крепости. Он тайком переправился через реку Одер ниже Кюстрина и этим маршем отрезал наши главные силы от корпуса генерала Румянцева, стоявшего в нескольких милях вниз по Одеру.

Главнокомандующий генерал Фермор снял осаду и, отойдя к деревне Цорндорф, расположился на выгодных позициях.

В девять часов утра 14 августа Фридрих излюбленным своим косым ударом напал на правое крыло русской армии, где стоял новонабранный корпус, люди которого хотя и были сильны, но еще не нюхали пороху. И все-таки они встретили шеренги прусских

гренадер дружным ружейным огнем, а русская конница, врубившись в ряды врага, принудила пруссаков попятиться. Русские успели забрать двадцать шесть неприятельских пушек.

Но тут приключилось несчастье. Русская многочисленная конница, со свистом и гиканьем вырвавшись из каре, подняла густейшую пыль, а сильный ветер, как на грех, дул в нашу сторону. Вторая русская линия сразу окуталась тучами пыли и дыма. Пыль залепила глаза, и — ничего не видать. Русские, залп за залпом, палили наугад, пули летели то в нашу конницу, то в нашу переднюю линию. Пользуясь удобнейшим случаем, прусский генерал Зейдлиц ударил всей своей кавалерией по русской коннице и опрокинул ее на нашу пехоту. Он сразу перепутал наши ряды, не стало ни фронта, ни линии, солдаты, разбившись врозь, дрались уже отдельными кучками. А пыль все гуще и гуще. Все стали незрячими. Еще минута, и русские перемешались с пруссаками. Стоном все застонало, началась резня.

А донские казаки, утекая, все еще оборонялись от кавалерии Зейдлица. Пугачев с азартом, с прикряком рубил и рубил. Он сбросил чекмень, потерял шапку, вот сабля его с силой ударила в чужое железо, сломалась, а кобыленка под ним зашаталась, осела и рухнула. И быть бы ему растоптанным стальными копытами вражеской конницы, но спасла его все та же непроглядная пыль. Ага, вот оно, дерево, осокорь! Укрывшись за деревом, он мигом припал на левое колено и крепко упер в землю древко пики, прикрученной к правой руке выше локтя, а стальным острием ее и зорким глазом караулил врага, как зверолов медведя. Пред ним темной метелицей клубились пыль и дым, мимо него, гремя доспехами, скакали прусские всадники. Звяк, топот, хряст, выстрелы — и пика поймала вынырнувшую из пыльной завесы чью-то грудь. «О майн гот!..» — и проткнутый прусский всадник упал. Пугачев разом к его коню, разом в седло, и куда-то понес его испугавшийся конь. Все это было делом минуты. Ружейные выстрелы, пушки гремят, крики, ругань, команда...

На правом крыле, где новобранцы, бой продолжался. Был полдень. Яркое солнце било прямо в глаза русским воинам, солнце слепило их. Под натиском сильнейшего врага новобранцы дорого продавали свою жизнь: падали, умирали, но не сдавались и не помышляли о бегстве. Но в конце концов пруссаки их смяли.

Во втором часу дня Фридрих приказал атаковать и левое крыло русской армии. Тут пруссаки наткнулись на закаленные боевые полки. Бравый кирасирский полк первый принял на плечи удар врага. Сухощавый длиннолицый полковник Петр Дмитриевич Еропкин отважно бился в первых рядах. О бок с ним богатырски рубил длинным палашом дважды раненный и не бросивший фронта молодой офицер Григорий Орлов.

Дружный ружейный огонь, молодецкая контратака ошеломили врага, и, потеряв мужество, враг вскоре побежал врассыпную. На глазах удивленного короля русские гнали пруссаков в болото, в трясину, поражая без милосердия. Сам король очутился в крайней опасности: почти вся свита его была побита, поранена, король ускакал, а флигель-адъютант короля, граф Шверин, взят в плен.

На левом крыле наша победа была очевидна.

Вдруг примчалась конница Зейдлица. Опрокинутые, спасавшиеся бегством пруссаки ободрились, их пехота снова бросилась вперед, завязалась упорная битва.

Русские пушки работали метко, ядра и бомбы врывались в гущу наступавших пруссаков.

— Пушка горячая, вашблагородие, дать бы остыть, — предупреждал Павел Носов подоспевшего офицера Григория Орлова. — Подряд двенадцать разов палили... Как бы не хряпнула...

— Черт с ней... Дуй тринадцатый!

— Ой, разорвет...

— Дай-ка я наведу. — И отважный Григорий Орлов, раненный в руку и ногу, сдерживая острую боль, подбежал к пушке.

Горячий бой гремел по всему фронту с переменным успехом. Русские войска упорно сопротивлялись численно превосходящим пруссакам. Особенно отличались наши мушкетерские полки. Третий мушкетерский под командой Бибикова потерял в бою почти всех офицеров и много солдат. Юный поручик Михельсон был тяжело ранен штыком в голову. С обеих сторон потери были огромны.

Пугачев с казаком Семибратовым вез в тороках, как в люльке, старика генерала Броуна, получившего семнадцать ран. Множество санитаров с носилками беспрерывно подбирали изувеченных воинов.

Солнце меркло, садилось, а бой все гремел.

Поздний вечер. Обе стороны расстреляли весь порох, дрались врукопашную. Штыки, сабли, приклады, ножи — все было пущено в ход. Душили один другого руками, в кровь царапали лица, грызлись, как звери. Все люди как бы посходили с ума.

Но вот прихлынула тьма. А вместе с ней нечеловеческая ярость бойцов начала резко выдыхаться: воля парализовалась, мускулы потеряли силу, веки враз отяжелели, бойцов охватила какая-то туманная необоримая сонливость. Сражение всюду стало само собой стихать. Вконец ослабевшие противники, прерывая ожесточенную драку, с закрытыми, как у лунатиков, глазами, падали там, где захватила их ночь. И почти сразу же крепко засыпали. Живые валялись в темноте вперемежку с мертвецами, русские — с пруссаками. Над страшным ночлегом носились бредовые выкрики, вопли, неестественный хохот, визг. Люди, ополоумев, вскакивали, махали руками. «Коли! Пли! Ур-р-ра!» — и снова валились на политую кровью луговину.

Главные силы обеих армий всю ночь простояли под ружьем. Солдаты, кой-как поужинавши сухарями с водой, всю ночь не смыкали глаз: враг рядом, а Фридрих коварен, хитер. Павел Носов сидел на лафете пушки и, чтоб не сборол сон, тихонько мурлыкал солдатские песни. А Емельян Пугачев и не слыхал, как заснул. Его разбудила утренняя зоревая пушка.

Ночь прошла. Стали бить зорю. Солдаты по своим частям вместе со священниками и дьячками пели утреннюю молитву. Вновь начались небольшие стычки с неприятелем.

Никто не мог решить, кому же принадлежит победа. Весь штаб советовал Фермору дать немцам бой: русская армия сильна, солдаты только-только «вошли во вкус»... Но Фермор, струсив, приказал отступать. Русские стали отходить не спеша и в полном порядке. Фридрих преследовать их не отважился: у него не было пороху, люди и кони его утомились. Он ушел в Кюстрин.

И опять стали роптать у костров младшие офицеры и солдаты.

— Лютеранин... немец... Подкуплен... Какой он командующий! С корпусом Румянцева не сумел соединиться. А всю армию построил встречь ветра, против солнца и едва всех не погубил. Изменник!..

Слово «измена» звучало в русской армии с самого начала войны. И не без основания.

Пружины, нажатые в Петербурге английскими посланниками Уильямсом и Кейтом, действовали вовсю. В дело измены родине были совращены престарелый канцлер Бестужев, фельдмаршал Апраксин, друг и поклонник Фридриха II граф Головкин и другие. Фридрих получал нужные ему сведения и от прочих лиц, проживавших в Петербурге: от своей сестры, принцессы Оранской, саксонского резидента Функе, шведа Горна, курляндца Мирбаха, голландского посланника ван Сварта, пользовавшегося через попустительство Бестужева наибольшим доверием русского двора.

Все эти предатели, а с ними и множество других, были подкуплены английским и прусским золотом.

И лишь наследник русского престола великий князь Петр Федорович действовал в качестве прусского шпиона безвозмездно, ради преклонения пред Фридрихом II, ради презрения к России. Иногда присутствуя на заседаниях военной конференции, он все ее военно-тактические планы с поспешностью

пересылал в ставку Фридриха, который таким образом узнавал их раньше, чем русское командование.

Сотня, где был Пугачев, получила задание конвоировать наших раненых офицеров в город Кенигсберг. Расставаясь с Пугачевым, старый служака Павел Носов сказал ему:

— Ну, бывай здоров, сынок! Не ведаю, доведется ли свидеться. Уж больно свирепа война-то, чуешь. Ох, господи прости!.. Как бой — ничего, притерпишься. А как оглянешься назад — по спине мурашки. И глянь — какие храбрые сукины коты, стрель их в пятку!.. Что́ наши солдаты, что́ немецкие. Да не отстают и господа офицеры. Хоша бы взять Григорья Григорьевича Орлова. Чем не орел? По всем статьям — ирой!

4

Мелкопоместных дворян Орловых было пять братьев. Блистательной славой при дворе пользовался Григорий Григорьевич Орлов. Двадцатипятилетний силач, красавец, он вел жизнь, полную разгула и веселости. В прусской войне, в ожесточенной битве при Цорндорфе, офицер Григорий Орлов удивил войска неустрашимой своей храбростью, равнодушием к опасностям, азартной игрой в смерть и в жизнь. Он получил в бою три ранения, но все-таки остался жив и не покинул своего поста.

В той же битве взятый в плен адъютант прусского короля граф Шверин в марте 1759 года перевезен в Петербург. К соблазну многих, ему отвели только что отстроенный великолепный дворец Строганова у Полицейского моста на Невском; вообще он чувствовал себя в России не как военнопленный, а как «знатный иностранец».

Великий князь Петр принял графа Шверина с распростертыми объятиями, вместе с ним бражничал, открыто катался по городу. Петр однажды сказал ему:

— Я считал бы первейшей честью для себя служить в армии великого полководца короля Фридриха.

— Если будет позволено вашим высочеством, я почту за особое счастье довести о сем до сведения его величества, моего владыки, — воскликнул Шверин, с изумлением уставившись в наивно-веселое лицо Петра.

— Нет, — чуть задумавшись, ответил Петр, — пусть это останется между нами. А впрочем... И знаете что, дорогой мой граф? Если б я был императором, вы не были бы военнопленным.

Бывший адъютант Фридриха II граф Шверин облобызал руку наследника русского престола.

Григорий Орлов тоже возвратился с театра войны в Питер, был в звании пристава причислен к графу Шверину и вместе с графом начал бывать при малом дворе, где впервые встретился с великой княгиней Екатериной Алексеевной, женой Петра Федоровича, наследника престола. И сразу же подпал он под неотразимое обаяние молодой княгини.

В следующем, 1760 году он уже артиллерийский поручик и личный адъютант генерал-фельдцейхмейстера, самого блестящего из русских вельмож, графа Петра Шувалова, двоюродного брата Ивана Ивановича Шувалова, всесильного фаворита царствующей императрицы Елизаветы.

Ветреный Орлов к прелестницам никогда равнодушен не был. Он верен своей натуре остался и теперь. Как только сделался адъютантом Шувалова, нимало не смущаясь, тотчас же впал в блуд и отбил у своего сиятельного начальника любовницу, известную по красоте и развращенности княгиню Елену Куракину. С графом Петром Ивановичем Шуваловым от сего приключились скоропостижные немощи: геморрой, колики, кровавый понос и трясовица. И если б не тайное заступничество великой княгини Екатерины Алексеевны, падкому на любовь Григорию Орлову грозили бы неисчислимые невзгоды.

Ноябрь. Темная ночь. Мокрая с холодом непогодь. Нева злится. Небо черное, мрачное. Скрипят на Невском редкие заправленные маслом фонари. Будоч-

ники с алебардами топчутся возле своих будок, дуют от холода в пригоршни, сердито покрикивают в тьму: «Эй, кто идет? Пода-а-льше!»

Санкт-Петербург спит. Только у Григория Орлова на Малой Морской в окнах свет, парадная дверь настежь, дом полон гостей.

В двух первых комнатах молодые офицеры, сослуживцы Григория Орлова, режутся в карты. В третьей, где кабинет хозяина, веселый шум, взрывы раскатистого хохота: Григорий и Алексей Орловы рассказывают гостям похабные анекдоты. Тут были: капитан Преображенского полка Бредихин, измайловцы — два брата Рославлевы, Ласунский и прочие. Все молодежь. В коротких перерывах раздается:

— Митька, трубку! Митька, трубку!

Проворный казачок в голубой рубахе и сафьяновых сапогах с загнутыми носами то и дело подает гостям курящиеся трубки с длинными, в полтора аршина, черешневыми чубуками. Весь кабинет был набит густыми клубами табачного дыма — едва мерцают в канделябрах огоньки.

Только что вошедший со свежего воздуха капитан преображенец Пассек принялся от адского дыма чихать и кашлять:

— Фу-фу... Да что вы, черти, как надымили! Ну, чисто на прусской баталии у вас... Митька, трубку!

Его последние слова были приняты в хохот.

Григорий Орлов сказал:

— Что ж, прусский дух нам должен быть зело приятен: хоть и воюем с пруссаками, а между прочим они нам не враги...

— Как так? — приподнял густые брови Пассек.

— Не притворяйся, голубчик, дурачком, — продолжал Орлов по-французски, чтоб не понял казачок. Он говорил на чужеземном языке неважно, с запинкой, не вдруг подбирая слова. — Матушке государыне Елизавете надлежит скоро к праотцам переселиться, а будущий император наш, всему свету ведомо, почитает Фридриха Второго своим другом и во всем подражает ему.

Пассек подергал пальцами вправо-влево свой мясистый длинный нос, что-то пробурчал и устало повалился на турецкую кушетку. Он высок, широкоплеч, грузен, выражение лица приветливое, умное, носит парик, большой щеголь, часа по два проводит у зеркала. Как и большинство офицеров — картежник.

— Да-да, братцы гвардейцы, — сказал густым басом верзила и силач Алексей Орлов. У него вдоль левой щеки глубокий сабельный шрам, нанесенный в пьяной драке лейб-компанцем Александром Ивановичем. — Приходит нам всем, гвардейцам, неминучая беда. Великий князь нашу гвардию янычарами считает. Не кем-нибудь, а я-ны-ча-рами, ха-ха!.. И грозит унять.

— Хуже, — перебил его Григорий. — Недавно его высочество изволил выразиться так: «Гвардейцы только блокируют резиденцию, они не способны к военным экзерцициям и всегда для правительства опасны».

— Дурак, а умный, — кто-то неестественным голосом проквакал от печки и, сипло перхая, захихикал.

— Кто, кто дурак? — и все, широко улыбаясь, повернули головы в темный угол, к печке.

— А я знаю, про кого его сиятельство сказали: дурак, а умный, — прозвенел из полумрака веселый голос казачка. Мальчонка успел нализаться сладкого вина из опорожненных бутылок, не в меру стал развязен, сыпал табак мимо трубок, натыкался на мебель. — Это про великого князя... сказано.

Все громко, как грохот камней, захохотали, дым дрогнул, и дрогнули стекла. Из соседней комнаты на взрыв смеха прибежали Хитрово, семнадцатилетний вахмистр Потемкин и еще двое офицеров. Тоже принялись невесть чему хохотать. Хохотал за компанию и курносый Митька.

Григорий Орлов нахмурился и постучал в пол трубкой.

— Митька, — сказал он, — я тебе, мизерабль несчастный, до колен уши оттяну, я тебя завтра же продам на рынке, как курицу, а замест тебя арапчонка куплю. Пшел вон!

Казачок всхлипнул, стал тереть кулаками глаза и, пошатываясь, побрел к двери. Всем сделалось жаль маленького Митьку.

— Устами младенцев сам бог глаголет, — заметил капитан Пассек и подмигнул Митьке в спину.

— Эти боги на кухне околачиваются, — возразил Алексей Орлов, — денщики, да солдаты, да торговцы из мелочных лавчонок, сиречь — простой народ. Видали, господа? Это очень примечательно.

— Митька! — крикнул подобревший хозяин. — Встань передо мной, как лист перед травой...

Полупьяный, с воспаленными глазами казачок выскочил из-за портьеры и повалился в ноги хозяину.

— Я вижу, подлец, что у тебя в безмозглой башке творится. Я тебя насквозь вижу, — притворно запугивал он Митьку, грозя пальцем. — Встань! И ежели ты, петух щипаный, еще хоть раз скажешь или только подумаешь, что его высочество великий князь дурак, я тебе знаешь что сделаю?

— Зна-а-ю, — виновато хныкал Митька.

Все прыснули. Человек у печки подавился смехом и закашлялся. Митька ушел.

Григорий Орлов прикрыл за ним дверь и тихо, но с разжигающими жестами стал говорить:

— Эх, братцы гвардейцы! И какой это к чертовой матери великий князь. Наши войска гибнут в прусской войне тысячами. У государыни Елизаветы слезы не просыхают от наших потерь, а рекомый русский великий князь радуется и похваляется, что и он истый пруссак. И перстень носит с рожей короля Фридриха. Срам, друзья, срам...

— Вот этими своими ушами слышал! — громогласно закричал Алексей Орлов, но Григорий погрозил ему пальцем, Алексей сбавил голос. — Когда наши наклали немцам при Гросс-Эггерсдорфе, великий князь проклинал храбрость русских и с горя нажрался пьян, как стелька...

— А вы ведаете, что́ есть пьяный великий князь? — подхватил Григорий Орлов и, запахнувшись в бухарский халат, стал взад и вперед вышагивать по кабинету. — Когда он нажрется красного вина да

пива со своими голштинцами, он буйствует, ругается, как конюх... Обнажает шпагу! А кому от него больше всех тягостей? Разумеется, великой княгине. Уж мне ли не знать!

Все поглядели на него с надеждой, завистью и тревогой. Грузный Пассек перевалился на кушетке с боку на бок, язвительно сказал:

— Этот самый Карл-Петр-Ульрих из Голштинии, сиречь Петр Федорыч, смею молвить, разумом зело скуден. Ведь ему тридцать три года стукнуло, а он много дурашливей Митьки-казачка... Хотя бы эта игра в солдатики... Эта казнь крысы по законам военного времени... Позор!

Григорий Орлов и гости стали пить вино, жженку, шампанское. Пили с печалью, с раздражительным задором. Вино не веселило, вместо бодрой радости растекалась по жилам горечь.

— Да оно и понятно, господа, — желчно начал Пассек. — Ведь он же круглый неуч, только и всего, что на скрипке пиликает, да кадрильи хорошо пляшет, да ногами прусскую муштру горазд откалывать. Что́ он читает? Ничего.

— Как ничего! Ошибаетесь, капитан, — прозвучал из темноты от печки все тот же насмешливый голос, неизвестно кому принадлежащий. — Недавно он накупил полвоза лютеранских молитвенников. А еще уважает читать кровавые сказки про разбойников. Вместе с метрессой своей Марфуткой Шафировой...

— Но ведь ныне при нем... — начал было молчавший до сего капитан Бредихин и осекся.

— Не смущайтесь, не смущайтесь, Бредихин. — И из-за печки вылез князь Михаил Иванович Дашков, муж молоденькой Екатерины Романовны Воронцовой, бывшей в дружбе с великой княгиней. Он вынул золотой с бриллиантами портсигар, достал заграничную сигару и от свечи закурил. — Вы хотели сказать, Бредихин, что великий князь путается ныне с моей свояченицей, сестрой моей жены, с Лизкой Воронцовой? Ну что ж, всем сие ведомо, и... дуракам закон не писан... Словом, вкус у великого князя ничуть не лучше, чем у самого последнего капрала. Я Марфутку

Шафирову весьма довольно знаю: костлявая, тощая, шея как у цапли. Да и Лизка не лучше: словно телка холмогорская, толстая. И неряха. От нее всегда потом пахнет, как от козла. Фи! Ни дать ни взять — трактирная служанка. И в придачу — дура набитая. Ну, стало быть, два сапога пара — она да князь. А я милости у них не ищу, я ничего не ищу у них. А она, дура, черт знает о чем мечтает... Она, тетеха, мечтает не больше, не меньше как быть российской императрицей! — выкрикнул Дашков, с маху швырнул сигару на пол и, сердито отдуваясь, снова залез за печку.

Растерявшиеся гости не знали, как отнестись к резкой вспышке старшего товарища. В неловком молчании чокнулись, выпили.

Князь Дашков снова вылез из своего темного убежища. Ему хотелось высказаться до конца.

— И уж кстати, — начал он, насупив брови и глядя куда-то вбок, — а чего ради у нас такие потери на войне, почему нас иногда жестоко бьют? Да очень просто... Измена. Шпионаж. Вот смотрите: английский посланник Кейт — шпион, голландский ван Сварт — шпион, наш русский генерал Корф со своей любовницей — шпионы. И прочие и прочие. Все они служат прусскому королю, все подкуплены прусским золотом, кроме нашего великого князя, который состоит шпионом Фридриха задаром.

— Не может быть! — все закричали в один голос.

— Говорю доверительно... Можете не верить, господа. Это поистине чудовищно, но это так. Кейт всегда сообщает великому князю все новости с театра войны, разумеется блюдя прусские интересы, а великий князь передает ему сведения о нашей армии.

— Тьфу! — с остервенением плюнул хозяин и по-солдатски обругался.

Кто-то из облаков табачного дыма уныло изрек, вздохнув:

— И это будущий самодержец Российской империи...

— Ну, сие еще бабушка надвое сказала, — загремел Алексей Орлов, потягивая горячую жженку. Он вспотел, шрам на его лице раскраснелся.

— Этот чужак плюет на всех нас, — учащая свой шаг, в раздражении сказал хозяин; его взгляд стал зол и быстр. — Плюет на всю Русь, на религию, на все обычаи наши. А наипаче на гвардию. Он рад живьем нас слопать, да государыни побаивается. Словом... Надо как-то... Надо как-то позаботиться, господа, и о своих головах. — Последняя фраза была сказана негромко, но столь выразительно, что прозвучала в сердце каждого как боевой призыв.

Послышалось злобное покашливание, нервный звяк шпор. Младший женоподобный Рославлев стал тихонечко высвистывать воинственный мотивчик. У Бредихина дьявольски ныл зуб. Хватаясь за вспухшую щеку, он сказал:

— Ха! Гвардию уничтожить, гвардию уничтожить... Легко сказать! Гвардии десять тысяч. А у него кто? Голштинского сброда тыщи две-три... — Он приподнялся за столом и взял на больной зуб водки.

Григорий Орлов, не ответив на слова Бредихина, прислонился спиной к изразцовой, в синих голландских пейзажиках, печке, закинул руки назад, полы халата повисли.

— И возьмите во внимание, — засверкал он большими, покрасневшими от частых кутежей глазами, — сей ублюдок день ото дня становится наглей. Раньше свою голштинскую форму с прусским орденом Черного Орла он позволял себе носить у себя в покоях, а теперь только в ней и щеголяет. Ха!.. А вместо гвардейской формы нашей, установленной великим Петром, вводятся, как вам ведомо, прусские разноцветные мундирчики в обтяжку с бранденбургскими петлицами. Ха! Ха!

Атмосфера накаливалась. В лицах гостей — напряжение, глаза озлоблялись. Наступило гнетущее молчание. Но чувствовалось, что тишина вот-вот взорвется. И вдруг как из тучи гром.

— Действовать! — выпалил силач-рубака Алексей Орлов и, притопнув, вскинул кулаки. — Действовать, действовать, братцы, надо! Действовать, пока не поздно...

— Но как, как? — привстав на кушетке, пожимал мясистыми плечами рослый Пассек. — Ежели имеешь план, скажи... Как?

— Ребята, слушайте меня, — низким басом протрубил Григорий Орлов. Он запрокинул голову, касаясь затылком печки. — Мы здесь люди свои, каждый за каждого поручиться может. Обстоятельства таковы... Не от себя, не от себя говорю вам. Вы понимаете меня, ребята? От причуд этого шута венценосного наипаче страдает великая княгиня (Григорий на мгновение смежил глаза, представил себе облик Екатерины Алексеевны). И по величайшему секрету вам: у Петра Федоровича в голове решено и, как говорится, подписано: коль скоро станет он самодержцем, жену немедленно заточит в монастырь, а в государыни возведет Елизавету Воронцову... (— А не я ль вам говорил?! — спросил из-за печки князь Дашков.) Да, да. А сына Екатерины, Павла Петровича, лишит законного права на наследование престола. Чуете, ребята? А нас, дворян российских (он впился в распахнутые полы своего халата и потряс ими), а нас, дворян, рекомый сатрап турнет ко всем чертям и замест нас призовет пруссаков с голштинцами, как уже призвал двух голштинских дядьев своих. Вот вам истина, если хотите. Под клятвой подтвердить могу...

Взволнованные гвардейцы нервно кусали губы, вгрызались в чубуки, зябко вздрагивали. Перед ними вставали судьбы родины, в мыслях подымались мрачные вопросы, кровно задевавшие их как представителей родовитого дворянства.

Григорию Орлову жарко от печки, от вскипевшей крови. Сбросил халат, вновь стал мерно вышагивать по комнате. В белейшей, в плиссе и кружевах, сорочке, заправленной в короткие, цвета сирени, панталоны и перехваченной по талии чеканным серебряным поясом, он широкоплеч, высок и строен. На сильных, с большими икрами ногах шелковые светлые чулки и бархатные туфли с высокими каблуками. Взволнованные гости невольно залюбовались и его великолепной, как изваяние отличного скульптора, фигурой, и величественной поступью, и красиво очерченным, вызы-

вающе смелым, выразительным лицом. Они были влюблены в Григория Орлова — и гости и братья его.

— Итак, — продолжал хозяин, по-умному подчеркивая нужное жестами и голосом, — великой княгине угрожают беды, дворянству — неисчислимые невзгоды, престолу российскому — потрясения, а в першпективе — всей родине нашей мрак. Что ж нам делать, друзья мои? — Он поджал губы, обвел гостей взором вопросительным и шумно задышал.

Молчали. Ждали подсказа от хозяина. Только Алексей Орлов не сдержался, выкрикнул:

— Дерзать!.. Вот что делать. Действовать!

Григорий Орлов движением руки и холодной улыбкой остановил горячность брата и стал говорить, торопясь и задыхаясь:

— Великий князь вместе со своими надменными голштинцами презирает великую княгиню, презирает все русское. А великая княгиня русский народ любит и славой российского оружия дорожит. Она чает, что на ее защиту встанут офицеры гвардии и войско, она такожде полагает найти опору и в публике... — Вдруг он спохватился, нахмурил брови, отрицательно затряс головой. — Нет, нет... Клевещу на нее. Этого желания я из ее уст не слышал и вам о нем не говорил. Ее высочество лишь обретается в сугубом унынии и день и ночь. Ее высочество зело скорбит, однако к ограждению покоя своего никаких мер принимать не тщится, во всем полагаясь на произволение божие...

Невидимка Дашков на два смысла улыбнулся. Григорий Орлов ныряющей походкой приблизился на цыпочках к двери в соседнюю комнату, без шума закрыл ее, прижался к ней спиной. Его лицо стало таинственным, дугой изогнутые брови поднялись, он подался корпусом вперед и, глядя в глаза капитану Пассеку, зашептал:

— Ребята, а знаете что? Государыня Елизавета почитает Петра Федоровича не способным к правлению страной, что он не достоин-де занимать трон. Ее величество изволили выразиться про него: «Племянник мой урод, черт его возьми!» Ее величество

склоняется назначить своим преемником малолетнего Павла Петровича. Да и сама великая княгиня Екатерина будто не раз говаривала датскому посланнику барону Остен, что она предпочитает быть матерью императора, чем супругой его. Поняли, ребята? — громко закончил Григорий Орлов и посверкал на всех глазами. — Ну, а дальше что? Как вы, ребята, себе мыслите? Император — малолетний Павел, при нем регентшей Екатерина — мать. А голштинского выродка, Петра, куда? — Он скрестил руки на груди, поджал полные губы и выжидательно стал раскачиваться корпусом.

— Время покажет, — раздумчивым тоном промолвил Пассек.

— Ха, время, — с ехидством улыбнулся хозяин, брови его изломились в гневе. — Вот мы, русские, завсегда так. Авось, да небось, да как-нибудь. Ну что ж, время так время. — Он легким шагом приблизился к столу, выпил чарку водки, крякнул, съел груздок. — Все ж таки солдатам, ребята, надлежит помаленьку внушать, осторожненько, с умом. Только на это денег треба, а денег у нас черт-ма! Нету!.. Эх, черт, не везет нам... — Ударом ноги он опрокинул расшитый шелками каминный экран, устало опустился на кушетку, подпер ладонью голову с завитым в букли припудренным париком и закрыл глаза.

Гости поняли — хозяин утомился, пора по домам. Слышно было, как черный ветер лижет окна, с визгом врывается в печную трубу, гонит по улице сорванный с крыши железный лист. С Петропавловской крепости ударила пушка — прибывает вода в Неве. Английские куранты в глубине кабинета пробили три часа и стали бредить-вызванивать серебряную пьеску. Подвыпивший Алексей Орлов от нечего делать сидел у печки, возился с железной кочергой. Мало-мало попыхтев над ней и запачкав руки, он связал из кочерги, как из веревки, узел. Все взирали на его работу с удивлением.

Вдруг, сломав угрюмую тишину, с тавризского, увешанного старинным оружием ковра, что прибит над кушеткой, сорвался проржавленный средневеко-

вый топор. Он стукнулся торчком в тугую спину согнувшегося Пассека, затем перепрыгнул в колени дремавшего Григория Орлова. От неожиданности все вздрогнули, переглянулись. Григорий Орлов боднул головой и гадливо отшвырнул топор, его сонные глаза расширились, лицо побелело.

— Топор... Топор... — с глухим хрипом сказал он. — Что сие значит, господа?

— Ничего не значит, — отозвался из-за печки голос. — Выскочил гвоздик. Вот и все. — Сказав так, князь Дашков выпростался на свет божий, поднял топор, подслеповато присмотрелся к нему и сказал с ухмылкой: — Эх, топорик, топорик... Вот смотрю на тебя, а на язык просятся жестокие слова временщика Бирона. Проклятый палач сказал: «Русскими должно повелевать кнутом или топором». Но ради чего до сих пор уцелела на плечах его собственная башка — не ведаю и немало тому дивлюсь.

ГЛАВА III

Большое Кунерсдорфское сражение

1

Генерал Фермор вскоре после Цорндорфской битвы от главного командования был отстранен. В Кенигсберг прибыл новый главнокомандующий, граф Петр Семенович Салтыков. Старичок маленький, простенький, седенький, он гулял по улицам города в скромном белом, украинских полков, кафтане без всяких побрякушек и пышностей, его сопровождали всего лишь два-три человека свиты. Кенигсбержцы дивились, как этой «беленькой курочке» доверили командовать «столь великой армией». Но вскоре слава о нем разнеслась повсюду.

Летом 1759 года русские войска стали лагерем в четырех верстах от города Франкфурта, что на реке Одере, у деревни Кунерсдорф. Здесь 1 августа про-

изошло самое крупное, самое кровопролитное за всю Семилетнюю войну сражение.

Армия заняла холмистую местность вдоль течения Одера. Деревня Кунерсдорф находилась в средине расположения войск.

По всему русскому фронту версты на три — цепь костров. Заря давно погасла, в небе стоял белесый месяц, мигали звезды. Деревня Кунерсдорф была пустынна: все жители, страшась предстоящей битвы, скрылись в леса. У костров солдаты ели кашу, кой-где пели песни и плясали. Иногда слышался дружный хохот. Приблудные собаки, весело взлаивая, перебегали от костра к костру. Многие из псов жили при армии года по два, по три, они делили с войсками все ужасы похода и доставляли солдатам немалые развлечения и радость.

Полковник 3-го Мушкетерского полка Александр Ильич Бибиков стоял на лысине кургана. Прислушиваясь к звукам обычной лагерной жизни, он окидывал грустным взором и чуждый небосвод, и укутанную голубоватой полутьмой чужую землю. Ведь завтра на всем этом обрамленном кострами пространстве вместо песен и смеха загремит кровопролитный бой. И эти песенники и эти бесшабашные плясуны, может быть, первыми сложат здесь свои головы.

Взволнованный Бибиков взглянул в сторону далекой своей родины, прерывисто вздохнул и, вынув пенковую греческую трубку, пошел к ближайшему костру, чтоб закурить от уголька.

У костра было людно, весело. Мушкетеры — народ средних лет и молодые — слушали старого солдата Никанора из Олонецкого края. Он грубыми кривыми пальцами звонко играл на небольших походных гуслях и сиплым голосом вел былину про Илью Муромца. Старые, замызганные, со следами огненных угольков от костра, эти гусли принадлежали еще деду Никанора; солдат дорожил ими. В его торбе были икона, гусли и в тряпочке щепоть родной земли.

Многие солдаты возили с собой, как нечто самое святое, родную землю.

Все с любовью посматривали в беззубый рот старого сказителя, на его обвисшие щеки и напряженные морщины на вспотевшем лбу.

Молодой офицерик Михельсон, коротавший время у костра, увидав подходившего Бибикова, вдруг вскочил и скомандовал:

— Смирно!

Все поднялись и — навытяжку.

— Вольно, ребята, — мягким тенористым голосом сказал полковник, щуря от света внимательно глядевшие карие глаза. — Ну как? Воюем завтра, братцы?

— Воюем, вашскородие, — в один голос ответили солдаты.

— Смотрите, жарко будет... Сам Фридрих здесь, — сказал, улыбаясь, Бибиков.

— Нам это нипочем, вашскородие, — заговорили солдаты, — Фридрих ли алибо кто другой.

Все стояли, сидел один лохматый Шарик и, поглядывая в продолговатое, с высоким лбом добродушное лицо Бибикова, мел хвостом землю.

— Помните, братцы, — продолжал Бибиков, попыхивая трубкой. — В бою поглядывая друг за другом, береги товарища. В случае опасности, не прозевай выручить. Не бойся. Начальство слушай, да и сам мозгами шевели.

— Да уж охулки на руку не положим... Поди не впервой!

Темно-бронзовые от загара лица солдат были бодры, голоса звучали уверенно. Бибиков с радостью подумал: «Ну и молодцы, Русь сермяжная! С такими весь свет штурмовать можно».

— Ну, спокойной ночи, братцы! Поди и спать пора, — проговорил Бибиков. И, обратясь к Михельсону: — А ну, господин поручик, пройдемся.

Быстроглазый, круглолицый Михельсон шагал рядом со своим полковником.

— Ну, дружок Иван Иваныч, как живешь? Что из деревни пишут? Ну, как голова? Болит?

— Нет, господин полковник, — по-юношески звонким голосом ответил Михельсон и потрогал глубокий шрам на голове от штыковой раны, полученной им

под Цорндорфом. — Боли особой не чувствую, а в ушах шумит. И бессонница порой...

— То-то же... Поберегать себя надо, дружок. Который тебе год?

— Девятнадцать скоро.

— Юн, юн. Поберегай себя-то, на рожон не лезь. Храбрость без ума недорого стоит.

— Сладить с собой не могу, господин полковник. Война для меня, как вода для рыбы. Я для войны рожден. И как бой—все позабываю. В чувство прихожу лишь после боя. Я смерти не боюсь, господин полковник.

Взобравшись на бугор, они шагали взад-вперед возле палатки Бибикова.

— Господин полковник,— заговорил Михельсон,— а верно ли, что у Фридриха наемные войска?

— А ты не знал? — поднял брови Бибиков и взял молодого человека под руку. — Это нам еще в Петербурге было ведомо. У Фридриха рекрутского набора нет. Он большую часть своего войска вербует через помещиков из их же крепостных либо из городских голодранцев. А четверть его солдат вербуется из всякого заграничного сброда; тут тебе и швейцарцы, и голландцы, англичане, испанцы, французы да всякого жита по лопате!

— Удивляюсь, — пожал плечами Михельсон. — Чего же ради они столь храбры, весь этот сброд?

— А пуля офицера в спину трусу, а палки, а шпицрутены?.. И поверь, дружок Иван Иваныч, долго ли, коротко ли, Фридрих напорется на русские штыки, и от его военной славы только чад пойдет. — Бибиков был взволнован, говорил приподнятым голосом и все больше и больше ускорял свой шаг.

— Я тоже так мыслю, — охотно согласился с ним Михельсон, его круглые щеки порозовели.

Костры один за другим угасли, звуки стушевывались, меркли. Лагерь погружался в сон.

— Ну, прощайте, голубчик. Идите спать. Давайте-ка поцелуемся. — И Бибиков по-родственному обнял растроганного Михельсона. — Значит, Фридриха завтра бьем?

— Бьем, господин полковник.

2

Меж тем скороспешный Фридрих поднялся в два часа ночи, сигнальными ракетами разбудил свою армию и сразу двинул ее в поход.

Сухощавый, несколько сутулый, с прямым длинным носом, небольшим строгим ртом, острым подбородком и огромными темно-синими глазами, оживлявшими мускулистое загорелое лицо, Фридрих, объезжая полки и батареи, громким, мужественным голосом кричал:

— Солдаты! Поздравляю с походом! В бою назад ни шагу. Умри, но победи! Ваш король всегда среди вас... Вперед!

Ближняя дорога лежала через лес и крутые горы, разделявшие обе армии. Чтобы не утомить солдат, он повел их в длинный обход и появился на виду у русских только около полудня.

Не дав русскому командованию опомниться, а своим солдатам отдохнуть, он решил быстро напасть на левый русский фланг и начал строить части своих войск, стягивая их к перелескам.

На левом крыле стоял князь Голицын с «новым корпусом» из молодых солдат. Поперечная линия, обращенная непосредственно против врага, за теснотою места состояла лишь из двух полков.

Затрубили трубы, забили вражеские и русские барабаны, заиграли оркестры. Шеренги прусских гренадер, выйдя из леса, устремились в лог, чтоб сбежать затем в глубокий овраг.

— Батареи! Огонь картечью!..

Бомбардир Павел Носов с горящим смоляным факелом подскочил к своей пушке.

Многочисленные батареи метко разили бежавшего на русских врага. Но враг, пополняя убыль все новыми и новыми шеренгами, стремительно спускался вниз, в овраг. Преодолев кручу, неприятель выбрался наверх. Русские изрядно стегнули его пушечной картечью и ружейным огнем. Однако немецкие гренадеры по телам своих убитых товарищей яростно

бросились на два русских полка. Оба полка вскоре были смяты пруссаками.

Князь Голицын взамен погибших полков двинул четыре мушкетерских, чтоб короткими людскими перемычками задержать напор врага.

Третий мушкетерский полк вел в бой Бибиков. Когда его полку приспело время драться, юный Михельсон будто охмелел. Он выхватил у своего ординарца пику и с воплем: «Вперед, ребята!» — бросился в гущу неприятельских шеренг. Он сразу же дважды был контужен, затем тяжко ранен пулей навылет в поясницу. Потеряв сознание, он повалился на трупы. Бибиков, заметив это, поскакал вперед: «Солдаты! Спасай поручика Михельсона». И вот Михельсон найден и со слабыми признаками жизни отнесен под градом пуль в место безопасное. Первым бросился его спасать старый солдат Никанор, гусельник. У него у самого сильно оцарапана штыком щека, сочилась кровь, но он этого не замечал. Из грязной бутылки он плеснул в побелевшее лицо Михельсона водой. Михельсон открыл глаза, весь сморщился, оскалился от страшной боли, застонал.

Солнце ярко горело в небе. Изнурительный зной охватил всю землю. Двести неприятельских пушек гудели не переставая; пороховой дым клубился, застилая пространство. С грохотом и пламенем разрывались бомбы и ящики с зарядами, взлетали на воздух колеса, лафеты пушек, разорванные на части тела людей и лошадей.

Мушкетерские полки дрались с неослабевающим мужеством. Бибиков все время был на линии огня. Вдруг вблизи рванула бомба. Конь Бибикова сразу рухнул и подмял под себя седока. Бибиков, ушибленный конем и оглохший от взрыва, едва поднялся. Его увели.

А неприятель, щедро подкрепляемый свежими силами, стал одолевать и полки мушкетеров. Многие русские батареи были уже в руках врага. Пруссаки стремительно подавались вперед.

Положение русской армии становилось трудным.

Главнокомандующий Салтыков приказал генералу Панину бросить в бой еще два гренадерских полка. За теснотою места русским невозможно было сразу развернуть свои силы. Между тем Фридрих, перестроив свои войска в массивную колонну, решил загнать русскую армию, как гигантским поршнем в трубе, на правый наш фланг и там расплющить ее. Густая колонна неудержимо двинулась на русские позиции.

Уже деревня Кунерсдорф, расположенная в средине нашего растянувшегося длинной и узкой лентой фронта, осталась у Фридриха в тылу. Фридрих торжествовал. Фридрих явно видел, что русским некуда податься: слева река, справа непроходимое болото; впереди — буераки. Они должны были сдаться в плен или погибнуть.

Русское командование растерялось. Салтыков соскочил с коня, пал на колени, молился: «Господи, вразуми! Спаси вверенное мне воинство».

Торжествующий Фридрих, обращаясь к свите, приказал:

— Гонцов! В Берлин, в Шлезию, к брату моему принцу Генриху. К закату солнца русская армия будет уничтожена.

Гонцы тотчас умчались с отрадным известием.

Чрез некоторое время кровавая битва как-то стихийно стала затихать. Пруссаки ослабили свой яростный напор. Измученные, они хотели передышки. Генералы из свиты советовали распаленному Фридриху, ввиду полной прусской победы, остановить бой.

— Господа генералы! — воскликнул Фридрих и, достав золотую табакерку, нюхнул табаку. — Господа генералы! Русскую армию нужно не только побеждать, но истреблять до конца. Иначе она снова возродится...

Опытный воин генерал Зейдлиц особо настойчиво обратился к Фридриху:

— Ваше величество! Победа очевидна. Русские загнаны на тесный правый фланг. Большинство их орудий в наших руках. Наши солдаты изнемогают от десятичасового перехода, от беспрерывной кровавой

схватки, от ужасного зноя. Они с двух часов ночи на ногах... Разгром русских можно завершить завтра.

Фридрих задумался. Кусал сухие тонкие губы. Подбородок его еще более заострился, прямой взмокший нос хмуро навис над кривившимся ртом. В душе он ненавидел Зейдлица — как своего соперника, готового похитить его боевую славу.

— Хорошо, — сказал король, тяжело переводя дыхание, и отхлебнул из фляги глоток холодного кофе, все лицо его было покрыто обильным потом. — А ты, Ведель, как думаешь? — обратился он к своему молодому любимцу.

— Я с вами согласен, ваше величество. Бой надо продолжать до конца, чтоб не дать врагу передышки.

— Отлично! Реванш... — охрипшим голосом закричал король, выхватывая шпагу. — Ну, так с богом, марш вперед!

И крепко пришпорил лошадь. Генералы переглянулись. Зейдлиц, пожимая плечами, с ненавистью покосился на ничтожного царедворца Веделя и поскакал к своим кавалерийским полкам. За королем двинулся отряд гусар-телохранителей.

— Солдаты, вперед! — выкатывая глаза, скомандовал Фридрих. — Ваш король с вами!

Пруссаки действительно устали, они изнемогали от жары, от неукротимой жажды, но, видя среди своих рядов короля, с новыми силами послушно бросались вперед. Правый русский фланг был от врага еще далеко. Многие полки стояли там в тесноте, в бездействии. Запряженные парами волы подвозили с реки воду. Здесь было сравнительно спокойно, бой кипел в двух верстах. Но многочисленные маркитанты быстро собрали палатки, сложили товары на возы, приготовились к бегству.

Граф Салтыков стоял со свитой на высоком пригорке. Прищурив глаза и прикрываясь ладонью от солнца, он зорко наблюдал за ходом сражения. Пороховой дым сизыми клочьями плавал над побоищем.

— Выдыхаются, выдыхаются, — бормотал Салтыков себе под нос. И вдруг закричал: — Господа!

Немцы выдыхаются... А где австрийцы со своим Лаудоном?

— На еврейском кладбище, возле наших батарей, ваше сиятельство.

— Ввести в действие. Они застоялись.

С приказом подскакал адъютант. К Салтыкову с разных мест боя подъезжали ординарцы, курьеры, адъютанты.

— Ваше сиятельство, — взмокшие от пота, задышливо рапортовали они, в их глазах мелькала тревога. — Ваше высокопревосходительство! Фазис боя критический. Пруссаки пытаются заключить армию в мешок!

— А мы в этом мешке сделаем такую дырищу, что немцу и не заштопать, — с юмором и прежним мужеством ответил седенький, простенький главнокомандующий. К нему вернулись самообладание, воля, ясность ума. Без мундира, без знаков отличия, простоволосый, в одной пропотевшей дотемна рубахе, он поскакал со всем штабом на другой высокий взлобок, еще раз окинул взглядом клубившуюся дымом и грохотом арену битвы.

— Берегите вон ту высоту... как ее? Шпицберг, — показал он трубой, — и другие высоты. Чтоб доконать нас, немец неминуемо полезет на них. Скажите Фермору и графу Румянцеву, чтоб занимали высоты. Да чтоб дали нашим молодцам по чарке водки.

Три иностранных волонтера, бывших при штабе, наперебой говорили Салтыкову по-французски:

— Ваши солдаты, граф, достойны удивления. Мы с утра были в самом пекле. Они как железные...

Салтыков с благодарной улыбкой кивнул им и положил в рот питерский сладкий леденчик.

3

Шесть часов вечера, солнце склонялось, жара сдавала, но бой стал разгораться с новой силой. Румянцев с Фермором начали занимать указанные главнокомандующим высоты, там были русские батареи.

И действительно, чтоб сделать нам пагубу, Фридрих вскоре повел войска брать высоты. Главные силы его были обращены на высоту Шпицберг. Он бесстрашно скакал по шеренгам солдат, воинственными криками поощрял их к бою:

— Вперед, герои мои!

— К черту! — брюзжали в ответ уставшие гренадеры, провожая короля злобными взглядами.

— Господа ротные командиры! — стараясь преодолеть гул ружейной пальбы, орали во весь рот полковники, разъезжая сзади атакующих шеренг, — принудьте капралов усердней погонять людей.

Упитанные капралы направо-налево лупили отстающих солдат увесистыми палками:

— Вперед, усатые черти, вперед!

Вот удар палки обрушился на голову замедлившего шаг солдата-ирландца. Тот повернулся к капралу и крепким ударом приклада сшиб его с ног. Щелкнул выстрел, ирландец упал, офицер-палач, убив ирландца, опустил дуло дымившегося пистолета.

— Вперед, усатые черти, форан, форан! Пулю в спину! — И палки капралов бьют измученных прусских солдат, погоняют их, как стадо на бойню.

Пуля ударила в королевского коня, конь упал, упал и Фридрих. Падая, он обостренным сознанием уразумел, что все его дело проиграно и все возможности остановить битву для него исчезли: вновь вспыхнувшее побоище приняло стихийный характер, и не во власти человека было прервать его. Флигель-адъютант Гец подхватил короля, предоставил ему свою лошадь.

— Ваше величество! Мы не можем рисковать вашей жизнью, это место крайне опасное, — со всех сторон предупреждали короля.

Фридрих криво ухмыльнулся, в огромных глазах его — бешенство.

— Нам подобает все испытать для получения победы, — нимало не веря в победу, нервно сказал он, садясь на коня. — И мне надлежит так же хорошо исправлять свою должность, как и всем прочим.

Ядра русских орудий, град русских пуль косили неприятеля. По склонам холмов немцы как сумасшедшие лезли на приступ высот. Русские дрались с небывалым мужеством, с запальчивым ожесточением. Лежа, с колена, стоя они встречали врага ружейными залпами и, расстреляв порох, бросались врукопашную. Здоровенные парни вперемежку с седыми стариками кидались на врага дружно, без страха, напористо: «Вали, вали, братцы! Коли их, окаянных!» Взмахивают штыки и приклады, сверкают сабли офицеров: стон, визг; падают, падают, падают... На смену им — новые.

— Напирай, ребята, напирай! Ломай хребты.

И вот, шаг за шагом, пруссаки начинают сдавать, под натиском русских штыков сползают с горы.

— Форан, форан! — хрипло орут капралы, понуждая солдат палками. Но ряды пруссаков заметно тают, капралов тоже становится все меньше и меньше. На подкрепленье разбитых рядов раздраженный, встревоженный Фридрих бросает новые силы. И снова:

— Форан, форан, усатые черти! Вперед!

Молодой подполковник Александр Васильевич Суворов, штабной офицер дивизии Фермора, выпросил себе четыре роты: «Ваше превосходительство, дозвольте. Душа горит». Небольшого роста, сухонький, вихрастый, с длинной шпагой в руке, он бежит впереди своих молодцов, с ловкостью перескакивает через канавы и рвы. Достигнув места схватки, он весело подмаргивает солдатам, кричит:

— Стрелять недосуг, в штыки, в штыки!

А поработав геройски штыками, под условный крик Суворова: «Умерли!» — суворовцы, один по одному, падали на землю. И когда напирающий враг, считая их мертвыми, пробегал над ними вперед, вдруг, по звонкой команде Суворова: «Ожили!» — все вскакивали и с оглушительным криком: «Ур-рр-а-а!» — разили неприятеля в тыл штыками и пулями.

Тем временем железная конница генерала Зейдлица, последний оплот короля, полк за полком, бросалась на штурм наших высот. Но меткий огонь

русских пушек гнал их прочь. Сам Зейдлиц был ранен. Его сменил принц Евгений. Прусская конница трижды кидалась на приступ и всякий раз отступала с уроном. Во второй атаке был ранен картечью и принц. На выручку потрепанной коннице ринулись белые, королевской гвардии гусары. Русские пули и ядра быстро смяли их. Предводитель гусар разорван вместе с конем русской бомбой.

Румянцев и Панин вводили в бой свежие силы, умело обрушивая их на противника. Граф Салтыков с напряженным вниманием озирал в «першпективную трубу» поле битвы. Внешне он был спокоен, но все горело в нем. Он посапывал, то и дело облизывал пересохшие губы, возле выпуклых слезящихся глаз складывались радостные морщинки. «Так-так-так... Ай, молодцы!» — с удовлетворенным кряхтеньем покрикивал он.

Пруссаки ослабли. Многие части их пришли в замешательство. Распалившийся Фридрих, проносясь по расстроенному фронту, воочию видел, что его боевые орлы посматривают на ближний лесок, готовятся к позорному бегству. Он распекал генералов, кричал на полковников, отчаянно вопил солдатам: «Вперед, храбрецы, я с вами!» — но пруссаки, потеряв воинственный дух, своему королю больше не повиновались.

Помрачневший король скакал дальше. Вдруг пуля, цокнув, ударила его в грудь. Фридрих качнулся, осадил коня, на мгновенье защурился и тяжко вздохнул. Затем выхватил из левого кармана табакерку, в которой застряла русская пуля, и с крайним волнением сказал свите:

— Слава провидению!.. Оно не зря спасло вашего короля.

— Ваше величество! — в один голос вскрикнули насмерть перепуганные адъютанты.

Фридрих снял черную шляпу с высоким султаном из страусовых перьев и перекрестился. Его темно-рыжие с проседью кудри шевелились под ветром. Он вздернул плечом, пришпорил коня и выбросил в правую сторону дрожавшую руку.

— Глядите, глядите, там — австрийская конница!.. А слева — казаки. Где Зейдлиц? — Он бешено мчался, его красная епанча раздувалась под ветром, как окровавленный парус.

Действительно, генерал Лаудон, построив великолепную австрийскую конницу в стороне от побоища, врубился с правого бока в гущу пруссаков. А с флангов и с тылу дружно теснили неприятельскую пехоту славный Сибирский, Апшеронский, Псковский и другие полки под командою Панина и Румянцева.

Весь прусский фронт дрогнул, будто пруссакам вдруг протрубили отбой. Передние их ряды повернули назад и, сшибая своих, пристреливая ненавистных капралов, всем гуртом бежали обратно.

— Боже! Все гибнет!.. — хватаясь за голову, простонал его величество прусский король. Выразительные огромные глаза его стали безумны.

А в этот миг, приплясывая, подскакивая на стременах смирно стоявшей лошади и бросив поводья, бил в ладоши граф Салтыков. Он громко смеялся, лицо его в гримасе восторга.

— Господи! Враг бежит... Победа, победа!.. Господи, благодарю тебя... — кричит он, на глазах его слезы, губы дрожат, маленький седенький граф то бьет в ладоши, то крестится: — Победа, победа!..

И во все русские войска перекинулось:

— Победа! Победа!

Всюду, от высот до реки, громогласно гремит «ура», бьют барабаны, враг, впавший в ужас, всюду стремительно спасается бегством в лес, на мосты и вплавь через реку. А вслед за ним с гиканьем, свистом, пики наперевес, во весь опор скачут чугуевцы и донские казаки: «Ги-ги-ги! Ура! Ура!»

Все пространство в движении. Как серой метелью, как вьюгой, все пространство — куда ни кинь взор — покрыто бегущими.

Пруссаки бросают оружие, бегут во все стороны, спасаясь в густые леса.

Король Фридрих на пегой кобыле бессмысленно мечется в самом хвосте своей армии. Спасения нет

королю. К нему устремились чугуевцы, чтоб взять его в плен.

— Притвиц! Притвиц! Я погибаю...

При ротмистре Притвице всего лишь сорок гусар — телохранителей Фридриха. Притвиц выхватил саблю. Сорок гусар, жертвуя собой, бросились навстречу казакам и почти все поголовно погибли. А король ускакал. В беспамятстве он потерял шляпу с султаном. Ее подобрали казаки и доставили Панину [1].

Было одиннадцать вечера. Обозначались звезды, опять засветлела луна. Где-то бой барабана, где-то треск, залп, приглушенные стоны людей...

Но все было кончено.

4

Солдаты бережно подхватили главнокомандующего и с неумолчным, от всего сердца, криком «ура» стали качать его. Коротконогий пухленький старичок высоко взлетал над толпой и мягко падал в упругие руки воинов. Вот он опустился на ноги, глубоко с облегчением вздохнул — фууу, подтянул штаны, сказал:

— Спасибо, солдаты. Спасибо, молодцы. Добрую бучку дали Фридриху.

Солдаты опять закричали оглушительно: «Ур-р-р-а-а!» — и стали швырять вверх шапки. Салтыков пошарил в карманах штанов, вытянул тюрючок с леденцами, подал солдатам:

— Вот... пососите... леденчики. — Он все еще в одной рубахе, без парика, щеки морщинистые, с румянцем, седые, торчком, волосы, большие уставшие глаза то широко открыты, то по-стариковски щурятся.

— А мы с жалобой к вам, ваше высокое сиятельство. Посовещались промеж собой, да и насмелились... — выдвинулся из толпы нестарый еще, черноголовый солдат с серьгой в ухе. — Харч дюже плох. Не вдосыт едим... Уж не прогневайтесь.

---

[1] Шляпа Фридриха хранится в Эрмитаже (Ленинград).

«Ну так и есть, — подумал Салтыков, — а я им, дурак, леденчиков».

— Да, верно, ребята, плохо... Паскудно это у нас, снабжение-то, с провиантом-то. Да и деньги из Питера шлют с заминкой... Уж вы как-нибудь.

— Как на спозицию вышли, сухари одни, да картофель, да лук. А к картофелю мы не приобыкли. Иным часом и убоинки хочется, ваше сиятельство. Уж постарайся...

— Распоряжусь, распоряжусь, ребята.

— Мы как-то двух бычишек заблудящих в лесу словили, да только свежевать принялись, тут нас и сцапали. Его превосходительство Панин приказал плетьми нас драть...

— И я бы выдрал, и я бы, — подморгнул Салтыков. — Сами виноваты, ребята, с бычишками-то со своими. Так заблудящие, говорите? — И Салтыков снова подморгнул. — А вы бы уж как-нибудь того, это самое... Куда-нибудь подальше, подальше, в чащу бы либо в овраг. Да потемней когда, чтоб ни Панин, ни Фермор не видали. А то лапти плетете, а концов хоронить не умеете.

Солдаты засмеялись. Горел костер, становилось свежо, луна светила. Возле палатки главнокомандующего стояла под ружьем шеренга часовых. Знамя высилось. Салтыкову подали мундир и шляпу. Солдаты, пожелав утомленному генералу доброй ночи, стали было расходиться.

— Погодите-ка, ребята... Я вот о чем хочу... — Он заложил руки за спину и взад-вперед медленно прошелся. — Да! Мужество! — выкрикнул он и вскинул вверх руку. — Дивлюсь я на вас, сынов моей родины, и сердце мое преисполняется гордостью. Король Фридрих французов бьет, австрияков бьет, англичанку бьет. А от нас сам бит бывает. Все бегут от него, а от нас он сам бежит. А ведь солдаты-то у него ничего себе, его солдат, хоть и наемные они, охаять не можно... Ну-тка, братцы, скажите мне без утайки: почему это я не знаю случая, чтобы русский солдат всей массой, всем скопом утекал от врага? В толк не могу взять.

Молодой адъютант поморщился, он считал подобный разговор военачальника для дисциплины вредным.

А солдаты сказали:

— По тому самому, ваше высокопревосходительство, мы не убегаем от неприятеля, что бежать расчету нет...

— Это как— расчету нет?.. Чего-то не пойму я...— переспросил Салтыков и переглянулся с адъютантом.

— А очень просто — расчету нет... Себе дороже,— хором закричали солдаты, а чернявый, что с серьгой в ухе, сказал:

— Ежели мы на линии стоим да стреляем, а либо, допустим, штыком орудуем, мы друг друга чуем, вместях все, тут уж про все на свете забываешь, одно на уме: как бы поболе немцев повалить да самому вживе остаться. И ежели ты, скажем, сплоховал, товарищ выручит. А когда в бег от противника ударишься, один, как заяц в степу, останешься, тот сюда бежит, этот туда, а глаз-то в спине нетути, ни хрена не видать, чего сзади деется. Вот тут-та либо конем тебя стопчут, либо башку ссекут. Ой, бежать несподручно...

Салтыков, руки назад, с интересом вглядывался в загорелые, утомленные лица солдат, внимательно вслушивался в их простые, откровенные речи.

— И все ж таки не могу в мысль взять... Ведь вот вы в бою стоите, как каменные. Либо умираете, либо побеждаете. А не бежите... и не сдаетесь...

— А кто ж его ведает, — сказал солдат с серьгой в ухе, переступил с ноги на ногу и одернул окровавленную возле плеча рубаху. — Мы, конешно, народ темный. А доведись, так твою растак, до драки, мы уж друг за дружку стоим. Конешно, дураки...

— Что? Что? Дураки?! — Салтыков прижал ладони к животу, запрокинул голову и тихонько похохотал. — Не дураки вы, а герои. Храбрецы!

Солдаты приободрились, закричали наперебой:

— А храбрость в нас — от природы, ваше высокое сиятельство. Должно полагать, матери наши этакими нас родят...

— То-то же — от природы! — громко сказал Салтыков, и уставшие глаза его оживились. — Такова, стало, природа русская, да не только русская, а и прочих народов, населяющих Россию и на войне подвизающихся, — это храбрость, упорство, сознание долга пред отечеством...

— Во-во-во!— опять закричали солдаты.— В этом суть... Мы хоша и в чужой земле, а все же нам сдается — отечество свое защищаем, за Русь стоим. И нам вот радостно, ежели, скажем, где появишься, ну там в Кенигсберге либо в Польше где на зимних фатерах, идешь себе, ноздри вверх, и думаешь: а ведь мы расейские... Стало — сильна Россия!

— Правильно, солдатики... Сильна Россия! — воскликнул Салтыков. Он сразу как бы помолодел, весь изнутри светился, широкая улыбка растеклась по его загорелому лицу. Он, еще раз подтянув сползавшие штаны, обратился к адъютанту: — Полезно, зело полезно нашему брату у простого звания людей мудрости учиться. — И, обернувшись к палатке, крикнул дежурному офицеру: — Слушай, казначей! А принеси-ка сюда, дружок, серебреца мешочек, рублевиков, да одели солдат.

Солдаты, их было сотни полторы, дружно гаркнули благодарность.

5

По всему утихшему полю, скудно освещенному лунным светом, двигались сотни огней: это солдаты и санитары с пылавшими факелами подбирали своих и чужих раненых. По склонам холмов, в буераках, в кустах вперемежку с покойниками валялись живые. Слышались стоны, хрипы, слабые выкрики: «Я здесь, спасите!» Раненые сами подползали к санитарам, взывали: «Братцы, братцы...» Многие мученики с перешибленными хребтами, с оторванными конечностями, истекающие кровью, умоляли прикончить их... Изувеченный пожилой гренадер еле внятно просил: «В торбе узелок с родимой землицей, будете зарывать, посыпьте».

К штабу главнокомандующего приводили взятых в плен генералов, полковников.

Всего пленных пруссаков было пять тысяч с лишком, восемь тысяч убито, пятнадцать тысяч ранено. Наши потери были тоже немалые.

Спешно заканчивая свою пока еще неточную реляцию, граф писал императрице Елизавете Петровне: «Ваше величество, не извольте удивляться нашим большим потерям. Вам известно, что прусский король всегда победы над собой продает очень дорого».

Пред утром, передавая трем курьерам донесение в Питер, граф Салтыков, вздохнув, с горечью сказал генералитету:

— Да, господа... Ежели мне доведется еще такое же сражение выиграть, то, чего доброго, принуждено мне будет одному с посошком в руках несть известие о том в Петербург.

Между тем королевские курьеры, посланные Фридрихом в пять часов дня с вестью о полном разгроме русской армии, прискакали в Берлин того же числа поздно вечером.

Столица еще не ложилась спать. Наслаждаясь теплой ночью, молодежь наполняла сады, скверы, площади. В кофейнях, трактирах, гастхаузах шумел народ.

И вот одна, другая и третья пушка прогрохотали в неурочный час над Берлином.

Жители всполошились, выглядывали из окон, выбегали на улицу, взволнованно восклицали:

— Беда! Уж не враг ли подступает к стенам...

Толстый Фриц, сотрудник городской газеты, сбросив одеяло, соскочил с кровати, высунув в окно голову в белом колпаке, проквакал:

— Эй, что случилось?

По улицам бежали толпы горожан, разъезжали рейтар-герольды с факелами, на перекрестках они трубили в трубы, зычно возвещали:

— Великий наш король Фридрих одержал полную победу при Франкфурте, у деревни Кунерсдорф! Вся русская армия уничтожена. Жалкие ее остатки взяты в плен. Тысячи разбойников казаков с верев-

ками на шее будут приведены сюда. Готовьте им встречу!

Толпа воинственно, радостно заорала:

— Победа, победа!.. Конец войне!..

Толстый Фриц накинул халат и побежал, кряхтя, вверх по лестнице, где жили его товарищи по газете, художники братья Шульц, забарабанил в дощатую некрашеную дверь.

— Эй, черти! Дрыхнете, что ли? Победа!.. В редакцию, ребята...

В редакции одной из пяти берлинских газет, помещавшейся в подвале ратуши, уже стряпались листовки, кропалась газета с грязными, барабанного стиля, статейками, жестоко оскробляющими русскую армию, императрицу Елизавету и всю Россию. Карикатуристы изображали казаков лохматыми, страшными мужиками, с чудовищно зверскими лицами, лошадиными зубами в оскаленных ртах, а графа Салтыкова — в виде жирной свиньи, которую ведет на цепочке бравый прусский гренадер.

В пивнушках, в кабачках было необычайно оживленно. Веселились горожане и на улицах. Невзирая на поздний час, кой-где зажгли иллюминацию, всюду бродили веселые толпы с бумажными разноцветными фонариками, пели песни, приплясывали, целовались, воинственно кричали:

— Да здравствует великий, непобедимый Фридрих!

6

А несчастный Фридрих спасался тем временем в разгромленной деревушке Этшер. Он лежал на скамье в какой-то разбитой, без дверей и без окон, хибарке. В головах седло, вместо пуховика — пук соломы, король по самый подбородок укрыт красной, простреленной в трех местах епанчой.

Лунный свет падал на его лицо. Лица, впрочем, не было: были огромные воспаленные глаза и длинный нос. В стороне два адъютанта, и один гренадер на карауле у входа. А за избой — руины, пустыня, безмолвие.

— Русские, русские... проклятые русские... — скрежеща зубами, бормочет Фридрих, он хочет закрыть глаза и не может. — Яду мне. Неужели у вас не найдется яду? — Он впадает в забытье, в его мозгу кошмары, он бредит: — Шляпу, шляпу... Где шляпа?

Адъютант шепчет товарищу:

— Надо бы его величеству кровь пустить. Но нет доктора.

— Кровь пущена всей королевской армии, — с печальной иронией, шепотом отвечает другой адъютант, вынимает платок и сморкается.

Вдруг Фридрих вскочил:

— Огня!

Вздрагивая всем телом и ожесточенно вскидывая рыжие брови, он при скудном огарке пишет в Берлин письмо брату Генриху, затем — прусским министрам. Рука с пером прыгает.

«Наши потери, — писал он брату, — очень значительны: из армии в сорок восемь тысяч человек у меня вряд ли осталось три тысячи. Все бежит, и у меня нет больше власти над войском. В Берлине хорошо сделают, если подумают о своей безопасности. Жестокое несчастье, я его не переживу. Последствия битвы будут хуже, чем сама битва: у меня больше нет никаких средств, и, скажу без утайки, я считаю все потерянным. Я не переживу погибели моего отечества. Прощай навсегда».

Глаза Фридриха помутнели, он застонал, бросил перо, схватился за голову.

— Проклятые московиты, варвары! Русского мало убить, его надо еще и мертвого-то повалить.

7

На рассвете стали копать могилы. Русских убитых зарыто две тысячи шестьсот, прусских — семь тысяч триста.

На рассвете же вернулись из лесов к своим родным очагам мирные жители. От обширной деревни Кунерсдорф остались дымящиеся развалины. Цвету-

щие сады и огороды были расхищены, земля взрыта бомбами, ядрами. Жители бросились на поля. Но там поспевшая пшеница была потоптана, смешана с грязью. Все погибло, все уничтожено в битве, длившейся с полдня до вечера. Война в один день превратила жителей в нищих.

На тряских фургонах, по разбитым дорогам раненых увозили в лазареты. Там без усыпления, без наркоза будут им отпиливать поврежденные руки и ноги, будут извлекать из воспалившихся ран пули и куски чугуна. Чтоб оглушить сознание, им дадут по стакану водки. Многие в муках умрут.

Вскоре Салтыков сделал смотр русской армии. У солдат та же бравая, железная сила, бодрость во взоре.

Салтыков доносил в Петербург:

«Ревность, храбрость и мужество всего генералитета и неустрашимого воинства, особливо послушание оного довольно описать не могу, одним словом — *похвальный и беспримерный поступок солдатства привел в удивление всех чужестранных волонтеров».*

Русское командование получило щедрые награды: Салтыков произведен в фельдмаршалы, а Мария-Терезия прислала ему драгоценный перстень, осыпанную бриллиантами табакерку и пять тысяч червонцев. Остальные военачальники получили от Петербурга чины, ордена, земли с крестьянами.

Только солдаты остались без награждения.

— Могила без креста — вот награда нам, — роптали солдаты у костров.

— Правильно говорится: ежели одному милость, всем обида.

— Кому пироги да пышки, а нам желваки да шишки... Терпи, ребята!

— А ежели не сложишь здесь голову да прибудешь домой в побывку, там того гаже. Нищета. Ни поесть, ни попить. Одно знай — барину угождать, а то недолго и на конюшню. Вот там за нашу службу царскую награждение и примешь. Не верно, что ли?

— А все-таки воевать, ребята, нам беспременно нужно, — кряхтя, сказал Павел Носов. Он крутил над пламенем костра грязную рубаху, рубаха наду-

валась колоколом. — До скончания живота подобает нашему брату неприятеля бить. Вот я, скажем, стар...

— А кто супротив этого спор ведет? — прервал его усатый артиллерист Варсонофий Перешиби-Нос, он был грамотен, говорил складно. — В этом слава оружия нашего и всего нашего кореню, всего потомства-племени. За отечество поди кровь-то проливаем! Об этом всяк ведает и на том стоит.

— Вестимо, так! — воскликнул Павел Носов, но тут подол его рубахи вспыхнул, он быстро смял огонь корявыми ладонями. — Я и не иду супротив тебя, мил человек. Я вот к чему хотел... Порядки здесь супротив наших лучше. И мужики чище наших: взять одежду, взять еду. Мужик здесь жрет не по-нашенски — хлеб с лебедой да с мякиной, как мы. У него эвот — свиньи, гуси, индюки. Опять же огороды ихние: там тебе всякая овощь, и назвать-то ее мы не смыслим, как вымолвить.

— Здесь крестьяне грамотные которые, — сказал Перешиби-Нос. — Да и порядочное число их, грамотеев-то. Они и книжки и даже газетки чтут.

— Погодь, погодь, мил человек, — проговорил Павел Носов, натягивая на сухореброе тело рубаху. — Стало быть, не приспело еще времечко...

— Времечко, времечко, — передразнил его Варсонофий Перешиби-Нос и вытащил из костра упекшуюся картошку. — Под нашими барами жить — до скончания века в темных дураках сидеть!

— Ау, мил человек, терпеть надо, — вздохнул Павел Носов и стал раскуривать носогрейку. — Видно, так самим богом утверждено: барам жиреть, а нам хиреть. За добрым барином и мужику жить не столь тяжко, а за лихим и мужику лихо. А где лихо мужику, там иным часом и мутня выходит, самовольство, мужик за вилы берется, барину грозит...

— Ха! — по-сердитому хакнул Варсонофий и, подергав длинные усы, язвительно уставился на Павла Носова. — А ты поди бунты-то мужичьи усмирял? Мутню-то?

— Ну, ин усмирял, — помедля, сконфуженно ответил Носов.

— Так пошто ж ты усмирял-то?

— Дурак ты али умный? — обиделся старик. — Ведь по приказу. Ежели б не стал усмирять, меня самого усмирили б до самой смерти...

Широкоплечий Варсонофий обвел компанию солдат суровым взором и сказал:

— Вот по эфтому самому я и молвил, что недружный мы народ. Ведь вот мы сами мужики, и о мужике печалуемся и эфтого самого мужика своеручно изничтожаем. Бар надо изничтожать, бар! А не мужика...

К костру подходил, высвистывая песенку, подвыпивший штаб-офицер. Вольные разговоры оборвались.

Блистательная наша победа под Кунерсдорфом праздновалась в Петербурге пышно.

Однако, несмотря на свою честность и преданность России, граф Салтыков не смог в полной мере использовать плоды своих побед. Начались недомолвки между ним и австрийским командованием, которое требовало доконать пруссаков общими силами. Салтыков отвечал: «На это я отважиться не могу, ибо без того вверенная мне армия довольно сдержала неприятеля и немало претерпела. Теперь надо бы нам покой дать, а вам работать, потому что вы все лето пропустили бесплодно». Ссылаясь на отсутствие фуража и продовольствия, Салтыков отвел армию на зимние квартиры.

ГЛАВА IV

Жизнь в Кенигсберге

1

В Кенигсберг стали поступать раненые.

Возле ворот герцогского замка, где жил русский губернатор, остановились три фургона с больными офицерами. Им отведен каменный флигель. С крыльца

сбежал молодой офицер Болотов [1], сказал стоявшим во дворе дежурным казакам:

— Ребята, носилки!

Емельян Пугачев и три его товарища бросились с носилками к фургонам. Первым был бережно переложен на носилки Михельсон. Чтоб не пострадал в тряской дороге разбитый пулей позвоночник, Михельсон лежал привязанным к доске с мягкой подстилкой. Пугачев всмотрелся в его лицо. Круглое, несколько дней тому назад румяное, оно было мертвенно-бледно, щеки и губы ввалились, как у покойника. Казаки, подхватив носилки, пошагали. Пугачев был в изголовье больного.

— Поди больно, ваше благородие? — участливо спросил он.

— Больно, казак, — слабым голосом ответил Михельсон и с натугой поднял взгляд на Пугачева. — В позвонок ударила, проклятая. А под Цорндорфом — штыком в голову...

— Тяжко вам досталось, ваше благородие, видать — храбрый вы. — И Пугачев вздохнул. Ему искренне было жаль молоденького офицера.

Ни сном ни духом не чаял он, что этот полумертвый барин, Иван Иванович Михельсон, чрез полтора десятка лет станет самым упорным, самым назойливым и неотступным врагом Емельяна Пугачева.

Вскоре, выйдя из превращенного в госпиталь флигеля, офицер Болотов опять обратился к расторопному Пугачеву:

— Эй, казак, как тебя... Аптеку знаешь? Отвези, дружок, сигнатурку, там лекарства приготовят поручику Михельсону.

Взяв бумажку, Пугачев вскочил в седло. Ему ли не знать аптеку. Да он весь Кенигсберг как свои пять пальцев знает. Он на трех еврейских да на двух немецких свадьбах гулял, он первый плясун и песенник, ему везде почет и уваженье. Да, и уваженье, не-

---

[1] А. Т. Болотов, написавший впоследствии свои замечательные мемуары.

взирая на то, что под атамановой плетью позорище принял... Ну, да это особ статья. Об этом без толку тужить нечего. Опять же и то помнить треба: иной битый семерых небитых стоит.

2

Восточная Пруссия с ее столичным городом Кенигсбергом вот уже второй год принадлежала России. В Кенигсберге было сформировано русское управление страной, издавалась военная газета, в городском театре силами офицеров ставились трагедии русских писателей. На местном монетном дворе чеканились российские деньги с изображением императрицы Елизаветы и прусского орла. Во время войны вся страна была наводнена неполновесной полуфальшивой монетой, которую в изобилии выпускал Фридрих, поэтому обнищавший немецкий народ с особой охотой принимал русские деньги. Иногда, приказом российской власти, схватывались даже сановные немцы, уличенные в политических проступках, их препровождали в Петербург, в когти страшной Тайной канцелярии. Так, пилавский помещик Вагнер был после суда направлен на вечное поселение в Сибирь.

Словом, россияне чувствовали себя в Восточной Пруссии полновластными хозяевами.

Губернатор барон Корф жил в центре города, на горе, в старинном герцогском замке с высокой четырехугольной башней, на шпице которой развевался российский императорский штандарт. В этом замке бывал и Петр I во время своего путешествия с Лефортом. Всю жизнь проведший в России, барон Корф русским разговорным языком владел прилично, однако ни читать, ни писать по-русски не умел. Он был хорошо воспитан светски, но умом крупного администратора не обладал, поэтому все управление страной лежало на его чиновниках. Он был еще не стар и вскоре же по приезде из России завел шашни с местной красавицей баронессой Кейзерлинг. Как

говорили злые языки, она будто бы втянула его в шпионскую службу Фридриха II.

Все свои огромные доходы с имений и жалованье Корф употреблял на «представительство»: устраивал еженедельные балы и концерты, на которых бывала не только вся знать Восточной Пруссии, но приезжали даже магнаты из Польши. На его балах отплясывали и прибывающие с боевого фронта военачальники, вроде Петра Панина и генерала Вильбуа. В свое время прыгали и вертелись в этих великолепных залах замка и красавец поручик Григорий Орлов с нашим военнопленным молодым графом Шверином, личным адъютантом Фридриха.

Губернатор Корф великолепием своей светской жизни задавал всем тон. За ним пыжилась знать, за знатью — обыватель. В залах ратуши, биржи и гастхаузах — танцы, танцы. Как будто войны и духу не было. А между тем на полях сражений кровь лилась не переставая, и ежедневно десятками умирали в госпиталях раненые.

Адъютант губернатора, молодой офицер Болотов, жаловался товарищам:

— Я в сие время и науку запустил. Зарезвился да затанцевался в прах... Брошу, брошу...

По праздничным дням Корф устраивал такие блестящие иллюминации, такие фейерверки и народные гулянья, каких кенигсбергцам во сне не снилось.

В Кенигсберге и его форштадтах были расквартированы русские войска. Большинство молодых офицеров вело праздный образ жизни, занималось кутежами, дебоширством или любовными утехами с податливыми немками.

Иные же офицеры, как, например, А. Т. Болотов, Писарев, Пассек[1], весь свой досуг употребляли с превеликой пользой для себя. Они были завсегдатаями книжных аукционов и лавок, занимались философией и «натуральными науками», изучали немецкий

---

[1] Брат Пассека, известного по дворцовому перевороту 1762 года.

язык, посещали местную кунсткамеру и картинную галерею, слушали лекции в университете.

В то время, невзирая на войну, наука в Кенигсберге процветала. Были ученые физики, математики, философы. Среди философов первое и особое место занимал молодой Иммануил Кант, бывший до последнего времени домашним учителем и лишь недавно получивший ученую докторскую степень.

Русское передовое офицерство интересовалось всем полезным, жадно впитывало в себя все то, чего нельзя было иметь и видеть в своем отечестве. Отказывая себе во всем, любознательные молодые люди все свои достатки ухлопывали на покупку полезных книг, рукописей, оптических и физических приборов.

Богач Пассек скупал и переправлял в Россию дорогие картины, эстампы, книги и целые физические кабинеты с электрическими машинами, воздушными насосами, камер-обскурами, микроскопами, глобусами и т. д.

Солдаты тоже немало старались усвоить себе из невиданной, поражающей воображение чужеземной культуры. Их внимание останавливалось на большом трудолюбии местных жителей, на опрятных жилищах и одежде, на величине и красоте городских построек.

Гуляя в общественных садах и скверах и заглядывая в частные огороды, наши солдаты много дивились и разнообразию пород фруктовых деревьев, и сельскохозяйственной культуре.

Тароватые мужички-солдаты, ни слова не понимая по-немецки, все же находили с хозяевами огородов общий язык и выпрашивали себе семян в надежде, ежели бог не отнимет живота, когда-нибудь насадить такую благодать на своей родной землице.

Молодой казак Пугачев был тоже любознателен и до новых впечатлений жаден. Он почасту назначался в дозоры и ночные рунды для охраны городского спокойствия или разъезжал по городу с пакетами губернаторской канцелярии. Он знал Кенигсберг, как свою Зимовейскую станицу. Он объехал окружавший город земляной вал с бастионами, был

в цитадели Фридрихсбург на левом берегу Прегеля, проезжал по узким переулкам между многими кварталами, сплошь застроенными семиэтажными шпиклерами, то есть хлебными амбарами. В праздник с компанией казаков катался на лодке по каналам, ездил к устью Прегеля, где пристают иностранные корабли, где в шинках пьют-гуляют шкиперы-голландцы. Он не раз тоже с ними гуливал, подвыпив, дрался, бил других и сам бывал бит.

8

На всполье между двумя форштадтами саперные части вели практические занятия. Проезжавший Пугачев остановил лошаденку, спешился и подошел к молодому прапорщику.

— Это что, ваше благородие? Траншеи роют ребята-то? Дозвольте полюбопытствовать.

— А чего же тут любопытного? Роют и роют,— покуривая прусскую сигаретку, ответил молоденький прапорщик в ухарски набекрененной шляпе.— Вот сейчас березу взрывать будем. Видишь березу на бугре? Вот она взлетит... Это действительно интересно.

— Под нее подкоп, что ли?

— Ну да, подземный лаз.— Прапорщик подудил в рожок, сбил солдат в кучу и спросил их: — Как, ребята, угадать, чтоб подкоп точно подвел к тому предмету, который надлежит взорвать? Ведь под землей-то темно.

— Темно, ваше благородие,— хором ответили солдаты.

— А для этого употребляется, ребята, вот эта штучка.— Он вынул из кармана компас и толково, повторив несколько раз, объяснил способ его употребления.

Пугачев, заткнув за пояс полы длинного кафтана, жадно слушал, непрерывно следил за стрелкой-живчиком.

— И вот допустим, что эта береза суть башня неприятельской крепости, ее надлежит тайно от врага

взорвать. Мы начинаем подкоп, скажем, за версту, за две, зарываемся в грунт, направление определяем под землей компасом, а расстояние, которое нам известно по плану, измеряем тоже под землей цепью либо саженью. Чтоб земля не рушилась, ставим по всему лазу деревянные крепи. Понятно ли, ребята? Казак, ежели хочешь, полезай.

— С полным нашим удовольствием! — крикнул Пугачев, сбросил кафтан и приготовился нырнуть в обделанный стояками лаз.

— Обожди, казак. Эй, Семенов! Возьми-ка круг со шнуром да вместе с казаком прикрепите конец шнура к взрываемой массе.

Семенов полез первым, за ним Пугачев. Ползти надо было сажен сто. Вскоре солдат и Пугачев, пятясь задом, вылезли обратно, грязные, вспотевшие, в руке солдата был конец шнура. Добыв огня, прапорщик поджег шнур.

— Вот, ребята, шнур будет тлеть, он пропитан горючим составом. И как только огонь по шнуру дойдет до взрываемой массы, береза взлетит. Ну, а ежели взрыв фукнет мимо, в стороне от березы, значит — мы не угадали подкоп под неприятельскую башню подвести, враг будет рад и обзовет нас дураками. Чрез четверть часа береза должна упасть.

— Ой ли... Что-то не верится, — усомнился Пугачев.

Но вот земля загудела, ухнула, а береза, охваченная столбом земли и пламени, приподнялась на воздух и упала.

— Молодцы, — похвалил прапорщик.

И все с криком «ура» помчались взапуски к образовавшемуся провалищу.

После этого Пугачев часто рассказывал своим о том, как он постиг науку, или, по его выражению, «способа̀ нашел» делать подкопы и взрывать неприятельские крепости. Он и в мыслях не имел, что эти «способа̀» когда-нибудь ему пригодятся. Однако они пригодились ему ровно через пятнадцать лет.

4

В канцелярию губернатора поступили сведения, что на глухой окраине города, в одном из закоулков тайно вербуются люди в армию Фридриха.

Емельян Пугачев получил от офицера Болотова приказ взять четырех казаков, идти к месту вербовки, казаков спрятать где-нибудь поблизости, а самому Пугачеву быть в толпе и ждать дальнейших распоряжений.

Полдень. Солнце. Хвост большой очереди вылез в непроезжий переулок-тупичок. Цепь людей загибала в ворота каменного, под черепичной кровлей, дома, тянулась двором и вливалась в дощатую дверь пустого каретника. Над дверью вывеска:

Наемка батраков в имение графа Кауфмана.

В очереди сотни две оборванцев. Тут были и молодые люди с наглым выражением лица и кабацкими ухватками, были и пожилые, бородатые, были безрукие калеки, горбуны, кривые, хромоногие, попадались и красивые парни, они весело пересмеивались друг с другом и подмигивали проходившим девушкам. По пояс голый, босой парень с кровоподтеками возле заплывших глаз, с расцарапанными в драке спиной и грудью то прицеливался залезть в карман соседа, то ощупывал свои штаны, очевидно собираясь пропить и их. Тут толкались представители многих наций. Вот горбоносый турок в красной феске, вот усатый румын в синей короткой куртке с медными бубенцами вместо пуговиц, вот бритоусый шотландец с рыжей из-под нижней челюсти бородой и трубкой в пожелтевших больших зубах, вот медно-бронзовый бородатый грек, его лицо как бы смазано жиром, из ушей и ноздрей прут волосы, он жует маслины, сплевывает косточки в спину соседа.

Офицер Болотов, прикрывшись епанчой и спрятав офицерскую шляпу, вошел в полутемный, освещенный небольшим окном каретник, густо набитый народом.

За небольшим столом возле самого окна сидел жирный, с отвисшими щеками прусский капрал. Полуоблезлая голова его склонилась над квитанционной книгой, куда он вписывал завербованных. На столе — грязный парик, жбан квасу, плетка со свинцовой пулькой на конце и серебряная большая табакерка. Не заметив скрытно притаившегося в уголке русского офицера, он продолжал заниматься своим делом.

— Ты! — И капрал строго воззрился зелеными узенькими глазами в простодушное лицо стоявшего пред ним детины с покатыми плечами. Высокий детина задвигал хохлатыми бровями и пискливым, не по росту, голосом сказал:

— Я батрак. Жена, трое детей. Ежели положите хорошее жалованье — пойду. Вы мало платите...

И весь каретник взволновался, закричал:

— Мало платите! Прибавьте... А то плюнем и уйдем.

— Я не имею права прибавить. Жалованье утверждено хозяином. Четыре талера пять грошей в месяц...

— Нам остается три талера, а талер и пять грошей каждый месяц отбирается будто бы на обмундирование... Грабеж!

— Все время так платим, много лет! — кричал капрал.

— Правда, много лет... Только в прежнее время с московитами войны не было. Прежде воевали с французами да с австрийцами. А с русским сцепишься, живым от него не уйдешь. Да мы лучше в леса грабить бросимся, чем жизнь отдавать за ваши фальшивые деньги...

— Что?! Фальшивые?! — привскочил капрал и стегнул плетью себя по голенищу. — Не желаете, марш вон! Ваши ноги к полу не припаяны.

— А ты не кричи, господин капрал. Не своей волей пришли к тебе. Нужда гонит.

— Ну, ты! Согласен? — снова уставился капрал в плаксивое лицо высокого детины.

— Лошади нет, коровы нет, королевские гусары отобрали... И работы нет. Согласен, — сморгнув слезу, сказал детина.

— На. — И капрал протянул ему квитанцию. — Явка через два дня в казарму крепости Кюстрин, в семь часов десять минут утра. Следующий!

К столу один за другим протискивались иностранцы, быстро соглашались на условия. Рассматривая паспорта и подмаргивая какому-либо дюжему в клетчатых штанах ирландцу, капрал бубнил:

— Краденый... Фальшивый паспорт-то. Ведь не твой? Ведь ты у какого-нибудь убитого вытащил? Я вас, мародеров, знаю. Вы на войне награбите того-сего, да и до свиданья. Да с чужим паспортом в вербовку снова лезете. Я вас зна-а-ю, молодчиков. Вот один хват из Литвы пять раз бежал с войны, пять раз к нам нанимался. На шестой раз я собственноручно пулю ему в лоб загнал. Ну, ладно... Только чтоб по-честному служить. Следующий!

Оттирая других, к столу подошли сразу четыре мордастых голодранца. Они одного роста и похожи друг на друга. От них пахло прелью и свинарником. Перемигнувшись и тупоумно захихикав, они сказали:

— Мы воры. Мы, господин капрал, бывшие воры. Мы неделю тому назад освобождены из тюрьмы.

— А-а-а-а... Так бы и говорили толком, — сказал капрал, насмешливо оттопырив жирные губы. — Ворами мы не брезгуем, берем, берем. Воры, особливо же головорезы, народ храбрый. Берем, берем. Только знайте, ребята, я вас в свою роту возьму, я вас вышколю. Я своему гренадеру из воров палкой затылок пробил под Цорндорфом. А теперь он произведен в капралы. Берем, берем воров... — Запыхтев, капрал выписал квитанцию и подал им.

— А деньги? — в один голос спросили воры.

— Деньги в казарме, ребята.

— Да мы со вчерашнего вечера не жравши. Дайте хоть по два талера на брата.

— Без разговоров! — топнул капрал, и его узенькие глазки сердито расширились.

— Нам воровать, что ли, идти опять? Мы не хотим быть ворами. Мы, может быть, почестнее вас теперь. Дайте талер.

— Не дам, нахальные морды!

— Чтоб вас черт побрал и с войной вместе! — Они скомкали квитанции и швырнули их в голову остолбеневшего капрала. Тот выскочил из-за стола, сгреб двух воров за шиворот и поволок их к двери. Воры крутились, орали, старались вырваться. Капрал с силой вышвырнул их на улицу. Воры, захохотав, побежали вчетвером вдоль переулка.

Капрал, отдуваясь и пыхтя, устало опустился на скрипучую скамейку. Стал доставать платок, чтоб отереться, и вдруг во всю мочь завопил:

— Кошелек!.. Кошелек из кармана!.. Ай, ай, и серебряная табакерка! — Весь дрожа, капрал вскочил, губы его кривились, глаза моргали. — Лови, держи! — бестолково метался он, совал в стол квитанционную книгу, гнал всех вон: — Идите, друзья... Контора закрыта... О, мой бог!

— Вы арестованы, — по-немецки кто-то произнес сзади него крепким голосом.

Он обернулся, попятился от русского офицера, подобрал тугой живот, сделал руки по швам, сказал растерянно:

— За что? Кто имеет право меня арестовать? Я управляющий имением графа Кауфмана. Я частным образом набираю здесь батраков для полевых работ на землях его сиятельства...

— Врете! Я знаю, кто вы и куда набираете людей. На территории, принадлежащей российской короне, вы не имели права заниматься вербовкой солдат в армию нашего врага. Вы арестованы.

Пугачев с казаками уже стоял возле двери в сарай.

— Взять капрала и отвести в замок! — приказал Пугачеву офицер.

Пугачев любил бывать на пристани. Устье Прегеля кишело парусниками, суденышками, быстрыми челнами. У причалов стояли рыболовные шхуны, боты и оснащенные расписными парусами большие корабли. Шла нагрузка и выгрузка морских «посудин». Сотни

грузчиков катали по крепким сходням дубовые бочки с рыбой, олифой, солониной. Бородатые боцманы-голландцы с румянцем во всю щеку дудили в свистульки, крикливо ругались и иным часом прохаживались кнутом по спинам зазевавшихся грузчиков. Было шумно, терпко пахло смолой, рыбой, сыростью, бурым дымом над кострами.

А вот два русских корабля. Они приплавили из матушки России горы овса и муки в мешках, военную амуницию в хорошо слаженных ящиках, бочки с порохом, ядра, пушки, мортиры.

Зазвучала русская надсадная «Дубинушка», и тяжелые медные орудия, поставленные на лафеты и подхваченные веревочными лямками, полезли через борт на бревенчатые сходни, а по сходням тихонько поползли в обширный из дикого камня цейхгауз.

Пугачев, увлеченный работой, сбежал вниз, поздоровался с солдатами, таскавшими под навес мешки, сказал:

— А ну, земляки, дай и мне поиграть. — Он сбросил чекмень, поплевал в пригоршни и с азартом принялся за дело. Штабель мешков уже стал ростом выше головы. Пугачев со спины подошедшего к нему грузчика схватывал за уши тяжелый мешок с овсом и легко, словно пуховую подушку, швырял его на верх штабеля. Солдаты дивились его силе.

— Смотри, казак, пуп сорвешь, нутряная жила хряпнет...

Но казак благополучно проработал допоздна. За труды получил серебряный гривенник и чарку водки.

Работа разожгла в нем кровь, чарочка развеселила сердце. Эх, поплясать бы!.. Да с кем? И который уже раз ему снова вспомнился вольный Дон, просторные степи, покрытые зеленым большетравьем, голосистые девки с молодицами, чубастые казаки, песни, плясы, занятные сказы сивобородых дедов тихой ночью где-нибудь у костра, на берегу. И вспомнилась ему любимая бабенушка, родная Софья Митревна. Какова-то она там, в станице Зимовейской?

Он вскочил в свой челн, встал дубом и, отталкиваясь длинной жердью, забуровил вверх по Прегелю. И погрезилась ему, словно живая, Сонюшка. Вот она улыбнулась ему и что-то молвила. Он кивнул ей и запел:

Разнесчастная бабенушка
Под оконушком сидит...

5

Пугачев вскоре был из Кенигсберга отправлен вместе со своим отрядом в действующую армию.

Однажды в конце лета, во время роздыха, Пугачев взял десяток молодых донцов и направился с ними «пошукать» кормов для лошадей. Придвигался вечер. Донцы решили остановиться на ночевку.

— Чья часть? — спросил Пугачев, подъезжая к костру.

— Команда Суворова, — с чувством гордости отвечали сидевшие вокруг костра солдаты Тверского драгунского полка.

Это имя уже и тогда входило между солдатами в славу. Много доброго слыхал о Суворове и Пугачев.

— Слых есть — в жарких делах вы были, под Кунерсдорфом, — чтоб польстить солдатам, сказал обросший темной бородкой Пугачев и слез с коня.

— О-о-о, как в полыме! Под Суворовым лошадь была расстреляна, а другая ранена! — враз воскликнули солдаты и содвинулись, чтоб дать казаку место сесть. — А теперича нам целую неделю отдых пожалован. Гуляй — не хочу! На боку лежим, вошь бьем да огнем жарим у костров.

Тут все солдатские головы повернулись влево, солдаты зашептали: «Суворов, Суворов...»

Пугачев тоже глянул влево и сквозь сумрак видит: бежит чрез поле сухощавый, в белой рубахе, вправленной в темные штаны, невысокого роста человек с черным на шее галстуком, волочит по луговине за рукав мундир, под пазухой — сверток. А за человеком катится копной жирный повар-грек в белом фартуке и белом колпаке.

— Ваше скородие, — пуча глаза и задыхаясь, взывает повар. — Что повелите приготовить на ужин? Есть молодые индюшки, есть барашек...

— Кашу, кашу, кашу, — отмахивается, отлягивается на бегу Суворов. — Сам индюков ешь... Помилуй бог!.. Кашу, кашу. Я не приду, я — туда... — И, покрикивая: — Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре! — он припустился к палатке на пригорке, где тоже горел костер.

— К старикам барабанщикам наш Лександр Василич поспешает. Во чудодей! — И солдаты с ласковостью засмеялись.

— Ужо и я, — сказал любопытный Пугачев. — Прогонит — так прогонит. Господи благослови. — Он оправил кафтан, покрепче надвинул на ухо шапку и шустро пошагал вслед за Суворовым.

— Здорово, молодцы барабанщики! — крикнул, подбежав, Суворов. Шестеро барабанщиков вскочили, гаркнули приветствие. — Вольно! Садись, молодцы. — Он бросил возле куста потрепанный мундир и сел на него по-турецки. — Каша есть? А ну, Филипп Иваныч, подсыпь в котелок. Ложку, ложку! (Барабанщик с седой косичкой выхватил из-за голенища деревянную ложку.) Наматывай! — сам себе скомандовал Суворов и принялся есть кашу, бормоча: — Велю, велю, велю. Сала нету... Ах, собаки... Выдавать велю. Рот дерет. А вот смажем... Иваныч, нацеди-ка шкалик! — Он повернул голову и большими серыми глазами глянул в загорелое лицо подоспевшего и робко стоявшего возле палатки человека. — А ты кто?

— Казак, ваше высокоблагородие! Донской казак Пугачев. За фуражом.

— Пугачев? А ну, казак Пугачев, садись к костру. Иваныч! — вновь обратился он к старику барабанщику. — А ну, пугни Пугачева шнапсом. Пьешь, казак?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, а только что по приказу выпью.

— Молодец... — Он развязал свой узелок, достал штоф французской водки, передал Филиппу Ивановичу. — Насыпь-ка всем по чарочке.

Все благополучно выпили, крякнули, закусили хлебом с солью. Пугачев неотрывно смотрел на простецкого командира, и в его казацкой душе, испытавшей всякую грубость от начальства, закипало теплое чувство какого-то особого почтения. Суворов, то подмигивая солдатам, то гримасничая, стал накручивать торчком чуб над высоким, покрытым ранними морщинами умным лбом. Да и все сухощекое, обветренное, с румянцем, лицо его, несмотря на молодые годы, иссечено мелкими морщинками. Узкогрудый, сухонький, он спокойно сидеть не мог: то передергивал острыми плечами, то подбоченивался, то вскидывал руки вверх и покрикивал: «Война, война!» Голос его резок, тенорист, звонок. Он как бы рубит каждую фразу из гремучего листа металла. Вот он взмахнул локтями, еще раз крикнул:

— Война! Эх, детки, детки. А за кого воюем? За мать Россию воюем. Помилуй бог... Молодцы вы.

Солдаты в молчании внимали. Пугачев насмелился и с дрожью в голосе, едва не всхлипнув от странного волнения, проговорил:

— И мы молодцы, ваше высокоблагородие, а уж вы-то, дозвольте молвить, — вы из молодцов молодец.

— Спасибо, казак Пугачев. А ну, Филипп Иваныч, пугни Пугачева второй чаркой. Барабанщик!.. О-о, барабанщик-мученик... Впереди, впереди. Трах-тара-рах, трах-тара-рах... — Суворов наскоро перекрестился, повесил голову, с минуту глядел в землю, от его прямого с небольшой горбинкой носа шли, огибая углы рта, глубокие охватистые складки. Искусно управляя ими, Суворов мог придать своему подвижному лицу то грустное, то суровое, то радостное выражение. Вот он вскинул голову и подмигнул барабанщику: — Иваныч! Суворову, Суворову поднеси. И всем...

Все поднялись с чарками, дружно прокричали:

— Будь здоров, отец наш!

— Пейте, детки. А врага бить будем. Штыком, штыком! Влево коли, вправо коли! Пуля дура, штык молодец. А казацкая саблюка тоже — ого-го... Жжих — и нет башки! Пугачев, песни можешь?

— Завсегда могу. Я голосист.

— Стой! Дай я сперва. Старуха у меня там, в Кончанском, в селе моем. Нянька. Ох, мастерица, ох, затейница. Не поет, а вопит. Аж слеза берет.

Суворов быстро крутнул головой, сорвал с жердины висевшую над его плечом просохшую портянку барабанщика. Тот с испугом закричал:

— Ваше высокоблагородие!.. Не трогте! Вот рушничок почище...

— Помилуй бог, Иваныч, не шуми, — погрозил Суворов пальцем, взял рушник, живо подвязался им побабьи, как платком, весь сморщился, выпятил подбородок, стал похож на старушонку.

Пугачев и солдаты не могли стерпеть, улыбнулись. Суворов сугорбился, подшибился рукой и, пришамкивая, запел-завопил старушечьим голосом:

Головами мосты мощены,
Из кровей реки пропущены.
Охти, да охти, да охти мне.

— Это про войну, братцы, про кроволитье, — сказал Суворов натуральным голосом и резко разогнулся. — Ой, и добры же слова в песне, ребята. Все кричат — Гомер, Гомер! А вот он — Гомер, старухи деревенские. Не слова, а жемчуг, бриллиантовые бусинки. Берегите, братцы, старину!

Он опять сугорбился, сморщился, снова завопил:

Круг сердечушка с ружья палят,
По бокам пуля пролятывает,
Мати дома убивается,
Сынок милый не вертается...

Он вопил протяжно и столь выразительно, с такой неподдельной жалостью к жертвам войны, что солдаты начали пофыркивать носами, Иваныч смахнул слезу, и плохо бритые губы его задергались.

Быстро темнело. Стали бить вдали вечернюю зорю. Суворов вскочил, сорвал с головы рушник, припустился к своей палатке, крикнул на бегу:

— Соломки, соломки подбросьте! Спать к вам...

ГЛАВА V

Берлин взят

1

Наступила весна 1760 года, вновь началось великое передвижение войск.

После разгрома прусской армии под Кунерсдорфом предриимчивый Фридрих сумел, правда с большими усилиями, набрать новые войска. Вся Пруссия, изнуренная непосильными налогами, изнывала от войны. В народе подымался ропот.

Со всех сторон прусские области были окружены врагами Фридриха. Граф Салтыков тоже двинул на Фридриха сильную армию, зимовавшую в Польше.

Русские войска пока что стояли вблизи реки Одер в бездействии. Осторожный Салтыков берег свою армию и не хотел одними своими силами вступать в бой с Фридрихом. Его возмущало, что австрийский генерал Лаудон все время идет по пятам прусской армии и не решается атаковать ее. Салтыков сетовал австрийскому главнокомандующему фельдмаршалу Дауну: «Если вы не воспрепятствовали королю перейти Эльбу, Шпрее и Бобер, то ничто не помешает ему перейти и Одер, соединиться с принцем Генрихом и обрушиться на меня всею силою. Но я прямо говорю: как только король перейдет Одер, я в тот же час иду обратно в Польшу, ибо здесь ни солдатам, ни коням еды нет».

После этого Даун решил дать бой Фридриху, но в двухчасовом сражении был разбит и бежал. Несмотря на столь быструю победу, Фридрих все же очутился в тяжелом положении: у него были пусты фуры и казна. Он повернул к Бреславлю, материальной своей базе. Салтыков не сумел воспользоваться замешательством Фридриха и без видимой причины стал отводить армию назад.

А время шло, наступила осень. Салтыков захворал «гипохондрией», с разрешения Петербурга подал в отставку, передав командование армией графу Фермору.

Между тем оправившийся Фридрих стал теснить австрийцев, он пытался отрезать их от хлебной Богемии, окружить и уничтожить.

Чтоб отвлечь внимание Фридриха от австрийской армии, Фермор приказал графу Захару Григорьевичу Чернышеву открыть поход к Берлину.

Двадцать тысяч русских войск, подкрепленных пятнадцатью тысячами австрийцев, двинулись к столице Пруссии.

Генерал-майор Тотлебен, ссылаясь на свое отличное знание слабых сторон в защите столицы Фридриха, выпросил в ставке Чернышева три тысячи драгун с гренадерами и через несколько быстрых переходов был уже под Берлином. Австрийцы, под командой Ласси, остались далеко позади. 23 сентября (ст.ст.) Тотлебен занял три дороги к Галльским, Бранденбургским и Котбусским городским воротам, а вскоре отправил в город парламентера-офицера с требованием сдачи столицы.

Фридрих не предвидел возможности столь молниеносного налета на Берлин и никаких мер к его защите своевременно не принял. У берлинского коменданта Рохова имелось лишь тысячи полторы солдат.

Был ясный осенний день. Узнав о наступлении русских, весь город всполошился. «Казаки, казаки!» — кричали жители, напуганные газетными измышлениями о лютых зверствах русского казачества. Любопытные бежали к воротам, залезали на крыши домов, на колокольни, откуда видны были окраины Берлина. В старинном костеле св. Марии ударили в набат, на пожарных каланчах выбросили тревожные знаки. По улицам, вздымая пыль, скакали взад-вперед рейтары [1], что-то кричали. То здесь, то там небольшими кучками спешили прусские солдаты, дружно отбивая шаг и направляясь к королевскому замку. Где-то слышались выстрелы, бой барабанов, звуки медных рожков.

В двух придворных с гербами каретах к ратуше подкатили раненный в Кунерсдорфском сражении генерал Зейдлиц и старик фельдмаршал Левальд, ар-

---

[1] Всадники.

мия которого была бита русскими при Гросс-Эггерсдорфе. Оба они проживали на излечении в Берлине.

На кратком военном совещании, напыжившись и шлепая толстыми бритыми губами, старик Левальд сказал:

— Что, сдаваться? Мы ответим дерзкому врагу свинцом и порохом. Мобилизовать все силы до последнего инвалида! Выдать боеспособным гражданам оружие... Все на защиту столицы! Я патриот своего отечества. Я сам встану... Слышите, комендант? Мы с генералом Зейдлицем оба примем участие в обороне... Не так ли, генерал?

— Ваше высокопревосходительство! — шустро встал юркий, маленький, с хитрыми глазами, знатный берлинский банкир Гоцковский. Расшаркиваясь пред фельдмаршалом и слегка заикаясь, он слащавым голосом заговорил: — Будучи в наилучших отношениях с графом Тотлебеном, много лет проживавшим в Берлине, я беру на себя смелость, если к тому будет соизволение высшего начальства (он отвесил поклон Левальду) и столичного городского магистрата... Ээ... ээ... я приложу все силы к тому, чтобы склонить графа Тотлебена не наносить особых ущербов ни городу, ни казне, ни берлинской мануфактуре, ни... ээ... ээ...

— Позвольте, — пристукнув палкой, хмуро и грозно перебил его Левальд. — Но город еще не сдан и не думает сдаваться. О чем вы говорите?

Лицо банкира враз покрылось испариной, он, как черепаха, вобрал черноволосую голову в плечи и двумя пальцами прикрыл рот. Левальд поднялся:

— Господа! Продолжайте заседать. Здесь будет штаб обороны. Генерал Зейдлиц, а мы поспешим с вами к месту военных операций. — Волоча ногу и опираясь на палку, фельдмаршал направился к выходу.

Получив отказ в сдаче города, Тотлебен выставил на Темпельгофской горе две батареи и приказал начать обстрел Берлина.

Бомбардировка продолжалась с двух дня до шести часов вечера. Было выпущено по городу более трехсот гаубичных бомб и зажигательных просмоленных

каркасов. Ядро пробило крышу королевского замка. Отряды пожарников быстро тушили возникавшие пожары. По улицам взад-вперед бегали вооруженные граждане и любопытные мальчишки. Воинственные инвалиды култыхали на костылях к воротам. Гремя колесами по мостовой, двигались от центра к городским заставам многочисленные арбы и телеги с товарами перепуганных купцов. По главным улицам проворно перебегали с лесенками фонарщики, зажигая свет.

Город не сдавался. В десять часов Тотлебен вновь открыл пушечную пальбу по городу.

Около полуночи казачьи разъезды схватили в поле возле Галльских ворот однорукого пруссака в военной форме. Он заявил на русском языке, что имеет личное поручение и пакет от фельдмаршала Левальда к ясновельможному графу Тотлебену. Безрукого доставили в палатку графа. Выслав из палатки адъютанта и лакея, граф сурово взглянул в глаза безрукого. Тот стал на колени и подал Тотлебену небольшую записку банкира Гоцковского. Тотлебен прочел и сжег записку на свече. Затем он написал на клочке бумаги: «Готовьте контрибуцию. Сдавайтесь». А вместо подписи приложил сургучную именную печать своим перстнем. Отдавая записку безрукому, он негромко сказал по-немецки:

— Вместе с этой запиской передашь господину Гоцковскому, чтоб не тревожился. А это возьмешь себе. — И граф протянул безрукому три золотых империала. Кликнув адъютанта, он на французском языке приказал: — Вот что, милый мой, скажите-ка двум моим ординарцам, чтоб этого человека, присланного с пакетом от Левальда, они вывели за расположение наших войск и отпустили на все четыре стороны.

Нужны были энергичные меры, ценна была каждая минута, между тем Тотлебен стоял со своим отрядом в полном бездействии. А враг не дремал: на помощь осажденному Берлину подоспел из Померании принц Виртембергский с пятью тысячами войск. Тогда Тотлебен отступил в местечко Копеник, что в двенадцати верстах от Берлина.

2

Сюда вскоре прибыл со своим корпусом и граф Чернышев. Он довольно кисло обошелся с Тотлебеном, зная его, по рассказам в свете, за человека тщеславного и легкомысленного, краснобая и едва ли не пройдоху.

— Как?! До сих пор Берлин не взят? Может быть, прихода Фридриха дожидаетесь?

— Мы, граф, ждали вас, — угодливо доложил Тотлебен.

В это время в Берлин вошел десятитысячный корпус прусского генерала Гильзена. Принц Виртембергский и Гильзен, соединив свои силы, выступили навстречу русским.

Граф Чернышев приказал двинуть войска вперед, сбить пруссаков и окружить столицу.

Начались кровопролитные схватки. Русские войска всюду теснили неприятеля. Казаки и конные гренадеры уничтожили три отряда прусской конницы. Русская артиллерия действовала искусно. Потрепанный неприятель стал поспешно откатываться к городу. Ни палки капралов, ни пули офицеров в спину отступающим больше не помогали. Всюду нарастало грозное русское «ура!». Преследуемый казаками и киргизской конницей, враг без оглядки побежал.

Прусское командование, проведав, что в помощь Чернышеву подходит корпус генерала Панина, решило сдать город на милость победителя. Под прикрытием темной сентябрьской ночи прусский корпус оставил Берлин и скрылся в окрестных лесах.

Хотя русские пушки замолкли, но в городе никто не спал.

Объятый страхом, сотрудник правительственной газеты, толстый лысый Фриц, накинув на плечи заячье одеяло, кряхтя и постанывая, поднялся в мансарду к художникам братьям Шульц и так же, как в ту неприятную ночь, забарабанил в дощатую некрашеную дверь.

— Эй, вы!.. Да отоприте же...

Но дверь была не заперта. Фриц, кой-как протиснув в узкую дверь свое тугое брюхо, ввалился в холостяцкое логово. Братья художники были вдрызг пьяны. Младший, рыжий, в больших круглых очках, валялся под столом и храпел, а старший, чернявый, облокотившись о столешницу и выпучив помутневшие глаза на Фрица, издавал нечленораздельное мычание. На столе опрокинутый набок бочонок пива и едва мерцающий светец с конопляным маслом, а в оловянной тарелке кучки моченого гороха и соленых ржаных сухариков. В углу — изъеденное молью чучело медвежонка с трубкой во рту, на плохо штукатуренных стенах карикатуры на казаков, русских генералов, императрицу Елизавету: запрокинув голову с короной на макушке и раздув толстые щеки, она хлестала водку прямо из штофа. Фриц быстро сорвал со стены все рисунки, бросил в камин и поджег. Старший Шульц замычал и ударил кулаком в стол. Фриц схватил художника за плечи, стал трясти его, с отчаяньем кричать в лицо:

— Шульц! Иоганн!.. Камерад! Очнись. Через час, через два казаки подденут нас на свои вилы и сбросят в волны Шпрее... Ой-ой... Что делать? Наши войска ушли. Мы сдаем город варварам!..

— Не может быть?! — завопил пришедший в себя Иоганн Шульц, схватился за виски и попытался приподняться...

А на утренней заре, когда небо на востоке едва зарозовело, из Котбусских ворот выехали с белым флагом два парламентера-офицера и трубач. Они направлялись в передовой отряд русских войск, к Тотлебену, с капитуляционной грамотой, подписанной комендантом Берлина генералом Роховым. На башенном шпице Котбусских ворот сидел воркующий белый голубь, в лучах зари он казался розовым.

— Глядите: голубок... Удача будет, — не без грусти сказал парламентер своему товарищу.

В русском лагере пробили зорю. Дежурный офицер разбудил Тотлебена. Не умываясь, в халате и туфлях на босу ногу, Тотлебен принял парламентера,

а через короткий срок с гусарами, драгунами, конногренадерами и частью пехоты Тотлебен двинулся в Берлин. Возле Котбусских ворот он был встречен генералом Роховым и депутатами города. В кордегардии ворот Тотлебен подписал предварительные условия капитуляции. Депутаты были пасмурны, позевывали, ежились от утренней свежести. Комендант Рохов нервничал, он был бледен, кусал кривившиеся губы. Он отрапортовал Тотлебену, что берлинский гарнизон сложил оружие.

— Снимите шпагу, — приказал ему Тотлебен. — Отныне вы не комендант Берлина, а мой военнопленный.

Рохов повиновался. Отдали шпаги и прочие прусские офицеры.

— Бригадир Бахман, — обратился Тотлебен к своему подчиненному. — С сего двадцать восьмого сентября вы — русский комендант Берлина. Распорядитесь без промедления занять казаками и пехотой все ворота города, а равным образом и высоты, где стоят неприятельские батареи.

Было шесть утра. Солнце встало. В его лучах горели кресты костелов, шпиц королевского дворца, вражеские заклепанные пушки у ворот. Блестели уздечки, стремена, медные кокарды на красных гусарских шляпах, штыки строившейся пехоты. Над воротами взвился российский флаг.

В семь часов раздалась команда, забили барабаны. Началось торжественное вступление русских войск в Берлин.

Впереди ехал со свитой граф Тотлебен. За ним с развернутыми знаменами многие эскадроны драгун и конногренадер в пышной парадной форме. А сзади, ощетинив острые штыки, шагала серая пехота.

Измученные недавними боями, русские солдаты были суровы видом, в их взорах из-под насупленных бровей сверкала гордость победителей.

Гремели оркестры церемониальными маршами, песельники сильными голосами исполняли бравые песни

с присвистом. Под медную музыку и песни кони с подстриженными хвостами подплясывали, похрапывали, кивали головами, как бы раскланиваясь с толпами берлинцев, стоявших по обе стороны дороги. Горожане в полном молчании встречали врага, захватившего их город.

Шествие направлялось по улицам столицы к королевскому дворцу. Главные части войска были расквартированы в окрестностях Берлина. Напуганные жители, ожидавшие погромов и бесчинств, с удивлением наблюдали, как русская пехота и казаки мирно проследовали в отведенные им казармы.

Граф Чернышев ночевал в двенадцати верстах от Берлина, в местечке Кепеник, в королевском загородном замке. Он всю ночь не спал от невыносимой зубной боли. Рано поутру прискакал курьер с известием, что Берлин сдался и что граф Тотлебен ведет переговоры со столичными властями об условиях сдачи.

— *Не вести* переговоры об условиях, а *диктовать* эти условия, — вспылил Чернышев. — Одеваться! Кофе! Двух писарей сюда!

Граф Чернышев был в сильном гневе на Тотлебена и на самого себя. «И угораздил же меня черт так нелепо проворонить взятие столицы. Ха, не угодно ли... Берлин взят не русским генералом графом Чернышевым, а каким-то проходимцем Тотлебеном, иноземным выходцем... А все проклятые зубы причиной!» — Чернышев схватился за опухшую щеку, застонал и крикнул:

— Зубодера ко мне!

Вошедший доктор (лысая голова, большие красные руки) сказал:

— Ваше сиятельство, у вас опухоль десны, надо выждать, пока созреет и прорвется флюс. Я сейчас вам припарку...

— К чертовой матери твою припарку... Рви!

Когда доктор нажал на сгнивший зуб холодной сталью, у Чернышева брызнули из глаз слезы, но зуб благополучно вылетел. Чернышев перекрестился.

3

Тотлебен, избравший для своего пребывания королевский замок, стал полным хозяином столицы. Возле него все время вертелся шустрый берлинский банкир Гоцковский. Он пользовался большим влиянием в среде столичных дельцов. В Берлине и его окрестностях были сосредоточены крупнейшие фабрики, суконные, шелковые, ситценабивные, а также фарфоровые, фаянсовые и многие другие заводы, поэтому мир коммерческих воротил был здесь особо богат и силен. Гоцковский считал себя большим другом Тотлебена, — при встрече они облобызались и вспомнили свои былые кутежи в Берлине. Банкир осыпал Тотлебена лестью, лаской и подарками. Он, как челнок в ткацком станке, носился в своей голубой карете взад-вперед то в магистрат, то к фабрикантам, то к Тотлебену. Он весь проникся духом патриотизма и мнил себя добрым гением несчастного города. Богатый, предприимчивый Гоцковский был очень щедр, Тотлебен же чрезмерно покладист.

На заседании магистрата, где присутствовали президент Кирхехен, бургомистры, ратман и где заслушан был выработанный магистратом текст капитуляции, Тотлебен, распаляясь фальшивым гневом, топал, кричал, запугивал:

— Контрибуции четыре миллиона, и — ни пфеннига меньше! Такова воля и точное повеление командующих экспедиционным корпусом графа Чернышева и генерала Панина... Иначе — фабрики будут взорваны, Берлин предан огню...

А возвратясь в королевский замок, Тотлебен дал банкиру Гоцковскому согласие подписать документ о сдаче города. Текст этого исторического документа начинается так:

«Пункты капитуляции, которую столичный город Берлин, из милости ее императорского величества всероссийской императрицы и по известному его сиятельства командующего генерала человеколюбию, получить надеется:

1) Чтоб сей столичный город и все обыватели...» — и т. д.

Иные пункты капитуляции были выгодны не столько нам, сколько пруссакам. Так, контрибуция снижена до полутора миллионов талеров, да и то наличными город уплачивал пятьсот тысяч, остальная сумма — ненадежными купеческими векселями.

Граф Чернышев, узнав о столь мягких условиях капитуляции, пришел в ярость, но, чтоб не подорвать авторитета Тотлебена и тем самым всего российского воинства, волей-неволей согласился на условия капитуляции.

За столь выгодную для Берлина сделку Тотлебен в накладе не остался. И только лишь он успел получить от Гоцковского превеликий куртаж, или акциденцию, а по-русски — взятку, как явился в кабинет адъютант и подал ему опечатанный казенными печатями пакет.

— От его превосходительства генерала Петра Иваныча Панина.

«Повелеваю вам все королевские фабрики, в первую же голову Лагергаус, с коей становится сукно на всю прусскую армию, 29 сего сентября, в утре, разорить до основания, а товары секвестровать в пользу Российской империи. Точно так же поступить и с серебряной и золотой мануфактурой, кои тоже собственностью прусского короля являются. Извольте в точности сие исполнить и немедленно об исполнении сего меня уведомить.

Панин».

Приказ написан был по-французски, так как Панин знал, что Тотлебен в русском языке слаб. Тотлебену тем более был неприятен самый тон приказа и его содержание.

Он послал за Гоцковским и, когда тот явился, молча подал ему бумагу Панина.

Банкир ознакомился с нею, пожал плечами, закатил глаза и, заикаясь, произнес:

— Это-это-это... невозможно!

— Но войдите, мой любезный, в положение вашего покорного слуги. Я никак не могу ослушаться категорического приказа!

— Сиятельный граф, — вкрадчиво сказал Гоцковский, — сверх того, что вы уже получили, мы обещаем вам то самое имение в Померании, которое вы облюбовали, оно оценивается в девяносто шесть тысяч талеров...

— Но я не могу, не могу, поймите же, — простонал Тотлебен. — Мне настрого приказано разрушить до основания все фабрики, являющиеся собственностью его величества короля...

Гоцковский прищурил левый глаз, прищелкнул пальцами и таинственно улыбнулся.

— Сиятельный граф, — начал он, — смею вас заверить и клятвой своей подтвердить, что эти помянутые королевские фабрики его величеству королю не принадлежат, ибо весь доход с них... ээ... в казну не отчисляется, а поступает целиком на содержание большого сиротского дома в Потсдаме.

— О, тогда оборот дела меняется, — повеселел Тотлебен. — И ежели это действительно так, я в виде гарантии должен потребовать от вас, любезнейший Гоцковский, письменного на то свидетельства, а также утверждения присягою и... и... еще, хотя бы для проформы, показаний каких-либо знатных свидетелей...

— За свидетелями дело не станет, граф. — И Гоцковский поспешил к выходу.

Тотлебен провел рукой по белокурым курчавым волосам и осмотрелся. В четырех темных бронзовых шандалах горело сорок восемь свечей. Потолок высокого готического кабинета окутан был давящей мглой. На черном выступе пылавшего камина позеленевшие от времени бронзовые часы показывали полночь. По мрачным стенам в неверном колеблющемся свете старинное оружие — щиты, кольчуги, шлемы. По углам — чугунные стопудовые рыцари в латах и доспехах. С потолка на черной толстой цепи спускалась черная тяжелая люстра. Все было грузно, мрачно и мертво, лишь играющий огонь в камине да неяркий блеск свечей напоминали о жизни.

...Тем временем банкир Гоцковский, по привычке потирая руки, громыхал чрез ночную тьму в своей голубой карете в ратушу, где днем и ночью дежурил весь состав магистрата.

4

Ночь прошла благополучно. Казачьи разъезды, пешие патрули и рунды блюли порядок. Комендант города Бахман не слезал с седла. Полуторастотысячное население столицы, видя строгую дисциплину среди русских войск, успокоилось.

В шесть часов утра, проехав старинный мост Курфюрстенбрюкке, Пугачев с Семибратовым возвращались из ночного дозора. Им очень хотелось есть. Они с завистью посматривали на открываемые булочные с золотым кренделем вместо вывески, на спешивших к рынку торговок, везущих на небольших тележках молоко и зелень. Люди все гуще стали заполнять проснувшиеся улицы. Вот пробежала с веселым криком ранняя кучка школьников; два пастора степенно идут в кирху; пыля и гремя, прокатила почтовая тройка, на телеге почтальон с пистолетом и шпагой. Встречались нищие, инвалиды на костылях, женщины, девушки; толпами шли к фабрикам работные люди в коротких кафтанах.

Иные из прохожих, завидя бравых наездников, приветствовали их улыбчивыми взглядами, взмахивали шляпами, платочками. А некоторые, наоборот, грозили кулаками.

Быстро остановив тележку, торговка подала казакам небольшой кувшин молока, румяный пирожник совал им горячие пирожки с капустой.

— Эссен зи, эссен зи! Кушайте.

— В газетах врали, что казаки и все русские — грабители, — переговаривались в толпе, — а они парни хоть куда...

Куча ребятишек держала шумный совет, что бы такое подарить казакам. Беловолосый, что постарше, взглянув на шапки георгинов возле соседнего дома

под остроконечной черепичной крышей, вбежал в палисад и, не решаясь самовольно сорвать чужие цветы, стал стучать подвешенным на крыльце деревянным молотком в жестяной лист, прибитый к двери.

— Хозяйка, — сказал он появившейся в дверях старухе в белом чепце. — Вот два казака на дороге... Видите? Нельзя ли сорвать для них два ваших георгина?

— Сорви, сорви... Да погоди-ка. — И она достала из кармана вязаной кофты две спелых груши. — Передай им... Да только сам не сожри...

— Ха! Что вы...

Собиралась толпа зевак. Узкий переулок вблизи казармы наполнился говором. Мальчики с ясными улыбками на счастливых рожицах поднесли казакам цветы и груши.

В третьем этаже дома из грубо тесанного камня с треском растворилось окно, раненый старый прусский офицер в рыжем парике сердито махал руками, кричал:

— Эй вы! Врагов отечества?! Врагов его величества короля? Прочь, прочь! Стрелять буду...

Пугачев вытер губы, тряхнул чубом, сказал:

— Ну спасибо, миряне, на угощении. Не знаю, как вы, а мы с дружком очённо довольные вами остаемся. Прощевайте! — И казаки двинулись дальше.

В этот день по приказу Чернышева были взорваны и разрушены до основания арсенал, литейный двор, королевские ружейные фабрики и шпажные заводы Берлина, Потсдама и Шпандау, а также все пороховые мельницы. Огромная военная добыча — пушки, ружья, шпаги, порох — немедленно отправлялись в нашу армию.

Австрийский корпус генерала Ласси, подошедший от Потсдама и не участвовавший во взятии столицы, намеревался тоже войти в Берлин. Но австрийцев в воротах остановили наши пикеты, ссылаясь на условия капитуляции, по которым большая часть русского корпуса тоже остается в поле. Ласси усмехнулся, сказал: «Здесь не вы одни хозяева», — и насильно под барабанный бой ввел несколько своих полков в Берлин, чтобы расквартировать их в домах столицы.

С приходом войск генерала Ласси в городе сразу начались беспорядки. Едва осмотревшись, австрийцы бросились грабить жителей, разбивать их квартиры. Во многих улицах слышались вопли, проклятия, пальба из пистолетов и ружей. Возникали пожары.

Комендант Бахман, поспевая с сильным отрядом казаков всюду, где беспорядки, старался навести спокойствие.

Граф Чернышев жил в Кепенике. Заметив над Берлином зарево, он вскочил в седло и в сопровождении пяти эскадронов гусар двенадцать верст проскакал вмах. Выяснив положение дела, он приказал немедленно очистить улицы столицы от грабителей.

— Пустить в ход оружие! Мародеров расстреливать на месте.

К ночи погромы во всем Берлине были приостановлены. Расставлены сильные караулы из русских возле королевских конюшен, обсерватории, оперного театра, зданий Академии наук и Академии художеств, возле больниц и госпиталей, возле университета и прочих общественных зданий.

Чернышев поместился в королевском дворце. Тотлебен, живший в другой половине дворца, на следующее утро явился к Чернышеву с докладом. Чернышев не подал ему руки и не предложил сесть. Похолодевший Тотлебен стоял навытяжку.

— Известно ли вам, граф, что король движется сюда?

— Нет, не известно, ваше сиятельство.

— Потребовали ль вы от магистрата ключи Берлина?

— Нет.

— Отлично! — Чернышев зажмурился, поправил тугой ворот мундира, достал из сумки голубоватый лист бумаги и потряс им в воздухе. — Подписанная вами капитуляция составлена слишком мягко для Берлина, и всемилостивейшая государыня вряд ли останется вами довольна. — Чернышев пристально уставился Тотлебену в лицо. В глазах Тотлебена от-

разилось сильное душевное волнение. — А изъяты ли вами деньги и прочие ценности из правительственных учреждений столицы?

— Нет, ваше сиятельство. Но я это исполню.

— Приведен ли в ход приказ генерала Панина о секвестровании мануфактуры королевских фабрик?

— Нет, ваше сиятельство, — произнес побледневший Тотлебен. — Но я имел к этому сильные основания. Вот извольте просмотреть документы. — И Тотлебен подал Чернышеву два исписанных листа бумаги с сургучными печатями. — Эти документы удостоверяют, что так называемые королевские фабрики работают не в пользу короля, а...

Чернышев, не читая, разорвал оба листа, скомкал их, швырнул на пол и, едва сдерживая себя, сказал:

— Сегодня же извольте отправить в наш лагерь все товары королевских фабрик. Я буду иметь личное за сим наблюдение. — Он поднялся и, опираясь кулаками в стол, резко проговорил: — В вашем поведении, граф, я усматриваю нечто большее, чем нарушение воинской дисциплины. Прощайте.

5

Ровно в полдень, по приглашению Чернышева, прибыл во дворец весь магистрат. Чернышев потребовал немедленно представить ему ключи города Берлина. Президент магистрата Кирхехен, высокий и худой старик в орденах и медалях, отвесил Чернышеву поклон и, покашливая, тонким голосом заговорил:

— Ваше сиятельство, всемилостивый военачальник! Умоляем вас отменить свое требование. Передачей вашему сиятельству ключей столицы была бы нанесена кровная обида его величеству королю и причинился бы вечный позор нашей нации.

— Смею вас заверить, — ответил, приподымаясь, Чернышев, — что нация тут ровно ни при чем. Против нас воюет король, а не нация. И может всегда статься, что ваша нация окажется однажды не против нас, а с нами...

— Когда граф Тотлебен взял Берлин, он о ключах ни слова... — начал было Кирхехен, но Чернышев грубо прервал его:

— Замолчите! Граф Тотлебен Берлина не брал. Берлин взят русскими солдатами. Потрудитесь без промедления доставить мне ключи.

Золоченые ключи в шкатулке из мореного дуба с железным прусским орлом на крышке чрез час были вручены Чернышеву и перешли на славу России в ее владение. Вез ключи в придворной карете президент магистрата Кирхехен, глаза его были полны слез. Карету эскортировали три эскадрона русских гусар с развернутым знаменем и оркестром.

В конце дня Чернышев в открытом экипаже катался по городу. Его сопровождала сотня казаков. Пугачев с любопытством приглядывался к огромному городу Берлину.

— Я полагал, Кенигсберг-то город, а он супротив Берлина — деревня, — сказал он Семибратову, скакавшему голова в голову с ним.

Широченная и прямая улица Унтер-ден-Линден, обсаженная посредине четырьмя рядами лип и обстроенная прекрасными домами, особенно поразила воображение казаков. Когда они вомчались в зеленые заросли Тиргартена, большого, трехверстной длины, парка, со множеством дорожек, прудов и затейливых беседок, Чернышев пошел пешком направо, к реке Шпрее. Еще не улетевшие грачи с граем возвращались с полей, в кустах, потрескивая, посвистывая, перепархивали дрозды и пичуги. Хваченная инеем густая листва была живописна: желтая, фиолетовая, рдяная, как кровь, она радовала глаз. А вот и неширокая Шпрее. Вода в ней не успела еще совсем остыть. Каких-то три наших солдата, оголив себя и наскоро перекрестившись, с разбегу кинулись в воду, громко загоготали и, отфыркиваясь, поплыли на тот берег.

— Хороша ль водичка? — с хохотом кричали им с берега.

— Хороша-то хороша. Только дюже мокрая! Одно слово — немецкая...

На берегу кучки наших солдат чистили обозных и верховых коней, стирали белье, негромко пели проголосную тамбовскую. Пылал костер.

Пугачев водил взором по этой чужой ему реке, прислушивался к тягучей родной песне, ему вспомнился вольный Дон, сердце его облилось тоской по родине. «Домой, домой», — стучало сердце.

Вечером, проглядывая в библиотеке замка берлинские газеты за годы войны, Чернышев шумно негодовал. Помимо массы дерзких и каверзных карикатур на русских полководцев, казаков, Елизавету, его особо злили наглые поклепы на жестокость и варварство русского воинства. То мы в каком-то местечке по локоть отрубили руки трем почтенным старикам, то добывали кинжалами из чресла беременных женщин еще не родившихся младенцев, то, вытащив из церкви престарелого пастора, обмотали его соломой и живьем сожгли.

— Ну, я им, этим газетирам, завтра праздничек устрою... Диатрибы проклятые! — проговорил Чернышев и отшвырнул газеты.

Утром следующего дня к плацу перед замком, где еще при отце Фридриха II был цветущий сад (Люстгартен), со всех сторон спешил оповещенный о небывалом зрелище народ. Было воскресенье. Во всю длину плаца вытянулись в две шеренги солдаты, у каждого в руке пучок розог. В середине — бледные, растерянные сотрудники всех столичных газет, листовок и журналов. Тут же — высокая виселица с веревкой. Под виселицей пылал костер. Возле костра, наступив сапогом на кипу газет, стоял в красной рубахе и широкополой шляпе рослый палач. Чернышев с «першпективной» трубой в руке наблюдал эту картину из распахнутого окна замка.

Раздалась команда. Пять барабанов забили дробь. Палач, пачку за пачкой, стал швырять в огонь газетные листы... Капралы и казаки начали стаскивать с газетчиков одежду. Газетиры дрожали.

Заиграл рожок. Бой барабанов прекратился. Адъютант графа Чернышева верхом на статном белом коне поднял руку. Весь плац погрузился в мертвое

молчание. Взоры всех были устремлены на адъютанта. Громко, на немецком языке, адъютант объявил:

— За бесчестную клевету и грязную ложь, коими собранные газетиры на протяжении всей войны порочили Россию и ее славную армию, надлежит их прогнать сквозь строй.

Приговоренные пришли в трепет, стали что-то лепетать, стали приводить в свое оправдание жалкие доводы: «Мы действовали под давлением хозяев», — иные упали на колени и, обращаясь к адъютанту, молили о пощаде.

— Снимай портки, жирный черт, — пыхтел усатый капрал над толстым Фрицем. — Тебе по-русски говорят — снимай!

Но тот двумя горстями со всех сил держал штаны и весь трясся. Многочисленное сборище зевак шумело, волновалось. Из толпы слышались нервные выкрики:

— Шульц!.. Фриц!.. Рауль!.. Мужайтесь! Мы здесь, мы с вами.

Снова заиграл рожок. Все смолкло. Переконфуженные газетиры понуро стояли без штанов. Адъютант взмахнул рукой и торжественно, на весь плац, громко объявил:

— Всероссийская императрица Елизавета, в своем неизреченном милосердии даже к врагам своим, на сей раз всемилостивейше прощает преступных газетиров и берет с них клятвенное слово впредь такими продерзостями не заниматься.

Адъютант уехал. Казаки вскочили в седла. Солдаты с бравыми песнями строем разошлись. Публика помогла опозоренным газетчикам одеваться. Фриц, тяжко отдуваясь и вытирая с толстой шеи пот, прихватил пучок розог себе на память.

В этот же день было объявлено выступление из Берлина.

Распоряжением нашего командования взяты были все деньги, какие оказались в казначействе, в государственном банке и прочих казенных учреждениях, а также получен так называемый «дусергельд», то

есть подарок русским и австрийским солдатам двухсот тысяч талеров.

Банкир Гоцковский готовился дать в ратуше русским военачальникам торжественный обед, но Чернышев затею эту отклонил.

За русским комендантом Бахманом магистрат прислал карету. Изливаясь в благодарности за поддержание в столице столь великой дисциплины, магистрат поднес ему как коменданту города десять тысяч талеров в награду. Не приняв денег, Бахман не без яда ответил:

— Я довольно награжден и тою честью, что несколько дней был комендантом Берлина.

Войска выступили в полном порядке. Впереди — донцы. Они успели сложить про свой поход песню. Потряхивая чубом, с лукавой насмешкой в черных, навыкате, глазах, Пугачев звонко начал:

Часто Фридриха мы били,
К нему в гости мы зашли,
Всю столицу перерыли,
Короля в ней не нашли.

Ударяя в бубны, в тулумбас, казаки с присвистом азартно подхватили:

Эх, любо, братцы, любо,
Любо врага бить!
С нашим атаманом
Не приходится тужить,
Эх, нечего тужить!

Опять залихватская запевка Пугачева:

Мы в Берлине погуляли,
Фридрих будет помнить нас.
В Шпре-реке коней купали,
Весь повывезли запас.

И снова дружные голоса казаков:

Эх, любо, братцы, любо,
Любо врага бить!..

ГЛАВА VI

Чугунные рыцари

1

Наступил 1761 год, чреватый важными неожиданностями. Так вместо Фермора на пост главнокомандующего был неожиданно назначен фельдмаршал Бутурлин. Всем было в удивленье, что на протяжении пяти лет войны сменялся вот уже четвертый военачальник. И, как на беду, все эти сановитые горе-воеводы, даже граф Салтыков, не обладали в полной мере качествами главнокомандующего. У них была своеобразная, весьма удобная для Фридриха тактика: восемь месяцев сидеть где-нибудь в Польше, два месяца идти к полю битвы, два месяца воевать, успешно разгромить вражескую армию и, не использовав до конца победы, не поставив разбитого врага на колени, снова с легким сердцем уходить на винтер-квартиры в Польшу, то есть возвращаться к праздному восьмимесячному прозябанию за счет русского крестьянства, изнывающего от военных поборов. А вот наступит лето, можно опять пойти подраться с Фридрихом. И так тянулось это из года в год.

Всех горе-воевод подсовывал мужественной русской армии правящий Петербург, отчасти и сама Елизавета. Горе-воеводой оказался на деле и фельдмаршал Бутурлин. Про него шла молва, что он навряд ли способен и три полка водить, где же ему всей армией командовать?

И еще говорили:

— Да если б главнокомандующим граф Румянцев встал, три года еще тому назад мир был бы заключен.

Бутурлину шестьдесят семь лет. Высокий, плотный, с красным горбатым носом, воспаленными, навыкате, глазами, он говорил густым басом, на подчиненных наводил иногда трепет, но с солдатами обращался милостиво. Когда-то он учился в морском корпусе, был денщиком Петра I, принимал участие

в Полтавской баталии. Его хорошо знали при дворе. На куртагах он не раз кутил с самой Елизаветой, а на придворных балах, танцуя в паре с государыней, фельдмаршал с таким азартом топал грузными сапожищами в паркетный пол, что по всему дворцу шел треск и грохот, как от пушечной пальбы. Человек хотя и недалекий, но прямой и честный, он, к сожалению, чрез меру зашибал винцом. Бывали в походе случаи, когда военачальник этот забирался к солдатам в палатку, и там начиналась веселая попойка. Когда все, за исключением адъютанта, были пьяны, фельдмаршал, расчувствовавшись и целуясь с гренадерами, тут же производил их в офицеры, а его самого затем уносили на квартиру. Проспавшись и пососав на опохмелку соленый огурчик, он утром призывал адъютанта и спрашивал:

— Ну как?

— Вот, господин фельдмаршал, извольте утвердить производство семерых солдат в первый офицерский чин, — служака-адъютант совал Бутурлину список новых офицеров.

— Каких, каких таких... семерых солдат? — таращил глаза Бутурлин. — А-а-а, вспомнил!.. Ну-тка, покличь их сюды.

Он сидел на кровати в одной расстегнутой рубахе и подштанниках. На груди, поросшей густой шерстью, висел нательный золотой крестик, маленький образок Александра Невского и шагреневая ладонка, в которой зашита лягушечья лапка — средство против вражьей пули.

Когда вошедшие гренадеры гаркнули приветствие, Бутурлин, взглянув в список, сказал:

— Окуньков! Который Окуньков? Ты? Очень хорошо. (Широкоплечий, рослый Окуньков, в полной надежде получить офицерский чин, приятно улыбался.) Слушай, Окуньков, — продолжал Бутурлин, которому лакей натягивал штаны, — ну какой ты, к чертовой бабушке, офицер! И что за радость тебе, голубчик Окуньков, офицером быть? Ведь ты солдат первостатейный, а офицеришком самым последним будешь. Ты подумай-ко, голубчик, да ответь мне по

чистой совести, чем тебе лучше быть: свежим ржаным хлебом али паршивым калачом?

— Паршивым калачом, ваше высокопревосходительство! — прокричал солдат, таращa на фельдмаршала полные упования глаза. — Мы в согласии!

— Гм, гм... А ты грамотный?

— Не так чтобы уж очень, а маленько есть, ваше высокопревосходительство.

— А ну-тка, прочти. — И фельдмаршал подал ему воинский устав.

Окуньков раскрыл книжку, задвигал бровями, руки его затряслись, он сказал:

— В глазах чегой-то... того-этого... Как вчера был, конешно, приурезавши... И как будучи получивши контузию в голову — всюё грамоту отшибло, ваше высокопревосходительство!

— Вот и слава богу, — отечески сказал Бутурлин. — Оставайся-ка ты, дружок, чем был раньше. Да и вы, братцы, идите с богом к себе... Стойте-ка! Вот вам по пятаку на табачишко.

2

Русская армия зимовала в Польше. Кончался январь. Из России прибывали новые воинские части, боевые припасы, амуниция. Получив из дома третье письмо о тяжелом состоянии здоровья государыни, Бутурлин загрустил.

Однажды, когда кругом гудела вьюга и ветер нудно завывал в трубе, Бутурлин выпивал с глазу на глаз с адъютантом, своим любимцем.

— А ради чего я пью! — говорил Бутурлин, и губы его начинали подрагивать. — Да потому, что матушку жалко, матушка дюже плоха становится, дюже часто болести нападают на нее: то рвота, то обмороки, то головушка болит. Мнится мне, уж не отравили ли нашу великую полковницу припущенники Фридриха, что при дворе толкутся. А матушка-т к людям доверчива... А красавица-то какая! Будь я помоложе, я бы... Вон Алешка-то Разумовский с царь-

ков слетел, теперь Ванька Шувалов ляжками дрыгает возле матушки... Молокосос! Ну, он плясун, знаешь, петиметр такой, щеголь. — Фельдмаршал чокнулся с офицером, понюхал луковку.

Офицер насмелился, спросил, когда же предвидится окончание войны.

— Нынче, голубушка моя, нынче! — ответствовал фельдмаршал. — Надоела уж нам эта кутерьма. Фридрих весь истощен, можно сказать — при последнем издыхании, ну да и мы дюже от войны претерпеваем. Хотя матушка Елизавета, осерчав, рекла: «Ежели, мол, все союзники отступятся, одна буду воевать, половину туалетов своих продам да бриллиантов, а все-таки Фридриха доконаю». Вот она какая у нас. А как посылала меня на фрунт, молвить изволила: «Ну, прощай, Александр Борисыч, знаю, победишь ты, да уж мне не доведется о той победе слышать, навряд ли суждено нам с тобой на этом свете свидеться». Сказала так и горько-прегорько заплакала. — Бутурлин вытер платком глаза и посморкался. — Да мы давно Фридриха прикончили бы, еще граф Салтыков стоптал бы его, — вся беда в том, что в действиях своих озираемся мы на Питер. Вдруг матушка богу душу отдаст? Что скажет новый-то владыка. Петр-то Федорыч? Ведь он на Фридриха-то молится. Ведь он нас... за победу-то нашу... знаешь, куды? В Сибирь! Вот мы и... танцуем раком... Только ты, голубушка моя, в высокую политику не вдавайся, помалкивай себе.

— Нем, как рыба, господин фельдмаршал,—щелкнув шпорами, сказал офицер. — И осмелюсь доложить: на графа Тотлебена поступило множество жалоб...

— На Тотлебена? Ну-тка, ну-тка, — оживился Бутурлин.

— Жалуются штаб-офицеры, слишком жесток он. Его там все ненавидят. Недавно наказал шпицрутенами тридцать рядовых казаков за плохое содержание пикетов, а за компанию с ними выдрал и старшин. Сегодня же получен рапорт самого Тотлебена: ра-

портует, что арестовал бригадира Краснощекова и полковника Перфильева.

— Ах он сукин сын! — закричал Бутурлин. — Да как он смел! Ведь бригадир-то без малого генерал. Ну, там казачишек... это еще туда-сюда, а вот старшин... Эх, и вздую ж я его, подлеца. Иноземец какой-то, бывший волонтеришка, да чтобы русскую армию пороть! Мне про него, про бахвала, и граф Чернышев немало сказывал. Ох, бестия, ох, сволота!.. Эй, денщик! Убери-ка, братец, все к чертям, только луковку оставь. Господин адъютант, ну-тка, дай-кося мне бумагу да перо. Я ему реприманд устрою! — Бутурлин оседлал красный нос очками и принялся за строжайший выговор Тотлебену с приказом немедленно освободить бригадира и полковника из-под ареста. Бутурлин, как и Чернышев, ненавидел Тотлебена, он чуял в нем врага и ждал случая поймать его.

Полученный от главнокомандующего суровый ордер задел Тотлебена за живое. И без того был он сильно раздражен невниманием к себе правящего Петербурга. За взятие Берлина он ничем не был награжден, даже не повышен в чине. Это ли не издевательство!

А дело было так: после резкого выговора, или, вернее, строгого допроса, происшедшего в берлинском королевском замке, кичливый и самонадеянный Тотлебен страстно возненавидел своего обидчика графа Чернышева. И с того часа его неотступно преследовала мысль выставить своего врага на посмеянье всей Европы. «Такой разговор со мной только я да стены слышали, а вот я о тебе поговорю, во все концы мира гулы пойдут», — твердил Тотлебен, обдумывая каждую строку своей реляции о взятии Берлина.

И реляция была составлена. Не посылая в Петербург, Тотлебен поспешил опубликовать ее в заграничной прессе. В своей информации Тотлебен хвастливо выставлял себя на первый план, сводил на нет значение графа Чернышева, резко порицал его как военачальника, а заодно вынес на суд Европы и некоторые недочеты русской армии. Эта реляция свое-

временно попала в руки фельдмаршала Бутурлина, он тотчас же препроводил ее в Питер. Елизавета на Тотлебена разгневалась. Она писала, что «реляция сочинена крайне продерзостно, ибо Тотлебен свою заслугу увеличивает на иждивение всей армии, особливо же поносит графа Чернышева с его корпусом». Быть бы Тотлебену худо, но тут за опального вступился всесильный государственный канцлер Воронцов, после чего из правящего Петербурга «высочайше повелено было, предавая все происшедшее совершенному забвенью, обнадежить Тотлебена вновь монаршей милостью». Тотлебен успокоился. Но все его существование продолжал отравлять ему «этот старый барбос, этот пьяница Бутурлин». Вот и теперь... Получить такой разнос за каких-то паршивых казачишек...

3

Наступила весна. Тотлебен со своей частью находился в Померании. Сюда же должен был прийти корпус графа П. А. Румянцева для осады сильной приморской крепости Кольберг. Ожидалось прибытие русского флота и тяжелой артиллерии.

Хитроумный Бутурлин вздумал поманить не менее хитрого Тотлебена: а не может ли, мол, храбрый граф на удивленье всего мира вновь проявить свое геройство и, не дожидаясь прибытия флота, молодецким налетом взять крепость Кольберг, столь же искусно, как был взят Берлин. Истолковав такое предложение как насмешку, Тотлебен от подобной чести отказался. Тогда Бутурлин приказал ему: находившиеся под его командой три пехотных полка передать графу Румянцеву, а самому Тотлебену с легкими войсками выступить из Померании на соединение с главной армией.

Но тут для Тотлебена произошло нечто неожиданное...

Полковник Аш, назначенный Бутурлиным заведовать делопроизводством графа Тотлебена, плохо

знавшего русский язык, прислал Бутурлину секретное письмо, в котором сообщалось: «Кажется, что граф Тотлебен поступает не по долгу своей присяги и, как я думаю, находится в переписке с неприятелем». Полковник Аш, глаза и уши Бутурлина, писал далее о том, что Тотлебен получает корреспонденцию с неприятельской стороны, что прусский военачальник в Померании генерал Вернер почасту присылает в наш лагерь трубачей и офицеров для якобы разрешенных фельдмаршалом Бутурлиным переговоров о временном перемирии, что недавно берлинский банкир Гоцковский прожил в нашем лагере три дня по каким-то денежным делам и что смутившийся Тотлебен, очевидно желая задобрить полковника Аша, подарил ему, Ашу, золотые драгоценные часы. «Все это и многое другое, — заключает Аш, — наводит меня на сомнение, что Тотлебен какую-то фальшивость чинит с нами, и я сделал проект, как его в уповательных фальшивостях поймать».

Прочитав это письмо, Бутурлин всхохотнул и, сжав кулаки, сказал по адресу Тотлебена:

— Вскормили змейку на свою шейку.

Вскоре в русском лагере полковник Аш встретил конфидента[1] Саббатку из Берлина, прибывшего просить свидания с Тотлебеном. Полковник Аш это свидание устроил. На другой день Тотлебен отпустил Саббатку, приказав капитану Фафиусу проводить его с казаками до неприятельской крепости Кюстрин. Полковник Аш задержал Саббатку и обыскал его. В сапоге Саббатки оказался пакет без адреса, но за печатью Тотлебена, а в нем — точный перевод ордера Бутурлина с указанием предстоящего маршрута русской армии из Познани в Силезию и еще — собственноручная записка Тотлебена к Фридриху II: «Верный слуга получил сегодня милостивое письмо принципала своего и надеется, что и сам принципал письмо раба своего получил, которое он к принцу 1086 отослал, и о новых переменах 521, 864, 960 объявить не

---

[1] Доверенное по секретному делу лицо.

оставил. Верный раб по гроб не перестанет служить своему принципалу 1284, 711, 6—45, 389».

Около полуночи, когда Тотлебен уже лежал в кровати, в его спальню неожиданно вошли три полковника: Билов, Зарич и Фуггер. Один из них, держа в руке бумагу, произнес:

— По высочайшему указу вы арестованы... — Помолчав, резко добавил: — За сношение с неприятелем.

Тотлебен обомлел. Ему показалось, что это не три подчиненных ему полковника, а три чугунных рыцаря, те, что стояли в королевском дворце в Берлине, вздыбив возле его кровати, грузно ударили в пол чугунными секирами. Тотлебен вцепился горстями в одеяло, и, исказившись в лице, воскликнул:

— Это ли награда за мою верную службу! За что, за что арестовать меня?

— У вашего шпиона Саббатки обнаружены позорящие вас документы.

— Хорошо, берите меня. Я отправлюсь с вами под эскортом к фельдмаршалу, где моя невинность сразу же объявится, — волнуясь, говорил Тотлебен по-французски. — Вы можете делать со мной, что хотите... Но вы испортите этим начатую мною против Фридриха кампанию...

Были отобраны сабли, пистолеты, деньги, а все бумаги тотчас опечатаны. Среди бумаг найден черновик большого письма прусскому королю.

Тотлебена вместе с его людьми и конфидентом Саббаткой вывезли сначала в ставку главнокомандующего, затем в Петербург, где все арестованные были заключены в Петропавловскую крепость. Вскоре после ареста были перехвачены письма короля и письма банкира Гоцковского. Банкир сообщал Тотлебену, что король обещает два миллиона за склонение российского двора в его пользу.

Следствие по делу Тотлебена вела особая военная комиссия под председательством бывшего кенигсбергского губернатора, барона Корфа. На допросе Тотлебен извивался, как придавленная палкой змея. Он показал, что его сношения с королем были целиком на-

правлены к пользе и славе России. Он-де рассчитывал при удобных обстоятельствах заманить короля на личное свидание и во время рандеву захватить его в плен.

Суд постановил: «Тотлебена, как изменника, казнить смертию. Саббатку освободить, ибо он был лишь письмоносцем и шпионом Тотлебена» [1].

4

Тем временем на арене войны происходили небольшие, но подчас кровавые стычки между мелкими частями борющихся сторон. Бутурлину было предписано Петербургом оставить Польшу и вести армию в Силезию, на соединение с австрийским корпусом барона Лаудона. Обе армии, русская и австрийская, должны были идти друг другу навстречу. А корпус Румянцева шел осаждать Кольберг.

Русская и австрийская армии соединились лишь в августе и вскоре вошли в соприкосновение с войсками Фридриха. Видя пред собой столь грозную силу, Фридрих струсил и быстро отошел под защиту пушек прекрасно укрепленного города Швейдница, в сорока верстах от Бреславля в Силезии. Изнемогающий Фридрих, потерявший многих своих талантливых военачальников и с трудом набравший себе второсортную армию, теперь уже не отваживался нападать на врага, а предпочитал тактику оборонительную.

Союзники последовали за ним и окружили его армию кольцом с трех сторон. Положение Фридриха стало неимоверно трудным, он был заперт, как медведь в берлоге. Но охотники и на этот раз упустили зверя. Вместо того чтоб немедленно ударить на врага всей силой, союзники тратили дорогое время на военные совещания, излишние споры, сочинение сложных диспозиций. Лишенный мужества Бутурлин не слу-

---

[1] Воцарившимся Петром III Тотлебен был помилован, а Екатериною II — выслан за границу.

шался смелых советов Чернышева и, мешая Лаудону, портил все дело.

А Фридрих не зевал. Работая темными ночами, он всей армией тайно рыл окопы, траншеи, волчьи ямы, воздвигал редуты, ставил батареи и через трое суток превратил свой лагерь в необоримую твердыню, вооруженную пятьюстами пушек. Время для успешного нападения на Фридриха было упущено. Союзные военачальники воочию убедились, что штурм прусских укреплений теперь стоил бы неисчислимых человеческих жертв.

Невзирая на строжайшие приказы Петербурга дать общими силами Фридриху бой, фельдмаршал Бутурлин на это не решился. На военном совете он сказал Лаудону:

— Ежели хотите, начинайте приступ. Только я на это дело больше одного корпуса пожертвовать не отважусь. Да и чего ради? Не из-за вас ли, австрийцев, вся эта каша-то заварилась?

Место тут было голодное, русские войска получали только хлеб да воду, и Бутурлин решил вести армию обратно в Польшу, оставив в лагере лишь двадцатитысячный корпус Чернышева.

Его отход принес много неприятностей как венскому двору, так и правящему Петербургу. Разгневавшись на Бутурлина, Елизавета писала ему: «Не скроем от вас, что этим известием мы были больше опечалены, чем если бы с войском нашим случилось какое-нибудь несчастие».

Фридрих все-таки боялся напасть на уменьшившиеся почти вдвое полки противника. Он снялся с места и отошел в глубь опустошенной своей страны. Вскоре после его ухода предприимчивый Лаудон, поддержанный частью войск Чернышева, быстрым налетом овладел богатым и хорошо укрепленным городом Швейдницем. В штурме особенно отличились русские гренадеры.

Вскоре пала и осажденная Румянцевым сильнейшая крепость Кольберг. Ключи крепости с торжественным донесением о победе искусный полководец Румянцев отослал в Петербург. Из Кольберга и Швей-

дница большими толпами пригоняли в Кенигсберг пленных прусских офицеров и военачальников.

Спрашивается, каковы же были конечные результаты столь злосчастной для народов длительной войны?

Русская армия и армия австрийцев представляли собою грозную свежую силу в двести тысяч бойцов. Фридрих же располагал всего лишь шестьюдесятью тысячами наскоро обученных, плохо одетых солдат. После Кунерсдорфской, славной для русского оружия битвы, Фридрих уже не мог оправиться. Его армия потеряла дух, лучшие офицеры были побиты или попали в плен. Фридрих сам не скрывал, что войско его совсем не то, каким оно было в начале войны. Он говорил своим друзьям:

— Мое теперешнее войско годится только для того, чтобы пугать им неприятеля издали.

Фридрих сознавал, что его враги, сохранившие боевую готовность своих армий, хотя медленно, но достигают желаемой цели и что борьба для него становится невозможною. Сколько-нибудь улучшить свое положение у Фридриха не было никаких надежд. За долгие годы войны Пруссия пришла в нищету, людей у Фридриха нет, денег нет, продуктов нет, в стране начались волнения. Круг судьбы Фридриха замыкался. Теперь ничто не могло спасти его, кроме чуда или счастливой случайности.

ГЛАВА VII

Петр Федорович III, император всероссийский

1

Каждая жизнь на земле, как и жизнь властелинов, кончается смертью.

Около трех часов пополудни, 25 декабря 1761 года, в праздник рождества Христова, скончалась в старом Зимнем дворце императрица Елизавета

«привенчанная»[1] дочь Петра I и «не помнящей родства» Екатерины.

Очень полная, высокого роста, с лицом одутловатым, но величественным и спокойным, бывшая государыня тяжко лежала на легких, умятых пуховиках, по грудь прикрытая шелковым ярко-табачного цвета одеялом. Изящные руки с побледневшими ногтями сложены на груди по-православному, крест-накрест. Изголовье взбито, приподнято. Наволочка с правой стороны в еще не просохших слезах: покидать жизнь веселую и трудную, оставлять обширную державу в бессильных руках злосчастного, черт его возьми, племянника было тяжело государыне сверх меры. И чудилось, что, чуть вскинув черные выразительные брови, она грозит новому императору мертвым взором, ненавидит его, шлет ему проклятия.

За час до смерти Елизаветы наследник престола сидел в комнате рядом со спальней, где умирала императрица, и с нетерпением ожидал конца. А за две комнаты от спальни помещались сановитые: князь Никита Трубецкой и генерал кригскомиссар А. И. Глебов. В этой комнате толпилась кучка перепуганной знати, перешептывались, трясли головами, нюхали табак, утирали носы платками. Восседавшие за письменным столом Трубецкой и Глебов кивком пальца подзывали по очереди близких к наследству особ, тихо переговаривались с ними, что-то писали, ходили с докладами к наследнику.

По галереям, коридорам, во всем дворце царила суматоха.

При последнем вздохе государыни были: новый император Петр Федорович III, новая императрица Екатерина Алексеевна и четыре врача, не смогшие продлить угасающую жизнь и на четыре секунды. Старший из них, лейб-медик Мунзей, повернувшись к царствующим особам, опустив голову, взор, руки,

---

[1] Елизавета родилась до церковного брака Петра с Екатериной. Во время венчания родителей маленькая Елизавета, согласно обычаю, также ходила вместе с ними вокруг налоя, держась за платье матери. Таких детей называли «привенчанными».

взволнованно по-французски объявил о кончине государыни.

Петр Федорович, подмигнув покойнице, лейб-медику и всему миру, сделал лицо елико возможно постным. Екатерина, всхлипнув, прикрыла ладонью припухшие от долгих слез глаза. Она вся в крайней тревоге. Обычное самообладание оставило ее. С особой остротой в ее мыслях промелькнула еще не остывшая сцена, происшедшая сегодня поутру. К ней дерзновенно проник Григорий Орлов. От имени капитана гвардии князя Михаила Дашкова, волнуясь и устремляя на Екатерину умоляющие, в слезах, глаза, Орлов сказал: «Повели, владычица сердец наших, мы тебя возведем на престол». Перепуганная Екатерина, привскочив с кресла, зажала его рот ладонью, зашептала: «Бога ради... Как можно сие? Бросьте вздор!» Поцеловав ароматную ладонь ее, он уже с большей настойчивостью стал торопливо говорить: Ваше высочество... Ловите момент... Государыня кончается... Мы все в страхе за судьбу любезного отечества... Мы все умрем за вас. Не медлите, решайтесь!» — «Нет, нет,— ответила она, чувствуя, как разрывается под корсажем ее сердце, — ваше предприятие есть рановременное, плод еще не созрел. Давайте ждать... Что бог захочет, то и будет». И вот теперь, у постели скончавшейся императрицы, она готова упрекать себя за свой нерешительный, бабий ответ мужественному гвардейцу. «Господи, помоги, помоги мне», — шепчет она.

Открылись двери. Из приемной чинно, парами вошли члены сената, придворные и сановники высших рангов. Зал огласился рыданиями. Екатерина тоже заплакала, кинулась к покойнице, с искренней горестью припала к ее груди.

Узкоплечий император состроил гримасу «себе на уме», быстро повернулся кругом и, с пристуком переставляя негнувшиеся ноги и приподняв правое плечо, вышел. По коридору, на виду у публики, царь вышагивал размеренно и четко, он держал левую руку у шпаги, правой чуть помахивал; но чем ближе к своей комнате, тем походка его становилась быстрее, вот

он вбежал к себе, притопнул, неестественно захохотал, подхватил на руки пыхтящую собачонку, стал с ней кружиться, взахлеб выкрикивать:

— Томи, Томи!.. Я император... Я император, самодержец всероссийский!.. Наконец-то, Томи... Довольно нам неприятных встреч с тетушкой... Что, что? ты у кого на руках, псина собачья? Пошла вон, пошла вон! — Петр швырнул собачонку через стол в кресло. — Смирно! На караул! — и, подтянувшись и помахивая чуть согнутой в локте длинной рукой, приблизился к зеркалу, стукнул каблук в каблук. — Ваше величество! Мы, божией милостью, император и самодержец всероссийский. — И как бы спохватился, прищелкнул пальцами, отпрянул от зеркала прочь. — Шляпу, шляпу, шляпу... — надвинул на глаза неуклюжую голштинскую шляпищу с пером (и без того небольшое лицо его сразу стало маленьким, детским, треугольным), выхватил из ножен шпагу и, вскинув ее, по всем правилам торжественных парадов продефилировал перед портретом Фридриха Прусского. — Салют! Салют! — повернулся и еще раз прошел, повернулся и еще раз прошел грудью вперед, салютуя шпагой. — Фридрих... Великий Фридрих, брат мой!.. Отныне я, император всероссийский, вечный твой друг... Вся моя армия и весь я к твоим услугам, дорогой добрый брат и отец мой, великий Фридрих. Эй, кто там? Трубку императору! И... кружку пива...

Не однажды битый, но любимый им лакей, губастый пожилой арап Нарцис, исполнил приказ. Петр с жадностью выпил пиво.

— Еще кружку! И Мельгунова сюда... Император требует к себе. Император!..

Вторую кружку, с особой учтивостью, величаво и чванно, подал на серебряном подносе сам генерал-полковник Мельгунов. Государь с жадностью осушил и эту объемистую кружку: округлый, стянутый кушаком живот его заметно раздулся.

— Слушай, Алексей Петрович! — скрипящим, крикливым голосом воскликнул новый государь. — Я, император, приказываю тебе... — Он напыжился, сдвинул жидковатые брови. Большие на полудетском лице

темные глаза его улыбались и серьезились, улыбались и прикидывались грозными. Он впервые повелевал как неограниченный владыка. От часто произносимого им слова «император» кровь приятно вскипала в нем, как от шампанского, и всякий раз бросалась в голову. — Передай государыне императрице, что император просит ее величество оставаться при теле почившей государыни и ожидать распоряжений государя императора, то есть моих.

«Полуглупо, как всегда», — внутренне поморщился умный Мельгунов, сказал:

— Слушаю, ваше величество, — и вышел.

Гремя серебряными шпорами, Петр величаво изволил проследовать в свою опочивальню. Тяжелая дверь льстиво заскрипела: «император». Он видит: все стоит перед ним в страхе, навытяжку; сотни оловянных и вылепленных из теста раскрашенных солдатиков, прусские всадники, расставленные наверху запылившихся шкафов, чучело прусского витязя в доспехах, скрипка, столы, стулья, кровать, с длинными чубуками трубки — все эти бездушные вещи глядят на своего владыку почтительно и удивленно.

Слабый мозг Петра горел, сердце взбалмошно выстукивало: «Император, император, император». Перекликались в клетках чижи со щеглами: «Император, император». Маятник мюнхенских часов размеренно отбрякивал: «Им-пе-ра-тор». Углы взнузданных губ государя полезли вверх, обнажая в благодарной улыбке коричневые от безмерного куренья и плохого ухода зубы.

И вдруг, омрачая эти минуты самовлюбленного величия, какая-то каналья осмелилась крикнуть повелителю в лицо:

— Дурак!

Петр Федорович разинул рот, заморгал правым глазом, выхватил шпагу, в два прыжка скакнул к медному кольцу, где жался желтый попугай, и с размаху ударил по птице шпагой! Попугай, подсвистнув, перелетел на печку и еще два раза прогнусил: «Дурак...»

Государь затопал, в бешенстве завизжал, швырнул в анафемскую птичку игрушечной пушкой. Вбежавшему арапу, давясь словами и слюной, стал в торопливости выкрикивать:

— Поймать, поймать, поймать!.. Поймать эту ку-ку-курицу. Ощипать и бросить кошке... Кто ее научил? Кто ее научил? — и, красный, потный, выбежал в конференц-зал. — Я им покажу, я им всем покажу! Я не тетушка Елизавета в сарафане. Я, я... — бубнил он, не зная, чем успокоить себя.

2

В комнате с гробом читали евангелие, окна открыты, втекал морозный воздух. Началась панихида, совершаемая знаменитым митрополитом новгородским Дмитрием Сечёновым. При пении придворным хором «Со святыми упокой» одетая в глубокий траур Екатерина и все присутствующие опустились на колени. Петр стоял столбом. Екатерина шептала ему: «Встаньте, встаньте на колени». Но тот никак не мог этого сделать: длинные голенища ботфорт необычайно узки, жестки, как железо, и столь туго напялены на ноги, что колени не сгибались. Петр обычно двигался, переставляя ноги, как деревянные ходули, а если нужно было сесть, он, подпрыгнув, шлепался сиденьем в кресло либо проделывал сложный акробатический прием: встав спиной к креслу, хватался за его поручни, выставляя ноги вперед в сильный наклон к полу и, скользя пятками по паркету, благополучно падал в кресло.

— Встаньте, прошу вас, — настойчиво повторила Екатерина, тщась не уронить высокого звания своего супруга в глазах новых его подданных.

Петр состроил гримасу и, выкинув ногами пируэт, попробовал опуститься. Левую ногу он оттянул елико возможно назад, сделал огромное усилие согнуть в колене и правую ногу, голенище громко заскрипело, как коростель в болоте, а нога и не думала сгибаться. Тогда Петр с отчаянием повалился лицом вперед, в

надежде справиться с деревянными ногами, лежа на полу. Он уперся ладонями в ковер, и оттопыривая зад и выгорбливая узкоплечую спину, тужился подволочить ноги к животу, чтоб всей силой согнуть их и хоть как-нибудь стать на колени. «О, черт!» — кряхтел он, гримасничая, как на пытке, и скрежеща зубами. Видя безобразную и беспомощную позу его, два адъютанта живо подхватили государя под руки и враз вздыбили.

Пока вспотевший Петр корячился на полу, погребальное песнопение закончилось, все поднялись, злясь в душе на государя, что в столь трагическую минуту устроил такую гишпанскую комедию. От великой неприятности на щеках Екатерины сквозь пудру яркий проступил румянец. Екатерина негодовала на Петра и в то же время преисполнялась радостью: чем больше уронит себя новый император во мнении придворной знати, тем для нее лучше.

Митрополит произнес краткую речь, восхваляя деяния покойной и скорбя о том, что великая государыня безвременно скончалась.

— Слава богу, слава богу, слава богу, — скороговоркой выборматывал новый император, улыбаясь и подмигивая церковному, в золотой митре, краснобаю, а все присутствующие плакали; проливала слезы и Екатерина.

Затем все пошли в дворцовую церковь для принесения торжественной присяги. С крепости был дан пушечный салют.

В тот же день, в куртажной галерее, за три комнаты от покойницы, сервирован был на полтораста персон ужин и, невзирая на траур, повелено было государем: всем быть на том ужине в светлом платье. Подобное нарушение самых простых приличий прозвучало среди ошеломленной знати как явный вызов, как жесточайшее оскорбление издревле установленных обычаев.

Ужин проходил весело. Император, как водится, изрядно выпивал и в открытую амурничал с сидевшей против него любовницей своей Елизаветой Воронцовой. Мрачная, погруженная в свою печаль, с за-

плаканными глазами сидела рядом с царем Екатерина. За креслом Петра стоял осиротевший фаворит покойной императрицы, Иван Иванович Шувалов. Он полон был искреннего горя, но и он принужден притворяться беспечным, радостным. Рядом с Екатериной толстобрюхий князь Никита Трубецкой. Сей «птенец Петра Великого», друг старика князя Кантемира, переживший семь царствований, видел падение многих своих милостивцев и благоприятелей, а иногда и сам участвовал в их гибели, но по своей изворотливости всегда умел вовремя оставить слабых и переброситься на сторону сильнейшую.

— Ваше императорское величество! — то и дело восклицает Никита Юрьевич Трубецкой, вытягивая жирную шею и стараясь зацеловать своего нового владыку взором преданного пса. Он прежде притворялся убогим и хилым, нынче счел полезным для своей карьеры затянуть свое тучное, на коротких ногах, тело в тугой мундир. — Не нахожу слов выразить вам, государь, радость, меня обуревающую, что наконец-то появился на земле русской великий царь, внук приснопамятного великого Петра... Радуюсь от всего сердца, что судьбы женского правления на Руси волею божией завершены. Отныне нами, россиянами, владеет повелитель...

Многие дамы с заплаканными глазами и многие вельможи, — даже великий канцлер Михаил Ларионович Воронцов (дядя любовницы Петра), — взвесив льстивые выкрики этой старой увертливой лисы и не желая попасть в дурни, тоже принялись во все тяжкие распинаться в лести, стараясь захвалить быстро хмелевшего царя. Возмущенной Екатерине казалось, что бог в один момент лишил все это сиятельное общество стыда и чести. И ей стало страшно за себя, о чем впоследствии она и рассказывала своим близким.

Царь хмелел от вина и льстивых похвал, щекочущих его тщеславие. В недозрелом мозгу его вмиг поднялись хвастливые мыслишки, он действительно возомнил себя великим и стал вслух величаться, как внезапно разбогатевший купчик, — я-ста да я-ста.

— Я в России не любим. Знаю, знаю! — выкрикивал он, покрывая своим резким, скрипучим голосом дружный хор льстивых царедворцев, старавшихся уверить императора, что вся Россия готова лобызать с сыновней любовью его священные стопы. — Знаю, знаю! — пристукивал он то хрустальным бокалом, то вилкой, украшенной короной. — Кто предан мне, того приближу и возвеличу (многообещающий кивок в сторону Елизаветы Воронцовой), кто супротивничает, того уничтожу... С Пруссией мир, мир... С Данией война... Сам поведу, сам поведу войска!.. Вы еще не ведаете, сколь я искусен в стратегии. Я перекрою карту всего света... Мы с Фридрихом... О, великий Фридрих!.. Апраксин изменник... Чернышев дурак... Подать мне Миниха, фельдмаршала Миниха подать сюда! Подать Бирона! Всех из ссылки вернуть! Я не позволю... Что, что? Прошу вас не вмешиваться, прошу не вмешиваться, прошу не вмешиваться! — Повернув лицо к Екатерине и косясь на нее, он стукнул пред ней бокалом и расплескал по скатерти наливку.

Обрюзгшая Елизавета Воронцова, изобразив позу величия, высокомерно взирала и на императора, и на приглашенных, и на свою соперницу Екатерину, удрученно молчавшую весь ужин. Расфуфыренные, в бриллиантах, княгини, графини и сенаторши втихомолку подольщались к жирной Елизавете, лаская ее взором и словами. Екатерина же действительно была в тени, ее как будто никто не замечал.

Она всю ночь проплакала, отметив это в памятной своей тетради.

Наутро, 26 декабря, ей принесли приказ: быть сегодня на парадном обеде в богатой робе, сидеть за столом в порядке, указанном билетами.

Обед с представителями иностранных дворов, приносивших утром поздравления с восшествием на престол, прошел так же шумно, как и вчерашний ужин. В спальне покойницы, пока длился обед, врачи анатомировали тело Елизаветы.

Французский посланник, молодой красавец барон Бретэль, и его жена, присутствовавшие на обеде, делились дома впечатлениями.

— А вы заметили, какой удрученный вид имела императрица? — сказал барон, сняв парик и швырнув его на этажерку.

— Для меня более чем ясно, что государыня никакого значения иметь не будет. Она одинока, — ответила баронесса. — Император удвоил свое внимание к этой противной мегере, девице Воронцовой. Императрица в ужасном положении: к ней относятся все с явным холодком. Бедная Екатерина!

— Успокойтесь, мой друг, — возразил барон, вытирая ароматным спиртом голову свою. — Вы плохо знаете молодую императрицу... А я достаточно наслышан о ее смелости, отваге, дерзании...

— Но я вижу, я же вижу...

— Простите, мой друг. Вы ничего не видите, а если и видите что-либо, то чисто, простите меня, по-женски.

Баронесса обиделась, потупила подведенные глаза. Барон подскочил, поцеловал ей руку. Он хотел сказать: «Я уверен, что Екатерина рано или поздно прибегнет к какой-либо крайней мере... Я отлично знаю молодых ее друзей. Они решатся для нее на все, поставив на карту даже свои головы, лишь бы она этого пожелала». Но барон почел опасным доверить эти мысли своей супруге. Он их изложил в шифрованной депеше королю Людовику XV.

Барону Бретэлю бросилась в глаза также и странная форма манифеста о восшествии на престол Петра III. В нем не были упомянуты ни императрица Екатерина, ни наследник престола Павел. Удивил манифест и все петербургское общество, породив впоследствии многие кривотолки по всей России. Были поражены и молодые, горячие поклонники Екатерины: братья Орловы и все, кто с ними.

— Ну, не прав ли я был, друзья?! — восклицал возмущенный Григорий Орлов при первой же встрече с товарищами.

Воспитатель малолетнего князя Павла Петровича, сенатор Никита Иванович Панин, бывший посол в Швеции, человек тонкий, либеральный, умный политик, любящий своего воспитанника, читая манифест, только руками развел:

— Что сие значит? В толк не возьму... Кто же у нас наследник? И почему ни слова об императрице? Сдается мне — этот старый дурак канцлер Воронцов прочит на престол Лизку, племянницу свою. У-зур-па-торы...

Но больше всех была поражена манифестом сама Екатерина. Итак, супруг желает низвести ее на степень ничтожества. Великого князя, семилетнего Павла, он не считает своим сыном, а ее перестанет скоро считать императрицей. Екатерина поняла, что ей предстоит упорная борьба с окружавшими ее врагами. Но она постарается разбить назревший против нее комплот.

— Погибнуть или...

3

На следующий день, невзирая на объявленный во всей империи траур, Петр Федорович уехал к графу Шереметеву править святки. Встретил здесь крестницу свою, княгиню Екатерину Романовну Дашкову, младшую сестру своей любовницы, приятельницу молодой императрицы. Она маленького роста, толстощекая, большеглазая, лоб высокий, черноволосая, взгляд глубоко посаженных глаз умный, насмешливый, она оживленна и в общем миловидна. Подгибая одно колено, она по-модному, со всей грацией присела пред государем, а свою старшую сестрицу окатила полупрезрительным с насмешкой взором. Петр, словно отмахиваясь от шмеля, боднул головой, нервно взял Дашкову под руку, отвел в уголок под пальмы. Дашкова вопросительно взглянула в его большие покрасневшие глаза. А хозяева дома, граф и графиня Шереметевы, повели Елизавету Воронцову в зал стиля барокко, где толпились разряженные гости.

— Дитя мое, — заговорил Петр по-французски, отбивая ногой такт. — Вам не мешало бы помнить, дитя мое, что водить хлеб-соль с честными дураками, каковы мы с вашей сестрой Романовной, гораздо без-

опаснее, чем с теми великими умниками, кои выжмут из апельсина сок, а корки бросят под ноги.

— Ваше величество! — подобно ракете вспыхнула темпераментная молоденькая княгиня. — Я стараюсь платить дань равного почитания и государю своему, и его супруге Екатерине Алексеевне...

— Ах, вы меня не понимаете, дружок, или не хотите понять. Почему вы не показываетесь в моем дворце? Почему вы дружны с государыней, а к Романовне поворачиваете спину и не хотите иметь с ней никаких альянцев? — Он стал говорить задыхающимся шепотом, подмаргивая проходящим гостям, а кой-кому из них показывая язык. — Если вы, дружок мой, желаете слушаться моего совета, то старайтесь дорожить нами с Романовной немного побольше. Поверьте мне, я говорю ради вашей же пользы. Вы не иначе можете устроить вашу карьеру в свете, как изучая желания и стараясь снискать расположение и покровительство вашей сестры...

— Простите, но все-таки я не совсем вас понимаю, государь, — взволнованно и пытаясь пресечь этот неприятный разговор, сказала Дашкова.

— А вы старайтесь понять, старайтесь понять, мой друг! — закричал Петр, но тотчас сбавил голос; смешное, покрытое следами оспы лицо его стало любезным и льстивым. — Пойдем перебросимся в «campis», — и потащил смущенную Дашкову к карточному столу.

Там уже играли двое Нарышкиных с женами, подруга царицы красивая графиня Брюс, бывшая любовница Петра белолицая Матрена Теплова, приятель царя молодой Гудович и флигель-адьютант Анжерн. Все быстро поднялись и — навытяжку. Дамы, подобрав к талии унизанные бриллиантами ручки, жеманно стали приседать.

— Продолжайте, продолжайте, господа, — встряхнул Петр широким обшлагом с красными отворотами и вновь состроил гримасу. — Примите нас с княгиней. Ого! Чего ради по такой маленькой играете?

Петр размашисто, не следя за изысканностью жестов, вывалил из кармана кучу золота и поставил по

десяти червонцев на очко. Ставка, слишком огромная даже для тугого кошелька княгини Дашковой. Все хотя и поморщились, однако принуждены были подчиниться прихоти царя. Внутренне издеваясь над карикатурным Петром, Дашкова подумала: «Разбогател, дорвался. А еще недавно столь профершпилился на голоштанников голштинцев, что и на содержание своей Романовны денег не стало: Екатерине Алексеевне довелось взять на свой кошт любовницу супруга своего». И Дашкова, не сдержавшись, по-детски рассмеялась.

— Что, что? — подозрительно выпалил император. — Вы что, княгинюшка? Ага, бью!.. Гудович, ты как? И тебя бью. Ага! Денежки мои, денежки мои... — сгребая червонцы, закричал он радостно и, как ребенок, стал прихлопывать в ладоши. — Вы оба в ремизе.

— «Вы оба в ремизе», как сказал некий индийский принц, стаскивая за бороду с ложа своей супруги незнакомца... — в тон Петру закричал подоспевший остряк и балагур барон Строганов.

Вертлявая Дашкова, хихикнув, прикрыла губы веером, Петр заморгал правым глазом, покраснел и нервно дернул головой: в углу, заставленном широколистыми цветами, на золоченом диване, весь в белой замше, бобрах и золоте, красавец молодой поляк и плечо в плечо с ним — полнотелая, безвкусно расфранченная Елизавета Воронцова. Она весело смеялась, слегка ударяя кавалера веером; тот подрыгивал точеной, в белых лосинах, ляжкой и что-то врал.

— Садитесь, Строганов! — гневно крикнул ревнивый император и пристукнул в пол шпагой. Строганов, учтиво поклонясь царю, опустился в кресло. Он упрекал себя за свою неуместную остроту, так метко задевшую Петра. — Ставьте, Строганов. Десять червонцев на очко... Или у вас нет золота? Тогда ставьте на соль. У вас ее много... Где это, на какой реке? На Миссисипи? На-на-на Волге?.. На-на... на Висле?

— У барона Строганова, ваше величество, — подхватила дерзкая Екатерина Романовна Дашкова, — масса соли на реке Каме в Соликамске, а еще больше — на языке, в речах...

— О, о, о! — завертелся в кресле Петр. — Да вы, княгиня, все знаете лучше меня. У вас, у вас... — Он, кривляясь, постучал себя пальцем по лбу. — Вы, две Екатерины, великие умники. О-о, вы обе зело умны. А мы уж, а мы... Ну-с, чей ход? — Император злился, углы рта то висли, то вздергивались, ревнивый взгляд летал от Елизаветы Воронцовой к насмешливому Строганову, от Строганова к лебезившему пред Елизаветой поляку.

— Да, между прочим!.. — воскликнул Петр и бросил карты.

Бряцая шпорами, приблизились к столу непрошеные два бравых толстобрюхих голштинца — генерал Шильд и полковник фон Берг.

Голштинцы вояки явились во дворец Шереметева без зова и подошли к государю попросту, нарушив этим придворный этикет. Сановная аристократия привыкла считать многих голштинских офицеров либо бывшими сапожниками, либо простыми капралами прусской службы. Поэтому все, кроме императора, при их появлении поморщились.

Первым нарушителем условных приличностей был сам Петр. Он сразу подметил кислые гримасы спесивой знати, и, чтоб унизить знать, чтоб сбить ей чопорность и спесь, Петр с непринужденным, но деланным равнодушием крикнул стоявшим навытяжку голштинцам:

— Садитесь, господа!

Рядом с Дашковой бесцеремонно сел усач фон Берг. Та, с брезгливостью отстранившись от незваного соседа, придвинула свой стул к Петру, вынула венецианский флакончик в золотой оправе и слегка опрыскала себя духами. От голштинцев пахло водкой и сапогами. Они не знали, как держать себя в столь высоком обществе, и, чтоб замаскировать свое смущение, тотчас вытащили из штанов глиняные трубки и закурили. Подражая им в грубости манер и желая казаться воинственным, Петр тоже вытащил курносую глиняную трубку и тоже закурил. Дамы легким дуновением незаметно отгоняли вонючий дым, а развязная Дашкова принялась махать одновременно и платком и веером: «Фи, фи...»

— Я давеча сказал, между прочим... О чем бишь... — И взгляд Петра опять поймал на прицел Елизавету Воронцову и красавчика поляка. — Да! Вы, господа, помните этого мальчишку... как его, как его?.. гвардейца, юнкера...

— Челищева?

— Челищева, Челищева!.. Нет, я ему не могу простить. Как?! Позволить себе увлечь графиню Гендрикову, племянницу мою?.. Это уж слишком, это уж слишком, господа!

Голштинцы, ни слова не понимая по-французски, пучили на Петра глаза, согласно кивали головами, страшно дымили.

— Клянусь вам!.. Я прикажу сего юнца, ради примера прочим офицерам, казнить за продерзостную любовь к особе царствующего дома. Казнить! — И царь погрозил перстом почему-то в сторону поляка.

— Простите, государь, — заметила Дашкова, отмахивая клубы дыма. — Но рубить молодому повесе голову слишком жестоко. Тем более что еще не доказано, гнусная сплетня это или так и было... Во всяком разе, такая кара превысила бы меру преступления...

— Вы, мой друг, совершенное дитя, — пожал плечами Петр; он выколотил пепел из трубки пямо на пол и подал ее полковнику фон Бергу (впрочем, фон Берг, один из тайных голштинских шпионов Фридриха II, никогда не был «фоном», а просто — Берг, бывший цирюльник в прусской армии, получивший от Петра III чин полковника за свою воинственную осанку). Полковник фон Берг набил трубку табаком, закурил от свечи, вытер слюну с черенка полой неопрятного мундира и, описав трубкой возле царского рта круг (что должно было означать признак отменной галантности), сунул ее кончик в вытянутые, как для поцелуя, губы императора. Все, таясь, с лукавством ухмыльнулись. Строганов подчеркнуто прикрякнул.

— Вы, дитя мое, — продолжал император, обращаясь к вертлявой Дашковой, — когда станете постарше, поймете, что, отменяя смертную казнь, мы потворствуем всякой непокорности и всевозможным беспорядкам. — Петр сильно затянулся трубкой и закашлялся.

— Но, государь, — вызывающе ответила княгиня, щеки ее горели, — вы о сем говорите столь убежденным тоном, что ваши высокие слова сильно обеспокоивают нас. Ведь мы все, за исключением ваших бравых голштинских генералов, жили в царствование тихое, елизаветинское...

— Ну что ж, хотя бы... хотя бы... Зато у вас ни порядка, ни дисциплины. Нет, сударыня, вы еще слишком дитя и ничего не смыслите в этих делах... Господа! Игра продолжается. Чей ход?

Он в игре не то чтобы жульничал, но иногда под шумок передергивал картишки. Его партнеры, вместо того чтоб ударить самодержца по голове шандалом, принуждены смотреть на легкое шулерство своего государя сквозь пальцы. Петр выигрывал, добрел, шутил, огребая золото. Быстро продувшая денежки восемнадцатилетняя княгиня Дашкова с ребяческой дерзостью сказала:

— Разрешите мне, государь, выйти из игры.

— Играйте, играйте! Счастье переменчиво.

— Я не столь богата, чтоб поддаться на вашу очень, очень *тонкую* игру.

— Да! — тотчас притворился царь круглым дурачком. — Искусный стратег сразу виден даже и в картежной игре...

— Я бы предпочла плохого стратега искусному, лишь бы он не нарушал установленных в игре правил... А играл бы, как все мы.

— Ха-ха-ха! — не к месту деланно захохотали бравые голштинцы.

— Это бес, а не женщина, — шепнула Брюсиха Нарышкиной.

Петр резко повернулся боком к Дашковой и, поймав веселый смех своей любовницы, подозвал Гудовича и сказал ему громко:

— Поди к Елизавете Романовне, чтоб сейчас же шла сюда, к столу.

За столом стало тихо, но весь зал шумел. От игорного стола валил дым, как на пожарище. Строганов сделал из носового платка ушастого зайчика, пугал им Дашкову, стараясь не попасться на мрачные глаза

царя. Петр видел: Гудович подкатил по паркету, как по льду, к креслу Елизаветы Воронцовой, полячок-красавчик встал, начал шаркать ногами, брякать шпорами, сгибаясь в почтительном поклоне пред вдруг нахмурившейся Елизаветой Воронцовой, и браво отошел прочь, в пеструю толпу гуляющих гостей. Елизавета тоже поднялась, сердито оправила юбки и, ничего не ответив Гудовичу, вперевалку пошла назло Петру в другой зал. К ней тотчас подскочили два блестящих кавалера.

— Моя сестрица пользуется, к удивлению моему, немалым успехом, — не утерпела уязвить самолюбие Петра княгиня Дашкова.

Петр, приспособив ноги, крепко уперся руками в стол и пружинно поднялся. Игроки вскочили, — мужчины в струнку, дамы стали приседать. Петр повелительно сказал:

— Продолжайте, господа, — и на вытянутых негнущихся ногах круто зашагал вслед за Елизаветой.

В малой голубой гостиной, где толпились придворные, офицеры Измайловского и других полков, разные дамы в раздутых, как колокол, платьях, все подтянулись. Старец князь Никита Трубецкой, обычно притворявшийся хилым подагриком, сидел теперь возле стены на кушетке в туго затянутом, тесном мундире, весь расшитый золотом, весь увешанный крестами и звездами. На заплывших коротких ногах ботфорты с бряцающими шпорами. Горло крепко стянуто форменным шарфом, глаза лезут на лоб, лицо красное. Большебрюхий, пыхтящий, он сидел барабаном, легонько постанывая. Возле него — кучка льстецов, подхалимов нового царствования. Всяк пробовал почву — тверда ли, всяк норовил укрепиться, опрокинуть противника, стать выше всех.

И лишь раздалось:

«Государь, государь», — все вдруг вскочили, кинулись в стороны, расступились широкой дорогой. Барабанообразный старик Трубецкой, бросив постанывать, забыв про подагру, вдруг превратился в непобедимого воина: шпага бряцала, шпоры звенели, он стал в ряд измайловцев — грудь вперед, брюхо назад,

замер, ел глазами шагавшего словно на ходулях невзрачного самодержца, как бы силясь сказать: «Я здесь, ваше величество. Я весь ваш по гроб жизни». Потешное приседание вспыхнувших дам, почтительная тишина, военная вытяжка.

И этой широкой дорогой, никого не заметив, а разинув рот и кривляясь, быстро проследовал раздосадованный царь. Раздувая ноздри, принюхиваясь, хватаясь за шпагу, он весь погружен в поиски вероломной Елизаветы Романовны.

4

Императрица не пожаловала к Шереметеву в гости, сказалась больной кашлем, читала дома Гельвеция. Чрез сени от ее покоев несколько дней тому назад были приготовлены две комнаты, где раньше жил Александр Иванович Шувалов, начальник страшной Тайной канцелярии. В эти комнаты перебрался Петр, а свои покои уступил «Лизке» Воронцовой. Эта жесточайшая затея императора была для оскорбленной Екатерины мучительна, как инквизиторская пытка.

С шереметевского ужина Петр с возлюбленной вернулись поздно и в великой ссоре. Он прошел в покои Романовны. Любимая горничная (камер-юнгфера) императрицы Катерина Ивановна Шаргородская, поощряемая к тому царицей, горазда была подслушивать. Как только поднялся в комнатах Лизки шум, горничная прокралась кошкой в коридор, нырнула за шкаф, затаилась, как охотник на звериной облаве. А шум за ясеневой дверью креп и креп: Лизка крыла царя резким визгом, царь отругивался по-прусски, топал ногами, орал козлом.

Вдруг распахнулась дверь, царь треснул Лизку по щеке, но сия здоровецкая бабища ловким пинком вышибла замухрышку мужчину в коридор и захлопнула дверь. Царь от затрещины посунулся носом, всхлипнул, парик съехал в сторону, косичка с черным бантом жалко легла на плечо, галстук растрепан, повис, огромная шпага болталась в ногах, звяк шпор

притих. Постоял, как выгнанный школьник, было рванулся к каверзной двери, но перетрусил, вновь злобно всхлипнул, закрыл лицо нежными дланями и неверной походкой направился коридором к себе. К великому удивлению притаившейся горничной, впаянные в ботфорты царские ноги на сей раз сгибались в коленях: император был вдребезги пьян.

На другой день, к вечеру, Екатерине подали от Елизаветы Воронцовой письмо со всепокорнейшей просьбой навестить ее, болящую, для неотложных переговоров о наиважнейшем деле. Екатерина, сгорая любопытством, переломила себя, пошла.

Двадцатипятилетняя Елизавета Воронцова, неприбранная, с распущенными волосами, лежала на кровати и плакала.

— Вы больны? — спросила Екатерина и присела возле нее. Та схватила ее руки, с отчаянием сжимала их, покрывала поцелуями. — Чем вы больны?

— Я вас очень прошу, — ответила Елизавета, — сходить к Пьеру и умолить его от моего имени, пусть он отошлет меня к отцу... Здесь, во дворце, мне тяжко. Пьера окружают гады, подлизы, шпионы; я вчерась у Шереметевых и Пьера ругала, и его приятелей ругала. Он, пьяный, стал шуметь и, в отместку мне, пытался арестовать моего отца. Сходите к нему, бога ради!

— Прошу вас, — сухо сказала императрица, — для сей комиссии избрать кого-либо другого... Чаю, попытка моя была бы государю досадительна...

— А так ему и надо! — со злостью приподнялась Елизавета на локте. — Нет, умоляю вас, мне больше некого просить.

Часу в седьмом, когда зажгли огни во дворце, Екатерина пошла к Петру. Он был в шлафроке, взад-вперед ходил по комнате, лицо сонное, дряблое.

— Здравствуйте, — сказал он, схватился за щеку и, пососав больной зуб, сплюнул в песочницу. — Я изумлен... Вы так редко ко мне...

— Если вы дивитеся моему приходу, то еще более удивитесь, когда сведаете, с чем я пришла, — сказала Екатерина.

— Очень прошу вас, говорите, — сказал Петр.

После вчерашней баталии он чувствовал себя пред Екатериной виноватым и хотел быть с ней отменно вежливым. Однако мысль, что он неограниченный монарх и, стало быть, никто не смеет читать ему нотации о любом его дебоширстве, что Екатерину он не любит и не может любить, мысль, что Павел, вполне возможно, не его сын, а пригульный, — все эти соображения быстро отразились на его актерской, до чрезвычайности подвижной физиономии: углы губ обвисли, лицо стало кислым и капризным. Однако большие глаза его вооружились встречным огнем против блестевших насмешливой энергией темно-голубых глаз императрицы.

— Я готов... Я слушаю.

Тогда Екатерина, изложив причину своего визита, передала ему просьбу Елизаветы Романовны.

Петр удивился: «Повторите, мадам», — сухо сказал он. Екатерина повторила. Вошли генерал-полковник Мельгунов и шталмейстер Лев Нарышкин, приближенные Петра. Государь рассказал им о всем, только что услышанном, просил совета. Обсуждали положение очень долго. Екатерина устала.

— Ваше величество, — адресовались к Петру Мельгунов с Нарышкиным, — пускай Елизавета Романовна изволит ожидать ответа лично от вашего величества.

— Да, да! — обрадовался Петр, — я так и думал... Мадам! — в совершенно недопустимой по этикету форме обратился он при посторонних к Екатерине, будто к простой женщине. — Вы слышали, мадам? Так и передайте Романовне.

Придворные переглянулись. Разгневанная столь неучтивым обращением с ней государя, Екатерина вышла.

От Петра к Елизавете Воронцовой и обратно шмыгали взад-вперед Мельгунов и Нарышкин. Так продолжалось до одиннадцати вечера, когда направился к ней сам Петр. При его появлении она и не подумала встать. Вчера заушенный ею Петр все-таки поклонился ей. Та не пожелала ответить на поклон. Чтобы досадить ей за вчерашнее, Петр вызывающе

отхаркнулся и плюнул на ковер из обезьяньих шкурок, затем позвякал шпорами, накопил в сердце злобу, прокричал: «Извольте оставаться во дворце до особого моего распоряжения! Молчать, молчать!» — и, как угорелый, побежал вон, опаски ради косясь через плечо, как бы эта пышногрудая бабища снова не посунула его в загривок.

На следующий день вечером к Екатерине заявился Петр с Нарышкиным и Мельгуновым. Все трое под хмелем.

— Разрешите нам, ваше величество, — гримасничая, начал император, — разрешите принесть жалобу на Елизавету Романовну.

— Сдается мне, сие не по адресу: я не отец ее, не дядя и не супруг, — подчеркивая «не супруг», ответила Екатерина. Молодая женщина была прекрасна в этот вечер. Она только что окончила любовную записочку Григорию Орлову. Темно-голубые глаза ее мерцали еще неостывшими восторгами, излитыми в кудрявых строках на розовой ароматной странице.

Государь с придворными принялись наперебой бранить Елизавету Воронцову: она груба, она лицемерна, она лишена вкуса и женского обаяния, и прочая, и прочая.

— Что вы на это скажете, ваше величество? — прерывали частыми вопросами свои двусмысленные речи царь и оба его друга.

Екатерина сразу поняла их смертельное желание втянуть ее в этот разговор. Но она молчала. Петр стал злиться.

— Нет, вы представьте себе, ваше величество, — развел он руками и оттопырил взнузданные губы, — я ее пожаловал в ваши камер-фрейлины, а она, вообразите... она отказалась надеть ваш портрет, а пожелала иметь портрет мой... Ну, как сие расчесть? — Он глядел в глаза жены, ждал: вот-вот Екатерина рассердится на Воронцову, насупит брови, топнет.

Но Екатерина, к огорчению его, приняла это известие со смехом.

— А вам, ваше величество, неведомо, — проговорила она, — что женщины зело капризны и в сер-

дечных выборах своих руководствуются скорей чувством, нежели разумом?

— Да, но этим она оскорбила вас, мой друг, и меня, императора. — Он погримасничал, поморгал правым глазом и круто повернулся: — Пойдемте, господа!

Все трое удалились.

Брыластый Лев Нарышкин, имевший кличку «шпынь», то есть балагур, затейник, вскоре вернулся к покоям Екатерины и помяукал возле двери (он любил мяукать кошкой или кукарекать петухом). Его впустили. С оттенком упрека, но с заискивающей улыбкой на бабьем, густо напудренном лице, он стал нашептывать царице:

— Ваше величество изволили упустить отменную оказию выгнать эту особу из дворца вон. Мы с Мельгуновым много к этому положили стараний, а вы не изволили воспользоваться.

— Она для меня безразлична, эта султанша, — ответила Екатерина, не без удовольствия прислушиваясь, как хорошо прозвучало удачно найденное слово — «султанша».

Нарышкин выпрямился, низкий отвесил поклон и вышел.

Между тем «султанша» весьма крепко устроилась во дворце и в сердце государя. Она стала пользоваться всяческим поводом унизить Екатерину и выдвинуть себя. Все оскорбления переносились Екатериной молча.

А во дворце или где-нибудь у новых подлипал-приятелей всякий день случались прескверные истории. За ужином с изрядным возлиянием Бахусу нередко были громкие скандальчики. Новый царь-самодур в пьяном виде приказывал арестовывать то одного, то другого из гостей, иных же угодивших ему нахалов приближал к себе тут же и, на зависть прочим, награждал орденами.

— Молчать, молчать! — обычно покрикивал захмелевший Петр, но и без того все молчали.

Екатерина не участвовала в пьяных куртагах, она сказывалась больной и подолгу проводила время на глазах у публики, поклонявшейся гробу почившей

императрицы. Екатерина прилагала все силы к тому, чтоб заставить забыть, что она иностранка. «Султанша» же от Петра Федоровича не отставала, нередко возвращалась в свои покои тоже под хмельком.

5

Вскоре меж Петром и «султаншей» опять стряслась ссора из-за юной какой-то прелестницы-менады. «Султанша» прегрубо оскорбила Пьера действием, Пьер бросил в нее дымящуюся глиняную трубку с табаком и убежал. Но чрез полчаса, подкрепившись выпивкой, вновь явился, стал ласкаться к Елизавете, называть ее душечкой, толстушкой, сдобненькой Психеей и еще как-то очень нежно. Лежавшая в постели «султанша» прослезилась. Прослезился и Петр. Он стал жаловаться на свою судьбу, что он в этой страшной России всем чужой, что единственный верный друг его — это вот она, сердешная Романовна. «Султанша» расчувствовалась, скривила алый ротик и заплакала. Заплакал и государь, присаживаясь на край перины. Плача, он сбросил на пол парик, отер слезы наволочкой в кружевах и, рыгнув от чрезмерной выпивки, жалобно сказал:

— А ты, Романовна, обижаешь меня... Даже... даже... — Он хотел сказать «даже бьешь меня», но язык не повернулся. — А ведь я — император.

Пьяная Романовна почувствовала в голосе Петра искренность и боль, ей стало жаль его, она широко открыла глаза и, сознав свою великую пред ним вину, собралась разразиться рыданиями.

— Поверь, Романовна, Катьку я заточу в монастырь, тебя возведу на престол, вопреки всему и всем поставлю тебя императрицей. Я характером в деда моего, Петра Великого. Только пожалей меня.

Тогда Романовна уткнулась румяным лицом в подушку и от внезапной радости громко, вприхлюпку, зарыдала. Зарыдал и самодержец. Он обхватил ее за тугие обнаженные плечи, стал целовать, ублажая обещаниями:

— Ты моя отрада, ты моя ненаглядная жена.

Она поискала платок, не найдя его, высморкалась в простыню с орлами, сказала, целуя Петра:

— Разденься. Я пособлю тебе.

Он с усилием поднялся, с еще большим усилием сел на диван, вытянул ноги. Полнотелая босоногая «султанша» в тончайшей рубахе с орлами уцепилась за ботфорт и сначала легонько, потом все сильней и сильней стала тянуть его с ноги Пьера. Он пучеглазился, как мопс, крепко цепляясь за диван. Она дважды стаскивала Пьера с дивана на пол, вспотела, раскраснелась, но сапог ни с места, как припаян.

— Ты много пьешь, дорогой Пьер. У тебя запухли ноги, — сказала она.

Он пошел разуваться к себе: «Я сейчас вернусь, голубушка Романовна». Проходя мимо караула, притворился трезвым, не шатался. Часовые замирали, носы вверх, ели владыку взглядом. В дверях император все-таки ударился сначала правым, затем левым плечом в косяки.

— Гудович, разуться мне, — веселеньким голосом сказал он дежурному адъютанту.

Пришли три дюжих камер-лакея. Царь сел в крепко привинченное к полу массивное кресло, вполне приспособленное для операции.

— Дозвольте, ваше императорское величество, — сдерживая бас, сказал ставший сзади кресла великан-лакей Митрич — плешивый, борода большая, рыжая, с проседью (не в пример прочим, за его заслуги ему разрешено носить бороду). — Дозвольте ручки...

Сидящий в кресле император чуть приподнял локти. Митрич почтительно обхватил его длинным полотенцем через грудь под мышки и, намотав концы полотенца на свои здоровецкие руки, приготовился править императором, как лошадью.

— Смирно! — крикнул Митрич громовым раскатом (во всем дворце все сказали себе или подумали: «Государя разувают»). Стоявшие у ног императора два лакея вытянулись в струнку, окаменели. — На-а-чи-най! — еще громогласней скомандовал Митрич, широко разевая пасть. Оба лакея бросились к туго

вытянутой императорской ноге и схватились за сапог. — Отста-а-вить! — свирепо гаркнул Митрич. Молодые мордастые лакеи отскочили. Митрич был тоже слегка выпивши: по случаю святок он только что отужинал у своей кумы, жены истопника, пропустив там три больших стакана водки. Поэтому в ритуале разувания, сочиненном самим Петром, он допустил промашку. Улыбаясь во все свое рыжее, как пламень, бородастое лицо, Митрич нежнейше произнес: «Осмеливаюсь доложить вашему величеству, не тую ножку изволили вытянуть, соблаговолите энту ножку подобрать, а левеньку, согласно артикула, вытяньте...» — Император открыл глаза, промямлил: «Что?» Митрич столь же нежно и приятно повторил. «Ах, да», — сказал задремавший император. И вновь громоносная команда: «Смирно! На-а-чинай...» Лакеи вцепились в сапог. Митрич крепко держал полотенце и покрикивал: «Легче, легче!.. Ножку не повреди. Ну, пошел-пошел-пошел!»

Левый сапог снят. Император с облегчением вздохнул, голова его склонилась на грудь. Арап Нарцис принес теплую воду, розовое масло и все нужное для омовения ног. Чрез несколько минут дружной работы и второй сапог был снят. Император, дав сильный крен вперед, крепко спал, распространяя удушливый винный запах. Митрич продолжал, как на вожжах, править императором. Лакеи в красных, с золотыми позументами ливреях стояли навытяжку. Никто не знал, как быть. Минуло еще полчаса. Митрича тоже стало бросать в необоримый сон: покачивался, глядел в потолок, но глаза слипались, он клевал носом, наконец резко посунулся и наехал брюхом на кресло, потревожив государя. На цыпочках вошел Андрей Васильевич Гудович.

— Спит?

— Так точно, изволили нечаянно почить.

Гудович, покашливая возле императора, дважды окликнул его, легонько потрепал за плечо, стал трепать покрепче, стал раскачивать его взад-вперед; император кланялся, жевал губами, взмыкивал, но не пробуждался.

— Давайте раздевать, — сказал Гудович.

Стали аккуратно раздевать. Император был как мертвый: голова моталась, руки падали.

— Тихо, тихо... — грозя пальцем, шептал Гудович. — Тихо, тихо...

С грехом пополам сняли мундир, камзол, чулки. Арап принялся мыть ноги самодержца душистым мылом.

— Тихо, тихо... — шептал Гудович.

Вдруг император закричал:

— Молчать! — Все вытянулись. — Вольно! — крикнул император и вновь закрыл глаза. Его раздели и на руках потащили к кровати.

Митрича развезло. Прикрывая рот ладошкой, он фамильярно зашептал генералу Гудовичу:

— Кажинный божий день выпимши... Ай-яй... А натура слабовата, берегчи надобно натуру-то евонную. а то, спаси бог, долго ли... Вот они выпивать изволят сверх меры, а тетушка их, покойная государыня императрица, через три горницы отседов во гробех лежала. Нешто сие порядок? — Он сморщился, утер глаза расшитым обшлагом ливреи.

Так начал свое царствование Петр Федорович III, император всероссийский, родной внук Петра I, двоюродный внук Карла XII шведского и троюродный брат жены своей Екатерины Алексеевны.

ГЛАВА VIII

Вместе с тетушкой Петр хоронит и себя. Враг России — друг Петра

1

Придворный ювелир-бриллиантщик, выходец из Швейцарии, Иеремия Позье, сильно объевшись на каком-то пиршестве, умирал одновременно с царицей Елизаветой. Он въехал в Россию тринадцатилетним мальчиком, теперь ему сорок шесть лет. Высокое

мастерство и бескорыстность француза очень ценились при дворе. Умирающая Елизавета послала к нему своего врача. Тот за день умудрился пустить больному три раза кровь и поставить шесть клистиров. Сверх сего, велел выпить большую склянку слабительного. Хотя Позье и почитал себя натурой крепкой, однако после столь сугубого лечения почел за благо призвать к себе пастора для напутствия в жизнь вечную. Когда больному было особенно тяжко, пожаловал офицер с просьбой от великого князя Петра Федоровича достать в кредит золотую, осыпанную бриллиантами табакерку. А как по приказу императрицы Елизаветы великому князю кредит был закрыт, то убитая горем жена Позье выпроводила офицера ни с чем, сказав, что муж ее при смерти.

Елизавета умерла; Позье, очистив желудок, поправился; на престол вступил великий князь.

Позье, восстав из мертвых, впал в отчаянье. По этикету ему надлежит быть во дворце, чтоб поздравить нового императора с восшествием на престол. Но будет ли он принят и не турнут ли его на жительство в Сибирь за дерзостный отказ подыскать в кредит вчерашнему великому князю табакерку?

Он написал графине Елизавете Воронцовой, просил помочь ему в беде. Она пригласила его в свою половину. В девять часов вечера она приняла его. Вскоре вошел веселый Петр с Гудовичем и Нарышкиным. Разодетый в пух и прах толстобрюхенький Позье, низко кланяясь, петушком подкатился к Петру поцеловать руку.

— А, это вы, Позье? — И Петр обнял ювелира. — А мне сказали, что вы собираетесь умирать.

— Собирался, но передумал, желая поздравить вас, ваше величество, императором, — набравшись смелости, развязно ответил Позье.

Петр засмеялся и, подмигнув ювелиру, сказал:

— Я теперь богат, заплачу вам. Денег у меня ныне много.

— Я крайне счастлив, государь, взглянуть на ваши деньги, как они пахнут. Я пятнадцать лет не видал их от вас, ваше величество.

— Дорогой Позье! Да я же не виноват в том, что мне столь мало давала тетушка денег и я кругом в долгу. А теперь чем могу вам служить?

— Тем, ваше величество, что позволите и мне иметь честь служить вашему величеству, если я имею счастье быть вам угодным.

— Хорошо, — подрыгивая ногой, ответил Петр. — Назначаю вас моим ювелиром с чином бригадира, чтоб вы могли входить в мой кабинет, когда захотите. Андрей Васильевич, — обратился он к Гудовичу, — съезди, пожалуй, в сенат, чтоб о сем тотчас указ выписали.

Позье поцеловал у государя руку и, грациозно поводя локтями, вышел. Его нагнали Гудович с Нарышкиным, затем подошел Мельгунов, наперебой поздравляя его «с монаршей милостью». Позье улыбался им, но на душе его скребли кошки: он чувствовал, что с этой монаршей милостью он лезет в пропасть. Действительно, дня через два эти молодые люди, подъезжая к дому ювелира в придворных каретах, то один, то другой стали обивать его пороги. Заглядывали сюда и конференц-секретарь, известный кутила и краснобай Дмитрий Васильевич Волков, А. И. Глебов, второй Нарышкин и другие представители великосветской молодежи. Позье хорошо они были известны по своим дурным наклонностям, мотовству на чужой счет, корыстолюбию. Они не были богаты, но держали себя с ювелиром гораздо надменнее самого императора, воображая, что своим посещением делают ювелиру большую честь. Они заказывали ему все, что приходило им на ум, и, разумеется, в долг, без отдачи. Отказать им Позье не мог, опасаясь, что эти великосветские люди могут восстановить Петра против него, тогда ювелиру пришлось бы закрывать свою небезвыгодную лавочку.

Эти же царедворцы-карьеристы всячески старались в своих выгодах поссорить царицу Екатерину с ее мужем. По городу ходили об этом упорные слухи,

и вскоре Позье в правдивости сих слухов убедился лично.

Однажды, получив заказ от Екатерины, Позье выходил из ее покоев.

— Откуда это вы, Позье? — остановил его в коридоре проходивший со свитой Петр.

Позье ответил. Петр, выпятив грудь, грубо сказал ему:

— Я вам запрещаю... Слышите? Запрещаю являться к ней...

Позье остолбенел.

2

Петр III продолжал делать политические промахи.

Так, в четыре полка гвардии, где по давнишним традициям считался полковником лишь сам царствующий монарх, были назначены полковники: в Преображенский — князь Никита Трубецкой, в Семеновский — граф Кирилл Разумовский, в Конногвардейский — только что вызванный в Россию и ненавидимый гвардией дядя государя, принц Жорж (Георг) Голштинский.

Этим актом Петр умышленно нанес всей гвардии удар, незабываемое оскорбление. Возмущенные сторонники Екатерины, копя в душе злобу, открыто ликовали. «Эта сугубая затрещина даром государю не пройдет», — мрачно предрекал Григорий Орлов.

Граф Роман Воронцов, отец «Лизки-султанши», своекорыстно обольщался, что дочь его, столкнув Екатерину, станет сама императрицей. Он больше всех скорбел о том, что Петр даже в столь короткие дни царствования успел восстановить против себя многих. По-родственному советуясь со своим братом Михаилом Воронцовым, великим канцлером, он все время нашептывал царю:

— Ваше величество, вам надлежит проявить некий акт монаршей милости, дабы обратить на себя взоры подданных и прилепить сердца их к своей особе.

Царь не знал, в чем же должен заключаться этот высокий акт. Роман Воронцов нашептывал: надо-де

возвратить кой-кого из ссылки, надо-де даровать «вольности дворянству», то есть чтобы навсегда избавить дворян от службы обязательной, как бывало прежде, а нести дворянам службу по своей воле, сколько и где они пожелают.

— Особливо же, государь, надлежит вам вспомнить о мужиках. Подлый народ также должен благословлять священное имя вашего величества. Объявите, государь, таковую милость, коя коснулась бы всех людишек мелких. Таковой высочайшей милостью могло бы быть уменьшение цены на соль. Правда, оная мера отчасти подорвет доходы государственные, но сие поправимо: с течением времени, когда ваше имя в народе довольно укрепится как имя благодетеля, можно цену на соль паки с постепенностью накинуть.

17 января царь в парадной карете прикатил со свитой в сенат, пробыл здесь два часа, подписал заготовленный указ о возвращении из ссылки Менгдена, семьи Лилиенфельдов, Лопухиной и знаменитого выходца из Пруссии фельдмаршала Миниха, смелого политического интригана, сосланного покойной Елизаветой в Сибирь. Затем «соизволил указать»: продажную цену на соль наложить самую умеренную.

25 января 1762 года, то есть спустя месяц после смерти, состоялись похороны Елизаветы. Тело на поклонение народу было выставлено в огромном тронном зале, занимавшем целый флигель, пристроенный к деревянному дворцу [1]. Пышностью своей отделки этот двусветный зал восхищал даже иностранцев. Веселая Елизавета очень часто устраивала здесь маскарады, в коих участвовало до полутора тысяч масок. В одну минуту зажигалось не менее десяти тысяч свечей. Огни отражались в венецианских зеркалах. По залу под музыку двигалось в шикарных костюмах множество масок, отплясывая кадриль, менуэт и прочие танцы. В соседней комнате веселая Елизавета играла в фараон или в пикет, а к десяти часам удалялась в свои покои, чтоб сменить

---

[1] На углу Мойки и Невского проспекта у Полицейского моста.

костюм и надеть маску. Затем снова появлялась в зале, отплясывая до пяти-шести часов утра. Обладая красивыми ногами и сильным корпусом, она любила наряжаться в костюм пажей или средневековых рыцарей.

А вот теперь веселая Елизавета лежит в гробу на возвышенном месте, под богатым балдахином с золотой кованой парчой и горностаевым до земли спуском. Она лежит в серебряной глазетовой робе с кружевными рукавами. Несмотря на благовонные курения, в зале слегка попахивает трупом. Статс-дамы и фрейлины, размещенные по рангам, стоят в глубоком трауре, окружая одр Елизаветы. Митрополит Дмитрий Сечёнов и духовенство в черных ризах готовы начать заупокойное моление. Присутствуют все сановники, все чины двора.

Величественно вошла невысокая, в глубоком трауре, печальная Екатерина. Все взоры разом обратились к ней. Красивый паж нес за царицей сделанную Позье золотую корону. Отвечая на поклоны, она поднялась к изголовью гроба и стала возлагать корону на слегка вспухшую голову-покойницы. Но корона не налезала. Печальная Екатерина, выразив на лице мину христианского смирения, усмотрела среди толпы толстобрюхого на коротких ножках ювелира и подала знак помочь ей. Застигнутый врасплох, Позье спешно скорчил слезливую гримасу, с отменной грациозностью приблизился к смертному одру, вытащил из кармана щипчики и мигом приладил корону куда надо.

Началась торжественная панихида, закурились клубы ладана. Молящиеся чинно стояли с возженными свечами, а Петр, нарушая благолепие, расхаживал, как журавль, меж рядами дам, болтая то с одной, то с другой из них по-французски вслух, кривлялся, подмигивал в сторону духовенства, говоря: «Бородатые козлы... Я их всех прикажу обрить». Среди молящихся поднялся ропот... Митрополит Дмитрий Сечёнов, взглянув через плечо на игривого царя, грозно нахмурил брови, но Петр показал митрополиту язык и повернул к нему спину.

Наконец тело повезли на золоченой колеснице из дворца через Неву в Петропавловскую крепость. Несметное стечение народа, шпалерами вдоль всего пути стоят войска, в воздухе пение, музыка, унылый перезвон колоколов и вьюжный ветер с моря.

За траурной колесницей впереди всех следует император, за ним, отступя на двадцать шагов, Екатерина и далее, вместе с церемониймейстером бароном Лефортом, — вся сановная знать, чинно, по рангам. Император в черной траурной епанче с белыми орлами; длинный шлейф епанчи несут, поддерживая, старшие камергеры. Малая голова императора с детским личиком покрыта треуголкой. Но под этой большой шляпой нет здравых мыслей, есть порхающие, как мотыльки, обрывки мыслишек и воспоминаний. «Да-да-да, — думает он, — тетушка пыталась меня отправить в баню, в русскую, в русскую. Фе-е-е... А.. я... я... ненавижу баню, я умру от бани...» И мысли его перескакивают в Голштинию. «Меня преследуют с самого детства. Рок, судьба... Мой воспитатель Броммер там, в Голштинии... он топал на меня, мальчишку, стращал меня. «Я вас так велю высечь, — говорил он, — что собаки будут кровь лизать. Как я был бы рад, чтоб вы сейчас же издохли». Да как он смел это говорить? Ах он, свинья...»

— Молчать, молчать! — вскрикивал на ходу император, и мысль его тотчас переносилась на другое. Ветер дул с моря, косичка за спиной самодержца моталась, шлейф епанчи, поддерживаемый шеренгой камергеров, надувался под ветром. Император повернул голову вправо-влево, покосился назад: приподнятый над землей конец шлейфа нес высокий и тучный граф Шереметев, оберкамергер двора. Император скорчил рожу, прыснул и неожиданно остановился. И все, кто сзади: печальная Екатерина, свита, весь кортеж — тоже в недоумении остановились. А колесница с гробом, духовенство, регалии, венки, многочисленные депутации с хоругвями и прочие продолжали двигаться усыпанной можжевельником дорогой по льду через Неву. Император гримасничал и, озо-

руя, делал четкий шаг на месте. Отпустив колесницу сажен на тридцать, он командовал:

— Бегом, марш! — и что есть духу мчался догонять процессию.

Камергеры, вместе с графом Шереметевым поддерживавшие епанчу, мчались вслед за императором. Шереметев на бегу сопел, выкатывал глаза. Ожиревшим камергерам нет сил поспевать за ледащим и легким государем. Они бросили епанчу, остановились, отирали пот, пыхтели, ловя ртом воздух. Почувствовав свободу, император несся, подобно крылатому коню. Подхваченный ветром пятнадцатиаршинный шлейф сразу взвился в пространство и шлепал и прихлопывал в воздухе, как парус в бурю. Император хохотал.

— Я озяб, озяб... Надо же погреться, господа, — говорил он подоспевшим камергерам.

Те опять взялись за шлейф, колесница отдалилась на изрядную дистанцию и — снова бег, снова шлепал, плескался черный парус. На невском временном мосту дубом стоявшие в своих санях купцы и кучки ротозеев тыкали в бегущего монарха перстами, удивленно пучили глаза, пересмехались:

— Глянь, братцы, глянь! Кажись, царек-от наш ума рехнулся!

Как сказочный черт на черных крыльях, царь догнал золотую колесницу, оглянулся: задохнувшийся граф Шереметев упал и ходил по снегу на четвереньках, камергеры, сгорая от стыда, поспешили к императору. Самодержец хихикал про себя.

Екатерина, а за ней вся процессия далеко отстали от колесницы с гробом. Екатерина злилась и бледнела. Когда самодержец всероссийский припустился в третий раз, Екатериною был послан конный адъютант остановить процессию.

Через два часа с верков крепости раздался пушечный салют, потрясший воздух; прах Елизаветы предали земле. Император во время салюта поморщился и хвастливо заявил свите, что он-де вскорости прикажет дать залп из ста осадных пушек, ха!.. Озлобленный Шереметев осмелился заметить, что от

такого залпа рухнут в столице все дома. Царь заморгал на него правым глазом и немилостиво произнес:

— Вы, граф, ничего не смыслите. Вы даже бегаете, как корова... Я приму меры научить вас... Я всех вас буду учить экзерциции... Муштра, муштра!.. Ежедневно... Да-с!..

В этот день по кабакам, питейным, в домах и всюду — только и разговоров было, что о чудачествах молодого государя. Мальчишки, на потеху взрослых, играли по дворам и переулкам в похороны: царь бегал с рогожей за плечами, Шереметев падал.

Вечером помрачневший Петр вошел, пошатываясь, в покои жены.

— Нет, нет, — начал он хриплым голосом, то вскидывая руки к лицу, то опуская их. — Я не подхожу для русских... И русские — для меня... Я убежден, что погибну здесь.

— Не поддавайтесь этой фатальной идее, — ответила Екатерина, — и старайтесь заставить каждого в России любить вас. А вы как сегодня вели себя?

Петр скривил гримасу и, нечаянно икнув, сказал: «Пардон, мадам». Екатерина наморщила нос, подняла брови:

— Идите спать. От вас пахнет водкой. Фи!

Петр повернулся и ушел.

3

Царь быстро обрастал родней из Голштинии. Недавно явившийся с женой и двумя сыновьями дядя царя, принц Жорж, уже был произведен в фельдмаршалы и сразу назначен полковником лейб-гвардии Конного полка с невиданным жалованьем — сорок восемь тысяч рублей в год и с титулом «его высочество». Вскоре приехал второй царский дядя, принц Петр Голштейн-Бекский с женой и дочкой; он тоже был произведен в фельдмаршалы, назначен петер-

бургским генерал-губернатором и командиром над всеми полевыми и гарнизонными полками Петербурга, Финляндии, Эстляндии и Нарвы. Такое незаслуженное возвышение голштинских полунищих прихлебателей возмущало русских, а в гвардейских офицерах усиливало негодование.

Про принцесс говорили: «Смотрите-ка, эти иностранки чуть не голые приехали к нам, а уедут богачками». Принцессы посетили ювелира Позье, показали свои плохонькие бриллианты, просили совета, как являться ко двору в высокоторжественные дни и вообще каковы нравы России?

— Ваши светлости! — начал Позье свое сообщение. — В этой стране все женщины, какого бы ни были звания, от высокопоставленных особ до крестьянки, румянятся, полагая, что к лицу иметь красные щеки. Наряды дам очень богаты, равно как и золотые вещи их. Бриллиантов придворные дамы надевают изумительное множество. Даже на дамах сравнительно низшего звания нанизано бриллиантов тысяч на двадцать рублей.

Рыжеволосые принцессы ахали, завистливо закатывали глазки, брюхатенький Позье наддавал жару:

— Русская покойная императрица обладала такими драгоценными уборами, как ни одна из государынь Европы. Парадная корона императрицы Елизаветы состоит из бриллиантов, жемчуга и самоцветных камней: рубинов, сапфиров, изумрудов. Все эти камни считаются крупнейшими в мире.

Когда Позье вогнал принцесс в испарину, они сказали:

— Помогите нам!.. Мы по оплошности оставили крупные бриллианты в Голштинии, захватили с собой мелочь. Как нам быть? Мы и в деньгах испытываем некоторое затруднение, но знаем, что наш племянник император Петр окажет нам милость...

Оказанная впоследствии знатным голштинцам милость стоила России не один миллион. А пока — придворный ювелир Позье состряпал двум этим дамам и девочке несколько уборов из фальшивых камней разных цветов, он подобрал их и перемешал

с бриллиантами с таким искусством, что все светские дамы терялись в догадках, откуда такое богатство у заезжих голштинок.

Когда Позье, по зову Петра, явился ко двору, его обступили придворные дамы.

— Неужели то настоящие камни?

— О да, о да! — восклицал верный Позье.

Петр пригласил француза в кабинет и, узнав про его хитрость, пришел в восторг, очень много смеялся.

— Вы, как черт, изобретательны!

7 февраля Петр объявил в сенате:

— «Отныне Тайная Розыскных Дел Канцелярия быть не имеет».

Этот гуманный и умный политический жест, неизвестно кем государю внушенный, подтвердился через две недели манифестом, составленным тайным секретарем Д. В. Волковым. В манифесте, между прочим, говорилось: «Тайная Розыскных Дел Канцелярия уничтожается отныне навсегда, а дела оной имеют быть взяты в сенат и за печатью к вечному забвенью в архив положатся». «Ненавистное выражение, а именно: «слово и дело» — не долженствует отныне значить ничего, и мы запрещаем — не употреблять оного никому; о сем, кто отныне оное употребит, в пьянстве или в драке, или избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказывать так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники».

Царь боялся всяких письменных дел пуще огня. Поэтому и второй важный манифест о давненько обещанной «вольности дворянской» писался Волковым же.

— Романовна, ангел, — обратился Петр вечером к своей возлюбленной. — Вот ужо мы с Дмитрием Васильичем запремся в горнице и будем всю ночь писать. Ты не мешай нам. Дела важные, касаемые государственного благоустройства.

Романовна поужинала тертыми рябчиками, изрядно выпила бургундского, посудачила с камер-фрау и легла в постель. Когда наступила ночь, царь

запер Волкова в горнице, а вместо собственной персоны оставил с ним своего датского кобеля.

— Напиши, пожалуй, Дмитрий Васильич, какой-нибудь важный указ, я просмотрю завтра, — сказал он, подмигнув, и ушел до утра кутить с благоприятелями.

Очутившись в странном положении, веселый и умный Волков похохотал над собой, поразговаривал с датским кобелем: «Ты собака, а я волк... Хочешь, съем тебя?» — потом долго ломал голову, о чем писать. «Ба! Вот... О вольности... Петр Федорович давно просил...» — прихлопнул себя по высокому лбу и, потягивая английское пиво, стал сочинять манифест «о вольности дворянской».

Написав, много смеялся: «Манифест о вольности дворянской готов, а я, дворянин, сижу запертым сам-друг с собакой. И выпуску нет... Ха-ха». На другой день, 18 февраля, этот манифест был подписан Петром и опубликован.

Так выпускались царем большой политической важности манифесты и указы.

Во исполнение мысли почившей Елизаветы, а главное по подсказу либерального Никиты Панина, отчасти же по своекорыстным наущениям графов Воронцовых дан был и третий именной указ — о монастырских вотчинах, об отобрании от монастырей и церквей крепостных крестьян и переводе их в государственные. Петр к крестьянам относился, разумеется, с полнейшим равнодушием и не ради их благополучия подписал сей указ. Но все же подписал его с особым удовольствием: он попов и монахов ненавидел.

Указ составлен Волковым в умной, иронической форме. «Соединяя благочестие с пользой отечества... монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений... крестьянам отдать землю, которую они прежде пахали на архиереев, монастыри и церкви».

Этот указ был близок мужицкому сердцу, и о нем долго вспоминали.

Плохо образованный, слабовольный и от природы недалекий, Петр не мог самостоятельно охватить интересы огромной страны, да никогда к этому и не стремился и никакой к тому охоты не имел. Однако вспыльчивое, взбалмошное сердце его нередко было открыто к добру. И, побуждаемый благоприятными обстоятельствами, он с охотой подмахивал манифест или указ, обещавшие какую-нибудь «милость».

Этим пользовались некоторые приближенные, торопливо выдавая народу за подписью Петра авансы, способствующие укрепить в народной массе доброе имя молодого государя, упрочить незыблемость его престола, а тем самым обеспечить карьеру и себе.

Вот и генерал-прокурор сената Глебов стал нашептывать государю разные идеи. Государь то отвергал их, то соглашался с ними, смотря по состоянию духа. И вот — именной указ: бежавшим в Польшу и в другие заграничные страны раскольникам возвратиться в Россию, причем им не должно делать никакого препятствия в исполнении церковного закона по их обыкновению и старопечатным книгам, ибо «внутри Всероссийской империи и иноверные, яко магометане и идолопоклонники, состоят», и что отвращать раскольников от старой веры должно не принуждением и огорчением их, а мерами увещевания.

Раскольники стали почитать Петра III своим заступником, а связанные с гонением на старую веру ужасные случаи самосожжения прекратились.

Этот указ точно так же сыграл немалую роль в движении Емельяна Пугачева, расположив в его пользу много раскольников.

Когда Петру никто не нашептывал и если были к тому наглядные причины, он впадал в законодательное творчество самостоятельно. Так, возвращаясь ночью из Аничковского дворца от гетмана Кирилла Разумовского, верхом на коне, в трезвом виде, он подвергся нападению бродячих псов. На следующий день на имя генерал-полицмейстера Корфа вышел именной высочайший указ: «Извести имеющихся в Санктпетербурге собак близ дворца. Петр».

Или: над головой Петра пролетало мирное стадо ворон. Одна из них без всякого злого умысла непочтительно капнула на шляпу молодого самодержца. Именной высочайший, не особенно грамотный указ: «Дворцовым егерям стрелять на улицах столицы ворон и птиц. Петр».

4

Освобожденные из ссылки Миних, Лилиенфельды, граф Лесток, Менгден со всей признательностью императору окружили его престол. Вскоре получил свободу и временщик Бирон, умертвивший за десять лет своего правления одиннадцать тысяч человек. Он был любовником царицы Анны Ивановны. Перед своей смертью она назначила его регентом Российской империи. Но через двадцать два дня своего регентства Бирон был арестован фельдмаршалом Минихом, осужден на вечное заточение в Сибирь[1] и прожил в изгнании двадцать два года.

И вот два кровных врага, Миних и Бирон, снова встретились при дворе Петра III, благодетеля своего.

Русские вельможи и вся сторона Екатерины косились на этих иноземцев, копили злобу на Петра: почему он всех их возвратил из ссылки, осыпал милостями, а многие русские все еще томятся в заточении?

Но сторона Екатерины и даже сами приверженцы царя впали в изрядное раздражение, когда узналось, что с исконным врагом России, с прусским королем Фридрихом II, царь Петр, никого не спросясь, заключил мир и дружбу.

Война с Пруссией продолжалась пять лет. Для русского оружия она в общем была удачна.

В конце кампании 1761 года разбитый Фридрих с остатками войска отступил в крепость Бреславль и стал там отсиживаться. Он впал в душевный маразм, два месяца не выходил из комнаты: он боялся пока-

---

[1] В 1742 году Елизавета Петровна при своем воцарении приказала из Сибири Бирона вернуть и поселить в Ярославле безвыездно.

зываться войску. Надежды на спасение у него не было: он больше не мог рассчитывать на медлительность русских войск, — ими командовал теперь образованный, молодой, талантливый генерал Румянцев; ему поручено было Елизаветой взять неприступную крепость Кольберг, и он ее взял.

Положение Фридриха II становилось безвыходным: союзница Англия перестала помогать ему деньгами. Прусский народ упал духом и все сильней озлоблялся против своего короля. Словом, Фридриху угрожала гибель.

И вдруг... На долю несчастного Фридриха выпал счастливейший случай.

Известие о том, что русская императрица Елизавета Петровна при смерти, сразу окрылило Фридриха: на престоле будет Петр Федорович, преклоняющийся пред гением его. И в своих расчетах Фридрих не ошибся. Вскоре развернувшиеся в России события превзошли все его надежды: Елизавета умерла, воцарился Петр, молодая царица Екатерина волею упрямого супруга устранена с поля политической жизни. Итак, Фридрих ожил, союзники увяли.

События шли так: в середине февраля 1762 года вернулся от Фридриха посланный Петром генерал Гудович: он отвозил прусскому королю известие о восшествии на престол Петра III и «высочайшее» письмо с выражением дружеских чувств к вчерашнему врагу России.

Гудович совершил на государственный счет прекрасное турне, но нищей России эта поездка вскочила в изрядную копеечку: царь пожаловал своему любимцу Гудовичу шесть деревень в пределах Черниговской губернии.

Фридрих вскоре направил в Петербург посланника Гольца с благодарственным письмом к царю («Да будет ваше царствование долго и счастливо!») и с прусским орденом в награду императору. Ловкому Фридриху этот орден ровно ничего не стоил, но нищей России он тоже влетел в немалую копеечку: почти выигранная военная кампания сорвалась, союзники — в гневе на Россию.

Мир с Пруссией был заключен, предварительный договор подписан, завоеванные нами у Пруссии земли возвращены обратно. Шестнадцать тысяч отборного русского войска соединены с войсками Фридриха II, чтоб нанести решительный удар Австрии, вчерашней союзнице России.

Этот неожиданный, бессмысленный, своевольный мир с Фридрихом II глубоко оскорбил все классы русского общества, от властвующих вельмож, царедворцев, купечества, духовенства и до бесправного солдата. Такой вероломный мир с давнишним врагом России считали издевательством молодого царя над всеми русскими.

Среди солдат действующей армии поднялся ропот: «За что же мы кровь проливали? Били, били немцев, а тут, на вот те, с немцами вместях других бить заставляют... Да что это в Питере-то с ума, что ли, посходили? Хватит воевать!..»

Ну что ж, худой мир лучше доброй ссоры. Но Петр не ради миролюбия сломал всю политику Елизаветы, а чтоб, отказавшись от одной войны, бросить войска и средства на новую, явно безумную войну с Данией из-за пустых каких-то голштинских дел.

5

Екатерина затаилась. Она все видела, все знала, все понимала. Она вела закулисную борьбу против прусской политики своего супруга, стараясь в этом опереться на общественное мнение. Вместе с Никитой Паниным, вместе со своими сторонниками-гвардейцами она скорбела о том, что вся политическая жизнь России отныне ведется не Петром III, а коварным прусским посланником Гольцем, действующим по указке Фридриха II.

Гольц и все приспешники Петра обращали внимание молодого государя на то, что не худо бы устроить слежку за ее величеством — Екатериной, особливо же за гвардейцами Орловыми. Но Петр отмахивался со своей беспечностью упрямого недоросля. Он считал

себя, как и все бездарности, проницательным, умеющим разбираться в людях.

Толстомясая «султанша» через своего отца графа Романа Воронцова и прочих соглядатаев выведала настроение Екатерины и науськивала Петра на свою соперницу. Тот, выпивши, побежал в послеобеденную пору объясняться со своей супругой. Екатерина все еще ходила в широком траурном платье, что скрывало ее беременность от посторонних взоров, а главное — от императора, давным-давно переставшего интересоваться ею как женщиной.

— Вы начинаете становиться невыносимо гордой,— начал он, подергивая головой и плечами. — Я сумею вас образумить...

Екатерина подняла на него лучистые глаза, спокойно сказала:

— В чем вы видите мою гордость?

— Вы очень прямо держитесь... Весь ваш вид... И ваше поведение... и вообще...

— Разве, чтоб вам понравиться, нужно гнуть спину, как гнут рабы перед турецким султаном?

— Я сумею вас образумить, мадам!..

— Каким образом? — В глазах Екатерины презрительная ненависть, на губах улыбка.

Петр, прислонясь спиной к стене, быстро вытащил из ножен шпагу и, гримасничая, с угрозой встряхнул ею.

— Что это значит! Уж не рассчитываете ли вы драться со мной на шпагах?

— Да.

— Тогда, ваше величество, мне также нужна шпага, — весело сказала Екатерина. — Иначе сатисфакция состояться не может.

— Молчать, молчать! Вы ужасно злы. Вы — пантера! — крикнул Петр и с треском вдвинул шпагу в ножны.

— В чем же вы видите мою злость? Сделайте милость, объясните...

Петр сорвался с места и, звеня шпорами, стал бегать взад-вперед, бормотать глупости, затем вы-

крикнул, подобно попугаю: «Молчать, молчать!..» — и, пошатываясь, вышел.

В его голове сумбур. И над сумбуром — единая мысль: он скоро выступит в поход против Дании, скоро встретится со своим другом — великим из великих, Фридрихом. То-то будет знаменитое свидание!

Когда Петр ушел, из-за ширмы выпорхнула красавица графиня Брюс, близкая подруга Екатерины. Обе молодые женщины принялись хохотать — графиня беззаботно, Екатерина нервно.

— Очень храбрый воин ваш супруг, ваше величество, — смеялась графиня. — Я видела в щелочку, как он угрожал вам шпагой.

— Любезный друг, Прасковья Александровна, — воскликнула Екатерина.— Но ведь я не крыса, я женщина, я государыня! Вы слышали, как он казнил крысу?

— Вы шутите, ваше величество... — подняла изогнутые брови графиня Брюс и облизнулась, предвкушая услышать интересное.

— Нисколько. Он тогда был еще великим князем. Впрочем, ему было под тридцать лет. Однажды я вошла в его комнату. Посреди комнаты виселица, на ней — дохлая крыса, большущая-большущая, фи... Я спросила его, что это все значит? Он ответил: «Эта мерзкая крыса перелезла через вал фортеции (он показал рукой на огромный стол, где сооружена была игрушечная крепость) и на бастионе слопала двух часовых». — «Но ведь ваши часовые — из крахмала и муки».— «Хотя бы, хотя бы. Я тотчас созвал военный совет, в коем участвовали мой лакей Митрич, все камердинеры, хохол Карнович и Нарцис. Я председательствовал. По законам военного времени суд приговорил крысу к смертной казни через повешение». Не в силах сдержаться, я расхохоталась. А он сказал мне: «Ах, вы, женщины, ничего не понимаете в военных законах». Я не переставала хохотать. Он надулся. Я сказала: «Хороши ваши военные законы, ежели крысу повесили, не спросив и не выслушав ее оправдания».

Графиня Брюс много этому рассказу смеялась. И вдруг приметила: плечи Екатерины стали подергиваться, подбородок дрожать. Екатерина упала в кресло, набросила кашемировую шаль и громко, взахлеб, зарыдала.

— Ваше величество... милая, ваше величество! — кинулась к ней перепуганная Прасковья Александровна. Обняв ее за располневшую талию, графиня Брюс нечаянно коснулась тугого приподнятого живота Екатерины и удивленным шепотом, целуя государыню в завитки темных волос, восклицала: — Вы... вы!.. И от меня скрываете... Ах, какая вы, право... Ваше величество...

Согретая нежностью женщины, Екатерина благодарно усмехнулась, откинула шаль и, сморкаясь в раздушенный платочек с короною, мешая в одно слезы и смех, тихо промолвила:

— Да, душа моя, Прасковья Александровна, я... я беременна. Роды — месяца через два. Но это — строжайшая тайна, умоляю вас, как друга. А ребенка тотчас отдам. Бедное дитя!

Растроганная графиня уткнулась белым лбом в суховатое плечо государыни, стала лить слезы на черный шелк ее траурного платья. Задыхаясь, бормотала воркующе:

— Какая вы милая, ваше величество, какая вы душка... Буду молить бога о вашем бесценном здравии день и ночь.

— И вот в такое-то время, вы только подумайте, милый друг, — голос, подбородок и щеки Екатерины вновь задрожали. — Я в опале, я на краю гибели, я окружена врагами, друзей у меня — вы да Кэтти Дашкова... Ну, кто еще?.. Не ведаю кто...

— Ваше величество! — еще крепче прильнула к ней Брюс. — Вы забыли, ваше величество, упомянуть имя рыцаря, готового отдать за вас жизнь.

— О! — выпрямилась Екатерина, лицо ее вспыхнуло. — Сей рыцарь есть единая отрада моя, единая надежда... Вы же это знаете, мой милый друг.

— Ваше величество! Ваш рыцарь, Григорий Григорьевич Орлов, неотступно просит свидания с вами...

— Да, но... как это сделать? Этот несносный адъютант Перфильев приставлен государем следить за Орловым... Как это сделать?

Графиня Брюс хотела ответить: «Да так же, как на прошлой неделе», — но почла неприличным и ответила так:

— Очень просто, ваше величество. Мой муж сейчас в Москве. Рандеву состоится в моем доме. Сегодня ночью государь будет в Аничковском дворце у гетмана Разумовского... Кутеж до утра. И Перфильев будет при государе. Вы же знаете, ваше величество. Ровно в одиннадцать я заезжаю за вами в карете...

— Я в мужском костюме, в широком плаще, в шляпе, надвинутой на глаза, выхожу вместе с вами?.. — засмеялась царица.

— Нет, вы лучше оденьтесь Катериной Ивановной, вашей камеристкой...

— Нет, нет, мужчиной!.. Пусть Гришенька не сразу узнает меня...

Из половины государя доносились плаксивые звуки скрипки: Петр неплохо играл какую-то сентиментально заунывную пьеску.

Вскоре состоялся переезд в новый, еще не вполне достроенный знаменитым Растрелли Зимний дворец. Петр сам распределил все помещения. Ближе к себе, на антресолях, поместил Елизавету Воронцову, а царицу Екатерину — в самый отдаленный край дворца. Между передней и покоями царицы — малолетний великий князь Павел с воспитателем его Никитой Ивановичем Паниным. Уединенное помещение Екатерины было ей на руку: удобней видеться с нужными ей людьми, а главное — ей предстояли тайные роды, что она благополучно и совершила, родив на пасхе, 11 апреля, сына Алексея[1]. Отец новорожденного, то есть офицер Григорий Орлов, при родах не присутствовал. А ребенок вскоре исчез.

---

[1] Впоследствии — граф Алексей Григорьевич Бобринский.

6

Внутренние дела России не сулили ничего хорошего. То здесь, то там волновались пашенные крестьяне. В вотчинах Татищева и Хлопова в Тверском и Клинском уездах мужики срыли и разбросали помещичьи дома, житницы с хлебом и оброчные деньги разграбили, а помещиков выгнали вон, сказав им, чтоб больше сюда не ездили; приказчиков и дворовых людей хотели убить, но смиловались, — однако из вотчины выбили вон. Шумели крестьяне и по Московскому, Белевскому, Галицкому, Каширскому, Тульскому, Епифанскому и другим уездам — всего до восьми тысяч человек.

Волновались на Урале раскольники и крестьяне, приписанные к заводам графа Чернышева и Демидовых; они подали в сенат жалобу, что «управители и приказчики притесняют их, увечат, а иных до смерти убили».

Начались волнения и в Москве среди фабричных суконной мануфактуры: удерживают-де у них заработанные деньги и дают на делание сукон скверную шерсть.

Сенат всякий раз докладывал царю о народных возмущениях, царь отмахивался, говорил: «Решайте сами, а мне недосуг, я озабочен более важными для государства делами, я готовлюсь к войне с Данией. Вот возвращусь с триумфом с поля военных действий, тогда займусь и помещиком, и мужиком, и фабрикантом».

Действительно, Петру некогда заниматься какими-то малыми делами в какой-то там России. Эту провинциальную Россию он не знал, да и не хотел знать, — он даже не ощущал ее. Он весь был погружен в военные занятия. Ему и во сне грезились битвы да победы. Добрый по натуре, но плохо воспитанный, заносчивый, вспыльчивый и от природы невеликого ума, этот круглый неуч не мог подметить, что императорский самодержавный трон его со всех сторон обложен целым ворохом горючего.

И трагедия Петра заключалась в том, что он сам разбрасывал это горючее возле монаршего престола,

замыкая жизнь-судьбу свою в заколдованный круг противоречий и роковых опасностей, что он сам держал в немудрой руке пылающий факел, он сам как бы являлся первым поджигателем: еще лишняя искра, еще неверный его шаг, и трон взлетит на воздух. Петр своею странною персоною был самым лютым, самым коварным, самым жестоким врагом себе.

Он разогнал елизаветинскую лейб-компанию — эту «гвардию в гвардии», эту привилегированную часть гвардии, возведшую в 1741 году Елизавету на престол. Содержание ее стоило государству два миллиона ежегодно. Вот и чудесно! Роспуск дворцовых прихлебателей был заслугой Петра даже в глазах его врагов. Но беда в том, что, бесстрашно разогнав старую русскую лейб-компанию, Петр тотчас сформировал из иностранцев голштинскую гвардию и поспешил отдать ей все свое сердце. Подобный акт дворянская гвардия учла, разумеется, не в пользу императора. Лейб-компания тоже злилась. «Возведением на престол Елизаветы мы очистили и Петру Третьему путь к трону, — говорили они. — А нас расформировали».

Как уже известно, первую роль в войсках играл иностранный принц Георг Голштинский (по-солдатски — «Жоржа»). Солдафон, пьяница, зазнайка, презирающий все русское, принц Георг своими поступками возмущал не только военное дворянство, но и рядовых солдат.

Петр решил: всю гвардию, все войско повернуть на прусский образец. Вместо просторных одноцветных зеленых мундиров он одел войско в разноцветную, узкую, на прусский манер, форму. Завел в войсках безмерно строгую дисциплину. Наказание солдат батожьем, кнутом и кошками — отменено, впредь приказано бить палками и фухтелем [1]. Начались ежедневные, и в дождь и в бурю, военные экзерциции. Отдан приказ стянуть в Петербург для военной муштры пятнадцать тысяч войска.

---

[1] Удар по голой спине плашмя обнаженной саблей.

ГЛАВА IX

Две Екатерины. Гетман Разумовский

1

Весенний мелкий дождь, слякоть. Плац перед Зимним дворцом. Под ногами смешанный с грязью и конским пометом снег. Эту хлюпающую грязь месит не одна тысяча мужицких и барских сапог. Все в новых кафтанах, на плечах самопалы, косички болтаются.

Маленький Петр на коне. В зеленой накидке, с орденом прусского короля, в треуголке с плюмажем. Треуголка вся мокрая, дождевая вода скатывается на плечи, на спину, за шиворот, но Петр равнодушен к погоде, он держит экзамен на закаленного прусского воина. Из-под шляпы — два больших темных глаза, то веселых, то грустных, то строгих, смотря по тому, как делает русское воинство прусский размашистый шаг.

— Бего-о-м... Марш! — громко командует он. Голос его — резкий, запальчивый и неприятный — кроет всю площадь. — Кру-го-ом!.. (И глаза его стали вдруг злыми, губы обвисли.) Гетман Разумовский!.. надо слюшать мою команду не брюхом, а ухом. Я еще не сказал — марш. Стыдно, стыдно!.. — Царь вытаращил из-под шляпы глаза и вновь закричал: — Круго-о-о-м... Марш! (Солдаты бегут в такт, слышно пыхтение, звяк самопалов, хлюп промокших ног.) Стой!!

Впереди первого взвода, пробежав лишних два шага и со страхом посунувшись пятками взад, утвердился на месте как вкопанный низенький, толстенький старичок со звездой на груди, с голубой под кафтаном лентой. Он задыхался, как запаленная лошадь, широко открыв рот и полные испуга глаза, косил их в ту сторону, где скоморохий царек на коне, и с трепетом ждал обидного высочайшего окрика. Он был несчастен и жалок. «Отдохнуть бы, в кроватку бы,

выпить бы горячего пуншу... Сукин ты сын, ваше величество... Небось сам на коне, как на печке...»

В эту минуту короткого роздыха он вскинул дальнозоркие глаза на дворец. И видит... за зеркальным стеклом два хорошеньких личика. «Матушка государыня, заступись, заступись! Не дай скоропостижно скончать дни живота моего в сей проклятой экзерциции. Когда же возьмешь бразды правления в благоразумные руци свои, о мать государыня?.. Поторопись, всеблагая!..» И видит жест белой руки в свою сторону.

— О бедни, бедни мой старикашечка... Милая Кэтти, вы не можете видеть, кто сей толстячок? — еще плохо владея русским языком, обратилась царица к молоденькой Дашковой, показав ей лорнетом на стоявшего впереди первого взвода пыхтящего старца.

— Это... это... Да это ж наш князенька женераль Трубецкой... А вы не узналь? — ответила тоже на русском наречии природная русская княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная княжна Воронцова.

— Как, Трубецкой? Никита Юрьевич?.. Господи помилюй!.. — изумилась императрица. — Но ведь он старушечка, ведь он есть женераль-прокурор сената?

— Да, да... Только старушечка — дама, ваше величество, позвольте поправить вас, а он есть старичок...

— Вуй, вуй, старичок... Но, милая Кэтти, вы ан-рюсс выражайтесь тоже не есть очень правильно. Или ви нарошно передразняйт меня?

— О мой бог! — всплеснула белыми ручками Екатерина Романовна, вскинула брови и сложила сердечком уста. — Могу ли я, ваше величество... Но я и сама очень плохо по-русски.

Они улыбнулись друг дружке конфузливо и перешли на французский.

— Ведь у несчастного Трубецкого больные ноги, подагрическая ломота, — сказала государыня. — Поэтому он и в сенат по целым месяцам не ездит, да и дома к нему доступа нет. И вдруг...

— И вдруг, ваше величество, — заулыбалась говорливая стрекотушка Екатерина Романовна. — И

вдруг государь жалует ему звание фельдмаршала. А раз так, пожалуйте на плац топать ножками с молодцами... Экзерциция, ваше величество, ныне для всех обязательна. И старых и малых.

— Знаю, знаю, мой друг... Это мне в большую печаль, — приняла скорбный лик молодая царица. — Ну, к чему мучить столь почтенных людей? Скажите, к чему?

— Это воля вашего высокого супруга, ваше величество.

— Глупая воля! Это есть чванный каприз, фанфаронство. Не более... — Брови ее величества сдвинулись, щеки алеют. Дашкова, чтоб сбить настроение царицы, притворилась веселенькой.

— Представьте, ваше величество... Только Алексей Григорьич Разумовский как-то избавился от сего публичного капральства.

— Ну да... Алексей Григорьич просто-напросто откупился. Да, да... Просто дал взятку, а государь ее принял. В день переезда нашей фамилии в Зимний дворец очаровательный дедушка преподнес государю драгоценную трость и просил дозволения присовокупить к подарку — знаете сколько? — миллион рублей... И его величество деньги те взял...

Екатерина Романовна растерянно захлопала глазками.

— А что касаемо младшего Разумовского, гетмана Кирилла, то он, ваше величество, принужден держать у себя молодого офицера, который дает ему ежедневно уроки новой прусской экзерциции.

— Сей светлый государственный ум рожден царствовать, а не ради капральских артикулов, — в раздраженье перебила ее государыня, и лицо ее снова стало печальным. — Бедный, бедный. Но ведь государь его любит и чтит. И в то же время ежечасно при публике обращает в шута. Дивлюсь моему государю.

За окнами на плацу продолжалось учение. Звенел крикливый голос Петра:

— Правофланговый третьего взвода на гауптвахт... Раз, два! Раз, два!.. Левой! Левой!.. Бараны!..

Я вас, чертячьи головы, вишколю... Раз, два! Айн, цвай! Четвертый взвод, слюшай! Весь взвод под арест! Взводный — под ружье на три ночи к пакхаузам.

Учение продолжается уже битых три часа. Кроме Петра на коне и его свиты, все несказанно устали месить глубокий вязкий снег. Выбившись из последних сил, один за другим упали шесть солдат.

— Убрать, убрать! — бесился всегда ожесточавшийся на экзерцициях царек. — Поставить новых!

Адъютант Перфильев то и дело скачет от Петра с приказами.

— Гетман Разумовский! — кричит Петр. — Подбирайте живот! Прямей вытягивай ногу! Вы опять идете, как вьючный двугорбый верблюд. Плечи, плечи назад!..

Изнеженный гетман Кирилл Разумовский, подобно князю Трубецкому, нервничал, куксился, проклинал и жизнь и царя.

Эти царские окрики не могли долететь до ушей государыни, но их слышала гвардия, слышало войско. Щедрый на помощь солдатам и малоимущим офицерам, Кирилл Разумовский был кумиром всей гвардии. Публичная, почти ежедневная насмешка царя над гетманом коробила всех.

— Ваше величество, — прижимая руки к груди и выразив на умном лице таинственность, восторженно шепчет Дашкова. — Ваше величество, если б вы только знали, сколь много у вас друзей среди гвардии: пять братьев Орловых, Ласунский, Пассек, Росла...

— Ч-ш-ш... — И царица посунулась к Дашковой. — Закройте ваши уста, сии стены с ушами. Мне ведомо очень, очень многое, даже то, что вы по своей молодости не можете знать, мой любезный друг... А впрочем, я рада вас выслушать. Пойдемте ко мне.

Взволнованная Дашкова поймала руку Екатерины и покрыла ее поцелуями.

— Ваше величество! Тучи над вашей головой сгущаются. Доверьтесь мне. Я достойна вашего доверия. Моя жизнь принадлежит вам, государыня. Приказы-

вайте, располагайте мною. Я в курсе всех дел. Скажите, какой ваш план. Я держу полную связь...

— Чш-ш-ш... У меня плана нет. Все в руце божией, — с притворным смирением прошептала Екатерина.

2

Прозвучали по коридору размашистые военные шаги. Петр проследовал на антресоли, в покои Елизаветы Воронцовой, завтракать.

— Романовна! Романовна! — сразу зашумел он, бросая арапу Нарцису мокрые плащ и шляпу. — Сегодняшняя экзерциция из рук вон плоха... За ночь навалило снегу, дождь... И этот неженка, сибарит гетман Разумовский! У него ноги, как из ваты, и ходит, как двугорбый верблюд. Мне надоело вычитывать ему рацеи. Я охрип, кричавши на него... Нарцис! Рюмку ежевичной. А я все же его люблю. И он меня любит, Романовна... А не пригласить ли его откушать с нами?

— Что ж, — ленивым голосом проговорила Воронцова, сидя возле венецианского туалета и лениво сажая себе на щеку мушку. — Пригласи, Пьер... Он человек решпектабельный...

— Ну да, ну да... Я и сам к нему полный решпект имею. — Петр подергал висевшую вдоль дверного косяка расшитую бисером розетку. На звонок вошел саженный лысый бородач Митрич, стукнул в каблук и — грудь вперед — замер. — Здорово, Митрич! Ну, как ты сегодня — пьян есть?

— Никак нет, ваше императорское величество! — гаркнул бородач и, прикрыв рот рукой, покашлял в сторону, — мы не пьем...

— Ха-ха... Смирр-но! (Митрич замер.) Шагом марш! Ать-два, ать-два... Стой! (Пройдя четыре шага, Митрич остановился. Воронцова смотрела во все глаза на причуды императора.) Кру-гом! Ать-два! (Митрич, согласно артикулу, молодецки повернулся задом к Петру.) Сложи руки, сложи руки! Нагнись...

— Никак нет... Не имею смелости, ваше величество, к вам раком стать...

— Император повелевает: нагнись!..

— Как угодно вашему величеству... А токмо что... — пробасил Митрич и, покрутив головой, с неохотой нагнулся.

Петр, разбежавшись, перепрыгнул через него, как в чехарду, и крикнул:

— Вольно, Митрич! Скажи адъютанту Перфильеву, пускай немедля добудет гетмана Разумовского, Кирилл Григорьича. Мы просим его откушать с нами... Фриштык, фриштык!..

Вспотевший Митрич вылез вон. Государь, игриво тронув на ходу пухлую грудь Елизаветы Воронцовой, воскликнул:

— Могу ли я после сего верить?

Та встревожилась, ленивым голосом спросила:

— Кому, Пьер, мне?.. О, вполне...

— Ах, нет! Ах, нет!.. Я не про то. Я про Панина Никиту. Представь, я произвожу его в высокий чин фельдмаршала. Эрго: пожалуйте на плац-парад маршировать со всеми, нечего в затхлых комнатах с великим князьком торчать. А он, а он... Ха-ха!.. Он чуть ли не на коленях стал отказываться от сей чести, от фельдмаршальства, от плац-парада и умолять оставить его в прежних чинах... Каков?.. Мне все уши прожужжали: Панин умный, Панин просвещенный политик... Но могу ли я теперь сему поверить? Вздор! Не политик, а политикан, он под дудку царицы Екатерины пляшет, он заодно с ней. Он против меня. Сукин сын. Они все, канальи, против меня! — петушился Петр, быстро бегая из угла в угол, путаясь несгибавшимися ногами в длинной шпаге.

— Пьер, снимите эспантон, он вам в помеху.

— Вздор! Сие не есть эспантон, сие есть прусского образца шпага... И я ненавижу его, этого Панина! Я этого умника опять в Стокгольм упрячу, пусть там торчит, изучает глупые конституции.

Без доклада вошел красивый, плотный, чуть сутуловатый богач Кирилл Разумовский. Он в красном, расшитом золотом и жемчугом кафтане, на пряжках туфель — яхонты, коса длинная, с большим бантом. Нос ложбинкой, в живых глазах светятся ум и юмор.

— А, старик, — прыгая через ножку, по-мальчишески резво подскочил к нему Петр.

— Никак нет, государь, мне до стариков далеко, я ровесник вам. Но сдается мне, вы задались состарить и себя и меня своими ежедневными экзерцициями.

— Вздор, вздор! — Петр схватил его за обе руки и подтащил к Воронцовой: — Романовна! Тщусь счастьем рекомендовать тебе: бывший пастух, ныне сиятельный граф и гетман всея Малые России Кирилл Григорьич Пастуховский. То бишь...

— Мы довольно знакомы с графом Кириллом, — вправо-влево повела головой Елизавета Романовна.

— Как? Когда? — дурачился Петр, кривляясь.

Гетман улыбался, но глаза его злы.

— Я познакомился с княжной Елизаветой в то время, когда вы были маленьким князьком, государь, в вашей маленькой Голштинии, — резко сказал он.

Оскорбленный Петр дернул носом, закрыл правый глаз и задрыгал ногой.

— А что касаемо пастушеского званья моего, правду изволили молвить, государь. И если вам не ведомо, сделайте милость взять в память: я долгое время пробыл за границей — в Германии, Франции, Италии, особливо долго и усердно слушал лекции в Берлине и Геттингене. И смею молвить, что пастух Пастуховский, как вы соизволили обмолвиться, изощрен в науках навряд ли менее государя своего...

Подчеркнутая холодность, с которой говорил гетман, глубоко оскорбляла болезненное тщеславие царя. Петр завертел шеей, закривлялся, покраснел, готов был разразиться гневом, побежал по комнате прочь от Разумовского, схватил скрипку, ударил в струну смычком, бросил. Гетман, наслаждаясь причиненной царю болью, сел без приглашения в кресло.

— Я внук Петра Первого Великого! — бия себя в грудь, с азартом закричал царь. — Я внук Карла Двенадцатого шведского! А ты кто? — Царь показал ему язык.

— Я — пастух, — хладнокровно ответил гетман, отирая с высокого лба испарину. — А достодолжное для пастуха образование я приобрел милостью почившей

императрицы Елизаветы, вашей тетушки. И ныне состою президентом Российской академии наук.

— Романовна! — вдруг закричал Петр, и его подвижное, как у актера, лицо вновь стало веселым. — А знаешь, кто перед тобой сидит? — указал он на гетмана. — Это мой дядюшка. Der Onkel... Только не родной, а как это по-русски?.. Что?

— Двоюродный, Пьер... — подсказала Романовна.

— Чудесно! Двоюродный. А родной мой дядюшка — твой братец, слышишь, гетман, твой брат, венчанный супруг моей тетушки, Алексей Григорьич Разумовский, к коему я полный решпект имею... И почитаю за отца.

— Это есть непреложная истина, государь. — Вздохнув, гетман опустил голову. Пред его мысленным взором траурной тенью прошла почившая Елизавета.

Петр с разбегу подбежал к поднявшемуся гетману и бросился ему на шею.

— Der Onkel!.. Милый мой дядюшка!.. Чаю, обидел тебя? Ну прощай меня, прощай, пожалуй... А знаешь, а знаешь? — стал он трясти гетмана за обе руки. — Я получил от великого Фридриха высокое награждение... Мой друг Фридрих... (Глаза Разумовского засверкали презрительной холодностью, а Петр, отступив три шага, гордо откинул голову, отставил ногу и ткнул в надетую через плечо генеральскую ленту прусского ордена.) Мой друг Фридрих изволил произвести меня в генерал-майоры прусской службы.

Скрывая гнев, Разумовский сказал с коварством:

— Вы можете с лихвой отомстить ему, государь: в отместку произведите его в русские фельдмаршалы.

Озадаченный Петр разинул рот и ничего не ответил.

3

21 апреля Екатерина торжественно отпраздновала день своего рождения (ей исполнилось тридцать три года) и дала в малом тронном зале аудиенцию австрийскому послу графу Мерси Аржанто. Присут-

ствовал весь двор и иностранные послы. Екатерина все еще носила траур. В ответ на приветственную речь австрийского посла она откинула голову и не спеша впервые произнесла по-французски официальную речь. Этот день был одним из знаменательных дней ее жизни: она держала перед Европой экзамен политической зрелости. Она еще плохо говорила по-русски, но французским языком владела в совершенстве.

Яркий, выступивший на ее нежных щеках румянец свидетельствовал о сильном внутреннем волнении ее. Но чуть приподнятый голос звучал все-таки спокойно, музыкально. Она была горда тем, что вся речь составлена лично ею, без посторонней помощи. Да и с кем она могла посоветоваться? — разве что с Никитой Паниным, но и с ним она не советовалась. Правда, что смысл слов довольно баналeн, но речь была облечена в изысканную форму со всеми дипломатическими учтивостями.

Осмысленно модулируя глубоким, захватывающим слушателя голосом, она придавала особый блеск произносимым ею словам. Все с изумлением разинули рты, напрягли слух, и эта невысокая, изящная женщина вдруг на глазах у всех выросла в заметную фигуру, с которой Европе придется еще иметь дело. Даже Никита Иванович Панин, чей зрелый государственный ум был холоден и всегда трезв, поддался обаянию и, устремив на Екатерину загоревшийся взор, тихо вымолвил: «Умница».

Панин, оба Разумовские, И. И. Шувалов, Трубецкой и другие, допущенные к целованию руки государыни, искренне поздравляли Екатерину с успехом. В особенности восторгалась без меры княгиня Дашкова. У царицы на душе ликование, однако она продолжала притворяться печальной, почти подавленной.

Государь на аудиенции намеренно отсутствовал: он репетировал скрипичные пьесы, готовясь к собственному музыкальному концерту.

24 апреля был заключен с нетерпением ожидаемый Петром трактат мира с Пруссией. В одной из статей трактата говорилось:

«Российский император в два месяца возвратит королю Прусскому все области, земли, города, места и крепости, ему (королю) принадлежащие и в течение войны российским оружием занятые».

В сердцах россиян, в особенности — войска, ужасный смысл трактата отозвался глухой болью, как удар из-за угла, в спину. Патриотические чувства каждого были оскорблены: значит, кровь русская пролилась на вражьих полях впустую.

Легкомысленный Петр от радости скакал через ножку, с криком «ура» салютовал портрету Фридриха. На плац-параде с войсками был много милостив. Громко объявил с коня:

— Солдаты! Я и его королевское величество Фридрих Прусский заключили между собой договор вечного мира и вечной дружбы! — И бесшабашно, очертя голову, провозгласил: — Солдаты! За моего друга Фридриха — ура!!!

Смущенное войско кричало «ура», но без восторга. Царь приказал выдать солдатам по три чарки водки.

Через пять дней мир с Пруссией праздновался торжественным обедом. Дальновидная Екатерина, зная, сколь тяжело русские сановники переживают заключение этого мира, присутствовать на обеде отказалась под предлогом болезни. Взбешенный Петр кричал на антресолях у «Лизки-султанши»:

— Я ее вылечу! Вот я ее вылечу...

Горничная Катерина Ивановна эти крики поспешила подслушать и с прибавкой пересказала их государыне. Старик камердинер Тимофей Евреинов, прослезившись, советовал Екатерине:

— Матушка, ваше величество... Надо бы сходить вам откушать... А то государь император изволят злиться. Как бы лиха какого не приключилось! Они, бог с ними, сумасшедшие.

Однако быть на обеде Екатерина отказалась. Поэтому к столу приглашены были только мужчины. Обед прошел в полном унынии. Был оживлен лишь император. Он в прусском мундире, в ленте прусского черного орла. Под конец он напился, чудил, выкрики-

вал: «Воля Фридриха — воля божья!» И еще выкрикивал: «Весь мир будет свидетелем, как я отхлещу по щекам Данию... Да здравствует моя великая Голштиния!» Послы-иноземцы, привычные к выходкам Петра, злорадно запоминали каждый жест его, чтоб тотчас отписать обо всем своим государям.

Петр точно так же признал обед скучным, однобоким без веселого женского смеха и объявил, что после обмена ратификациями мирного договора он устроит доброе пиршество с участием итальянских придворного театра комедианток, хорошеньких танцовщиц и прочих прелестных гурий, а вкупе с ними, может, и сам кой-что сыграет на скрипке, ибо всему свету ведомо, сколь отменно постиг он сие труднейшее искусство.

На другой день, проспавшись, Петр приказал дворцовому архитектору скакать в Шлиссельбург, выбрать там место и приступить к постройке добротного, но без всяких пышностей дома. Для кого — о том знала лишь Елизавета Романовна. Царь под секретом шепнул ей, кому вскорости жить в том каземате надлежит.

Все помыслы Петра вращались исключительно возле датского вопроса. Все же остальное было для него — между прочим. Он окончательно утратил способность верно мыслить, он даже потерял звериное, данное от природы чувство самозащиты и неудержимо катился в погибель.

Войскам отдан приказ быть готовыми к выступлению. Прошел слух, что русских солдат поставят под команду Фридриха II.

В войсках поднялся ропот, особенно громкий среди гвардии. Гвардейцы привыкли к безмятежной жизни при дворе, и вдруг — повеление следовать за государем куда-то на край света. Озлобленные, они не желали покидать столицу и собирались на войну, стиснув зубы. Более смелые среди них вопрошали своих офицеров: «Куда и на кой прах нас уводят из столицы?» Те отвечали уклончиво, избегая смотреть в глаза солдатам: «Император поведет нас в свою Голштинию, он желает отомстить обиды, нанесенные

его предкам Данией, и оттягать от нее все отнятые у голштинцев земли». Гвардейцы разглашали этот ответ своим товарищам, многие с отчаянностью бежали из казарм кутить в кабаки — арест так арест, — напивались там в лоск, орали: «Не пойдем! Пущай сам, ежели хочет, на войну прется вкупе с Фридрихом своим да с Жоржей. Уж и так нас замучил своими вахтпарадами да артикулами на немецкий лад!» Крикунов хватали, били палками, били фухтелем, усылали куда надо. Расправа с крикунами была сигналом к началу волнений: «Пущай всех ссылают!.. Мы все заодно». Беспорядки вспыхивали в гвардии и армии и с жестокостью подавлялись.

Петр считал минуты до воинственного выступления в датский поход. И заветная цель, мечта всей жизни — свидание с Фридрихом! Уже было установлено место встречи.

Но Фридрих, изучая донесения своих политических клевретов, испугался, что его простоватый друг, из которого можно вить веревки, удалясь из России, этим самым поможет сбросить себя с престола. Падение Петра было бы для Фридриха большим ударом. Поэтому, своей корысти ради, он стал застращивать Петра всяческими страхами, как нянька малого ребенка — букой. Его гонец день и ночь мчал к Петру письма. Фридрих писал:

«Мне бы очень хотелось, чтоб ваше величество короновались, эта церемония произведет сильное впечатление на народ, привыкший видеть своих государей коронованными. Я вам скажу откровенно, что не доверяю русским... Предположите, что какой-нибудь негодяй начнет в ваше отсутствие интриговать для возведения на престол Ивана Антоновича, составит заговор, чтоб вывести Ивана из темницы, подговорит войско и других негодяев: не должны ли вы будете тогда покинуть войну против датчан и поспешно возвратиться, чтоб тушить пожар собственного дома...»

Петр ответил, что короноваться перед походом у него не осталось времени, ему не успеть наделать роскошных фейерверков, да к тому же и корона еще

не готова. «Что касается Ивана[1], то я держу его под крепкой стражею, и если б русские хотели сделать мне зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не предпринимаю никаких предосторожностей, ходя пешком по улицам, что Гольц может засвидетельствовать».

ГЛАВА X

Узник без имени

1

Венценосный шлиссельбургский узник Иван Антонович, о котором пишет Фридрих, «несчастнорожденный» для престола, всю жизнь провел в страданиях и умер бесславно от руки насильника.

Петр II, сын царевича Алексея Петровича, убитого по приказу своего отца Петра I, скончался от оспы пятнадцатилетним мальчиком. По смерти его вступила на престол Анна Ивановна, племянница Петра I. Она притащила из Курляндии своего любовника, некоего мелкопоместного курляндского дворянина Бирона.

Анна Ивановна царствовала десять лет и перед смертью своей назначила всероссийским императором грудного младенца — Ивана Антоновича, сына принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны и принца Брауншвейг-Люненбургского Антона-Ульриха. В Анне Леопольдовне текла хоть капелька русской крови (она дочь Екатерины Ивановны, родной племянницы Петра I), а ее супруг Антон-Ульрих был просто-напросто кавалер со стороны.

Регентом лежавшего в пеленках всероссийского самодержца Ивана III[2] был назначен 16 октября

---

[1] Петр имел свидание с Иваном Антоновичем 22 марта 1762 года.

[2] Как царь — он Иван III (первый царь — Иван Грозный, второй царь — родной брат Петра I — Иван Алексеевич). А по числу князей Иванов — он Иван VI. Но логичнее называть его — Иван III Антонович.

1740 года бывший любовник Анны Ивановны всевластный Бирон, а 17 октября царица Анна умерла.

В народе разнесся глухой ропот. Почему-де царем сделали малютку в зыбке, какого-то Ивана Антоновича? И почему-де он взял верх над законной дочерью Петра I, здоровой, красивой и веселой девушкой Елизаветой Петровной?

После сего приехавшая с ребенком в Россию мать императора Анна Леопольдовна была провозглашена великой княгиней и назначена правительницей государства. Именем грудного младенца издавались указы, велись войны, а о народе, об империи и о самом младенце совершенно забыли. Правда, во время торжественных церемоний, например, когда приехало в Петербург персидское посольство, малютку выносили в пеленках на балкон, чтобы показать народу. Но сбежавшийся люд мало интересовался и им и его матерью, а искал взором цесаревну Елизавету Петровну, отворачиваясь от набивших оскомину немецких властелинов.

И в ночь на 25 ноября 1741 года разразилась дворцовая революция. Цесаревна Елизавета, опираясь на придворную знать и гвардейцев-гренадер[1], арестовывает младенца Ивана III с его родителями и провозглашает себя императрицей.

Молодая Елизавета отличалась необычайной красотой и веселым нравом. У ног ее с давних пор пресмыкался добрый десяток женихов, вплоть до французского короля Людовика XV, принца персидского — сына шаха Надира — и молоденького племянника ее Петра II, по уши влюбившегося в свою очаровательную тетку. Но она предпочла остаться девой и, поддерживая обычную придворную традицию, обзаводилась «рабами своего сердца».

Через солидный опыт в сердечно-интимных делах своих Елизавета пришла к заключению, что вряд ли она произведет теперь на свет сына, наследника. Поэтому, желая обеспечить вопрос престолонаследия, она шлет в Голштинию за своим четырнадцатилет-

---

[1] Впоследствии они получили прозвание лейб-компанцев.

ним племянником Петром-Карлом-Ульрихом (будущим Петром III), обращает его в православие и объявляет великим князем и наследником престола.

А в 1744 году, когда Петру Федоровичу шел шестнадцатый год, ему была выбрана невеста, мелкопоместная принцесса Цербтская София-Августа-Фредерика (впоследствии — Екатерина II). Таким образом, по линии престолонаследия все благопоспешно шло своим порядком. О судьбе же арестованного ребенка — императора Ивана III — даже и в придворных сферах никто не знал ничего достоверного, и имя его произносилось шепотом.

Судьба же свергнутого младенца-императора была такова. 12 декабря, то есть спустя семнадцать дней после воцарения Елизаветы, из Петербурга выехало под сильным конвоем несколько повозок. В одной из них — укутанный в меховой мешок «несчастнорожденный» Иван с отцом и матерью. Они изгонялись чрез Нарву, Ригу на свою родину, в Брауншвейг. Ивану было шестнадцать месяцев, из них тринадцать он считался императором. Ему больше никогда не придется видеть Петербург.

Охраняя свое собственное спокойствие, Елизавета старалась стереть при дворе и в народе всякую память о нем: уничтожены все монеты и медали с изображением Ивана III, собраны в сенат и там сожжены все бумаги, в которых упоминалось его имя.

Тревога Елизаветы была не напрасна. Семь месяцев спустя после переворота камер-лакей Турчанинов и два гвардейца, пожалев Ивана III, составили заговор: Елизавету и голштинского принца Петра Федоровича умертвить, на престол возвести низложенного Ивана III Антоновича. А еще год спустя был открыт заговор подполковника Лопухина — опять в пользу Ивана III. В это время, вот уже целый год, изгнанная брауншвейгская фамилия содержалась под крепкой стражей в Риге. Елизавета опасалась, что, находясь за границей и придя в возраст, Иван III может оказаться опасным претендентом на русский престол. Поэтому она решила вместо заграницы переправить

всю фамилию в Ораниенбург (Раненбург) [1], а вскоре приказала отвезти их в Соловецкий монастырь.

При выезде из Ораниенбурга, по приказу Елизаветы, четырехлетнего ребенка впервые и навсегда разлучили с родителями. Его увез в отдельном экипаже майор Миллер, получив указ: «Оного посадить в коляску и самому с ним сесть. Именем называть его «Григорий». Проезжать только ночью, иметь всегда коляску закрытой, о младенце никому не объявлять».

Был март 1745 года. Была весенняя распутица. Ребенок скучал и плакал. Изгнанники надолго застряли в Холмогорах, в бывшем архиерейском доме. Елизавета, узнав о сем, приказала: «Известным персонам здесь и жить в теснейшем заключении, младенец отдельно».

Вскоре камергеру барону Корфу, ведающему «известными персонами», дан был секретнейший приказ: «Ежели, по воле божьей, случится кому из них смерть, особливо же принцессе Анне или принцу Иоанну, то, учиня над умершим телом анатомию и положа в спирт, тотчас же смертное тело к нам прислать с нарочным офицером».

Но супруги брауншвейгские вовсе и не думали умирать, а, наоборот, благополучно в изгнании плодились. Так, Анна Леопольдовна в Холмогорах разрешилась сыном. Елизавета и весь двор поморщились: в Риге родилась девчонка, а вот теперь опять принц, новый претендент, брат Ивана. Не прошло и года, опять беда, опять родился мальчишка. Получив о сем известие, императрица Елизавета в великой досаде изволила оный рапорт изорвать в клочки. «Престранная плодливость... Ну, прямо крысы!» — воскликнула она.

Однако, родив Алексея, принцесса Анна захворала в марте 1746 года «великою горячкою и волею божьей помре». Елизавета ликовала: слава богу, брауншвейгская семья пошла на убыль. Анатомированное тело Анны Леопольдовны прибыло в Питер,

---

[1] Бывшая Рязанская губерния.

прямо в Александро-Невский монастырь, где почившая принцесса и погребена с почестями.

В это время хворый от природы и недавно перенесший смертельные болезни — осложненную корь и оспу — великий князь Петр Федорович опять лежал больным. Елизавета, Екатерина, двор, иностранные послы предвидели, что в случае смерти Петра Федоровича неминуемо будет объявлен наследником престола все тот же принц-младенец, бывший император Иван III.

У великой княгини Екатерины Алексеевны при этих мрачных мыслях переворачивалось сердце, она четко понимала, что заточение Ивана есть причина ее личного благополучия. Она ко всему прислушивалась, присматривалась, мысленно одобряла все жестокие, прямо бесчеловечные действия Елизаветы по отношению к брауншвейгской фамилии и «несчастнорожденному» Ивану; она знакомилась с подробностями дворцовой революции, возведшей Елизавету на престол, и находила, что подобные перевороты не только возможны, но и легко осуществимы.

2

Время шло. Елизавета благополучно царствовала, полузабыв о заключенном подраставшем Иване. Петр Федорович развлекался игрой в оловянные солдатики, иногда пилил на скрипке, дрессировал свору собак и помаленьку пьянствовал, не забывая в то же время забавляться и любовными утехами, в коих чистосердечно каялся молодой своей жене.

Молодая жена Екатерина Алексеевна, подражая нареченной тетке, собственному мужу и высшему свету, точно так же предавалась влечению сердца, но в любовных утехах супругу своему не признавалась.

Сначала и впервые Екатерина увлеклась одним из трех братьев-офицеров, камер-лакеем великого князя — Андреем Гавриловичем Чернышевым. Хотя это увлечение носило платонический характер, но тем

не менее все три «продерзостных» брата были из Петербурга высланы. Заглядывался на Екатерину и молодой граф, гетман Малороссии, Кирилл Разумовский. В 1751 году она стала играть в любовь с веселым, умным камер-юнкером графом Захаром Чернышевым (участником прусской войны и однофамильцем Андрея Чернышева). Однако эта любовь продолжалась недолго[1]. На смену графу Чернышеву явился новый обожатель, блестящий камергер великокняжеского двора Сергей Васильевич Салтыков. Он был, по выражению самой Екатерины, «прекрасен, как майский день, никто с ним не мог равняться даже при большом дворе Елизаветы». Поигрывая с ним в «любишь не любишь», Екатерина по молодости лет дважды доигралась до беременности, но оба эти неосторожные случая, которые держались в великой тайне, кончились преблагополучными выкидышами.

Вскоре Екатерину постигла третья беременность (не дознано, от мужа или от Сергея Салтыкова). И 20 сентября 1754 года она родила будущего наследника престола, Павла Петровича[2].

Праздник для царствующего дома величайший. Он имел не столько семейное, сколько политическое значение. Начались пиршества, пушечная пальба, фейерверки, маскарады. Вопрос о престолонаследии, таким образом, разрешился вполне благополучно. Теперь не страшит Елизавету призрак изгнанника Ивана III. Теперь, даже в случае смерти Петра Федоровича наследником престола будет объявлен не Иван, а новорожденный Павел. Теперь Елизавета может веселиться и спать спокойно.

Но тут произошло нечто для «несчастнорожденного» Ивана совершенно трагическое. Попал в лапы страшной Тайной канцелярии тобольский посадский

---

[1] Впоследствии были найдены 23 любовных записки Екатерины к графу, заделанные в стену колокольни в том селе Задонского уезда, которое некогда принадлежало графам Чернышевым.

[2] После рождения Павла Сергей Салтыков был отправлен в Гамбург в качестве полномочного посланника с запрещением возвращаться в Петербург.

человек Иван Зубарев и на допросе под лютой пыткой показал: в 1755 году он ездил с товарами беглых русских купцов в Пруссию. Там его завербовали в прусскую гвардию и послали обратно в Россию, в раскольничьи скиты, с ответственным политическим наказом: «Уговори-де раскольников, чтоб сами склонялись к нам, пруссакам, и помогли вступить на престол Ивану Антоновичу. Ты подай только весть ему, а мы в будущем, в 1756, году подошлем к Архангельску корабли под видом купечества, чтоб выкрасть Ивана Антоновича. А как мы его выкрадем, то сделаем-де чрез раскольничьих старцев бунт, чтоб возвести Ивана III на престол. А как сделается бунт, то мы, пруссаки, придем-де с нашим войском к русской границе».

Узнав о столь опасном умысле Зубарева, Елизавета сразу лишилась сна, веселости и аппетита. И тотчас — высочайшее повеление: немедленно переправить Ивана в Шлиссельбург к вечному заточению в крепости. Сержант лейб-компании Савин вывез его в глухую ночь тайно от отца.

В Шлиссельбурге надзор за Иваном поручался капитану Шубину. В инструкции между прочим говорилось: «Кроме вас и прапорщика, в ту казарму никому не входить, чтоб арестанта видеть никто не мог. Вам в команде вашей отнюдь никому не сказывать, каков арестант, стар или молод, русский или иностранец, о чем подтвердить под смертной казнью, коли кто скажет».

«Узнику без имени» было в это время шестнадцать лет.

Шлиссельбургский каземат, где сидел Иван, узкий, длинный, пол каменный, стекла единственного окна закрашены белой краской. Кровать, ширма, стол, скамья, табуретка. В переднем углу образ богоматери, пред ним лампадка. На полке груда церковных книг в кожаных переплетах. Каземат плохо проветривался, солнце здесь никогда не бывает, затхлый полумрак, холодная сырость.

Узник среднего роста, тонок, волосы длинные, лицо необычайно бело, болезненно, нос большой,

глаза окружены нехорошими тенями, в них временами гнев, но чаще они задумчивы. Кафтан, камзол, штаны грубого синего сукна, чулки темные, башмаки с пряжками, на каблуках подковы.

8

Идут годы. Наступает 1759 год. Узнику девятнадцать лет. Ежегодно на рождество и пасху к нему приходит священник, служит молебен. Узник прикладывается ко кресту, вопрошает с жаром:

— Скажи, отец, кто я?

— Раб божий, — робко отвечает священник, торопясь уйти.

— Врешь, старик, врешь! — в безумии кричит узник. — Я принц!.. Я здешней империи повелитель... Стой, старик!

Но священник уже успел выскочить, вбегает сменивший Шубина капитан Овцын, с ним — прапорщик. Узник бросается на них:

— Опять, опять игемоны?! Слуги ада... Кто я?

— Безыменный узник, — с волнением отвечает Овцын и пятится от наступающего на него страшного и жалкого Ивана.

— Палач... Молчи!.. Я размозжу твою башку. Я задушу тебя!

— За сие ответишь, — возражает Овцын. — Тебе за это самому отсекут голову.

Глаза узника ширятся, рот открыт, перед узником встают воспоминания.

— Голову? — подавленно и тихо переспрашивает он. — Моя голова и так давно отрублена... Бедная голова моя... — Он вскидывает широкие ладони, стискивает ими виски и расхлябанно, шатаясь из стороны в сторону, идет к своей кровати, с грохотом отбрасывает ногой ширму, валится на кровать лицом в подушку и начинает выть, как зверь.

Офицер и прапорщик уходят, щелкает замок железной двери.

Сегодня первый день пасхи. Не торчать же Овцыну здесь, он ушел на обед к коменданту. На стол вскарабкались две мыши, лакомятся едой. Вой узника переходит в тихий плач, разрываемый истерическим повизгиванием. Отчаяние пресеклось тяжелым сном со стоном и бредом. Но вот к узнику возвращается сознание.

В полумраке седовласый солдат топит огненную печь, дрова трещат, стреляют золотыми, как звезды, угольками, желтое полымя, солдат курит трубку.

— Здравствуй, солдат!.. Христос воскрес!

— Воистину воскрес, — отвечает старик солдат; он стоит на коленях пред печкой, мешает кочергой дрова.

— А ты что нашептываешь там? Ты что это волхвуешь? Вы все, шептуны, смерти моей ищете... Вот я вам! — грозит узник пальцем. И затем — тихо: — Ты пошто, солдатик, уж который год не пущаешь меня гулять?.. Все гуляют, один я сижу.

— А вот и неправда твоя, — говорит старый хромой солдат, — здесь никто не гуляет, здесь все сидят... Вот и я сижу. Видишь?

— А пошто же в Холмогорах гуляют, я в окно смотрел?

— То в Холмогорах, а то у нас. Ты, парень, не равняй...

— А здесь что, здесь какое место?

— Тут трещоба, мил человек, — попыхивает трубкой солдат. — Буераки да болотина... Тут пень на колоду брешет.

— А как зовется это место? Далеко ль оно от Петербурга, от Москвы?

— Сие место зовется — пагуба... И ни Питера, ни Москвы отсель не видно.

— Врешь, солдат!.. Вижу, что врешь. Тебя тоже научили врать... А ты не ври, ты ведь старик, — грех врать... Я тринадцать ночей сюда ехал. А куда привезли меня вороги мои — не вестен я. Грех вам всем будет. Все станете в аду кипеть, а я, грешный, вкупе со Христом обрящусь. Вздуй, солдатик, фонарь: темно здесь, мыши... Я про себя в книгах вычитал, в апокалипсисе. И наречется имя ему «Иоанн»...

— Ха-ха, — как-то неестественно заперхал солдат стариковским смехом. — Попал в небо пальцем... Это ты-то Иоанн?..

— Дурак! Свинья! Пошел вон, дурак!.. Меня младенчиком от матери отняли, от отца... Я принц!.. Я император Иоанн! Вот ужо стану царем, тебе голову ссеку! — Он вскочил, разодрал ворот рубахи, пал с разбегу на колени перед образом и, простирая руки к огоньку лампадки, кричал неистово и страшно: — Господи Иисусе Христе, спаси меня, спаси меня! Господи Иисусе Христе!!!

В последующее время узник вел себя особенно буйно: бросался с кулаками на капитана Овцына, швырял в него тарелками, бутылками, кричал: «Смеешь ли ты, свинья, меня унимать?.. Я тебя сам уйму!.. Я здешней империи принц и государь ваш!»

ГЛАВА XI

Мясник Хряпов. «Карету его величества!»

1

В мае закончены все приготовления к походу в Данию. Верховые кони государя уже были отправлены. Петр на прощание кормил их сахаром, говорил: «Вы своими копытами будете топтать землю исконных врагов моих».

Кто же станет управлять Всероссийскою монархией в отсутствие царя? Простонародье, купечество и все жители столицы наивно ожидали, что замест царя будет управлять делами государства сама Екатерина. Однако все они просчитались: по проискам голштинских своих родственников, а также Романа Воронцова — отца «Лизки-султанши», учрежден особый совет во главе с принцем Голштейн-Бекским Петром. Опять голштинец, опять не любимый народом немчура.

В начале июня приехал из Ростова Великого в Петербург крупный огородник Андрей Иванович Фролов

заключить сделку с двором на поставку овощей. Остановился он у земляка своего, мясника Хряпова, что снабжал двор мясом. Поцеловались в обнимку, по-старинному, крест-накрест. Весь налитый жиром, красный, пыхтящий мясник сказал:

— Вот и добро, Андрюша, что прибыл вовремя: завтра праздники начнутся, три дня велено гулять. Царек наш, чтоб ему, мир с Фридрихом заключил... Слыхал?

— Слыхал, слыхал... — ответил щупленький огородник. — Уж чего пакостней — война не кончена, а он с врагом мир заключает. Не в большом уме царек наш...

К обеду приехал в одноколке лакей царя — рыжебородый и плешивый верзила Митрич.

— Отпросился у царя-батюшки: «Езжай, говорит, Федор Митрич, разгуляйся». А теперь время летнее, топить печей не надо, знай ковры выбивай да у Лизаветы Романовны клопов шпарь... Должно, царь от голштинцев натаскал.

Митрич всегда под хмельком, дышит тяжело, с присвистом, говорит густым басом.

Вместе с гостями сели за стол хозяйка и трое детей мясника. Старшему, Мишке, одиннадцать лет. Но хозяин жену и детей из-за стола выгнал, — пущай обедают в кухне, а здесь пойдут разные умственные речи, и бабе, а наипаче ребятам, нечего уши развешивать. Хозяйка надулась, дети, уходя, заплакали: и униженье при гостях, и зело хотелось им послушать, что будет сказывать весь обшитый позументами, весь в медалях плешастый дядя, — уж очень занятно он рассказывает о дворце, о дворцовых людях и обычаях. Но хозяин стукнул кулачищем в стол — и все исчезли.

Мясник Хряпов, крепостной крестьянин, плативший своему барину большой оброк, жил богато в собственном доме на Садовой, поставлял ко двору битую птицу, горы разных мясов, даже рыбу — иногда с тухлинкой, но чрез хорошую взятку и тухлинка благополучно сходила с рук: «сожрут».

Щи были жирнущие, из миски вкусный пар; подавала жирнущая же баба Секлетинья в засаленном, грязном сарафане с подоткнутым подолом.

Хотя день был будний, но весь Питер, по приказу, праздновал: лавки с обеда заперты, хозяин в шелковой рубахе, волосы смазаны репейным маслом, расчесаны на прямой пробор, свисают крышей. Из кухни несло чадом: Секлетинья и мальчишка на посылках Колька топили сало, разливали по плошкам: полицией велено завтра иллюминировать весь город.

Выпили смородинной по три стопки, похвалили, перешли на пиво. Секлетинья принесла жареной телятины. Мысли у приятелей взыграли, языки распоясались, потекла беседа. Огородник Андрей Иванович подергал черную бородку и, поблескивая белыми зубами, начал:

— Я, други мои, ко господу прилежен и владыку нашего ростовского Арсения [1] чту: справедлив и дерзновенен. И как вышел царский указ мужиков с землей от монастырей отобрать, господи боже, что содеялось... Мужики бросились рубить монастырские леса, сено грабить, рыбу в святых прудах да озерах ловить... Арсений монахов выслал: «Братие, защищай божье имущество». Куда тут!.. Мужики монахов так излупили, едва ноги унесли: «Бей долгогривых по царскому приказу!» Вот вам, други мои, каков наш царь-государь...

— А-я-яй, а-я-яй, — изумился хозяин, отирая рушником взмокшее лицо.

— И собрал нас, почетных прихожан, митрополит Арсений на первой неделе великого поста в Белую палату. «Ну, говорит, православные, по милости нового царя нам, монахам, с голоду умирать. Например, говорит, воевода ростовский Петр Протасьев был распален указом царским, тотчас по всем вотчинам монастырским опечатал все житницы, оставив меня со всем духовенством без пропитания, всем нам идти нищими по миру. О-хо-хо, о-хо-хо... Да этак, братия, говорит владыка, и турецкий султан не поступил бы со

[1] Знаменитый Арсений Мациевич.

своими подданными, как дозволил себе царь православный. О-хо-хо, о-хо-хо... Царь жизнь нашу приводит к стенаниям и горестям...» Тут владыка Арсений прослезился, и мы все от мала до велика заплакали.

Хозяин-мясник, слушая земляка, тоже заплакал, затряс головой и засморкался в рушник.

— Я владыку Арсения знаю, я его знаю... Горячий, справедливый пастырь, — сказал он и предложил выпить с горя крепчайшей тминной.

Хозяин с огородником пили рюмками, Митрич пил стаканом.

— И вот, други мои, — опять заговорил Андрей Иванович, закусывая соленым с чесночным духом огурчиком, — и достает владыка из-под рясы бумагу и оглашает жалобу в сенат, написанную по-латынски и по-русски зело умственно и плачевно. «Вот, говорит владыко-митрополит, сию бумагу острого и высокого рассуждения я завтра же отправлю с иеросхимонахом Лукою в Санкт-Петербург».

— Я хорошо вестен, что с сим старцем Лукою содеялось и как Петр Федорыч его обласкать изволил, — прогудел красный от лихого пития царев лакей.

— Погодь, погодь, Митрич. Дай досказать, а ежели навру, поправишь. И вот, други мои, минуло с того времени два месяца. И возвращается из Питера наш иеросхимонах Лука чуть жив и докладывает митрополиту ростовскому Арсению: «Вручил, говорит, аз грешный оное прошение во царские его величества руци, припав к стопам его, в сенате, весь генералитет тут был, и обер-секретарь с расстановкой то прошение огласил. Тогда его величество пришли в сугубый азарт, закричали на меня гласом велиим, затопали: «Вон! Вон, бородатый козел! В крепость! Молчать, молчать!» Меня тут сразу из ума вышибло, покачнулся и врастяжку на пол повалился. И закатали меня за сию бумагу острого и высокого рассуждения на шесть недель на хлеб и на воду в Невский монастырь под караул...»

Секлетинья поросенка с кашей подала.

— А ну, расскажи, Федор Митрич, как же государыня-то молодая, она-то что? Ведь ты денно-нощно

возле царской семьи трешься, поди много знаешь. Не таись, люди свои...

— Много знаю, да мало болтаю, — приосанился Митрич, но пьяная голова его клонилась. — А кабы болтал, давно бы на каторге в Сибири был. — Он помолчал, покряхтел, для отрезвления понюхал табачку. Огородник с хозяином уставились в его усатый рот, ждали откровений. — Государыня тихо-скромно себя соблюдает, жительствует от царя в особых покоях, а царь все с Лизаветой Романовной... Она привязала царя-то к себе, как коня к столбу. Все с ней да с ней блезир ведет...

— Блезир? Ишь ты, — прищелкнул языком огородник.

— А государыня по их пьяным куртагам не ходит, а сидит смирнехонько да тихомолком дело делает.

— Тихомолком? Ишь ты...

Хозяин положил Митричу поросенка с кашей. Митрич тяжело задышал, расстегнул пуговки штанов, принялся за поросенка.

— Да, да, — сказал хозяин. — А чем-то попахивает в воздухе таким-этаким... Быть смуте!.. Вот только как бы государыня не сплошала да не угодила в монастырь.

Огородник перекрестился и вздохнул. Митрич сказал:

— Не в монастырь, а похуже. Мы-то всё знаем... Слуги-то все тайности ихние больше царя знают, да молчат. Вот и я помалкиваю...

Хозяин лукаво усмехнулся, налил тминной.

— А ну, за великого молчальника, за Федора Митрича, выпьем здравицу!

Выпили. Митрич, зажав в горсть бороду, таинственным шепотом сказал:

— Намеднись Лизка самого-то по щекам хлестала, три оплеухи нанесла... Ну, какой же это, к свиньям поганым, царь? Бывало, Петр Великий, дедушка-то его, сам всех по зубам бил. Вот это царь!.. А это хоть и внук, а дермо. Тот куст, да не та ягода. Дурак не дурак, а захлебнувшись.

— Царь! Царь! — послышались на улице резкие выкрики.

А в комнату ворвались ребятишки:

— Батенька! Царя везут!

Все бросились к окну, распахнули настежь.

2

— Эвот, эвот Корф катит, генерал-аншеф, полиции начальник, — тыча пальцем в пролетевшую тройку, пояснил мясник Хряпов. — А с ним рядом на лошаденке скачет евонный адъютант Болотов, большого ума барин.

За Корфом пронеслась другая тройка, за ней третья — пыль столбом, вслед им взвод конных голштинцев, затем на паре гнедых, в открытом лакированном экипаже, Петр с Елизаветой Воронцовой, следом за ними еще две тройки с девицами и хохочущими офицерами, сзади опять взвод голштинских драгун на чистокровных скакунах. Драгуны в светло-голубых с белыми отворотами мундирах и в больших с крагами перчатках формы Карла XII. По обеим сторонам всполошившейся улицы бежал простой народ, громко крича кто «ура», кто «дурак»; в воротах, на перекрестках, овеваемые облаками пыли, тоже толпились праздные зеваки. Вдруг веселый шум толпы покрыли пронзительные озорные голоса:

— Эй, Лизавета! Не на свое место уселась!

— Ура, Катерине Алексеевне!.. Ура!!!

— Глянь, братцы!.. Новая государыня... Царская присуха...

— Га-а-а!!! А подать сюда!.. — вопила конная полиция, надвигаясь на толпу. — Где крикуны, где они?.. Га-а-а... — улыбаясь во все лицо, не страшно грозили полицейские нагайками.

— Ура-а!!! Ура!.. Дура-ак!..

Но все промчалось, прогремело, все заволоклось плотной тучей пыли. Только собачий лай стоял да кибитка протарахтела сзади. На кибитке подпрыгивает сундук, в нем что-то брякает, как сухие кости.

Возница, надвинув шляпу на глаза, постегивает лошаденок и свистит.

— А это наш Наумыч, — продирая осовелые глаза, мычит пьяный Митрич. — Глиняные трубки за царем везет. Для раскура, значит. А царь поехал на веселую пирушку к дяде за город...

— К принцу Жорже?

— Пошто к Жорже... К Петру Голштейн-Бекскому... У царя дядьев-крохоборов не обери-бери...

Хватаясь за стены, Митрич едва дополз до дивана, повалился и заснул. Хозяин сел к столу, спросил огородника:

— На много ль тысяч сделку с двором ладишь повершить?

— Да тысяч десятка на полтора, а то и больше. Ведь я первый раз здеся. У меня на огородах капуста, лук, огурцы, морковь. Да вот второй год к кофеям цикорий развожу, уродился добрый. А огороды у меня огромадные...

— Доведется тебе, землячок, тысчонку на смазь в дворцовой конторе выбросить, — как говорится, барашка в бумажке.

— Ой... А где мне взять?..

— А ты думал как? Ты еще, брат, вижу, не напитерился, голенький. Я дам, ежели нет. — Хозяин принес в мешочке золото, положил на стол гербовый вексельный лист. — Вот тебе тыща, пересчитай. А теперича давай вексель на тыщу двести. А ты думал как? Нет, я вижу, ты вовсе даже не напитерился, плохой из тебя купец будет, плохой... И еще вот чего, друг: празднички мы с тобой погуляем, условие с дворцовой конторой заключишь, да гони-ка ты опять в свой Ростов, сколачивай-ка всех огородников тамошних в один кулак, вроде как артель за круговой порукой. Я тебе помощь окажу большое дело заварить, чаю — вы меня опосля отблагодарите.

— Какое ж дело-то, Нил Иваныч?

— А вот какое дело: на всю армию и флот соленые огурцы да рубленую капусту заготовлять, да грибы соленые, да яблоки моченые — дело прямо стотысячное. На всю армию и флот! Чуешь? А то дворянчишки

из своих имений доставляют... Надо их нашему брату всех взять под ноготь: купцам торговать, дворянам служить да войну вести... Чуешь, где ночуешь? Ха!.. Я четверых дворянчиков, — мясом было вздумали торговать, нас, мясников природных, хотели сковырнуть, а на-ка выкуси, — я их всех в трубу пустил, сам едва в долговую яму не попал, да Никола-угодник спас, а их всех без порток оставил!

Хозяин захохотал; глядя на него, несмело засмеялся и гость.

— Ну, милай, — расчувствовался хозяин и обнял гостя. — Я мужик, ты из голытьбы посадской, а вот теперя кто мы с тобой? Купцы мы!

— Так, так, Нил Иваныч, купцы.

— Я чаю, многие из мужиков ныне в купечество пойдут. А не пойдут, дураки будут, баре задавят их капиталищем своим, — хоть хозяева они никудышные, зато капиталов много. Вот в чем суть. А мужик али, допустим, какой посадский головастый человек, он с умом, он с опытом и работать умеет. Вот ужо я тебя с моим закадычным другом Барышниковым сведу... Вот хват!.. Ну и хват!.. — И хозяин пересказал гостю мошеннический случай с селедками и золотом.

— Да неужто?!

— Уж поверь!.. Сам-то он не говорит, а слушок-то катится. Ныне две лавки имеет, Барышников-то, да трактир. Ужо сходим. Секлетинья! Полпива жбан, да пущай хозяйка выйдет сюда.

На диване блаженно похрапывал упившийся Митрич.

8

Государя встретил у подъезда шестидесятипятилетний фельдмаршал принц Петр Голштейн-Бекский со своими адъютантами-голштинцами. До прибытия царя в зале стояло у всех угнетающе чопорное настроение: принц Петр с семейством помешались на этикете и придворных приличиях. Но появившийся в зале узкоплечий царь с детским лицом и задорным

блеском в выпуклых глазах сразу сбил и спесь и этикеты.

— Здравствуйте, господа! — крикливо поздоровался он, вбегая в залу. Все изогнулись в низком поклоне. Дамы стали приседать. Кавалеры вместе с Гудовичем и трое толстобрюхих — старый князь Никита Трубецкой, голштинцы: генерал Шильд и полковник фон Берг — окаменело стояли навытяжку. — Фэ! Духами воняет, как в аптеке. Теперь время военное, господа. Медам, прошу садиться. Гудович, трубку!..

И несколько десятков голландских глиняных трубок, привезенных императором, быстро задымили... Даже те, кто сроду не курил, неумело набив трубки кнастером и другими табаками, в угоду царю тоже зачадили, перхая и покашливая. В зале стало, как в харчевне. Голштинские мужланы то и дело поплевывали сквозь зубы на ковры, им стал подражать и царь. Густые клубы дыма заволокли пространство. Дамы отмахивались веерами, утыкали носы в раздушенные платочки. А царь, как журавль, расхаживал по комнате, больше всех дымил, улыбался, похохатывал:

— Прекрасно, прекрасно. Воин обязан курить. Все должны курить, включая женщин... Да, да, медам! Я опубликую указ... С некурящих мужчин — штраф, с хорошеньких женщин — фанты... — он шутил то с тем, то с другим, старца Никиту Трубецкого похлопал ладонью по тугому животу: — Плохо, князь, на экзерцициях стараешься, жиру много... Как на войну с Данией пойдешь? Медам, позвольте отрекомендовать! — возгласил царь, подталкивая чрез табачный туман только что вошедших девиц в крикливых нарядах. — Вот плясунья Полина, исполнит зондертанц, вот беленькая попрыгунья Каролиночка, по канату, как по плац-параду, ходит... Лутче князь Трубецкого... Вот Мэри, вот Лизетт...

Развязные девчонки, подпрыгивая и посмеиваясь, приседали, вздергивали обнаженными плечиками. Дамы, брезгливо морщась, осматривали их в лорнеты, но сквозь дым было плохо видно.

— Откройте окна! Ради бога! Этак задохнуться можно, — взывали дамы.

Окна распахнули. В сад повалил дым, как из горящего здания. А трубки попыхивали и попыхивали, особенно старались бравые голштинцы — их человек двадцать — и сам Петр.

В этой бесшабашной обстановке чванливый хозяин чувствовал себя подавленно. Хотя он и привык к беспечным фривольностям царственного своего племянника, но... помилуйте... на что это похоже?.. В его вельможные палаты затесались какие-то крашеные, девки, какие-то... какие-то... О, позор! Впалые щеки его покрыл нервный румянец, губы дрожали. Он растерянно взглянул в набеленное лицо добрейшей своей, расфуфыренной в пух и прах старой принцессы — полуфальшивые бриллиантовые серьги мастера Позье тряслись в ее оттопыренных ушах, она, лицемерно и болезненно улыбаясь немилым гостям и императору, тоже мучительно страдала. Принц незаметно перевел ревизующий взор в сторону иностранных дипломатов. Министры — английский Кейт и прусский Гольц — неотрывными взглядами следили за пустоплетом-царьком, изредка перебрасываясь между собою сухими короткими фразами и двусмысленно подмигивая один другому.

Принц все более и более омрачался.

По блестящему паркету, по турецким коврам неслышно подскользил к нему обер-лакей в разноцветной, как павлин, одежде.

— Ваша светлость, стол готов.

Принц приблизился к царьку.

— Государь, рад просить ваше величество и всех любезных гостей отужинать, — громко проговорил он с кислой улыбкой.

Царь, ничего не ответив, швырнул трубку в хрустальную с бронзой вазу.

Величаво подшагав, гремя шпорами, к Елизавете Романовне, принц с изысканной простотой предложил ей руку и вопросительно посмотрел на императора. Тот было направился к старой принцессе, чтоб в первой паре открыть шествие в столовую, но вдруг передумал, торопливо забежал вперед, повернулся лицом к строившимся парам, трижды ударил в ладоши:

— Медам, мсье! Я церемоний не терплю. Стол брать штурмом! Места взахват!.. Кто где, кто где... Бегом, ма-рш!! — и, подпрыгивая на негнувшихся ногах, побежал через комнаты в столовую, за ним стадом вся толпа.

Толстобрюхий князь Никита Трубецкой, рискуя мгновенно кончить жизнь апоплексическим ударом, страшно пыхтя и сразу вспотев, прибежал к столу вслед за царем, вторым.

— Здесь, ваше величество! — радостно отрапортовал он задыхаясь.

— Молодец, князь... Садись рядом!

Стол взят штурмом. Комедиантки, итальянские певицы и танцоры с наскока усаживались возле довольного царя. Грузная Елизавета Романовна, раскачивая наливными плечами, прибежала последней, и ей не было места.

— Гудович, встань! — скомандовал царь. — Романовна, садись. Гудович, стой сзади нее...

— Срам, срам, — шептались дамы Трубецкая, Разумовская, Строганова, Брюс и другие, — с кем это он нас посадил, в какой компании?.. Комедиантки и какие-то цирюльники... Фи...

— Медам! — услыхал чутким ухом Петр. — Среди женщин нет чинов... Все равны, все равны.

Взглянув на прусского посланника Гольца, император встал, и все вскочили.

— Прошу поднять бокал за мой камрад великого Фридриха. Ура-а! Репнин, я назначаю тебя министром-адъютантом его величества короля Фридриха! Волков, издать о сем указ!

Князь Репнин и Волков поклонились.

Началось пьянство и обжорство. Скуповатый хозяин принц Петр с тоской посматривал на шумную ватагу прожорливых комедиантов: голштинцы, девчонки и танцоры поглощали снедь и пития с аппетитом голодной саранчи.

Веселый ужин, весь в смехе, болтовне и выкриках, тянулся довольно долго. Почти все гости, кроме фельдмаршала Миниха, кроме хитрого, все подмечающего Гольца и некоторых чопорных дам, были довольно

пьяны; даже у старца Никиты Трубецкого по-хмельному отвисла нижняя губа. Стоявший за государем острослов и шутник Строганов усердно подливал в бокалы царю и князю Трубецкому.

— Пей, дедушка, пей, — гримасничая и подмаргивая правым глазом, понуждал гуляка-царь своего несчастного соседа.

Шум и гам — как в базарной харчевне, где гуляют дорвавшиеся до водки ямщики. Царь своим пронзительным криком покрывал все голоса, он нес несусветную ахинею, мысли его путались, были сумбурны. Впрочем, его почти никто не слушал.

— О мой Фридрих! — кричал он, путая немецкую и русскую речь. — Мы скоро с тобой встретимся. Дания будет бита! Я еще юношей с отрядом карабинеров разогнал становище богемских разбойников... Ах, вы не верите?

— Не богемских разбойников, ваше величество, а табор мирных цыган, — возразил ему из хмельного тумана резкий чей-то голос, похожий на голос австрийского посла.

— Молчать, молчать! — И царь, сердито гримасничая, стал совать девчонкам в нос перстень с портретом Фридриха. — Целуйте, поклоняйтесь!.. Встать! Впрочем... вольно. Романовна!.. В Ораниенбаум. Актеры, медемуазель! В Ораниенбаум!.. Вы услышите там в моей персоне неплохого скрипача. Полина, Лизочка! Ха-ха-ха... Царь ваш ох!-мелел, ох!-мелел...

— На воздух! В сад... Здесь так накурено, такая духота!

— Ваше величество, ве-великий государь, — покачиваясь и посовываясь носом, склонился перед царем изрядно подвыпивший кутила Роман Воронцов. — Соизвольте проследовать в сад... Там чи-чистый воздух... и... и... белая... (Воронцов громко икнул) белая ночь... ваше величество. — Он, как теленок, облизывал толстые губы, и выпуклые глаза его были глупые, телячьи.

Куранты, вызванивая наивный серебряный мотивчик, пробили двенадцать. Объевшиеся гости, пыхтя и шатаясь, повалили через веранду в сад. Впереди, повиснув на плече Строганова, потешно семенил пьяный император.

4

В тихом воздухе застыла белая невская ночь. Небо на западе было еще нежно-палевым, с перламутровым отсветом. Отраженные лучи давно закатившегося солнца еще блуждали в онемевшем пространстве. Весь небольшой загородный сад, огражденный чугунной решеткой, наполненный дремавшими деревьями хвойных и лиственных пород, с затейливыми коврами цветников, с немудрыми гипсовыми статуями, с пересохшим фонтаном, с прямолинейно расчерченными желтыми дорожками, напоминал собою живую акварель изысканного вкуса. Чем-то хрупким, к чему нельзя грубо прикоснуться, а можно лишь благоговейно созерцать, казался этот милый уголок, пронизанный задумчивым светом прозрачных северных небес. Блаженный покой и тишина.

И, разрывая эту тишину, попирая топотом веселых ног, крикливыми возгласами, пьяным смехом, визгом, ватага царедворцев сразу вдребезги разбила, как драгоценный сосуд тончайшего стекла, эту невскую чудодейственную ночь и, разбив, стала грубо топтать ее осколки. Очумелые гости, вытаращив посоловевшие глаза, шатались по широкой дорожке, охваченной бордюром подстриженных кустарников. Винные пары на свежем воздухе пуще ударили в мозг и в ноги. Пьяные люди вскоре перестали соображать, где они, с кем они, и, поощряемые самим императором, который гундосо покрикивал: «Без церемоний, господа, без церемоний!» — распоясались вовсю.

Трое Нарышкиных (придворный шут Лев Нарышкин успел нарядиться кормилицей) ударились в пляс, падая и сминая цветочные клумбы. Приплясывали и барыни, жеманно придерживая концами пальцев свои платья; однако хмель бросал их в стороны; они с хохотом валились в объятия молодого генерала Мельгунова или подвернувшихся голштинцев; Гудович залез на березу и каркал вороном. Гости гонялись друг за другом и за визжавшими актерками (царь по-немецки поощрял: «Хватай девок, хватай девок!»), бесцеремонно поддавая один другому коле-

ном киселя, играли в чехарду, издевались над толстобрюхим князем Никитой Трубецким: два голштинских молокососа Ланг и Грин с лошадиным ржаньем свалили князя на дорожку и под хохот нахалов стали загибать ему салазки.

Охмелевший старик в возне чуть не умер: весь испачканный песком, он крикнул голштинцам: «Мерзавцы, прочь!» Едва дополз до скамейки и, обхватив голову, заплакал: «Оскорбляют. Такое унижение... Я князь! Я древнерусский князь, мерзавцы».Седая голова без парика тряслась, бежали ручьем слезы; утирался обшлагом кафтана и с ненавистью бросал взоры в сторону царя.

Гримасничая и подмаргивая правым глазом, предоставленный самому себе, царь, подсаженный шутом Нарышкиным, кой-как вскарабкался на кирпичный пьедестал с солнечными часами и, став в позу триумфатора, резким голосом кричал:

— Остригу бороды всем попам! Иконы вон!.. Мы с братом Фридрихом завоюем весь мир!.. Воля Фридриха — воля божья... Молчать, молчать! Где Гудович?

— Здесь, ваше величество! Карр... Крр...

— Гудович! Скачи в Петропавловскую крепость... Салют из всех пушек... Преклоняйтесь, все преклоняйтесь!.. Канальи, мизерабли, разбойники, разбойники, русские подлецы!.. — Он выхватил длинную шпагу, покачнулся и упал.

Отделившись от группы трезвых и сказав: «Пардон, пардон», — к царю пошагали долговязый принц Петр и фельдмаршал Миних, чтоб как-нибудь затушевать это постыдное зрелище. Напересек им, чуть не опрокинув Миниха, промчался за девчонками пьяный голштинский ротмистр Витих, он улюлюкал и лаял по-собачьи. В тон ему Гудович каркал с березы вороном. Два голштинца — фон Берг и майор Стефани, обхватив одно и то же дерево и столкнувшись лбами, мерзко очищали желудки. Гофмаршал Измайлов на веранде прямо из горлышка тянул вино.

Жалкий царь, впавший в охмеление и всеми забытый, сидел на земле, вытянув негнувшиеся ноги; он припал спиной к пьедесталу, опер ладони о землю, свесив голову на грудь и что-то бормотал. Шпага ва-

лялась возле. На царя никто не обращал внимания, даже Елизавета Воронцова. Оливкового цвета широкое лицо ее раскраснелось, оспенные рубцы выступили ярче, она откалывала трепака с тайным секретарем красавцем Волковым. Упившийся Мельгунов лежал пластом в кустах и охал. Разгульный Роман Воронцов, сбросив кафтан, затеял борьбу с Нарышкиным, он свалил Нарышкина, и оба они, взлягивая ногами и пыхтя, вперемерт катались, орали, превращая цветущую куртину в грязь. Шум, крики, визги, беготня. В беседке бесшабашно наяривала музыка.

— О милый мой дядя, спаси меня, спаси меня, — простонал император навстречу принцу. Он силился приподняться, побледневшее лицо исказилось скорбной гримасой, в его неустойчивой душе — трагический разлад и чувство страха. — Да, да, меня убьют здесь, в этой стране... Проклятая, ненавистная Россия. Дядя, спаси меня, спаси, спаси...

— Что за вздор! Любезный мой мальчик! Ты вернешься победителем из похода в Данию. Царствование твое будет из славных славное...

Вместе с Минихом и подбежавшим Александром Шуваловым они бережно поставили царя на ноги, кой-как отряхнули его запачканный мундир, поправили сбившийся парик, вложили шпагу в ножны, повели. Из голенищ царских ботфорт торчали анютины глазки с резедой. Предупрежденная, беззаботно подковыляла толстуха Елизавета Воронцова. Досадливым голосом спросила:

— Готов, Пьер?

— Как видишь, Романовна... Готофф, готофф, Гудович, трубку!

— Карету его величества! — скомандовал принц Петр.

— Карету его величества! — подхватил команду начальник полиции Корф.

— Карету его величества!!! — прокричали два лакея и бросились к конюшням.

На террасе, в каменной позе, с окаменевшим лицом стоял прусский посланник барон Гольц. Губы его кривились, глаза презрительно щурились.

— И это русский император! — с холодной надменностью бросил он в воздух.

А сидевший рядом с графиней Брюс английский министр Кейт сказал ей:

— Послушайте, графиня, да ведь ваш император совсем сумасшедший. Не будучи безумным, нельзя так поступать, как он поступает... Всех этих голштинских солдафонов следовало бы повесить на дереве. О, позор!..

— Бедная Екатерина, — вздохнув, тихо сказала Брюс и потупилась.

— Смею просить вас, графиня, передать ее величеству мое отменное, наилучшее почтение.

Звуки бубенцов и крики «ура» возвестили об отъезде государя. Вся вельможная знать, пошатываясь, поддерживаемая лакеями, помаленьку разбрелась к экипажам. Принц Петр, высокий, испитой и тощий, вместе с лакеями и взводом гренадер, лично хватал за шиворот пьяных голштинских офицеров, кричал солдатам:

— Таскайте их вон, валяй на рюска телег, вози прямо гауптвахт! Шволочь...

И опять кричал:

— Девка, девка, актерка и вся шволочь — вон, вон! Взашей!

Сад опустел. В гостиной, прижавшись к плачущей принцессе, лила слезы ее юная дочь. Обе они оплакивали саксонскую и севрскую побитую посуду, истоптанный, как табуном коней, сад.

— О, варвары... о, варвары...

ГЛАВА XII

Умная «дура». Гвардия гуляет

1

Трехдневные торжества начались 9 июня благодарственным молебствием во всех церквах. Здания украшены прусскими и российскими флагами. На Дворцовой площади государь произвел смотр

гвардейским и полевым полкам, поздравил войска с русско-прусским миром. Прогремели салюты из пушек и ружей. Войска и сбежавшиеся народные массы царское поздравление приняли холодно. Народ, как обычно, «ура» не кричал, шапок вверх не бросал, стоял молча.

Никита Трубецкой в церкви и на параде отсутствовал: лежал дома, страдал от вчерашней оскорбительной пирушки.

Петр тоже уныл, не оживлен, чувствовал на душе горечь. Предстоящий отъезд на войну, свидание с Фридрихом и перспектива триумфального возвращения с поля брани сегодня не радовали его. Уверенность в грядущих своих успехах в нем заколебалась. Пытливо, с внутренним трепетом он всматривался из-под полей большой, надвинутой на глаза треугольной шляпы в суровые лица проходивших мимо него гвардейских полков. Сердце его замирало. «Да, да, они — янычары... Настоящие янычары. К черту гвардию, распустить гвардию, вывесть из столицы вон, — думал он, — и, может быть, правы Фридрих и Гольц, указывая мне, что я окружен врагами...»

Он возвращался домой в золоченой карете один, твердил вслух:

— Этот день будет для меня несчастьем. Проклятая страна... Боже, убереги меня от врагов, не отнимай из моей жизни мою Романовну. Боже, уничтожь, унизь Екатерину.

Прибыв во дворец, он с какой-то фатальной нежностью бросился обнимать Елизавету Воронцову, он весь дрожал, озирался, гримасничал, нервно шептал:

— Романовна, Романовна... Друг мой... Спаси меня, побереги.

Императрица Екатерина сегодня чувствовала себя тоже не в своей тарелке: болела голова, шалили нервы, она была внутренне возбуждена, но старалась казаться спокойной.

— Итак, ваше величество, — начала тихо, по-французски, Екатерина Романовна Дашкова, — уже

многие приготовления благодаря моему неусыпному старанию и помощи друзей моих приходят к концу.

— Какие приготовления, к чему приготовления? — с лицемерным неведением приподняла Екатерина черные брови.

— Ваше величество! — обиженно воскликнула Дашкова. — Но ведь события близятся, все готово...

— Вы долго, мой друг, будете одержимы пророчеством? — Екатерина скрашивала свои колкие слова обольстительной улыбкой, нюхая букетик резеды. В закулисных политических делах Екатерина была осведомлена в десять раз больше Дашковой. Но молоденькая Дашкова, имея в руках кой-какие нити борьбы придворных партий, наивно воображала, что именно она, а не кто-либо другой, есть главная пружина «заговора» в пользу Екатерины, перед которой она преклонялась горячо, искренне и страстно.

— Вы столь неопытны, что роль дельфийской пифии вам не к лицу, мой юный друг, — продолжала государыня. — И напрасно вы берете на себя роль сибиллы.

Тщеславная, болезненно самолюбивая Дашкова была потрясена пренебрежительным отношением к ней Екатерины. Широко открытые глаза увлажнились, она всплеснула руками и подалась всем корпусом к Екатерине.

— О ваше величество! — воскликнула она трагическим шепотом. — Вы все еще продолжаете мне не доверять... Но знайте, что...

— Именем бога умоляю вас, княгиня, — перебила ее Екатерина, — не подвергайте себя опасности... Если вы из-за меня потерпите несчастье, я вечно буду жалеть...

— Ваше величество! Как бы ни была велика опасность, она вся упадет только на меня. Если б моя беззаветная любовь к вам привела меня к эшафоту, верьте, вы не будете его жертвой...

Екатерине ничего не оставалось, как притянуть к себе Дашкову, поцеловать ее в лоб и сказать ей:

— Ну что ж вы, друг мой, знаете? Я рада выслушать вас... Только ради бога — тише... Каждая дверь, каждая маленькая щелочка — это большое ухо.

Боясь, как бы ее не оборвала Екатерина, подавив в себе вздох обиды, княгиня Дашкова заговорила взволнованно и быстро. Она дважды имела свидание со своим дядей Никитой Паниным, она сообщила ему, что составлен комплот с целью свергнуть Петра и возвести на престол Екатерину. Панин поддакивал, соглашался, говорил, что другого средства спасти Россию нет, но высказывал опасения возможных междоусобий. (Красиво очерченные глаза Екатерины едва заметно ухмыльнулись: она не могла себе представить более разительного контраста, чем молоденькая пылкая Дашкова и медлительный, чрезвычайно осторожный Панин.) Затем Дашкова, все более возбуждаясь, перечислила и заговорщиков: Репнин, Ласунский, Пассек, двое Рославлевых, Бредихин, Орловы и другие. (При упоминании об Орловых сердце Екатерины забилось чаще.) Ну, вот, например, она разговаривала на ту же тему с некоторыми молодыми офицерами, сослуживцами ее мужа, — офицеры совершенно соглашались с ней, называли своих товарищей, тоже согласных действовать, как только император уедет к заграничной армии. Ей хотелось бы привлечь к заговору и гетмана Разумовского, она думает переговорить об этом с Мельгуновым...

— Удивительные новости вы, мой друг, сообщили мне, — кусая кривившиеся в усмешку губы, прервала ее Екатерина. — Я не ожидала, что вы такая... такая отважная.

— Ваше величество! Будьте готовы. Время близится. Момент может наступить внезапно. А мною все сделано, все нити заговора в моих руках...

— Но мне сдается, что у вас нити не от заговора, а от разговоров. А сие, мой друг, не одно и то же. Итак, Кэтти, будьте сугубо осторожны, умоляю вас.

Слушая молодичную болтовню подруги, Екатерина внутренне улыбалась: прежде чем княгиня Дашкова услыхала первое слово о возможности переворота, Екатерина уже в продолжение шести месяцев, с мо-

мента воцарения Петра, лично сносилась со всеми главными лицами ожидаемых дворцовых событий, но она вела опасную игру необычайно скрытно, не оставляя ни малейших подозрений не только в русских царедворцах партии Петра, но даже в проницательных хитрых всезнайках — иностранных послах.

Не в силах разгадать тайных дум Екатерины, княгиня Дашкова чувствовала себя подавленно, как маленькая девочка перед строгой тетей.

Прогремел полдневный выстрел пушки. Вошла горничная Катерина Ивановна.

— Ваше величество, мсье Мишель ожидает вас к туалету...

2

Через два часа Екатерина и княгиня Дашкова присутствовали на парадном обеде. В большой дворцовой зале сервированы столы на четыреста персон. За «высочайшим» столом, в средине, на своем обычном месте — Екатерина, на конце стола — Петр, рядом с ним барон Гольц, дальше — вельможи первого ранга с женами, иностранные послы, Елизавета Воронцова и родственники царя — голштинские принцы Георг и Петр. Царь трезв, но не в духе. Он бросал уничтожающие взгляды на Екатерину. Она старалась казаться спокойной, расточала соседям очаровательные улыбки, но душа ее вся во мгле.

Царь предложил три тоста: за императорскую фамилию, прусского короля и мир с Пруссией. Дежурные офицеры закричали по коридорам, по лестницам, до самой улицы: «Салют, салют!» Уличный часовой, задрав голову, крикнул махальщику на крыше: «Салют!» — махальщик взмахнул крест-накрест двумя флагами, с крепости загремели пушки.

Все поднялись, поднялся и Петр. Сидела лишь Екатерина, она отхлебнула шампанского и поставила бокал. Все прокричали «ура», выпили, сели. Царь сразу вскипел, в бешенстве стал гримасничать, кривить губы, приказал стоявшему сзади его кресла дежурному генерал-адъютанту Гудовичу:

— Андрей Васильич, сейчас же спроси ее величество, почему она не потрудилась подняться, когда пили здоровье императорской фамилии?

Гремели пушки, дзинькали стекла в окнах и хрусталь на столе, играл на хорах оркестр. Выслушав Гудовича, Екатерина опустила глаза и с твердостью сказала:

— Передайте его величеству, что, по моим соображениям, императорская фамилия состоит из его величества, меня и нашего сына Павла, посему — требование императора, чтобы я вставала, кажется мне бессмысленным.

За столом гудел шум, разговоры не прерывались, но все сразу подметили что-то неладное и навострили слух. Гудович, подойдя к Петру, доложил ответ государыни, елико возможно смягчая стиль ее выражений. Петр завертел головой во все стороны, пальцы левой руки трепетали, правой судорожно комкал салфетку.

— Передай ей, что она дура. Она должна знать, что к императорской фамилии принадлежат и мои дяди, принцы голштинские... Дура она... Ступай!

Гудович, пожав плечами и изменившись в лице, нога за ногу направился к государыне. А царь, поймав горящий взгляд Екатерины, вдруг чрез весь стол крикнул ей:

— Дура!

Разговоры и звяк серебряных ножей и вилок на мгновение пресеклись. Грубое слово упало, как камень, как грязный плевок. Всем стало крайне неловко. Барон Гольц хмуро поморщился. Все подняли головы, безмолвно вращая глазами от Петра к царице. На мгновенье — немая картина. Но воспитанность высшего общества сразу сбила неловкость молчания — снова шум, разговоры, манерность и шуточки, гости ловко прикинулись глухими ко всякого рода «высочайшим» вульгарностям.

Однако все ждали скандала, все в страхе готовились к дальнейшему гневу царя, как бы царь не обрушил гнев на их головы. Всяко бывает...

Царь резко схватил граненый графин бургундского, налил в фужер и с жадностью выпил. Жидковолосые брови его скакали вверх-вниз, глаза то презрительно щурились, то вдруг выкатывались в приступе исступления, в горле переливались хрипы нервного удушья.

— Александр Сергеевич, — обратилась царица к стоявшему за ее креслом графу Строганову; глаза ее покрыты слезами, уши пылают, на щеках красные пятна. — Потешьте меня чем-нибудь веселеньким. У вас такой изобретательный ум... Я вас прошу.

Массивный Строганов неуклюже согнулся, деланно осклабился.

— Был такой, ваше величество, казус, занесенный в скрижали амурных похождений французских пейзан. Однажды, лунной ночью, молодая прекрасная пастушка наткнулась в поле на спящего полуодетого юношу...

Екатерина чрез силу смеялась, но слезы скандально крупнели, падали в блюдо вкусных воздушностей. Остроумный шутник вел анекдот на французском наречии. Откровенные непристойности он облекал в столь изящную форму, что они, теряя цинизм, звучали пикантно и вызывали дружный смех соседей Екатерины.

Слегка опьяневший Петр, справившись с приступом гнева, стал болтать своему соседу Гольцу всякую несуразицу, восхвалял себя и Фридриха, говорил о собаках, о своей знаменитой скрипке работы итальянца Гваданини, о том, что Иван Антонович сошел с ума и живет за крепким запором, что он, император Петр III, ничуть не боится один гулять пешком даже ночью по улицам города, что он досконально изучил прусскую военную тактику и берется в любой момент разбить французского полководца де Сен-Жермена. Бросая эти бессвязные фразы, сам все косился на говорливого Строганова, бормотал себе под нос: «Молчать, молчать, обезьяна!» Пил вино, чокался, пил, затем стал хохотать по-солдатски, раскатисто. Гольц все больше и больше мрачнел,

морщился, с горечью думал: «Шут не может долго оставаться на троне».

Обед закончился. Хор солдат орал под окнами походные с присвистом песни. Царь, удаляясь в покои, приказал князю Барятинскому арестовать Екатерину, а Строганова немедленно выслать в его загородный дом. Барятинский растерялся. Он бросился к принцу Георгу, умоляя его как-нибудь исправить столь невероятный приказ об аресте царицы.

Рыжий и толстый принц Георг, не менее пьяный, чем император, шумно вломился в царские покои и, не обратив внимания на полураздетую Елизавету Воронцову, шмыгнувшую за китайскую ширму, сразу накинулся на племянника:

— Прошу тебя, милый Пьер, тотчас же отменить постыдный приказ об аресте жены.

— Ни-ког-да...

— Этой глупостью ты губишь себя и... нас всех...

— Как ты осмеливаешься мне это говорить? Мне, императору? Молчать! Руки по швам!..

— Любезный Пьер... Брось глупости. Я говорю с тобой, как отец. Ты только подумай, если еще на это способен, что ты наделал? Что скажут про тебя иностранные посланники?

— Пусть только пикнут, я в пять минут вышвырну их за пределы России...

— Так может рассуждать только помешанный или от природы слабоумный... А Гольц? О-о, что он напишет великому Фридриху?

— Молчать! Все письма Гольца перлюстрируются моей канцелярией, Александром Шуваловым... Гольц — мой друг...

— Ты хочешь, чтобы завтра же вспыхнул в столице бунт? Ты этого хочешь? Ты, верно, забыл про шлиссельбургского узника? Так я тебе напоминаю о нем. И я не уйду отсюда, пока ты не отменишь свой дурацкий приказ.

— Старый баран! — скакнул Петр к дяде и выхватил свою огромную шпагу. — Сатисфакция, сатисфакция!

Принц отпрянул к печке, закричал:

— Спасите от этого пьяницы!.. Эй, слуги! — и тоже обнажил шпагу.

Их шпаги со звяком скрестились.

— Я снесу с плеч твою глупую башку! — кипел принц, пуча глаза.

— А я разрублю тебя пополам, как полено! — с хрипом выплевывал царь.

Но обе шпаги были совершенно тупые, ими можно лишь действовать как палкой. Елизавета Воронцова, накинув халат, визжала: «Пьер, Пьер, оставь!.. Ваша светлость!» — и, схватив Петра, как за хвост, за фалды мундира, тянула его прочь; царь, пыхтя, отлягивался. Меж драчунами упал на колени рыжебородый плешивый верзила Митрич и завыл заполошным, как старая баба, голосом:

— Не допущу, вот те Христос, не допущу! Да лучше я сам себя зарежу... Вот те Христос, зарежу!.. Ваше величество!.. Ваша светлость! Миленькие... Поцелуйтесь...

Бабий вой хмельного великана столь дик, а бородатое, искаженное ужасом лицо его столь потешно, что оба задиры, любившие Митрича, вдруг захохотали и бросили тупые шпаги на пол. Неприятный шармюнцель закончился. Принц от сильного волнения хрипел, как мопс. Вспыльчивый царек сразу остыл.

— Романовна, дядя! — вышагивая вспотычку по комнате и гримасничая, воскликнул он. (Сияющий Митрич почтительно подал ему шпагу). — Как только минуют торжества, еду в Кронштадт инспектировать флот. Я его тоже веду в Данию... Слышишь, дядя? А посему... Митрич! Беги к Барятинскому, подтверди приказ о высылке этого фигляра Строганова, а что касаемо второго приказа — отменить. От-менить!..

— Слушаюсь, — заторопился Митрич, выпячиваясь задом из покоев.

За ним горделиво, но тоже вспотычку, молча направился к выходу и мрачнейший принц.

8

Вечером возле многих домов зажгли смрадные плошки, а в каждом окне — по две свечи. На улицах шум, на Царицыном лугу[1] — карусели, канатоходцы, петрушка.

В десять часов, сытно поужинав, мясник Хряпов с огородником Фроловым гуляли по городу, прислушиваясь, приглядываясь, чем дышат люди. Приятелей удивляло, что всюду, куда они совали носы, уже известно было про великий скандал на торжественном царском обеде: приказ об аресте и «дура» были у всех на языке, все осуждали царя, жалели Екатерину. Трезвые делились мыслями втихомолку, обиняками, а пьяные болтали по кабакам и переулкам в открытую, нередко нарываясь на полицейских. В иное время за такие слова всю жизнь маяться, а вот теперь гладко сходило с рук: полицейский слегка даст пьяному в загривок и отечески пальцем погрозит: «Мол, сии неподобные речи болтай, да оглядывайся». Кабаки и трактиры набиты серым народом, матросами, гвардейцами, «пехтурой», дворниками, захудалыми чиновниками.

Земляки перебрались через Неву яликом на Васильевский остров, подошли к знакомому трактиру «Зеленая дубрава». Дверь трактира заперта, впустили их не вдруг.

— Уж простите бога для, у нас се-вечер гости по выбору, — сказал малый в красной рубахе и побежал «доложиться» хозяину.

— Будь здоров, дружок Барышников! — весело приветствовал хозяина мясник Хряпов. — А мы к тебе. Вот приятеля привел. Пивцо-то аглицкое есть?

— А куда оно делось, — ответил из-за стойки быстроглазый хозяин: он высок, жилист, сухощек, рыжая бородка хохолком. — Для добрых гостей завсегда есть... Проходите вон в тот уголок.

---

[1] Впоследствии — Марсово поле, против Летнего сада.

— А селедочка-то есть? Поди из Пруссии-то изрядно ее вывез...— И мясник, захихикав, плутовато подмигнул хозяину, а огородника ткнул локтем в бок.

— Ты лясы-то не точи, Нил Иваныч,— тенористо прогнусил Барышников.— А то матерком пущу.

Мясник Хряпов захихикал пуще, отмахнулся рукой и, брюхо вперед, повел огородника в уголок к столу.

— Хи-хи-хи... Не любит про селедки-то, в драку лезет. Ох, хитрец, ох, хитрец.— Мясник снял тонкого сукна чуйку, расстегнул ворот рубахи и провел медным гребнем по напомаженным волосам и бородище.

Курносый, угреватый половой в белом фартуке притащил пива и посоленных ржаных сухариков. Трактир богатый, обширный, высокие стены оклеены цветистыми шпалерами, столики покрыты опрятными скатертями, много мух, босоногие мальчишки в красных рубахах отгоняют их от посетителей метелками из конского волоса.

За соседним столиком полный, пучеглазый помещик, покуривая трубку, ведет деловую беседу с сенатским чиновником и подьячим о продаже трех крепостных музыкантов и чернобровой девки: «Не девка, а богиня, любую барыню за пояс заткнет». Дальше за пятью сдвинутыми столами, шумно пьет «зелено вино» большая компания гвардейцев.

— А ну, ребята, за здоровье его величества Фридриха... Ура!..— вызывающе кричит пьяный сержант, подмигивая солдатам.

— Подь к черту!— с хохотом обрывают его гуляки.— За ее величество Екатерину Алексеевну... Ура!

— Чшш...— откуда-то слышится предостерегающее шипенье. И вслед за этим:

— Господа гвардейцы! У нас покедова Петр на троне... Петр Федорыч...

— Ха-ха-ха!..— без стеснения гогочут гвардейцы.— Ловко сказано: «покедова». Гвардейцы! Выпьем чару за «покедова» Петра Федорыча... Ур-ра! А там, что бог даст...

Гвардейцы пьют, подмигивают друг другу и гостям. Барышников из-за стойки ухмыляется. Помещик пучит пьяные глаза, попыхивает трубкой и тоже ухмыляется в усы.

— Знамение времени, знамение времени, — с притворным сокрушением вздыхает ненавидящий царя подьячий. И шепчет, озираясь: — Слухи зело мрачные по столице ходят... Прислушайтесь, как гвардия шумит... Не в авантаже император наш. А про арест да про «дуру» слыхали?.. Грехи!

— Грехи, братия, грехи, — подхватывает сухопарый старик монах с кружкой. — Пожертвуйте на разоренную обитель, рабы божии.

— Кто разорил-то? — выкрикивает издали сержант.

Гвардейцы хохочут.

— Игемон разорил, султан турецкий, — кланяется монах, подставляя кружку; лицо его строго, в умных глазах злые огоньки. — Землю от нас отобрали, мужиков отобрали... И довелось нам, Христа ради, по миру скитаться. Жертвуйте, рабы божии.

Огородник ткнул мясника в бок: «Слыхал?» А гвардейцы закричали:

— Не голштинский ли султан-то это был?

— Сами знаете кто, детушки. Чего меня, мниха старого, во грех вводите. Царь православный сие учинил. Вот кто, — зашептал старик, прикрывая ладошкой рот. — Бают, попов всех обрить приказал, бают, иконы приказал из церквей повынести... Ох, грехи, грехи тяжкие. Молитесь, братия, богу, стойте за веру православную... С нами бог...

— А чего ж государыня-то смотрит, Екатерина-то Алексеевна? — громко говорит, подымаясь, купеческой складки бородатый дядя, на румяных щеках улыбчивые ямочки. — Пошто матушка-царица окорот супругу своему не делает? Пошто на лютеранство веру нашу православную рушить дозволяет?

— Да здравствует государыня Екатерина! — орут гвардейские солдаты.

— Да здравствует Екатерина! — подхватывает весь трактир.

Барышников резко стучит ножом в медный поднос:

— Тихо, тихо, тихо!—Выскакивает из-за стойки, испуганно взывает: — Господа посетители!.. Нельзя шуметь... Хоша с полицией мы в мире и полиции здесь духу нет (все весело, с благодарностью смеются), одначе упреждаю, дорогие гости, чтобы душевредных опасных слов у меня ни-ни... Отец Паисий, ступай с богом, иди, иди, откуль пришел, — и вразвалку продвигается меж столами к мяснику.

Час поздний. Белая ночь затмилась. В трактире посерело. Мальчишки зажигают свечи. На улице гармошка, песни, визг.

— А-а, Барышников, садись, дружок! — восклицает мясник Хряпов и шепчет: — Вот брат, какой шум у тебя. Да и по другим кабакам не мене. Ну, не ко двору царь и не ко двору, как черная корова...

— Тш-ш-ш... — грозит Барышников. — Молчок, старичок, старушка денежку даст, — и хочет идти дальше.

— Слышь-ка, Барышников, — схватил его за руку мясник. — Врут ли, нет ли, быдто ты семь бочонков золота себе с войны привез?

— Брось, брось... Как тебе охота такие враки слушать, — и кричит по-злому: — Иди, иди, отец Паисий, не проедайся тут!

Паисий в дверь, а из двери, с улицы, звеня шпорами, быстро входят два великана в преображенских, времен Петра I, офицерских мундирах, лица скрыты черными масками, кружева приспущены до бритых подбородков, в прорезы сверкают веселые глаза. Враз все смолкло.

— Помогай бог гулять, жители! — громко произносит один из великанов.

По трактиру гул ответных приветствий и путаный шепот:

— Кто такие, кто такие?

— Целовальник! — басисто кричит второй великан. — На каждый стол по две кварты пива за наш счет.

Загремела посуда. Ввалился с улицы хор плясунов и песенников — гвардейцы и артиллеристы, все вполпьяна.

— Гвардия, песню! Целовальник! Двери на запор... Пляши, ребята! — командуют великаны, прихлопывая в ладоши, выбрякивая шпорами.

Два десятка только что вошедших красавцев богатырей, наскоро хватив по чарке и подбоченившись, дружно грянули отборными голосами залихватскую:

При долинушке калинушка стоит,
На калине соловей-птица сидит,
Горьку ягодку-калинушку клюет,
Он малиною закусывает.

Быстро раздвинули столы, и четверо гвардейцев бросились в дробный пляс. Тут все сорвалось и закрутилось: песня, топот, сопелки, дудки. По трактиру ветерки пошли, молодые голоса рвут песню с гиком, с присвистом, звенит в ушах, звякают стекла, взмигивают, стелются плашмя хвостатые огоньки свечей. Гости прихлынули вплотную к плясунам. Довольные лица улыбаются, хмельные глаза горят. Крики:

— Пуще! Пуще... А ну, гвардия, надбавь!..

— Веселись, гвардия! — все покрывает громовой голос великана. — В Данию не ходить! Ружья не отдавать! Государыню беречь! Государыня в опасности...

— Ур-ра!! — орет гвардия и гости. — А что государыня? Жива ли, здорова ли?

— Жива, здорова. — Великан швыряет на стол гвардейцам пригоршни серебряных рублей. — Лови, ребята! На завтрашнюю гулянку... А ну! — Он призывно взмахивает рукой в замшевой перчатке, и сотня гвардейских глоток прогремела:

— Ур-ра Екатерине Алексеевне!!! Защитим матушку!

— Ур-ра!!! Ура!..

Оба великана резко схлопали в ладоши:

— Гвардейцы, по казармам!

Солдаты послушно повалили вон. За ними — великаны. Один из них, Алексей Орлов, схватил Барышникова за плечо, встряхнул — рубаха лопнула:

— Полиции и подозрительных нет?

— Клянусь богом, вашскородие! — задыхаясь от боли, крикливо прогнусил Барышников. — Все гости

лично мне знакомые. Все до единого... Чужим впуску нет. А полиция взаперти сидит, вашскородие, водку хлещет.

— Помни, Барышников... Чуть чего, пополам перерублю, — не на шутку пригрозил Орлов.

Великаны вскочили на верховых коней и умчались. По улицам несло чадом от дымящихся плошек.

— Кто такие, кто такие? — шумели взбудораженные гости. — Эй, хозяин!.. Не Орловы ли? Один, кажись, Пассек, спинища — во...

— Бросьте, бросьте, — разминая плечо, затекшее от железной хватки великана, успокаивал гостей хозяин. — Какие, к свиньям, Орловы... Очумели, что ли, вы... Это замашкированные солдаты, два денщика. Я их знаю.

Не попадая зуб на зуб, хозяин пальцем поманил мальчишку:

— Степка, загляни в окно с улицы, какова полиция.

— Глядел, дяденька... Все пьяные, на полу лежат.

— Гаси огни. Эй, господа гости!.. Просим оставить заведение.

Третий час ночи. По небосводу течет новая заря. На улицах, средь дороги, под воротами валяются пьяные. В будках дремлют караульные. Рыбачьи челны и рябики бороздят озаренные невские воды. Белая ночь гаснет, зачинается предутрие. В домах тишина. Город спит.

Но Екатерина бодрствует.

4

Тотчас после бранного, прогремевшего на всю Европу слова «дура» оскорбленная Екатерина заперлась в своем кабинете. Сдерживая громкие стоны, она выкрикивала: «Боже мой, какая я несчастная... Гришенька, Гриша, где ты?..» — заламывала руки, валилась на диван, рыдала. Но взвинченные чувства вскоре подчинились разуму. Слово «дура» только обижало Екатерину, а вот гнусный приказ царя пугал и подавлял ее. Если сегодня отменен приказ об аресте

Екатерины, то завтра он может быть исполнен. Екатерина теперь ясно видела, что под ее ногами разверзается земля, что ее личная жизнь и судьба империи в опасности, что время действия наступило.

«Будь мудра, будь мужественна и осторожна», — внушает она самой себе. Мозг ее горит. Воображение рисует картины наплывающих событий. Екатерина мысленно сочиняет манифесты, указы, воззвания. К великой досаде, она плохо еще владеет русским языком. Она поручит сие дело Гришеньке, но свет Гришенька тоже не горазд до бумаг высокого штиля. Она укажет начертать манифест Волкову совместно с Никитой Паниным: «Божьею милостью мы, императрица и самодержица всероссийская Екатерина Вторая», и прочая и прочая.

Но как поймать презренного Петра и куда запрятать? Ей припоминается широкоплечий и хмурый, всей душой преданный ей Пассек. Не так давно он упал к ее ногам и воскликнул: «Ваше величество, супруг ваш с ненавистной вам персоной женского рода чинит пешком променад к домику Петра Великого. Мать государыня, повели, и я среди бела дня при всей гвардии насмерть поражу врага твоего!» Екатерина ответила ему: «Господин капитан гвардии! Не уподобляйте себя римскому заговорщику. И не тщитесь забрызгать меня кровью. Сей несчастный Дон-Кихот унизит себя сам своими несуразными делами и, унизив, упадет».

А с кем же предстоит Екатерине иметь дело? Сенат, духовенство, высшее дворянство, гвардия, войско, Гришенька. Но Никита Панин мнит заменить Петра малолетним наследником Павлом, а ее, Екатерину, сделать регентшей. Даже намекал о конституции. Ни-ког-да этого не будет! Оставьте, сеньор Панин, свои политические бредни. Нет, нет, Екатерина властна взять в свои руки полные самодержавные права. Она добудет их! Братья Орловы «со товарищи» принесли Екатерине рыцарскую клятву возвести ее на всероссийский трон.

...Курчавая болонка, спавшая на козетке, вдруг пробудилась, насторожила уши и звонко залилась. По

деревянной мостовой мерный лязг копыт. Какая-то сила бросила Екатерину к окну. «Не он ли?» Два всадника, почтительно приподняв шляпы и повернув закрытые черными масками лица в сторону дворца, проехали неспешной рысью. Один из них, увидав в окне Екатерину, весь подобрался, приосанился, чуть поотстал от товарища, приподнял с лица маску и послал даме за окном едва приметный, но полный изящества воздушный поцелуй.

Сердце Екатерины сладостно замерло, улыбнувшиеся губы прошептали: «Гришенька... Душа моя».

Торжества продолжались на второй и на третий день. Днем народные увеселения, ночью балы, гульба, фейерверки. По городу слонялись кучками пьяные гвардейцы, почти открыто поносили прусские порядки и царя. Всюду рыскали какие-то подозрительные люди, распускали слухи, что крымский хан стоит на границе, ждет, когда войска будут выведены в Данию, тогда хан набросится на Россию; что во многих губерниях восстали против бар мужики; что монастырские крестьяне сбегаются толпами со всех сторон и не повинуются новому указу об отобрании их от монастырей.

На площадях, на мостах, на Царицыном лугу возле каруселей, по кабакам и по трактирам подзуживаемый гвардейцами и подкупленными прощелыгами народ брюзжал:

— Царю надо не в Данию ехать, а в Москву короноваться, как и все государи. А такого-то царя, не помазанного на царство, не грех и сковырнуть...

Настроение столицы и состояние умов Екатерина прекрасно знала и, может быть, даже косвенно всему этому содействовала. Развязка приближается. Екатерина напрягает все силы ума и воли и спокойно выжидает удобного момента.

Петр отправился на летнее жительство в Ораниенбаум. Весь большой двор (несколько сановников и царедворцев и семнадцать дам) 12 июня последовал за ним. Екатерине приказано немедленно перебраться

в Петергоф, что вблизи Ораниенбаума. Из чувства самосохранения Петр боялся оставить ее хозяйничать в столице. Тем не менее Екатерина под благовидным предлогом задержалась в Санкт-Петербурге на пять дней, употребив это время в огромный вред царю и в великую пользу для себя.

ГЛАВА XIII

Заговор

1

После отъезда государя в Ораниенбаум княгиня Дашкова потеряла сон и аппетит. Даже книги — ее воздух и дыхание — перестали для нее существовать. Императрица Екатерина наконец оценила ее привязанность к себе, ее личные качества — мужество, изворотливость, храбрость — и, оценив, воспользовалась ею. Молоденькой Дашковой казалось, что она есть первое лицо при государыне и самостоятельно сплетает сети заговора. На самом же деле она была лишь на побегушках у опытной Екатерины. При ее помощи стала теперь осторожно устанавливаться связь между высшими сановниками (Никита Панин, гетман Разумовский, князь Волконский) и Екатериной. Гвардейские офицеры с Пассеком точно так же неоднократно имели с Дашковой свидания, но гвардейцами главным образом руководили два брата Орловы, а ими, в свою очередь, вертела сама Екатерина.

Главою движения против царя был, разумеется, Никита Панин и стоявшая за ним компания прогрессивных аристократов-феодалов. В это время в Москве аристократы группировались вокруг университета и поэта М. М. Хераскова[1] (он заведовал университетской типографией и вскоре был назначен ректором университета). Но москвичи остро политических идей

[1] Пасынок князя Н. Ю. Трубецкого.

почти что не касались, они вели борьбу пером, пытаясь поднять в стране прогрессивное и культурное движение, их идеал — просвещенная монархия. В Петербурге же, наоборот, шла осторожная, но упорная борьба за власть.

Умный Панин ненавидел Петра III, как свою противоположность, и не возлагал на его царствование никаких надежд. Весь свой талант и свое влияние он перенес на «обработку» Екатерины. С ее воцарением он предвидел широкие возможности к обновлению России. Свергнув Петра III, он мечтал объявить законным государем малолетнего Павла и чтоб до его совершеннолетия при нем была регентшей Екатерина, а при ней — он, Панин, и группа правящих аристократов. Уж они-то сумеют прибрать Екатерину к рукам и положить конец абсолютизму.

Никита Панин, распространяя свое влияние, вел дружбу и с передовой литературой, вождем которой был знаменитый поэт Сумароков. Тщеславный, считавший себя равным Буало и Вольтеру, Сумароков происходил из стародворянской семьи и состоял в это время директором первого русского театра в Петербурге, основанного ярославским актером Волковым.

И Сумароков со своими друзьями, и Никита Панин со своими били в одну точку: присмотревшись к Екатерине, они время от времени вызывали ее на откровенность. Осторожная Екатерина отвечала им полунамеками, она искала популярности среди литературной и придворной фронды. Подготовляя себе в фавориты Григория Орлова, она, кривя душой, возмущалась фаворитизмом вообще и грабительским поведением Шуваловых; она всячески старалась подчеркнуть свое вольномыслие, она, пожалуй, готова заключить с Никитой Паниным и его группой негласный союз против Петра III (но боится целиком попасть к ним в руки); намеками и на ходу бросаемыми мыслями она как бы говорит: «Надейтесь на меня, я ученица Бейля, Монтескье, Вольтера, и вы не можете поэтому сомневаться в глубине моих политических убеждений, я против деспотии. Я, как Монтескье, за аристократическую

конституцию. Ведь я философ, а не какой-нибудь азиатский сатрап. Словом, помогите мне достигнуть власти, и вы будете со мной соцарствовать».

На другой день после отъезда Петра III в Ораниенбаум Никита Панин был позван к Екатерине. В этот вечер она была чрезмерно взволнованна и встретила Панина особенно милостиво и любезно. Ее волосы в пышной прическе слегка припудрены, брови тонки, красивые темно-голубые глаза, которыми она в нужные моменты так ловко умеет играть, таили выражение «себе на уме», ее маленькие свежие губы пленяли улыбкой; темно-синий роброн, оттенявший белизну полуоткрытой груди, стягивал тонкую талию и ниспадал пышным, на кринолине из китового уса, колоколом. При встрече с Екатериной Никита Панин всякий раз подпадал под обаянье этой женщины и всякий раз злился на себя; он знал, что имеет дело с политическим врагом своим, ибо государственные идеи их не всегда между собою совпадали. Примерно то же самое чувствовала по отношению к Панину и Екатерина.

— Дорогой и добрый друг, Никита Иваныч, — по-французски начала она, певуче модулируя своим звучным голосом. — Я всегда восторгалась свободолюбивым образом ваших мыслей. Вы первый просвещенный человек в России, вы европеец, впитавший в себя в продолжение многолетнего вашего пребывания в Швеции конституционные идеи Запада... — Как бы захлебнувшись словами, она замолчала и потупилась.

Панин сразу сметил, что сейчас должно наступить окончательное объяснение и торг за власть. Его сердце застучало сильнее.

— Мне кажется, государыня, вы гораздо преувеличиваете мои слабые качества, и боюсь, чтоб впоследствии вы не разочаровались во мне.

— Я вам верю, мой друг, как никому. Я вижу, что политический горизонт нашего любезного отечества покрыт тучами. Будем, Никита Иваныч, откровенны до конца. Вы видите, какого монарха имеет отечество наше... Какие пути, какую судьбу он готовит России? Он ненавидит Россию, он ненавидит и вас, мой любезный друг...

— Я знаю, государыня, — тихо сказал Панин, — но неограниченные самодержцы всегда своевольны и зачастую в мнениях своих не правы, а подвластный им человек — всегда раб и абсолютно бесправен.

При подчеркнутых Паниным словах «неограниченные самодержцы» по лицу Екатерины скользнула едва заметная тень раздражения; они оба глядели один другому в глаза, следили друг за дружкой.

— Да-а, — раздумчиво протянула она и, притворившись наивной, сказала: — Но ведь, но ведь... Что может быть выше прав самодержца?.. Разве один бог.

— Закон, ваше величество! Основные законы государства превыше всего. Им равно подчиняются и самодержец и раб... Так мыслит и Монтескье.

— Да, да, — прошептала Екатерина; тонкими пальцами она коснулась высокого лба, к щекам ее прихлынула краска. — И если б несказанным промыслом божьим мой не-ко-ро-нованный супруг потерял престол, какие же перспективы вам грезятся?

— Пока у нас нет точного регламента о престолонаследии, вы совершенно правильно, ваше величество, изволили выразиться: дальнейшие судьбы трона не больше, как греза, как летучий туман. — Панин сидел, свободно откинувшись в кресле и положив ногу на ногу. — Я мыслил бы, если мне позволено будет вашим величеством, императором быть великому князю Павлу Петровичу, возлюбленному сыну вашему...

Екатерина гордо, порывисто откинула голову, и ее слегка раздвоенный подбородок задрожал.

— А я — при малолетнем сыне моем регентша?

Панин быстро поднялся, стукнул каблук в каблук, с легким поклоном тихо молвил:

— Да, государыня, — и снова сел.

Драгоценное колье на груди государыни стало учащенно колыхаться. Она опустила брови, веки и голову; Панин с любопытным нетерпением ждал, что она скажет. За себя он ничуть не боялся; сидели друг перед другом два заговорщика против царствующего монарха. Панин жадно наблюдал за искусной игрой Екатерины. Он заметил, как голова ее никнет все

ниже и ниже, как ноздри римского носа ее вздрагивают и раздуваются от участившихся вздохов. Она сказала трагическим шепотом:

— Я столь несчастна, столь унижена супругом своим, что в крайнем случае, если того требуют интересы России, я предпочту стать матерью императора, нежели супругой его... Я столь несчастна и всеми покинута. — Из смеженных глаз ее брызнули бисером слезы.

Панин улыбнулся, но, тотчас придав лицу скорбь, он вскочил; как хороший актер, стал заламывать руки, припал пред плачущей женщиной на одно колено, взывал взволнованным, умоляющим голосом:

— Ваше величество, государыня, будьте мужественны. О, поверьте мне, государыня, ваши слезы огнем жгут мое сердце. Успокойтесь, внемлите совету человека, который готов ради вашего счастья сложить к стопам вашим самую жизнь свою, — голос его рвался, замирал, как бы увязая в глухих рыданиях, но все естество царедворца ликовало.

Екатерина утирала платочком глаза; Панин приник к ее дрожавшей руке, стал осыпать кисть руки поцелуями. Но поцелуи его были для Екатерины, как прикосновения кинжала.

Панин встал, сановито и важно пронес свою особу к окну и по-русски вкрадчиво вымолвил:

— Надо все обдумать, государыня, все взвесить, прикинуть и так и сяк. Час благосклонен, ваше величество, и прожекты государственных комбинаций многообразны суть. Не огорчайтесь!

Она повернула в его сторону надменное лицо, и глаза ее засверкали. Раздельно и ясно она сказала:

— Милый друг мой, Никита Иваныч. У меня единая надежда на бога, на вас и на любезную моему сердцу гвардию... Да, да, на гвардию!.. — повторила она порывисто.

Никиту Иваныча пронзила нервная дрожь. Впрочем, он быстро превозмог себя и еще раз попытался вырвать у самовластной Екатерины нужное ему признание. Очень ласковым, но тонко намекающим тоном он произнес:

— Гвардия — сила. Однако ваше искреннее желание, государыня, гораздо сильней гвардии: ведь како похощете вы, тако и будет.

Екатерина молчала и хмурилась. Панин чувствовал, что дело с воцарением Павла безвозвратно проиграно: ведь он мог опираться в борьбе лишь на личный авторитет да на кучку своих единомышленников, на стороне же Екатерины — дворяне-гвардейцы и десять тысяч штыков.

Но, как бы там ни было, Екатерина никак не могла бы остаться без Панина: ведь он главный механик всего государственного аппарата, он вдохновитель заговора, он влиятельнейший из вельмож, он руководит иностранной коллегией, и он поэтому единственный человек, с мнением которого считается вся Европа: захочет Панин — воцарение Екатерины будет встречено Европой с восторгом, захочет Панин — и может возгореться война против узурпаторши, похитившей «священные» права сверженного императора. Наконец, кто, кроме Панина, может руководить первыми шагами Екатерины II по управлению столь обширным государством? Итак, Екатерина без Панина беспомощна. Так по крайней мере полагал сам Панин.

Пассек и братья Орловы вымолили через Дашкову от Екатерины ее личные записки, чтоб иметь возможность убедить своих друзей в ее согласии.

«Да будет воля господа бога и поручика Пассека. Я согласна на все, что полезно отечеству.
Екатерина».

Записка Орловым:

«Смотрите на то, что скажет тот, который показывает вам эту записку, так, как будто я вам говорю это. Я согласна на все, что может спасти отечество, вместе с которым вы спасаете меня, а также и себя.
Екатерина».

Царица строжайше велела Дашковой проследить, чтоб обе записки по миновании в них надобности были сожжены.

Орловы с Пассеком сумели завербовать в свои ряды сорок офицеров и десять тысяч гвардии. Необходимо было окончательно договориться с Никитой Паниным, князем Волконским и любимцем гвардии гетманом Кириллом Разумовским, командовавшим Измайловским полком. Гетман Разумовский обладал несметными богатствами, щедро помогал офицерам и солдатам, снисходительно относился к их слабостям, мирволил им. И царица отлично понимала, что «где гетман, там и гвардия».

Чтоб избегнуть подозрений, дальновидная Екатерина, исполняя волю Петра, 17 июня выехала в Петергоф. Семилетний сын ее великий князь Павел был оставлен в Петербурге на попечение своего воспитателя обер-гофмейстера Панина.

2

Петр проводил время в Ораниенбауме беспечно и праздно. Впрочем, он ежедневно устраивал вахтпарады и всякие экзерциции с голштинцами, вечерами — пьяные кутежи, пиры, домашние спектакли: царь играл в оркестре на скрипке, а комедию вели придворные дамы и кавалеры.

Однажды, слегка одурманенный выпивкой и непрестанным курением трубки, Петр после фриштика пошел осмотреть свою многочисленную псарню и показать гостям свои владения. Проходя мимо голштинской церкви, он сказал своим спутникам:

— Когда я был великим князем, я мечтал выстроить здесь капуцинский монастырь, чтоб весь двор и я с женой носили одеяния монахов-капуцинов. И у всякого свой ослик, чтоб ездить с кувшином за водой... И вообще... О, мечты, мечты!

— Вы слишком влюбчивы, государь, чтоб быть монахом, — игриво погрозила ему мизинчиком красавица графиня Брюс.

— Вы правы, — выпятил грудь Петр и, вздернув плечи, приосанился. — Но мне бы тогда открылся тернистый и сладостный путь грехопадений.

Зашли в маленький «Эрмитаж», с шутками и прибаутками осмотрели кунсткамеру с ее монстрами: человеческий скелет о двух головах и трех руках, ребенок с лицом «лягушечьего образа», три пальца канонира в спирте, ремень человеческой кожи и т. д. Посетили «Минажерию», где содержались звери и птицы. Медвежонок, принадлежавший голштинцу капитану Лангу, увидав гостей, закрутил башкой и по-звериному заулыбался, затем встал дыбом, прижал передние лапы к брюху, начал кланяться и просительно порявкивать. Петр снял перчатку и подал ему на ладони кусок сахару. Елизавета Романовна, бесцеремонно зевнув, выразила желание покататься с горы. Катальная гора, построенная Ринальди, представляла собой десятисаженную башню, увенчанную золоченым куполом, от нее тянулся на полверсты пологий скат, по обе стороны его богатая колоннада тосканского ордена. Покатались на золоченых колясочках, выпили по бокалу освежительного, закусили воздушным безе.

Вернувшись домой, Петр выпил два бокала английского пива, попилил на скрипке и стал бегать, как маленький, со своей любимой собачкой вокруг бильярда. Пес, виляя хвостом, громко лаял, Петр того громче кричал, пес разодрал ему штаны, он высек пса арапником и вышвырнул за дверь. Повалился на кушетку, не лежалось, взгляд скользнул по портрету Петра I: «Дедушка, преобразователь! Все по-новому. Я тоже». Взял лютеранский молитвенник, перелистал, крикнул арапа Нарциса, велел позвать Гудовича.

— Вот что, Андрей Васильич, — сказал он своему генерал-адъютанту. — Немедленно пусть явится ко мне... этот поп. Ну, вот этот бородатый... Дмитрий.

— Митрополит новгородский Дмитрий Сечёнов, ваше величество?.. Первоприсутствующий в синоде?..

— Я первоприсутствующий в синоде, и никто иной!

Поздним вечером на четверке цугом подкатил ко дворцу митрополит.

Представ перед государем, он издали с чувством неловкости преподал ему благословение. Государь в

ответ состроил иерарху гримасу и, не пригласив сесть, крикливо сказал по-немецки:

— Император Петр Великий, мой дед, стриг бороды боярам. Я иду по его стопам. Повелеваю: извольте, сударь мой, распорядиться, чтобы все попы были бритые и вместо хламид носили платье, как иностранные пасторы!.. Андрей Васильич, переведите! — Петр задергал шеей, замотал головой, взъерошился, ожидая возражений владыки.

Гудович, краснея, стал переводить. Митрополит оборвал его:

— Не трудитесь, генерал. Немецкий язык мне ведом... Лишь неведома мне причина, побудившая монарха православного шествовать не по стопам деда своего, блаженные памяти Великого Петра, а по вихлястым петлям церкви лютеранской.

— Да, да, господин архиерей! Да, да... — загримасничал, заморгал правым глазом Петр.

Дмитрий Сечёнов пожал полными плечами, опустил низко голову, раскидистая с проседью борода его закрыла усыпанную бриллиантами панагию. Петр заговорил по-французски:

— Повелеваю: в храмах оставить лишь иконы спасителя и богородицы... Чтоб прочих икон так называемых ваших святых в храмах не было. Чтоб посты были не обязательны для всех, а кто хочет, пусть постится... Греха прелюбодеяния нет! Этот грех выдуман... Сам Христос прощал другим этот грех... Гудович, переведите!..

— Ваше величество! Французский язык мне ведом не меньше немецкого! — воскликнул архиерей и пристукнул жезлом с двумя золотыми змеями на верхушке. Старику не хватало дыхания. Перед строгими глазами его летали темные тени, кровь стучала в виски. — Ваше величество! Словесный указ вашего величества должен быть изложен в письменной форме. Я доложу о сем владыке — митрополиту петербургскому и всем членам святейшего синода. Для столь коренной ломки канонов и догматов церкви православной довелось бы, согласно духовному регламенту, собрать всероссийский собор...

— Собирайте, господин архиерей, хоть десять соборов! — закричал царь; стоявший возле него Гудович выразительно кашлянул, что-то шепнул ему; царь пришел в себя, сбавил тон. — Можете собирать собор, но моя воля непреклонна. Ибо я есть глава вашей церкви.

— Сугубо ошибаетесь, государь, мня себя главою церкви православной, — спокойно возразил Дмитрий Сечёнов. — Глава церкви есть во веки веков Христос. А главою синода является монарх, коронованный и миропомазанный на царство. Вы же, ваше величество, медлите воспринять корону в Успенском соборе в Москве, как это делали предки ваши... А посему...

— А посему... Прощайте, господин архиерей! Я вами, сударь мой, очень, очень, недоволен.

Дмитрий Сечёнов издали кой-как преподал благословение, кой-как поклонился и с гордостью, однако весь сотрясаясь от злости и скорби, вышел вон.

25 июня синод получил высочайший указ: все исповедания объявляются равноправными с государственной господствующей религией, обряды православной церкви отменяются, церковное имущество отбирается в казну.

Этот наскоро состряпанный указ и нелепый разговор царя с Дмитрием Сечёновым произвели на знатное духовенство удручающее впечатление. Официальная церковь оказалась, подобно гвардии, во враждебных отношениях с царем.

3

В один из дней придворный бриллиантщик Иеремия Позье получил приказ явиться ко двору в Ораниенбаум. Дальновидный француз прихватил с собой брошь из бриллиантов для Елизаветы Воронцовой и рано утром явился в Ораниенбаумский дворец, в помещение графини.

— Встала ли графиня? — спросил он горничных.

— Нет, мсье... Графиня еще не встала, но и не спит, потому что не в духе.

— В таком случае я уеду.

— Что вы, что вы!.. Мы уже доложили о вас. Благоволите подождать.

Через несколько минут Позье был введен в помещение графини. Она сидела пред туалетным столиком. На ее полных губах капризная гримаса, в глазах любопытство и простоватое ожидание подарочка. Позье расшаркался, пытливо взглянул на нее и поцеловал руку.

— Вы не в духе?.. Поэтому — разрешите мне откланяться.

— Нет, ради бога! — И она вскочила со стула. — Что вы принесли мне хорошенького?

— У меня ничего нет для тех, кто не в духе, — шаркнув ногой, подобострастно изогнулся француз.

Она с хохотом кинулась к нему, принялась обшаривать его карманы.

Чрез потайную дверь неожиданно появился в халате царь.

— Что это значит? — пожимая плечами, полугневно, полуигриво спросил он.

— Ваше величество! — воскликнул Позье, целуя протянутую царскую руку. — Я очень рад, что вы изволили явиться ко мне на выручку. Я хотел показать графине одну изящнейшую вещь, но графиня не в духе, и я отказался от своего намерения.

— Прекрасно сделали, Позье. Не давайте ей, отдайте мне.

Позье двумя перстами извлек из кармана маленький футляр и со всей грацией француза протянул его императору. Елизавета Романовна сделала быстрый маневр завладеть вещичкой. Позье ловким вольтом руки обманул графиню, и вещичка чуть-чуть не досталась императору, но Елизавета Романовна успела схватить руку ювелира, француз перебросил футляр в другую руку. Тут зачалась шумная возня. Брюхатенький француз с сувениром в поднятой руке, пыхтя, крутился волчком: возле него с ловкостью откормленной ярославской телки подпрыгивала и трясла телесами графиня, тщась перехватить сувенир. Глаза ее горели, как у кошки пред мышонком. А царь-цапля

тоже бегал вокруг Позье, кричал: «A moi monsieur, à moi!» — и с наскока, едва не опрокинув и Позье и графиню, вдруг выхватил футляр. Позье улыбался и сипло дышал. Елизавета Романовна, притворившись обиженной пай-девочкой, надула губки. Царь с выражением проказливого школьника показывал ей язык и рассматривал сверкавшую бриллиантами дорогую брошь.

— Дарю тебе, Романовна! — сказал он торжественно-насмешливым голосом. — Но с условием, чтобы ты развеселилась.

Графиня с жадностью схватила подарок и ушла. Петр заказал ювелиру несколько вещей к своим предстоящим именинам, велел передать ему ключ от драгоценных вещей в петербургском дворце с наказом почистить их и доставить сюда. Деловой разговор окончен. Позье приготовился поцеловать Петру руку и выйти, но Петр сказал:

— Куда вы спешите? Вы сегодня останетесь здесь. Я хочу, чтоб вы посмотрели мою комедию. Вот вам билет. Я все билеты раздаю сам. Можете пообедать с моими медиками.

Пред обедом Позье в одиночестве прогуливался по парку. На большом озере шло сражение двух маленьких галер. Одетые матросами голштинцы дружно взмахивали веслами, стреляли из крошечных пушек, брали на абордаж, схватывались врукопашную. Царь, стоя на высоком береговом помосте, кричал команду, махал флагом, топал ногами, азартно бил в барабан, всем существом своим с жаром участвовал в этой детской игре людей-марионеток. Затем началось утомительное ученье голштинских войск на плац-параде. Четыре голштинских знамени склонились долу, когда к фронту подъехал на серой кобыле император.

Вечером началась в придворном театре комедия. Екатерина получила билет. Приглашение равнялось приказу. Она приехала из Петергофа. Позье сидел против сцены, под ложей, где помещалась императ-

рица. Она в глубоком трауре, при ней две фрейлины и молоденький паж в светло-зеленом мундире, красном камзоле, зеленых штанах, шелковых чулках, белых башмаках с пряжками и красными каблуками — признак высокого дворянства. Разместившиеся в ложах возле оркестра дамы обмахивались веерами, весело болтали с кавалерами.

Появился царь, под мышкой скрипка, в руке смычок. Все встали. Он быстро прошел меж рядами кресел в оркестр итальянцев и русских офицеров, сел за пюпитр, перелистал ноты, начал настраивать скрипку. Он был сегодня, пожалуй, красив. Веселые глаза блестели, густо напудренные вержет и букли оттеняли загорелое с румянцем лицо. Он играл довольно хорошо и бегло и всегда выступал на придворных куртагах. У него было несколько лучших по тому времени скрипок: Страдивариуса, Руджиери, Амати. В Ораниенбауме он устроил музыкальную из детей служителей школу.

С шумом отдернулся шелковый в золотых звездах занавес, и глупенькая комедийка, сопровождаемая жидковатой игрой оркестра, началась. На сцену смотрели мало, любопытствующие взоры сосредоточились на Екатерине. Она очень грустна, озабочена, замкнута. В антракте раздались дружные хлопки. Вместо любителей-актеров на аплодисменты поднялся из оркестра царь; прижимая скрипку к груди, он изысканно раскланивался с публикой.

К Позье подошел паж, передал ему приглашение Екатерины прибыть после спектакля в ее покои. Вспомнив строжайшее запрещение государя заходить к Екатерине, Позье весьма опечалился. Но, никем не замеченный, он умудрился проникнуть к ней. Она сидела на диване, казалась утомленной, душевно измученной. На ее коленях облезлая собачонка с серебряным бубенчиком.

— Позье, я повредила свой орден святой Екатерины, — проговорила царица. — Возьмите его с собой и поправьте. (Она приказала горничной снять с себя этот орден и передала французу.).

— Осмелюсь спросить, ваше величество, — стоя навытяжку, сказал француз, — вы не возвратитесь в Петергоф, а изволите остаться на ужин здесь?

— Мне бы этого не хотелось. В Петергофе мне было бы веселее. А здесь — скука, скука... Я вас, Позье, завтра жду в Петергофе. Я имею передать вам несколько вещей для переделки. Прощайте.

Позье, припав на одно колено, поцеловал руку Екатерины и вышел.

Вслед за удалившимся Позье был впущен в покои императрицы генерал-адъютант Гудович.

— Ваше величество,— сказал он, руки по швам, и вскинул голову. — Его величество приказали доложить вашему величеству, что его величество канун своих именин, то есть день двадцать восьмого июня, изволят проводить в Петергофе, в обществе вашего величества.

— Передайте его величеству,— с холодной маской на лице проговорила Екатерина, — что я весьма польщена ожидаемым визитом его величества ко мне и в назначенный день буду ждать государя со всеми его гостями у себя в Петергофе.

Генерал Гудович не сумел подметить ни особого блеска глаз Екатерины, ни явных ноток сарказма в ее голосе.

4

25 июня вечером состоялось свидание Никиты Панина с гетманом Кириллом Разумовским. «Авдиенция» произошла в Аничковском дворце, принадлежавшем Алексею Григорьевичу Разумовскому. Вельможи дружески обнялись и поцеловались. Затем, уставясь глаза в глаза, с минуту держали один другого за руки, доверчиво улыбались, в то же время старались всмотреться в глубину души друг друга. Взор у каждого был светел и открыт.

Заперли двери, по персидским коврам прошли в глубь комнаты, отделанной бронзой, кленом и палевым штофом, уселись возле беломраморного

холодного камина, предложили друг другу из золотых табакерок отведать табачку.

Обер-гофмейстер Панин в парике, в голубом кафтане с желтыми бархатными обшлагами, в брюссельских тончайших кружевах. Ему сорок четыре года. Он несколько грузен, осанист и, пожалуй, красив. Полные щеки припудрены, большие серые глаза улыбчивы, блестят умом. Знатный царедворец, он много путешествовал, был очень образован, долгое время занимал место посланника в Копенгагене, затем — полномочного министра в Стокгольме.

— Итак, мой добрый друг, прямо к делу,— начал Панин глубоким, проникающим в душу голосом. — Образ мыслей нашего императора и действия его наводят дурные импрессии, они производят впечатление чего-то удивительно недодуманного, недоделанного.

— Я бы даже так молвил, — с украинским акцентом сказал гетман Разумовский: — На вещи серьезные он смотрит взглядом маленького дитю, а к детским забавам относится с серьезностью зрелого батьки... И далее: сей голштинский выходец вовсе не знает и не хочет знать армию, он боится живых солдат, они слишком громоздки для него. И он заводит оловянных солдатиков и забавляется с ними с серьезностью зрелого мужа. Какая-то глупость, дурачество, фиглярство...

— Militaire marotte, — перевел на французский Панин. — Вглядитесь, мой добрый друг, в его судьбу. — Панин простер руку вперед, склонил голову набок и прищурился, как охотник пред выстрелом. — Судьба приуготовила этому голштинскому принцу два трона — шведский и русский, а ему лишь впору, да и то, пожалуй, велик даже маленький голштинский трон. И вдруг судьба бросает его на престол необъятно огромной Российской империи. Но... его слабый ум не может расшириться, чтоб охватить ее пределы и ее нужды. Он называет Россию проклятой страной, он боится ее, как ребенок, оставленный в обширном пустом доме. — Панин говорил негромко, но голос его насыщен ненавистью и сарказмом. — И

что же мы наблюдаем? — продолжал он. — Под давлением страха, среды и собственного вкуса государь окружил себя обществом недостойным, он создал себе свой жалкий голштинский мирок и тщетно старается укрыться в нем от страшной ему России. Он не знает России и не хочет знать ее. Для него интересы государства и само государство как бы замкнулось в его дворце. Отечество наше сейчас похоже на корабль, управляемый сумасшедшим капитаном. Подобное положение дел я считаю ужасным, ваше сиятельство.

— Ясно, ясно!..— с какой-то веселостью отозвался гетман, он поставил ногу на парчовый диван и, покряхтывая, стал натягивать сползавший чулок. — Хе-хе... Любопытный разговорчик недавно проистекал между государем и мною... Или, правильнее (гетман выпрямился, подмигнул Панину и с игривостью прищелкнул двумя пальцами), между мною и государем. Хе-хе... (Панин одобрительно кивнул головой, улыбнулся.) «Гетман, я вас назначу главнокомандующим моей армии против датчан». — «Благодарю вас, государь. Но доведется сзади посылать вторую армию...» — «Для чего?» — «Чтоб она штыками подгоняла первую идти в немилый поход».

— И что же он? — вскинулся Панин, приготовясь рассмеяться.

— Да ничего... — пожал плечами гетман и, выхватив платок, чихнул. — Император показал мне язык, отвернулся и сплюнул.

Панин, сотрясая плечами, беззвучно засмеялся и потом сказал:

— Вы, добрый мой друг, остроумец известный. А вот я вчера вел беседу с преосвященным Дмитрием. С печалью поведал мне оный владыка свой разговор с царем в гораздо ином духе, чем ваше, я бы сказал, препирательство.

— Я знаю, знаю...

— Про указ об иконах и прочем тоже знаете? Я дал владыке Дмитрию совет указ этот схоронить под сукно... Время терпит, так сказал мудрый Соломон. И вот..., — Панин выпрямился и оправил звезду

на андреевской ленте. — Подводя итоги, прямо скажу: из всего, что мы ведаем о сем странном царе, проистекает неминучая гибель для государства... — Голос его стал тверд и властен. — Гетман граф Разумовский! Отечество, любимая родина наша в опасности...

— Не родина, Никита Иваныч, а матушка Екатерина!

— Верно... Наша родина — увы! — непробудно спит.

— То-то же, — встряхнул пудреными буклями гетман и воскликнул: — Никита Иваныч, я решительно готов!

— Готовы? Так действуйте, действуйте, гетман. Станем действовать вместе. Сроки близятся. Не таясь, обязан открыть вам, что мною посвящен в сие дело и генерал-аншеф князь Волконский. Он человек храбрый, осторожный, пользуется отменным доверием в армии. Я не знаю, как будет... Но в мечтах у меня — единственный выход, без особых потрясений, без крови и... к тому же... национально оправданный: Павел — император, он юноша русских кровей, при нем регентша Екатерина Алексеевна.

— Пока медведь не убит, шкуру делить нечего, любезный друг.

— Убит? Никакого убийства, ни капли крови.

— О, боже правый!.. Да это ж пословица.

Панин на мгновенье задумался, глаза его стали хитрить, вилять, испугались. Он быстро прикинул в уме и сказал:

— Сие мыслится мне как наиболее законное и логически возможное. Но я не чураюсь и от другой комбинации. Отнюдь нет, отнюдь нет...

— На престол — государыню! — вполоборота уставился на Панина гетман; глаза его тоже стали хитрить и вилять.

— Хотя бы... Отнюдь не чураюсь вашей мысли. Только — мнится мне — самодержавные права будущей повелительницы надлежит ограничить.

— А как именно? — И гетман, сморщив гладкий подбородок, развел руками. — Это неудобь-имоверное дело зело хлопотливо и горазд сложно.

Панин состроил недовольную мину.

Чтоб пояснить свои мысли, гетман сказал:

— Орловы там, с матушкой-то. Гвардия... о! — И он поднял палец.

— Вы — тоже гвардия! — воскликнул Панин. — Вы ж гвардии Измайловского полка полковник.

— Який бис! — воскликнул и гетман, горько усмехаясь. — Сей день полковник, а завтра — покойник... Ха! Каша заваривается крутая... А говорится: не круто начинай, да круто кончай.

Панин с искренней дрожью в голосе сказал:

— Мне близки интересы моего воспитанника цесаревича Павла Петровича, коего я люблю паче сына. Мальчик одаренный, острый, и сердце его в руце божией. — И чувствительный Панин слегка прослезился. — Когда я говорил о нем как о будущем государе, Екатерина Алексеевна, видя, что ее собираются низвести до роли регентши, изволила жаловаться на свое несчастное положение. Она даже всплакнула при сем и сделала в душе моей колебание.

— Ну, слеза у матушки скоро сохнет.

Вельможи снова, лицо в лицо, крепко взялись за руки, снова пытливо глядели друг другу в глаза. «Веришь ли? Не предашь ли?» — мысленно вопрошали один другого. «Верю тебе, не предам тебя. Верь и ты мне». Оба горячо обнялись. Панин сказал:

— Ежели иного исхода нет, пущай, коли так, матушка садится на престол. Ну что ж... За ней сила, за нами государственный опыт и разум... Попытаем побороться.

Взволнованный гетман вдруг оживился, широко задышал, глаза засверкали. Ударяя в левую ладонь ребром правой, он сердито прошипел:

— А можно о-так, о-так, с Орловыми: Гришу — геть, Алешу — геть, а как император Павел в возраст войдет, матушку такожде — геть!

Панин улыбнулся. Вельможи опять крепко пожали друг другу руки. Долго думали, взвешивали все обстоятельства сложного дела. И все же вопрос о том, кого возводить на престол: мать или сына, — остался не вполне выясненным.

— По моему разумению, — Панин деликатно взял гетмана под руку и пошел с ним к окну, — вы, гетман, всенепременно должны заманить царя в Петербург. К вам царь имеет полный решпект, и, я чаю, — вы сможете сие сделать.

— Льщу себя надеждой, что сделаю... Лишь бы мотив был придуман...

— Мотив — поход в Данию, всенародный молебен, парад... что-нибудь в этом роде. А там — видно будет. Арестовать можно в спальне, в постели, ночью. И да поможет нам бог... — мрачно закончил Панин.

— Бог и... молодцы-гвардейцы! — с бодрой веселостью подхватил гетман.

Спустя два часа Никита Иванович Панин вел такую же беседу с князем Волконским. Казалось, все сулило удачу. Панин мог спокойно ожидать грядущих событий.

ГЛАВА XIV

«Сон в летнюю ночь»

1

События развернулись неожиданно и совсем не так, как предполагала сторона Екатерины.

Главный зачинщик придворной трагикомедии был случай.

Исторический маскарад начался случаем внезапным: вечером 27 июня, то есть спустя два дня после свидания Разумовского с Паниным, был арестован капитан Пассек, один из немногих главарей дворцового переворота. Этот случай сразу поставил на ноги всех заговорщиков, в особенности собутыльников Пассека — отчаянных братьев Орловых. Что делать? А ну как Пассек под пыткой откроет все нити заговора? Тогда головы полетят с плеч, как кочны. Тогда,

пожалуй, и «матушке» несдобровать. Сначала все растерялись: казалось, ничего приготовлено не было, «случай» застал всех врасплох.

Григорий Орлов в поисках Н. И. Панина примчался к княгине Дашковой, его племяннице[1]. Панин как раз сидел у нее.

— Пассек арестован, — с мужеством заявил Орлов.

Екатерина Дашкова вскочила, схватилась за голову, стала метаться от Панина к Орлову. Лицо ее побелело.

— Успокойтесь, княгинюшка, — спокойно сказал Панин. — Ну, арестован. Ну, что ж из того?.. Начудил чего-нибудь по службе, вот и посадили...

— О, если б так! — трагически заламывая руки и в то же время ловя свое изображение в настенном зеркале, восклицала Дашкова. — Нет, дядя, ошибаетесь. Пассек арестован по приказу государя. Он на допросе может всех нас выдать с головой. Григорий Григорьевич! Пришло время немедля начинать восстание.

— Друг мой, — перебил ее Панин и принялся резонерствовать: — Я считаю вас за пламенную патриотку. Вы, знаю, чужды личных, честолюбивых расчетов... Но... Какое восстание? Надо сперва все толком разузнать, взвесить обстоятельства, а не с бухты-барахты. Во-первых, за что арестован Пассек, во-вторых — каково настроение на сей день в гвардейских полках...

— Настроение крепкое, — в свою очередь, перебил Панина Григорий Орлов. Он стоял возле секретера, откинув назад красивую голову, и время от времени хитрым прищуром насмешливо взглядывал в сторону хозяйки. — Солдаты — молодцы. Давно готовы. Да вот вам: я только что повстречал унтер-офицера Гаврилу Державина. У него из-под подушки деньги хапнули в казарме. Он выбежал ловить вора, глядит: кучка солдат его полка горланит во дворе: «Пусть

---

[1] Среди придворных были догадки, что Екатерина Дашкова — «незаконнорожденная» дочь Никиты Панина.

только наш полк выйдет в поход в Данию, мы кой-кого спросим, куда нас ведут... Не пойдем... Мы нашу матушку не оставим, мы рады служить ей!» Таких казусов хоть отбавляй...

Дашкова звонко, как ребенок, засмеялась, забила в ладоши:

— Браво, браво!! Слышите, Никита Иваныч, слышите?.. Ах вы телепень. Ну до чего же, дядечка, вы медлительный. Кунктатор вы! Больше огня, дядечка... Надо действовать!

Панин поморщился и, прикрывшись рукавом кафтана, аппетитно зевнул.

— В жизни осмотрительность — первое дело, молодая княгинюшка, — сказал и поднялся. — А в политике — хладнокровие первейшее правило.

Он вернулся в Зимний дворец поздно вечером, выпил стакан брусничной воды и сразу же завалился спать. Им все обдумано до мельчайших подробностей, тайные распоряжения давным-давно сделаны. Теперь можно всхрапнуть.

В тот же час легла спать в Петергофе, в низеньком длинном Монплезире, и царица Екатерина.

Княгине Дашковой вскоре принесли от портного мужской костюм. Стала примерять, вертелась перед зеркалом. Здесь режет, там жмет, шагать непривычно. Разделась, глазки слипались, мужа нет, наскоро помолилась перед образом: «Господи, пошли мне мужество для предстоящего дела. Помоги двум Екатеринам, рабам твоим». Пылкая почитательница Вольтера, она в бога верила условно, но надвигается момент исключительный, надо напрячь все душевные силы. Легла в постель. Чтоб не разболелась у княгини голова, горничная убрала из спальни большущий букет жасмина, тот, что преподнес Панин.

— Покойной ночи, ваше сиятельство!

— Покойной ночи, Лизетт! Приготовьте мне костюм, ботфорты и плащ. Если кто постучится хоть в самую глухую ночь, сию же минуту будить меня... И скажите в конюшне, чтоб все было наготове.

Утомленная необычайными треволнениями, она вытянулась, тотчас крепко заснула и благополучно проспала все, к чему так страстно стремилась ее романтическая натура.

Молодую Дашкову подняли на ноги уже в новом царствовании.

2

Но гвардейцы в ту ночь не спали.

Не спал в Ораниенбауме и царь Петр.

Он еще утром 27-го получил из столицы подробный доклад о том, что молодой офицер Ребиндер обращался к полковнику Будбергу, советуя ему присоединиться со своим полком к гвардии, будто бы решившейся возвести на престол Екатерину; что вчера вечером, 26 июня, простой капрал спрашивал поручика Измайлова, скоро ли свергнут императора, причем на допросе в полковой канцелярии капрал показал, что об этом же он спрашивал и капитана Пассека, который будто бы прогнал его. Однако в канцелярии лежало известное императору показание некоего солдата, что Пассек еще накануне оскорблял императора поносными словами.

Прочитав этот неприятнейший доклад, Петр вспылил, забегал по кабинету, нервный тик исказил его лицо. Потом он вдруг остановился, хлопнул себя по лбу и стал выкрикивать в сторону оторопевшего дежурного генерала:

— Трусы! Они там все трусы, все посходили с ума. Какой-то офицеришка Ребиндер... Да что он значит? Или дурак капрал... Возвести Екатерину! Ха! А я, а я? Куда же меня?! Да что я, пешка, что ли? Трусы! У меня там надежный человек, адъютант Перфильев. Он молчит — значит, все благополучно. Генерал! Выдайте голштинцам по чарке водки... А Пассека немедленно арестовать, арестовать! Вы слышали? Как он смел?! Через час я отправляюсь на охоту... Я им пропишу переворот!.. Трусы!.. Завтра всем двором выезд в гости к государыне императрице. Вот мое повеление ее величеству. — Петр вынул

из-за обшлага прусского мундира записку и подал генералу. — Немедля отправить. До свидания, генерал! Ступайте.

Между тем Григорий Орлов выведал: Пассек сидит под караулом на полковом дворе, а его рота, узнав об аресте, сбежалась в боевом вооружении без всякого приказания на ротный плац и, постояв во фронте, нехотя разошлась.

Вернувшись к себе, он встретил дома — черт его дери! — адъютанта Перфильева (глаза и уши государя).

— Ба! Григорий Григорьевич! А я вас давненько поджидаю... Может быть, в картишки перебросимся?

— Ну что ж, давайте... Митька, трубку!..

Началась азартная игра и пьянство. Обескураженный Орлов, как бы подвергнутый в такой ответственный момент домашнему аресту, впал в отчаяние и не знал, как отвязаться от назойливого посетителя. Он хрипел от злости, с ожесточением проигрывал золото, накачивал зловредного гостя водкой.

Гетман Кирилл Разумовский был очень взволнован. От него только что ушел соучастник тайной группы — третий из братьев Орловых — Федор. Гетман немедленно потребовал к себе содержателя типографии Академии наук адъюнкта Тауберта и строго-настрого объявил ему:

— Вот что, сокол мой... В подземельях Академии сидят наборщик и печатник при станке; они будут печатать ночью манифест о воцарении ее величества Екатерины. Текст будет передан... Вы должны быть с ними, будете иметь наблюдение за корректурой...

— Ваше сиятельство! — взмолился было Тауберт.

— Ни слова, душенька... Я есть президент Академии, я приказываю вам. Правда, что тут дело о моей и вашей голове, но ведь вы, ангел, знаете обо всем об этом слишком много... Идите... Да хранит вас бог.

Через несколько часов пришло время Петру Федоровичу спать, Екатерине — бодрствовать.

3

В третьем часу северной белой ночи рысцой бежала четверка крепких коней, впряженных в обыкновенную ямскую карету. Два молодых путника, Алексей Орлов и Василий Ильич Бибиков, не изнуряя лошадей, подвигались к Петергофу. Перед отъездом из столицы они обменялись заряженными пистолетами и братски обняли друг друга. Алексей Орлов сказал:

— В случае неудачи ты поразишь меня, а я тебя. Сразу!

— Клянусь, Алеша! — ответил Бибиков.

Увеселительный домик Монплезир, где почивала Екатерина, никем не охранялся: ни часовых, ни дворника. По зеленой луговине пасся на привязи рыжий теленок. В цветнике кралась к чирикавшей птичке серая кошка. Орлов швырнул в нее камнем и вошел во дворец. Весь дом спал. В уборной лежало парадное платье Екатерины: завтра высочайший, в присутствии Петра, торжественный обед. Орлов с благоговением поклонился платью и обошел его на цыпочках.

— Государыня, государыня, встаньте! — будила спящую камер-фрейлина Екатерина Ивановна Шаргородская.

Екатерина вздрогнула и, как на пружинах, приподнялась. Спутанные темно-каштановые волосы в папильотках, чепец съехал на ухо, в темно-голубых, вялых со сна глазах удивление.

— Ваше величество, в соседней горнице Алексей Григорьевич Орлов.

— Орлов?!

Из-за двери раздалось:

— Государыня, пора вставать! Все готово к вашему провозглашению.

Екатерина, сбросив одеяло, вскочила:

— Гребень!.. Волосы!.. Стакан воды! Смочите губку... — Взгляд ее упал на бронзовые часы под колпаком: пять утра.

Камер-фрейлина отдернула шторы, распахнула окно. Ворвался ранний розоватый свет и запах утренней прохлады.

Орлов, находившийся в соседней со спальней комнате, изрядно волновался, колотилось сердце, пересохло во рту, хотелось дернуть стаканчик водки. На мавританском столике в хрустальной вазе в виде лебедя крупная петергофская земляника. Он поддел горсть прохладных ягод и торопливо отправил в рот. Прожевывая и с опасением посматривая на дверь в спальню государыни, с возмущением он вспомнил, что царь запретил садовникам выдавать к столу императрицы любимые ею фрукты. Горничная покупала их у местного огородника Желонкина. «Ладно, ладно... скоро сочтемся, царек!» — злобно прошептал Орлов и вынул белый носовой платок, чтоб вытереть запачканную красным соком руку, но — передумал, вытер об испод мягкого кресла, потом уж о платок.

Постучав в дверь, он загремел:

— Не медлите, ваше величество!.. Все готово, гвардия с нетерпением ждет. Торопитесь, государыня!

Спальня наполнилась звуками суетливости, выкриками, шепотом. Наспех отерев лицо ароматным спиртом, Екатерина, полуодетая, заканчивая туалет на ходу, выпорхнула к великану Орлову.

В этой дворцовой комнатке-шкатулке он был очень громоздок, едва не касался головой потолка. Мрачный, он вдруг весь просиял, будто вошедшая миниатюрная женщина в обычном черном платье была лучезарным солнцем; быстро, с особым жаром поцеловал протянутую руку и побежал вперед по тропинкам пустынного в эту минуту парка. Следом за ним — Екатерина, горничная Шаргородская и только что одевшийся камер-лакей Шкурин. Все они торопливо, вприпрыжку спешили за Орловым.

Всходило солнце. Екатерина с горничной сели в карету, Шкурин с офицером Бибиковым стали на запятки, Орлов примостился с кучером, и кони понеслись.

Екатерина чувствовала себя прекрасно.

— Похищение сабинянок, — улыбаясь, сказала она. — Или «Сон в летнюю ночь»... Вы не находите?

— Да, да, государыня,— откликнулась Шаргородская.— Прямо-таки Шехерезада... Ах, у вас в волосах папильоточка торчит.

— Где?— Екатерина откинула с головы испанскую кружевную шаль.— Выньте... Боже, у меня спустился чулок... Мы забыли подвязку.— И Екатерина, натягивая на белоснежную ногу чулок, нервно смеялась.

Улыбался и Орлов: подвязка государыни лежала у него в кармане. «Ни за что не отдам... На груди буду носить, у сердца»,— думал он и покрикивал долгобородому кучеру:

— Не жалей, борода! Дери! Шпарь!

Ранние встречные, сидящие на подводах, не знали, кто едет в закрытой карете, но, чтоб не получить плетью по спине, на всякий случай снимали шапки.

Екатерина приподняла шторку, высунула голову из окна и вдруг закричала:

— Мишель! Мишель!

Сухощавый француз-парикмахер, большой лоботряс и бабник, переночевавший у очередной хорошенькой горничной из барской дачи, спешил к Петергофу во дворец, чтобы загодя сделать императрице туалет: ведь сегодня она ждет высокого гостя из Ораниенбаума, самого Петра. Как только его окликнули, он вскинул взор и обмер: в карете государыня... на запятках люди... впереди офицер.

«О, мон дье!— в страхе подумал он, всплеснув руками.— Государыня арестована».

— Следуйте, Мишель, за мной.

Не помня себя, путаясь в серой накидке, он едва взгромоздился на запятки между Бибиковым и Шкуриным, сразу побледнел, стал дрожать, стучать зубами, силы покидали его. «О, мон дье...— невнятно выборматывал он,— государыню отправляют в Сибирь... И я попал...» Умоляюще он взглянул на Бибикова. Но молодой офицер, сразу оценив душевное состояние несчастного Мишеля, с притворной грустью подмигнул в задок закрытой кареты, где

помещалась государыня, и ребром ладони рубнул себя по загривку:

— Финир...

Изнеженный француз ахнул и едва не упал с запяток.

— Погоняй, погоняй, борода! — покрикивал Орлов.

Становилось жарко. Взмокшие лошади выбивались из сил, роняли в пыль белую пену из оскаленных ртов, храпели.

Навстречу — здоровенный крестьянин на возу сена, лошадь добрая, видать — господская.

— Мужик, стой! — крикнул Орлов, соскочил с козел и начал выпрягать лошадь крестьянина.

Рыжебородый тоже спрыгнул с воза, толкнул Орлова. Тот, озлившись, швырнул крестьянина в канаву. Пострадавший, непотребно ругаясь, вылез из канавы и побежал к изгороди — выломать хорошую жердину. Но быстрый Орлов успел уже перепрячь лошадей, оставив крестьянину свою усталую пристяжку. Поехали дальше.

Вдоль дороги попадались нарядные, все в зелени, дворцы столичной знати, и очень близко голубело тихое море, сновали рыбачьи челны, над горизонтом кучились белые грозовые облака.

Кони вздымали тучи пыли, едкая пыль проникала и в карету. Екатерина принялась чихать. Веселое и бодрое настроение ее исчезло, оно сменилось минутами удручающего раздумья. В неверных, быстро ускользающих мыслях то мелькала держава со скипетром и алмазная корона, то плаха и топор. Она нервно передергивала плечами, она не узнавала себя. Куда девалось ее мужество? Ей нужна сейчас чья-то сильная поддержка, иначе она разрыдается и прикажет повернуть лошадей обратно...

Вдруг: «Ст-о-й!» — и четверня остановилась. Кто-то рванул в карете дверцу. Екатерина ахнула, из глаз ее полились слезы. Богатырские руки Григория Григорьевича Орлова подхватили ее и поставили на землю. Коленопреклоненный Орлов поцеловал ее руку.

— Ваше величество, почтительнейше прошу вас в мой экипаж...

Рядом — грудь вперед, обнаженная шпага на караул — замер князь Федор Барятинский. Екатерина с обольщающей сквозь слезы улыбкой кивнула ему головой и, вся пропыленная, села в открытую простенькую коляску рядом с Григорием Орловым. Кони дружно взяли, понеслись мимо «Красного кабачка» в столицу.

— Гришенька, Гриша, — взволнованно и благодарно шептала Екатерина, слегка прижимаясь к близкому своему другу.

— Государыня, свет мой... Дела блестящи... Измайловцы ждут ваше величество.

От Григория Орлова изрядно попахивало сиводралом, большие глаза его утомлены, мутны от бессонницы. Он всю ночь не мог отвязаться от Перфильева, продул ему в карты много денег, оба дебоширили, кутили до зари; наконец пьяный Перфильев, промямлив: «Под столом увидимся», — свалился на пол и захрапел.

В деревне Калинкиной, в черте столицы, начались слободы Измайловского полка. Григорий Орлов соскочил с сидения и сломя голову побежал вперед. Лошади шагом подвигались к полковой кордегардии.

У ворот стоял на часах восемнадцатилетний солдат Николай Новиков, два года тому назад исключенный из московской гимназии «за нехождение в классы и леность». Новиков вскинул голову, сделал артикул ружьем, Екатерина милостиво ему улыбнулась. Она не ведала, что много лет спустя ей доведется лить слезы досады и горести от острословного пера возмужавшего Новикова.

Барабан резко забил тревогу. Из казарм выбегали, одеваясь на ходу, солдаты. Пересекая плац, бежал к Орлову офицер. Горнист, надув щеки, заиграл в трубу, дробь барабана участилась.

Было восемь часов утра.

Екатерина вышла из коляски.

4

Уж не этот ли гул барабана и боевой клич трубы разбудил императора?

Петр вскочил, свесив с кровати ноги.

— Фу... Я застрелил утку. Где она? Какой глупый сон... Гудович!

Вбежал лакей Митрич, вскоре за ним полуодетый генерал-адъютант Гудович.

— Странный сон, господа, — рассуждал император, подобрав левую ногу и колупая мозоль. — Представьте, кошка... Глаза желтые, злые, сама черная. Хорошо это или плохо? Митрич, как?

— Да как, ваше величество,— замялся бородатый, тугой на мысли лакей. — Конечно, ежели мужику-дураку приснится кошка либо бабе дурашливой, — это, верно, к худу. Ну, а ежели особе священной, вроде вас, ваше величество, то кошка во сне обозначает... это самое... как сказать... — Он усмотрел чрез окно сгущавшиеся облака и брякнул: — Кошка к грому императорам снится, к грозе!.. Я этак слыхивал... — Митрич покашлял в ладонь, осторожно покосился на Петра, отошел на цыпочках в уголок и стал там трясти царские штаны.

— Она подкрадывалась к моей короне, это презренное животное. Я в нее выстрелил и... представьте — не кошка, а утка.

— Ах, утка? Так бы и сказали, ваше величество,— отозвался Митрич и еще раз встряхнул штанами. — Одно дело утка, а другое дело кошка. Утка от кошки или, допустим, от кота — штука завсегда отменная. Ежели жареная утка, это к хорошему...

— Живая, живая! — раздраженно вскрикнул Петр и показал лакею язык.

— А живая утка — того лучше, ваше величество. Значит — пир на весь мир, фиверки, музыка...

— Глупый сон, глупый сон, глупый, глупый, — зачастил Петр, — у меня еще нет короны, нет... Какая корона? Митрич, умываться! Который час? Восемь? Пиротехники посланы в Петергоф?

— Два дня тому назад, государь, — ответил генерал-адъютант.

— Гудович, прикажите доставить сюда Пассека! Я его лично высеку плетью и ущемлю ему язык... Впрочем, нет... После праздников. После, после...

Петр был сегодня особенно бодр и свеж. Кофе он пил один, на ходу. Елизавета Романовна, да и многие во дворце еще почивали. Он спустился с холма, где дворец, вышел на берег к пристани. Пред ним за нешироким морским пространством виднелся Кронштадт с крепостным валом. Возле укрепленного острова стоял, ожидая приказа императора, вооруженный флот.

А там, где-то далеко, за пределами Кронштадта, вправо или влево, Петр не знал точно, лежала ненавистная Дания. Да, да, Петр бросит на датчан весь свой флот, он лично поведет сушей свои несокрушимые полки, он растопчет гадину, он вернет извечно принадлежавшие милой Голштинии земли. Он возвратится победоносным триумфатором на золотой колеснице, весь осиянный славою, путь его будет усеян розами.

Берегись тогда, коварная Екатерина!

...К Екатерине кинулись измайловцы, стали целовать руки, платье, называть ее — «избавительница, матушка». Кричали: «Веди! Все за тебя умрем!» Они негодовали на Петра и были польщены тем, что государыня явилась к ним, простым солдатам, искать защиты. Ходили слухи, будто бы Григорий Орлов обещал: «Не подгадь, молодцы, а уж винца похлебаем вдосыт».

Радостные возгласы «ура» чередовались с криками: «Да здравствует матушка Екатерина!» А куча росла и росла, измайловцев становилось густо. Крупные, сильные, они взирали на невысокую, с лучистыми глазами темноволосую красавицу, как на икону.

— Расступись! — загремел голос Григория Орлова.

И сразу — просека в людском лесу. По просеке приближался с крестом и евангелием полковой

священник Алексей Михайлов. Старый, он не мог быстро переставлять ноги, его волокли под руки двое бравых великанов. Прискакал на громадном жеребце сам полковник Измайловского полка, гетман Кирилл Разумовский. Он опустился на колени и, прослезившись, поцеловал руку царицы.

Под открытым небом началась первая присяга на верность новой повелительнице — Екатерине II. И снова крики «ура».

Отныне в России три самодержавных повелителя: двое властвуют, третий — за решеткой.

Екатерина вновь садится в коляску (на облучке, рядом с кучером, седовласый отец Алексей, в епитрахили, с крестом в руках; сбоку, на своем скакуне, гетман Разумовский), и, окруженная орущей толпой измайловских офицеров и солдат, благодарно улыбаясь и раскланиваясь, она едет в Семеновский полк. От оглушительного рева: «Да здравствует Екатерина!» — казалось, дрогнула и уплыла в вечность тень императора Петра Федоровича III.

5

Весть о необычайном событии быстро облетела все полки. Братья Орловы порхали на рысистых конях по всему Петербургу. Их курьеры и посыльные скакали из дворца к Панину, к Волконскому. От Панина неслись его гонцы в сенат, в синод, к воинственной княгине Дашковой, которая все еще сладко почивала.

Вскоре всполошился весь пробудившийся город. Измайловцы, семеновцы, часть преображенцев спешили от казарм к Невской перспективе.

Горожане и солдаты бежали по Литейной, Садовой, переулкам и улицам, направляясь к Зимнему дворцу. По Невской перспективе люди шли густой беспорядочной массой, весело шумели, переговаривались, до хрипоты кричали «ура». Торговцы запирали лавки, присоединялись к публике.

За наследником Павлом был послан полковник Мелиссино. Никита Иванович Панин разбудил сладко

почивавшего мальчика. Медлить некогда, и полуодетого Павла везут в открытом экипаже в Казанский собор к присяге. Он крайне встревожен, он не может понять, к чему такая торопливость. До него долетали странные слухи о каких-то назревающих в придворной жизни событиях. И вот сейчас, сидя рядом с Никитой Ивановичем в быстро мчащемся экипаже, окруженном эскортом скачущих всадников, мальчик с тоской и страхом озирался на шумные толпы спешивших горожан, и его сердце замирало. Он перевел вопросительный взор на замкнутое, обычно ласковое, а в эту минуту суровое лицо своего воспитателя, и умоляющие глаза его вдруг наполнились слезами.

— Никита Иваныч! Что стряслось? Это куда мы едем? Почему народ кричит?

— Успокойтесь, успокойтесь, ваше высочество. Ничего страшного. Вы мужчина. Клики народные от ликования. Народ течет к Казанской церкви. И мы туда же поспешаем, дабы учинить присягу новой государыне, всеблагой матери вашей.

— Новой государыне? А где же родитель мой? — закартавил наследник. — Что... что... с ним? — Он заплакал, стыдливо прикрывая лицо рукавом голубого, накинутого на плечи кафтана.

Чувствительный Панин со всей нежностью обнял наследника, поцеловал его в непричесанную голову и, выхватив кружевной платок, стал бережно вытирать увлажненные слезами глаза и ланиты мальчика.

— Бодритесь, ваше высочество. На вас верные войска и ваш верноподданный народ взирают.

Процессия с Екатериной, выехав с Садовой, двигалась среди толпищ по Невской перспективе. Вдруг показались на рысях стройные эскадроны Конногвардейского полка. С неистовыми криками «ура» они тоже присоединились к Екатерине. Окруженная со всех сторон гвардейскими полками процессия остановилась у Казанского собора [1]. Загудел-залился мали-

---

[1] В то время церковь Рождества богородицы.

новый трезвон колоколов. После краткого в соборе молебна с многолетием «самодержице Екатерине II и наследнику цесаревичу Павлу Петровичу» императрица вступила в Зимний дворец. Было около десяти часов утра.

ГЛАВА XV

Переполох. Екатерина оседлала коня и Россию. Кронштадт зарядил пушки картечью

1

А в одиннадцать часов кончался обычный высочайший развод голштинским войскам. При появлении Елизаветы Романовны голштинские знамена склонились, как перед императрицей. Петр просиял, поздравил войска с чаркой водки.

После развода были поданы кареты, коляски, линейки.

Царь пригласил гостей ехать в Петергоф, чтоб накануне Петрова дня присутствовать при большом обеде в Монплезире у ее величества императрицы, а вечером принести государю поздравление с наступающим днем ангела и быть за ужинным столом.

В парадной открытой коляске Петр поместился вместе с Елизаветой Воронцовой, прусским министром Гольцем и тремя молодыми дамами. Елизавета Воронцова со звездой на красной муаровой через плечо ленте — орден св. Екатерины. Все сопровождающие Петра вельможи и сам Петр ехали запросто, без особых регалий, Елизавета же напялила на себя ленту, с единственной целью унизить соперницу свою — императрицу.

Коляску государя конвоировал блестящий отряд гусар. Экипажи один за другим катили по дороге, гладкой и влажной от недавно пробрызнувшего дождика. Прусский министр Гольц был сегодня не в духе. Да и вообще вся эта большая канитель при

дворе маленького императора не предвещала ничего хорошего ни карьере Гольца, ни его родине.

— Вы знаете, господин, — начал Петр, — к чему может присниться жареная курица? Я видел сегодня сон.

— Курица — не знаю, — ответил Гольц, сидевший против государя, — а жареный, поющий ку-ка-ре-ку петух всегда снится к отменной выпивке, ваше величество.

Дамы рассмеялись. Царь сказал:

— Вы правы, господин министр. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Мои пиротехники устроят нам блистательный фейерверк. Я приказал отпустить сто двадцать пудов пороха. Ночью катанье на иллюминированных шлюпках. Я прикажу подать в Петергоф весь флот. — Он стал гримасничать, кривляться, царственной рукой благосклонно коснулся коленки графини Брюс и сказал: — На вас, графиня, ораниенбаумский воздух действует великолепно: ваши щечки стали алеть, и, когда улыбаетесь, на них появляются восхитительные ямочки.

Красивая графиня смутилась, чрез румяна и пудру сразу выступил натуральный румянец, засмеялась в нос, заглянула в серебряное зеркальце.

— Ах, ваше величество, не смущайте свою пленницу, — нараспев сказала она, обнажая в улыбке белизну зубов.

— Пленницу? — с хохотком вскрикнул Петр и подтолкнул Елизавету Воронцову. — Слышала, Романовна? Но, милая графиня, пока ваше сердце не завоевано мною, не считайте себя моей пленницей.

— Пред вооруженной силой вашего величества падают не только женские сердца, но даже крепости, — не то льстиво, не то желая обидеть Петра, принудившего ее быть при нем, а не при Екатерине, сказала графиня Брюс и потупила взор.

— За иную обладательницу сердца можно отдать все крепости мира, а в придачу и самую жизнь, — возразил Петр.

— Жизнь владык, ваше величество, увы, принадлежит не им самим, а их подданным, — лукаво заметил Гольц, и в глазах его сверкнули злые огоньки.

Фраза явно двусмысленна: и лесть, и издевательское застращивание.

— Ха-ха! Очень хорошо вами, Гольц, сказано: когда жареный петух запоет ку-ка-ре-ку... Господа, давайте запоем все курицами... Кудах-тах-тах! — замахал он руками, как клуша крыльями, и потешно стал ужиматься и гримасничать (кучер покосился чрез плечо на дурашливого императора и ухмыльнулся в бородищу). — Ну, пойте, пойте же! Медам, господин министр...

Гольц, поддерживая свое достоинство, опять кольнул царя, к которому относился с плохо скрываемым презрением:

— Мой государь Фридрих, узнав, что я пою курицей, боюсь, выразит мне свое неудовольствие.

Царь заморгал правым глазом и резко сказал:

— Если он *ваш* государь, то он *мой* друг! И я сумею защитить вас пред его величеством. Кроме того, смею думать, что против орла вы — курица (Гольц сидел как раз против государя).

Проглотив пилюлю, немец приложил руку к сердцу и почтительно поклонился императору.

...Меж тем в Петергофе поднялся переполох: дворцовому коменданту доложили, что исчезла государыня с камер-фрейлиной, лакеем и парикмахером Мишелем. Обшарили весь парк, беседки, все углы. Пьяненький солдат показал, что, когда он, возвращаясь поутру из трактира, перелезал через забор, то видел, как выходили из парка две женщины, а кто такие — не приметил.

Останавливали редких проезжих из Петербурга, но они решительно ничего не знали, да и дорога опустела: экстренным приказом Никиты Панина по всем дорогам устроены заставы, выезд из Петербурга прекращен.

В это время прискакал в Петергоф генерал-адъютант Гудович. Узнав, в чем дело, он пришпорил коня и повернул обратно. Экипаж Петра был в полуверсте от Петергофа. Гудович, подъехав к царю, проговорил:

— Ваше величество, соизвольте остановить коляску.

— Что за глупость! Почему? — крикнул Петр.

Гудович, спрыгнув с коня, стал шептать Петру на ухо. Тот побледнел, сказал гостям:

— Пустите меня вон, — затем отошел с Гудовичем в сторону, раздражительно выспрашивал его, крикнул: — Этого не может быть, не может быть! Она не могла ослушаться моего повеления ждать меня сегодня... Романовна, и вы, господа, — обратился он к гостям, — прогуляйтесь до дворца пешком, тут близко, — вскочил в коляску и во весь дух помчался ко дворцу.

Оставшиеся недоуменно пожимали плечами. Елизавета Романовна, предчувствуя что-то недоброе, начала похныкивать. Все шли молча.

Петр с Гудовичем обшарили весь большой дворец и Монплезир. Петр, дав поблажку своей ярости, сошвырнул с кресла бальное платье Екатерины, поддел его ногой. Грохнул об пол вазу с земляникой, хрустальный лебедь — вдребезги. В спальне беспорядок, кровать прикрыта кое-как, рассыпана пудра, пролита вода. Петр, скрипя зубами, пошарил тростью под кроватью, заглянул в шкафы. Весь опустошенный гневом, выбежал на воздух и, переводя сердитое дыхание, крикнул подоспевшим Романовне и дамам:

— Ну, не говорил ли я, что она способна на все!

Тут подволокли к Петру пойманного на дороге плюгавенького подвыпившего мужичонку. Козлобородый, оборванный, со слюнявым ртом, он повалился Петру в ноги. От него изрядно несло сивухой и чесноком. Петр брезгливо подернул носом и отступил на шаг. Мужик забормотал:

— Вот меня сгребли, а за что сгребли, не ведаю. А выехал я к куму в гости, кум в Ранбове[1] служит, конюшни твоей милости царские чистит. Завтра Петры-Павлы, завтра именинник он, кум-то мой... А солдаты на заставе не пущают: «Куды прешь, не велено!..» Я упросил, укланял. А ты, светлый царь-

[1] Ораниенбаум — в просторечии Ранбов.

государь, не печалуйся, жива-целехонька царица-то, в Питере она. И в Питере, слава те Христу, все благополучно. Солдатни стоит возле Казанской церкви видимо-невидимо, «ура» кричат.

Петр позеленел, бросил в него перчаткой.

— Дурак! Арестовать его!.. Мушик... Вонючая скотина... В палки его! Заковать!.. Сослать в Сибирь! — Петр гримасничал, бегал взад-вперед по дорожке, дергал головой.

— Ваше величество. — Перед царем вытянулся в струнку высокий, опрятно одетый в простую чуйку человек и, встав на колени, подал Петру записку: — От его высочества принца голштинского Георга... Я его переряженный слуга, зипун надел.

Петр схватил записку, быстро пробежал ее, закрыл глаза и покачнулся. Овладев собой, упавшим голосом проговорил:

— Послушайте, послушайте, что пишет мой Жорж...

Миних, Гудович, Трубецкой, принц Петр Гольштейн-Бекский, все общество посунулось к опечаленному императору, окружило его. Он, задыхаясь, тихо прочел:

— «Гвардейские полки взбунтовались: императрица впереди, бьет девять часов, она идет в Казанскую церковь; кажется, весь народ вовлечен в это движение. И где ж твои подданные? Где верные войска? Тороплюсь писать. Опасаюсь сам лишиться жизни. Поспешай...»

— Ну, вот теперь видите, господа, что я был прав. Она низкая дрянь...

Пораженные этой грозной новостью, все опустили головы. Все верили в успех Екатерины. Всем угрожали немилости нового царствования, опала. Елизавета Романовна поднесла к лицу платок. У тучного Трубецкого начались неполадки с животом, он надолго куда-то скрылся. У принца Петра стала неметь и плохо слушаться левая нога.

Утомленный, обескураженный Петр пошел с Гольцем, Романом Воронцовым, Волковым, Гудовичем и Нарышкиным в нижний сад, к каналу. Остальные го-

сти бродили, как тени, возле дворца, сидели на решетке, обдумывали в молчании, как бы лучше ускользнуть в лагерь Екатерины. Ни солнечный день, ни пенье птиц не радовали их.

На Петра сыпались умные и глупые советы. Гольц предлагал немедленно бежать в Нарву, к войскам, идущим в действующую армию. Волков считал необходимым с небольшой свитой явиться государю в Петербург.

— Вы, ваше величество, укажете войскам и народу на свои священные права, на свое высокое происхождение — вы внук великого Петра, расспросите народ о нуждах, дадите милостивое обещание...

Кто-то предлагал бежать прямо в Голштинию. Униженный пред своими подданными, нерешительный, раздавленный событиями, Петр отвергал советы либо соглашался с ними и снова отвергал.

2

Екатерина в это время торжественно восседала в Тронном зале Зимнего дворца. Присягали сенат, синод, члены высших государственных учреждений, генералы, офицеры.

Двадцать тысяч войск всех видов оружия стояли в боевом порядке возле дворца, охраняя государыню. Они тоже все были приведены к присяге. Двери дворца — настежь, входил, кто хотел, — всякому лестно взглянуть на царицу, поцеловать ей руку. Опьяненная дурманом власти, она всем улыбалась, говорила ласковые слова, всех благодарила. И без того румяные щеки ее горели. Чрезмерно взволнованная, как бы приподнятая над жизнью напором необычайных событий, она до краев преисполнена была высшей патетикой, кровь в ней бурлила, мозг горел, потерявшие сон глаза метали лихорадочные искры. Все преклонялись пред ней. Она чувствовала себя обожествленной, кружилась голова, захватывало дух, словно на неокрепших еще крыльях она совершала опасный полет над пропастью.

Панин примчал из Казанского собора малолетнего цесаревича Павла Петровича, одетого небрежно, наспех. Екатерина с балкона показала его войскам и публике.

Всматриваясь с балкона в несметные полчища солдат и любопытной толпы, швырявшей вверх шапки, вслушиваясь в неистово-радостный рев десятков тысяч глоток, она вдруг со всей наивностью поверила в истинную любовь к себе народа. Окруженная генералитетом, взволнованная до последней кровинки и вся сияющая, она возвращается под неумолчный рев толпы обратно в Тронный зал и, еле сдерживая счастливые слезы, шепчет Панину:

— Слышите, Никита Иваныч? Это вам не дворцовый переворот, когда Елизавету посадила на престол какая-то рота лейб-компанцев. Слышите? Меня венчает на царство народ...

Бывалый царедворец иронически подумал: «Этот же самый народ умеет и по-иному покричать, от этого крика может и не поздоровиться». Но, соблюдая торжественность минуты и гордо вышагивая рядом с самодержицей, он громко молвил:

— Все предвещает, государыня, счастливейший путь вашего царствования.

Всюду разъезжали герольды, красавцы всадники с перьями на шляпах, раздавали манифесты о восшествии на престол Екатерины. Люди с жадностью набрасывались на свежепечатные листы, но ничего не могли понять. А где же император Петр? Жив или помер? Почто про него в манифесте ни слова, ни полслова?

Меж тем по городу еще с утра ходили кем-то распускаемые слухи, что император упал с лошади и разбился насмерть.

3

Петр все еще бодрился. Он петухом шагал на негнущихся ногах взад-вперед возле цветочной клумбы пышного петергофского парка, выборматывал никому не страшные угрозы, гневно сшибал тросточкой цветы.

Из толпы генералов выдвинулся канцлер М. Л. Воронцов.

— Разрешите мне, государь, поехать в Петербург. Я имею силу над умами народа и императрицы. Я пущу в ход все свое красноречие, весь свой авторитет, я урезоню императрицу, указав ей на всю неблаговидность ее поступка.

— Пожалуйста, граф. И тотчас возвращайтесь ко мне.

— Сочту священным долгом, государь.

— И передайте ей, что она будет повешена, как крыса! — Он обнял Воронцова, и карета с гербом унесла канцлера в столицу.

А вслед за ним были посланы уже самим Петром князь Трубецкой и граф Шувалов с повелением удержать гвардию в повиновении. Царь сказал им, что если они сумеют поразить узурпаторшу кинжалом, имена их будут для него незабвенны.

— Гудович! Потрудитесь тотчас составить приказ верным моим голштинцам. Без промедления чтоб спешили из Ораниенбаума сюда со всей артиллериею...

Он вдруг стал бегать, подобно помешанному, часто просил пить, кричал: «Стол, два стола, бумаги!» Диктовал приказы: гусарам ездить по всем дорогам к Петербургу, сгонять сюда из соседних деревень крестьян с топорами и лопатами, задерживать проходящие полки, привлекать их к Петергофу обещанием от государя милостей.

В Кронштадт был послан полковник Неелов с указом переправить в Петергоф три тысячи солдат с боевыми патронами.

Угнетенное состояние Петра сменилось вспышкой суетливой деятельности. Он поискал Гольца взглядом, — прусского министра близко не было. Тогда он сбросил с себя прусский мундир с прусской лентой и велел лакеям облечь его в мундир русский и возложить все знаки отличия Российской империи.

Придворные и четыре писца переписывали именные указы, царь подписывал их на ходу, где-нибудь

на парапете шлюза. Гусары развозили их. Но в его противоречивых повелениях не было ни логики, ни зрелой мысли. Впрочем, указы Петра теперь никому не нужны, их никто не будет читать.

— Пить, пить! — требовал он.

Ему принесли водку, наливку, пиво, но пил он только московский, с изюмом, квас, не касаясь до хмельного. Он принялся сам строчить безграмотные, на русском языке, манифесты, преисполненные ругательствами по адресу Екатерины. Писал, разрывал их на части и, наконец, засадил писать тайного секретаря Д. В. Волкова. А сам, встав в позу, грозно указывая на петергофские высоты, закричал так пронзительно, что все вскочили:

— Рыть в зверинце траншеи!.. Редуты!.. Ставить пушки... Трусы! Я сам буду командовать. Я засыплю картечью, ядрами всех ее проклятых янычар вместе с ней. Я всем им устрою здесь хорошую могилу!..

— Государь, — твердой походкой приблизился к нему по кленовой аллее престарелый Миних. Он лелеял тайную мечту, что приспело время снова ему выдвинуться в первые ряды вельмож и снова стать, как при царице Анне, обладателем власти. — Государь, больше спокойствия, и — престол ваш будет спасен.

Опустошенный Петр вперил большие, детски-наивные глаза в лицо сурового старика, опустил по швам обессилевшие руки.

Крупный, крепкий Миних, хмуря брови, взял хилого Петра под руку и повел по кленовой аллее прочь от людей. Многие из оставшихся вельмож стали подумывать о бегстве в лагерь государыни, положение всех их было очень незавидное.

— Слушайте меня, великий государь, внимательно, — каким-то лающим, с удушьем, голосом начал Миних. — Чрез несколько часов ваша супруга может оказаться здесь с двадцатитысячным войском и сильной артиллерией... (Петр боднул головой, захлопал глазами.) Поверьте мне, старому вояке, что ни Пе-

тергоф, где мы находимся, ни окрестности не могут против превосходных сил удержаться более двадцати минут. А я знаю свойство русского солдата: ваше слабое сопротивление кончится тем, что озлобленные солдаты убьют вас, а окружающих ваше величество тоже убьют!

Петр резко отстранился от Миниха, задергал головой, заморгал правым глазом и сердито прошептал:

— Что вы говорите, фельдмаршал... Я не узнаю вас.

Фельдмаршал пожал плечами, в его строгих под нависшими бровями глазах едва уловимые искры презрения. Несколько мгновений смотрели друг другу в лицо. Широко открытые глаза Петра вдруг испугались.

— Так что же нам делать, фельдмаршал? — растерянно спросил он.

Миних вновь взял его под руку, опять повел в глубь кленовой аллеи.

— Прежде всего, мой государь, спокойствие духа. Вы ж закаленный воин, вы ж друг великого Фридриха.

— О да! — не поняв насмешки, напыщенно воскликнул Петр, выпятил, как индюк, грудь и проткнул тростью воздух. — Дальше, фельдмаршал...

— Спасение ваше, государь, в Кронштадте: там снаряженный флот и верный гарнизон. Счастье переменчиво. Лишь бы выиграть один день. И все это ночное бунтарство в столице само собой иссякнет. А ежели б и продолжалось оно, то на вашей стороне, государь, будут грозные силы, которые могут заставить трепетать восставший Петербург... Тр-репетать! — с треском произнес Миних и погрозил в сторону столицы.

Петр вырвался от Миниха, как с привязи щенок, и, помахивая тросточкой, помчался к толпе придворных с криком:

— Господа, мы спасены!

В Крондштадт немедленно отплыли на шлюпке генерал голштинского отряда Девьер и князь Иван

Сергеевич Барятинский с высочайшим повелением приготовить крепость к принятию государя. А первый приказ, о присылке в Петергоф военной силы в три тысячи штыков, отменить.

Из Ораниенбаума подошли тем временем с развернутыми знаменами голштинские войска и небольшие русские части. Одушевленный их приходом и советами фельдмаршала, Петр впал в воинственное настроение. Велел привести отряд в боевой порядок, а свите запальчиво сказал:

— Мне не подобает бежать, не сразившись с неприятелем. А вы все трусы, трусы! И Миних — трус!

Приказал войскам занимать высоты в зверинце, рыть окопы, выставить все пушки. От Петра утаили, что у артиллерии ядер очень мало, а картечи вовсе нет. Общее командование голштинским отрядом и русскими частями Петр поручил своему любимцу генерал-майору Измайлову.

— Михайло Львович, я тебя почитаю своим другом. Будешь ли верен мне?

— Буду, государь.

— Клянешься ли?

— Клянусь.

Было четыре часа дня.

4

В этот час у Зимнего дворца начался маскарад с переодеванием: каптенармусы привезли в особых фурах старые елизаветинские мундиры; солдаты срывали с себя ненавистную прусскую форму, бросали каски, облачались в прежнее обмундирование.

Выйдя из Зимнего, еще не достроенного, дворца, чтоб перебраться в Елизаветинский, что́ у Полицейского моста, Екатерина не узнала своих переодевшихся войск, также шумно приветствовавших ее.

В Елизаветинском дворце состоялось совещание генералитета: как быть с низложенным Петром и во-

обще что делать дальше? И опять спешно строчились указы, приказы, именные повеления, опять летели во все стороны гонцы.

Никита Иванович Панин предостерег:

— Нам страшней всего Кронштадт.

Императрица тотчас собственноручно написала коротенький указ на имя адмирала Талызина, бывшего на совещании:

«Господин адмирал Талызин от нас уполномочен в Кронштадт, и что он прикажет, то исполнить.

Июня, 28 дня, 1762 г.

Екатерина».

Талызин поспешил сесть в простую шлюпку и тайно выехал в Кронштадт. Но туда, как сказано, еще ранее направился посол Петра, генерал Девьер. Предстояла встреча двух врагов. Кто кого пересилит, перехитрит, за тем останется и Кронштадт.

Деликатный вопрос о личной судьбе Петра III разрешился быстро. Понюхав табачку из золотой табакерки государыни, Панин начал:

— Понеже двум государям один престол занимать невместно...

— Бывшего императора арестовать, — смело закончила его мысль Екатерина.

Генерал-майор Савин получил повеление немедленно отправиться в Шлиссельбург, чтобы приготовить приличное помещение Петру. Было указано на тот самый дом, который строил Петр для заточения Екатерины.

А войска все подходили и подходили из окрестностей столицы и примыкали к восставшим, выстраивались вдоль Мойки и по Морским улицам.

Наконец из Ораниенбаума прибыл к Екатерине канцлер, граф М. Л. Воронцов. Через набитые людьми дворцовые залы он едва протискался до кабинета, где с лихорадочным жаром шло заседание.

— Ваше величество, — взволнованно обратился он к Екатерине. — Я как верноподданный своего государя и присягнувший ему...

— Знаю, — прервала его Екатерина, прищурив глаза и загадочно улыбаясь, — вы прибыли с поручением бывшего императора доказать мне незаконность моего поступка или убить меня... (Воронцов изумленно развел руками и отступил на шаг.) Но, милый граф...— Екатерина встала, взяла канцлера под руку, подвела к окну. — Взгляните на это людское море, на лес штыков и — поймите меня. Не я действую: я повинуюсь желанию народа.

В ее взгляде сквозила усмешка и презрение к раздавленному недругу. Голова канцлера кружилась, сердце изнемогало, мысль кричала: «Выбирай скорей, решай, решай: смерть или измена».

После мучительных колебаний канцлер Воронцов, как и прибывшие вслед за ним Шувалов с Трубецким, беспрекословно присягнули ей и к ожидавшему их Петру не возвратились.

И вообще к императору не возвратился ни один его гонец. Это Петра удручало, бесило. В семь часов вечера он наскоро, по-лагерному, пообедал: на скамейку, где он сидел, поставили жаркое, бутерброды, бургундское, шампанское. Предчувствуя, что скоро все оставят его, царь с горя много пил и порядочно-таки опьянел, но бодрость духа уже навсегда покинула его.

Меж тем деятельность Екатерины с каждым часом возрастала.

Екатерина с царедворцами ясно видела, что Петр в свою защиту ничего предпринимать не в состоянии. Не теряя времени, она сбросила с себя маску куклы, повинующейся «желанию народа», и нанесла последний удар своему немощному супругу.

Около десяти часов вечера размашистым, но твердым почерком она написала сенату краткий указ:

«Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войсками, чтоб утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полною доверенностью, под стражу: отечество, народ и сына моего.

Екатерина».

Охваченная воинственным пылом, уверенная в окончательной победе и полном торжестве своем, она вся преобразилась: глаза ее светились силой, мужеством, голос звенел властно, жесты стали повелительны, весь лик надменен и дерзок.

Царедворцы вдруг почувствовали, что имеют дело с женщиной сильного ума и не менее сильной воли. Многие сразу принизили себя, потеряв даже тень собственного достоинства. Многие, рабски согнув спины, обратились в льстивых лисиц: они уже помахивали хвостами, заранее пуская слюни, облизываясь на вкусные куски, которые вот-вот бросит им, своим рабишкам, всемилостивейшая рука великой повелительницы.

Маскарад продолжался, все катилось как по маслу. Екатерина облеклась в форму лейб-гвардии Семеновского полка, надела андреевскую через плечо ленту. Будучи искусной наездницей, молодцевато вскочила она на заседланного белоснежного коня и, обнажив шпагу, проехала пред гвардиею. И снова бешеный рев войск и огромной толпы зевак, звучная музыка. Полетели вверх шапки. Екатерина обратилась к сопровождавшему ее генералитету:

— Этот энтузиазм народа и войск напоминает мне энтузиазм времен Кромвеля.

Когда все смолкло, она, проехав по рядам войск, объявила себя полковником гвардии и мановением руки приказала полкам выступать в Петергоф. Гвардия двинулась повзводно, церемониальным маршем, с музыкой. Но раньше гвардии ушла еще в восемь часов вечера легкая кавалерия — гусары и казаки, предводимые поручиком Алексеем Орловым. За легкой кавалерией двигалась артиллерия с несколькими полевыми полками. А в арьергарде, под водительством самой Екатерины, — гвардия.

Рядом с большой Екатериной тряслась Екатерина малая, тоже на коне и тоже в гвардейском мундире. Обе женщины весело болтали. Сзади в свите два фельдмаршала — Бутурлин с Трубецким, гетман Разумовский, князь Волконский, граф Шувалов и другие.

5

И наконец-то... — слава богу, слава богу! — по сизой морской зыби быстро скользит к Петергофу шлюпка. Все бросились на берег. Флигель-адъютант Петра, князь Иван Сергеевич Барятинский, светлый гонец из Кронштадта, привозит Петру от генерал-голштинца Девьера весть: «Кронштадт готов встретить своего императора и постоять за него до последней капли крови».

Всех вдруг обуяла радость... Велик бог земли русской! — значит, еще не все потеряно.

— Не я ли говорил, великий государь, что спасение ваше в Кронштадте, — с бодростью, но подобострастно воскликнул Миних, окидывая воодушевившихся гостей проницательным взглядом.

Все столпились возле монарха. Он порывисто обнял Миниха, обнял счастливого князя Барятинского. На подвижном лице Петра снова насмешливая улыбка, он опять стал шутить, гримасничать, пустился было играть в догоняшки с двенадцатилетней принцессой Голштинской, но прусский министр Гольц сказал:

— Надо немедленно отплыть в крепость!

— В Кронштадт, в Кронштадт... Немедля! — воскликнул царь.

Однако сразу этого сделать нельзя, — нужно украсить галеру коврами, драгоценными вазами с букетами цветов, а на яхту перенести кухню с винами: ведь плавание будет совершать не кто-нибудь, а высочайшая особа императора.

Обнадеженный и обольщенный верностью флота и крепостного гарнизона, Петр приказал: «Голштинским войскам идти обратно в Ораниенбаум, оставаться там спокойными».

Вдруг примчались на взмыленных конях два гусара. Они кричали, что казаки с артиллерией движутся от столицы к Петергофу. И тут уж не до цветов с коврами: Петр и гости, не раздумывая, бросились к морю.

В одиннадцать часов ночи оба судна при хорошем попутном ветре вышли в Кронштадт. Вместе с Петром

и Елизаветой Воронцовой в галере было двадцать девять человек придворной знати, да на яхте вместе с Гольцем восемнадцать человек, да придворная прислуга в трюме.

Итак, суда быстро скользят к твердыням грозного Кронштадта, спасение близко, — слава богу, слава богу! — белая ночь благоухает морской влагой и всех бодрит.

— Шампанского! — повелевает Петр.

Возле входа в гавань императорская галера и яхта отдают якорь. Вход в гавань закрыт боном. Петр садится со свитой в шлюпку, подъезжает к бону, громко приказывает:

— Слушай команду!.. Отдать бон!..

Мичман Кожухин, дежуривший на бастионе, кричит в трубу:

— Ретируйтесь в море! В Крондштадт пропуску нет!

Петр вспылил: «Дурак! Р-ракалья!» — и задергал шеей. Но тут же вспомнил: генерал Девьер доносил ему чрез князя Барятинского, что по Кронштадту дано распоряжение никого в крепость не впускать, что Кронштадт верен императору и готов к его защите. Значит, караульный — молодец, он действует по закону и, как только узнает, что говорит с ним сам император, немедленно впустит его.

Петр вскочил на скамейку шлюпки, сбросил плащ и, выставив напоказ андреевскую чрез плечо ленту, резким голосом приказал:

— Караульный, всмотрись!.. Пред тобой сам император Петр!..

— У нас больше нет императора Петра! — дерзко отвечал в трубу мичман Кожухин. — У нас императрица Екатерина. Ретируйтесь прочь!

Кровь бросилась Петру в голову, зазвенело в ушах, похолодало сердце.

— Что это значит, князь? — дергаясь, закричал он сиплым голосом на Барятинского (у молодого флигель-адъютанта душа ушла в пятки). — Извольте повторить, что вам сказал мой Девьер!

— Генерал Девьер приказал доложить вашему величеству, что Кронштадт готов встретить своего императора и постоять за него до последнего издыхания.

— Так в чем же дело?

Но Барятинский и сам не понимал, что тут происходит.

А вышло очень просто. Лишь только князь Барятинский с радостным известием выбрался на шлюпке из Кронштадта в Петергоф, как в Кронштадт в девять часов вечера благополучно прибыл посланный Екатериной адмирал Талызин. Он там искусно и быстро склонил на сторону Екатерины коменданта Нummерса, арестовал подосланного Петром голштинского генерала Девьера и привел матросов с солдатами к присяге императрице.

А мичман Кожухин все громче, все настойчивей кричал с бастиона в рупор:

— Ретируйтесь прочь. Иначе прикажу стрелять!

— Изменник!!! Арестовать, арестовать! — вне себя орал обезумевший царь, он весь содрогался, свирепо топал, тяжко дышал, все в его глазах темнело, качался берег с бастионами. Его подхватили под руки.

В Кронштадте бьют тревогу. Видно, как на бастионы бегут к пушкам солдаты. Тревога подымается и на всех судах флота. Пушкари и группы солдат ожесточенно орут с бастиона:

— Галеры прочь! Галеры прочь!.. Наводи пушки!..

Яхта и галера впопыхах рубят причальные канаты и на веслах спешно уходят в море.

Ошеломленный Петр, собрав последние силы, приказывает галере плыть в Ораниенбаум, яхте — в Петергоф.

Неожиданное вероломство верного императору Кронштадта потрясло Петра.

От огромной Российской империи и его неограниченной власти остались теперь два судна, Ораниенбаум да голштинский плохо вооруженный сброд.

Петр изнемогал. Мертвенно-бледный, дрожащий, он, едва сошел в каюту, свалился на диван и, застонав, впал в беспамятство. Рыдающая Елизавета Воронцова поспешила к нему. Был час ночи.

ГЛАВА XVI

Трагедия окончена

1

А в пять часов утра возле «Красного кабачка», в лагере Екатерины, отдан был разбуженным войскам приказ — готовиться к дальнейшему походу в Петергоф.

«Красный кабачок» — грязный трактир, излюбленное место извозчиков. Екатерина, не раздеваясь, легла отдохнуть в неопрятную постель с клопами. Клопы с особым удовольствием и совершенно безнаказанно впервые вкушали царской крови. Екатерина сладко похрапывала. И в шесть утра она уже опять в седле, впереди войск.

Сведений, где Петр, что с ним, к ней до сих пор не поступало. И только возле Сергиевской пустыни все разъяснилось: князь Голицын привез из Ораниенбаума Екатерине собственноручное письмо Петра, в котором он сознавался в своей неправоте по отношению к императрице, клялся впредь исправиться, предлагал вечный с нею мир и совместное царствование.

Екатерина, прочтя, жестко ухмыльнулась. Князь Голицын тут же присягнул ей. Письмо осталось без ответа.

Вскоре Екатерина полновластно вошла в тот самый Монплезир, из которого сутки тому назад, крадучись, убежала.

В полдень она получила второе письмо бывшего царя, доставленное ей генералом Измайловым. Печальный Петр просил прощения, соглашался отречься от престола, умолял отпустить его в Голштинию вместе с генералом Гудовичем и фрейлиной Е. Р. Воронцовой. Екатерина с сугубым вниманием читала это письмо. Она отчетливо понимала, что Петра ни в коем разе нельзя выпускать из пределов России. Петр должен быть арестован. Однако без кровопролития сделать это трудно: Петр все же окружен тремя тысячами

преданных ему голштинцев, а Екатерина вовсе не желает запятнать эпизод переворота кровью; она боится суда истории, нелестного мнения потомков.

Н. И. Панин совместно с генералитетом тщетно ломали головы, как без жестокого побоища схватить царя: на сей раз вдохновение их не осеняло. Спасибо, помог близкий друг царя генерал Измайлов, привезший от Петра письмо и Петру коварно изменивший. Он предложил Екатерине свои услуги исполнить деликатную и тяжелую миссию — привезти в Петергоф бывшего царька живьем. Екатерина «всемилостивейше» согласилась.

Панин вместе с Екатериной составили акт об отречении. Петр должен был собственноручно переписать его и подписать:

«В краткое время правительства моего самодержавного Российским государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим несогласное, чтоб мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительства владеть Российским государством. Почему и восчувствовал я внутреннюю оного перемену, наклонящуюся к падению его целости и к приобретению себе вечного чрез то бесславия. Того ради, помыслив я сам в себе, беспристрастно и непринужденно чрез сие объявляю не токмо всему Российскому государству, но и целому свету торжественно, что я от правительства Российским государством на весь век мой отрицаюся... в чем клятву мою чистосердечно пред богом и всецелым светом приношу нелицемерно, все сие отрицание написав моею собственной рукой. Июня 29 дня, 1762 года».

2

Измайлов вернулся в Ораниенбаум вместе с Григорием Орловым и князем Голицыным. Переговоры генерал Измайлов вел с Петром с глазу на глаз в аудиенц-зале. Петр казался еще более, чем обычно, слабым и подавленным. Сегодня 29 июня, день тезоименитства императора.

— Позвольте поздравить вас, государь, с днем вашего ангела, — как ни в чем не бывало начал друг Петра, генерал Измайлов. Такое неуместное приветствие прозвучало как издевательство.

Петр кивнул головой, его шея обмотана белым платком, — торчала вата, — голос был хрипл, видимо он простудился вчерашней ночью на море.

— Есть ли ответ от императрицы? — не глядя на генерала, выкрикнул Петр.

— Есть, ваше величество. — И, придав лицу маску скорби, вероломный генерал Измайлов вручил бывшему царю акт отречения и маленькую записочку царицы.

Петр вялыми после бессонницы глазами просмотрел акт, стукнул в стол перстнем и надорвал бумагу.

— Не хочу!.. Что они там затевают? Сейчас же еду в армию, в Пруссию, в Голштинию... Я пойду на подлую узурпаторшу войной... Молчать, молчать! И где твоя, Измайлов, клятва?! — выкрикивал он простуженным голосом, хватаясь то за шею, то за шпагу. — Всюду предатели!

— Войска ее величества в двух часах отсюда, — спокойно сказал Измайлов. — Сводный казачий отряд под начальством Алексея Орлова уже окружает Ораниенбаум. А ее величество государыня императрица повелевает немедля быть вам в Петергофе. И я, как верный раб ваш, дружески советую вам, государь, исполнить высочайшее повеление, — с нескрываемым ехидством закончил Измайлов.

Петр заскрежетал зубами, сверкнул на изменника взглядом презрения, приоткрыл дверь, крикнул: «Трубку!..» — стал дымить, стал быстро, быстро шагать по комнате. В глазах туман. Он чувствовал, что ему приходится играть теперь не с оловянными солдатиками, а сойтись грудь в грудь с живыми богатырями. Он дрожал от унижения и бессильной злобы, его ум мешался, кровь леденела. Выбежав в соседний танцевальный зал, он кричал там среди пустых стен: «Молчать, молчать!» Опять вернулся, стиснул обеими руками голову, несколько мгновений стоял с закрытыми глазами, как бы в столбняке, потом, застонав,

подбежал к овальному столу и судорожно схватил лист свежей бумаги, подсунутый ему Измайловым.

Вскоре генерал Измайлов вынес Григорию Орлову и князю Голицыну собственноручный акт Петра об отречении. Те на полном карьере поскакали в Петергоф. Измайлов, успев при помощи казаков разоружить трехтысячный отряд голштинцев, торопил Петра с отъездом. Провожать царя вышла вся прислуга. Хныкали, целовали его руки, шептали потихоньку от Измайлова:

— Батюшка наш... Схоронись куда-нибудь, лошади твои заседланы, беги в Голштинию... А то она прикажет... убить тебя.

Петр обнял плачущего Нарциса, сказал:

— Дети мои, теперь мы ничего не значим...

Через полчаса отъехала от дворца печальная карета, в ней печальный Петр, Елизавета Воронцова, Гудович и — торжествующий Измайлов. Вдруг залаяла, жутко завыла во дворе многочисленная псарня, как бы прощаясь с арестованным хозяином. Петр зажал уши ладонями, сморщился, закрыл глаза, по щекам его катились слезы. За оградой зеленого парка карету окружил екатерининский отряд гусар. В отряде гарцевал на вороном жеребце рослый и ловкий молодой красавец, капрал Григорий Потемкин.

Петру отвели в Петергофе павильон. С «султанши» тотчас сорвали екатерининскую ленту со звездой. Дежурному офицеру Петр сам вручил свою шпагу. С пленника сняли андреевскую ленту и преображенский мундир. Он остался босиком, в одной рубахе, в подштанниках, растоптанный, жалкий. От сильного волнения он не мог произнести ни слова.

Спустя время зашел в расшитом кафтане сенатор Никита Панин — властный, сияющий, с гордо откинутой головой. Но когда он взглянул на бывшего своего повелителя, полулежавшего в кресле, одетого в простой помятый халат, с компрессом на голове, Панин душевно ослабел.

— Никита Иваныч! Только вы один, нелицемерный благодетель мой, можете защитить нас... — в порыве горести прокричал Петр, угловато встал, запахнув беспоясный халат, расслабленно подошел к Панину. — Я ничего не ищу, ничего не требую, — заговорил он торопливо по-французски. — Передайте государыне... Я прошу только не разлучать меня с Романовной... Да, да... С Романовной...

Он ловил надушенные руки растерявшегося вельможи и вдруг громко зарыдал.

Холеное лицо Панина выразило непроизвольную брезгливость и жестокое страдание: такой мучительной минуты он не испытывал во всю свою жизнь. «Да, я — палач, невольный палач», — с содроганием подумал он и про себя взмолился: «Господи, прости меня».

— Успокойтесь, успокойтесь, — крайне смущенно твердил он вслух, стараясь хоть как-нибудь подбодрить свою «жертву».

Но Петр, мотая головою и ничего не видя, продолжал громко, взахлеб рыдать.

А Елизавета Романовна, стоя на коленях возле Панина, причитала:

— Никита Иваныч, Никита Иваныч! Вы такой великодушный... Умоляю вас...

Весь внутренне растерзанный, с гримасой неизъяснимой жалости, Панин пятился к двери. Петр с Елизаветой выкрикнули жалкие слова и, видя в Панине единственного своего спасителя, ползли за ним, отчаянно умоляя его о пощаде. Панин едва открыл дверь и, выпучив глаза, чуть не бегом поспешил во дворец, к императрице. Его мучило удушье, он дрожал.

Екатерина приказала: Петра немедля отвезти в Ропшу и там держать без выпуску, а бывшую фрейлину, княгиню Елизавету Воронцову, выслать под караулом в Москву.

В четыре часа дня четырехместная карета с завешенными окнами, запряженная шестерней, выехала с Петром, под сильным конвоем гренадер, в Ропшу. Начальство над конвоем было поручено Алексею Орлову, в помощь ему дали Пассека, Баскакова и

князя Федора Барятинского. А бывшую «султаншу» в закрытом дормезе, в сопровождении двух солдат, отправили в Москву. Генерал Гудович был тоже арестован.

Переворот закончен. Екатерина возвещала:

«Божие благословение пред нами и всем отечеством нашим излиялось, чрез сие я вам, господа сенаторы, объявляю, что оная рука божия почти и конец всему делу благословенный оказывает».

В тот же вечер двинулись из Петергофа в обратный поход все войска. А на другой день под звон колоколов, под несмолкаемые оркестры военных трубачей и пушечные салюты Екатерина торжественно вступила в Петербург.

Было воскресенье. Солнце. Жара. Столица веселилась, бражничала. Все кабаки, трактиры, винные погреба для солдат открыты настежь. Солдаты, да и простолюдины, напивались вином вдосыт и запасались хмельным впрок: и водку, и пиво, и виноградные вина сливали в одно место — в котелки, в ведра, в баклаги, а у кого не было под руками ничего — цедили в сапог.

Итак, Екатерина царствует. Вчерашний император Петр сидит под арестом в Ропшинском дворце. В пеленках венчанный на царство бывший император Иван Антонович томится в Шлиссельбургской крепости.

Недаром престарелый фельдмаршал Миних восклицал позже среди друзей:

— Мне довелось, между прочим, присягать трем царственным особам: Иоанну Антоновичу, Петру Федоровичу и Екатерине. И все трое—по сей день живы. Случай во всемирной истории единственный... Шекспир, где ты?!

3

Ропшинский дворец построил Петр Великий и подарил своему любимому князю Ромодановскому, затем дворец был отписан в казну. Арестованный царек прибыл в Ропшу вечером 29 июня, в день своего

ангела, и помещен был в спальне дворца. Он остался один, у дверей — часовой. Окна плотно завешены зелеными гардинами. В комнате тюремный полумрак. Унылый Петр робко подошел к окну, отодвинул гардину. За окном — цветущий парк, и где-то за горизонтами — милая Голштиния.

— Прочь от окна! — закричал часовой от двери.

— Прочь от окна! — грубо закричали в парке гренадеры и, подбежав к окну, направили ружья в грудь Петра.

Их много за окном, весь дворец оцеплен ими, они ненавидят бывшего царя.

Опустив голову, Петр отошел в глубь комнаты.

— Задерни занавеску! — крикнул часовой.

Петр подошел, задернул.

— Ты не моги к окнам подходить, черт тонконогий. Не приказано. А нет — штыка отведаешь.

Каждым шагом, каждым движением вчерашнего повелителя всея России теперь грубо повелевал простой солдат.

На другой день, с утра, был при Петре, кроме часового, дежурный офицер. Петр попросился погулять в парк, офицер отказал.

Приехал Алексей Орлов. Большой, статный, он вошел к Петру с громыхающим бодрым хохотком.

— Ну, здравствуйте, Петр Федорыч! Как изволили почивать?

— Плохо. Господин офицер грубит, часовой из рук вон груб.

Гремя шпорами, Орлов подошел к солдату и дал ему по уху легкую затрещину. Петр закричал:

— Не этот!.. Другой... Тот сменился.

— Ничего, в задаток, — сказал Орлов.

Щека солдата покраснела, подбородок дрожал.

— Мне хочется в парк погулять, а вот офицер не велит.

— Это почему? — сказал Орлов. — Пойдемте, Петр Федорыч, пойдемте. — Орлов распахнул дверь на террасу, в солнечный простор, пропустил Петра вперед, а дежурившим на террасе гренадерам незаметно подмигнул. Те враз загородили штыками

выход. — Ну, значит, нельзя, — сказал Орлов. — Вертайте, батюшка Петр Федорыч, в комнату. Нельзя, Никита Иваныч Панин запретил...

— Ой, Панин ли?! — слабым голосом, тяжело переводя вздох, воскликнул Петр. — Не Панин, а, сдается мне — Екатерина...

— Ну, вот уж нет, — отвечал Орлов. — Матушка государыня печется о вас, как о... как... Да вот... — Он крикнул в дверь, и два солдата втащили в комнату большой сундук. — Это вам, Петр Федорыч, государыня изволили прислать в подарок. — Орлов открыл сундук и начал выгружать на стол снедь, питие, сладости, жаренный в сахаре миндаль, глазированные померанцы, абрикосы, персики, целые горы пряников, закусок, батареи английского портера, бургундского, картузы с ароматным табаком. — Ну, чем бог послал... Подкрепимся... Потом в картишки.

— У меня ни гроша, поручик, — с плачевной гримасой сказал Петр.

— Господи, твоя воля! — воскликнул Орлов и бросил на стол кожаный мешочек с червонцами. — Да вам от казны будет отпущено в меру вашего аппетита, сколько душе угодно!

— Мне много и не надо. Куда мне? Вот бы лекаря моего, Лидерса, я совсем болен... Очень болит голова.

— Вижу, — сказал Орлов, смачно пожирая увесистые ломти вестфальской ветчины и запивая пивом. — Шея у вас тонкая, весь вы болезненный, волосенки реденькие. Глаза красные.

— Это от неприятностей...

— Ну, какая там неприятность. Все под богом ходим. Все, батюшка Петр Федорыч, все!.. А шейка у вас действительно тонковата, Петр Федорыч, зело тонковата.

— Да что тебе далась моя шея! — прикрикнул Петр. — Повесить, что ли, собираешься меня?! — Петр стал бегать по комнате, гримасничать, фыркать.

— Боже сохрани! Да что вы... — замахал на него руками Орлов. — Я ж по-дружески.

— Молчать, молчать! — выборматывал Петр, подбежал к камину, облокотился о мраморный выступ, обхватил ладонями голову, плечи его стали подпрыгивать. Он стоял спиной к удивленному Орлову, сквозь всхлипы кричал надтреснуто: — Дайте мне Елизавету Романовну! За что вы, варвары, мучаете меня?! Дайте Романовну!..

У Орлова остановился в горле кусок, он пучеглазо глядел в спину вчерашнего императора, на его запрокинутую, стиснутую ладонями полуоблыселую голову. Красные губы Орлова кривились в недоброй улыбке.

— Ну, скрипку, ну, собачку, камердинера... Ну, Нарциса дайте мне... Негодяи!.. Узурпаторы!.. — выстанывал узник.

Подошли офицеры — Бредихин, князь Федор Барятинский (тот, что когда-то не исполнил приказа Петра арестовать Екатерину), Пассек и другие. Петра успокоили, сели за стол, стали пить, несли грязную похабщину, хохотали. Даже солдат, ухмыляясь, крепко закусил губы, чтобы не прыснуть. Только Петр был мрачен, скучал и вздыхал.

Узнав о просьбе узника, Екатерина тотчас отправила в Ораниенбаум генералу В. И. Суворову [1] приказание: «По получении сего извольте прислать в Ропшу лекаря Лидерса, да арапа Нарциса, да камердинера Тимлера, да велите им брать с собою скрипку бывшего государя, да его мопсинку, собаку...»

На другой день комната узника оживилась. Под смычком Петра плаксиво зазвучала горестная скрипка, камердинер и Нарцис смирно стояли у камина и, поймав взор господина своего, со всех ног бросались к нему, чтобы исполнить то или иное желание его.

Разжиревший мопс то ластился, кряхтя, к Петру, то подолгу смотрел в тоскующие глаза его. Пес недоумевал, почему хозяин перестал прыгать чрез ножку, хохотать и бегать с ним, мопсом, по аллеям парка? И куда запропастилась добрая, толстая тетя,

[1] Отец генералиссимуса Суворова.

пичкавшая его, мопса, сладостями? И почему хозяин уехал сюда, почему нет с ними прежних человеков, а все новые... Странные, очень странные дела творятся... Мопс вскакивает на широкую под балдахином кровать, ложится в ногах Петра, вздыхает, в его собачьих преданных глазах влажная печаль.

4

Сегодня дежурили при Петре уже два новых офицера, такие же грубые, как и вчерашний.

Петр послал Екатерине письмо на французском языке:

«Сударыня, я прошу ваше величество быть уверенной во мне и не отказать снять караулы от второй комнаты, так как комната, в которой я нахожусь, так мала, что я едва могу в ней двигаться. И так как вам известно, что я всегда хожу по комнате и что от этого у меня распухают ноги. Еще я вас прошу не приказывать, чтобы офицеры находились в той же комнате со мной, когда я имею естественные надобности, — это невозможно для меня... Отдаваясь вашему великодушию, прошу отпустить меня в скором времени с известными лицами в Германию...

Ваш нижайший слуга *Петр*».

Но в расчеты Екатерины вовсе не входило отпускать Петра куда бы то ни было за пределы России. Она сама, да и все приближенные вместе с Паниным судили и рядили, как быть с Петром. Петр являлся вечной угрозой участникам переворота и спокойствию самой империи. Уже дважды в присутствии Екатерины обсуждался этот вопрос, но Екатерина, выслушивая доводы, молчала, предоставляя приближенным читать ее мысли. Конечно, самое лучшее, если б Петр догадался умереть. Но жизнь каждого из смертных, в том числе и несчастного Петра, «в руце божией».

В конце концов приближенные убедились, что Петр так или иначе должен быть устранен с государственного горизонта. Стали думать, как бы тайно от царицы измыслить к тому план и осуществить его без ее явного согласия.

Между тем кутила Алексей Орлов вместе с офицерами продолжал навещать Петра, устраивать попойки, картежную игру, ссоры между бывшим царьком и офицерами. Петр мало ел, мало пил, охал, жаловался на живот, часто ложился. «Господи, уж не отравил ли меня этот разбойник Орлов?» — в беспомощной тоске думал он и не знал, как спасти жизнь свою.

В ожидании великих милостей брату и себе, Алексей Орлов пьяно, безграмотно, торопливо и небрежно писал императрице:

«Матушка Милостивая Государыня, здравствовать вам мы все желаем нещетные годы. Мы теперь по отпуск сего письма и со всею командою благополучны, только урод наш очень занемог и схватила Ево нечаянная колика, и я опасен, што он севоднишную ночь не умер, а больше опасаюсь, штоб не жил... а сие пишу во вторник, вдевятом часу вполовине.

Посмерьт ваш верны раб *Алексей Орлов*».

Екатерина на следующий день, 3 июля, прислала лекаря Лидерса, а вслед за ним прибыл в Ропшу штаб-лекарь Паульсен. Оба врача особых ухудшений в здоровье узника не нашли.

Ночью, оставшись один, Петр много плакал, а уснув, все звал во сне Романовну. Утром написал два последних письма. Одно по-французски:

«Ваше величество, если вы совершенно не желаете смерти человеку, который достаточно уже несчастен, имейте жалость ко мне и оставьте мне мое единственное утешение — Елизавету Романовну... Если же ваше величество пожелали бы меня видеть, то я был бы совершенно счастлив.

Ваш нижайший слуга *Петр*».

(Читая это письмо наедине, Екатерина прослезилась. Но тут же самой себе: «Я должна быть сильна духом и тверда, как камень. Нерешительность—удел слабоумных».)

Второе письмо по-русски:

«Ваше величество,

Я ещо прошу меня, который Ваше воле изполнал во всем, отпустить меня в чужие краи стеми, которые я Ваше величество прежде просил и надеюсь на ваше великодушие, что вы меня не оставите без пропитания.

Верный слуга *Петр*».

5

Шестого июля был подписан Екатериной пространный манифест. Высокопарным стилем в нем излагался смысл совершившихся событий. Наряду с начертанными многообещающими реформами были в манифесте и здравые мысли: «Самовластие, не обузданное человеколюбивыми качествами в государе, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям бывает причиною». А посему Екатерина «наиторжественно» обещает дать народу такие законы, которые вывели бы «верных слуг отечества из уныния и оскорбления». Эти все мысли — плод, конечно, настойчивого внушения Панина.

В этот же день, то есть 6 июля, утром, когда Петр еще спал, его камердинер Тимлер пошел в парк пройтись, был схвачен, посажен в экипаж и увезен. Та же участь постигла и Нарциса, вышедшего поискать исчезнувшего камердинера. При Петре остался жирный мопс, офицер Бредихин, часовой с ружьем.

Петр скучал. С тоской смотрел он на скрипку. Скучал и мопс. Но вот прибыла веселая компания: Алексей Орлов, князья Иван и Федор Барятинские, адъюнкт Академии Г. Н. Теплов[1], бывший ярослав-

[1] Теплов был сыном знаменитого Феофана Прокоповича, но выдавал себя за сына истопника.

ский купец, ныне получивший дворянство, актер Федор Волков, капрал юный Григорий Потемкин, бывший лейб-компанец артиллерист Александр Шванвич и другие. Всего — чертова дюжина — тринадцать человек. У дверей — на часах — два гренадерских сержанта.

Проехав от Петербурга сорок верст, гости проголодались. Стали закусывать и пить. Петр жаловался на нездоровье, был вял, отказывался выпивать. Но гости, в особенности Алексей Орлов, предлагали такие обязывающие тосты, что отказаться Петру было невозможно. Пили за матушку Екатерину, за милую Голштинию, за Елизавету Романовну, за прусского короля Фридриха.

И мало-помалу Петр стал хмелеть, на испорченном оспой лице его появился румянец, колики прошли.

Начался шумный разговор, смех. Выпито было много. Актер Волков (основатель русского театра), повязав кудрявую голову салфеткой, потешно разыгрывал ярославскую просвирню. Орлов — воеводу-взяточника. Богатырски сложенный великан Потемкин разделся донага, препоясался полотенцем и, хотя был немножко кривоног, стал изображать то Аполлона, то Венеру. Затем нескладным хором принялись орать песни. Волков пел хорошо, отменно плясал «русскую». От грубого баса Орлова звенело в ушах и гудела скрипка Петра. А мопс стал зло лаять. Орлов припал на четвереньки, зарявкал на собаку по-медвежьи; мопс, обомлев, забился под кровать. Опять хохот.

В комнате мрачно, зажгли свечи, уселись играть в карты.

Захмелевший Петр играл задирчиво, спорил, вырывал у Федора Барятинского карты, плел чепуху, кричал:

— Я знаю, знаю!.. Государыня вернет мне Романовну и отпустит меня к пруссакам. Я писал ее величеству... Что?

Двадцатилетний князь Федор Барятинский, с тайным умыслом вызвать Петра на скандал, грубо бросил ему:

— Государыня и не помыслит отпустить тебя в Пруссию. Ты — никто!

Петр перекосил рот, вспылил:

— Как смеешь, мизерабль, говорить мне «ты»?!

— А ты как смеешь говорить мне «ты»? Я князь, а ты кто?

— Я царских кровей, дурак! — завизжал Петр.

— Тевтонская в тебе кровь, не русская...

— Молчать!..

И оба, сипло задышав, вскочили. Петр сгреб бутылку, Федор Барятинский схватился за шпагу.

— Федька, сядь! — Орлов сильной рукой развел их. — Петр Федорыч, садись. И... не лайся. Тут тебе не Ораниенбаум, не Голштиния... А мы не оловянные солдатики. Ходи, твой ход. Карта к тебе привалила знатнецкая. А Федька Барятинский дело говорит: ежели тебя в Пруссию пустить, ты на нас Фридриха приведешь...

— Он и сам придет!.. — вздрагивая и мотая головой, задышливо ответил Петр. — Фридрих извещен о моем несчастье... Сам придет!..

— Пусть приходит, — хрипло возразил Орлов и залпом выпил чарку рому. — Пусть приходит твой Фридрих. У нас в Шлиссельбургской крепости казематов хватит...

— С войском придет! — запальчиво вскричал Петр и швырнул карты Орлову в лицо, руки его тряслись. — С войском!.. Дураки!.. Собаки!..

— Ах, вот ты как?! — вскочил Орлов, глаза его налились кровью. — Значит, ты есть изменник государыне?!

Петр взглянул в ожесточившиеся лица бражников и сразу понял, что он среди врагов, что круг судьбы его замкнулся. Но вместо страха в нем внезапно взорвались хмельное буйство, отчаяние. И в исступлении он закричал:

— Не я изменник, а вы все изменники, клятвопреступники! Молчать! Молчать! Кому вы, разбойники, присягали?!

— А вот кому! — И охмелевший Федор Барятинский с размаху ударил Петра кулаком по голове.

Петр ахнул и упал. Пьяный Орлов, перекосив рот, горой рухнул на него, придавил ему коленом грудь и с остервенением впился страшной рукой в его шею. Поднялся кавардак. Все кинулись к Орлову, тащили его прочь, озверелый мопс яростно рвал его штаны. Петр хрипел, бился затылком об пол, в страшной предсмертной гримасе показал Орлову окровавленный язык, затрясся и вдруг утих.

Еле переводя дух, весь облившийся потом, с потемневшим рубцом на щеке, Орлов поднялся, отрезвевшими глазами посмотрел на жалко скорчившегося Петра и, опрокидывая мебель, стал медленно пятиться. Он тяжко пыхтел, разинув рот, вытаращенные глаза его мутнели, дрожащими руками он судорожно хватался за бока, за щеки, сжимал крепко виски, как бы стараясь очнуться. Потом из его пасти полез грохочущий сумасшедший хохот.

Все замерли, страшась приблизиться к обезумевшему великану, все были, как в бреду.

— А-а-а, — в отчаянии выл Орлов, бешеная сила вступила в него; он схватил кресло и — об пол, опрокинул стол, сгреб дубовую скамью и брякнул о камин, скамья вдребезги, из камина полетели кирпичи.

Гости, сшибая часовых, — опрометью вон. Остались Шванвич и Федор Барятинский.

— Алеша, Алеша, — дружески взывали они к Орлову.

Тот сказал полоумно: «Ась?» — забился в угол, уткнулся лбом в стену и принялся тонкоголосо выскуливать:

— Что мы натворили... Господи, господи!.. Прости окаянство мое!

Но вот в его раздавленном сознании мелькнула не плаха с топором, а острое ощущение надежды: он не убийца, он герой... И уже великие милости сияют, блещут пред его глазами.

Он весь собрался в стальной комок, облегченно передохнул и сразу протрезвел рассудком.

ГЛАВА XVII

Петра похоронили, как простого офицера. В народе пошли толки

1

В шесть часов вечера из Ропши во весь опор прискакал в Петербург гонец. Екатерина обедала в тесном кругу придворных, весело болтала, была, как всегда, остроумна. Ей подали запечатанный пакет с надписью: «Весьма секретно, в собственные руки ее величества, от кн. Барятинского». Она бегло прочла записку, задышала взволнованно, поднялась: «Пардон, я на минутку», — и, продолжая улыбаться, удалилась к себе.

Вскоре к ней был позван Панин. Он нашел Екатерину плачущей.

— Бывший император мертв,—сказала она, сдерживая слезы.

— Великая государыня! — удрученным голосом воскликнул Панин и, схлестнув в замок пальцы, поднял к потолку взор. — На свете все превратно... Маловременная жизнь наша непостоянна, надежды обманчивы. Мужайтесь, государыня...

— Я потрясена этою смертью как женщина и поставлена в ужаснейшее положение как императрица. О, какая поистине трагедия! Прочтите, Никита Иваныч, записку...

Панин с брезгливой миной взял лист серой неопрятной бумаги с оборванным уголком, надел очки. Пьяной рукой Алексея Орлова было написано:

«Матушка милосердная государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу; но, как перед богом, скажу истину, Матушка! Готов идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка — его нет на свете... Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на госу-

даря. Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором; не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневили тебя и погубили души навек».

— Да, — сказал Панин взволнованно.—Написано с сугубой искренностью, но казус зело подлый, и забота правительства вашего гораздо осложняется.

Екатерина, понюхивая из флакончика нашатырный спирт, сказала:

— Бывают на свете положения очень странные... Только, друг мой, Никита Иваныч, все сие наистрожайший секрет.

— Да... Но Европа имеет отменный нюх... И тень сего казуса, ежели не принять к тому меры, может пасть на вас, государыня, — с угрозой в голосе сказал Панин, мысленно стараясь, так сказать, схватить Екатерину за горло. Снова почувствовав полную свою зависимость от Панина, Екатерина взметнула бровями:

— Проследуйте к столу, я сейчас.

Когда Панин вышел, она выпрямилась и застыла на месте в холодном оцепенении. Пред ее мысленным взором стоял большеглазый печальный Петр, он простирал к ней бессильные руки, хриплым голосом молил: «Ваше величество, ваше величество... Не делайте меня несчастным».

Екатерина сдвинула брови, наваждение растаяло. Она подняла взор к висевшей в углу небольшой иконе богородицы, подбородок ее задрожал, глаза ее увлажнились. Но не чувство жалости к убитому супругу отразилось на взволнованном лице ее, оно все исполнено было внутренним ликованием. «Да будет воля твоя», — твердо сказала она, спрятала роковую записку Орлова в потайной ларец и поспешила в столовую. (Это обеляющее Екатерину письмо пролежало в ларце тридцать четыре года; оно найдено графом Растопчиным после смерти Екатерины;

с него снята копия; затем оно попало в руки нелюбившего свою мать Павла I, тот прочел его и злорадно бросил в камин.)

Григорий Орлов, получивший высокое придворное звание камергера и генерал-адъютанта, валялся после обеда в ногах своей дамы сердца. Двери кабинета закрыты. Обнимая трепетные колени императрицы, он молил:

— Не губите братишку моего, дурака Алешку! Я ему изрядно надавал по зубам... Государыня, ведь вы ныне супруга моя пред богом.

Екатерина слегка поморщилась, вскинула правую бровь и сказала:

— Не торопите, ваше превосходительство, события. Пред богом — это не значит, что пред людьми.

Смущенный Григорий поднялся, умоляюще взглянул на Екатерину и повесил голову. Привстав на цыпочки, Екатерина по-холодному поцеловала его в лоб и, шурша юбками, стремительно удалилась.

На другой день воспоследовал мошеннический «скорбный» манифест. В нем сообщалось, что в день 6 июля «бывший император Петр Третий, обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим, впал в прежестокую колику» и что, несмотря на оказанную ему врачебную помощь, «к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца... он волею всевышнего бога скончался».

2

Прах Петра 8 июля привезли в Петербург, в Невский монастырь, и выставили для поклонения в темной комнате, стены коей завешены были черным сукном. Гроб обит малиновым бархатом с широким серебряным позументом, поставлен под катафалк. Покойник одет не как император всероссийский, а как простой офицер, в мундир голштинских драгун, руки сложены накрест, в длинных, с крагами, перчатках. Лицо густо припудрено, однако очень темное, в пятнах. На раздавленной шее широкий шарф. При

ческа без парика, без буклей. Окна открыты, жидкие волосы треплет сквозняк. Возле гроба нет ни орденов, ни знаков отличий — покойник простой офицер, не больше... Мрачно стоят часовые. Свечи в подсвечниках мерцают тускло. Окна прикрыты флером. В комнате нарочитая сутемень.

В монастырской ограде, на площади масса народу. Торопливой лентой тянутся в траурный дом, проходят из соседнего помещения в комнату с гробом, наступая друг другу на пятки, быстро идут мимо катафалка, со вздохом отдают праху поклон, пытаются всмотреться в почерневшее лицо мертвеца, но офицеры покрикивают:

— Проходи, проходи!

10 июля похороны. Лужайки и кладбище забиты народом. Все ждут не дождутся небывалого зрелища. Съезжаются высшие чины государства.

Но Екатерина, якобы по болезни, то ли по просьбе сената, отсутствует.

Престарелый фельдмаршал Миних, прощаясь с покойником, плачет: Петр вернул его из ссылки, осыпал милостями.

Петр был погребен не в императорской усыпальнице, что в храме Петропавловской крепости, а в Благовещенской церкви монастыря, рядом с бывшей правительницей Анной Леопольдовной.

Народ удивлялся, почему такие скромные похороны, почему не было царицы. Пошли разные толки.

Так скончал жизнь свою «случайный гость русского престола» Петр Федорович III, император и самодержец всероссийский.

Но спустя одиннадцать лет его призрак в грозе и буре вновь появится на страницах русской истории. А еще много позже, в декабре 1796 года, тотчас после смерти Екатерины, воцарившимся Павлом прах Петра III будет коронован и погребен вторично. Восстав за честь убитого отца и чтоб отомстить вероломной матери своей, Павел I повелит: прах Петра переложить в новый пышный гроб, возложить на прах корону и царские регалии, торжественно перенести из

Невского монастыря сначала в Зимний дворец, затем в собор Петропавловской крепости, оба гроба — Екатерины и ее супруга Петра III — выставить в соборе рядом и, отправив всенародную панихиду, предать усопших погребению с царскими почестями.

3

Город обычен, торговля вовсю, траурных флагов не вывешено. Праздный народ повалил с похорон по кабакам, по трактирам помянуть великого покойника, о том о сем покалякать.

Сегодня очень жарко. Мясник Хряпов с огородником Андреем Ивановичем Фроловым пошли на Неву купаться. Возле дровяных штабелей берег усеян народом. Оказывается, вытащили утопленника, откачали. Это арап Нарцис. Накануне похорон он был освобожден из-под ареста, а сегодня, проводив императора в могилу, пошел на Неву, долго бродил берегом, потом бросился в воду с целью покончить свои дни. Мокрый, жалкий, он, покачиваясь, сидел на песке, полусонно твердил:

— Убиль, убиль... Моя Петер... Се рамно не буду жить...

Подоспела полиция. Нарциса посадили на линейку, увезли. В толпе гадали, кто такой этот самый арап и что такое бормотал он. Мясник Хряпов сказал:

— Как же вы не знаете? Лицо известное. Это слуга Петра Федоровича, покойника, царство ему небесное.

Тогда многие обнажили головы, стали креститься. Чернобородый плотник в лаптях, ни к кому не обращаясь, заговорил:

— Вот ты и посуди... Арап, можно сказать — чумичка, а сердце-то у него жалостливое... Что-то вот никто не утопился, жалеючи царя... А черномазый в воду мырнул... Видно, царь не плох был до простого люда, до слуг-то своих.

— А-а, не плох? — сердито ввязался рыжий парень в фартуке, без шапки и с серьгой в ухе. — А по-

што ж ты матушке Катерине в Петропавлов день уру кричал?..

— Народ кричал, и я кричал... Молчать, что ли? — возразил чернобородый плотник. — Да ты и сам, лешева голова, гайкал... Рядом шли.

— Врешь! Хоть борода длинная, а врешь... Я не гайкал... И других отговаривал.

— Ха, он, рыжий черт, отговаривал! — с ехидством прокричал плотник. — А где у тя шапка? Закинул ты шапку свою, как орал... А тоже: я-ста да я-ста...

Толпа стала смеяться над ними, подзуживать. Рыжий парень сдернул с плеч берестяной, на постромках, туго набитый кошель и, не говоря худого слова, с размаху смазал им чернобородого по уху. Боднув головой, чернобородый бросил пилу, засучил рукава и грудью полез на рыжего драться. За рыжего сразу вступились трое, за чернобородого четверо. Полетели кошели, котомки, шапки, наступила горячая работа кулаками. К той и другой стороне приставали пьяные и трезвые доброхоты, народ попер стенка на стенку. Со всех концов бежали к берегу любопытные и тоже безоглядно ввязывались в свалку. Взмахивали над толпою кулаки, новые на веревках лапти. Гул стоял, кряк и матерщина.

Знаменитый мясник Хряпов, вспомнив молодость и поддавшись настроению толпы, тоже вступил в бой. Он ловко орудовал здоровенными кулаками, сшибая наземь кого попало. Суматошный шум, гвалт, ничего немыслимо понять. Лезли в уши разные крепкие словечки: «Петр Федорыч, — он на соль цену сшиб! Бей их!!!» — «Землю от монастырей царь отобрал!» — «Мужиков слобонил! Ур-р-ра!» — «Матушка Катерина тоже не подгадила! Ура! Ура!» — «Присяга!» — «Крест целовали!!!» — «А вот я те поцелую. Получай!» — «Ура матушке Катерине!» — «Дворянам не по нраву пришелся, сбросили». — «Убили... Убили!»

— Кого убили? — Свистки, будочники с алебардами, разъезд казаков, полиция: — Р-ра-зой-дись!

Толпа очухалась, бросилась в стороны, как стадо овец от волка. На песке валялись лапти, кошели, всякая

одежина и — трое попорченных в свалке. Казаки и полиция лупили бегущих ременными нагайками. Окровавленный, но шустрый Хряпов, невзирая на трясущееся брюхо, бежал впереди всех вдоль пыльного, уставленного дровами берега; он задыхался, присел к водичке, стал, пыхтя, замывать в Неве разбитый нос.

Благовестили ко всенощной. Широкая Нева горела в лучах солнца. Над водой кружились с тоскливым криком чайки.

Вечером мясник с распухшим носом и огородник с завязанным глазом успели оба подвыпить, сидели в трактире Барышникова «Зеленая дубрава». Хозяин подвел к их столу щупленького, невысокого роста человека с козьей бороденкой, с зоркими бегающими глазками.

— Это вот ржевский купец Остафий Трифоныч Долгополов, примите в компанию, — проговорил Барышников, усаживая гостя, и сам сел.

— Слыхал, слыхал про вас, — загнусил хрипловатым тенорочком Долгополов[1], заискивающе заглядывая в заплывшее жиром лицо Хряпова. — Вы к государеву двору мясо доставляете, а я для царских конюшен — овес. С покойным государем лично знакомы были.

— Нет, я кофеев с императором пить не удостоился, а капиталы приобрел, — с оттенком надменной брезгливости покосился столичный толстосум на невзрачного Долгополова, одетого в потертую чуйку и нечищеные простые сапоги. Затем достал серебряную табакерку, всем предложил понюхать: «Набивай нос табачком, в голове моль не заведется», — поблестел золотыми кольцами, вынул без нужды золотые заморские часы, посмотрел время. Долгополов притих, сконфузился. Мясник поманил полового пальцем:

---

[1] Ржевский купчик Долгополов в 1774 году ездил в ставку Пугачева, некоторое время жил при нем.

— А ну-ка, братец, на всю компанию расстарайся ухи наварной из налимьих печенок да расстегайчик с потрохами. Да спроворь скорей водки штоф.

Долгополов сразу ожил, заерзал, сказал, вздохнув:

— Приехал я изо Ржева-города должишко с дворцовой конторы получить, да сказали мне тама-ка, приходи, мол, месяца через два, нам не до этого. Вот какие дырявые дела-то мои. И сижу я в столице без гроша. Может, вы одолжите под вексель сотняжки две? — тронул он мягкое плечо мясника. — Я человек верный, да за меня и Барышников поручиться может...

— Раз он поручиться может, у него и бери, — сухо сказал мясник. — Да у него и капиталов несравнимо со мной, он на селедках миллионы нажил.

— Ну, ты! — прикрикнул на него сухопарый Барышников и, покручивая бороденку, приятно захихикал.

Уха превкусная, штоф усыхал, вино развязало языки. Да и вообще в трактире довольно шумно. Народ здесь всякий, но на этот раз ни одного солдата.

В соседней комнате три рожечника играли заунывные песни. А когда смолкли, раздался раскатистый, сильнейший бас иеродиакона, выгнанного из Невского монастыря за сугубое пьянство. Многие повылезли из-за столов, толпились в дверях, умильно слушали, разинув рты.

Черный и лохматый, похожий на грека, иеродиакон поднялся во весь рост и, держа в десной руке стакан водки, провозглашал «вечную память в бозе почившему императору Петру Третьему». Голос его гудел страшно и уныло, а по впалым щекам текли пьяные слезы. Старички мотали головами, осеняли себя крестом и тоже готовы были пустить слезу.

Иеродиакон залпом осушил стакан, крякнул и сказал:

— Царь зело пил, и аз многогрешный такожде сим стражду. Вот крикну в стакан, и стекло от велия гласа моего разлетится. За посмотренье — рубль!

Любители быстро собрали деньги. Иеродиакон поставил пустой стакан на стол, поднес к нему отверстую пасть и гаркнул: «Ха!» — стакан раскололся

надвое. Все восторженно захохотали. А иеродиакону вручили другой стакан, наполненный водкой, и сказали:

— А ну, отец, возгаркни многолетие благочестивейшей, самодержавнейшей...

— Не стану! — выпучив глаза, заорал иеродиакон и затряс кудлатой головой. Опрокинув водку в пасть, он вытер усы и гнусаво запел на манер стихиры: — Дщерь Вавилона окаянная, како ты восходи-и-ла на престол...

Барышников, прислушавшись из другой комнаты, приказал вышибить пьяного забулдыгу вон да надавать ему елико возможно по загривку, дабы не порочил своим неподобным поведением православную религию. Монаха уволокли. Снова заиграли щекастые рожечники с гусляром. Многие заказывали блины и пряженцы, как на поминках, кричали рожечникам:

— Бросьте скоморошничать, а то изобьем вас!.. Царя сегодня закопали, а они в гусли-мысли.

За многочисленными столиками гул стоял, только и разговоров, что о последних событиях в столице. Почти все были порядочно подвыпивши, кричали не стесняясь. Старый кузнец с ремешком через лоб, посасывая трубку, бубнил все одно и то же:

— Знатно, знатно вышло. Гвардия, армия, смерть в одночасье... Видать, самим сатаной сработано... Знатно, знатно вышло. Видать, самим сатаной...

— А почему, дозвольте вас спросить, — заговорил, размахивая ложкой, кривой маляр в запачканной красками рубахе. — Почему это — прочь, прочь проходи! Нет, врешь, подлая душа, ты дай мне покойничку-то в лик взглянуть, в мертвый лик. Тот ли покойничек-то, не подставной ли?..

— Ха! Вот ты даже как, — с удивлением протянул кто-то из дымных облаков.

— Да-да-да, — забормотал охмелевший мясник Хряпов. — Страшные дела творятся! Аж жуть берет. Да-да-да. А вы послушали бы, что народ гуторит, даже совсем отлично от того, что в манифестах пропечатывают. Недалеко ходить: взять, к примеру, моих ямщиков из обоза...

4

Действительно, по всему Питеру множились толки, пересуды, небылицы. На извозчичьих биржах, на постоялых дворах, по кабакам, по воровским притонам, на рынках среди баб, на церковных папертях в кучках нищей братии, в казармах, в купеческих молодцовских и всюду, всюду одни и те же разговоры.

Полиция хватала людей сотнями, вырывала бороды, ломала ребра.

Начальник полиции генерал Корф, любимец Петра, ловко угождающий ныне императрице, делал сводку всей этой изустной политической невнятице.

Наихарактернейшие слухи были таковы:

1. «Царь-батюшка не умер своей смертью, а его, болтают, укокошили.

— Кто укокошил?

— А поди знай кто. Кому надо, тот и укокошил. Поди дворяне. Знамо, не простой же люд руки станет пачкать. Тьфу!»

2. «Замест государя, бают, другого похоронили, а государь быдто бы в Голштинию утек, к себе домой.

— Откуда знаешь?

— От кума Егора, а куму Егору евоная сноха Мавра сказывала, а евоной снохе Мавре на рынке какой-то нищеброд на костылях баял.

— Кто же бывшего государя в Голштинию отправил?

— Поди знай кто. Может, сама государыня запечаловалась, отпустила; может, чрез подкуп великие люди помогли. А того верней — сам господь-батюшка смиловался, по своей мудрости сработал».

3. «Царь Петр Федорович жив-здоров. Сказывают, ему фельдмаршал Миних свободу даровал. Всех Орловых быдто опоил незловредно зельем, а как уснули они, граф Миних быдто бы и говорит: «Ваше бывшее величество, ступайте на все четыре стороны, вы меня от каторги спасли, я вас от неминуемой смерти».

— Так где же теперь бывший император?

— А господь его ведает. Где-нибудь в народе укрылся, обличье переменил... Нешто долго.

— Что ж, народ примет его, не выдаст!

— А пошто его выдавать? Он народу худа не сотворил ни на эстолько.

— Откуда все сие слышал?

— А слыхивал я этот глупый разговор в кабаке возле Покрова. А я пьяный был, на ногах, конешно, не стоял. Кто болтал, хоть жилы из меня тяните, не помню».

Генерал Корф прекрасно понимал, что эти вздорные слухи, эту «городскую эху» во что бы то ни стало надлежит пресечь, иначе они потекут из Петербурга и замутят всю Русь. Но как, но как пресечь?

Кум Егор выехал на большой крытой лодке по Неве, по Ладожским каналам, по Свири горшками торговать, всем по пути по величайшему секрету сказывал о питерских делах; сват Матвей на Макарьевскую ярмарку с товарами укатил, охапку по белому свету столичных новостей повез; просвирня Настасья Николаевна в Осташков на богомолье собралась к Нилу-чудотворцу, а там — вся Русь; дед Макар на прусский фронт капралу-сыну отписал: Петр Федорович-де умер в одночасье от превеликих каких-то колик, а может статься, и жив-де государь; нищеброды пошли с кошелями по Руси гулять; белобокие сороки летели из столицы во все концы-просторы, уносили на хвостах слухи, пересуды и россказни.

Нет, ни генералу Корфу, ни сенатору Никите Панину не удержать под дырявым решетом дыма от пожарища, не погасить «людскую эху» никакими манифестами, никакой хитростью-премудростью. Истинно сказано: ветром море колышет, молвою — народ.

Докатилась молва эта и до молодого донского казака Емельяна Пугачева.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Екатерина II, императрица всероссийская

1

Донцы были вытребованы с прусской войны и, по смерти Петра III, отпущены домой. Емельян вернулся цел и невредим в родную Зимовейскую станицу, к молодой жене своей Софье Дмитриевне.

Всюду в станицах по церквам служили заупокойные панихиды по Петре, всюду распевались молебны о здравии самодержавнейшей Екатерины и наследника престола Павла. Но в народе ходили путаные слухи о том, что император жив. Слухам веры не давали, и они, под влиянием духовенства и власть имущих людей, скоро и надолго заглохли.

Пышно, торжественно и совсем не по средствам нищей России была отпразднована в Москве коронация императрицы Екатерины. Заказана золотая корона, горностаевая мантия и сто двадцать дубовых бочек с железными обручами, емкостью каждая бочка на пять тысяч рублей серебряной монеты, а всего на шестьсот тысяч рублей — для бросания денег в народ. Нет сомнения, что три четверти этих денег остались в карманах повелевающих, надзирающих и швыряющих.

Екатериною было указано гофмейстеру Никите Панину везти на московские торжества великого князя Павла Петровича. Мальчик как раз в это время хворал, в тяжелой дороге болезнь его усилилась. Настойчивые просьбы Никиты Панина дать в пути больному роздых остались втуне, повелено маршрут выполнить в точности.

Такое непонятное жестокосердие Екатерины к своему сыну объясняется просто. До нее не раз доходили слухи, что некоторые «честолюбцы из гвардии» не прочь были вступиться за попранные права Павла Петровича. Интересы и права правнука Петра Великого противополагались самовольному захвату власти чужеродною немкою. Об этом Екатерина была также осведомлена из тайно вскрытых дипломатических депеш барона Гольца в Берлин и Беранже в Париж. Она знала, что подобные толки имеют отклик и в среде народной.

Значит, около имени великого князя Павла Петровича, хотя бы и помимо его воли, объединялись недовольные тогдашним положением. И Екатерине волей-неволей приходилось усматривать в собственном сыне опасного соперника. А соперников обыкновенно не рекомендуется покидать без надзора, вне поля своего личного влияния. Вот почему, во избежание, так сказать, неприятностей, Екатерина не считалась ни с какими опасностями для сына в дороге.

Парадный въезд в Москву состоялся 13 сентября 1762 года. Москва преобразилась. Длинные однообразные заборы возле пустырей были прикрыты понатыканным ельником, стены домов и домишек увешаны дорогими коврами, балконы украшены драпировками из цветистых шелковых материй. На перекрестках, площадях воздвигнуты галереи и арки. На улицах, на балконах и даже на крышах — всюду народ. Москва захлебывалась колокольными звонами, гремели пушки, толпы орали «ура».

Екатерина и блестящая свитская знать ехали в открытых экипажах. За Екатериной следовал конвой конной гвардии. По обе стороны шествия шпалерами стояли войска. Наряды придворных дам бле-

стели на солнце золотом, серебром, драгоценными камнями. Иностранные гости дивились, откуда берутся средства на столь ослепительную роскошь. Но так повелось исстари: императорский двор подражал в пышности расточительному королевскому двору Франции — «великолепной Версалии», вельможи подражали российской царице, за вельможами тянулись знатные, но обедневшие роды, а за знатью пыжилась мелкотравчатая дворянская срединка: закладывались и продавались последние вотчинные поместья, вырубались заповедные леса, крестьяне удушались поборами, с молотка шли деревни, вереницы рабов. Мелкота, полузнать, а иногда и вельможи становились жертвою непосильных расходов, «вылетали в трубу», хирели, попрошайничали Христа ради у подножья престола.

Понятно, что в конце концов жертвою этой умопомрачительной роскоши оказывался простой русский народ.

Коронация состоялась 22 сентября в Успенском соборе, в Кремле, при великом стечении публики. Затем начались балы, церемониальные приемы; раздавались с высоты престола щедрые награды; братья Орловы возведены были в графское достоинство, Григорий Орлов пожалован в генерал-адьютанты, звезда его поднялась в зенит.

Целую неделю весь Кремль с соборами и Иваном Великим блестел чрез густую тьму осенних ночей огнями иллюминации. По улицам, площадям и на Царицыном лугу поставлены были столы, и «на великолепно сделанных, изрядною резною работою и позолотою украшенных амвонах быки жареные со многочисленною живностью и хлебом, за которыми в бочках позолоченных и посеребренных пиво и мед». На Кремлевской площади[1], под окнами Грановитой палаты, пущены фонтаны красного и белого вина. Из окон бросали в народ пригоршнями золотые жетоны, серебряные деньги. Крики «ура» сменялись ревом свалки; было немало своротено скул, поубав-

[1] Ивановская, Дворцовая, Сенатская и другие площади Кремля будут в дальнейшем для краткости называться «Кремлевская площадь».

лено бород, поломано ребер. Иных так потоптали тут, что они помнили коронацию даже до смерти.

И все-таки Екатерина осталась московскими праздниками довольна, убежденная, что ей следовало пользоваться всяким обольщающим темные умы случаем, дабы снискать себе благорасположение народа.

Руководствуясь теми же соображениями, Екатерина предприняла путешествие в Троице-Сергиеву лавру, где монахи в ожидании великих благ почтили ее трехдневным торжеством.

2

Ну что ж, после святых молитв в монастыре и смиренных воздыханий можно снова поразвлечься великосветскими утехами. Екатерина пробыла в Москве больше полугода. И изо дня в день — театры, шумные балы, придворные маскарады, парадные обеды у вельмож, загородные прогулки. Все это, конечно, стоило колоссальных средств, но все блистало изысканной красотой, изяществом.

Недаром даже мрачный, всегда угрюмый английский посланник граф Букингэм, беседуя на любительском придворном спектакле с французским посланником Бретэлем, сказал ему:

— Я удивляюсь, барон, до чего талантливы эти русские. Например, графиня Брюс или граф Григорий Орлов с молодым графом Шуваловым. Они выполняли главные роли с таким умом, ловкостью и свободой, что дай бог так играть и знаменитым европейским актерам...

— Но самой лучшей актрисой, надо предвидеть, окажется сама императрица.

— Вы думаете? — гнусаво спросил граф Букингэм, подымая на собеседника выпуклые и красные от сильного насморка глаза. И сам себе тотчас ответил: — О, без сомнения, так. Вы, барон, разумеется, имеете в перспективе не ту сцену, а ту политическую арену, где выступают представители великих европейских держав!

— А красавицы? А какие красавицы, граф! — неучтиво прервал его пылкий и падкий до женских прелестей Бретэль. — Глядите, начались танцы... И откуда они берутся, эти воздушные феи, эти очаровательные фрейлины, эти пышные, рослые, так откровенно декольтированные дамы?.. Вы, граф, не чувствуете себя на Олимпе, среди богинь? Я думаю, что не во всякой стране можно отыскать столько обладательниц поистине классической красоты...

— Я даже затрудняюсь, — с плохо скрываемым восторгом и с внутренней национальной завистью невнятно прогнусил угрюмый англичанин, — я затрудняюсь, в каких выражениях дать депешу моему правительству об этом исключительном вечере. Даже беспристрастное его описание может показаться преувеличенным...

— О да, да! — с жаром воскликнул Бретэль.

Вдруг они оба вскочили и, придав лицам сияющий вид, стали с легким изяществом быстро скользить по паркету навстречу приближавшейся к ним со свитой Екатерине. На ней было платье adrienne из алого гродетура, выложенного по швам, в рисунок, серебряным галуном, в темных припудренных волосах — жемчужный аграф, на груди — бриллиантовое колье.

Придворные, и в особенности наблюдательные иностранцы, стали замечать в настроении Екатерины большую перемену. Действительно, Екатерина никак не могла отделаться от мучившей ее душевной тревоги. И это, как в зеркале, отражалось на ее лице.

Екатерина пригласила Букингэма поиграть с ней в шахматы. Улучив момент, Букингэм сказал ей:

— Меня крайне волнует, ваше величество, что, невзирая на столь блестящие коронационные торжества, ваше чело омрачается каким-то беспокойством.

— Да, граф, — потупив глаза и чуть приподняв тонкие брови, ответила Екатерина. — За последнее время меня то и дело посещает меланхолия. Боюсь, граф, вам признаться, но мне кажется, что я не вполне счастлива. Впрочем, я не знаю, есть ли в мире хоть один счастливый человек. — Алмазы на ее груди затрепетали от вздоха.

— Где же источник, питающий нежелательное настроение вашего величества? — допытывался чрезмерно любознательный дипломат.

— Не знаю, — нервно ответила Екатерина, встряхнув гордо откинутой головой и этим жестом кладя предел коварному любопытству.

Да, Екатерине было над чем призадуматься: едва прошло три месяца со дня переворота, возведшего ее на престол, как уже был раскрыт заговор, о котором она узнала, будучи в Москве.

Двадцать восьмого октября, ранним, с заморозками, утром, по улицам веселящейся Москвы тревожно забили барабаны, затрещали трещотки, на Красной площади — страшный эшафот, на эшафоте — четверо преступников, над ними, при многих тысячах сбежавшегося люда, по всей форме учиняется жестокая экзекуция.

Ни простой народ, ни даже высший свет ничего не знали о случившемся. Все это дело было окутано глубокой тайной. Имена преступников обнародованы не были. Соответствующий манифест составлен весьма туманно. О безыменных преступниках в нем говорилось как о неспокойных людях, покушавшихся на ниспровержение императрицы и оскорбительно отзывавшихся о ней. А в циркулярах к русским дипломатам за границей заговорщики названы «извергами всего человеческого общества».

Впоследствии узналось, что «извергами» были офицеры гвардии — Петр Хрущев и три брата Гурьевы. Тотчас после экзекуции все они, под сильным конвоем, навечно отправлены в отдаленные окраины Сибири.

Суть дела вкратце такова. По Петербургу среди гвардейских офицеров стали ходить слухи о существовании двух политических партий: одна якобы стремилась к возведению на престол шлиссельбургского узника принца Иоанна, другая хотела иметь императором малолетнего Павла Петровича, а регентом при нем — Никиту Панина.

Следственная комиссия установила, что в последний день коронации на званом у Петра Хрущева обеде было великое пьянство и что по пьяному делу Петр Хрущев, известный шутник и весельчак, будто бы «государыню бранил матерно» и кричал: «Екатерине не быть, а быть царем Ивану Антоновичу». А Семен Гурьев уверял, что в их партии до тысячи человек, что там и Панин, и гетман Разумовский, и Шувалов.

Среди хмельного шума, метко обличая друг друга, гвардейцы будто бы кричали:

— Дураки мы! На престол чужеродную иностранку посадили.

А Петр Хрущев, грохая о пол хрустальные фужеры и с превеликим бешенством топча их сапогами, вопиял:

— Орловы втравили нас в пагубу! Россию погубили! А мы, гвардейцы, продали за бочонок водки последние капли крови императора Петра Великого. Позор нам всем!

Было арестовано пятнадцать офицеров. На допросе все они от предъявленного им обвинения отперлись — были-де пьяны, но крамольных речей никто не произносил, а кто показывал на них, тот-де лжец и провокатор. Следственная комиссия, разобрав дело, ничего преступного в нем не нашла, вульгарно выражаясь — пустая, во хмелю, болтовня. В этом успокоительном смысле и было донесено императрице.

Но Екатерина взглянула на дело иначе. Она приказала:

— Не прятать концы, а со всей серьезностью дознаться истины.

И тогда во имя «изыскания истины» было решено — подозреваемых пытать!

Петр Хрущев и Семен Гурьев «для изыскания истины были под батожьем расспрашиваны, но оба утверждаются на своих прежних показаниях». Следственная комиссия постановила: главных виновников разжаловать и записать навечно в солдаты.

Но и этот приговор Екатерину не удовлетворил. Она понимала, что всякое потворство в таком деле опасно, что ее престол колеблется и что нужен устра-

шающий пример, чтоб раз и навсегда пресечь всякие крамольные мечты.

Следственная комиссия оказалась весьма податливой: она быстро поправила ошибку и, полагая, что «матушке» хочется проявить в сем деле акт «милосердия», вынесла новый жесточайший приговор, так сказать с запасом: Петру Хрущеву и Семену Гурьеву отсечь голову, Ивана и Петра Гурьевых положить на плаху и потом, не чиня экзекуции, послать навечно в каторжную работу и т. д.

Вот тут-то «матушке» действительно и представился случай пролить милосердную слезу и успокоить свое чувствительное сердце: политическим преступникам она даровала жизнь.

Все виновные были сосланы на каторгу. А вскоре, за торжествами, это дело позабылось. Но нельзя его забыть Екатерине. Вот почему чело ее было омрачено тревогой, вот почему она не могла считать себя вполне счастливой.

Особенно же остро она переживала текущие, по очередным вопросам столкновения с Никитой Паниным, весьма приличные по этикету, но оскорбительные для нее по существу.

В манифесте от 6 июля 1762 года о восшествии Екатерины на престол были обнародованы, по настоянию Никиты Панина, следующие строки: «Наиторжественнейше обещаем Нашим императорским словом *узаконить такие государственные установления,* по которым правительство любезного Нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело».

Выдав подобный громадного политического значения вексель, Екатерина призадумалась и, под влиянием Орловых и Бестужева, стала выискивать пути, чтоб сыграть напопятную. Тем временем Никита Панин, будучи на коронационных торжествах в Москве, в продолжительной беседе с императрицей настойчиво подчеркнул ей, что прежние формы правления ныне устарели, что Россия в этом отношении слишком от-

стала от Европы — от той же Швеции, которая, в сущности, является аристократической республикой, а посему:

— Разрешите, государыня, представить на благоусмотрение вашего величества мой обширный прожект реформы верховного правительства России. — Панин подал Екатерине исписанный четким прямым почерком фолиант и, как тонкий дипломат, проговорил: — Ласкаю себя надеждой, что, рассмотрев, одобрив и введя в действие мои предположения, вы сим самым, государыня, исполните пред Россией свои *наиторжественнейшие обещания,* кои вы изволили возвестить народу в недавнем манифесте.

С недовольной, даже брезгливой улыбкой Екатерина взяла фолиант, стала, кусая губы, небрежно перелистывать страницы. Она вспомнила, с каким упорством этот неотвязный Панин вел с ней торг пред самым переворотом, как он был с ней груб тогда, почти дерзок. Но в то время судьба ее еще не была предрешена, — Екатериною могли тогда играть, диктовать ей свою волю. Ныне же она, «милостью божией и волею народа», не регентша при сыне, как того хотел Никита Панин, а, слава богу, самодержавная коронованная в Кремле императрица.

— Хорошо, друг мой Никита Иваныч, я вчитаюсь и все обдумаю. Я высоко ценю вас как мудрейшего государственного мужа, защищающего непоколебимость моих обещаний! — не преминула уколоть она своего недоброжелателя.

По проекту Панина, сенат должен быть разделен на департаменты (то есть министерства) и получить бóльшую самостоятельность. Главный же фокус проекта — это учреждение особого Императорского совета из восьми вельмож, отлично зарекомендовавших себя на государственном поприще, причем Императорскому совету надлежит решать дела и устанавливать законы *совместно с императрицей.* Этот пункт проекта Панин поясняет так: «Государь никак инако власть в полезное действие произвести не может, как разумным ее разделением между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон».

И Екатерина, и все ее приверженцы, читавшие проект, отнеслись к нему совершенно отрицательно. Екатерина усмотрела, что мудрейший государственный муж явно пытается ограничить ее самодержавные права. Но резко отвергнуть проект Екатерина все же опасалась: как-никак, а с партией Панина необходимо считаться.

Начинается игра в бирюльки — самая отчаянная волокита. Панин представляет Екатерине уже готовый к подписи соответствующий манифест, Екатерина находит в нем ошибки. Панин переделывает, Екатерина снова придирается, Панин переделывает в пятый раз, Екатерина тянет с подписанием. Но вот, 28 декабря 1762 года, манифест об учреждении Императорского совета Екатериною в Москве подписан. Окрыленный успехом, Панин готов торжествовать свою победу: наконец-то деспотизм в России как-никак ограничен, самодержавия больше нет, власть Орловых отныне пресечется!

В тот же вечер Екатерина назначила в Кремлевском дворце совещание из трех лиц: Бестужева и двух Орловых. Ее стол завален свежими русскими книгами из академической книжной лавки. Она казалась необычайно взволнованной, будто опьяненной, щеки и глаза ее горели.

— Батюшка, Алексей Петрович, — жалобным голосом обратилась она к Бестужеву, сидевшему съежившись, как филин, возле горячей печки. На нем старомодный огромный парик, называемый алонже. — Батюшка, Алексей Петрович! — уже крикливо повторила она глухому старику.

Тот вскочил:

— Ась, ась? — подсеменил, покряхтывая, к царице, сугорбился и наставил к уху ладонь, чтоб лучше слышать.

Екатерина громко, сердитым голосом, подражая голосу Никиты Панина, прочла манифест и сказала:

— Господа! Я сей акт сего числа скрепила своим подписом.

Несколько мгновений стояла тишина. Бестужев тряс головой и жевал губами. Шрам на щеке Алексея

Орлова потемнел. А Григорий Орлов вдруг вскочил, трагически всплеснул руками и, посунувшись к Екатерине, громогласно завопил:

— Ваше величество! Государыня, государыня! — От злости к Никите Панину, этому властолюбивому хитрецу, он ничего больше произнести не мог.

Вопль Орлова вдохнул в сознание Екатерины необоримую силу самозащиты, колебаниям ее сразу настал конец. Лицо ее сделалось спокойным, она тихо встала, перекрестилась, высоко подняла свежий, пахнувший типографской краской манифест и неторопливо, с затаенным сладострастием, разорвала его надвое.

Григорий Орлов, шумно выдохнув из груди весь воздух, припал к ногам ее, стал целовать край ее одежды.

Итак, стремление партии Панина обуздать власть императрицы и на сей раз не осуществилось. Никита Панин потерпел второе поражение.

Двор продолжал веселиться вовсю. Московский люд в конце концов тоже получил свою долю удовольствий. Наступила масленица. По Москве появились афиши, что в три последних дня масленой недели с десяти часов утра ежедневно по улицам Немецкой, двум Басманным, Мясницкой и Покровке будет ездить большой маскарад под названием «Торжествующая Минерва», в коем изъявится «гнусность пороков и стезя наук и добродетели». На смотренье маскарада и на вечернее катанье с гор приглашались «всякого звания люди». А на тех гуляньях в особом театре представят, мол, народу разные игрища, кукольные комедии, гокус-покус и пр.

И вот на маскарадные зрелища, сочиненные и остроумно поставленные знаменитым актером Федором Волковым, привалила вся Москва, даже древние старцы и старухи.

— Пойдем, пойдем, бабка, — собиралась беднота в подвалах, домишках и лачугах. — Торжествующая будет ездить... Винерка какая-то, чтоб ей...

— Ничего не Винерка... А поди сама царица. С жиру бесится, безмужница. Мужика бы ей.

Погода была приятная: нехолодный серенький денек и полное безветрие. Маскарадное шествие растянулось на две версты, в нем участвовало двести колесниц и четыре тысячи человек, оно состояло из двенадцати отделов. Практическая цель маскарада — высмеять, в поучение народу, пьянство, невежество, несогласие, блудодейство, мздоимство, спесь, мотовство, распутство. Тут было наворочено всего: движущиеся горы, портшезы, колесницы, трубачи, посаженные на верблюдов фурии, арлекины, нетопыри, тигры, преогромные исполины, смехотворные карлы; вот хромая правда на костылях, вот храбрый дурак верхом на быке лицом к хвосту, вот верблюд тащит громадную колесницу, на которой люлька, в люльке — старуха играет в карты и сосет рожок, при ней — маленькая девочка с лозою, вот «акциденция, сидящая на яйцах, и три вылупившиеся из яиц гарпии», и прочая и прочая, — всего сорок живых картин. Не спеша и чинно все двигалось вперед. И несмотря на то, что при каждой картине свой хор звучно и стройно пел стихи, поясняющие содержание картины, народ безмолвно пялил глаза и ничего не понимал ни в акциденциях, ни в гарпиях, ни в сосущих рожок старухах.

А между тем смысл маскарадной сатиры был направлен не столько против народа, сколько против правящих классов, против беззакония и бесправия в России. По крайней мере был таков замысел Сумарокова и Хераскова с их компанией, то есть «литературного штаба» партии Панина. Этим поэтам были поручены пояснительные к живым картинам стихи и сатирические куплеты. Но главный гвоздь сатиры — «Хор ко превратному свету» — Екатерина запретила. Этим нанесена была Сумарокову «высочайшая» пощечина. Екатерина платила Сумарокову жалованье, не обременяя его какой-либо службой, она приказала Академии наук бесплатно печатать книги поэта, она награждала его чинами, с благодарностью принимая от него торжественные оды, но, как только он дерзнул сунуть нос во внутреннюю политику, она указала поэту его место.

8

Коронационные торжества закончились, наступил семинедельный великий пост.

В дни коронации Екатерина получила около тысячи прошений от страждущих рабов своих. Жаловались крестьяне и дворовые на бесчеловечное истязание их помещиками, жаловался и городской московский люд на неправые, продажные суды, на безбожное взяточничество в разных приказах, канцеляриях. Прошения написаны как бы кровью и слезами. Общий их тон: «Погибаем, погибаем, заступись, о всеблагая мати!» Были прошения и от помещиков из захолустных мест России: появились-де в наших местах разбойники, жгут усадьбы, режут барский скот, а мужики-холопы им не препятствуют и даже сами перебегают в их шайки, нельзя ли де выслать солдат с пушками.

А бывали прошения и содержания пустейшего, они вызывали на лице Екатерины грустную улыбку. Некая скудородная барынька, Анна Ватазина, жена товарища костромского воеводы, прося Екатерину о производстве мужа в следующий чин, писала: «Умились, матушка, надо мною, сиротою, прикажи указом, а я подвезу вашему величеству лучших собачек четыре: Еполит да Жульку, Жанету, Маркиза» — и т. д.

Передав Никите Панину «сей монстр», Екатерина сказала:

— Даже и меня хотят сделать взяточницей.

— Да, государыня, — прочтя монстр, вздохнул Панин. — Взятка, увы, смертоносно точит корень древа, имя которому — Россия. Вашему величеству доведется обратить свой взор на устроение дел внутренних. К примеру — суд. Судей надлежит всех сместить и назначить людей достойных...

— А где их взять?! — воскликнула Екатерина. — Суд обратился в место торжища, где нищего делают богатым, а богатого нищим.

— С некоей поправкой, государыня, — сказал Панин. — Нищего никогда суды богатым не делают, они его уничтожают.

Весь великий пост, устав от пиршеств и куртагов, Екатерина настойчиво занималась многими государственными делами.

А после пасхи она предприняла из Москвы путешествие пешком на богомолье в древний Ростов-Великий. Там неисчислимая сила богомольцев, стекающихся со всех концов России на поклонение новоявленным мощам святителя Дмитрия. То-то любо будет сердцу государыни: вся Русь узрит, сколь благочестива она и сколь готова стать защитницей веры православной.

Но в Ростове сидел ее лютый враг, митрополит Арсений Мациевич, и подобное обстоятельство Екатерину немало омрачало. Этот смелый, продерзостный старик успел нагрубить и Петру III за отобрание от монастырей крестьян, да не остался в долгу и пред Екатериной — «грабительницей церкви». Публично и бесстрашно он распускал про нее такие обличительные слухи, за которые дерзновенным разглашателям обычно рубят голову. (Спустя месяц после «высочайшего» богомолья Арсений был арестован, предан суду «за оскорбление величества», лишен сана и сослан в Карельский монастырь «на крепкое смотрение».)

Пешеходное паломничество Екатерины, этой усердной поклонницы свободомыслящей французской литературы, было поистине смехотворно. Она выходила из какого-нибудь селенья действительно пешком, шла верст десять. А рядом ехала карета и эскадрон кавалергардов. Где-нибудь в безлюдном месте она садилась в карету, ее отвозили в то селенье, откуда она утром вышла. Здесь она изволила обедать, изволила отдыхать, сколько душе угодно, затем опять садилась в карету, подъезжала к тому месту, где оборвала свой путь, и снова шла пешком. Затем ее вновь отвозили на покой. На следующий день то же самое. Правда, погода ей не благоприятствовала, — иногда случались даже снежные метели, — она писала Панину: «Богу не угодно мое пешехождение, подвергаемся инде в карете переехать».

Селенья по пути следования благочестивой богомолицы начальство старалось приукрасить, скрыть

прущее наружу неустройство: пред избушками на курьих ножках втыкались свежесрубленные елки, чинились соломенные крыши, кое-как красились ворота разведенным дегтем или наваром из луковых перьев, дорога посыпалась песком, иные завалившиеся набок хибарки прикрывались большими щитами с вензелем царицы; всех собак велено было задавить либо запереть в овины и накрепко скрутить им морды веревками, дабы смердящие псы каким-нибудь случаем не взгавкали на пешешествующую государыню.

В каждом селении на лужайке накрыт стол с яствами и питием: творог, калачи, моченая брусника, сотовый мед, молоко, квас, — авось государыня, умаявшись, пожелает чего-нибудь пригубить.

Как-то Екатерине заблагорассудилось возле такого столика остановиться. Дежуривший вблизи мордастый полицейский сразу пришел в ужас: он выкатил на государыню глаза, разинул рот и окаменел. В правой руке его висит вдоль сапога толстая нагайка.

А по-праздничному разодетые девушки, напротив, безбоязненно окружили матушку-царицу и, улыбаясь, млели от любопытства.

— Ну что, красные девицы, рады ли вы мне? — ласково спросила Екатерина.

Девки всплеснули руками, с пленительной простотой ответили:

— Ах ты дура ты этакая!.. Да неужто нет! Вестимо рады!.. Ведь ты поди одна у нас — царица-то!

Екатерина удовлетворенно улыбнулась. А окаменевший полицейский, услышав: «Ах ты дура», — хлестнул себя нагайкой по голенищу и, продолжая с еще большим ужасом пожирать полубожество глазами, перевел грозный взор на озорных девок. Ох, и вспишет он им спины!

Екатерина этой встречей осталась весьма довольна. Какие милые, непосредственные девушки! То-то будет весело, когда она в дружеской компании расскажет об этом придворной знати. Она подарила девушкам золотой червонец на орехи и направилась своей дорогой. Полицейский не сразу пришел в чувство, — он подбро-

сил вверх шапку и в полубеспамятстве со страху заорал «ура».

Однажды, нагнав императрицу, из кареты выскочил бравый Григорий Орлов. Благоговейно поцеловав руку своей «дамы сердца», он сказал:

— Я чаю, вы изволили приустать, государыня, немало натрудили ножки. Смею просить вас проследовать в карету, чтоб ехать к столу. Обед готов, ваши собачки соскучились по вас, свита тоже ожидает с нетерпением.

Он говорил быстро, слегка согнувшись в полупоклоне, она не сводила глаз с красавца великана, но во взгляде ее была некоторая отчужденность.

— Вы, мой друг, сегодня ужасно многоречивы. Уж не чересчур ли хлебнули хмельного? — улыбнулась она.

Он бережно взял ее под руку, повел к закрытой карете и сказал:

— Нет, государыня... Я трезв... Но меня опьяняет ваш голос, ваш взор и вся вы. — Она промолчала, он сел с ней рядом, карета поехала обратно. Он продолжал: — Нет, вы ангел, а не женщина. Меня давно подмывает пошарить по вашей божественной спинке — нет ли у вас крылышек.

Не открывая рта, Екатерина засмеялась в нос и погрозила Орлову пальцем. Сразу же забыв и ростовского «враля» — митрополита Арсения, — и то, что за окном кареты пролетают капли холодного дождя, она почувствовала себя счастливою. С жеманной улыбкой она ответила:

— У государыни должны быть крылья, а не крылышки. Государыня должна быть подобна всевидящей орлице.

— Матушка-государыня! — воскликнул новоиспеченный граф. — Вы орлица, я Орлов... Чего же лучше?.. — И он, забыв всякий придворный этикет, обнял Екатерину столь крепко, что у нее лопнула шнуровка.

Дорога шла то в горку, то под горку, кудрявый кучер благопристойно посвистывал, умело управляя ше-

стерней. Чрез маленькое в глухой передней стенке застекленное оконце виднелась его тугая, сутулая спина.

После неловкого молчания Екатерина взволнованно сказала:

— Ты, Гришенька, есть сатана. Ты всесветно известный ловелас и ветреник. Ты рад склонить к грехопадению смиренную богомолку-пилигримку. Грех, Гришенька, грех.

Орлов, жадно целуя нежную руку подруги, вздохнув, ответил:

— Господь милосерд и к прекрасным кающимся грешницам скоропослушен.

Екатерина вдруг помрачнела и, уже не слушая, что рассказывал ей Орлов, упорно молчала, она вся ушла в охватившие ее грустные думы. Ей вспомнился недавний случай, происшедший в Царском Селе незадолго до коронации, на интимном ужине в обществе Никиты Панина, гетмана Кирилла Разумовского и Григория Орлова: сей последний, переложив чрез край горячительных напитков, сделался весьма развязен и впал в чрезмерное хвастовство. Вели шумный разговор о недавнем перевороте 28 июня, вспоминали всякие героические и смешные эпизоды. Но вот заговорила Екатерина, и все смолкли. Она сказала по-французски:

— Все дело заключалось в том, чтоб или погибнуть вместе с сумасшедшим, или спастись вместе с народом, который хотел избавиться от подобного царя.

— Да что, матушка, — обращаясь к Екатерине, бесцеремонно воскликнул Орлов и не то в шутку, не то всерьез — Екатерина до сих пор не может понять — стал с наигранной наивностью бахвалиться: — Я столь огромное влияние имею на гвардию, что если б я с братишками захотел, мог бы чрез месяц и вас, матушка, свергнуть с престола. Чрез месяц!

Екатерина тогда сверкнула на него холодным взором, чрез силу улыбнулась, опустила голову. А остряк гетман Разумовский, потешно подбоченясь, захохотал в глаза Орлову и — тоже не то всерьез, не то в шутку — бросил:

— Навряд ли, Гриша... Чрез месяц, говоришь? Но,

друг мой, не дожидаясь твоего месяца, а этак недельки через две, мы трохи-трохи повесили бы тебя. Хе-хе-хе...

Екатерина благодарно кивнула гетману.

Сразу придя в память, Григорий Орлов поспешно налил два бокала шампанеи.

— Гетман! Поцелуемся... — фальшиво прокричал он. — И выпьем за здоровье всемилостивой матушки. Я дурак, дурак... Матушка! Я пошутил. Казни меня... — И он опустился перед нею на колени. Она нехотя подала ему для лобызанья руку и, полузакрыв глаза, так же нехотя, на мгновенье коснулась губами его лба.

И вот теперь, сидя в карете бок о бок со своим фаворитом, Екатерина упорно и вдумчиво взвешивает свою грядущую судьбу. Ей надо вести себя умно и осторожно. За нею зорко наблюдают. Ей доподлинно известно, что почти каждый солдат гвардии считает себя виновником ее воцарения, что многие гвардейские офицеры мнят себя недостаточно награжденными за участие в перевороте и поэтому среди гвардейцев носится скрытый дух вражды и недовольства, что у Григория Орлова много врагов.

И ежели он загремит сверху вниз, — пожалуй, несдобровать и Екатерине.

А тут еще этот страшный полупризрак, черт его заберн, претендент на престол — Иван Антонович! Он как бельмо на глазу Екатерины, он сугубо опасен ей!.. Разве не свидетельствует об этом гнуснейший заговор Хрущева с Гурьевыми! А ее болезненный сын, восьмилетний Павел... Ведь партия Паниных спит и видит, как бы чрез подходящий случай вместо Екатерины посадить мальчишку на престол. Но от такого-то пассажа уж как-нибудь она убережется...

Не то Екатерине страшно, про что́ много говорят, — страшно то, о чем молчат!

Как неимоверно трудны первые шаги царствования! Сколь призрачна земная власть! И на глазах Екатерины слезы.

— Государыня, государыня! Вас приветствует народ. Я открою дверцу, махните ручкой... — говорит Орлов.

— Нет, нет, оставь, — отвечает она: ей сейчас не до народа.

Она косится в сторону любимого своего Гришеньки, — в нем вся ее надежда. «Муж! Мой милый муж», — мысленно шепчет она, и ей хочется это мужественное, это крепкое слово произнести вслух и еще раз напомнить своему ветреному спутнику, что ей грозит беда.

Карета остановилась. С радостным визгом бросились к хозяйке две собачонки — верней их нет на свете! Ударил барабан, раздалась команда, офицер и солдаты молодцевато сделали на караул.

Вдали маячил на коне красноносый полицейский унтер с нагайкой, он осаживал сермяжных мужиков в лаптях, дабы их видом не оскорбить светозарных очей владычицы империи.

Государыня, шурша юбками, распространяя вокруг тончайший аромат парижских духов, быстро впорхнула на крыльцо.

4

И вот Екатерина круто принялась за сложные дела государственного устроения.

Было обращено строжайшее внимание на лихоимство, взяточничество, казнокрадство, продажные суды. Вся Русь погибала от лихоимства. Начиная с губернаторов и воевод, «разоряющих всякими способы обитающих под их правосудием», и кончая последней мелкой сошкой, — все торговали своим официальным положением. Весьма толковый, либеральный манифест, подсказанный Никитой Паниным и написанный собственной рукой Екатерины, был направлен на искоренение этой злокачественной язвы. Однако он никакого успеха не имел и не мог иметь: одними словами, как бы хороши они ни были, делу не поможешь.

Интересен и плодотворен манифест, опубликованный на многих языках и во многих заграничных газетах об иностранных поселенцах в России. Продолжая политику Петра Великого, Екатерина задумала населить приволжские пустыри между Саратовом и Астра-

ханью выходцами из западных соседних стран, дабы эти колонисты, привезя с собой европейскую культуру, могли «умножить благополучие империи». На переселение из-за границы двадцати тысяч семейств, главным образом немцев, русское правительство издержало семь миллионов рублей, что являлось по тем временам колоссальнейшей суммой[1].

В связи с этим мероприятием встал вопрос о так называемых «беглых». С незапамятных времен многие русские люди — крестьяне, раскольники, солдаты — от непомерных угнетений очертя голову бежали на Урал, на Дон, за Волгу, в Швецию, Турцию, преимущественно — в соседнюю с нами Польшу; бежали куда попало, — хоть к черту на рога, лишь бы подальше от своего немилого отечества.

Приглашая в Россию иноземцев, Екатерина, естественно, не могла «без сожаления вспомнить о природных русских подданных, любезное отечество свое оставивших». Екатерина продолжала держать перед Европой экзамен политической зрелости, — она обнародовала о беглых либеральный манифест, явившийся лишь подробным толкованием краткого, наспех выпущенного Петром III указа.

Этот острый вопрос все-таки решался Екатериной слишком скороспело и поверхностно. Ее манифест являлся не более как вытяжным пластырем, а не радикальным лечением болезни.

Дворянская фронда стала изыскивать более надежные способы лечения, и военный генерал Петр Панин представил Екатерине свой рецепт.

Братья Панины (и те, кто шел за ними) были явные крепостники, но, будучи людьми либеральными и в своей среде высококультурными, они не только ратовали за широкие реформы государственного управления, но и ставили вопрос о реформах социального строя, о введении строгой законности в отношениях между барином и мужиком, лишь бы то, разумеется, было не в прямой ущерб дворянским интересам.

---

[1] Государственный бюджет 1763 года составлял: доходов — 16 497 381 руб., расходов — 17 235 596 руб.

В своей докладной «записке о беглых» Петр Панин смело указывает много коренных причин побегов крестьян в Польшу, причем главная причина — «ничем не ограниченная помещичья власть с выступлением в роскоши из всей умеренности... употреблением своих подданных в работы, не только превосходящие примеры заграничных жителей, но частенько у многих выступающие и из сносности человеческой...» Генерал Панин требовал запрещения продажи людей в одиночку и в рекруты, уменьшения крепостных повинностей, опеки над помещиком, злоупотребляющим крепостным правом, предоставления крестьянину права жаловаться на помещика.

Петр Панин рекомендовал распространить эту реформу на всю империю.

Екатерина боялась, что рецепт Панина вызовет взрыв недовольства среди массы мелкопоместного дворянства, на которое, по ее убеждению, главным образом опиралась ее власть. И свернуть на дорогу Панина — это значит лишиться престола, а может быть, и жизни. Поэтому «вольнолюбивые измышления» Панина она, не колеблясь, отвергла.

Таким афронтом Петр Панин был очень обескуражен, неприязнь его к Екатерине возросла.

Опубликованный манифест Екатерины, приглашавший беглецов возвратиться в Россию, как и предвидели братья Панины, не имел того успеха, на который рассчитывала императрица: люди возвращались из-за границы сотнями, бежали туда тысячами.

Правительство решило наконец бороться с «утеклецами» крутыми мерами. В 1764 году была сформирована особая карательная экспедиция под начальством генерала Маслова для «выгонки» осевших на Ветке[1] беглых раскольников и прочих бежавших из России людей обиженных.

В эту экспедицию командировали и отряд донских казаков во главе с есаулом Яковлевым. Сюда попал

[1] Ветка — раскольничий посад на берегу Сожи, недалеко от Гомеля.

и Емельян Пугачев: на это темное дело ему очень не хотелось ехать, но откупиться от похода бедному казаку было нечем.

Расправа с беглыми на Ветке была на этот раз очень жестокая: раскольничьи скиты и селения, по приказу генерала Маслова, были расхищены, преданы огню, многие беглецы переловлены, угнаны на поселение в Сибирь.

Емельян Пугачев пытливо присматривался к беглецам — этим вольнолюбивым людям, раздумывая о причинах их бегства из России, узнавал тайные тропы за рубеж, на Ветку: авось когда-нибудь эти запретные пути ему пригодятся.

А пока что он снова возвратился к своему семейству и, живя в бедности, стал заниматься хлебопашеством.

Вскоре Екатерина натолкнулась на весьма трудный вопрос — о горнозаводских крестьянах. Она еще плохо знала жизнь, не предвидела всех последствий своих «прожектов», и, когда на Урале началось восстание работных людей, ей пришлось сбросить вольтерьянство и вместо любвеобильных в манифесте уверений выдвинуть против уральских бунтарей штыки и пушки.

Труд горнозаводских крестьян считался хуже каторги. Вольной волей на завод никто не шел, поэтому еще полсотни лет тому назад был издан регламент, дававший заводчикам право покупать у помещиков целые деревни с землей и без земли. Так многие десятки тысяч хлеборобов были куплены, насильственно переброшены на Урал и навечно закабалены заводчикам.

Хозяева заводов — либо вельможная знать, либо разбогатевшие купцы — жили в столице, заводами же ведали управители, приказчики. Вот эти-то наемники, соблюдая свои собственные выгоды, и загоняли, при попустительстве хозяев, рабочего человека в гроб.

Еще при Петре III начались на Урале беспорядки. Карательные меры ни к чему не привели, и к мо-

менту воцарения Екатерины число возмутившихся горнозаводских крестьян достигло сорока девяти тысяч.

Со свойственным ей умом и энергией Екатерина пожелала вырвать это социальное зло с корнем и, встав на защиту людей работных, объявила указом:

«Всем заводчикам отныне к их заводам деревень с землями и без земель не покупать, а довольствоваться вольными наемными по пашпортам за договоренную плату людьми».

Итак, труд обязательный, каторжный заменен трудом вольнонаемным.

Подобный шаг Екатерины, ошеломив хозяев-толстосумов, при своем осуществлении нанес многие беды и самой Екатерине, и толстосумам, и даже тем злосчастным работным людям, которых она мечтала облагодетельствовать. И на самом деле: этот манифест мог бы взволновать и спокойное население, а ведь на Урале протекала забастовка, и, когда там узналось содержание царской грамоты, бастующий народ перекрестился:

— Ого, ребята! Стало — правильно мы... На работы не выходить, в случае чего — приказчиков вешай! А кому желательно — езжай со всей рухлядишкой в родную сторону. Мы ныне вольные. Матушка-государыня за нас!

Весь горнозаводский Урал вскоре был охвачен восстанием. Работные люди в простоте своей так и полагали, что они действуют заодно с матушкой-царицей, что вольность их освящена законом, и потому — им черт не брат.

А в это время всполошившиеся аристократы-горнозаводчики — граф Шувалов, два графа Воронцовы, графы Ягужинский, Сиверс, Чернышев, знатные Демидовы и прочие и прочие — поверглись, фигурально говоря, пред Екатериной на колени и в выражениях самых изящнейших по форме, но со скрытым озлоблением против манифеста в один голос возопили:

— Матушка, что же ты наделала, ведь ты-де росчерком пера губишь горнозаводскую промышленность,

которую с таким упорством насаждал на Урале великий Петр!

— Ваше императорское величество! Повелите изыскать меры к потушению пожарища, дабы бедствие сие не перебросилось на соседние провинции и на самое сердце России. Ваше величество! Чернь жестока и в корысти своей неукротима...

Царица не на шутку перетрусила и, по внушению Григория Орлова, круто повернулась к рабочим «высочайшим» тылом. Проще говоря, она тотчас поручила тушить сибирский пожар молодому расторопному «брандмейстеру» — князю А. А. Вяземскому.

«Нужда теперь в том состоит,— не краснея, писала она князю, — чтоб крестьян привести в должное рабское послушание и усмирить. А ежели будет сопротивление — употребить против них оружие и даже до пушек».

Князь Александр Вяземский, человек жестокий и тупой, но очень исполнительный, был весьма подходящ для роли «брандмейстера». Закоренелый крепостник, еще не оперившийся враг дворянской фронды, он был ненавистен группе братьев Паниных, зато мил сердцу Орловых, — такими людьми они вообще довольно дорожили.

И вот в руках Вяземского большая воинская сила. Заводские крестьяне-рабочие осыпали появившиеся против них солдатские команды градом упреков.

— Вы изменники государыни! Вас, лиходеев, хозяева подкупили. А мы — по манифесту... Не поддавайся, мирянушки!..

— Расходись! Становись на работу! — кричали командиры.

— Не пойдем! Пущай нам контора расчет выдаст... Мы тихо-смирно по деревням своим разбредемся... Мы — по манифесту... А нет — мы к матушке-государыне ходоков пошлем... Злодеи!

— Пли! — слышалось в ответ. И пушечная картечь опрокидывала толпу, разила насмерть. Многие в страхе разбегались, многие падали и умирали.

Так благие пожелания кончились грохотом пушек и кровью казненных.

Эту кровь рабочий люд припомнит Екатерине, — вместо слез и стенаний он ответит ей залпом своих собственных пушек, когда появится на сибирских заводах грозный Пугачев.

5

Еще будучи великой княгиней, а затем и при Петре III, Екатерина примечала, что внутренними делами России никто не интересуется, что государственный механизм работает кое-как: чадит, скрипит, идет вспотычку, по инерции. Она понимала, что так продолжаться не может, и, вступив на престол, решила благоустроить свое «любезное отечество». Но для предстоящих реформ талантливых, толковых людей из дворянской аристократии возле нее не оказалось. Прихлебателей и сторонников Петра III — казнокрада и взяточника Романа Воронцова, его брата, слабоумного, продажного канцлера М. Воронцова, братьев Шуваловых, Миниха и прочих — она от престола отстранила, новых сподвижников пока что не приобрела, за исключением одаренного Никиты Панина, который перешел к ней, так сказать, по наследству от прежнего царствования. Правда, терся возле нее возвращенный ею из ссылки просвещенный политик — бывший канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, которому она многим была обязана [1]. Но он, этот последний «птенец» Петра I, дряхл, упрям и стал не в меру подхалимен. То он носится со льстивым проектом поднести императрице титул «великой, премудрой матери отечества», то, — может быть, по внушению братьев Орловых, — собирает подписи под петицией Екатерине о том, чтоб состоялся ее брак с Григорием Орловым.

---

[1] За политическую во время прусской войны измену, в которой отчасти была замешана и великая княгиня (будущая Екатерина II), А. П. Бестужев был приговорен, по настоянию императрицы Елизаветы, к отсечению головы. Затем Елизавета вместо смертной казни лишила его чинов и орденов и навечно сослала в его вотчину, где велено жить ему под караулом, дабы другие были охранены от уловлений мерзкими ухищрениями состарившегося в них злодея.

Но первый угодливый проект, как неблаговременный, она рыцарски отклонила, а уронить свой престиж настолько, чтобы превратиться в madame Орлову, не захотела. Тем не менее Бестужев пользовался особым доверием Екатерины.

Впрочем, главная персона при дворе — сиятельный граф Григорий Григорьевич Орлов. Однако Екатерина, быстро раскрыв его, поняла, что он, к сожалению, государственным умом не обладает, недостаточно образован, ветрен, любит попьянствовать, посорить деньгами, вообще пожить в свое удовольствие. Она отчетливо себе представляла, что одна только красивая внешность еще не может являться опорой престола. Напротив того, Орлов, сумевший своим высокомерием восстановить против себя многих былых своих товарищей, сам нуждался в высоком покровительстве Екатерины. Но сила Орлова в том, что он искренне предан Екатерине. Он был единственным человеком, которому Екатерина абсолютно доверяла.

Честолюбивый, ослепленный блестящей карьерой, Орлов тщился разделить с Екатериной трон и стать царем, он верил в возможность подобного «марьяжа», он во сне и наяву об этом грезил. Но Екатерина отдала ему лишь свое сердце, оставив за собою право своевластно и безраздельно управлять империей.

Конечно, и при дворе, и в двух столицах, и вообще на местах было много людей одаренных, болеющих нуждами народными (например, тот же Ломоносов), но они случайно, а может статься, и умышленно, не попали в поле зрения политического кругозора царицы. И в этом ее историческая слепота.

Дважды в неделю она присутствовала на заседаниях сената, где удивляла сенаторов своим непреклонным характером, политической зрелостью, государственным широким кругозором.

Худ или хорош сенат, состоящий из крупного дворянства,— он являлся в стране большой государственной силой, с которой Екатерине доводилось не только работать, но и серьезно считаться. Недаром и назывался он: «Правительствующий сенат».

В числе сенаторов был Петр Панин, произведенный Екатериною по окончании Прусской войны в полные генералы. Этот либеральный феодал возглавлял в сенате дворянскую против императрицы фронду и вел себя независимо. Однажды Екатерина привезла в сенат новый указ и огласила его. Все сенаторы, кроме Петра Панина, встали, благодарили ее.

— А вы, господин сенатор?—обратилась она к нему.

— Я не могу согласиться с тем, что считаю неправильным. Но ежели мне монархиня прикажет, я обязан буду подчиниться.

В начале 1764 года, чтоб разбить в сенате дворянскую фронду, Екатерина назначила генерал-прокурором (главой) сената князя А. А. Вяземского, недавнего душителя работных людей на Урале. Будучи врагом прогресса, этот тридцатисемилетний князь был приверженцем царицы и Орловых.

Екатерина, изложив свою программу, старалась внушить ему:

— Имейте в виду, Александр Алексеич, в сенате вы встретите две партии. И каждая партия будет вас тянуть к себе. В одной люди честных нравов, хотя и недальновидны разумом, — они нам не есть опасны. Виды же другой партии простираются дальше. Например, генерал Панин Петр много смотрел чужие земли, он все наше критикует и мечтает завести у нас иноземные порядки. Вы держите себя так, чтоб обе партии поскорей исчезли навсегда. В ущерб интересам страны они там грызутся, аки псы. Они не понимают, что сенат установлен лишь для исполнения законов, ему предписанных. А между тем сенат не единожды выходил из своих границ и садился в чужие сани. Однако ж, покамест я жива, несбыточные мечтания их я пресеку.— И Екатерина, повысив голос, заключила знаменитой фразой: — Российская империя столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая иная форма правления ей вредна!

Вскоре фронда в сенате была разбита Покоренный, приниженный сенат из главенствующего в государстве учреждения обратился в какую-то судебную канцелярию и «богадельню для вельмож».

ГЛАВА II

«Промысл божий». Несчастнорожденный Иванушка

1

Итак, государственная машина пришла в действие, стала работать полным ходом.

Но грозный призрак в образе шлиссельбургского узника беспрерывно, неотвязно подавлял дух Екатерины.

Шел 1764 год.

«Городская эха», подстегнутая недавним политическим процессом офицера Хрущева со товарищи, вопреки строжайшему манифесту «о молчании», все еще продолжала с упорством гудеть о принце Иоанне. Эта «эха» постепенно проникла и в медвежьи уголки государства. Русский же народ, склонный к высоким чувствам, всегда интересовался и скорбел о судьбе невинно страдающего узника, а в просторечье — «несчастного Иванушки». Подобное настроение страны было доподлинно известно Екатерине.

На днях ей попалась в руки копия письма Вольтера к г. Аржанталю (привез ее из Парижа И. И. Шувалов, большой почитатель Вольтера и лично знакомый с ним). Между прочим Вольтер писал: «Я немного тревожусь о моей императрице Екатерине, как бы принц Иван не свергнул нашу благодетельницу». Это прозренье мудреца окончательно лишило Екатерину душевного спокойствия. Что же делать ей, что предпринять для предотвращения катастрофы? Рассчитывать на естественную скоропостижную смерть принца Екатерина не могла: он здоров, ему двадцать четыре года, и разум его не помрачен. Ведь вскоре после своего воцарения Екатерина имела с принцем тайное свидание, и если бы она заметила, что Иоанн безумен, она тотчас же опубликовала бы об этом радостном для нее явлении манифест: умалишенный претендент не может быть обладателем престола. Но манифеста не последовало.

Значит, к ограждению своих прав Екатерине оставался один выход: насильственное умерщвление принца Иоанна.

«Како бог похощет, тако и совершится», — тщетно стараясь преодолеть великие соблазны и душевные терзания, лицемерила Екатерина сама с собой.

И вот «промысл божий» начинает постепенно плести подлые и миру невидимые сети.

Сети стали плестись сыздавна. Два приставленных к Иванушке офицера, Власьев и Чекин, в дополнение указа Петра III: «Арестанта живого в руки не отдавать», — получили новую секретную инструкцию за подписью Никиты Панина: «Ежели случится, чтоб кто пришел с командою или один, без именно́го, за собственноручным Ее Императорского Величества подписанием, повеления или письменного от меня приказа и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать. Буде же так оная сильна будет рука, что опастись не можно, то арестанта умертвить, а живого в руки не отдавать» и т. д.

Оба названных тюремщика, Власьев и Чекин, восемь лет проведшие в крепости вместе с принцем Иоанном, и сами в конце концов уподобились заключенным: они лишены были права выходить за пределы крепости, переписываться с родными, видеться со знакомыми. И вот возопили они к Панину: «Помилосердствуйте».

Панин с учтивостью ответил им весьма знаменательным во всей этой темной истории письмом:[1]

«Благородные господа капитан Власьев и поручик Чекин.

Я не сумневался, что вы, находяся в вашем месте, претерпеваете долговременную трудность... Извольте взять еще некоторое терпение... а при том уверяю вас, *что ваша комиссия для вас скоро окончится* и вы без воздаяния не останетеся.

Ваш всегда доброжелательный слуга *Н. Панин.*

Августа 10 дня, 1763 года».

---

[1] Письмо приводится с пропусками.

Но прошло четыре месяца, обещанного окончания их «комиссии» все еще не наступало, и несчастные офицеры-тюремщики вновь взмолились к Панину: «Больше сил нету, выпустите нас из Шлиссельбурга». В конце 1763 года Панин просит их новым письмом еще немного потерпеть: *«Оное ваше разрешение не дале, как до перьвых летних месяцев продлиться может»*. И в задаток благ будущих шлет каждому из них по тысяче рублей.

Весной 1764 года разные бредни об Иване Антоновиче, не прекращавшиеся и раньше, стали особенно обильны, тревожны и настойчивы. В Петербурге поговаривали о какой-то предстоящей катастрофе. Откуда исходили эти слухи, неизвестно. Казалось бы, осторожность диктовала правительству принять против праздной болтовни те или иные меры. Но правительство оставалось к опасным слухам равнодушным. Их почему-то не особенно боялась и Екатерина. После пасхи начали появляться в Петербурге подметные письма, прокламации, пророчащие скорую катастрофу или зовущие к возмущению. В одном письме говорили: «Как скоро волею божьею Иоанн престол получит, Миних, Остерман и Бирон в отставку...» В другом грозили, что «уже время наступает к бунту». В третьем писали: «Графа Захара Чернышева четвертовать, Алексея Разумовского, Григория Орлова також, государыню выслать в свою землю, а надлежит на царский престол утвердить непорочного царя и неповинного Иоанна Антоновича».

Екатерина с непонятным спокойствием прочитывала эти безыменные доносы и, передавая однажды объемистую пачку их князю Вяземскому, сказала:

— Все сие презрения достойно.

Тучи над Екатериной сгущались, вот-вот ударит гром. Всегда крайне настороженной и осторожной Екатерине надлежало бы крепко сидеть в Петербурге, чтобы во всеоружии встретить катастрофу. Но... случилось иное. Осененная благопоспешествующим «промыслом божьим», она, ничтоже сумняся, 20 июня

покидает пределы своего государства и в сопровождении Орлова предпринимает пышное путешествие в Лифляндию, якобы для устроения политической важности дел.

2

В Петербурге, видимо, тот же «промысл божий», та же благодать снизошла и на молодого офицера, подпоручика Василья Яковлевича Мировича.

Тщедушный, среднего роста, кривоногий, с большим выпуклым лбом и черными, горящими огнем фанатизма глазами, он влачил службу в крайней нужде, снимал плохонькую комнату «вверху над сеньми» в доме партикулярной верфи, в Литейной части Петербурга. Происходя из знатного рода Мировичей, он был крайне честолюбив и не однажды возбуждал безуспешные ходатайства о возвращении ему имений его деда — изменника, последовавшего за Мазепой. Он даже добился свидания с гетманом Разумовским.

— Га! Хлопец, землячок! Ну, что, карбованцев треба? — радушно воскликнул гетман.

Мирович, блестя глазами, объяснил ему крикливым нервным голосом цель своего визита.

— Именья деда, говоришь? Нет, хлопец. Мертвого из гроба не ворочàют. Ты, хлопец, пробивай себе дорогу сам. Норови сгрести фортуну за чуприну, вот як — цоп! И будешь таким же паном, как и прочие.

Впечатлительный Мирович принял совет гетмана всерьез. И ему запала мысль действительно схватить счастье за рога. Но как? И где это загадочное счастье? Его рота довольно часто несла под его начальством караул в Шлиссельбургской крепости. Он обратил внимание, что в крепости есть казематы и что возле каземата № 1 всегда одна и та же несменяемая особая охрана. Здесь томился никому не ведомый «безыменный колодник». Год тому назад отставной барабанщик по пьяному делу сболтнул Мировичу, что безыменный узник есть бывший император Иван III Антонович. Наконец-то! Счастье само дается ему в руки!

Эта весть потрясла Мировича и навсегда лишила его покоя.

Ему хорошо были известны эпизоды дворцовых переворотов. Чтоб навеки прославиться, он, ни много ни мало, умыслил возвести Ивана Антоновича на престол.

В начале июля наступила его очередь идти на караул в Шлиссельбургскую крепость. Он жил теперь в форштадте за рекой Невой, против самой крепости. В последние дни он смело и пылко стал склонять трех капралов и солдат своей роты принять участие в перевороте.

— Екатерины, ведомо вам, в Петербурге нету, — нервным голосом нашептывал он солдатам, и черные глаза его горели. — Она уехала с Григорием Орловым в Ригу, за него замуж выходить. Она немка, и помоги Никола-чудотворец, чтоб ей оттуда не вернуться. А Иван Антонович происходит от колена Петра Великого. Престол российский — его престол.

Солдаты колебались. Но они любили Мировича и верили ему.

8

Екатерина с Григорием Орловым, генералом Петром Паниным и свитой медленно продвигалась в направлении к Риге. Песчаная дорога и нестерпимая жара делали дорогу неподатливой и трудной.

Жарко было и в столице. Обер-гофмейстер Никита Панин с десятилетним наследником Павлом проводили лето в Царском Селе.

Послеобеденный отдых кончился. Никита Панин с учителем наследника, молодым офицером С. А. Порошиным[1], и сам наследник с китайской, слоновой кости, тросточкой в руке выходят на прогулку. Сзади за ними — два лакея в галунах и огромный казак в лохматой шапке.

Из правого крыла Екатерининского дворца они спустились в собственный садик ее величества. Раз-

[1] Бывший флигель-адъютант Петра III.

далась команда: «Смирно! На караул!» Бравые гренадеры стукнули ружейными прикладами в плиты панели, выпятили груди, выкатили на Павла Петровича глаза, замерли. «Вольно!» — пискливым детским голосом выкрикнул наследник и, помахивая тросточкой, чрез ножку поскакал вперед.

— Ваше высочество! — остановил его Панин, и они все трое неспешно двинулись вниз, к большому озеру. — Когда вы подаете солдатам команду, ведите себя, ваше высочество, подобающе, не уподобляйтесь козлоногим сатирам. А вы чрез ножку гоп да гоп... Сие по военным правилам возбраняется.

— Почему возбраняется? Докажите, сударь, почему? Вы сей день, Никита Иваныч, придираетесь ко мне, — картаво и быстро заговорил мальчик. — Порошин! Ведь этот дядя придирается ко мне?

— Никак нет, ваше высочество. Его высокопревосходительство, Никита Иваныч, резонно молвил... — слегка улыбаясь, ответил ласкательным тоном Порошин.

Осанистый Панин ленивым жестом достал кружевной платок, вытер вспотевшую шею и осторожно взял наследника под руку. Слегка задыхаясь и пыхтя после сытного обеда, сановник низким голосом проговорил:

— Я вам, батюшка, Павел Петрович, еще в прошлый раз сказывал...

— Опять рацеи?

— Да, рацеи, — нажал на голос Панин.

— Дайте же мне побегать, сударь. Где Ванька, мальчик садовника? Покличьте гарсона Ваньку! Мы с ним взапуски...

— Не Ванька, а Ваня, ваше высочество, — менторским тоном заметил Порошин. — Уничижительное имя — есть кличка, присущая не людям, а скотам.

Курносый, пучеглазый мальчик надулся и, тщетно стараясь освободиться от горячей, вспотевшей руки Панина, стал сердито пыхтеть. И все-таки вырвался от Панина, быстроного побежал к цветущей куртине, сорвал три цветка — беленький, желтенький, красненький — и чрез ножку — к Панину:

— Никита Иваныч! Извольте в петличку, сударь, в петличку... Не гневайтесь. Ну, пожурили и — будет.

Панин улыбнулся и полными губами чмокнул руку наследника. Над царскосельским озером заходило солнце. Зеленый островок с концертным павильоном стал розовато-коричневым. Обширная гладь озера горела в блеске заката.

Пламенела золотая дорога, и на бескрайной поверхности Ладожского озера белые паруса рыбачьих судов розовели вдали. Тишина, простор и чуть тронутое лазурью бледное небо.

Но безыменный узник, приникнув к полукруглому за железной решеткой окну, этой широкой и вольной картины не видит: его тоскующий взор, то вспыхивая, то погасая, упирается все в тот же противный, мощенный камнем, нелюдимый дворик, огражденный проклятыми стенами. И так изо дня в день, из года в год... Когда же избавленье? Хоть бы смерть пришла...

Он тонок, сутул и чрезвычайно бел лицом. Большой орлиный нос заострился, щеки впали, он — как чахлое, лишенное воздуха и света дерево. Длинные белокурые, чуть седеющие волосы раскинуты по плечам, как у монаха. Одежда грязная, старая, в заплатах.

— Григорий, Григорий, Григорий мое имя... А где же Иоанн? Нету Иоанна. Все мне говорят, что нету. А был, а был... Они все врут, колдуны проклятые, шептуны. Они сглазили меня, лихоту на мой разум напустили. Огнем на меня дышат. Смрадом адовым. А я помню, что я был рожден Иоанном. Я принц, я повелитель здешней империи...

— Ты что это такое выборматываешь, Григорий? — скрипучим голосом спрашивает его старый солдат в седой щетине, он сидит у стола, вяжет себе кисет из гарусной шерсти.

— Я ничего, ничего, дядя, — поворачивается к нему Иоанн, на мгновенье закрывает белыми ладонями лицо, как бы собираясь разрыдаться, затем закидывает руки назад и, стуча грубыми башмаками, начинает быстро шагать по сводчатому каземату. Он мор-

щит лоб, угрюмо смотрит в пол, думает. Шаги его мерно брякают железными подковами в камень плит, а старому солдату грезится, что за окном чья-то тяжелая рука загоняет в гроб гвозди. Узник остановился, жалостно посмотрел в глаза солдату и тихим голосом, слегка заикаясь, заговорил:

— А слыхивал ли ты, солдат, житие Алексея, человека божьего? Четьи-минеи, вот она, книжица-то, эвот! Он был сын царский, и в юности покинул дом отца своего, и покинул супругу милую, и всю царскую пышность отмел, и, отряся прах от ног своих, сокрылся... Ты слышишь, солдат?

— Сказывай, сказывай, слышу. Я божественное люблю... — Солдат оставил вязанье, облокотился на стол, а сухими кулаками подпер скулы, отчего углы глаз перекосились, полезли к вискам, как у китайца, и с вниманием стал вслушиваться в речь узника.

— И вот много лет минуло. И стал Алексей, царский сын, нищим. И приходит он как-то ко двору в рубище и с сумкою для корок хлеба. И просит слуг: «Помогите, ради Христа, на пропитание убогому». А слуги, не узнаша его и схватив вервие, гнаху вон... — Вдруг узник подбежал к солдату и, бросив руку на его плечо и согнувшись, закричал:

— Алексей, царский сын, — это я! Вот я нищ, убог, возвращаюсь в царский дом свой... И вы, слуги мои, не признав сына царева, гоните меня!

Солдат вскочил и, подхватив вязанье с клубком шерсти, попятился от Иоанна.

— Не бойся меня, солдат... Я смирный. Вот сжалится бог надо мной да посадит меня царем царствующим, я тишайший буду, никого казнить не стану. Ведь во мне плоти нет, солдат, плоть умерла, остался дух свят, дух Иоанна. Я тебе много добра сделаю! И Власьеву, и Чекину... — косноязычно выкрикивал он, наступая на солдата.

— Стой ты, стой! — пятился от него солдат, отмахиваясь клубком и вязаньем. — Какой ты Иоанн, к свиньям! Ты Григорий, Гришка-дурак, заика...

Лицо узника все сморщилось, он всхлипнул, всплеснул руками и пал пред солдатом на колени.

— Скажи, скажи, ну, миленький, ну, желанненький... Кто та жена в хламиде черной, что посетила меня давно, с год, с два? Кто она, красавица такая, все выпытывала, все взором глаз небесных виляние творила по зраку моему убогому?.. Меня возили втапоры, возили куда-то, лицо завязали мне тряпицей... Уж не невеста ли моя нареченная, суженая? Аль на погубление души моей сатана принес ее? Ой, скажи, ой, скажи, солдат!.. Сжалься, смилуйся! — Он распростерся на полу ниц. Вся грудь его наполнилась рыданием. А когда поднялся, солдата пред ним не оказалось, была чугунная дверь с замком, были затхлые стены да лампада в углу перед иконой.

Иоанн пошатнулся, трагически запрокинул голову, стиснул вскинутыми ладонями виски и каким-то перхающим голосом сипло и задышливо стал выбрасывать убогие слова:

— Господи! Мнози борят мя страсти... Спаси меня! Спаси меня!

Панину подают пакет. Он ломает печать, подносит бумагу к самым глазам, пробегает ее содержание и, оставив наследника на попечение Порошина, спешит во дворец. Он быстро пишет секретный короткий приказ: выставить сильный военный дозор по обоим берегам Невы в трех верстах выше Петербурга, дозору быть начеку, всех плывущих водою или направляющихся к столице берегом, какого бы чина и звания ни были, — хватать.

Серая пелена неба поредела. Спустилась на землю июльская белая ночь.

Екатерине жарко, душно. Она встает с позолоченного ложа, оправляет пред зеркалом чепец и, накинув сиреневый кружевной капот, подходит к открытому окну. Возле крыльца старинного рыцарского замка, где она пребывает, стоят четыре стража. Они в средневековых панцирях и шлемах, их стальные тесаки обнажены. Чужеземные витязи охраняют покой рос-

сийской императрицы. Екатерина пересекает спальню и соседнюю с ней горницу и выходит на балкон. Пред ней море цветов всех ароматов, всех оттенков. Буйно цветут кусты жасмина, а дальше — заросли отцветающей сирени, а еще дальше — кудрявая стена могучих дубов и кленов. Поют бессонные соловьи. Екатерина трепетными ноздрями втягивает пьянящий воздух. Как хорошо кругом! Но сердце ее сжимается в тревоге, она ищет прищуренными глазами восточную сторону, где на произвол судьбы брошен ею Петербург. Из ее груди вырывается глубокий-глубокий, тяжкий-тяжкий вздох. Что там, как там? Бодрствует ли Никита Иваныч Панин? Ведь ему вверены наследник престола и спокойствие страны.

Да, Никита Панин в Царском Селе бодрствует. Среди ночи он вдруг зазвонил в серебряный звонок и вошедшему сонному адъютанту, не успевшему надеть парик с косичкой, приказал тотчас закладывать карету в Петербург.

4

Да, да. Ночь. Надо действовать, действовать немедленно! Мысль Мировича горит. Он таращит в полумрак безумные глаза: там, возле изразцовой печки, — огненный трон, на троне — юный Иоанн, и перед ним на коленях он, Василий Мирович, подающий на серебряном подносе Иоанну корону, державу, скипетр...

Пробило час ночи. Мирович в полутьме разделся и лег спать.

Заскрипела дверь, вошел фурьер Лебедев, объявил, что комендант приказал, не тревожа Мировича, пропустить из крепости гребцов. В половине второго снова явился тот же фурьер, — комендант приказал пропустить в крепость канцеляриста и гребцов. А чрез несколько минут опять приказ: пропустить из крепости гребцов обратно.

— Баста! — фатальным голосом выкрикнул Мирович. — Прочь раздумье! Больше ни минуты. Слава так слава, а коли смерть — так смерть. — Он схватил

мундир, шарф, шпагу, шляпу и, одеваясь на ходу, побежал из кордегардии в солдатскую караульню.— К р-ружью! — заорал он что есть силы.

Быстро собравшаяся команда в тридцать семь штыков построилась на дворе крепости во фронт.

— Забить в ружья пули! — громко приказал Мирович.

Солдаты с шумом, с бряком стали заряжать ружья. На крыльцо выскочил в одном халате комендант и злобно спросил Мировича:

— Что случилось? По чьему приказу?

Мирович кинулся к нему, с маху ударил его в лоб прикладом и, крикнув:

— Мерзавец! Невинного государя держишь здесь! — приказал его арестовать.

Третий час ночи. Светло. Прохладно. Чрез башни, чрез гранитные стены, чрез крыши казематов с Ладожского озера наплывал густой туман. Он вдруг заполнил все пространство белой мутью: пропали крепостные стены, очертания дома коменданта, пропали шеренги солдат, исчезло небо. Люди пришли в смятение.

Кой-как перестроив команду в три шеренги, Мирович сквозь туман кинулся наобум с солдатами к каземату № 1.

— Стой! Кто идет? — окрикнул караульный.

— Идем к государю! — громко ответил Мирович.

Тогда от каземата пыхнули мутные огни, прогремел из шестнадцати ружей недружный залп. Но туман густ и бел, как молоко; каземат и все кругом скрылось, как в волшебной сказке. Мирович скомандовал:

— Огонь!.. Всем фронтом — пли! — Затрещали выстрелы по направлению к пропавшему в тумане каземату.

Дав залп, солдаты стали в страхе разбегаться, пошел ропот.

— Стой! — раздался из тумана голос Мировича.— Слушай манифест! — И, выхватив бумагу, Мирович быстро стал читать собравшимся солдатам. А затем

закричал гарнизонной команде, что у каземата: — Ребята, не палить! Изменники...

Туман ответил:

— Сами изменники! Палить будем. — И снова ударил из тумана в туман слепой, безвредный залп.

— Пушку, пушку сюда!.. Вот я вас пушкой, — стал застращивать невидимый в тумане Мирович. — Солдаты, на бастион! — Солдаты, плутая в белых облаках тумана, потащились за пушкой, Мирович — в комендантский дом, за ключами от порохового склада, на ходу встречным часовым кричал: — Ни в крепость, ни из крепости никого не впускать, не выпускать! Кто прорвется — стрелять!

С трудом притащили пушку, засыпали пороху, стали забивать ядро. Мирович послал к гарнизонной команде своего сержанта с приказом, чтоб сдавались, чтоб выслали к Мировичу офицеров Власьева и Чекина, иначе «его благородие» немедля учинит пальбу из пушек. Сквозь туман громкий ответ:

— Конец пальбе! И вы не смейте бить по нам из пушек.

Тогда обрадованный Мирович бросился со своими солдатами к каземату и, наткнувшись на Чекина, потащил его в сени:

— Говори, где государь?

— У нас государыня, а не государь.

Мирович ударил его по затылку и, потрясая ружьем, сумасшедше заорал:

— Отпирай двери! Заколю! — и направил на него штык.

Чекин, зябко передернув плечами, без сопротивления отпер дверь. Мирович с солдатами по семи каменным ступенькам вбежали в темный каземат.

— Огня!

Затрещал-заплевался смольевый факел, тьма заклубилась дымом, туманом, неверным колеблющимся светом. На каменных плитах в луже крови валялся недвижимый Иоанн. Проткнуты шпагой левый бок, грудь и ранена шея. Пальцы скрючены, рот полуоткрыт, большие помутнелые глаза удивленно смотрят в каменные своды.

Мирович и солдаты содрогнулись.

Двое убийц, Чекин и Власьев, бледные, взволнованные, стояли в стороне. Мирович опустился на колени перед трупом, поцеловал Иоанну руку.

Мертвеца суетливо, с шепотом, со вздохами положили на кровать, прикрыли красной епанчой, отнесли к фронтовому месту.

Туман рассеялся. Восток в заре. Светло, как днем.

Мирович приказал бить утренний побудок, а команде взять на караул. Страшно забили барабаны. У солдат прошел по спине мороз. Мирович, отдавая воинские почести почившему, салютовал шпагой. Затем, потеряв самообладание, весь похолодевший, отрешенный от жизни, он приблизился к праху, вновь поцеловал руку Иоанна и сказал солдатам:

— Братцы! Други! Вот наш государь... Теперь мы не столь счастливы, как бессчастны. А всех больше за то я претерплю. Вы не виноваты. Я за вас буду ответствовать и все мучения на себе снесу. — По щекам Мировича катились слезы. Он стал обходить шеренги, обнимать каждого солдата, благодарить и целовать.

Вдруг на него сзади бросился капрал: «А ну-ка, барин!» — и с помощью пришедших в себя солдат снял с него шпагу. Явился освобожденный солдатами комендант. Он сорвал с Мировича офицерский знак. Мирович и его солдаты арестованы, крепость заперта. Никите Панину срочно строчится донесение.

Итак, умыслив спасти Иоанна, Екатерину же лишить престола, Мирович Иоанна погубил, а спас Екатерину: отныне ничто не угрожает ее трону, — шлиссельбургский узник мертв.

Об этой шлиссельбургской «диве» она узнала лишь четыре дня спустя, утром 9 июля, тотчас по приезде в Ригу.

Она всплеснула руками, прослезилась и воскликнула:

— Руководствие божие чудное и несказуемое есть!

Из Петербурга скакали в Ригу курьер за курьером. Екатерина писала по-французски Панину: «Про-

видение оказало мне очевидный знак своей милости, придав такой конец этому предприятию...» И далее, по-русски: «Я ныне более спешю как прежде возвратиться в Петербурх, дабы сие дело скорея окончать и тем далных дуратских разглашений пресечь».

Она вернулась в столицу лишь в конце июля, а 17 августа был опубликован «во всенародное известие» манифест о «приневоленном» убийстве Иоанна.

Верховный суд, разобравший дело в скорый срок, 9 сентября подписал сентенцию приговора: «Отсечь Мировичу голову и, оставя его тело народу на позорище до вечера, сжечь оное потом вкупе с эшафотом, на котором та смертная казнь учинена будет».

5

Поутру, 15 сентября, на Петербургском острове, на Обжорном рынке, состоялась казнь Мировича.

Народу собралось очень много. Все свободные места, свайный мост, крыши домов, заборы, деревья были усеяны народом.

Мясник Хряпов со своим приятелем, бывшим придворным лакеем Митричем (ныне уволенным за пьянство), стояли в обнимку на узкой скамейке, принесенной за пятак из соседнего дома дворником.

Эшафот с палачом окружен солдатами и густым кольцом зевак. Все, вытянув шеи, ждут. Гул, говор, шум. В толпищах разговоры:

— Помилуют, помяни мое слово, помилуют... Мирович ни при чем тут, не он убил.

— Как не он! В сентенции ясно пропечатано: «Сего несчастного принца убийцом должно признать Мировича». На, читай.

— Ой, Митрич, Митрич, — сказал Хряпов лакею. — И пошто мы на этакое позорище пришли!

— Дабы милость государыни своими очами зреть.

— Милость? Ха! Дождешься.

— Да уж поверь. Уж мне ли не знать. Весь век при дворе проторчал. Да и кавалерия также ду-

мает. Мне знакомый полковничишка сказывал: Мировичу будет дарована жизнь.

Почти по всей людской громаде была крепкая уверенность, что Мировича помилуют. Так же думал и стоявший в своей роте унтер-офицер Преображенского полка Г. Р. Державин.

— Давай об заклад, — не изменяя застывшей позы и держа у ноги ружье, шептал он своему соседу. — Всемилостивейшая помилует. Да и граф Алексей Григорьевич Орлов так изволили говорить намедни.

— Гляди, гляди, сентенцию читать закончили, — в ответ ему шептал сосед-преображенец. — Барабаны бьют, палач подходит...

— Хоть сто палачей! — под бой барабанов уверенно сказал Державин, потряхивая пудреными буклями, свисавшими из-под голубой шляпы. — Помнишь, как с Хрущевым в Москве: положили голову на плаху для видимости, и больше ничего. Тако и с Мировичем...

Но вот сверкнул топор, лакей Митрич отвернулся, защурился, Хряпов от волнения оборвался со скамейки, — топор сверкнул, народ тысячегрудо во всю мочь ахнул, «отпетая» голова Мировича в руке палача высоко приподнялась над эшафотом. Люди обмерли, попадали с крыш, с заборов, стоявшая на мосту толпа с такой силой содрогнулась, что мост заколебался, затрещал.

Итак, «сей дешператной и безрассудной coup» [1], как выразилась Екатерина, начался и закончился кровью.

Прямые убийцы Иоанна — офицеры Власьев и Чекин — вместо справедливой кары получили по семь тысяч награды, большие чины и хорошую службу. Им приказано соблюдать о всем этом деле строжайшее молчание. Цепь печальных событий казалась большинству естественной, ставящей Екатерину вне всяких подозрений. Но эта несносная «городская эха», не щадя Екатерину, стала судить и

---

[1] Прискорбный и безрассудный удар, казус.

рядить по-своему. Получалось, что вся шлиссельбургская «нелепа» была искусно подстроена.

Однако то была одна лишь догадка, ни один человек в то время не знал ни секретных бумаг, ни тайных изустных приказов, ни сокровенных пружин, пущенных в дело укрепления власти.

Но ныне, пред судом истории, все налицо. И старые дворцовые ребусы могут быть правдоподобно разгаданы.

Чтобы успокоить мятущийся дух Екатерины, Никита Панин, со всей присущей ему деликатностью, как-то сказал ей:

— Не печалуйтесь, государыня. Божие провидение изыскало мудрый способ избавить любезное вашему материнскому сердцу отечество от величайших потрясений. Воцарение, боже упаси, слабоумного, не подготовленного к управлению столь обширным государством принца Иоанна было бы чревато грозными последствиями.

— Да, добрый Никита Иваныч, — опустив голову, с неподдельным сокрушением ответила Екатерина. — Мы с вами действовали, руководствуясь промыслом божиим и теми же самыми мотивами, по которым действовал и великий Петр, не пощадивший даже своего родного сына.

— Да будет среди народов благословенно имя ваше, великая государыня.

Они оба вздохнули.

ГЛАВА III

Ломоносов. У малолетнего цесаревича гости. Жестокая филиппика

1

От места казни первой отъехала карета графа А. С. Строганова. Граф спешил в Зимний дворец к наследнику.

На своей двуколке поплелся к себе и Митрич, живущий теперь на Седьмой линии Васильевского

острова. Рядом с ним — хмурый мясник Хряпов. Долго ехали молча. Всенародное позорище[1] отняло у обоих языки.

Они ехали правым берегом Невы, мимо наплавного моста, соединявшего Васильевский остров с городом против Исаакиевской церкви. В Петербурге считалось шестьдесят две тысячи жителей, наиболее населена левобережная часть города, а Петербургская и Выборгская стороны заметно пустовали. На Васильевском острове застроены набережные и Галерная гавань, восточная же и западная части острова — кочковатое болото, поросшее лесом и кустарником. Здесь в ночное время нередки грабежи.

— И пошто ты в такое неудобственное место затесался? — спросил Хряпов, осматриваясь по сторонам.

— Жизнь повернулась ко мне хвостом, вот и... — плаксиво ответил Митрич. — Сам ведаешь, уволили меня.

— А мои дела, Митрич, тоже не веселят, — сказал, вздыхая, Хряпов. — Барышников, подлая душа, против меня линию ведет. Он, грабитель, так полагаю, Федору Григорьевичу Орлову «барашка в бумажке» сунул, и слых есть, что меня из придворных поставщиков турнут. Барышников, подлая душа, все откупа под себя умыслил взять.

Вдруг Митрич остановил лошадь и соскочил с двуколки: направляясь поперек просеки, прорубленной в лесу для Большого проспекта, тяжело шел, опираясь на палку, атлетически сложенный, изрядного роста пожилой человек в сером плаще и темной шляпе. Огромный Митрич подбежал к нему, обнажил свою плешивую голову и, низко кланяясь и норовя поймать руку человека, чтоб, по лакейской натуре, облобызать ее, загудел:

— Здравствуйте, батюшка Михайло Васильич!

Тот, предупредив маневр Митрича, быстро заложил руки назад, полное, губастое, с большими серо-

---

[1] Позорище — употреблялось тогда в смысле «зрелище».

голубыми глазами лицо его заулыбалось. Громким, басистым голосом он спросил:

— Уж не с позорища ли едешь, землячок?

— С него, с него, Михайло Васильич, батюшка... Молитесь за упокой души раба божия Василия: с плеч головушку снесли ему.

Михайло Васильич только рукой махнул, наморщил лоб, посмотрел вдоль просеки, в сторону Невы.

— Торжествуйте, Немезиды и Минервы, — произнес он про себя. — Пожалуй, ныне надо ожидать, что убийцы доподлинные в графское достоинство возведены будут, аки Орловы-господа... Ась? — добавил он тихо, чтобы не услыхал Хряпов, бывший в некотором отдалении.

— Не знаю-с, не знаю-с... — оглаживая бородищу, смущенно подал голос Митрич. — Как всемилостивейшая матушка распорядится...

— Токмо при матушке-та зело много батюшек... Ась? — улыбнулся глазами собеседник и вынул черепаховую табакерку..

Митрич поспешно выхватил из камзола свою серебряную вызолоченную табакерку и, открыв ее грязными ногтями, с поклоном поднес собеседнику:

— Прошу моего отведать. Забористый! Самого императора Петра Федорыча, покойничка, запасу-с... Батюшка Михайло Васильич! Много вашей милости благодарны мы со старухой за своего племяша. Спасибо, что приделили его в свою фабричку.

— Работает, работает. Тщусь надеждой — мастер из него выйдет добрый. В орнаменте разбирается и в оттенках цветных камушков имеет глаз отменно верный...

Подъехала карета, открылась дверка, и красивый, в блестящей военной форме, человек, высунувшись из кареты, командирским басом проговорил:

— Вот он где. А я тебя, Михайло Васильич, ищу... Садись!

— А-а, Алексей Григорьич! — попросту поклонясь, проговорил тот и, поддерживаемый Митричем, тяжело полез в карету графа Алексея Орлова.

— Кто такой? — спросил Хряпов бывшего лакея, когда их двуколка двинулась вперед, шурша колесами по щебню.

— Сам граф Орлов.

— Да не про графа я. Алешка Орлов, сукин сын, задолжал моей фирме сверх пяти тысяч. Рябчиков жрать да пьянствовать любит, а денежки платить — нет его.

— А другого-то нешто не знаешь? Ломоносов это. Самый что ни на есть ученый по России человек...

— А кто его знает... В моих должниках не ходит. А до ученых мне горя мало. Да-кось наплевать... Вижу — человек здоровецкий, только, чаю, ногами не доволен.

— О-о, силач! — захлебнулся улыбкой Митрич. — Из поморов, из мужиков, с-под Архангельска. Землячок мой любезный. Евоный батька — первеющий в Холмогорах рыбак. А сам-то он всю науку превзошел за границей.

Двуколка стала повертывать на Седьмую линию.

— Вот на самом том месте, видишь, сосначок стоит, — указал Митрич в конец просеки Большого проспекта. — Тут господин профессор Ломоносов в ночное время троих воров избил... Да-а-а, — раздумчиво протянул Митрич. — Был конь, да изъездился. Так и Ломоносов-господин. Винцом зашибал, сердяга. Любил погулеванить. Я с ним, почитай, с вьюных годов знаком. Тпру, приехали!..

2

...И карета Алексея Орлова остановилась. Ломоносов ввел гостя в свою двухэтажную мозаичную мастерскую, помещавшуюся на его земле, за его собственным домом по Ново-Исаакиевской улице на Мойке. Тут же были выстроены и десять небольших каменных покоев для мастеров.

— Ну, фабрикант, кажи, кажи, что у тебя тут, — сказал всегда веселый и беззаботный Орлов.

М. В. Ломоносов действительно был полунищим фабрикантом. Его кипучей, всегда деятельной натуре тесно в стенах Академии. От физических и механических опытов, от бесконечных вычислений, писания ученых трактатов его неудержимо тянуло к живому труду, в самую гущу жизни. В его гениальную голову влетела мысль завести в России тонкое итальянское искусство мозаики. Десять лет тому назад, по его ходатайству, было ему нарезано в Копорском уезде девять тысяч десятин земли, закреплены за ним четыре деревни с двумя сотнями крестьян и выдана небольшая денежная ссуда. В деревне Усть-Рудицы, верстах в семидесяти от Петербурга, он построил маленький стеклянный завод. В главном здании, длиной восемь, шириной шесть сажен, помещалась лаборатория с несколькими печами для выработки цветных стекол, а к этому зданию примыкала небольшая мастерская. Вот и вся фабрика.

А в петербургской мастерской, куда они вошли, главным образом выделывались нужные для мозаики стеклянные всевозможных цветов палочки (смальты) и производились мозаичные работы.

— Вот-с, пожалуйте. — Ломоносов снял плащ, бросил его на скамейку и повел Орлова к застекленному шкафу. — Помимо смальты, мы делаем бисер, пронизки, стеклярус. А вот и графинчики у нас есть, и кружки, и табакерки, фужеры, блюдца, запонки, набалдашники... Всякого жита по лопате.

— Изящно, Михайло Васильич, одобряю, брат, одобряю! Вещицы хоть куда, хоть ко двору. Только, чаю, не в этом твоя сила, не в графинчиках да бисере. В науках слава твоя, Михайло Васильич.

Ломоносов, усмехаясь глазами, поклонился и сказал:

— А может статься — и в лире. Стихотворство — моя утеха. Физика — мои упражнения.

Два богатыря — молодой и пятидесятидвухлетний, бывший мелкопоместный дворянин и бывший простой мужик, улыбчиво смотрели друг другу в глаза. На Ломоносове широкая шелковая блуза, вправленная в табачного цвета штаны, на шее — пышный белый,

в складках, галстук, на ногах, вместо длинных чулок и башмаков, суконные на пуговицах сапоги, — больные ноги его опухали.

— Старишься, Михайло Васильич. С палочкой ходишь... Поправляйся, брат, оздоравливай да ко мне приезжай, спляшем...

— Нет уж, не до плясов мне ныне, Алексей Григорьич, не до ваших придворных камеражей. Со смертного одра едва-едва встал, — стараясь сдерживать раскатистый свой голос, ответил Ломоносов. — Впрочем сказать, я о смерти не тужу: пожил, потерпел. А умру — дети отечества обо мне пожалеют, — с гордым блеском в глазах сказал и откинул в седых буклях голову.

Был обеденный перерыв, в мастерской пусто. Орлов закурил трубку. На его лощеных пальцах блестели бриллианты. Дорогого шелка блуза и штаны Ломоносова в пятнах от химических реактивов, брюссельские кружевные манжеты слегка засалены.

— От кого же ты потерпел-то? — спросил Орлов.

— Да ото всех по малости. И терпел и паки буду терпеть до кончания живота. Врагов много у меня...

— Да ведь ты сам-то зубаст, Михайло Васильич.

— Зубаст, зубаст, Алексей Григорьич... Правильно молвил — зубаст. (Орлов сел, Ломоносов, подпираясь палкою, стал вышагивать по кирпичному полу.) А чего ради ото всех недругов своих претерпеваю? Стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы научились россияне премудрости книжной да искусствам, чтобы показали свое достоинство! — закричал Ломоносов и, вскинув палку вверх, затряс толстыми обветренными щеками. — Единого хощет Михайло Ломоносов, — широкого просвещения россиян, чтобы они гордились отечеством своим, со всем тщанием изучали его! Вот у нас в рекомой Академии все немцы да иноземцы разные. Но ведь, голубчик Алексей Григорьич, надобно и о русских людях пещись и их помалу в ученые тянуть. У иноземцев же нет доброхотства учить русских юношей. А ведь есть парнишки, природой одаренные, маленькие Ломоносовы. А без Ломоносовых Россия — все равно что

пашня без семян. Да вот я... Кто я был? Хоть смерть в глаза мои глядит, а молвлю не без гордости: я много лет являюсь украшением Академии наук. — Ломоносов понюхал табаку и снова закричал, как на площади: — Я и до историка Миллера доберусь, я и до нашего Нестора-летописца доберусь! Почто они в сочинительстве своем предпочтенье иноземцам отдают против русских?.. Я другой раз лют!

Орлов с любопытством глядел на разгорячившегося Ломоносова и сквозь клубы дыма, не выпуская трубки из зубов, спросил:

— А верно ли, Михайло Васильич, будто ты намедни, явившись в конференц-зал Академии, изволил показать заседавшим некую фигуру из трех пальцев, опосля чего ушел, изрядно хлопнув дверью?

— Кукиш, кукиш показал! — закричал Ломоносов; большие глаза его запрыгали, крутые брови взлетели вверх. — И по немецкой матушке обложил всех. Я дураков ругать люблю.

— При дворе, узнав про твой дебош, много тому смеялись. — И Орлов раскатисто захохотал.

— Враги, злопыхатели, антагонисты! — выкрикивал Ломоносов, пристукивая палкой в кирпичный пол. — Затирают меня, унизить меня хотят, властвовать надо мною... А я не боюсь, я другому и по шее накладу. Да доведись до драки, я — знаешь что? Ведь я, мотри, рыбак, корпуленция во мне крепкая. А они всемилостивейшим нашептывали на меня, и государыне Елизавете, и ныне царствующей императрице. А кто они? Разные Миллеры да Трауберты, немцы. Да еще Сумароков — нежные песенки кропает...

Орлов знал про давнишнюю вражду простака Ломоносова и кичившегося своим старинным дворянским происхождением Сумарокова. Некоторые озорные баре, да и сам Алексей Орлов, нарочно приглашали к себе на обед этих двух недругов, чтоб стравить их в словесной схватке. Хотя Ломоносов был неповоротлив в обыденной жизни и неохоч заводить знакомства, однако иные приглашения принимал. Когда подвыпивший Сумароков начинал своими приставаньями докучать Ломоносову, тот со всей горяч-

ностью резко отвечал ему, и эта резкость почти всегда переходила в недозволенную грубость, в брань. Сумароков же был в ответах хотя и спокоен, но дерзок, и если не остроумен, то остер. Конечная победа оставалась за ним.

И вот теперь, с интересом слушая Ломоносова, гость сочувственно улыбался ему.

— Я Сашку Сумарокова давно знаю. Он еще у матушки Елизаветы тарелки на кухне вылизывал. И ныне поди милостивой государыне нашей все глаза намозолил, все пороги пообивал во дворцах да в палатах. В знать лезет... Да и Васька Тредьяковский — кутья кислая — не лучше его: в «Трудолюбивой пчеле» пасквили на меня строчит, желчь распускает (сие по-гречески зовется — диатриба), мол, малеванная живопись превосходней мозаичной... Дурак! Да Болонская Академия наук намеднись избрала меня за мозаику-то почетным членом своим. И сим — горжусь. А он... Виршеплет! Его вирши только на подтирку разве... Ему ли в ямбах разбираться да в хореях. А вот пойдем-ка, пойдем, Алексей Григорьич, ваше графское сиятельство, наверх, там посветлее, я покажу вам «Полтавскую баталию». Я одной мозаичной работою не токмо Ваську Тредьяковского, а точию всех итальянцев поражу.

Богатыри, колебля шагами темную лестницу, поднялись наверх. Отдышавшись и потерев правую коленку, Ломоносов подвел Орлова к массивному, из бревен, станку, на котором покоилась огромная — в ширину двенадцать, в вышину одиннадцать аршин — батальная картина Полтавского боя, на переднем плане Петр I на коне.

— Камушков стеклянных, из коих картина сложена, десятки тысяч, — сказал Ломоносов. — На медной сковороде она укреплена, оная сковорода со скобами весит сто тридцать пудов. Махина!

Солнце било мимо фигуры Петра. Орлов схватил станок и хотел передвинуть так, чтобы фигура Петра попала под солнечные лучи. Станок скрипел, не поддавался. Ломоносов сказал:

— Легче солнце повернуть, чем станок.

Орлов сорвал перчатки, сунул их в карман камзола, вновь вцепился в станок, расставил ноги и закусил губы, плечи его набухли мышцами, как чугуном, лицо налилось кровью, рубец на щеке потемнел, он перекосил рот, весь задрожал, станок крякнул и заскорготал, тяжко заелозив со скрипом по полу. Фигура Петра попала под солнце. Разгоняя приливщую кровь, Орлов концами пальцев стал крепко водить по лбу от переносицы к вискам. Глаза его сверкали. Изумленный Ломоносов, выйдя из оцепенения, восторженно захохотал, зааплодировал, шумно закричал:

— Да ведь тут весу пудов с триста! Алексей Григорьич, да вы, ей-богу, Геракл. Ну, помоги нам Зевс очистить конюшни Авгия, — продолжал он другим тоном. — Навозу, навозу у нас — тьфу! Вся Русь в навозе.

Орлов, тяжело дыша и почти не слыша его, повернулся к картине, сказал:

— Ну, вот... Теперь вижу, что Петр Алексеич зело хорош...

— «Он бог, он бог твой был, Россия», — кивая Петру и молитвенно сложив руки, вполголоса продекламировал Ломоносов отрывок своей старой оды. — Да не токмо я, а и прочие... Взять графа Ивана Григорьича Чернышева, и он восклицал про Петра Великого: «Это истинно бог был на земле во времена отцов наших!»

— Хорош, хорош Петр Алексеич... Да и вся картина добра зело. Кто начертал картину?

— Да кто же! Все Ломоносов со учениками, — даровитые парнишки у меня. Ведь в Марбурге-то, у немцев-то, я не токмо иностранные языки отменно изучил, но такожде и в рисовании зело преуспевал. Ломоносов кутилка — об этом всяка мразь трубит. А вот что Ломоносов великий росс, что он Московскому университету десять лет тому назад основу положил... Даже всемилостивейшая матушка, покровительница искусств и наук... — Лицо Ломоносова дрогнуло, задергались губы.

Орлов хмуро взглянул на него.

— Была, была у меня... Со всей свитой была недавно, — переняв его взгляд, спохватился Ломоносов. — Ее величество изволили посетить мою мастерскую, подробное смотрение сей картине произвели, изволили милостиво беседовать со мною более двух часов.

Блаженства нового и дней златых причина,
Великому Петру вослед Екатерина
Величеством своим снисходит до наук
И славы праведной усугубляет звук... —

вяло продекламировал Ломоносов. — И сие правда сущая: к художествам ревность ее, с похвалою скажу, весьма отменна, и поощрительные речи ее величества были ко мне зело благожелательны, — молвил он и подумал: «Хитрая немка, коварная, всего насулила, а толку нет, худородных русских людей вроде меня держит в торможении, к кормилу государственного корабля не допускает». И, подумав так, Ломоносов испугался: да уж, полно, не выпалил ли он сгоряча эти мысли вслух. Он быстро вскинул взор в лицо Орлова. Нет, ничего, Орлов внимательно рассматривает стеклянные камушки в многочисленных ящичках, стоявших на полу и на длинных скамьях. Тогда Ломоносов, успокоившись, сказал: — Обласкала, обласкала государыня... А Михайло Ломоносов и по сей день в малых чинах и не в пример малое содержание по штату получает. А почему сие? Да потому, что не токмо у стола знатных либо у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но нижé у самого господа бога.

Ломоносов ждал, что ответит на это Алексей Орлов. Но тот молчал. Ломоносов вздохнул, и на круглом щекастом лице его появилась гримаса незаслуженно оскорбленного самолюбия. Он сказал:

— Эта стеклянная смальта, которую изволишь разглядывать, Алексей Григорьич, думаешь, сразу далась мне? Взял, мол, истолок, красочки подбросил, да и в печку варить! Нет, ваше сиятельство. Ломоносов за три года три тысячи опытов над сим проделал. Три тысячи! Вот в этом сундуке лабораторные журналы, по-латыни писанные мною, хранятся, пусть лежат потомкам в назидание.

Видя, что гость начинает скучать, Ломоносов взял его под руку, ввел в свой маленький рабочий кабинет, извлек из венского с инкрустацией шкафика графин с мутноватой, апельсинового цвета жижицей и, налив в серебряную стопку, подмигнул Орлову:

— Ну-тка, граф, с устаточку вкусить «ломоносовки».

— А ты?

— Ногами маюсь. И рад бы, да эскулапами заказано...

С жадностью, одним духом проглотив вино, Орлов широко разинул рот, с испугом выпучил глаза и перестал дышать. Затем боднул головой, выдохнул: «Уф, ты, черт», — по-кабацки сплюнул и, вытерев градом покатившиеся слезы, с укоризной сказал хозяину:

— Вот так «ломоносовка!» Да уж, полно, не отравил ли ты меня, Михайло Васильич? Все нутро индо огнем взялось...

— Что ты, Алексей Григорьич! — отмахнулся Ломоносов, по-мальчишески плутовато подморгнул ему и захохотал: — Это чистый шпирт... Настойка на стручках турецкого перца. Посольство из Турции приезжало, ну там мой шурин Иван Цильх и расстарался для меня.

Орлов вошел во вкус, присел и под копченую стерлядку осушил весь графин до донышка. Он пил, а Ломоносов вел беседу. Он говорил о небесном громе, о силе электричества, о несметных богатствах, сокрытых в недрах отечественной земли, о судьбах великой империи. Орлову давно прискучила пустая, по-французски, болтовня придворных дам и кавалеров, ему сейчас приятно было слушать, как из русских уст и на языке российском текло остроумное, обширное знание.

8

У великого князя, десятилетнего Павла Петровича, в этот день были гости: А. С. Строганов, голштинец Сальдерн, князь Мещерский, граф Захар Чернышев и знатный вельможа, весельчак, шталмейстер

Лев Нарышкин, друг Екатерины; в придворных кругах его звали «шпынь», то есть балагур, шут. Все они, вместе с Павлом, расселись вокруг птичника (огромной клетки с певчими птицами), как возле сцены зрители. Павел пустил устроенный в птичнике фонтанчик: пернатые вспорхнули, всполошились, вступили в птичью перебранку. Зрители зааплодировали. Они дурачились и, потешая Павла, всякий раз, когда снегирь или щегол выкидывал какое-нибудь коленце, кричали, как дети: «Молодец, Щегол Иваныч! Уважь еще... Анкор, анкор!» Больше всех паясничал, покашливая и прихехекивая, длиннолицый, с тестообразными дряблыми щеками «шпынь».

Вошел веселенький Алексей Орлов, подарил Павлу конский убор, выложенный хрусталями и топазами.

— С фабрики Михайлы Ломоносова, — сказал Орлов. — Тысячу рублей заплатил.

— Благодарю, благодарю. Вот выросту, деревню тебе дам, две деревни. Ах, как мне нравится, — картавил курносый мальчик. — Петр Иваныч Панин обещал допустить меня на смотр. Я буду верхом и в этой, как ее... Порошин! Как? Збруя?

— Конский убор, ваше высочество, — откликнулся красавец, воспитатель Павла.

— Пусть Ломоносов сделает мне какую-нито электрическую машину позанятней. Он физикус. А он, чаю, сильный? — спросил мальчик.

— Почему вы так думаете, ваше высочество?

— Ломоносов! — воскликнул Павел. — Он, должно, всем носы ломает.

Рассматривавшие подарок гости засмеялись. Орлов, подбоченясь, сказал:

— Да, Ломоносов сильный, вы правы, ваше высочество... (Мальчик, разумеется, не знал, что Орлов убил его отца, но он все же чувствовал какую-то неприязнь к нему, он покосился снизу вверх на огромного, бесцеремонно подбоченившегося Орлова, хотел капризно крикнуть: «Руки по швам!» — но, вспомнив про подарок, проявить при старших неучтивость постеснялся.) Господа, свеженькое! — забасил Орлов. —

Мне Ломоносов только что сказывал. (Его окружили гости; Сальдерн, князь Мещерский и брюхатенький «шпынь» Нарышкин внимали ему с подобострастием. Его рот от «ломоносовки» все еще горел.) Я, говорит Ломоносов, в оно время силен был. И приключился, говорит, промежду мной и тремя матросами шармюнцель с мордобоем. Шел, говорит, я с Невы просекой Большого проспекта, делал здоровья ради променад. А ночь глухая, и кругом ни души. Тут трое грабителей из лесу шасть на меня. Я, говорит, кэ-эк дал одному по морде, он и чувствий порешился... Кэ-эк другому хлобыстнул, он в кусты кувырк-кувырк... А третьего, говорит, я сгреб за шиворот и — под себя. Сижу на нем верхом, кричу: «Смертоубийство, что ли, злодеи, мыслили сотворить надо мной, над профессором химии?» — «Нет, отвечает, ограбить маленечко хотели да отпустить с богом...» А я, говорит, на него: «А, каналья! Так я же сам тебя ограблю...» — и приказал ему все долой с себя снимать. Грабитель разделся до исподнего, а я, говорит Ломоносов, взвалил его холщовые доспехи на плечо и зашагал с сими военными трофеями к себе в Академию...

Павел, перестав быть центром внимания, тронул Льва Нарышкина за расшитый золотом рукав и, недружелюбно косясь на Орлова, тихонечко сказал:

— Пойдемте, пойдемте, сударь, прочь... Я вам что-то покажу. А он врет, и от него вином припахивает изрядно... — И они оба, пучеглазый мальчик в голубом кафтане и придворный «шпынь», схватившись за руки, поскакали чрез ножку в желтый зал.

Меж тем в зал, где были гости, вошли два брата Панины: изящный, сановитый обер-гофмейстер Никита Иванович и его младший брат генерал-вояка Петр. Все сразу смолкли, приняли непринужденно-почтительные позы, уставились в лицо Никиты Панина. Всесильный вельможа, первый министр империи, люто ненавидя всех братьев Орловых, скопом ведущих против него коварные интриги, с самой приветливой улыбкой пошел навстречу тоже улыбавшемуся и тоже ненавидящему его Алексею Орлову — и

два врага с утонченной вежливостью обменялись приветствиями. Лакей доложил, что обед подан. Орлов поцеловал вбежавшему наследнику руку и, откланявшись со всеми, пошел на антресоли, в апартаменты своего брата Григория, чтоб вместе с ним направиться к столу императрицы.

Обед наследника был очень оживлен. К обеду еще пришли Г. Н. Теплов и полковник Белосельский. За каждым гостем стояло по лакею. Строганов стал рассказывать о только что виденной им казни:

— Мирович держал себя на эшафоте, а равно и во время судопроизводства необычайно мужественно. Вплоть до плахи. Волосы убраны по самой последней моде, одет в новое платье. Шел, народу раскланивался, лицо веселое, шутил с палачом, шедшим слева от него...

Никита Панин с тревогой посмотрел на внимательно слушавшего впечатлительного наследника.

— После, после, граф... Без подробностей, — сказал он Строганову и, чтоб сбить настроение примолкших собеседников, остроумно и выразительно заговорил: — Будучи в Стокгольме, я слышал такой казус... Молодой пастор пришел в гости к своему другу. И видит: зацепив себя веревочной петлей под мышки, тот благополучно висит на гвозде. «Что с тобой?» — воскликнул пришедший. «Да вот хочу кончить жизнь самоубийством, но никак не удается, вишу без толку вот уже два часа». — «Так ты не туда накинул петлю, надо же на горло». — «Пробовал! — с печалью в голосе воскликнул висевший. — Пробовал, не могу, как только петля стягивает шею, я начинаю задыхаться...»

Громче всех смеялся и бил в ладоши наследник. Он без парика, в локонах. Парикмахер Дюфур, ежедневно убирающий его волосы, сегодня положил ему по три букли с каждой стороны.

— Никита Иваныч!.. А нуте, а нуте еще, — просил он. — Вы завсегда забавно сказываете. Семен Андреич, — обратился он к Порошину,— а ты потрудись,

пожалуй, записать в дневничок свой, что Никита Иваныч сказывает забавное...

Порошин, покраснев, поклонился. Никита Иванович, неласково покосившись на смущенного Порошина, сказал:

— А извольте-ка вы сами, ваше высочество, переложить сие на французский диалект и показать мне.

Подавали костный мозг, только что входившие в моду макароны и самые свежие устрицы.

— Устрицы! Вот чудесно, — гримасничая, облизываясь, выкрикнул длиннолицый Лев Нарышкин и подмигнул наследнику. — Я знавал одну домовитую, но полуглупую барыньку, переселившуюся из тамбовской деревни в Петербург. Она тотчас по переезде в столицу получила в подарок устрицы. Дело было в марте, а она примыслила, экономии ради, сохранить оные устрицы до именин супруга своего, до Петрова дня, сиречь до конца июня...

Строганов, громко захохотав, промолвил:

— Воображаю, сколь вкусны стали ее устрицы!

Никита Иванович потребовал пылавшую огнем комфорку, подошел к приставленному вспомогательному столику, поддернул рукава и начал варить устрицы с английским пивом. Великий князь приказал подать к своему стулу приступочек и, привстав на оный, глядел, как Панин варит суп.

— Итак, внимание, — бросая устрицы в пиво и помешивая ложкой, начал Панин. — Сие произошло недавно. В эрмитажную оперу, куда никого не приказано пущать ниже штаб-офицерского чина, залез простой фельдфебель. Вы, ваше высочество, изволите знать, что есть фельдфебель? Это старший солдат. Лакей, приставленный проверять при входе и записывать чины, спросил его: «Ваш чин?» — «Фельдфебель», — браво ответил солдат. «А что это за чин?» — спросил незнайка-лакей. Солдат молодцевато подтянулся и молвил: «В русской армии только три фельда: фельдмаршал, фельдцехмейстер и фельдфебель. Так сам рассуди, каков это чин». Тогда лакей с честью и поклонами пропустил находчивого солдата,

Опять все засмеялись. Наследник, посунувшись вперед, испуганно крикнул:

— Горит, горит!

Все привскочили; Панин, бросив ложку, схватился за свою вспыхнувшую кружевную манжету.

Пивной на устрицах суп был превосходен, но наследнику не дали: «Он пьянит, вам не показано», — и предложили расстегайчики с грибами и рассольник. Голштинец Сальдерн, которого все считали интриганом и человеком недалеким, посапывая и облизывая толстые губы, вдруг заговорил о том, что во Франции такие кареты делают, в коих, пока едешь от почты до почты, кушанье изготовляется. На что Петр Панин, грубовато, по-солдатски оборвав его, сказал:

— Карета — что. Я видал такие сапоги, в коих рябчика или кусок мяса изжарить можно, верхом едучи. — И Петр раскатился зычным хохотом. Он видом суровей и проще брата Никиты, но скор на смех и веселость.

Речь зашла о картежной игре. Наследник оживился, выкрикнул:

— Давайте после обеда в три-три играть!

Никита Иванович сказал:

— Граф Алексей Григорьич Разумовский богатейшие банки закладывал в игре и нарочито проигрывал, ведь он несметно богат. Многие пользовались этим. Взять Настасью Михайловну Измайлову, она почасту крадывала деньги. Да и другие тоже. За князем Одоевским раз подметили, как он хапнет незаметно в шляпу, да и выйдет в сени, хапнет, да и паки выйдет. Так он перетаскал в шляпе тыщи с три и в сенях слуге своему передал. Каковы нравы, господа?

Все принялись за перепелок с брусничным вареньем. Затем за арбуз и виноград, доставляемый в столицу в бочках с патокой. Петр Панин много рассказывал о прусской войне, о том, как его какой-то удалец, донской казак, спас от плена, а может, и от смерти. Наследник весь превратился во внимание. Затем стали толковать о делах гражданских. Никита

Панин сказал, что вот в его Иностранной коллегии приказные люди совсем иные, нежели в других приказах, и весь штиль Иностранной коллегии иной. А почему? Да потому, что он старается провести туда образованных, вроде Фонвизина, молодых людей.

Наследник поднялся, и все поднялись.

— За компанию! Не обессудьте, господа, — проговорил он, как взрослый, и побежал вокруг зала.

Перешли в парадные комнаты наследника. Шесть карликов, одетых в зеленые атласные кафтаны и пудреные парички, стояли, как изваяния, вдоль стен концертной залы. Крупная французская собака Султан, подарок графа Чернышева, бросилась ластиться к наследнику. Тот схватил собаку за ошейник и поманил пальцем старого карлика:

— А ну-тка, Савелий Данилыч, садись!

— Куды, батюшка? — пропищал крохотный старичок, подкатившись горошком к Павлу.

— Как «куды»? Да на Султана.

Старичок, подпрыгнув, ловко сел на собаку, как на коня ездок.

— Але-але, Султан! — прихлопнул наследник пса.

Тот, виляя хвостом, радостно поскакал по кругу.

— Гоп-гоп, гоп-гоп, — попискивал старичок, лихо подбоченясь, но вся душа его дрожала, он весь вспотел.

— Ну, Савелий Данилыч, — сказал Никита Панин под смех гостей, — ты рейтар изрядный... Прямо — казак!

Граф Строганов сел за клавикорды, нежно проиграл несколько итальянских мелодий. Ему аплодировали.

Вышел седой долгобородый гусляр, одетый в синюю с галунами рубаху, в пояс поклонился на три стороны, сел, заиграл на певучих струнах «кавалерский балет». Ему помогали трое дударей. Двое карликов раздвинули портьеры, из кавалерской залы впорхнула красавица княжна Хованская; сделав присутствующим книксен, с легкостью и грацией стала танцевать. Глаза мужчин загорелись. Великий князь тоже засмотрелся на прелестницу.

4

Апартаменты Никиты Панина в Зимнем дворце были пышно обставлены. На полах ковры, стены в драгоценных гобеленах и картинах итальянских мастеров. Беломраморный, прекрасно сделанный бюст его невесты графини А. П. Шереметевой, золоченая елизаветинская мебель, тяжелые тканые портьеры. Но кабинет прост: мореного дуба мебель в прямолинейном строгом стиле, массивные, набитые книгами зеркальные шкафы. Огромный стол завален рукописями, делами коллегии и сената.

У стола навытяжку круглолицый, краснощекий молодой человек в небольшом парике и скромном костюме, он только что бросил писать, перо не просохло, пальцы правой руки запачканы чернилами. Он низко поклонился Петру Панину. Надменный генерал даже не счел нужным кивнуть ему. «Шляхтич какой-нибудь, мразь», — высокомерно подумал он и сел по другую сторону стола. Никита, обращаясь к брату, молвил:

— Ваше превосходительство, позволь рекомендовать тебе: Денис Иваныч Фонвизин, дворянин, отпрыск достопочтенных родителей.

— А, — небрежно сказал Петр, едва удостоив молодого человека хмурым взглядом.

Фонвизин очень оскорбился, пухлые губы его чуть скривились, в груди под ложечкой заныло. «Ведь я и сам «фон», а не кто-нибудь... Так зачем же такое небрежение?» — с горечью подумал он, косясь на генерала, и сердце его забилось учащенно.

— Денис Иваныч отменно изощрен в латынском и европейских языках, он кончил Московский университет. Хороший переводчик, даже комедию сочинил «Корион», в Эрмитажном театре пойдет, — старался Никита как можно лучше отрекомендовать молодого Фонвизина. — Думаю приспособить его в Иностранную коллегию.

— Сколько у вашего батюшки душ? — посапывая, спросил Петр.

— Около пятисот, ваше превосходительство,

— Как это — около... Точно, точно!

— Четыреста восемьдесят девять.

— А... — удовлетворенно сказал Петр Панин и, не вставая, нехотя протянул чрез стол Фонвизину руку.— Ну, здравствуйте.

Никита Панин, улыбаясь полными губами, не знал, чем скрасить грубость брата. Положив руку на плечо Фонвизина, спросил:

— Ну что, ознакомился с турецкой дипломатией?

— Ознакомился, ваше высокопревосходительство.

— Путаная, каверзная.... Ну, да эту хитрость азиатскую мы разберем. Ну, иди с богом, Денис Иваныч, отдыхай... Я тебя вот ужо представлю моему другу, датскому посланнику, барону Ассельбургу.

Братья остались одни. Никита сказал:

— Их род старинный. И мысли юноши под стать нашим: деспотию презирает искренне, а такожде и о бесправном положении крепостного мужика скорбит.

Вошли увешанные звездами, медалями, крестами гетман Кирилл Разумовский и знаменитый полководец, граф Петр Александрович Румянцев, побивший пруссаков при Гросс-Эггерсдорфском поле и одержавший многие победы в Семилетней войне с Фридрихом II. Они только что откушали у императрицы. Лакей, двигаясь неслышной тенью, подал фрукты, кофе, романею. «Комильфотный», картинный сибарит-гетман, — весь в золоте, в алмазах; в руке шляпа с бриллиантовым аграфом. Красивое, несколько грубоватое лицо его удручено.

— Фу, фу... — сказал он. — Матушка гневается на меня. А за что, про что, — не ведаю. Вызвала из Малороссии. Уж, почитай, с полгода торчу тут.

— Мало матушке ручки целуешь, гетман, вот и гневается, — сказал Петр Панин и насупился. — Надо матушке сладкие речи говорить да поддакивать. Надо спину гнуть, а ты горд, горд...

— Будешь гнуться — переломишься, — вздохнув, ответил гетман.

— А ты гнись так, чтобы гнулось, а не так, чтоб лопнуло.

— Я не бараний рог, — с достоинством бросил гетман и стал начищать маленькой щеточкой бриллиантовый перстень.

— Разве вы, граф Кирило, не ведаете, чего ради государыня вас вызывала из Глухова? — спросил Никита.

— Да какие-нибудь наказы сочинять, клонящиеся до устройства гетманства, — ответил Разумовский, и хитрые глаза его завиляли. — Помимо сего, я дерзнул государыне на ее апробацию челобитную представить, где просил сделать гетманство наследственным в нашем, графов Разумовских, роде...

Никита иронически сощурился, сказал:

— Да, граф Кирило, дело с гетманством путаное, старинное... «Це дило треба ро-зжуваты...» Вот ее величество сим и занимается и ответа вам не дает до днесь. Но вам ли печалиться, Кирило Григорьич?

Граф Разумовский молча посапывал и продолжал чистить бриллианты.

— А ну, Никита Иваныч, расскажи-ка о гетманстве-то, пожалуй, только кратенько, — полюбопытствовал Румянцев, поудобней усаживаясь в кресло. — У тебя это как на ладони, а я как-то... не больно ясно...

— Могу, — согласился Никита. — Вопрос о южных окраинах я изучил досконально. Изволь, если хочешь. В аспекте историческом. Ну-с... В некоем царстве, в преогромном государстве, а именно у нас, когда Петр Первый еще двенадцатилетним мальчуганом был, польский король Ян Собесский разгромил под Веной турок. И приезжает к нашим царям-мальчикам, Петру да брату его Ивану, посольство и просит их взять эту хищную птицу, Турцию, под российскую корону. «Вся Греция и Азия ожидает вас. Встаньте твердой ногой в Крыму и возьмите Константинополь». Это завершилось тем, что любовник царевны Софии, Голицын, дважды ходил войной на Крым и оба раза афронт получил. Петр Великий прорубил просеку не токмо в Европу, но и к Черному морю, дважды Азов осаждал... А наша матушка...

— Всемилостивейшая, — подсказал с ухмылкой Петр Панин.

— А наша государыня, будучи ума острого, не преминула сообразить, что первой угрозой от набегов на нашу южную окраину крымских ханов, данников Турции, — суть запорожцы. Недаром московские цари называли их — «витязи христианства». Запорожская Сечь, как вам ведомо, состоит из малороссийского казачества купно со всякими беглыми. Сия свободная военная община обрекла себя на тяжелую, мучительную жизнь, дабы охранять любимую отчизну свою от басурманских орд да от ляхов. И заслуги их пред государством российским неисчислимы суть...

— А ну, выпьем, панове, за вильну Запорижску Сичь! — силясь разжечь себя, схлопал гетман в ладоши и плутовато подмигнул компании.

— Трохи годи, гетман, — в тон ему шутливо ответил Никита Панин. — Еще рановременно поднимать тост за казачество: при Полтавской битве, как вам ведомо, оно предалось шведам, и украинский гетман Мазепа России изменил. Блаженныя памяти Петр Первый разрушил Сечь и замест гетманства учредить изволил Малороссийскую коллегию. Но при дочери его, государыне Елизавете, ежели не запамятовал, в тысяча семьсот пятидесятом году, гетманство было паки восстановлено. И гетманом Малороссии был назначен... был назначен... — Тут Никита Панин, потехи ради, разыграл штучку: тер лоб, жмурился, как бы припоминая. — Кто бишь был назначен-то... Граф Кирило, кто?

— Я! — с вернувшейся к нему веселостью ударил себя в грудь Кирилл Разумовский и легонько поскреб выше коленки ногу.

Все засмеялись. Никита, быстро разлив по бокалам романею, громко выкрикнул:

— Выпьем, друзья! Хай живе *бывший* гетман Разумовский!

— Як бывший? — всполошился гетман.

— Государыня решила гетманство уничтожить, — выпив и торопливо прожевывая виноград, сказал Никита. — В сем смысле уже указано государыней заготовить манифест.

Разумовский широко открыл глаза на Никиту Панина, поднял брови и удрученно сел. Лицо его стало постным.

Генерал Петр Панин, с минуту постояв с низко опущенной головой, вдруг стал вышагивать. Он недавно овдовел. Он никак не мог побороть в себе чувства одиночества, примириться с превратностью судьбы. Он сегодня особенно зол, желчен, мрачен.

— Да, да, это на Катю похоже, — брюзгливо бросил он. — Катя не любит особливых царьков в своей империи. А гетман — малороссийский царь.

— Государыня зело опасается, — сказал Никита, — самостоятельности окраин. Она постоянно стремится к уменьшению и уничтожению политической обособленности оных. Взять Малороссию, казачьи области...

— Нашептывают, нашептывают ей! — крикнул Петр Панин, меряя комнату крупными шагами; шпоры на его ботфортах сердито звякали. — Орловы всё, сволочи. Да и Бестужев, старый баран.

Никите послышалось, что за дверью кто-то топчется. Позабыв сановитость, он чуть не бегом к двери, распахнул ее, заглянул в коридор. Пусто. Он запер дверь на ключ и плотно затянул тяжелые драпри.

— Нет, на сей раз не Орловы, ваше превосходительство, — сказал он брату. — На сей раз Теплов шепнул матушке, чтоб гетманство похоронить.

— Как Теплов?! — воскликнул ошеломленный гетман. — Да он же... Когда я, по приезде из Малороссии, еще в марте, к матушке пришел, он, бисов сын, кинулся жарко целовать меня!

Петр Панин зло захохотал. Толстощекий Румянцев, не вынимая трубки из зубов, сказал:

— Целование Иуды. «И лобза, его же предаде».

А Никита Иванович в тон ему добавил:

— «Да претерпи лучше раны приятеля, нежели ласкательные целования вражия».

Гетман развел руками, залпом выпил чашку кофе. Притворяясь наивным простачком и все отлично понимая, хитрый украинец, почесывая ногу, жалобно проговорил:

— Гневается, матушка, гневается. Апремант за апремантом...

— Пущай гневается, — вскричал Петр Панин. — Куснул ее шмель, да, видно, не в то место. Я ее насквозь вижу... Неограниченная самодержица, подумаешь! Когда шляхетство при нашей помощи возводило ее на престол, всего насулила, а как время приспело по векселю платить, она, аки вор, оный вексель разорвала. А кто? Орловы да Тепловы разные... Беспортошное шляхетство, мразь. Ну, да и мы, столбовые дворяне, хороши... Рыцарство в нас затмевается, родовитые фамилии наши меркнут... Регентша! — взмахнул он рукой и притопнул, шпоры взвизгнули. — И дальше — стоп! А мелкопоместная гвардия императрицей ее сделала. Чубуки!..

— В борьбе всегда учитываются силы, ваше превосходительство, — несколько обиженным тоном отозвался Никита.

— Отлично знаю, ваше высокопревосходительство, — ответил брату Петр. (При посторонних, соблюдая фамильные традиции, братья всегда величали друг друга по чинам.) — Нас хотя и немного, но ведь мы, аристократы, вершина политики и нации российской. А ежели она желает только на мелкопоместное дворянство опираться, на шляхетство, — прогадает. Взять процесс Хрущева... Да кругом недовольство, кругом.

— Государыня пока что опирается и на нас, и на партию Орловых, — спокойно заметил Никита.

— Ага! Как бы она между двух стульев не трюпнулась.

— И сядет, — пробасил Румянцев. — Надлежало бы ей одного берега держаться.

— Всемилостивейшая присматривается, силы набирает, — сказал гетман, с тоской поглядывая чрез окно на широкую Неву. По сизому течению ее лениво скользили груженные кирпичом, древесным углем, лесом большие баржи, многочисленные лодки и похожие на гондолы расписные, с балдахином, «рябики», служащие для прогулок; гребцы на рябиках пели песни.

Никита снял парик и напялил его за ширмой на деревянную болванку. И все сняли парики. Холеные,

бритые физиономии вельмож, утратив женственность и театральность, сразу преобразились до неузнаваемости, стали мужественней, проще. Петр Панин оказался лысоватым, в кудрявых волосах графа Разумовского — густая проседь, черные волосы графа Румянцева торчали коротким бобриком. Никита Панин без парика выглядел значительно моложе. Все столпились у зеркала, проверяли лица. Никита попудрил нос и попрыскал волосы духами. Налили романеи, чокнулись, выпили. Графу Румянцеву пришла на память молодая красоточка княжна Хованская, он прихватил концами пальцев полы длинного мундира, как женское платье, и, фривольно улыбаясь, отколол веселый танец. Гетман сбросил кафтан и тоже хотел было прикаблучить гопака, но передумал: он вспомнил предательство Теплова, и ногам его стало обидно. Во время длинных разговоров он раза два прятался за ширму, спускал кюлоты [1] и тщетно пытался поймать терзавшую его блоху. Петр Панин, уцепив парик за косичку и крутя им, как пращой, продолжал брюзжать:

— Катя думает, что она есть роза, жасмин, — губки, ножки, глазки, — пускай она своими прелестями иноземных индюков удивляет. А на мой солдатский взгляд, она не роза, а куст гороху при большой дороге, — кто ни пройдет, всяк щипнет...

— О так, о так! — злорадно выкрикнул гетман. Он сейчас был вовсю сердит на «всемилостивейшую матушку».

— А нас это не касается, — вступился за Екатерину граф Румянцев. — Женщина в самом прыску, в поре, как говорится.

— Она всех красавчиков перебрала. Поди ты, гетман, тоже к ее губам припадал? — то и дело прикладываясь к романее, не унимался желчный Петр Панин. — Да сдается мне, что и Павел-то не ее сын... Ходят слухи, что она от Сережки Салтыкова девчонку скинула, а мальчишка-то, Павел-то, чухонец из мызы из какой-то...

---

[1] Кюлоты — панталоны.

Румянцев дипломатично крякнул, захлопал глазами и стал чесать за ухом.

— Петр, Петр, — посунулся к брату испугавшийся Никита и осторожно взял его за плечо. — Вздор ты говоришь, вздор, сущий вздор. Сие не сообразно с правдой. Химера... Ты, смею молвить, поистине новый Эзоп баснетворец. Не унижай себя сам сумасбродным абсурдом и не оскорбляй мое чувство к наследнику. Ведь ты знаешь, как я его люблю.

— Прости, братец, прости... Ведь и я люблю наследника. Романея проклятая... — Петр от возбуждения вспотел, он виновато мигал и скомканным париком утирал свое раскрасневшееся грубоватое лицо вояки.

Но раз попала ему «вожжа под хвост», он уже не мог сдержать злословия по адресу насолившей ему Екатерины.

— Господа! — возбужденно воскликнул он. — А взять Бестужева... Ведь этот старый черт Бестужев и Россию втравил в войну с Пруссией, и тайным агентом Фридриха состоял... Да и Катеньку-то нашу заставил шпионить в пользу Фридриха. Английский посол Уильямс дал ей сорок тысяч якобы в долг от английского короля и сказал: «Вот Елизавета умрет, мы вас императрицей сделаем, а ваш супруг не в счет. Вы только всеми силами старайтесь помешать России в войне против Пруссии». Не так ли я говорю, господа?

— Брось, Петр. Все это не так было, все это ложь. И кто тебе наврал?

— Да ты, Никита, — с раздражением сказал Петр Панин. — И чего таиться? Мы люди свои, предателей среди нас нету... А я прямо скажу: Катенька наша — бывшая шпионка Фридриха. Да рубите мне голову — не отопрусь! — закричал он. — Мужа руками Орловых убила, Ивана-узника велела убить!

Лицо Никиты Панина вдруг сложилось в болезненную гримасу, он метнул на брата бровью и сказал:

— Ни шпионаж, ни иного образа политическая измена не могли входить в планы Екатерины Алексеевны, тогдашней великой княгини, ибо она уже в то время приуготовляла себя к роли императрицы. А некая политическая игра, некая интрига с английским

двором, может статься, и велась ею... И к твоей жестокой филиппике по адресу ее величества позволь, Петр, внести некую поправку: не Бестужев вовлек великую княгиню Екатерину в политическую интригу, а наоборот, она его вовлекла.

Петр Панин в ответ злобно захохотал и с ожесточением зарядил обе ноздри табаком.

Гетман начал собираться. Он со всеми дружески расцеловался и ленивой, вразвалку, походкой вышел.

— Не пойму, что он за человек, — сказал про гетмана граф Румянцев.

— Лодырь, лежебок, — грубо отозвался Петр, он швырнул парик на подзеркальник и, постанывая, развалился на широкой оттоманке: его мучила подагра.

— Сибарит, сиречь неженка и сластолюбец, — поспешил Никита Панин облагородить реплику Петра.

— Правда, гетман в политике бестолков... Не ко двору ни нам, ни Орловым. Однако я к нему полный решпект имею, — проговорил Петр. — Он в хороших европейских обычаях воспитан, хотя родом и пастух.

— Да ведь и мой отец при особе Петра Великого денщиком был, — отозвался граф Румянцев и выжидательно уставился на Петра Панина...

— Знаем, знаем твоего всеславного отца, — дружески и по-солдатски грубовато подмигнул ему Петр Панин.

Выпуклые глаза Румянцева под крутыми, высоко вскинутыми бровями растерянно заулыбались, но на выразительном щекастом лице его отразилось сложное внутреннее переживание: и некий упрек Панину за его чрезмерную развязность, и в то же время оттенок гордости, что он — не кто-нибудь, а Петр Румянцев, родной (побочный) сын Петра Великого. Об этом знал весь «высший свет», граф Румянцев пользовался особым вниманием и при дворе Елизаветы, и при дворе Екатерины.

Он повернулся на каблуках, заложил руки назад и, высвистывая мотивчик боевой солдатской песни, четко промаршировал по кабинету.

Затем все трое сняли кафтаны (Никита надел колпак) и бок о бок улеглись на оттоманку. По персид-

ским коврам вплыл, как облако, голубой лакей. Он тихо спустил на окнах шторы.

10 ноября 1764 года последовал указ об уничтожении гетманства. «Для надлежащего Малой Россией управления учреждена Малороссийская коллегия», президентом которой назначен граф П. А. Румянцев. В секретной инструкции Екатерина советовала ему «иметь волчьи зубы, и лисий хвост». Екатерина знала, что при Разумовском, пользуясь его слабостью, многочисленные старшины грабили народ, спешили забирать свободные земли и деревни «в вечное и потомственное свое и наследников своих владение». Екатерина послала деятельного и честного Румянцева прижать старшин, избавить простой люд от чрезмерных поборов: ей нужны «могучие, воинственные» казаки. Обласканные, они помогут ей выбить крымского хана из Тавриды и потягаться с Турцией.

А бывшему гетману Разумовскому, этому тунеядцу и сибаритствующему бездельнику, этому обладателю несметных, полученных от императрицы Елизаветы, сокровищ, царствующая Екатерина постановила выдать: пенсию в размере гетманского содержания пятьдесят тысяч рублей в год, десять тысяч рублей из малороссийских доходов, город Гадяч с селами и деревнями, Быковскую волость и дворец в Батурине.

ГЛАВА IV

Вольное экономическое общество. Наказ

1

В середине марта 1765 года тяжко заболел Михайло Васильевич Ломоносов. При нем неотлучно находился первый приятель его, академик Штелин. Изнемогающий Ломоносов жаловался ему:

— Яков Яковлич, друг!.. Я вижу, что должен вскорости умереть, на смерть смотрю равнодушно и спокойно. Об одном жалею: не мог я совершить того, что

предпринял для пользы отечества, для процветания наук, для славы Российской Академии... Боюсь, зело боюсь, что все мои благие намерения исчезнут вместе со мною, а Россию нашу паки тьма окутает. — Губы его вздрагивали, по щекам катились слезы.

Великий патриот, великий мыслитель, ученый и поэт 4 апреля скончался.

На торжественных похоронах присутствовала почти вся столица. Густые толпы народа шли за гробом. Процессия двигалась к Невскому монастырю.

К академику Штелину подошел всегда злобствующий на Ломоносова поэт Сумароков.

— Угомонился, — злорадно и нагло сказал он, кивая на гроб. — Теперь уж больше не станет шуметь да зазнаваться...

— Посмели бы вы сказать ему эти слова при жизни, — с достоинством ответил академик. — Пред нами прах не зазнайки, а гения.

Нечто подобное повторилось и в стенах дворца. Узнав о смерти Ломоносова, малолетний великий князь Павел сказал своему воспитателю, офицеру Порошину:

— Чего о дураке жалеть. Казну только разорял и ничего не сделал.

Мальчишка бормотал, видимо, с чужого голоса, еще плохо разбираясь в том, что возле него творится. Порошин, конечно, мог бы, если б имел на то право и мужество, разъяснить ему, что не Ломоносов, получавший грошовую пенсию, а его венценосная мать немилосердно разоряет казну, тратя огромные государственные средства на своих фаворитов и роскошества.

Все-таки Порошин не убоялся вступиться за честь и славу великого покойника и прочел мальчишке строгую нотацию. Честнейший Порошин вскоре был от обязанностей воспитателя освобожден.

Итак, Ломоносов умер, Россия осиротела.

Ломоносову должно было по праву принадлежать первейшее место у кормила государственного правле-

ния, однако дворянские правящие классы считали его человеком опасным, он был ими едва терпим, царствующая же императрица тоже отвернулась от него. По ее приказу все бумаги Ломоносова, хранившиеся в его доме, тотчас после смерти великого ученого были опечатаны графом Григорием Орловым.

Но многие просвещенные люди страны и некоторые из либеральных вельмож немало скорбели о горькой утрате, которую понесло отечество со смертию русского гения.

Вся многотрудная жизнь Ломоносова прошла в едином стремлении помочь России, помочь своему народу. То он выступает в качестве государственного деятеля и веско излагает свои мысли в пространном письме патрону своему Шувалову «о размножении и сохранении российского народа». То сочиняет трактат о пути из России в Индию «Сибирским океаном», добивается кредитов на опытную экспедицию, деятельно снаряжает ее, и, хотя смерть обрывает его работу, тем не менее спустя несколько недель после кончины Ломоносова, адмирал Чичагов с тремя фрегатами выходит из Архангельска в Ледовитый океан [1]. То он пишет или обдумывает темы для статей об исправлении нравов и о бо́льшем народа просвещении, о размножении ремесленных дел и художеств, о лучшей государственной экономии, об исправлении земледелия и т. д.

Ломоносов ясней всех своих современников сознавал, что давно приспело время заняться вопросами внутреннего экономического положения России, он всячески будил и толкал вперед дремавшие силы ее.

Правительство, двор и передовые люди были осведомлены о ненормальном состоянии отсталого народного хозяйства: земледельческое население нищало, волнения среди крестьян становились явлением обычным.

---

[1] Двухлетняя попытка Чичагова пробиться сквозь льды оказалась неисполнимой: он дошел лишь до 80° с. ш.

Осенью 1765 года Екатерина пригласила на чашку чаю наиболее близких двору сановников. В одном из уютных покоев Зимнего дворца собрались: три брата Орловы, глава правительства Никита Панин, графы Захар и Иван Чернышевы, Сиверс, Олсуфьев, Бибиков, Черкасов, Роман Воронцов, придворный библиотекарь Тауберт [1] и прочие.

Беседа за чаем протекала непринужденно. Захар Чернышев, бывший сердечный друг Екатерины, забавно рассказывал анекдоты из боевой жизни, Екатерина, как всегда, успешно острила, пересыпая свою французскую речь русскими, иногда невпопад, пословицами. Впрочем, она теперь хорошо говорила по-русски.

— Господа, — сказала она. — Шутки в сторону, соловья баснями не угощают, давайте о делах...

— Я хотя и не соловей, а птица иной породы, — непозволительно прервал императрицу Григорий Орлов, — только я зело проголодался. Бифштексик бы с кровью, по-охотничьи. Матушка, как насчет хлеба насущного?

— Григорий Григорьич, помолчи, — ничуть не осердясь и даже со снисходительной улыбкой проговорила Екатерина. Нарядный изумрудный фермуар, как бы подчеркивая ее благодушное настроение, празднично блестел на жемчужном ожерелье. — Господа, приглашаю вас прислушаться. — Она заглянула в свою записную книжечку. — Вам ведомо, что финансы моей империи очень далеко не блестящи. По вступлении моем на престол я нашла их слишком расстроенными. Монетный двор со времен царя Алексея Михайловича считал денег в обращении сто миллионов золотой и серебряной монетой, из коих сорок миллионов вышедшими из империи за границу. Нам, господа, надлежало бы подумать о выпуске в обращение бумажных денег. Блаженной памяти государыня Елизавета во время прусской войны искала занять три миллиона в Голландии, но охотников на тот заем не явилось, сиречь кредита или доверия

[1] «Зачинатель» общества.

к России не было. Вот, господа, очень, очень кратко — как было. Прошлый год мы государственный бюджет заключили без убытка, зато нынешний год доходы казны упали с девятнадцати миллионов в прошлом году до десяти миллионов. Сие очень нетерпимо. Мы чересчур расходчивы. А надо, чтоб какова одежка, так и ножки протягивать. У нас одежка очень слишком коротка, а ножки чересчур длинные. А надлежит как раз наоборот...

— Ежели наоборот, матушка, то одежка-то со шлейфом получится, — оправляя золотой камергерский ключ, укрепленный на голубой ленте у левого бедра, попробовал сострить Григорий Орлов.

Екатерина опустила веки с длинными ресницами и, подавая знак к молчанию, побрякала о край чашки ложечкой.

— О господа, как бы я желала, — воскликнула государыня, распахнув и снова сложив веер, — как бы я желала видеть истинное лицо моего отечества, познать нужды народа своего! Хочу много, много ездить по России.

— Знаешь что, матушка, — пробасил Григорий Орлов и, поднявшись, огромный и статный, подошел к маленькой в сравнении с ним Екатерине, нагнулся, бесцеремонно положил руку на ее плечо, сказал: — Уж ежели путешествовать задумала, так надлежит тебе, матушка, у какого-нито кудесника шапку-невидимку добыть. А то тебе, матушка, такое напоказывают, что и впрямь подумаешь: ахти, как хороша да богата Россия. — Он чмокнул Екатерине руку и стал вышагивать по лионскому ковру.

Стало тихо, все сидели, как истуканы, всех шокировало поведение зазнавшегося фаворита. Бесшабашный, недалекий Григорий Орлов даже при посторонних вел себя с Екатериной без всякого стеснения, как муж. Пикируясь с ней, он иногда позволял себе говорить по ее адресу колкие грубости. В его голосе звучали нотки человека, знающего цену своего влияния на любимую женщину, которая готова все простить ему. Он как бы кичился пред другими своим положением избранника сердца государыни. Екатерина ве-

ликодушно сносила поведение Орлова, стараясь обращать в шутку его грубоватые выходки. Ее ум и воля в эти минуты подчинялись чувству: она самозабвенно любила его. Однако посторонних сановников от таких интимных сцен внутренне коробило. А Никита Панин в подобных случаях, ядовито улыбаясь, думал: «Ну, слава богу, что в фаворитах Гришка Орлов. Фаворит с умом и достоинством был бы мне более опасен».

— Если дозволено будет вашим величеством,— проговорил, поклонясь, сидевший вблизи Екатерины граф Сиверс,— я мог бы доложить вам о некоторых глухих уголках нашего отечества.

— Ах, прошу вас, милый Яков Ефимыч! Я вас полагаю за очень просвещенного, очень деятельного человека. Я вас слушаю... Одна минутка, одна минутка! — И, позвонив в колокольчик, она велела дежурной фрейлине подать ей рабочую корзиночку. Вынув начатое вязанье, три клубка разноцветной шерсти и костяные спицы, она приготовилась вязать теплый на зиму капотик своей любимой собачке, дремавшей у нее на коленях.

Олсуфьев, Черкасов и Роман Воронцов бросились к столу, за которым сидела Екатерина, чтоб поближе к ней поставить горящие канделябры, но Григорий Орлов, подлетев, ловко отстранил услужливых царедворцев и сам передвинул канделябры. Екатерина поблагодарила его улыбкой, спицы в ее проворных руках заработали, шерстяные клубки зашевелились.

— Итак,— начал молодой, полный сил граф Сиверс, одернув свой скромный темно-синего сукна кафтан.— Повелением и милостью вашего величества я с прошлого года состою в должности начальника обширнейшей Новгородской губернии, в кою входят провинции Олонецкая, Тверская, Псковская и Великолуцкая. Я объехал многие города и селения, и моему взору везде представала картина наипечальнейшая. Взять Псков. По своему красивому и удобному для торговли положению он мог бы быть в ином состоянии и не возбуждать такой жалости. У меня нет слов,

ваше величество, для выражения моих чувств о разорении этого города! Скажу одно: он так же несчастлив, как и Великий Новгород, и страдает той же чахоткою. Солдаты — коих два полка — казарм не имеют, живут в домах обывателей, чрез что обыватель справедливо ропщет. Как в одном, так и в другом городе почти равные причины разорения, и не одни политические, но и нравственные: нравы так испорчены, что умножение человеческого рода почти пресеклось.

На тонком лице Екатерины отразилось удивление, брови ее приподнялись, спицы в холеных руках остановились. После паузы Сиверс продолжал:

— В судах повсеместно взяточничество, неимоверная волокита. В Новгороде из трехсот просьб решаются в год по два, по три дела. Каменный дом провинциальной канцелярии во Пскове развалился, воеводского двора вовсе нет, и воевода живет в таком ветхом доме, что мне стыдно и не без страха было в него войти. Город Осташков — сущая деревня, в воеводском доме только сороки да вороны, ни площади, ни лавок я не нашел. В Холме больше тысячи душ, и только один человек умеет писать...

— Да неужели?! — воскликнула императрица.

— Увы, сие так, — развел руками Сиверс. — Своей монархине докладываю истину.

— Срам, срам, — пристукнула каблучком императрица. — Ну, а крестьяне?

— О крестьянстве должен вообще заметить, что оно еще более заслуживает жалости по незнанию грамоте, ибо это незнание подвергает его множеству обид. А кроме сего — земля обрабатывается самым первобытным способом, она плохо удобряется, урожаи ничтожны. Не в меру притесняемые помещиками крестьяне нищают. На крестьян помещики накладывают какой угодно оброк и требуют с них какой угодно тягчайшей работы.

По почину графа Сиверса высказывали свои наблюдения над деревней и прочие приглашенные. Екатерина время от времени бросала вязанье и

золотым карандашиком делала заметки в записной книжке.

— Я, господа, жду от вас изыскать способы к улучшению экономического состояния нашего отечества, — мягко и в то же время повелительно сказала она.

— Всемилостивейшая государыня, — проговорил, подымаясь, Сиверс. И все поднялись. Григорий Орлов демонстративно некоторое время посидел, но и он с леностью и небрежением поднялся. Сиверс достал из кожаной дорожной сумки бумагу за многими подписями. — Повелите повергнуть к стопам вашим на предмет благоусмотрения прожект устава сочиненного нами общества, — сказал он и с поклоном подал бумагу императрице.

— Ваше величество! — приподнятым, торжественным голосом продолжал Сиверс. — Мы, пятнадцать человек, во главе с графом Григорием Григорьичем Орловым соединились добровольным согласием в общество, в котором вознамерились совокупным трудом стараться об исправлении отечественного земледелия и домостройства. Мы просим вас, государыня, принять оное общество под ваше монаршее покровительство и чтоб общество управлялось собственными нашими трудами и установлениями, почему и называлось бы «Вольным экономическим обществом» [1].

Мысль о создании общества была давно известна Екатерине чрез Григория Орлова. С целью положить начало этому делу и были сегодня приглашены близкие Екатерине лица. Еще неделю тому назад она негласно ознакомилась с проектом устава, но, притворясь теперь, что она впервые устав видит, императрица наспех пробежала взглядом исписанные листы и ответила собравшимся заранее приготовленной фразой:

— План и устав ваш, которыми вы друг другу обязались, мы похваляем. Извольте быть благонадеж-

---

[1] В. Э. О. просуществовало до 1917 года, то есть полтора столетия.

ны, что мы оное приемлем в особливое наше покровительство.

Часы пробили десять. Екатерина встала, обвела всех ласкательной улыбкой, кивнула головой и, в сопровождении двух собак, Григория Орлова, фрейлины и четырех пажей, удалилась во внутренние покои. Путь ее шествия по длинным темным коридорам лакеи освещали высоко приподнятыми горящими шандалами. Два скорохода, бежавших впереди императрицы, тенористо покрикивали гвардейцам-часовым, расставленным по коридорам:

— Ее величество! Ее величество!

Солдаты брали ружья на караул; офицеры, выхватив шпагу, делали салют. Близко сдвинутые высокие стены коридора в свете колыхавшихся огней как бы раздвигались, давая простор хозяйке дома и владычице империи. Гулко слышались лишь четкие частые шаги Екатерины и медленная, твердая поступь олимпийца Григория Орлова. Остальные смертные, нижайшие рабы, скользили по паркету на цыпочках, неслышно.

Граф Сиверс на радостях бросился обнимать Никиту Панина. Тот, не без наигранной патетики, сказал:

— Сие вольное учреждение ваше есть утренняя заря деловой общественности России. Бог вам в помощь.

Императрица дала обществу девиз: «Пчелы, в улей мед приносящие», — с надписью — «полезное», и пожертвовала шесть тысяч на покупку дома.

Первым председателем общества был Григорий Орлов.

Общество вскоре широко развернуло свою деятельность. По всей стране разослано было шестьдесят пять вопросов по земледелию, ремеслам и промыслам. Ответы на эту анкету дали возможность обществу ознакомиться с хозяйственным состоянием крестьянской России.

Впрочем, в этом начинании общество шло по следам Ломоносова, который еще в 1760 году разослал чрез сенат в города, местечки и монастыри всей империи анкеты со многими вопросами географического и экономического порядка.

Екатерина поддерживала деятельность общества. Ей, склонной по натуре к загадочности и актерской игре, зачем-то понадобилось писать в общество от имени «неизвестного лица» мужского рода и подписываться инициалами «И. Е.».

На заседании, где разбиралось письмо «неизвестного», Григорий Орлов заявил:

— Нечего глазами хлопать. Это писала матушка. Только, чур — прикинемся простецами и станем держать сие в секрете. Матушке об этом ни гугу...

В следующем году был получен обществом изящный ящичек, в котором тысяча червонных и письмо того же неизвестного за той же подписью «И. Е.», в письме — вопрос: «В чем состоит собственность земледельца — в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то и другое для пользы общенародной иметь может?» Другими словами — спрашивалось: нужно ли для общенародной пользы уничтожить крепостное право и наделить крестьян в собственность помещичьей землей или, оставив все по-старому, дать крестьянам лишь право владеть движимым имуществом? В письме сообщалось, что в награду за достойное решение вопроса и вообще на издержки общества назначается препровождаемая тысяча червонцев. Чрезвычайное собрание общества постановило объявить конкурс на правильное решение опубликованного вопроса. За лучшее сочинение назначалась премия в сто червонцев и золотая медаль.

На публикацию тотчас отозвался поэт Сумароков. В своем ответе он выразил не только свои взгляды, а и мнение по этому вопросу многочисленных своих единомышленников.

Он писал: [1]

---

[1] Приводится в сокращении.

«...Потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода? На это я скажу: потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность или потребна клетка? И потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи; однако одна улетит, а другая будет грызть людей; так одно потребно ради крестьянина, а другое ради дворянина...

...Что же дворянин будет тогда делать, когда мужики и земля будут не его, а дворянину что останется?.. в протчем, свобода крестьян не только обществу вредна, но и пагубна».

К сроку было прислано на разных языках сто двадцать ответов. Лучшим признано сочинение проживавшего в Петербурге немца Беарде де Лаббея, доктора прав в Аахене. Общий его вывод: крестьянин должен быть свободным и должен владеть землей, но освобождать крестьян нужно *постепенно*. Между прочим, он писал:

«...О вы, цари! Если вы не желаете быть мучителями ваших народов, то должны вы быть отцами ваших подданных. Крестьяне суть ваши чада: как же вы можете видеть ваших чад рабами?»

«...Но слышу голоса вельмож, пораженных сею новостию и отвращающихся от того, чтобы отказаться от ужасного [крепостного] права...»

«Что будет из наших полей? — без сомнения, скажут некоторые владельцы, которые только одну наружность вещей обозреть в состоянии. — Кто станет земли наши пахать, когда рабы наши будут вольными? Кто будет работать на наших фабриках и мануфактурах, когда мы не будем иметь права удержать и принудить к работе наших рабов?» Нет, господа! Дав вольность вашим крестьянам, вы ничего не потеряете, но еще умножите ваши доходы» и т. д.

Однако свободолюбивый автор не рекомендовал немедленного освобождения крестьян.

«...Должно приуготовить рабов к принятию вольности прежде, нежели дана им будет какая собственность... Когда просветится их разум и исправятся их

нравы, тогда уже можно будет разрешить оковы рабства...»

Собрание Вольного экономического общества, состоящего почти сплошь из крупных крепостников, премировав его сочинение, растерялось. Большинство было против опубликования столь дерзких, потрясающих государственные основы высказываний. Как быть? Напечатать, конечно, легко. А вдруг по напечатании «неизвестный» благодетель «И. Е.» придет в гнев и все «вольное общество»... сошлет в Сибирь!

2

Апартаменты Григория Орлова помещались в Зимнем дворце на антресолях. Но почти каждый вечер, свободный от кутежей на стороне или длительных поездок в гатчинские, а то новгородские леса на охоту, он проводил с императрицей в ее интимных покоях.

В шелковом, перетянутом опояскою капоте, без фижм и кринолинов парадных платьев, скрывающих естественную форму тела, Екатерина казалась изящно сложенной и была быстра в движениях. В белом кружевном чепце она сидела за маленьким письменным столом, заканчивала давно начатый ею перевод на русский язык «Велизария» — философский роман французского писателя Жана Мармонтеля.

Григорий Орлов, подобрав обутые в шлепанцы ноги, полулежал на удобном диване, просматривал свежий номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Он в атласном, с золотой вышивкой, халате, шея и грудь обнажены, русые, слегка завитые волосы подрублены в скобку, по-казацки. Глаза его наткнулись, как на кочку, на объявление в газете:

«В Четвертой Мещанской в № 111 продаются две молодые девки, собой видные, грудастые, белье шьют и в тамбур, гладят и крахмалят и стряпать мастерицы. Последняя цена им 1000 рублей. Тут же продается жеребец, да бык, да стая гончих собак, числом пятьдесят, по сходной цене».

Орлов поморщился. Он знал, что крепостных не только продают, но проигрывают в карты, дают ими взятки, платят врачам за лечение. Надо бы опять обратить внимание государыни, ну да как-нибудь в другой раз...

— Да! Матушка... Прости, что докучаю тебе. Мужичишка, Васька Безухий, медвежатник мой, приходил намеднись ко мне, сказывал — двух медведей обложил в берлогах под Гатчиной... Поехать доведется, стукнуть.

Екатерина, отложив работу, быстро оправила чепец, скользком взглянула в лежавшее возле нее зеркальце и, машинально облизнув губы, повернулась к Орлову.

— И надолго сей променад?

— Да бог его ведает... На недельку.

— Вот ты все ездишь, дела свои запустил, меня одну бросаешь. Ну, да, впрочем, ты ферлакур известный, Гришенька.

— Утешители у тебя найдутся, — с ревнивым чувством во взгляде и голосе несдержно упрекнул ее Орлов и, насупившись, швырнул газету на пол.

Екатерина, в упор глядя на него, выжидательно молчала. Она приготовилась к самозащите, она собиралась выпустить когти, но, признаваясь самой себе, что в своих упреках Орлов был прав, она опустила веки, и губы ее капризно скривились.

Вошел с охапкой дров скуластый глухонемой калмык в красном жупане, стал растапливать камин. Был поздний вечер, восковые свечи задумчиво горели в люстре, в канделябрах, в настенных бра. Камин запылал, калмык скрылся. Орлов запер за ним дверь.

— Ну, а как же в твоем Вольном экономическом обществе, Григорий Григорьич? Да!.. И какой же ветреник этот Сумароков. Своим письмом в твое общество он опорочил свое имя пред потомками на веки вечные. Внутренние его помыслы далеко не те, о чем бряцает его лира. Да вот тебе. — Екатерина, порывшись в ящиках стола, вынула пачку бумаг с надписью: «Запрещаю», — и нашла в ней кудряво напи-

санное стихотворение Сумарокова «Хор ко превратному свету». — Слушай, что он писал в своей сатире к моей коронации, сравнивая порядки у нас и за границей:

Со крестьян там кожи не сдирают,
Деревень на карты там не ставят,
За морем людьми не торгуют.

А вот конец письма в адрес твоего общества: «В протчем, свобода крестьян не только обществу вредна, но и пагубна». Как сие аттестовать прикажешь? Сие есть — двоедушие.

— Ой, матушка Катенька... Ты столь премудра, что... — И, заскрипев пружинами дивана, Орлов поднялся. — Дозволь перецеловать все твои мизинчики...

— Их только два...

— Ой, четыре... Ей-богу же, четыре! — И, подбежав к Екатерине сзади и запрокинув ей голову, он с жаром поцеловал ее в маленькие губы.

— Довольно, довольно, Гришенька, — запротестовала Екатерина. — Мой рабочий день, ваше сиятельство, еще не кончился. Делаю вам выговор... Ревнивец!

— Ой, матушка! — всплеснув руками и обойдя стол так, чтоб быть лицо в лицо с Екатериной, воскликнул Орлов. — Ужо я приведу к тебе стихотворца Дениса Фонвизина, говорят — душа-парень, весельчак. Как-то довелось слышать мне его... Он столь похоже Сумарокова передразнивает и в голосе, и в манерах, и даже умом, так что Сумароков и сам не мог бы сказать инако, как то, что Фонвизин говорит его голосом. Я чаю, ты прямо обхохочешься, прямо пальчики оближешь, как услышишь его. Дозволь!

Екатерина молчала. Орлов смотрел на нее с восхищением. Аккуратно сложив вынутые бумаги, она спрятала их в стол и, не обращая внимания на Орлова, взялась за гусиное перо, чтоб продолжать прерванную работу. Обескураженный Орлов прошелся по комнате, поворошил клюкой горящий камин, подбросил дров и отщипнул ветку винограда, горой лежавшего в севрской вазе. «Дурак, — подумал про себя Орлов, — газету швырнул, огорчил бабенку. Осел... Подтянуться надо».

Желая овладеть вниманием Екатерины, Орлов, переменив тон, попробовал заговорить о деле:

— Ваше величество! А как вы соизволили отнестись к сочинению Беарде де Лаббея? Наши все перетрусили, прочтя оное, и пришли в недоумение — публиковать его в печати или нет? За публикацию Ванька да Захарка Чернышевы, Сиверс, Бибиков, Теплов, Роман Воронцов и другие, а вот Черкасов против, генерал-прокурор сената Вяземский ни туда ни сюда, дать мнение отказался, тебя опасается, хитрец коварный. Словом, одиннадцать голосов за напечатание, а шестнадцать против. А ты как думаешь, матушка?

— Напечатать, — не колеблясь, ответила Екатерина.

Орлов поставил клюку в угол, несколько мгновений удивленно смотрел на Екатерину.

— Но, матушка... — сказал он. — Ведь оный немец требует мужиков освободить и барскую землю отдать им. Ему-то хорошо в философию пускаться, у него, я чаю, ничего, кроме штанов, нет.

— Мое мнение — печатать, — повторила Екатерина. — Ты, Гришенька, я вижу, не столь далеко уехал от господина Сумарокова. Не зря же говорится по-русски: два рыбака — пара.

— Матушка! — захохотал Орлов. — Доколе ты будешь пословицы перевирать? Не рыбака, а сапога. Два сапога — пара!

— Нет, нет... про рыбаков, — капризно сказала Екатерина, оскорбленная неуместной веселостью Орлова.

— А тогда: рыбак рыбака видит издалека. Это, что ли, молвить хотела?

— Потрудись заказать мне список пословиц.

— Добро, добро... Чулкову Мишке закажу, он сих дел мастер.

Желая в свою очередь уколоть Орлова, она спросила:

— Ну, а как ты во французском успеваешь? Чаю, пора бы уж...

— Не спрашивай, матушка, не лезет. Трудно шибко, — захлопал Орлов глазами. — Да и французишка попался — прямо скажу — дрянь. Говорим, говорим с ним по-французски, да и нарежемся водки по-русски. — И чтоб замять этот неприятный для него разговор, он вновь перевел на дело: — Опасаюсь я, матушка, как бы чего худого в публике не вышло, ежели напечатать этого самого Беарде. Разговоры всякие пойдут, крамольные кривотолки, то да се.

— Не бойся, мой друг, — сказала Екатерина, подымаясь. Утомленная трехчасовым сиденьем за столом, она быстрым движением взбросила вверх руки, привстала на цыпочки и потянулась. — Беарде де Лаббей в своей пьесе рекомендует освободить крестьян не инако, как прежде просветив их. А это... а это...

— Стало, на наш век хватит? — улыбаясь, спросил Орлов. И, не получив ответа, задал в упор другой вопрос: — Ну, а ты-то, матушка, ты-то желала бы освободить православных мужичков? Ну-тка?

— А как ты думаешь, мой друг? — прищурившись на Григория Орлова и потряхивая откинутой головой, с неожиданным раздражением произнесла Екатерина.

— А я ничего не думаю.

— Сие зело сожалительно...

— Четвертый год живу с тобой, матушка, душа в душу, а каковы твои сокровенные помыслы касательно дел важных — не ведаю. Ты себе на уме, матушка. Не вдруг поймешь тебя, — подавленным голосом, но с оттенком иронии сказал Орлов и, прислонясь спиной к стене, ждал проявления гнева государыни.

На лице Екатерины отразилось страдание. Чуть вздрагивающим голосом, с нотками истинной печали, но все же довольно сухо, она сказала:

— Я ценю вас, ваше сиятельство, за вашу отменную верность мне, за честность вашу, за преданность престолу, но зело скорблю, что природа наделила вас умом ленивым и в сложный механизм государственных дел не проницательным. Прервем этот разговор...

— Хоть, может статься, я и дурак, матушка, — выждав время, виновато промолвил Орлов, — а я на твоем месте мужиков православных погодил бы освобождать.

Екатерина молчала, кусала губы, хмурилась. Но вот, надо полагать, в душе ее поднялось большое человеческое чувство к другу. Она заулыбалась, ямочки появились на щеках, лучистые глаза милостиво устремились на притихшего Орлова.

— Друг мой, Гришенька! — воскликнула она. — Вообрази себе: вот императрица Екатерина Вторая завтра публикует указ: «Крестьянам отныне быть свободными. Помещичьи земли навечно передаются в собственность крестьянам». Что бы тогда было? Как ты полагаешь?

— Мужики благословляли бы твое пресветлое имя из века в век...

— А помещики?

— Ну, помещики... — замялся Орлов и развел руками. — Помещики, пожалуй, того... Они бы... пожалуй...

Екатерина улыбалась на замешательство своего друга и, зная, что ее слова рано или поздно станут достоянием истории, погрозила в пространство пальцем, выразительно сказала:

— Боюсь, Гришенька, что тогда *помещики успели бы повесить меня прежде, чем освобожденные мною мужички прибежали бы спасать меня.*

— Матушка! — в восторженном опьянении закричал Орлов. — Паки говорю тебе: ты — премудра.

3

Екатерина с наследником Павлом виделась довольно редко, она не любила его, но все же вынуждена была заботиться о его воспитании. Ей хотелось во что бы то ни стало залучить в Петербург знаменитого французского математика философа Даламбера. «Разве не лестно личное общение со свободным мыслителем, гонимым на родине отцами церкви? Разве

не приятны были бы вольнолюбивые беседы с ним в чертогах Северной Семирамиды? Пусть знают Вольтер, Дидро, кичливый Фридрих Второй, пусть знает весь свет, что Екатерина Вторая есть великая женщина своего века, великая мать великой России...» — размышляла сама с собой Екатерина.

И вот, еще будучи на коронации в Москве, она пишет Даламберу письмо, предлагает ему воспитание своего сына. Даламбер отказался. В дружеском письме к Вольтеру он в шутливом, остроумном тоне объяснил причину своего отказа так: «Я очень подвержен геморрою, а он слишком опасен в этой стране». (Намек на внезапную смерть Петра III, умершего, как гласил манифест, от «геморроидальных колик».)

Екатерина дважды приглашала его и дважды получала отказ. Тем не менее она выплачивала Даламберу пенсию до самой его смерти.

Екатерина не оставила своим вниманием и третьего философа — знаменитого Дидро. Узнав о материальных затруднениях философа, она за пятнадцать тысяч ливров купила его библиотеку, оставила ее в пожизненное его пользование, назначила ему ежегодное жалованье в тысячу ливров, как хранителю библиотеки, и приказала выплатить оное за пятьдесят лет вперед. Даламбер с Вольтером ответили на этот поступок Екатерины восторженными письмами.

Перо Вольтера имело большую власть над умами Франции. Может быть, благодаря его льстивым отзывам о русской императрице, а также и потому, что за границей не вполне еще раскусили ее сущность, имя этой одареннейшей женщины в западных странах, в особенности во Франции, было, пожалуй, более популярно, чем в России.

Заглазно называя Екатерину «моя Като́», Вольтер неутомимо превозносил и защищал ее от нападок, оправдывая даже ее жестокие поступки.

«Я ее рыцарь против всех, — писал он госпоже де Деффонд. — Я знаю, что ее обвиняют в каких-то пустяках по отношению к ее мужу; но это дела семейные, в которые я не вмешиваюсь. В общем и недурно, когда есть ошибка, которую надо исправить; это за-

ставляет делать большие усилия, чтобы получать общее уважение и восхищение».

Восхищаться Екатериной со стороны было не так уж трудно и вполне простительно. Ее действия и намерения осчастливить своих подданных могли только издали казаться искренними и устойчивыми; они, как фальшивые камни, имели много блеску, но мало ценности.

Под напором назревшей в государстве нужды пересмотреть и дополнить устаревшие основные законы империи Екатерина, по совету Никиты Панина и некоторых либерально настроенных сановников, предрешила созвать в Москве Большую комиссию из представителей сословий для выработки Нового Уложения, то есть основных законов. А в руководство этой комиссии сочинила знаменитый свой Наказ. Между делом и увеселениями она трудилась над ним более двух лет, изредка совещаясь в последнее полугодие с новгородским губернатором Сиверсом, Паниным, Орловым, Бестужевым, Бибиковым. Нового, оригинального в Наказе не так уж много. В сущности, это перелицованные на свой лад взгляды Монтескье, из его книги «Дух законов» и восхитившие Екатерину мысли итальянца Беккария в только что вышедшей его книге «О преступлениях и наказаниях».

Екатерина, не стесняясь, говорила:

— Я ограбила Монтескье и Беккарию. Я как автор похожа на ворону в павлиньих перьях.

Наказ написан в довольно либеральном духе, Екатерина во многом перещеголяла здесь, может быть в провокационном смысле, панинцев и сумароковцев с их политической программой. Наказ, выпущенный в Париже на французском языке, был признан там политически вредным и тотчас запрещен. Фридрих II встретил Наказ с брезгливой миной.

Никита Панин, прочитав это женское рукоделье, не без яда воскликнул:

— Государыня! От сих ваших великих аксиом даже стены рухнут.

А хмурый, умный Сиверс сказал:

— Если бы будущий законодатель оказался вровень с сочиненным вами Наказом, ваше величество, то Новое Уложение было бы наилучшим памятником вашего царствования.

В грубейшей лести царедворцев сквозила ирония. Они, как и Вольтер, отлично понимали цену столь нашумевшего Наказа. Не ради облегчения народной участи писался он (что впоследствии блестяще подтвердилось), а ради тщеславных потуг Екатерины прослыть в глазах Европы просвещеннейшей, гуманнейшей и т. д. императрицей. В Наказе она против смертной казни. Вопросы уголовного судопроизводства разработаны ею гуманно: «Приложить должно более старания к тому, чтобы вселить законами добрые нравы во граждан, нежели привести дух их в уныние казнями». — «Хотите ли предупредить преступление? Сделайте, чтоб просвещение распространялось между людьми».

И все-таки императрица в Наказе твердо отстаивала начала абсолютизма: «Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным правит». — «Самодержавных правлений намерение и конец — есть слава граждан, государства и государя».

Зато о крепостном праве, взаимоотношениях мужика и барина было сказано не много, но столь крепко, что мысли Екатерины вызвали взрыв протеста из лагеря многочисленных крепостников, которым была роздана на критику первая редакция Наказа.

Генерал Петр Панин, называя Наказ «пирожком ни с чем», впоследствии заглазно корил Екатерину:

— В этой немке преизбыточествуют хитрость и коварство. Она в своем Наказе расставила на нас, как на зверей, кляпцы. А ну-тка, мол, как они думают о крепостном праве?

4

Сумароков, считавший себя русским Вольтером, надел очки, напорщил лоб, стал медленно перелистывать только что полученную им «высочайшую»

рукопись. Плотные синеватые листы хрустели, пахли краской.

Камердинер Данилыч, в нанковом, ниже колен, сюртуке и серых валенках, растапливал камин, совал под сырые дрова пучки рукописей, принадлежавших начинающим поэтам и брошенных барином в корзину. Он сутул, узкогруд, высок, плешив. В серых покорных глазах выражение собачьей преданности господину.

Сумароков среднего роста, немного косоплеч, но очень изящен в общем облике и в несколько распущенных манерах. Слегка обрюзгшее лицо его довольно миловидно, оно обрамлено пышными рыжеватыми, уже седеющими волосами. Губы улыбчивы, карие глаза глубоко посажены. Он в мягком темно-зеленом, английского сукна, шлафроке. Он всю ночь прокутил с этим милейшим весельчаком Денисом Иванычем Фонвизиным и сегодня встал поздно, с головной болью. Старик Данилыч отечески журит его, советует выкушать натощак святой водицы да чашечку огуречного рассола, да капустки кочанной.

— Брось, брось, Данилыч, — несколько грассируя, говорил Сумароков. — До святой ли водички тут, лучше принеси-ка мне водочки. А огуречный рассол вот он где. — И поэт похлопывает белой ладонью по синеватым листам Наказа. — Трепещи, Данилыч! Сие есть неизъяснимыя мудрости творение благочестивейшей государыни императрицы.

— Знаю, знаю, батюшка Лександр Петрович. Курьер из дворца приволок, так сказывал. И еще сказывал курьер, что матушка-т в пять часов утра встает да сама себе кофейку скипятит, тут сядет да до самого обеда пишет. А после обеда рукоделием изволит заниматься. Вот и вы бы, Лександр Петрович, брали бы с них пример. А вы когда сегодня поднялись? Уж скоро к вечерням звонить будут...

Небольшой, но со вкусом обставленный кабинет был украшен книжными шкафами и портретами знаменитых актеров Волкова, Дмитревского, Шумского. Над столом овальный, в масляных красках, портрет улыбчивой эффектной императрицы. На письменном столе — рукописи, газеты, свежие книжки журналов,

а среди всяких безделушек — три «счастливых» подковы, причем одна из них принадлежит историческому белому коню, на котором счастливая «матушка» брала в плен своего несчастного супруга.

Напившись кофе и пофриштыкав, Сумароков закричал:

— Ба! Ха-ха... Ну, нет-с, нет-с, ваше величество. На сей счет мы с вами жестоко поспорим. Как?! Отменить крепостное право? Мерси, мерси... — И он, смакуя и зло посмеиваясь, стал читать параграфы Наказа: — «Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великого числа освобожденных». Ха! Афоризм умный, но чересчур, чересчур... Ха! Освобождать мужиков *вдруг* нельзя, а значит, понемногу должно. Ха-ха... Да нет! Это притворяется она, дурочкой прикидывается, шутки шутит... Данилыч, слышишь? У нашей матушки ум за разум зашел, высказывает хотенье всех мужиков помаленьку освободить. Да нешто это возможно, Данилыч?

Тот, не сразу переварив слова барина и все-таки поняв их смысл, набожно перекрестился, на глаза проступили радостные слезы, он взял клюку и молча стал ворошить в камине.

— Слушай, слушай: «Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного». Ага, значит, мужикам собственность подавай? Слушай дальше: «Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества и привести их в такое состояние, чтоб они могли купить сами себе свободу». Мерси, мерси, ваше величество... Токмо примите в память — здесь не Англия, не Швеция и не Украина, здесь — Русь, ваше величество, с укладом искони древним. — Заносчивый, невоздержанный, склонный к дрязгам и ссорам, он решил на сей раз посчитаться и с Екатериной, которая иногда не стеснялась относиться к нему пренебрежительно. Он выпил серебряный стаканчик тминной, слегка прихрамывая, прошел к дивану, разлегся и закинул руки за голову.

— Данилыч, подойди-ка сюда, стань тут. Ну, хорошо, допустим, выйдет закон отобрать от господ

крестьян да дворню. А я-то, я-то с кем же останусь? Кто станет раздевать меня, обед готовить? (Старый Данилыч тер лысину, вздыхал, топтался.) Нет, ты сам, Данилыч, смекни, — господа, оставшись без дворни, станут чахнуть, погибать. На что это похоже? А там, по деревням-то! Великий разлад пойдет промеж помещиком и крепостными, свора, междоусобица, и ради усмиренья мужиков придется войска туда посылать, целые полки двигать, кровь лить! А ныне, что же... ныне помещики проживают спокойно в своих вотчинах, с мужиками ладят.

— В Кашинском уезде, Лександр Петрович, сказывают, на той неделе барыню дворня зарезала, а под Новым городом — барина-старика да двоих молодых господ ухайдакали, — соболезнующим голосом проговорил Данилыч, но Сумароков в точности не мог понять, на чьей же стороне его сочувствие.

— Ну и молчи. Ишь ты, раскудахтался... Зарезали, зарезали...

— Я, Лександр Петрович, правду молвлю.

— Правду... Правда ныне не в почете, старик. В моих творениях я тоже сущу правду излил, а всемилостивая государыня на дыбы — нет-нет да ножкой и притопнет. Вот те и правда. А тебе ведомо, кто я? Я — первый пиита в России, да меня весь свет знает, Париж обо мне пишет. Да если б не я, и театра в России не было бы. Я не граф какой-нибудь, я — Сума-роков! А ты — зарезали. Деревня... Дай-ка тминной!..

Он выпил, пожевал вяленой рыбы и брезгливо сплюнул.

— А я, Данилыч, критику и на помещиков делаю, кои тиранство для крестьян своих приуготовляют, мануфактуры у себя заводят и прочие вымыслы. Суконные заводы ныне в моде. Да разве для земледелия полезны они? Не токмо суконные дворянские заводы, но и лионские шелковые ткани приносят во Франции обогащения меньше, нежели земледелие. А Россия паче всего на земледелие уповати должна! И чтобы заводы не одному помещику доходны были, а и крестьянам. И были бы крестьяне работники, а не

каторжники. Тогда они и резать помещиков не станут. Эх, да чепуха это. Разве дворянское дело заниматься фабрикой? С Мишки Ломоносова, царство ему небесное, узоры нечего брать: он был мужик, он, бывало, треску живьем жрал. Фабрикантом-то ему больше пристало быть, нежели поэтом...

Взбадривая себя табаком и тминной, Сумароков всю ночь просидел над Наказом.

Екатерина, просматривая докладную записку Сумарокова, гневалась. Подчеркнув то место, где Сумароков особо сильно противоречил его мыслям, Екатерина сбоку написала: «Господин Сумароков хороший поэт, но слишком скоро думает, чтобы быть хорошим законодавцем. Он связи хорошей в мыслях не имеет, чтобы критиковать цель». По поводу какого-то параграфа Сумароков написал: «Для краткости времени без всякого возражения мною оставлен». Екатерина иронически добавила: «Потери в том нету».

Но и помимо Сумарокова Наказ был достаточно пощипан вельможными персонами, «вельми разномыслящими». Дворяне-крепостники, будто сговорившись, в один голос трубили Екатерине:

— Государыня! Не совершайте столь рискованного шага. Крепостное право освящено церковью и богом. Связанный раб покорен, освобожденный страшен. Он страшен и для помещиков, и для вас, государыня, и для спокойствия империи вашего величества. Ведь тогда вся русская земля содрогнется, устои всколеблются, храмина здания государственного рушится, и мы все погибнем... А ныне — все ко благополучию в империи вашей совершается, достаток крепостных крестьян год от году множится, помещики тщатся елико возможно рачительно опекать их. И, благодарение богу, крестьяне с похвальной любовию относятся к своим помещикам, почитая их за отцов...

— И бывает, — иронически прищурившись, подала свой голос Екатерина, — бывает, что крестьяне любимых помещиков немножечко зарезывают...

Подобные разговоры приводили Екатерину в радость. Под давлением крепостников Екатерина притворялась невинной жертвой и делала вид, что ее запугали.

Впрочем, тут происходила обоюдная игра. Крепостники-помещики считали Наказ мыльным пузырем, пустыми литературными упражнениями царицы, — они знали, что столь умная женщина, как Екатерина, никогда не осмелится уничтожить крепостное право, так как это в первую голову грозило бы ей гибелью. В то же время Екатерина, выставляя себя в Наказе защитницей крестьян, отлично видела, что помещики в ее искренность ни капельки не верят и, соблюдая лишь придворный этикет, притворяются напуганными ожидаемой с высоты престола реформой.

Наказ пришлось наполовину вымарать. Особенно сильно был урезан вопрос о крепостном праве.

ГЛАВА V

В Грановитой палате

1

С возникновением Вольного экономического общества и с выборами в Большую комиссию для общественной жизни России, казалось, наступила полоса оживления. Как только приспело время выборов, вся Россия, все медвежьи углы ее зашевелились. Устоявшаяся, подобно болоту, сонная и пресная жизнь страны получила острую закваску. Эта положительная сторона внутренней политики Екатерины умалялась тем, что выборы производились под сильным давлением агентов правительства и что в депутаты главным образом выбирались знатные вельможи, состоятельные помещики, купцы, фабриканты, крупные чиновники. Многомиллионное же крепостное крестьянство к участию в Большой комиссии допущено не было.

В Москву съехалось со всей России пятьсот шестьдесят четыре депутата. На долю дворян приходилось сто пятьдесят депутатов, представителей городов — двести, однодворцев, казаков, пахотных солдат — пятьдесят, малых народностей — около пятидесяти.

Из казацких депутатов обращали на себя внимание выправкой и живостью характера сотник Оренбургского войска Падуров и сотник Астраханского войска В. Горский, будущие участники пугачевского движения.

Торжественное открытие Большой комиссии состоялось 30 июля 1767 года в Кремлевском дворце в присутствии императрицы. Она только что возвратилась из приятного путешествия по Волге — от Твери до Казани. В окружении придворных, имея слева от себя великого князя Павла, она стояла на возвышении возле раззолоченного тронного кресла. После речей митрополита Дмитрия Сечёнова (единственного депутата от духовенства), вице-канцлера князя Голицына и генерал-прокурора сената Вяземского, после криков «ура» депутаты допущены были к целованию руки императрицы.

Депутатам загодя было разъяснено, как при этом вести себя. Поднявшись на три ступени трона, депутату надлежало отвесить государыне поясной поклон, затем, опустив руки по швам, учтиво, не борзясь, прикоснуться губами к всемилостивой ручке, снова отвесить поясной поклон и степенно отходить в сторонку. Было также сказано, что те депутаты, кои наелись луку, а наипаче чесноку или приняли малую толику водки, от церемониала целования должны воздержаться, а ежели и у таких будет усердие приблизиться к священной императорской особе, то в таком разе подходящий должен накрепко запереть в себе дыхание.

После подобного напутствия многие убоялись приближаться к матушке.

А вот депутат Оренбургского казачьего войска сотник Тимофей Иванович Падуров не преминул участвовать в придворном церемониале, невзирая на то, что изрядно поутру выпил водки и наелся баранины

с чесноком. Ну да ведь он не кто-нибудь, не пахотный солдат, не однодворец голоштанный, ведь он сотник, сиречь — третий офицерский чин. А чеснок... эка штука! Пущай и государыня нюхает, чем молодцы казацкого рода пахнут. А что ж такое? Он мужчина очень видный, статный, борода обрита, черные усы закручены, чуб вихрастый, лицо круглое, медно-красное, про него все говорят — красавец.

Депутаты подходили к трону вожжой, друг другу в затылок. Шаг за шагом продвигаясь по красному сукну, Падуров глаз не спускал с улыбчивой Екатерины. Он взирал на нее не как на божество, слетевшее с заоблачных высот на землю, а без затей и попросту, как на пригоженькую, с расчудесным личиком боярыню: до женского пола он был шибко падок и кровь имел горячую; недаром в его груди так сильно бьется сердце и таким задорным блеском горят его черные навыкате глаза. Эх, будь это где-нито в укромном месте, облапил бы он мать-государыню за талию и влепил бы в ее розовые губки простецкий, по-казацки, поцелуй.

Пред ним и уж совсем близко, на верхней площадке трона, стояла обворожительная Екатерина. От ее талии ниспадала до земли, подобно золотому, широченному внизу колоколу, парчовая на фижмах роба, чрез высокую грудь шла лента со звездой, на точеной шее горьмя горели драгоценные камни, на припудренных взбитых волосах покоилась небольшая алмазная корона, и на плечи накинута, подобно мантии, из золотой парчи порфира, подбитая горностаевым белоснежным мехом, длинный шлейф ее отброшен к золоченому, с большим двуглавым орлом, креслу. Из-под края парчовой одежды выглядывали маленькие царицыны ножки в золотых туфлях. Московский чеботарь эти туфельки обузил, они сильно беспокоили Екатерину, она ставила то одну, то другую ногу на каблук, носком кверху, торжественное настроение ее с каждой минутой угасало, тонкие брови хмурились, подбородок неприятно выпирал вперед.

«А ручки... — смахнув с лица испарину, мысленно восторгался Падуров. — Боже ж ты мой, какие ручки!.. Белые, как лебединое перо, маленькие, складные... Да никто на свете, ни одна казачка, ни одна барыня столичная не имеет столь нежных ручек». В левой руке Екатерина держала скипетр — такую точеную золотую белендрясинку с небывалой величины бриллиантом на конце, а правую руку торопливо совала в депутатские усы да в бороды для лобызания.

Екатерина подняла на подошедшего Падурова свой взор. Весь содрогнувшись, казак чуть не до земли поклонился волшебному видению и привстал на последнюю ступеньку трона. Глянув с мольбой и упованием в лучистые глаза Екатерины и громко, от всей души выдохнув мужественным голосом: «Дозволь, владычица», — он нагнул шею с сильным загривком и азартно припал горячими губами к ее руке. Своей земляной огромной лапищей, привыкшей останавливать на всем скаку дикого коня, он подхватил эту легкую, как воздух, ручку и трижды чмокнул ее взасос столь гулко и напористо, что стоявший слева от императрицы князь Вяземский сердито, как гусь, зашипел на казака, а миниатюрная Екатерина, удивленно уставясь в склонившееся к ее руке воинственное лицо дюжего детины, изволила вместо гнева всемилостивейше улыбнуться.

Чрез каких-нибудь семь лет эта маленькая, легкая, как воздух, ручка подпишет жесточайшую сентенцию, по которой депутат Большой комиссии Тимофей Иванович Падуров за участие в великом пугачевском мятеже будет предан смертной казни.

2

Несколько дней спустя начались деловые заседания Комиссии. Председателем, или маршалом, заседаний, был избран костромской депутат, герой прусской войны, А. И. Бибиков. Ему был вручен маршальский жезл.

Грановитая палата, где проходили заседания, напоминала древний храм. Крестовые своды, подпертые могучими, четырехугольного сечения столбами, украшены яркой живописью религиозного содержания. Стены обиты красным сукном. Ребра сводов и вспарушенные части столбов обделаны блестящей бронзой. Двери взяты в позлащенную искусную резьбу с пилястрами и высокими кокошниками. С потолка спускаются пышные, итальянской работы люстры. Широкие, поддерживающие потолок столбы от основания до верха охвачены витринами, уставленными старинной из литого золота с драгоценными камнями утварью и чеканной серебряной посудой. Все эти богатства царей московских горят и блещут. Глаза депутатов разбегаются при виде этих сокровищ.

У стены, против главного входа, на возвышении — стол, покрытый красным бархатом с золотой бахромой. За столом — маршал Бибиков, Вяземский и директор Комиссии Шувалов. В первых рядах митрополит Дмитрий Сеченов в темно-синей мантии, в белом клобуке с бриллиантовым крестом, с золоченым жезлом в руке, князь Волконский, граф Алексей Орлов — богатырского вида, с большим шрамом на щеке, военный генерал граф Петр Панин, граф Строганов, князь Щербатов и другие. Здесь все блестит, играет красками: богатые кафтаны с золотым шитьем, красные или голубые чрез плечо ленты, большие лучистые звезды на груди, пышные, белоснежные, в буклях парики, холеные, то высокомерные, то ласковые лица.

Дальше идут депутаты попроще: мелкое дворянство, офицеры, торговое сословие, ремесленники, казаки, пахотные солдаты, представители малых народностей в своих пестрых халатах. В петлице у каждого депутата на золотой цепочке золотой овальный депутатский знак, на одной стороне его вензель императрицы, на другой надпись: «Блаженство каждого и всех».

Возле депутатских скамей и возле маршальского стола — высокие аналои, за которыми секретари ведут

протоколы заседаний, передают маршалу письменные заявления депутатов.

Виднейшим секретарем Комиссии был знаменитый впоследствии Николай Иванович Новиков. Мы видели его в роли восемнадцатилетнего рядового солдата, когда он, пять лет тому назад, в день дворцового переворота стоял на часах у ворот Измайловского полка и ружейным артикулом приветствовал приехавшую к измайловцам Екатерину. А ныне, по должности секретаря Большой комиссии, ему было поручено ведение протоколов седьмого отделения Комиссии о «среднем роде людей», а также он вел журналы общего собрания депутатов для личного доклада императрице. Это ему дало возможность бывать в обществе Бибикова, во дворце и принимать участие в деловых разговорах с Екатериной. Она, с обычной для нее проницательностью, оценила его способности, остроту и прогрессивный характер его суждений и хорошо запомнила этого серьезного молодого человека, нимало не догадываясь, что он впоследствии испортит ей много крови.

Жарко, душно. Депутаты отирают потные лица платками или полами халатов. Сидевший в заднем ряду огромный краснощекий калмык в малиновом халате по забывчивости вынул трубку и стал ее раскуривать. Подошедший пристав ткнул его в брюхо тростью и погрозил пальцем.

Всякий раз, как только маршал подымался на ступеньки помоста, чтоб открыть очередное заседание, сотник Тимофей Падуров с волнением ждал появления императрицы. Но вот уже наступило седьмое заседание, императрица не появлялась. Разочарованный Падуров хмурился и раздраженно сквозь усы бросал: «Эхма...» Рядом с ним — сотник Горский. Они переглядываются и, уставившись на какого-то плешивого оратора, начинают без всякой охоты рассеянно слушать очередную дворянскую гугню...

— ...крестьяне Каргопольского уезда ленивы, упорны и пьяницы... — монотонно, с выкриками на

некоторых фразах битый час читал по бумаге свою речь депутат от дворян Глазов.

— Как, как? — обернулся к депутату, громогласно крикнув с передней скамьи, депутат Санкт-Петербурга, граф Алексей Орлов. — Ты не выражайся этак-то!

За столом вскочил маршал Бибиков, зазвонил в звонок, велел депутату прекратить чтение речи. В зале — движение, одобрительный шепот.

— Господа депутаты! — обратился маршал к собранию. — Депутат дворянин Глазов допустил недозволенное оскорбление каргопольских крестьян, представитель коих здесь присутствует, обозвав их ленивыми, упорными и пьяницами. Сии слова звучат обидно для всякого человеческого звания, для крестьянского сословия такожде, ибо и в крестьянском сословии существуют добродетели и благородные чувства. Господа депутаты, что с депутатом от дворян Глазовым следует учинить?

— Исключить из собрания, — гулким басом сказал Алексей Орлов.

— Штрафом обложить.

Путем двойной баллотировки оказалось — сто пять голосов за исключение, триста двадцать три — за штраф.

В повестке дня была речь знаменитого оратора, высокообразованного, но довольно консервативного писателя-историографа князя Щербатова[1]. Принадлежа к высшему кругу фамильной аристократии[2], он никогда царедворцем не был и Екатерину недолюбливал. Избранный от дворян Ярославского уезда, он являлся горячим защитником своих сословных интересов.

Когда по приглашению Бибикова он поднялся с места, высокий, статный, изысканно одетый, с лицом

---

[1] Пользуясь советами знаменитого историка Миллера, он в это время писал огромный труд «История Российская».

[2] М. М. Щербатов принадлежал к древнейшей на Руси фамилии, ведущей род свой от князя Михаила Черниговского. Его предки были при Иване Грозном «окольничими» и «ближними боярами».

энергичным, но надменным, все с нескрываемым любопытством обернулись в его сторону, как бы приготовясь слушать в театре великого актера.

Охорашиваясь и дав время полюбоваться собой, князь начал с того, что объявил поход против всяких там офицеров да приказных разночинцев, которые за выслугу лет «из грязи лезут в князи». По его мнению, дворянин лишь тот, кто происходит от доблестных предков.

— Такого истинного дворянина при самом его рождении святое отечество наше принимает в свои объятия и как бы говорит ему: ты родился от добродетельных предков, поэтому ты более, чем другие, должен показать мне и твою добродетель, и твое усердие... Рожденный в таких условиях, воспитанный в таких мыслях человек при воспоминании о делах своих славных предков будет побуждаем ко всяким великим подвигам...

Скрестив руки на груди и окидывая надменным взглядом всех тех, кто не родовит и не знатен, он в подтверждение своих риторически построенных рассуждений стал приводить цитаты из древнего римского писателя Варрона и из знаменитого законника барона Пуффендорфа, который писал: «Чины сами собой не дают дворянства, но государь дает титул дворянину, кому заблагорассудит».

Возвеличивая родовитую аристократию и еще более унижая служилое офицерство, Щербатов говорит:

— Осмелюсь еще присовокупить, что всякий разночинец, дабы дослужиться до офицерского чина, не откажется льстить страстям своего начальника и употреблять другие низкие способы для снискания его благоволения. Достигши до офицерского чина, эти люди уже обуреваемы желанием приобрести себе имение, они не брезгуют никакими путями для достижения желанного конца. Оттого порождаются мздоимство, хищение и всякое подобное тому зло.

Князь достает бумагу и зачитывает пункты своих выводов:

— Итак, первое: дабы никто из разночинцев в право дворянское не мог вступать, как по единой монаршей власти. Второе: дворяне имеют преимущественное пред другими званиями право служить отечеству с тем, чтобы им определена была особая милость. Третье: нахожу полезным предоставить *одному дворянскому сословию* иметь фабрики и горные заводы, равно и продавать как свои домашние произведения, так и другие...

— Ишь ты! — кто-то крикнул с места. — А мы-то, купцы-то, как же?

Его речь[1] все время сопровождалась то неодобрительным шепотом, то раздражительными выкриками. Особенно волновались представители военного сословия.

Депутаты расходились по квартирам в горячих разговорах. Группа купцов, пересекая Кремлевскую площадь, громко осуждала речь Щербатова.

— Ха! Ишь ты, ишь ты... Офицеры — не дворяне, — кипятился депутат Рыбинска, купец Алексей Попов. Он широк, косолап, рыжая с проседью густая борода, хохлатые брови, умный взгляд; армяк английского сукна, длинные начищенные сапоги, картуз. — Ха! Офицеры — не дворяне. Как бы да не так! Да у меня вот дочерь за офицера выдана. Дворянка она али не дворянка?

— Дворянка, дворянка, Лексей Петрович! Не сумлевайся, — хором подхватили купцы, поспевая за легким на ногу Поповым.

— То-то что дворянка. И не князю Щербатову из дворянства ее вышвырнуть. А слышь, ха! Слышь, почтенные, как он насчет торгового-то сословия отозвался... Торговать, мол, одним столбовым дворянам... Ха! Ох, и прохвачу я, почтенные, князя этого с песочком.

И в другой, мелкодворянской, группе военного сословия, вышедшей на Красную площадь чрез

[1] Все речи депутатов приводятся в самых кратких извлечениях.

Никольские ворота, тоже со страстностью обсуждалась речь князя.

— Слишком много о себе думает этот зазнавшийся барин, — говорил депутат Днепровского пикинерского полка, майор Козельский. — Хоть и знатен он, хоть и красноречием обладает отменным, только не ему рушить установления Петра Великого, даровавшего права дворянства каждому офицеру, — будь он из простых солдат, будь из мужиков, все едино... Вот я, офицер. Я кровь свою за отечество проливал и впредь не уклонюсь проливать. А он что?

— Он гисторические книги пишет.

— Пиши, что хочешь пиши, только служилое дворянство оскорблять не смей. Я и сам пишу и смею полагать, что не хуже его владею пером и мыслью, — раздраженно говорил майор, потуже перетягивая вокруг талии пышный офицерский шарф.

И купец Попов, приютившийся в доме знакомого священника, и майор Козельский, снявший номер в трактире на Остоженке, стали готовить «отпорные» речи на взволновавшую их речь Щербатова.

На Красной площади всегда толпились любопытные, подстерегавшие выход депутатов из Кремля. Это главным образом — господские дворовые, каковых в Москве было более шестидесяти тысяч, либо мелкие торговые люди, крестьяне, ремесленники, служилая приказная мелкота. Они крадучись шли за кучками депутатов, жадно вслушиваясь в каждое их слово, или, выбрав депутата попроще и поприветливей, кланялись ему и вступали с ним в разговоры по душам.

— А скажите, ваша честь, — вежливо начинал низенький с оттопыренными ушами старичок в рыжем колпаке и заплатанной ливрее, — как там насчет крестьянства, ничего не чутко еще?

— Не чутко, брат, не чутко. Покамест дворяне козыряют. Опосля их купечество начнет свои нужды выкладать, а тут уж дойдет черед и до крестьян. Любопытствуешь, старик?

— А то как же, ваша честь!.. К нам из деревень кажинный божий праздник ездят, то индюков тащат, то поросят да уток. Ну, и лестно им дознать, как, мол, Комиссия, чего про мужиков депутаты бают? А сам-то я господ Мельгуновых дворовый человек.

И уже возле депутата добрая дюжина крестьян — кто в лаптях, кто босиком, у иных пилы, топоры. Лица их угрюмы, движения порывисты, нетерпеливы.

— А муташка-царица-то бывает ли на собраниях на ваших? — звучит вопрос, и все взоры влипли депутату в рот.

— То-то, что не появляется, — отвечает депутат.

Крестьяне причмокивают, неодобрительно крутят бородами.

— Слых был, — басит пегобородый великан с большим мешком на загорбке, — быдто бы государыня-то за мужика стоит, волю дать хочет, а дворяны перечат ей...

— Не знаю, почтенный человек, не знаю, — уклончиво отвечает депутат и скрывается в дверях трактира на Ильинке с вывеской «Добро пожаловать».

Крестьяне останавливаются, чешут в затылках. Пегобородый сбрасывает мешок наземь, садится возле трактира на широкую скамью, басисто говорит:

— Надо к Маслову иттить, — он свой человек, хошь и дворянин, а свой...

— Я его знаю, — тенорком выкрикивает дворовый с оттопыренными ушами, — он бедней другого мужика, этот самый Маслов. А за мужика горой! Я-то ведь многих знаю. Взять офицера Козельского. Евоный денщик, краснорожий такой, мордастый, то и дело к нам на кухню бегает, с девками игру ведет, а те, кобылы, рады. Он сказывал, быдто офицер Козельский дюже-де крепко за мужика стоит.

— Вот и пойдемте, ребяты, к нему да к Маслову, нуждишки свои обскажем... — раздались голоса.

— А чего ж, — пойдемте... К ним туды народу нашенского густо валит...

— Да добрых-то депутатов наберется немало... Сказывали, тут еще другой офицер-вояка, вот только прозвище забыл.

На следующем заседании с отповедью князю выступил высокообразованный, угрюмый видом офицер Я. П. Козельский[1]. Он в зеленом мундире, в ботфортах; простое широкоскулое лицо его в следах оспы, брови хмуро сдвинуты.

— Как многотрудна военная служба во флоте и как тяжела она в сухопутной армии, я не стану объяснять, ибо предмет этот слишком обширен, — начал он. — Многие князья и сановники, может быть, этого и не знают, так им могут рассказать ратные люди, там послужившие, о тех неимоверных трудах, которые они понесли в турецких и прусских походах, претерпевая раны и даже лишаяся жизни.

Князь Щербатов слушал речь Козельского, закрыв глаза, будто дремал.

— И мысль, высказанная здесь некоторыми депутатами, — продолжал Козельский, — скорее может быть отнесена к их безграничному самолюбию. Они желают, чтобы им одним пользоваться дворянством. Да, да!.. Только им одним... (Князь Щербатов вдруг открыл глаза и вскинул голову в сторону оратора.) А прочих, какого бы они достоинства, чести и верности своему монарху и отечеству ни были, лишить этого преимущества навсегда...

— Так и надо, — резко бросил Щербатов.

— Нет, так не надо, ваше сиятельство! — с гордостью проговорил Козельский. — Надо стараться, ваше сиятельство, взаимно делать друг другу добро, сколько это возможно.

По всей палате одобрительные загудели голоса, а веки князя Щербатова снова пренебрежительно смежились.

Депутат Терского семейного войска, полковник Миронов, коренастый человек с насмешливыми глазами и темной бородой, в своей страстной речи между

---

[1] Человек высокой культуры, переводчик, публицист, философ; он выпустил в 1768 году книгу «Философические предложения», — пронизанную духом свободной критической мысли.

прочим сказал неотразимую, обидную для родовых дворян истину:

— Достоинство дворян не рождается от природы, но приобретается заслугами своему отечеству. Могут ли господа российские дворяне сказать о своих предках, что все они родились от дворян? Нет, господа великие дворяне, ваши предки были изначала тоже незнатного происхождения: либо мужики, либо простые люди посадские.

Настроение подогревалось. Князь Щербатов ожил, скорчил на припудренном лице презрительную гримасу. И как только казачий полковник Миронов кончил, князь поднялся.

— Прошу покорно разрешения достопочтенного нашего маршала начать мне.

— Ваше сиятельство, князь Михайло Михайлыч, — сказал, приподнявшись, Бибиков. — Прошу вас свое мнение высказать.

Снова все взоры приковались к стоявшему, подобно изваянию, князю Щербатову. Он начал взволнованно, дрожащим голосом, «с крайним движением духа»:

— Нам было только что сказано, что все древние российские фамилии произошли от низких предков. Весьма удивляюсь, что эти господа депутаты укоряют подлым началом древние российские родословные, тогда как не только одна Россия, — князь вскинул руку и потряс ею в воздухе, — но и вся вселенная может быть свидетелем противного! — Голос князя вознесся и загремел на всю Грановитую палату: — Как может собранная ныне в лице своих депутатов Россия слышать нарекания подлости на такие роды, которые в непрерывном течении многих веков оказали ей свои услуги? Как не вспомнит Россия пролитую кровь сих почтеннейших мужей? — Князь простер вперед трепещущие руки, запрокинул голову в припудренных буклях и, уставясь взором в крестовые своды палаты, стал извергать из уст своих потоки живописных слов. — Будь мне свидетелем, дражайшее отечество, в услугах, тебе оказанных верными своими сынами — дворянами древних фамилий! Вы

будьте мне свидетели, самые те места, где мы для нашего благополучия собраны! Не вы ли обретались во власти хищных рук? Вы, божественные храмы, не были ли посрамлены от иноверцев? Кто же в гибели твоей, Россия, подал тебе руку помощи? То верные чада твои, древние российские дворяне. Они, они, оставя все и жертвуя своей жизнью, они тебя освободили от чуждого ига, они приобрели тебе прежнюю вольность! — Он обернулся назад, посмотрел во все стороны, как бы отыскивая взором всех не согласных с ним, и закончил: — Но потомки древних родов не затворяют надменностью врата для доблести, а хотят, чтобы желающие войти к ним в собратство удостоились того добродетелью, которую сам монарх увенчал бы дворянским званием. — Он кивнул головой и, откинув фалды кафтана рытого бархата, сел.

Депутаты, взволнованные и ошеломленные красноречием князя Щербатова, недвижно сидели в тех же застывших позах, в каких они слушали речь.

Так, со словесным шумом протекала «великая пря» между крупными вельможными дворянами и дворянами мелкими, служилыми. Дворянскому вопросу было отдано десять заседаний.

Потом на арену общественного словопрения выступил торговый и промышленный класс.

На одном из осенних заседаний произносит речь умный купец Рыбной слободы[1] Попов:

— Ныне господа дворяне домогаются, чтобы купцам запрещено было иметь всякие фабрики да горные заводы, которые устроены купцами на их собственные капиталы, и чтоб фабрики и заводы принадлежали только одним дворянам. Сие, господа депутаты, я называю помешательством, сиречь — затемнением умов фамильного просвещенного дворянства!.. — Хохлатые брови его задвигались, на мясистых щеках показались смешливые ямочки, а тенористый голос стал резок, язвителен. — И вот вам наглядная разница.

[1] Город Рыбинск.

Ежели строит фабрику купец, то окрестные крестьяне от нее всякое удовольствие имеют — продают лес, камень, доски, нанимаются за добрую плату на постройку, а когда фабрика открыта, идут работать за порядочные деньги. Ну, ежели барин строит фабрику, — крестьяне должны с плачем да с воплем доставлять ему все материалы задаром и служить ему на этой фабрике всю жизнь безденежно, и единое поощрительство сим бедным — тумаки да плети...

Так, во взаимных обличениях представителей противоположных интересов проступала правда о тяжелой судьбе раба-крестьянина.

— Господа депутаты! — восклицает купец Попов, окидывая умным взором всю Грановитую палату. — Ежели сия несуразица, которую выставляют фамильные столбовые дворяне, будет утверждена законом, вся отечественная коммерция придет в упадок и разорение.

Заключая речь, он приводит по пунктам свое мнение. В пятом и шестом пунктах говорится:

— Дворянину не позволять торговать и ни у кого не покупать купеческое право. Владеть фабриками и разными коммерческими промыслами дворянам, по их званию, несвойственно и непристойно... (На губах князя Щербатова заиграла улыбка, но глаза стали напряженны, злы.) И ежели кто из дворян вступит в торговый промысел, — продолжал купец Попов, рубя ладонью воздух, — то есть будет перекупать и продавать, то все перекупное конфисковать в казну!

Графы Шувалов, Воронцов, Ягужинский и другие, имевшие горные заводы и весьма склонные к коммерческим делам, злобно уставились на Попова, а Ягужинский не без ехидства, громко сказал:

— Ого! Новый законодавец в чуйке...

Однако купец был не из трусливых, он насквозь видел ничего не смыслящих в коммерции, бездарных вельмож, кои, под покровительством императрицы, алчно тянутся к несвойственным им источникам наживы, чтоб чрез меру роскошествовать и сорить добытыми без труда капиталами. Купец люто ненавидел их.

— Это не токмо мое мнение, господа великие дворяне, но такожде думает и все почтенное купечество, доверившее мне свой голос. Уж не прогневайтесь, — спокойно произнес он. — И уж к слову молвлю: нам, природным купцам, мешают заниматься отечественной промышленностью и не токмо дворяне, но и разночинцы, но и крестьяне. И мы, купцы, в наказе постановили: те из крестьян и разночинцев, кои пожелают пользоваться купеческим правом, должны записаться в купечество навечно.

Поднялся купец Забрев и начал читать наказ тульского купечества. Он высок и тощ, личико маленькое, голое, волосы на прямой пробор свисают к ушам крышей, голос пискливый. Слушая его, депутаты улыбались. Тульские купцы просили разрешения покупать им «для домовых нужд крепостных безземельных людей — по три человека мужеска пола, а женска — по препорции числа оного». Со стороны купцов были просьбы и курьезные, вызвавшие веселые ухмылки и даже смех собрания. Забрев, покашливая, пискливо читал:

— «За бой и бесчестие купца штраф повелеть умножить. И именно: ежели в драке вырвут бороду купцу первой гильдии — штраф сто рублей, за бороду второй гильдии — пятьдесят рублей, а за бороду третьей гильдии — тридцать два рубля с полтиной».

Граф Алексей Орлов при этих словах схватился за бока, запрокинул голову и, округлив рот, сначала, как в страшном удушье, засипел, затем, не в силах сдержаться, раскатился басистым хохотом. Маршал, улыбаясь глазами, схватил звонок и предостерегающе зазвонил.

Между тем в переднем ряде кресел поднялся все тот же князь Щербатов. Указав на стремление Петра Великого привести внешнюю торговлю России в цветущее состояние, князь загремел в сторону купцов:

— Отвечали ль купцы таким попеченьям? Учредили ль они конторы в других государствах? Посылали ль они своих детей за границу учиться торговле? Нет! Они ничего этого не сделали.

Наряду с эффектными фразами полемического порядка князь Щербатов высказал и немало трезвых либеральных мыслей.

— Если мы рассмотрим самое употребление и жизнь фабричных работников, то увидим, что, кроме небольшого числа мастеров, которые, для того чтобы они не показывали своего искусства посторонним, содержатся у купцов как невольники, кроме, говорю, этих мастеров, прочие работники находятся в весьма худом состоянии как относительно их содержания, так и нравственности. Самый этот столичный город Москва может свидетельствовать о пьянстве, о распутном состоянии людей, оставленных без всякого попечения о нравственной их стороне. А посему... — Князь сделал паузу и, набрав в легкие воздуха, громогласно закончил: — Надлежало бы внушить фабрикантам, чтоб они своих работников мало-помалу старались делать вольными за хорошее поведение и за лучшее знание искусства. — С особой силой Щербатов обрушился на тульских купцов за их притязания покупать для себя крепостных: — Обратим взоры наши на человечество и устыдимся об одном помышлении дойти до такой суровости, чтобы равный нам по природе сравнен был со скотом и поодиночке был продаваем. Древние времена приводят нас в ужас, когда вспомним, что людей, как скотину, на торгах продавали.

— И поныне за милую душу продают! — крикнул, сверкая глазами, сотник Падуров.

— Сему не верю, — обернулся князь к говорившему. — Где доказательства?

— Князь! Почитайте объявления в газетах о продаже людей, — выкрикнул казачий полковник Миронов.

Князь Щербатов, капризно наморщив высокий лоб, согласно кивнул головой Миронову и с еще большим воодушевлением продолжал:

— Разность случая возвела нас на степень властителей над крестьянами, однако мы не должны забывать, господа депутаты, что и они суть равные нам

создания. — Он облизнул пересохшие губы и с пафосом воскликнул: — Какое сердце не тронется, глядя на истекающие слезы несчастного проданного, оставляющего и место своего жилища, и тех, кем рожден и с кем привык всегда жить! Кто не сжалится на вопль, на слезы остающихся? Я не сомневаюсь, господа депутаты, что почтенная Комиссия наша узаконит запрещение продавать людей поодиночке, без земли [1].

С возражением князю Щербатову дружно выступили купцы, они горячо защищали свои интересы, однако ни один из них не был столь красноречив, как он, и никто не располагал таким запасом всевозможнейших коммерческих сведений.

Во время перерыва заседания купец Солодовников, депутат города Тихвина, потряхивая длинной бородой, сказал князю Щербатову:

— Ты, князюшка, хоть и многонько лишнего говоришь по своей горячности, зато много и правды про нашего брата. С тобой спор вести трудно, потому как ты, ваше сиятельство, разумными рассуждениями отменно одарен от бога.

Князь Щербатов в ответ схватил купца в охапку и простодушно трижды поцеловал его. Оказанной при всем народе такою честью долгобородый купец немало смутился, он не знал от радости, что делать, и не изыскал ничего более лучшего, как всыпать в треугольную с плюмажем шляпу князя Щербатова пригоршню каленых орехов, которые очень любил и всегда таскал с собой.

Прения по вопросам торговли и промышленности затянулись на несколько заседаний. Это была борьба сословных притязаний, стремление двух наиболее многочисленных депутатских групп — дворянства и купечества — «отграничиться друг от друга с наибольшей выгодой каждого за счет другого».

---

[1] Продажа крестьян без земли практиковалась в продолжение всего царствования Екатерины II.

Екатерина, живущая в Головинском дворце за Яузой, чрез доклады Бибикова и других была точно осведомлена о всем происходящем в Грановитой палате. Она направляла ход заседаний в нужное ей русло и не раз высказывала Бибикову явное неудовольствие к речам князя Щербатова, к которому издавна относилась с неприязнью.

Недовольна она была и самим Бибиковым, превосходным воякой, но незадачливым и неумелым руководителем депутатских заседаний. Он нередко путал ведение дел, усложнял простые вопросы, а вопросы сложные непозволительно комкал: то зря придирался к депутатам, требуя от них, как от школьников, степенного поведения и тишины, то чрезмерно распускал вожжи.

Живя в Москве, Екатерина занималась сложными делами империи. Так, в начале 1768 года ее указами был учрежден государственный ассигнационный банк и, впервые в России, выпущены бумажные деньги. Это важное мероприятие, разработанное при участии Вольного экономического общества, послужило большим подспорьем торговле и промышленности.

В том же году введено обязательное для всей страны оспопрививание. Натуральная оспа причиняла России большие бедствия. Темное население даже столичных городов упорствовало в прививке оспы, считая надрезы на руке печатью антихриста. Екатерина, показав пример другим и вопреки уговорам Григория Орлова не делать этого, первая привила себе оспенный яд.

Екатерину немало тревожило настроение умов крестьянской массы в связи с протекающей работой Большой комиссии. Она получила много подметных анонимных писем. Изливая в них всяческую покорность и любовь к императрице, крестьяне спрашивали ее, когда же депутаты приступят к мужичьим делам, — вот уж полгода прошло, а ни земли, ни воли крестьянам-де не дают. И ежели матушку в этих делах теснят великие баре да помещики, то пускай-де

матушка только пресветлым оком поведет, а уж они, крестьяне, с дворянами-то рассчитаться всегда рады. Иные же письма содержали в себе явную угрозу по адресу самой Екатерины: мы-де надеялись на тебя, как на свою защиту, как на стену нерушимую, только по всему видать, что ты-де стакнулась со дворянами.

Екатерина строго-настрого приказала держать самое тщательное наблюдение за проживавшими в Москве крестьянами, болтунов схватывать, а праздношатающихся выдворять вон. Григорий Орлов ей нашептывал:

— Вот, матушка Катенька, заварила ты кашу на свою голову с Наказом со своим да с Комиссией-то с этой. Наобещала в Наказе-то мужикам с три короба, вот теперь и расхлебывай.

— Все сумнительное в Наказе вымарано, — возражала Екатерина.

— Оно так, матушка, вымарано. Только ты ведь два года его сочинять изволила, а молва-то шла. Ты думаешь, что такие Сумароковы да братцы Панины не трепали языком? Трепачи первые... Они, матушка, радехоньки живьем тебя скушать. Вот, помяни мое слово, бунты пойдут.

Екатерина уже не рада была своей затее с Наказом и Комиссией. И стала изыскивать благовидный предлог к скорейшему прекращению своих широких, но бесплодных начинаний.

Во внутренних губерниях было снова неспокойно. После открытия Большой комиссии крестьянские волнения прекратились, народ терпеливо стал ожидать улучшения своей участи, однако, потеряв надежду, озлобленное крестьянство опять стало выходить из повиновения помещикам, иногда прибегая к самой последней крайности — убийству своих господ.

Сенат доносил Екатерине, что повсеместно расплодилось множество воров, бродяг, разбойников и что в приволжских губерниях стало опасно передвигаться без охраны.

Наличию разбойничьих шаек удивляться не приходится: разбойники сами собой из недр земли не по-

являлись, их плодили своими действиями сами же помещики. Но великому удивлению подобно то обстоятельство, что в самом центре Москвы, под носом у местных властей и на виду у всего московского народа, вот уже семь лет безнаказанно существовал в своей берлоге самый кровавый, самый отъявленный разбойник.

Злодеяния этого разбойника были хорошо известны российскому правительству и самой Екатерине.

Имя и звание этого разбойника — знатная помещица Дарья Николаевна Салтыкова, а в просторечье — «Салтычиха-людоедка».

ГЛАВА VI

Мучительница и душегубица [1]

1

Владетельница многих деревень, она жила в собственных палатах на углу Кузнецкого моста и Лубянки, убийства совершала либо в этом доме, либо в своем подмосковном сельце Троицком, где проводила летние месяцы.

Овдовев в 1756 году и имея двадцать пять лет от роду, она делается полноправной хозяйкой и начинает терзать своих подданных. Она истязала людей не ради каких-либо страшных с их стороны преступлений, а за самые пустячные проступки: то женщины якобы плохо вымоют пол, то не чисто выстирают белье или грубовато ответят помещице.

Был у нее конюх Ермолай Ильин. Она убила у него жену. Он женился во второй раз. Она убила и вторую жену его. Спустя время он женился в третий

---

[1] Все сведения в этой главе о злодеяниях Дарьи Салтыковой взяты из официальных того времени источников.

раз. Салтычиха собственноручно — скалкою и поленом — убила и третью жену его Федосью.

Это убийство произошло в Москве, священник хоронить Федосью отказался, Салтычиха велела везти тело в сельцо Троицкое и там закопать. А мужу убитой пригрозила:

— Ты хоть и в донос на меня пойдешь, — знаю, голубчик, знаю! — только ничего не сыщешь. В сыскном приказе тебя кнутом выдерут и на каторгу сошлют.

Ездила разбойница на богомолье в Киев. На возвратном пути остановилась в одном из своих имений — Вокшине, где и убила девку свою Марью Петрову. Сначала якобы за нечисто вымытые полы Салтычиха принялась бить Марью тяжелою скалкою. Натешившись, приказала гайдуку Богомолову драть ее езжалым кнутом. Затем измученную девушку загнали в пруд, а был ноябрь, вода с краев в пруду подмерзала. Обезумевшая, с полчаса простояла несчастная в ледяной воде по горло. Салтыкова приказала ей снова перемыть полы, но Марья работать уже не могла, а только тряслась и стонала. Разбойница добила ее палкой с гвоздями. Марья тут же в хоромах испустила к вечеру дух.

В разные сроки и в разных местах — то в Москве, то в Троицком — были таким же образом убиты еще шесть девушек; младшей из них, Паше Никитиной, всего двенадцать лет.

Замужнюю Прасковью Ларионову Салтычиха собственноручно била железною клюкою и поленом, а гайдук с конюхом добивали батожьем. Барыня кричала из окна:

— Бейте до смерти!.. Я в ответе. Хоть от вотчин своих отстать готова, а вас вышколю! Никто ничего сделать мне не может...

Тело замученной, прикрыв рогожей, повезли из Москвы в Троицкое; на тело, по приказу Салтыковой, положили грудного ребенка убитой; дорогой ребенок замерз на трупе матери.

Так же зверски были изничтожаемы и мужчины.

2

Зимний вечер, небо шершавое, низкое, серое. Начинал пошаливать поземок, предвестник вьюги.

В старомодном возке подкатила к своему дому Дарья Салтыкова, возвратившись от всенощной из Успенского кремлевского собора. Прибежавшая дворня повалилась ей в ноги:

— С наступающим праздничком, матушка-барыня!

Она в ответ только фыркнула и, сплюнув в сугроб, вступила в хоромы. Девки, едва дыша от страха, бросились снимать с нее соболий салоп, бегали по горницам со свечами, зажигали люстры, канделябры. Печи крепко натоплены, цветные дорожки постланы гладко, птички в клетках спят.

Кормилица Василиса да спальная девушка Аксинья повели ее под руки к накрытому у печки чайному столу, где мурлыкал и пофыркивал серебряный самовар.

Дарья Николаевна, тряхнув локтями и грубо бросив женщинам: «Дуры!» — вырвалась из их рук, тяжелой ныряющей походкой приблизилась к переднему углу и стала истово креститься на большую позлащенную икону, пред которой мерцали три лампады, освещавшие сутулую, раздобревшую фигуру Салтычихи. Ей всего тридцать лет, но на вид она много старше. Выражение темного скуластого лица ее злое, отталкивающее. Влажный рот велик, нос горбат, глаза выпучены. Под кружевным чепцом копна черных волос, над вздернутой губой — небольшие усы. Всякий в доме знает, что она никогда не улыбается. Она почти ни с кем не водит компании, любит водку, но пьет ее в мрачном одиночестве. Взор ее по часам задумчив, — и тогда живая мысль в нем отсутствует, — или грозен и яростен, тогда зрачки расширяются, глаза полны бешенства, всем слугам становится страшно.

В этом проклятом доме никто не видит себе покоя. Все чувствуют себя бесправными, беззащитными, приговоренными к смерти, всяк ждет своей очереди. Были случаи, что из страха перед ожидаемыми истязаниями иные лишались рассудка, — кончали с собой,

— Господи, прости меня, грешницу, — говорит «благочестивая» Салтычиха и крестится.

Крестятся и стоящие сзади нее Василиса с Аксиньей.

Сделав пред иконой земной поклон и припав лбом к полу, Салтычиха вдруг заорала:

— Пол! Ах, дьяволы... Опять, опять погано вымыли... Вот я ж их!..

— Бабы дресвой мыли, матушка-барыня, да с мыльцем... Дважды, — робко пытается защитить поломоек пожилая кормилица.

— Молчать! Позвать сюда Хрисанфа.

И вот молодой крестьянин Хрисанф Андреев явился. Он сухощав, лицо белое, с нежным девичьим румянцем, курчавая русая бородка, кроткие глаза. Болезненно развратная Салтычиха склоняла его к блудному греху, но тихий Хрисанф, будучи недавно женатым, от этого «содома» уклонился. Он был приставлен доглядывать за поломойками, соблюдающими чистоту в палатах. Да разве мужское это дело? Эх, барыня, барыня...

Он стоит на коленях пред грозной Салтычихой, испуганно смотрит ей в лицо. В загоревшихся глазах ее нет никакой к нему жалости, в них копится звериное бешенство. Хрисанф холодеет. «Отходили мои ноженьки... смерть...» — в ужасе думает он, и борода его жалко подрагивает.

При виде этого молодого смиренного мужика — очередной жертвы — у богобоязненной матушки-барыни все внутри затряслось.

— Ты чего ж, паскуда, столь нерадиво за бабами досматривал? А? Я что тебе приказала? А?

— Прошибся... Помилуйте... Только что они старались, — сказал он покорным голосом, молитвенно складывая руки на груди. Если б он крикнул на мучительницу, если б вскочил и дал ей в ухо, это, может быть, привело бы разбойницу в чувство. Но пришибленный, тихий вид его и эти телячьи, умоляющие глаза сразу бросили Салтычиху в ярость. Она давно не забавлялась кровавыми утехами, сладострастие вмиг обуяло ее душу. Волчьи глаза ее перекосились,

лохматые брови сдвинулись к переносице, взор помутился. Заскрежетав зубами, она схватила стул и ударила им Хрисанфа по голове. Хрисанф охнул, пал на четвереньки, побелел.

— Аксютка! Живо за Федотом... — выдохнула Салтычиха, сорвала с гвоздя увесистый арапник и сильной рукой стала драть обомлевшего крестьянина. Поднявшись на колени, он только встряхивал локтями и старался уберечь глаза: мучительница лупила арапником куда попало. Вот уже кровь проступила сквозь рубаху, сквозь штаны, и все лицо его было испачкано кровью. Тут Салтычиха, как хищная медведица, навалилась на него, мигом сорвала с него одежду и снова схватилась за окровавленный арапник.

Прибежал бородатый пожилой Федот, родной дядя истязуемого.

— Дядя! Дай защиту, беги в сыскной приказ, — завопил голый, в чем мать родила, Хрисанф, плача и сморкаясь кровью.

— Бей насмерть! — закричала Салтычиха и бросила Федоту арапник.

Федот жалобно, как ребенок, захныкал и, боясь ослушаться, стал стегать племянника.

— Ах, ты мазать, старый черт, ты мазать?! — опять завопила Салтычиха. — Бей что есть силы! А то прикончу и тебя...

— Барыня... — жалобно скосоротился Федот и обронил арапник. — Уволь, матушка, ослобони... Силов нет... Ведь родной он... — Старик, охваченный горем и отчаяньем, стал как бы вне ума, он ползал в ногах у Салтычихи, совал ей нож, хрипел: — На ножик, на, на... Ведь все равно забьешь Хрисанфа, так уж полосни его в сердце ножом... Да и меня заодно... Ой, господи! И заступиться некому. Пропали мы!

Салтычиха, не помня себя, заметалась по горнице, схватила подвернувшийся утюг и ударила им Федота по голове, старик вскрикнул и лишился чувств. Она, закусив губы и выкатив глаза, вновь начала увечить Хрисанфа, норовя ударить его арапником по самым чувствительным местам. Хрисанф вертелся на полу,

на весь дом визжал и выл. Василиса с Аксиньей, истерически всхлипывая, убежали.

Салтычиха, ничего не видя пред собой, кроме своей жертвы, уж не могла остановить себя. Не переставая, она наносила человеку смертельные удары то арапником, то утыканной гвоздями палкой.

Все во дворе и в страшном доме притаилось, будто вымерло. По пустынным горницам шли гулы от падающей мебели, от площадной ругани исступленной Салтычихи, от стонов и выкриков Хрисанфа. Но вот Хрисанф затих и безжизненно распростерся рядом с безмолвным дядей.

Взмокшая от пота, забрызганная кровью Салтычиха подбоченилась, безумно загоготала. Ныряющей походкой она подошла к шкафу, залпом выпила чайную чашку анисовой водки, сплюнула, покосилась на позлащенную с тремя лампадами икону, покосилась на тела замученных, прохрипела:

— А вот я ж вас подыму... Аксютка, Василиска!

Но никто не отзывался, было тихо, в черные стекла била начавшаяся вьюга, в печных трубах ветер завывал.

Тяжело пыхтя, Салтычиха докрасна раскалила на горячих в печке углях железные щипцы и, схватив ими едва живого Хрисанфа за ухо, посадила его. Смрад, дым, Хрисанф ник головой, постанывал, валился. Она обставила его стульями, чтобы не падал, и снова припекла ему лицо клещами. Он уже не мог ни стонать, ни защищаться.

— Разбойница... — еле внятно прошептал он и повалился навзничь.

— Ага, ага, заговорил... А вот я те покажу разбойницу, я те умою... — Она схватила самовар и опрокинула кипяток на голову Хрисанфа. Забыв осторожность, она сильно ошпарила себе руки и ноги, но в припадке бешенства не почувствовала ожогов. Привалившись в угол между стеной и печкой, она запрокинула косматую голову и, как сом на песке, ловила ртом воздух. Мясистая грудь ее задышливо колыхалась, выпученные глаза полузакрыты, с мучительной гримасой на лице она скрюченными пальцами судо-

рожно разрывала на себе ворот платья — разбойнице не хватало воздуху.

Кто-то дважды простонал — племянник или дядя.

Она вдруг вся съежилась, поджала к бокам локти. Колени ее дрожали, она едва держалась на ногах. Сделав над собой последнее усилие, она стремительно кинулась во двор.

— Эй, люди, люди! — дико орала она сквозь снежную метелицу. Очнувшегося Федота она велела приковать в бане на цепь, а едва живого, ослепшего, обваренного кипятком Хрисанфа выбросить на снег.

— Пусть валяется, пока не околеет. Я вам, сволочи! — загрозила она кулаком на дворню. Голос ее был чужой, не такой, как всегда, а надтреснутый, хриплый и, словно у заики, прерывистый.

А как все ушли и в горницах снова стало тихо — только вьюга лизала с улицы темные провалы окон, — она с жадностью выпила еще чашку водки, шатаясь, добралась по стенке до кровати, упала грудью в пуховики и навзрыд заплакала. Ее трясло, корчило, подбрасывало, как в сильнейшей лихорадке.

Вбежали со свечой бледные, перепуганные Василиса и Аксинья.

— Попа, попа... Отца Матвея со крестом... Пущай цирюльник придет... да кровь отворит мне... Молитесь, молитесь пуще... — Она металась, ляскала зубами.

Василиса, мысленно проклиная свирепую разбойницу, стала опрыскивать ее крещенской водой.

8

Такова была помещица Дарья Салтыкова — редкий тип исключительной человеческой жестокости. За семь лет вдовства она успела убить или до смерти замучить сто тридцать восемь человек, главным образом «женок и девок».

Почему же несчастные крепостные люди так безропотно и на протяжении стольких лет переносили разбой своей изуверки-барыни? Ответ прост. На судебном процессе ее крепостные в один голос показали,

что они не смели пикнуть против своей лютой госпожи, так как были ею вконец застращены и всякий час жизни своей чувствовали себя приговоренными к смерти.

Впрочем, и среди них встречались смелые головы. В московский сыскной приказ трижды являлись ее крепостные с жалобой, но так как полицейские власти были Салтычихой подкуплены, то всякий раз дело кончалось тем, что доносителей, якобы за ложный донос, нещадно били кнутом и ссылали на каторгу.

Но вот, летом 1762 года, вскоре после вступления на престол Екатерины II, двум дворовым людям Салтыковой удалось подать прошение в руки самой Екатерины. Доведенные до полного отчаянья, крестьяне писали:

«...Слезно просим ради имени божия высочайшим вашего величества всещедрым матерним защищением помиловать, до конца милосердно не оставить...»

Екатерина приказала арестовать Дарью Салтыкову домашним арестом, юстиц-коллегии (министерству юстиции) приступить к производству следствия.

Однако Салтыкова и бровью не повела, она слепо верила в непобедимую силу взятки.

Следствие тянулось шесть лет. Обвиняемая во всех своих разбоях запиралась, а подкупленные приказные изо всех сил старались даже обелить ее.

Наконец, за дело принялась сама Екатерина. Она лично просмотрела весь следственный материал, нашла Салтычиху во всем виновной и повелела юстиц-коллегии предать ее строгому суду.

Юстиц-коллегия вынесла суровый приговор: отсечь Дарье Салтыковой голову, а тело ее, положив на колесо, выставить на позорище народу.

Вот тут-то Екатерине, успевшей к тому времени перебраться со двором в Петербург, пришлось призадуматься. Она сочла для себя опасным казнить смертию столь видную дворянку, состоявшую по мужу в близком родстве с фамилиями Салтыковых, Строгановых, Головиных, Толстых, Голицыных, Нарышкиных... А вдруг представители этих знатных родов

кровно обидятся и затаят на Екатерину злобу. И она даровала Салтыковой жизнь.

В указе сенату от 2 октября 1768 года, называя Салтычиху уродом человечества и подтверждая, что она есть виновница великого числа душегубства среди своих слуг, что имеет она душу совершенно богоотступную и мучительскую, а сердце развращенное и яростное, Екатерина между прочим повелевала:

«Приказать в Москве вывести ее на площадь и, поставя на эшафот, приковать ее к стоящему на том эшафоте столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами: *«Мучительница и душегубица»*. Когда она выстоит целый час на сем поносительном зрелище... приказать, заключа в железы, отвести оттуда в один из женских московских монастырей и посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой по смерть ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда к ней свету не имела. Пищу ей обыкновенную старческую подавать туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся».

По всей Москве были расклеены публикации о наказании злодейки Салтычихи на Красной площади 18 октября.

На заседании Большой комиссии было оглашено о сем депутатам.

Вся необъятная Москва поднялась с утра на ноги. Было воскресенье, всюду гудел праздничный благовест больших и малых колоколов, густыми хлопьями первый снег валил, грязная, неряшливая Москва стала нарядной, в одночасье побелела и напудрилась. Весело переговариваясь, большими толпами спешил к Красной площади народ.

Два казацких депутата, сотники Горский и Падуров, тоже направились на любопытное «позорище». Оба молодые, усатые, в подбитых лисьим мехом длиннополых чекменях, в остроконечных, заломленных на затылок шапках, они спускались по Тверской, щелкали орехи и, встряхивая длинными чубами, подмигивали краснощеким молодкам.

Швыряясь снежками и получая подзатыльники от старших, бежали крикливыми стайками мальчишки.

На перекрестках красноносые сбитенщики торговали сладким пойлом, черпая его из закутанных ватными одеялами корчаг.

— Дешево, дешево! А вот чашка полушка, с пирогом грош. Налетай, отцы да деды, молодцы да девы!

— Да свежие ль у тебя пироги-то?

— Помилуйте-с... самые свежие, третий день пар валит!..

Вдруг вся улица зашумела:

— Везут, везут! — И народ, подобрав полы, бросился к Кремлю, чтоб скорей занять место поближе к эшафоту.

Проскакал рейтар, за ним другой, третий.

— Дай дорогу! С дороги прочь!

Мутно просерела чрез падучий снег команда спешенных гусар, за ними — шеренга гренадер с четырьмя барабанщиками впереди, а следом, в простых санях-роспусках, — разбойница Салтычиха. Она была одета в белый смертный саван, по обе стороны ее сидели с обнаженными тесаками гренадеры. Народ кричал:

— Людоедка! Убивица! Вот сейчас башку тебе срубят с плеч... Сата-на-а...

Окованная кандалами, как бы ничего не видя и не слыша, Салтычиха сидела в роспусках сгорбившись, угрюмо глядела в землю и лишь на ухабах, когда ее встряхивало, хваталась за коленку гренадера. Тюремщики сказали преступнице, что ей оттяпают голову, она страшилась смертного часа, глаза ее погасли, все в ней приникло, опустилось, замерло.

Красная площадь густо набита народом. Конная и пешая полиция, работая тесаками и нагайками, с трудом проложила для процессии дорогу к эшафоту. Крыши торговых рядов, зубчатые кремлевские стены, ларьки, деревья, верхушки возков и карет, окна домов и домишек усыпаны народом. Где возможно было хоть как-нибудь уцепиться, там обязательно торчал человек.

Вот по толпе, как по морю, заходили волны: плечи, головы заколыхались.

— Везут, везут!

Под треск и грохот барабанов Салтычиху ввели на высокий эшафот. Взволнованная до предела, она задыхалась, жадно ловила ртом воздух, ноги не слушались, едва переступали. Воспаленный взор ее суетливо и цепко обшаривал эшафот. Она искала орудия казни. Но ни виселицы, ни плахи с топором. Неужто помилуют? Сердце рвануло, сердце бросило в голову кровь, щекам стало жарко.

Ее приковали к столбу, надели на шею белый картон с крупными печатными словами: *«Мучительница и душегубица»*. Безграмотная, она хрипло спросила чиновника:

— Чего тут прописано?

— А вот услышишь, — ответил тот, и, как только кончили бить барабаны, раздался резкий звук трубы и на всю площадь выкрик:

— Московский наро-о-д!.. Слуша-а-а-ай!

Толпа замерла, разинула рты. Тучный чиновник громогласно и четко стал читать по бумаге сентенцию.

Впервые узнав из сентенции, что Салтычиха замучила насмерть сто тридцать восемь человек, Падуров содрогнулся. И вместе с ним содрогнулась вся площадь, весь народ. Великий гул прокатился по народу.

Падурова охватила какая-то внутренняя тошнота и в то же время чувство жестокой мести.

— Душегубка... Убивица... Руби ей голову!.. Полосуй ее топором на части, — в тысячи охрипших от ярости глоток вопил народ. — Смерть ей! Смерть!

Падуров взглянул в сверкающие глаза этой необозримой, поднятой на дыбы толпищи, на перекошенные гневом рты, на судорожно сжимавшиеся пальцы, и вся душа его наполнилась высоким ликованием: Падуров чувствовал и видел, что он дышит одним дыханием с народом, горит одной с ним местью к врагам своим, и что во всем народе, точно так же, как и в нем, Падурове, живет единая бунтарская душа, и что эта закованная в железища народная душа ждет не дождется своего смелого водителя, чтоб разом разбить цепи рабства.

Падуров захлебнулся каким-то волнующим предчувствием и вместе с народом точно так же потрясал кулаками, так же выкрикивал проклятия: «Смерть ей! Смерть, смерть!»

А чиновник в белом парике тем временем уже кончал указ Екатерины... Итак, изуверке дарована жизнь...

У Салтычихи дрогнули щеки, из груди вырвался с шумом вздох облегчения, гремя цепями, она закрестилась на церковь Василия Блаженного.

Падуров с Горским стояли вблизи эшафота, в кучке бывших дворовых Салтычихи. Грозя кулаками, палками, клюшками, швыряя в злодейку чем попало, дворовые люди издевательски кричали:

— Людоедка!.. Видишь нас? Мы эвот здеся. Иди-ка, матушка-барыня, сюды да помучай нас, слуг своих... Ха-ха!

— Эй, служивые! Подайте-ка нам эту ведьму... Мясо до костей сдерем!

Салтычиха резко повернула к дворне голову. Глаза ее стали ехидны. Поваренок Федька ловко пустил ей в лицо снежком и, по старой привычке, со страху присел в толпе. Дворня захохотала, Салтычиха, боднув головой, едва промигалась от слепившего ее снега, вся затряслась. Дворня стала дразнить ее, вихляться, кричать. Салтычиха пришла в бешенство: затопала по помосту сапожищами, безобразно оскалила зубы и, сжав кулаки, рванулась на дворню медведицей, железные цепи впились в нее, столб зашатался, помост затрещал:

— Я вам, сволочи!.. Я вам!.. На колени!..

Палач ударил ее кулаком по загривку.

— Цыть, ты! Смирно стой...

Салтычиха сжалась, всхлипнула, из глаз ее потекли горохом слезы, голова поникла на грудь, на груди картонка: «Мучительница и душегубица».

Народ стал помаленьку расходиться. Падуров, тоже собравшись уходить, негромко сказал стоявшему рядом с ним дворовому человеку в овчинной кирейке с большим воротом:

— Вот они каковы, ваши помещики-то. Вешать их надобно...

— Вестимо так! — крикливо, с бесстрашием, ответил тот. — Вешать да головы рубить. Они все звери лютые, господин казак. Все до единого... Вот хошь на святые соборы побожусь...

— Все не все, а есть, — мягким голосом сказал высокий благообразный старик в темном армяке — он без шапки, лысая голова, длинная кольцами бородища.

— Все, все! Вот те Христос, все, — с горячностью твердил дворовый в кирейке.

— Да ты, милячок, не петушись, — так же спокойно сказал благообразный старец. — Я на сгоревший божий храм десять лет подаянье собирал, всю Русь истоптал лаптями, так уж мне ли этих самых помещиков не знать. Всякие, дружок, помещики водятся. Доводилось мне, миленький, слыхивать и про таких, что и рады бы дать волю мужику, да... — Старик опасливо повертел головой во все стороны, шепотом добавил: — Да царица не велит...

— А-а-а... Ишь ты... Не велит?! — прищелкивая языком, ядовито и насмешливо проговорил низкорослый, с шершавой бороденкой, пучеглазый мужичок, стоявший бок о бок с Падуровым. — Ишь ты, ишь ты... Ха! Погодь, ядрена каша, — засопел он, раздувая волосатые ноздри, — придет пора-времечко, и на мужичьей улице будет праздник... Тогда и спрашивать ее, царицу-то, никто не станет... У-у-ух ты!.. — Он вскинул кулаки, потряс ими в воздухе и, сверкая глазами, низенький, тщедушный, нырнул в толпу.

«Бунтарь... Живая душа...» — подумал про него Падуров.

Прошел час. Разбойницу увезли. Палачи стали бить кнутами и тавром клеймить лбы: дворецкого Салтычихи — за то, что был у нее в особой милости; кучера, гайдука и прочих — что пособляли мучительнице убивать людей. Последним драли и клеймили сельского попа — за то, что, не донося властям, тайно хоронил умученных дворовых.

Салтычиху тотчас же заключили в подземелье возле соборной церкви Ивановского монастыря, где она и просидела без выпуску одиннадцать лет[1].

По всей Москве долгое время только и разговоров было, что про Салтычиху. Всех острей переживали это происшествие многочисленные московские крестьяне. Доставалось на орехи помещикам, доставалось и правительству, да под шумок, с оглядкой, костили на обе корки и самое Екатерину.

Разные дворецкие, разные лакеи с кучерами из когда-то подслушанных барских разговоров с точностью знали, какому любовнику и сколько крестьянских душ раздарила «сердитая на любовь» матушка Екатерина. По одним подсчетам выходило — миллион, по другим — семьсот с лишним тысяч человеческих душ.

Слышавшие это крестьяне не верили своим ушам — только крестились да вздыхали.

— Ну, ма-а-тушка... Вот это так матушка, — ахали они за чарочкой где-нибудь в укромном месте и пускали таким смачным словцом по адресу всемилостивой матушки, что у нее, наверное, в эти минуты горели уши.

Крестьяне еще азартней стали наседать на депутатов, всюду подкарауливали их, толпились возле их квартир и продолжали напористо долбить своих радетелей, как вода долбит твердый камень. Как ни старались депутаты втолковать им, что представителей помещичьих крестьян в Большой комиссии, к великому сожалению, нету, а в депутатских наказах от государственных и экономических крестьян выставляются лишь мелкие нуждишки землепашцев, однако обитающее в Москве крепостное крестьянское сословие все же неотступно просило:

---

[1] Затем она была переведена в каменный застенок другой монастырской церкви, где и умерла в конце 1801 года, после тридцати трех лет заточения.

— Вы нашим именем толкуйте... Мало ли чего в наказах нетути. Наплевать нам на наказы ихние! Мы сами, слава те Христу, живые люди. Так и обсказывайте: крепостной мужик, мол, воли требует, земли требует.

ГЛАВА VII

Боевые речи

1

Наконец-то наступило время рассмотрению в Комиссии крестьянских дел. Наказ Екатерины, которым надлежало руководствоваться депутатам, был столь хитроумно и туманно написан, что не давал ни малейшей возможности поставить в Комиссии «крестьянский вопрос» по-серьезному. Поэтому в депутатских наказах с мест об уничтожении крепостного права и в помине не было. Были лишь жалобы свободных крестьян (государственных и экономических) на недостаток и плохое качество земли, на свое полуголодное существование, на обременительную барщину, а также на непосильную работу и обсчеты крестьян, приписанных к горному делу, чрез что заводские работники пришли «во всеконечное разорение и нищету».

Все депутаты находились теперь под впечатлением дела Салтычихи. Крупные и среднего достатка помещики заметно присмирели, зато остальные депутаты подняли головы.

Острые прения возбудил весьма важный, коренной вопрос — о бегстве крестьян от помещиков.

Граф Петр Иванович Панин, боевой генерал и недруг Екатерины, сделал с места заявление:

— Еще в самом начале царствования нашей всемилостивейшей государыни я лично подал ее величеству подробную докладную записку о причинах вынужденного бегства крестьян от помещиков и о мерах к прекращению сего позорного бедствия, из коих

главной мерой я полагал обуздание жестокости помещиков по отношению к своим крепостным. Я ласкал себя надеждой, что мое мнение будет принято возлюбленной монархиней нашей во внимание, но ее величество, не найдя нужным считаться с ним, сочла за благо для отечества сей вопрос отстранить от пресветлых очей своих.

Многие депутаты уловили в словах Петра Панина смелую иронию. А близкие к Панину люди, знавшие неприязнь его к императрице, не могли сдержаться от едва заметной сочувственной улыбки.

После него содержательную речь произнес дерптский профессор Урсинус.

Затем выступил молодой поручик артиллерии Коробьин. Он говорил не со своего места, как обычно, а поднявшись на помост и обратясь к собранию. Лицо его — гордое, открытое, лоб широкий. Взор быстрых, глубоко посаженных глаз то пробегает по рядам вельмож, то упирается во взволнованные лица депутатов от земли. Бесстрашно обвиняя помещиков в жестокости, он между прочим говорит:

— Есть помещики, которые, промотав пожитки и наделав долгов, продают своих людей. Есть и такие, кои, увидев своего крестьянина, трудами рук своих скопившего себе кой-какой достаток, лишают вдруг, корысти ради, всех плодов его старания. Сожаления достойно взирать на крестьянина, непосильным трудом собирающего себе от земли мало-помалу некий достаток, почитаемый им за бесценное сокровище в надежде во время болезни своей или старости питать себя и семью свою. И вдруг помещичьим приказом крестьянин лишается всех своих с таким трудом собранных пожитков. — Офицер Коробьин возвысил свой голос и, сжав правую руку в кулак, с особой выразительностью заключил: — Сие есть низкое посягательство на крестьянскую собственность!.. — (Среди депутатов-помещиков сильное движение, они сердито сморкаются, кашляют, угрожающе жестикулируют, стараясь запугать Коробьина.) Но он продолжает: — Сие, говорю, угрожает разорением целому государству, ибо тогда только в силе находится общество,

когда составляющие оное члены все довольны. От сего их покойствие, от сего и дух, к защищению своего отечества распаляющийся, происходит. Масса народная есть душа государства! — почти выкрикнул он и сделал паузу.

Падуров, слыша эти слова, встал в задних рядах во весь рост, ему хотелось подойти к офицеру и братски обнять его.

— А причиною бегства крестьян, — продолжал меж тем Коробьин, — суть помещики, отягчающие крестьян своим правлением. Яркий пример тому — великие жестокости злодейки Салтычихи.

— Верно, верно! — закричали со всех сторон многие депутаты.

— И для того всячески стараться должно предупредить помянутые случаи, как крестьянам несносные, вредные всем членам общества и государству пагубные. Предлагаю: ограничить законом власть помещиков в доходах со своих подданных, а также оградить крестьянина от корыстолюбия, произвола и насилия помещика.

Сотник Падуров, услыхав сзади себя тихие всхлипы, обернулся и увидел, что у некоторых депутатов-простолюдинов катятся по щекам слезы.

Звонок маршала. Перерыв заседания. Задетые за живое помещики, окружив Коробьина, обрушились на него с упреками.

— Вы, милостивый государь, плохо знакомы с положением дел... Да-с, да-с! Молоды вы еще очень, — кричали одни.

— Вы, господин офицер, по неопытности своей еще не знаете мужиков, — наседали другие. — Мужики порочны по природе, склонны к пьянству, к разбою, к бродяжничеству. Крутые меры надо против мужика, а не послабления.

— Эх, господа, все ваши упреки в мою голову недостойны дворянского звания, — резко прервал их разгорячившийся Коробьин и отошел прочь.

Несмотря на явное недовольство крупных феодалов поведением Коробьина, преобладающее большинство депутатов, даже многие мелкопоместные дворяне

были на его стороне, что блестяще подтвердилось при баллотировке в частную комиссию «о рудокопании и торговле». Никому ранее не ведомый офицер Коробьин получил 260 белых избирательных шаров из 306. Это было решительной демонстрацией в пользу Коробьина: во все время существования Большой комиссии ни один депутат не удостоился столь высокого доверия собрания. После баллотировки выступил уже известный собранию угрюмый видом, широкоскулый майор Козельский[1].

— Вопрос о защищении имущественных прав крестьян назрел потому, — сказал он, — что удручение рабства принижает крестьян, умаляет доходность их труда. А число помещиков, кои во вред себе и обществу разоряют своих крестьян, все умножается и умножается.

— Ах, вот как?! — раздался с дворянских кресел угрожающий голос.

— А что, не правда, что ли? — звучным басом покрыл его граф Алексей Орлов.

— Правда, правда, ваше сиятельство! — обрадованно закричали с задних мест.

Граф Алексей Орлов считался человеком прямодушным, пред Екатериной особенно не раболепствующим, он держал себя особняком, самостоятельно, за что и пользовался у публики уважением.

Козельский одернул зеленый свой мундир и, нахмурясь, произнес:

— Пчела, приобретшая мед, почитает его за собственное добро, защищает его, жалит, жизнь теряет, как только кто-либо подойдет ко гнезду ее. Крестьянин же — чувствующий человек, он вперед знает, что все, что бы ни было у него, то, — говорят ему, — это, мол, не твое, а помещиково. Изба, лошадь, корова, соха, шубенка — все помещиково... Господа депутаты! Вы подумайте, положа руку на сердце, как при по-

---

[1] Яков Павлович Козельский, мелкопоместный шляхтич, был учителем в артиллерийском корпусе (в Петербурге), а в конце 1768 года выбыл в действующую против турок армию.

добных условиях крестьянину быть благонравну и добродетельну, когда ему не остается никакого средства быть таким. Отсюда, может статься, будучи в унынии, крестьянин и попьянствует когда, только вряд ли он пьет больше своего барина.

Речь Козельского всех взволновала. На многих лицах горькие улыбки.

— Теперь насчет земли... — продолжал Козельский. — По всей России ныне производится генеральное межевание. И нам думается, что все земли надо разделить и размежевать так, чтобы крестьяне, живущие за помещиками, имели свою собственную землю, — не помещичью, а собственную! — подчеркнул Козельский. — Чтобы мужики, почитая сии земельные участки за свой собственный удел, основательнее обзаводиться и постояннее жить могли...

— Что, что?! — И озлобленные глаза возмущенных дворян гневно уставились на смолкшего Козельского. — Что?! Мужикам землю в собственность намежевать? Думаете ли вы, господин депутат, о чем говорите?

— Да, думаю. И очень крепко, — сдвинув черные брови и подняв плечи, резко бросил им Козельский. — Не мешало бы и вам, господа дворяне, над сим вопросом призадуматься. Пора, пора! Многие помещики говорят и пишут, что облегчение делать невыполированному, неученому и темному народу в его трудностях предосудительно. А я полагаю, что некоторые из них так говорят по незнанию вопроса, по неумеренному своему самолюбию и что почитают в неумеренном господствовании над людьми лучшую для себя пользу. И я смело говорю вам на это: чрез свободу идут к просвещению, а не наоборот...

В зале сразу шум, как на базаре. Растерявшийся Бибиков, секретари и пристава пробуют навести порядок.

...Итак, большинство дворян, купцы и фабриканты в своих речах защищали исключительно свои классовые выгоды. И лишь два мужественных офицера, Козельский и Коробьин, являясь как бы прообразом декабристов, а вместе с ними и другие либерально

настроенные депутаты выступали горячими поборниками крестьянских интересов.

Слово берет князь Щербатов, он прямо-таки взбешен крамольными речами депутатов. Как?! Нарезать мужикам землю? Помилуйте, да это же пахнет государственным переворотом, что по-французски зовется: ре-во-лю-ция! Его лицо стало еще более надменным, чем всегда. Он говорил, красуясь и вскидывая брови:

— Депутаты Коробьин и Козельский представляют, дабы часть некоторого имения дать крестьянам в собственность. Позволительно спросить: из каких же земель им сию собственность нарезать? Ответствую. Большая часть земель еще в древние времена дана государями в вотчины дворянам за их верную службу отечеству: за сопротивление татарам и полякам, за неоднократное освобождение Москвы...

— Не одни же дворяне Москву-то освобождали, поди и мужики пособляли вам! — раздалось восклицание, прерванное звонком Бибикова.

— Так как же возможно отнять от дворян сии земли? — все громче и круче забирал Щербатов. — Как можно отнять земли, данные в награждение тем дворянам, что от ига татарского Россию освободили, что запечатлели свою верность и усердие к своим монархам во время бунтов и усобиц мучительными своими смертями, что многие провинции России завоевали! И эти полученные в награждение земли отнять и отдать — кому же? Отдать своим подданным! И я говорю: сие было бы неправосудно, да и великая Екатерина сему воспротивилась бы.

Оглянувшись назад, он сказал:

— Я слышал долетевший до моего слуха голос, что, мол, и мужики дворянам помогали в походах. Да, сие верно. Но без предводителя мужики никогда одни этого не сотворили бы, они лишь следовали за ведущими их предводителями и выполняли их веления. Я, впрочем, надеюсь, — закончил князь, — что боголюбивые, правдоискательные крестьяне и сами сего насилия над дворянами желать не будут.

«Глупец... А еще исторический сочинитель», — подумали про него Коробьин и Козельский. А Падуров

только крутнул головой, прищелкнул языком и желчно улыбнулся.

Но вот, и совершенно неожиданно, произвел немалый переполох в чинном заседании смелый голос того самого депутата Маслова, которого живущие в Москве крестьяне считали своим верным ходатаем. Маленький, щупленький, со втянутыми щеками, с козьей темной бороденкой, запинаясь и покашливая, он негромко и застенчиво начал:

— Я, господа депутаты, человек малого достатка...

— Где ты?.. Тебя и не видно... — раздались многие голоса с передних и боковых кресел. — Покажись всем, иди на возвышенье.

— Ничего... Я и с низинки потолкую...

Депутаты приподнялись, поглядели на его невзрачную, бедно одетую фигурку, улыбнулись, сели.

— Вот я и говорю, — начал Маслов, — что человек я малого достатка. Я дворянин-однодворец. Это про нас, про однодворцев, говорится: «Сам сеет, сам орет, сам и денежки гребет». Подданных у меня, или крепостных, только один Кешка-старик, да и тот глухой и разумом недовольный. А живности... Собака на трех лапах да два петуха. Вот и все. То Кешка на мне пашет, то я на нем пашу. Вот и все.

Депутаты обрадовались живому, натуральному слову, повернулись к Маслову.

— Господа депутаты! В Наказе всемилостивейшей государыни напечатано: «Мужики, большею частию, имеют по двенадцати, по пятнадцати и до двадцати детей из одного супружества, однако редко и четвертая часть приходит в совершеннолетний возраст». И я ответствую вам, почтенное собрание, отчего сие происходит. Как можно бедному человеку детей своих воспитать, ежели его барин тщится не по средствам жить и тем своих людей чрезмерно отягчает. Есть такие владельцы: людей у него находится примерно только двадцать человек, и то будет половина на пашне, а другая при нем в лакействе, и по своей роскоши приумножает псовую охоту, и старается неусыпно и мужиков работою понуждать,

дабы роскошество свое прокормить, а того не думает, что чрез его отягощение мужичьи дети с голоду зело помирают; барин же веселится, смотря на псовую охоту, а крестьяне горько плачут, взирая на своих голых и голодных малых детей. — Андрей Маслов, наморщив нос и прищурив подслеповатые глаза, заглянул в свою записку и продолжал: — Господа депутаты! Тут упрекали крестьян за побеги, а в рассуждение не входили, от радости ли покидает мужик свои малые детища, чего ни единый зверь в норе — своих щенят, ни птица в гнезде — птенцов своих не сделают, только несчастному в свете человеку сие по нужде приключается... — Однодворец Андрей Маслов почесал в затылке; оглянулся назад, как бы ища поддержки у бедноты, выпучил глаза и с решимостью закончил:

— Вот тут с самого начала заседаний был спор промеж дворянами столбовыми, матерыми, и дворянами мелкопоместными: кто-де из сих дворян лучше? А по-моему, по-простецки, — все дворяне одинаковы, — дворяне и дворяне, — все с одной буквы пишутся. И все пред богом да пред мужиком одинаково повинны. Да, пожалуй, крупные-то дворяне меньше утесняют крестьян, нежели мелкие, которые из подьячих да из полицейских крючков выслужились, ежели вы хотите знать. И мое мнение такое будет, — хотите слушайте, хотите нет... Я мыслю, господа высокие депутаты, что настал черед устранить целиком всю помещичью власть... Чего? Да, да, устранить целиком!.. Довольно уж барам властвовать над людьми. А крепостных крестьян, взяв их от помещиков, передать в управление особой правительственной коллегии, кою надлежит вам учредить. И пущай та коллегия ведает этими крестьянами на тех же правах, как и крестьянами бывшими церковными, ныне экономическими. Пущай она в пользу помещиков и оброк с них собирает. Только оброк самый малый, для мужика не разорительный. Вот и весь мой сказ. А это вот мой письменный отзыв. — И Маслов, подойдя к секретарю Новикову, передал ему свою записку.

Выступление Маслова показалось собранию дворян столь необоснованным и несерьезным, а сам депутат Маслов — столь жалким и, по мнению дворян, дурашливым, что его задорная речь прозвучала для них, как дребезг слов презренного шута.

2

Хотя личность депутатов считалась по закону неприкосновенной, однако злосчастный депутат Маслов получил негласный от полицейской власти выговор с приказом впредь таких речей не говорить, а держать язык за зубами, в противном же случае он может-де навсегда лишиться и зубов и языка.

За депутатами Коробьиным, Козельским и Падуровым установлен негласный надзор полиции. А всех приходящих к ним крестьян приказано хватать и тащить куда следует.

Тем не менее кучки крестьян продолжали скрытно собираться; тут были крестьяне оброчные, отпросившиеся у своих господ в Москву на заработки, были барские холопы-челядинцы, были ходоки, нарочито посланные в Москву землепашцами с Волги, с Камы, с Северной Двины и прочих мест России. Все они, как библейские одержимые болезнями, ждали у Силоамской купели возмущения воды от дуновения слетевшего с небес архангела: вода заплещет, заиграет, и кто войдет в нее — здрав будет.

В начале работ Большой комиссии таким ангелом-целителем они считали матушку Екатерину, затем, проведав, что она к делу крестьян относится прохладно, переложили упование свое на некоторых депутатов. А с течением времени, поняв полное бессилие этих депутатов бороться против зубастых вельмож и богатейшей знати, крестьяне сурово говорили:

— Ни от царицы, ни от бар, ни от купцов великого заступленья ждать нам нечего. Они свою линию гнут. А надо нам самим топоры острить.

Крестьяне тайно похаживали к депутатам, а сами депутаты почасту заглядывали к секретарю Комиссии, молодому Новикову, связанному с либеральными кругами Панина и Сумарокова. Депутаты эти — пахотные солдаты, крестьяне, казаки, однодворцы и мелкопоместные, вроде Коробьина, шляхтичи — подолгу беседовали с Николаем Ивановичем, вскрывая пред ним правду русской жизни. Горький сок этих бесед в скором времени сослужит ему большую службу. Чрез год, возглавив передовую журналистику, Новиков станет издавать сатирический журнал «Трутень», на страницах которого он поведет борьбу с органами власти и с самой Екатериной. Вот тогда-то он широко воспользуется как материалом своими былыми беседами с депутатами Комиссии.

Большая комиссия работала шестнадцать месяцев и зимой 1768 года, якобы по случаю начинавшейся войны России с Турцией, была распущена. Многообещающая, но далеко не доведенная до конца затея императрицы с Наказом и Большой комиссией по результатам своим хотя и была мертворожденной, однако она оказала огромное влияние на общественное сознание России.

Темная, лишенная гласности страна, где ущемлялся малейший проблеск живой мысли, вдруг, при первой же попытке правительства ослабить гнет, выявила немало способных, истинных сынов отечества. В боевых, прекрасно построенных речах, прогремевших впоследствии по всей России, эти недюжинные русские люди мужественно критиковали существующий государственный порядок и смело подымали на заседаниях Комиссии важные политические вопросы, касаться которых самодержавная Екатерина считала лишь своим священным правом.

Бурные заседания Комиссии и пугали и сердили Екатерину.

Не желая рисковать ни престолом, ни своей жизнью, она решительно пресекла свою игру в либерализм.

Как только распространился по государству слух, что московская Комиссия, ничего мужикам не давшая, закрыта, крепостное крестьянство во многих местах России ответило на это бунтами.

Крестьяне Олсуфьевых, Леонтьевых, Лопухиных, Толстых, Измайловых и прочих подали Екатерине свои приговоры о том, что в повиновении у помещиков своих они быть не желают. Также пришли в непослушание крестьяне, приписанные к горным заводам Чернышева, Походяшина и Воронцова. Бунтовали и крепостные крестьяне игольной фабрики Рюмина в Рязани.

Такое вызывающее поведение деревни Екатерину крайне тревожило.

— Гришенька, твое предречение сбывается. Ты прав, — говорила она Орлову.

Екатерина II, эта венценосная представительница так называемого просвещенного абсолютизма, была несравненно умнее и дальновиднее многих своих современников.

В письме генерал-прокурору Вяземскому по поводу намерения сената предать суровой каре крестьян, убивших своего барина, она просит смягчить судебный приговор.

«Положение крестьян таково критическое, — пишет Екатерина, — что, окроме как тишиной и человеколюбивыми учреждениями, бунта их ничем избегнуть не можно. А если мы не согласимся на уменьшение жестокости и умерение крестьянам нестерпимого их положения, *то и против нашей воли сами оную волю возьмут рано или поздно*».

«Человеколюбивыми учреждениями» помочь на сей раз было трудно. Бунты продолжались. Но все эти мелкие, хотя и многочисленные, взлеты вольности шли самотеком и ничего, кроме вреда, мужику не приносили: *народ брел розно.*

И все-таки в недрах народной жизни копилась буря. Пока лишь отдаленные вспышки озаряли мужицкое небо.

ГЛАВА VIII

Путь-дорога. Купеческий сундук

1

Вот уже больше трех лет прошло, как Пугачев вернулся из Польши на родину.

Он продолжал нести войсковые тяготы и обрабатывать с семейством землю. Однако наскучило казаку перебиваться с хлеба на воду. Плечи у него широкие, силищи хоть отбавляй, а семья — мать с женой да детишки малые — иным часом и впроголодь живет. А вот два его шабра-соседа в богатеях ходят да пятеро казаков возле церкви просторные хаты понастроили себе — есаул, сотник да три хорунжих. Пугачеву же нет ни в чем удачи, а ведь его из десятка не выкинешь — лихой казак.

Загрустил Пугачев. И снова захотелось ему счастья поискать.

«Да душа из меня вон, кишки на луговину... Найду!»

Потянуло его пошататься по Руси, повыведать, повынюхать, чем простой народ дышит и «смыслит ли народ свое счастье за хвост ловить».

Вскоре подвернулся удобный случай. Как-то Софья сказала ему:

— Не пролежи бока. Чего ты валяешься, как лежень?

Пугачев лениво осмотрел крупную, широкую в бедрах, фигуру жены, сказал:

— Я лежу, а мысли мои гуляют. Чего-то скучно мне.

— Холстов у нас нема, обносились. И дегтю нетути. Сгонял бы в Царицын. Может, там есть.

И вот два молодых дружка, Пугачев да Ванька Семибратов, выправив у станичного атамана отпускные бумаги, прикатили на своих кобылках в Царицын. Выпили в царевом кабаке по чарочке, гороховым киселем с конопляным маслом закусили и стали бро-

дить по базару. Но бабы такую цену ломят за холсты, что ахнешь.

Пошли они на конную. Там в шалаше дед с внуком сидят. В двух бочках и в трех баклагах — деготь. Белоголовый мальчонка с загорелой, замазанной дегтем мордочкой приветливо заулыбался казакам, стал зазывать их по-торговому:

— А вот черного медку, господа казаки!..

Казаки подсели к шалашу, достали кисеты, закурили. Разговорились с дедом. Дед плешастый, сивобородый, посконная, до колен, рубаха запачкана дегтем, маслом. В тени, в холодке — жбан квасу.

— Мы, ведаешь, дальние, кормилец... Со всей худобой здеся-ка. Вон в мешке шубенки да рухлядишка всякая. Мы с-под Кунгура-города, — поди слыхал? В Богородском селе живем, кой-какую торговлишку веду я... Вот, вот... Да стар становлюсь, время бросать все, о душе пекчись... Ох, грехи, грехи...

— А сюда-то как попал ты, дедушка?.. Далече ведь... — спросил Пугачев.

— Водичкой, водичкой, кормилец. Сначала лошадьми товар в Осу подвезли, на Каму на реку. А оттоль, благословясь, на большой лодке по Каме да по Волге-матке все вниз да вниз... Так на водяных крыльях, ведаешь, и донес господь.

Казаки узнали, что старик живет в густых кунгурских лесах, у него и пасека большая имеется, пчела любит его, пчела у него, слава богу, медиста, не как у других прочих.

Выведав, что деготь в той стороне, почитай, дарма можно купить, Пугачев размечтался. Эх, если б деньги, много денег! Он с Семибратовым ударился бы на Каму, привез бы сколько можно товаров и с большим барышом распродал бы их на Дону. Вот и новый, светлый курень закрасовался бы у Пугачева, и Софьюшка с семейством были бы одеты-обуты, и два коня стояли бы у него, и сабля была черкесская, в серебре, с золотой насечкой.

— Я бы, пожалуй, тронулся на Каму за товарами, да денег черт-ма... — уныло сказал Пугачев, глядя в очи деда.

— В деньгах вся суть, — прокряхтел старик, — без денег везде худенек...

Пугачев опустил голову, задумался. Нет, не везет ему в жизни, никак не можно казаку выбиться из бедности. Ну, а ежели они с Семибратовым продадут на ярмарке своих коней, рубля по три, по четыре за коня дадут, да седло у Пугачева боевое — на прусской войне с генеральского немецкого коня досталось. Седло прямо-таки драгоценное! Да такое седло за два червонца с руками оторвут...

2

А в это время счастье прямо в руки катилось Пугачеву. Глядь: по площади, мимо дедова шалаша, народ, бежит, все тычут пальцами в сторону Волги, кричат:

— Купец!.. Купец утонул...

Казаки, позабыв попрощаться с дедом, вскочили на коней и туда.

На желтом песчаном приплеске, у самой воды — большая толпа. Мокрого утопленника вверх-вниз на парусе швыряют. В каждый угол холщового паруса по два бородача вцепились и под команду: «Давай! Давай! Повыше! Ощо разок!» — усердно подбрасывали безжизненное тело кверху. Вдруг:

— Стой! — закричал рыжий в лаптях. — Блюет, ожил... Клади на землю...

Изо рта, из ноздрей утопленника хлынула вода, его перевернули на бок, стали мять брюхо, давить грудь. Кто-то орал из толпы:

— Язык, язык надобно ужать да легонько вытягивать из рта, чтобы «а-а-а» сказал.

Прибежал подлекарь. Прибежали два попа с напрестольными крестами в руках. Сбежался без малого весь город.

Через полчаса купец, еще крепкий по виду старичок с седой бородкой, лежал возле костра на подушках, вздыхал, стонал и плакал. Он лежал голый, по грудь покрытый простыней, платье и белье его суши-

лось тут же у костра. По обе стороны спасенного стояли на коленях два священника с воздетыми в десной руке крестами, отчетливо читали над купцом молитвы. Недужный часто икал и крестился, в глазах — слезы. Подлекарь «отворил» больному жилу, принялся кровь пускать.

Было тепло и душно, из-за Волги дул знойный ветер, садилось солнце, рябь воды ярко пылала золотом, больно глазам глядеть.

Пугачев успел узнать всю подноготную. Саратовский купец Мешков, отправив с товарами сына Митьку в Нижний на макарьевское торжище, сам поплыл по большой воде в Царицын. Он собирался из Царицына на Дон попасть, чтоб там большой табун коней закупить. А кони ему до зарезу нужны: задумал он по всему краю в зимнее время обозы с товарами пустить. И вот грех случился. Плыли они левым берегом, а как стали против Царицына через Волгу перебираться, сидевший в корме солдат с деревянной ногой по пьяному делу направил загруженную лодку прямо на плывущий оплоток из двух бревен. Лодка зачерпнула воды и сразу же — вверх дном. Трое утонули: солдат, приказчик из черемисов и подручный мальчишка, а захлебнувшийся купец всплыл, его выволокли за волосья.

Пылил городом усатый форсун-городничий [1] с черным коком из-под белого картуза, а сзади, едва поспевая за его экипажем, бежали будочники и полицейские солдаты, тащили на длинном шесте рыбачью сеть — вылавливать утопшего. Городничий к происшествию сильно запоздал по той причине, что после обеда завалился спать, его будили больше часу. Он еще не знал, кто такой утонувший купец, а когда ему в дороге доложили, что фамилия купца — Мешков, он схватился за голову и воскликнул:

— Боже мой! Да ведь это ж наш благодетель. На богоугодные заведения жертву приносит завсегда.

Подъехав и убедившись, что благодетеля спасли, он просиял, присел возле купца на песок, долго ахал,

---

[1] В те времена городничий — помощник воеводы.

соболезновал купцу и дивился великому произволению божию, — что господь спас жизнь праведника. Купец был очень слаб, в ответ только слегка кивал головой и шевелил губами. Городничий осведомился у купца, уж не родственники ли, боже упаси, или, может быть, вообще близкие его утопили в Волге? Купец ответил: «Нет, чужие...» Тогда городничий, сказав: «Ну и слава богу», — совершенно успокоился, велел будочникам и солдатам бросить на землю сеть и очистить песчаную отмель от народа.

— Ох, ох... Ничего мне не жаль, — поскуливал купец, — а жаль кованый сундук с выручкой: серебро да золотишко в нем. Ох-ох ты, боже ж мой...

«Ишь ты, хапуга, черт, — промелькнуло в мыслях Пугачева, — ему наживы жалче людей». Казак спросил:

— А сколь бы ваша милость положила мне, коли б я предоставил ваш кованый сундук вот об это место?

Старик тяжело поднял на него мутные глаза. Пугачев ему понравился: широкоплечий, тонкий в талии, быстроглазый, с черной небольшой бородкой. Тихо, почти шепотом, сказал купец:

— Ежели недельку побиться, я бы и сам поднял с народом, я знаю способá. Только мне недосуг. А где ж тебе... Ох...

— Дозвольте, я сведаюсь, — сказал Пугачев, — сплаваю туда. Чихнуть не успеете, вернусь и в точности все обскажу вам, батюшка.

Пугачев, не дождавшись ответа, вскочил в чью-то лодку и чрез десять минут подплыл к тому месту, где утонул сундук. Здесь же сгрудилась добрая полсотня лодок. Голые мужики и парни то и дело ныряли и, задышливо отфыркиваясь, с вытаращенными глазами выбрасывались на поверхность, кричали наперебой:

— Глыбко!.. На сундуке стоял! В жизнь не достать!.. Воздухов не хватат в грудях!..

— А ну-тка, хрещеные, я, — сказал плешивый кривой рыбак. — Я под водой страсть люблю жить. — Он быстро оголился и, перекрестившись, ри-

нулся вниз головой в воду. Он сидел под водой очень долго, минуты с три. С лодки закричали:

— Робяты, мыряй!.. Никак, утоп Лукич-то.

Пока ахали да собирались, Лукич вынырнул. Отдышавшись, сказал:

— Нипочем не поднять, хрещеные. Сундук шибко чижелый, ручки одной нетути железной, сбоку. Довелось бы арканом его окручивать, а какими способами аркан под сундушное днище подпихнуть, не ведаю... Надобно зимы ждать, авось со льду как... А теперича нечего и биться...

Пугачев язвительно захохотал. Рыбак, суя голую ногу в портошницу, сердито бросил Пугачеву:

— А ты, цыган, не скаль зубы-то... Не мене тебя смыслю...

— Дайте-кась шест сюда! — властно крикнул Пугачев. Ему услужливо сразу сунули три жерди. Он нащупал жердиной сундук и определил его размеры. Затем вытащил шест и растопыренной пяденью смерил по шесту глыбь воды над сундуком; вышло без малого четыре аршина...

— Хотите, братейники, два ведра водки с меня сдернуть? — спросил Пугачев.

— Желаим! — игриво ответили с лодок, полагая, что молодец сказал это в шутку; однако у многих слюна пошла.

— Тогда плавьте об ето место два сплотка, два салика, да на кажинном сплотке по столбу становьте, а поверх столбов перекладину. Через перекладину аркан перекинем, сундук зацепим, из воды учнем вызволять. Ну, живо!

Полсотни лодок тесным кольцом окружили лодку Пугачева. Люди уповательно уставились на быстрого детину.

— Обманешь, цыган...

— Да ну вас к лешему в ноздрю, не цыган я, а казак с Дону. Коня моего видите на берегу? Ставлю коня в заклад, раз не верите.

— Верим, казак! — всерьез закричали с лодки. — Завтра к обеду справим...

— Завтра к обеду-то сундук илом затянет, его и не чутко будет, — сверкая белыми зубами, опять захохотал Пугачев. — Эх вы, головы... Носы-то у вас не тем концом пришиты...

— А когда же тебе?

— Да чтобы через час времени все было на месте. Ну, айда, айда, нечего раздобаривать.

— Поусердствуем, казак!.. — крикнул народ. — Только, дружок, не обмани... Не обидь винишком-то... — И полсотни лодок вперегонку понеслись к стоявшим вдоль берега плотам.

— Ну вот, ваша милость, — сказал Пугачев сидевшему на подушках купцу, возле которого расположились на сыпучем песке пятеро богатых торговцев города Царицына и городничий. Купец приоделся, разрумянился, повеселел. Справа от него торчала в песке бутылка водочной настойки на березовых почках и серебряная чарочка. Пугачев поклонился купцу: — Езжайте, батюшка, со Христом на спокой, только молвите, куда вашу щикатулочку с деньгами предоставить... Не успеете двух разов чихнуть, все будет вготове... Сколь положите за старанье за мое?

— Ах, милый, — прищурился купец на казака и улыбнулся. — Полсотни рубликов серебришка дам... Не пожалел бы.

У Пугачева заиграла вся душа. Шутка ли сказать — полсотни рубликов! Да ведь таких деньжищ во сне ему не снилось...

— Что вы на смех-то меня подымаете, — притворился Пугачев крепко обиженным. — С сундуком дело чижолое. Жизнь порешить можно. А мне не лопнуть стать. Себе дороже. Вот сотню выкладывайте, не скупитесь, батюшка...

— Ладно, дам и сотню, — охотно согласился купец. — Токмо напредки ведаю, не выйдет ничего... Ведь в сундуке-то, мотри, одного серебрища семь пудов... — Купец торопливо трижды перекрестился, вслед рука его потянулась за чарочкой. К бутылке бросились сразу все пять торговцев, но усатый городничий гулким басом грозно крякнул, бесцеремонно их оттер и самолично налил купцу березовой настойки.

В его доме городничиха уже взбивала именитому купцу пышные пуховики: за богатым человеком и поухаживать не грех, богатый человек в накладе не оставит.

— Каким же способом станешь ты подымать, молодчик милый? — проглотив настойку, спросил купец.

— А уж это моя забота, не вам, батюшка, об этом печаль иметь. Мы, донцы, в этом трохи-трохи маракуем. Только вот беда: веревок нет...

Двое полицейских, по приказу городничего, помчались в торговые лавки за веревками, Семибратов с Пугачевым бросились на базар искать камышовые дудки. Пострадавшего купца увез к себе городничий.

3

Еще солнце не закатилось, как уже все было готово. К месту, где был сундук, подводились на шестах два сплотка, у костра, окруженный народом, сидел с острым кинжалом Пугачев.

Кинжал быстро мелькал в его руке, из двух камышовых стволов он мастерил длинную дудку для дыхания под водой. Место стыка двух стволов он просмолил варом, кипящим в котелке у костра. Конец пятиаршинной дудки он вставил в изогнутый коровий рог со срезанным острием.

— Поплыли! — крикнул он Семибратову. — Жители, подмогни ему веревки в лодку покласть.

Вскоре оба причалили к сплоткам, оборудованным двумя столбами с перекладиной, как приказано было Пугачевым. На сплотках — человек сорок. Плешивый рыбак Лукич, сняв шляпу, сказал:

— Готово, хозяин.

Пугачев, проверив жердью положение сундука, перекинул конец добротной веревки через перекладину, к концу прикрепил камень и спустил на дно. Затем торопливо разделся — крепкие мускулы заиграли под белой кожей, — привязал к спине камень в полпуда, чтоб вода не вздымала тело с глубины, взял в рот коровий рог с камышовой трубкой, про-

дул ее и, перекрестившись, погрузился в воду. Конец трубки торчал над водой, чутко было, как из него вырывалось сиплое дыхание.

— Глянь, черт, сатана, что измыслил, — говорили на сплотках. — Да с такой трубкой-то неделю под водой жить можно.

Рыбак Лукич только головой крутил. Вот конец веревки заиграл, полез в воду, еще, еще — очевидно, Пугачев обматывал под водой веревкою сундук.

— Трави, трави веселей веревку-то! — командовал Семибратов. — Пускай вслабую.

Из конца дудки все шумней, все чаще вырывалось дыхание. Вот дудка, быстро приподнявшись торчком, всплыла наверх, как поплавок, и легла набок. А вслед за нею выскочил и Пугачев. С бороды, с черных густых волос стекала вода, влажная кожа порозовела.

— Ну, с выпивкой вас, молодчики, — сказал он, шустро одеваясь. — Хватай с богом за веревку, вздымай сундук.

Старику Мешкову снова занедужилось, лежал на пуховиках и охал. В доме и без того духота, теплынь, а он попросил затопить в его горенке печку.

На дубовом, обтянутом шагреневой кожей диване, в напряженных позах, положив руки на колени и повернув головы в сторону купца, сидели комендант города полковник Цыплетев, бургомистр и ратман в мундирах и при шпагах. Хозяин дома — городничий, распушив усы, уныло сидел в кресле возле благодетеля, сладко заглядывал ему в глаза. На мягких стульях восседали знатные торговцы города Царицына. Все сомлели от жары, тяжело дышали разинутыми ртами, обмахивались платочками, потели.

Но вот все задвигалось, загрохотало: пред кроватью благодетеля два казака взгромоздили обитый бело-матовым, «под мороз», вологодским железом сундучище. Купец сразу ожил, заулыбался, привстал. Он заголил рубаху, снял висевший рядом с золотым

нательным крестиком большой, как пистолет, ключ, подал его городничему:

— А ну-ка, голубчик, открой скорей... Не наложили ль варнаки замест серебра да золота каменьев. С них станется.

Пугачев обиженно прикашлянул. Сундук открылся с музыкальным звоном. Купец, забыв болезнь, самодовольно, с кряхтеньем, в одном белье опустился возле сундука на колени, торопливо пересчитал, перещупал все мешки, затем повернулся лицом в передний угол, благоговейно всплеснул руками и троекратно земно поклонился образу спасителя, закатывая глаза и ударяясь морщинистым высоким лбом в дубовые доски пола.

— Вынь-кось один мешочек, — сказал он Пугачеву, — да развяжи его, да отсчитай ровно сто рублев. Только счет веди верный, без обмана. А то я знаю вас... — Он зябко передернул плечами и, поддерживаемый городничим и бургомистром, снова залез на кровать, под цветное, из шелковых лоскутов, одеяло. Пугачев, звеня рублевиками с изображением улыбчивой Екатерины, отсчитал.

— Это тебе по договору, — сказал купец, и простое лицо его умаслилось добродушной улыбкой. — Отсчитай-кось, друг милый, еще сто. Только без обману чтобы, я проверю.

Пугачев, подумав: «Это, наверняка, подхалюзе городничему», — отсчитал.

— Эту мзду такожде возьми себе за удаль за свою. Удивил, брат, ты меня немало, — сказал купец.

Пугачев взыграл духом.

— Отсчитай еще полста, — торжественно сказал купец в третий раз.

Пугачев отсчитал, подумав: «А это кому же будет?»

— Сие награждение примешь за проворство за свое. Не чаял я, что столь скоро можно обернуться с этаким многотрудным делом. Ты молвил даве: не успею я и двух разов чихнуть, как сундук здесь будет, а я еще ни единого раза не чихнул, только икал изрядно.

Господа засмеялись, подхалимно закивали благодетелю, глаза их покрылись как бы маслом. Все время

сидевший на корточках Пугачев вскочил, он ощутил в груди такую радость, что подбоченился, ударил пяткой в пол, крутнулся и уж в пляс хотел пойти, да застыдился умильно смеющихся господ.

Сгребая с полу рублевки себе в широкие карманы и в мерлушковую шапку, весь насыщенный мучительной и в то же время сладкой радостью, он громко выкрикнул купцу:

— Ну, батюшка, спасибочка тебе!.. По-честному ты со мной... Вы, батюшка, не сумлевайтесь, я и с товарищем и с народишком, что помогал мне, поделюсь... А вот, батюшка, коли милосердный господь еще приведет вам утонуть либо на лихих людей натакаться, да коли мне случится в том месте быть, не сумлевайтесь, спасение окажу скорое. Чихнуть не успеете, батюшка, — восторженно молол Пугачев, плохо вдумываясь от волнения в смысл слов своих.

Но господа и благодетель сразу поняли, что слова его искренни, что идут они от простого сердца, и снова засмеялись.

— Как звать тебя, молодец хороший? — вытирая глаза от веселых слез, спросил купец.

— Емельян Пугачев, ваша милость, казак донской.

— Запиши, пожалуйста, Ермолай Фомич, — обратился купец к городничему. — О здравии раба божия Емельяна попам своим молиться прикажу.

— А вашу милость как звать-величать по изотчеству? — спросил Пугачев, туго затягивая по длиннополому чекменю кушак.

— А меня Петром Силычем зовут, фамиль Мешков...

— Хорошо, батюшка... Авось повстречаемся когда. Я тоже вспоминать вас стану. Прощевайте, батюшка... Оздоравливайте... — кланяясь, сказал Пугачев и, весь набитый серебром, направился к выходу.

Оделив народ и передав часть денег Семибратову за его услуги, Пугачев поехал со своим дружком к собору; там, в келейке под колокольней, светился огонек, там жил соборный пономарь, торговавший свечами и просвирками. Хотя было уже одиннадцать

часов вечера, но пономарь еще не спал. Ванька Семибратов купил за пятак толстенную, перевитую золотой фольгой свечу, велел пономарю завтра поставить ее образу владычицы, а Пугачев обменял семьдесят рублей на семь золотых империалов.

— Неужто у тя золота-то нет боле? — спросил он пономаря. — У меня серебра еще с сотнягу наберется. Все карманы оттянуло. А мы с товарищем завтра в дальний путь тронемся...

— А ежели собираетесь в дальний путь, советую тебе, казак, золото зашить либо в штаны, либо в шапку. А то неровен час, — время лихое ведь, сам чуешь.

Пугачев согласился. Пономарь, горбун с длинными, как у монаха, волосами и в закапанном воском кафтанишке, взял очки, иголку, ножницы. Выдав горбуну четыре империала, Пугачев повернулся к нему спиной и попросил зашить золотые монетки в заднюю часть штанов, пониже гашника. А три остальных империала стал самолично зашивать в шапку, благо там дырка подходящая была. И только вышли они с Семибратовым из келейки, как подкатился к ним подвыпивший, маленького роста человек с косичкой, голос писклявый, с гнусавинкой. Шея у него обмотана шарфом, кафтан приличный, с галунами.

— Господа казаки, — загнусил он, — чую, вы при капиталах, вы деньги у горбача меняли, я в окошко подглядел. Шагайте за мной, в веселое место доставлю вас... Винцо, бабенки, чего хочешь, того просишь...

— Да кто ты сам-то? — нахмурил брови Пугачев.

— Не сумлевайтесь, станичники. Я человек казенный, всему городу вестный, канцеляристом с прописью состою в некоем богоугодном заведении.

— Вроде как из крапивного семя, значит?

— Вроде Володи, на манер Кузьмы, хе-хе... Именитый купец Мешков, коего сатана утопить хотел, а бог спас, двоих ребятенок моих крестил, кумом мне доводится. Не сумлевайтесь. Шагайте. А то все питейные в канун завтрашнего праздника закрыты, ночь ведь... Ну, а там, у Федосьи Ларионовны, завсегда

веселье... Она кума моя. Скучать, хе-хе, не доведется.

Казаки малость подумали, помялись... А что же, после таких скоропоспешных делов, пожалуй, не грех и покуролесить! И они втроем поехали. Пугачев посадил гнусавого человечка позади себя, велел крепче держаться за опояску.

Весело ли было в веселом доме, ни Пугачев, ни Семибратов не упомнят. Утром проснулись они среди могил на кладбище, оба их коня к березе привязаны, травку щиплют, в кустарнике распевают малые пичуги, в дальнем углу хоронят покойника, «вечную память» попы с дьячками тоскливо тянут.

— Батюшки! — закричал Пугачев, хлопнув себя по карманам. — Ванька, а где же деньги?

Семибратов пошарил оторопело в пустых своих карманах, сел на могилу, затряс головой и молча заплакал. Ну до чего ему жалко было двадцати пяти рублей! Сердце Пугачева тоже заскучало.

— Вот как умыли нас с тобой, спасибо, спасибо, — растерянно бормотал он, ощупывая зад штанов и шапку. — И чего ты, дурак, толсторожий, воешь? Неужто приличествует казаку слезами умываться? Не хнычь, дурак. Золото все в целости у меня. Что в шапке, что в штанах. Не добрались. А ведь их, чуешь, сволочей-то, воришек-то, помню, много крутилось возле нас. У меня боле сотни выкрали... Ах, злодеи, ах, ироды... Ты вот что скажи: теперь ли нам пошукать по канцеляриям да того гундосого дьявола саблей зарубить, али как возворотимся с Камы расквитаться с ним?

— Я на Каму ехать не в согласье, я домой подаваться буду, — буркнул Семибратов, вытирая кулаком слезы.

— Дурак... Да что у тебя в Зимовейской-то — жена да малые дети, что ли? Казак всю жизнь долю свою искать по свету должен. А ты что? Баба.

— Горазд далече туда ехать-то.

— А ты нешто забыл, — закричал Пугачев, заско-

чив на могилу и поправляя покосившийся крест, — ты забыл, как король Фридрих с войском тысячу верст за две недели пробежал? А мы чем хуже Фридриха? Айда!

Пугачев добыл из шапки золотую монету, и вскоре они оба с Семибратовым, накупив всякой снеди, сидели в шалаше деда-дегтяря на конной площади. Выведав у него все, что им надо было знать про путь-дорогу, казаки направились на базар, разыскали там своего земляка-станичника. Пугачев послал с ним своему семейству пять рублей, велел сказать Софье Митревне и матери поклоны, и чтоб они не сумневались: Пугачев едет с Семибратовым на Каму за товаром. Семибратов своей старой матке тоже отправил рубль-целковый.

К полдню, недолго думая, казаки на лодке переправились чрез Волгу (лошади греблись за лодкой вплавь), мало-мало отдохнули на берегу, помолились на царицынские церкви за рекой, поцеловались и, вскочив в седла, приняли путь на север.

ГЛАВА IX

Путь-дорога. Барская нагаечка. Добрый барин

1

Время стояло теплое, ехали с приятностью, ночевали у костра где-нибудь в поле, в перелеске, а то и в барской роще. Но когда задождит, случалось коротать ночи и по крестьянским избам. В пути-дороге насмотрелись казаки и худого и доброго. Впрочем, доброго-то в крестьянской жизни видели они немного.

Однажды в праздник — троицын день был — пред казаками предстало странное зрелище. С покрытого лесом пригорка спускалась по дороге навстречу казакам большая вереница всадников. Впереди на черном коне ехал краснорожий пожилой усач-помещик в желтых штанах и зеленом казакине внакидку, на щека-

стой большой голове его — какой-то плюгавенький, блином, картузик. Он неуклюже, локти врозь, восседал копной в богатом седле, а сзади него, на том же коне, прижавшись грудью к толстяку, сидела румяная, красивая, в красном сарафане, девка. Справа и слева от черного коня шагало, вихляясь и приплясывая, еще с десяток девок, рослых, румяных, одна краше другой, — кто с бубном, кто с балалайкой, кто с гитарой. А сзади двигались на холеных конях, по два в ряд, барские холопы — шуты, скоморохи, стремянные, доезжачие, в синих зипунах, в красных колпаках, у поясов — арапники. Все были пьяны. Ехали враскачку, многие клевали носом, чуть не падали с коней, «доставали ухом землю». По луговине рыскали три гончих пса. Вот помещик мазнул ладонью по усищам, подмигнул девкам и, широко разинув пасть, хрипло загорланил с присвистом:

Ходила младешенька по малинку!..
Фю-ю!

Он лихо взмахнул рукой, и девки, а за ними и дворня, грянули:

Наколола ноженьку на былинку!

Загудели струны, забрякал бубен, залились берестяные рожки, подвыпившие девки на ходу пустились в пляс. Высоко задрав подолы, они кружились, подскакивали, взлягивали босыми белыми ногами, вздымая пыль. И вся эта компания двигалась вперед с хохотом, песнями, дудками, визготней и гамом.

Казаки остановились на обочине дороги. Пугачеву захотелось срубить барину башку.

— Шапки долой! — увидав казаков, гикнул помещик и остановил коня. И все остановились. — Кто вы такие, сволочи? Шапки долой!

— Не такой ты чин, чтоб пред тобой шапку ломать! — закричал и Пугачев, сдвигая брови к переносице.

— Поедем, тут пропадешь с тобой, — предостерег Пугачева Ванька Семибратов и было тронул своего коня.

Надвигаясь на казаков, помещик вскинул нагайку и во всю мочь заорал:

— Шапки долой, смерды!

— Сам снимай шапку, гладкий черт! — закричал в ответ вскипевший Пугачев и выхватил кривую саблю. — А нет, я ее вместе с собачьей башкой твоей сниму! Мы — гонцы самой государыни, по секретному делу едем. Вот таким, как ты, что от матерей да отцов девок себе на потеху волокут, повелено государыней руки назад крутить да на лоб клейма ставить. Геть, сучий сын!.. — не помня себя, весь объятый какой-то опасной, нахлынувшей на него страстью, кричал Пугачев.

Помещик на мгновенье опешил, разинул рот и застыл, как истукан. А девушки, слыша участливые и грозные слова чернобородого детины, бросились друг дружке на шею и залились слезами.

Помещик очнулся.

— Эй, псари! — закричал он с подвизгом. — Спускай собак! Трави их, смердов!.. Дуй в нагайки!

И вся дворня, крутя нагайками, послушно ринулась на казаков.

— Прядай, Ванька, доразу, — бросил Пугачев, — не сладить нам! — И казаки, под раскатистый хохот помещика, поскакали полем наутек.

Но барские лошади — не в пример казачьим; холуйские плети хлестко шпарили удиравших без дороги молодцов, только пыль летела из казачьих чекменей. Спасибо, повстречалась изгородь — донские лошадки легко перемахнули чрез нее, холопы отстали.

Пугачев поежился, посмотрел им вслед, досадливо засмеялся:

— Ну вот, Ванька, и барских нагаечек отведали.

— С тобой отведаешь, — недружелюбно ответил упарившийся Семибратов. — С тобой, бесов сын, и в острог недолго угодить. Больно горяч некстати...

— Мы, Ванька, — не слушая его, смеялся Пугачев, — мы с тобой, как под Цорндорфом в прусскую войну от конницы Зейдлица стрекача дали...

— А где у тя шапка-то? — испуганно закричал Семибратов.

— Не бойсь, шапка за пазухой. — Пугачев вынул шапку и ощупал зашитые в ней деньги.

Друзья свернули на проселок. Пугачев ехал молча, но весь ушел в думы, впервые в жизни повстречавшись сегодня лицом к лицу с российским самодуром-барином.

2

Они въехали в деревню и постучали под окном новой высокой избы. Поднялось волоковое оконце, за ним — сморщенное лицо старухи в повойнике.

— Чего вам, кормильцы?

— Каравай хлеба, бабынька, да кваску нет ли? Мы заплатим.

Старуха позвала их в избу, свешала на безмене каравай свежего хлеба, подала горшок молока, две деревянные ложки.

— Хлебайте-ка с богом. Корова-то у нас добрая, и хлеб есть, — старик мой на барщине в десятниках ходит, ну так барин-то бережет нас. А у других корки хлеба-то нету, по миру побираются. Вот кормильцы мои, вот... — Старуха села против них, подшибилась рукой, поджала сухие губы.

Казаки с аппетитом уплетали хлеб и молоко. Старуха была словоохотлива.

— А барин-то наш гвардии подпрапорщик Колпаков, Лексей Лександрыч, — зашамкала она, — седни ради праздничка Христова с девками на прогул поехал. Ну-к и мой старик-то с ним, по приказу. По приказу, кормильцы, по приказу, а то и званья не взял бы в такой сором поехать, ведь праздник седни, грех.

Казаки насторожились. Крепкие удары плеток еще не остыли на их спинах. Пугачев сказал:

— Мы видели вашего барина со всей челядью. И какая вам, крестьянам, неволя этакому борову девок-то отдавать своих? У нас на Дону так не водится.

— Ах, кормилец, — всплеснула руками бабка. — Вот и видать, что ты не тутошный, а дальний... Да

как же не отдать-то, родный ты мой. Ведь он барин, а мы верные рабы его. Волосья на себе рвешь, а отдаешь.

— Не себе, а ему, паскуде, надо волосы-то выдрать вместе с мясом, — сердито буркнул Пугачев: не глянулась ему эта смиренная старушка.

— Пошто ж выдрать ему волосья-то, кормилец? Он барин добрецкий, он хрещеных, кои покорны ему, не забиждает. А кои не потрафляют ему, уж не прогневайся... И девушков, ежели берет к себе, бережет их. Он, барин-то наш, Лексей-то Лександрыч, один, как перст, во всем роде своем великом остался. Матерь-то свою, Марью Степановну, в гроб вогнал чрез девок Лексей-то Лександрыч, гвардии подпрапорщик-то. Уж больно лаком до девок-то он, сердешный, ну, а матерь-то евоная супротив него шла, он ее смертным боем колотил, сколь разов Марья-то Степановна, упокой ее господи, под образами лежала, а тут, глядь-поглядь, и богу душу отдала... Ой, грехи, грехи... А так барин добрый... Ешьте, родимые мои, кушайте во доброе здоровье, я еще молочка-то приплесну...

— А я бы, бабка, свою дочерь не отдал, я бы его, змия, зарубил, — с горячностью сказал Пугачев, вытирая усы ладонью.

— Ах, ягодка моя, — возразила хозяйка, — эвот сосед наш, старик упорный, знаешь, такой да норовистый. И была у него дочерь Дуня, ну прямо картина писаная. Как-то девки купались, и Дуня с ними, а барин-то на брюхе подполз да из кустышков и высмотрел всех девок. А Дуня-т из себя белая, а Дуня-т из себя грудастая да, как солдат, рослая. Пуще всех поглянулась она барину. Вот призывает барин ейного родителя и строго-настрого приказывает предоставить ему Дуню: «Я, говорит, избу тебе новую сгрохаю, не забуду тебя». А Гаврило-то, дурак, в отпор пошел. Ну и... хошь и двоюродный брат он мне доводится, а кругом дурак. Барин все равно его Дуню отобрал, а ему, дураку, замест новой избы — страданья лютые...

— Ну, как же его барин отблагодарил-то?

— Ой, да и не спрашивайте, — отмахнулась старуха и поправила на седой голове повойник. — А то

как начну сказывать про него, про дурака, вся аж затрясусь и к сердечушку подкатывает, — скосоротилась она, заморгала белесыми глазами и примолкла.

Пугачев все понял, вздохнул, с неприязнью посмотрел на старуху и спросил:

— Сколько с нас причитается?

— Да чего ж, ягодка моя... За ковригу положь копеечки две да за молочко хошь копейку.

— Сдается мне, что избу-то новую барин не зря тебе поставил. — И Пугачев выбросил на стол деньги. — Уж, полно, не отдала ль и ты барину-то на поругание дочерь альбо внучку?

— А тебе какое дело! — засверкала хитрыми глазами старуха, лицо ее стало злым. — Ну, ин отдала... Моя Марфонька, третий год пошел, как у барина живет, жистью не нахвалится... А через нее и нам со стариком утесненья нет... Барина ублажать нужно, сынки...

— Ведьма ты! — крикнул Пугачев, и казаки пошли к двери. — Треба бы тебе, как курице, башку с плеч смахнуть, старой чертовке... Да вместе и с барином с твоим.

— Ах ты толсторожий. — Старуха схватила ухват, шустро поддела им Пугачева, как горшок, и, надувшись, с силой вытолкнула в дверь. — Вон, вон пошли! Вон из мово дома!.. Чтоб хлеб мой поперек горла тебе стал! Да чтоб от молока брюхо тебе разорвало на сорок частей, да чтоб утроба твоя распалась, да чтоб кишки на улку повылетывали! — Ругаясь так, она с проворством стукнула Пугачева, а за ним и Семибратова ухватом по затылку и закрючила дверь.

Казаки выскочили на улицу со смехом.

— Ай, бабка, — сказал Пугачев, — да она не уступит и нашим казачкам. В военном артикуле она гораздо смышленая...

Семибратов молча потер затылок. Они осмотрелись. Среди двух десятков вросших в землю, крытых трухлявой соломой убогих хатенок красовались три хороших избы: бабкина да две через дорогу.

— Зайдем-ка к старику, любопытства для, как его... Гаврила кабудь, — сказал Пугачев.

Чрез минуту они были в завалившейся набок, подпертой тремя слегами избенке. На улице яркий день, а в избе сутемень. Скамью, куда можно сесть, казаки отыскали ощупью.

Маленькое оконце, затянутое вместо стекла бычьим пузырем, солома, как в хлеву, на земляном полу, черные стены, под потолком облако вспугнутых мух, у печки стадо тараканов. Глиняные, обвитые берестой горшки на полке, светец с корытцем, на скамьях две прялки да валек, возле двери голик, лохань да рукомойник — вот и вся утварь.

Да на скрипучем дощатом настиле, на козлах, вытянув обмотанные тряпьем ноги, не переставая стонет хозяин. Он богатырского сложения, в русой бороде, с сильным выразительным лицом. Большие серые глаза из-под густых бровей смотрят строго и печально...

Казаки обсказали, что́ они за люди, куда путь правят, где были, с кем встречались. Обсказали и про бабку.

— А изувечил он, кровопивец, мои ноженьки, вот, послухайте как, — перестав стонать, гулким мужественным голосом проговорил Гаврила. — Гниют мои ноженьки, ни днем, ни ночью спокою не вижу, смерть зову, не идет. — Он тяжело приподнялся и размотал изуродованную ногу.

Казаки, взглянув на увечье, горестно закачали головами. Всю ступню раздуло, подошва и пальцы черные, в мокрых волдырях, кровоточат, истекают гноем.

— Гниют, головой гниют, — болезненно повторил хозяин. — Нет ли у вас, люди добрые, средствиев каких? Чем-чем только не пользовали меня, а все без толку: и куриным-то наземом мазали, и бараньим осердием, и тараканов толкли да прикладывали, и ребячьим мочивом пытали мыть... Знахаря да коновалы бают: доведется, мол, обе ноги напрочь рубить. О-хохо... Вот тебе на... Были-были ноги, а тут нетути. А он, изверг, барин-то наш, анафема проклятая, не велел меня домой-то тащить... Пускай, говорит, сам ползет на карачках. Как сняли меня это с костра-то, я без памяти упал...

— С какого костра? — изумился Пугачев.

— Да нешто бабка-то не сказывала вам? Как случился промежду мной да промеж барином из-за дочери моей разговор, я крутенько ответил: мол, в каких это законах сказано, чтоб единое рожóное дитятко барам на потеху отдавать? Я, мол, до губернатора дойду, до государыни, а напредки тебя, мол, кровопивец, разорву! Да и схвати тут я барина за глотку, да и брякни оземь. Ой, сударики, что и подеялось тут... Меня сгребли, свалили, а барин-то зачал меня лежачего топтать. И велел он кострище запаливать. Господи помилуй, господи помилуй... А как прогорел кострище, велел барин по огневым угольям взад-вперед меня, разутого, босого, под руки водить. Я дурью заревел, аж свет белый закачался, хотел подкорючить ноги-то, — не тут-то было, барин как зыкнет на холопов, они и повисли, как собаки, на ноженьках моих... Ой, да лучше бы в костер меня кинули. Легче бы...

Русский богатырь поднял пудовую руку, прикрыл ладонью глаза и заплакал.

Пугачеву не хватало воздуха. Он растерянно глядел то на искалеченную ногу, то в лицо сидевшего бородача, тяжело вздыхал, глядел и ничего не видел.

— Избу мне рубят новую, сказывали. Дунюшка схлопотала будто. А куда мне изба? Гроб мне надобен... — Терпение Гаврилы лопнуло, он сморщился, вытер слезы, побелел от несносных мук и, протяжно застонав, упал на спину.

Пугачев от всей своей бедности положил на стол серебряный рублевик. Казаки отдали хозяину низкий поклон, сказали: «Оздоравливай!» — и зашагали к двери.

— Ведь я не один, люди добрые, ведь семья-то у меня четыре души, — говорил им вдогонку хозяин, — да на барщину всю деревню угнали, даром что праздник великий... Ох, господи помилуй, и попить-то некому подать... Дунюшка моя, Дунюшка... желанная...

Удаляясь, казаки слышали, как богатырь вновь застонал, заплакал.

До самого поздна казаки ехали молча.

8

За целую сотню верст ходили слухи о милостивом богатом помещике Иване Петровиче Ракитине.

А вот и сельцо Ракитино, деревянная церковка на пригорке, березовая роща, белый барский дом. Избы хорошие, окна высокие, рамы остеклены, сверх тесовых крыш выведены трубы, — значит, от барина в дровах отказу нет: жилища топятся не по-черному. Пред избами густые палисадники, и земли на задах под огородами довольно. И сами крестьяне одеты почище, нежели в других деревнях, и видом они поприглядней, и ухватками порасторопней, и нет забитого, униженного выражения в глазах: люди как люди, давно таких не видывали на своем пути казаки.

Остановились они на роздых в избе дедки Архипа. Семья небольшая, старик с женой да сын Влас, первейший кузнец на всю округу, собой красавец: рослый, крепкий, кудрявый, глаза веселые. Девки по нем сохли, а он жениться не спешил, хотелось ему пò сердцу хозяйку выбрать.

Старуха готовила к обеду тюрю на квасу с аржаными сухарями да с толченым луком, еще горох да кашу гречневую.

— Все балакают, больно добер барин-то ваш... Верно ли? — покрестившись на иконы, спросил Пугачев.

— Верно, верно, проезжающий, — с готовностью ответила старуха.

А кузнец Влас ухмыльнулся и сказал:

— Хвали рожь в стогу, а барина в гробу... Они все на одну стать...

— Ой, да что ты, сынок, очнись, — замахала на него мать руками.

— Слава те Христу, за нашим за Иван Петровичем жить можно, — заговорил старик, накрывая на стол и косясь на сына. — Назови-ка его барином, он живо заорет на тебя: «Какой я тебе барин, я Иван Петрович. Не сметь меня барином звать, а то на конюшне задеру!»

— Неужто и он дерет, хороший барин-то? — спросил Пугачев.

— Сроду никого не парывал. Да он пальцем не потрожит... Вот он какой... Ну, барыня, верно, что... с характером. Ощо брат евонный был, Борис Петрович, полковник отставной, они сообща владели деревнями-то, боле двух тысяч душ под ними... Эвот сколько! Ну, Борис-то Петрович отказался от своей доли. Созвал наше сельцо, сел в коляску, да и говорит: «Прощевайте, говорит, крестьяне. Я больше не помещик вам, а вот в чем я был, в том и уезжаю от вас». Да и укатил. Вот он какой, Борис-от Петрович. А глядя на него, а может статься, уговор промежду братьев был, Иван-то Петрович хотел нам полную волю объявить и бумагу сготовил такую да в Питер отослал. Ну только прошло после того разу много ли мало ли время, как вызывает его царица к себе в столицию, да и говорит ему, — это царица-то: «Ты что же это, говорит, Иван Петрович, миленький, такие дела хочешь зачинать, чтобы мужикам вольную объявить? Этого, миленькой, делать не моги, а то, говорит, другие-прочие мужики прознают да по всей империи моей бунт подымут — волю давай им. А я всему хрестьянству воли не могу дать, а то дашь волю мужику — помещики на меня, на государыню свою, разозлятся да, чего доброго, пристукнут где алибо отравы в кушанье подмешают, ведь вокруг престола моего, говорит, их полон дворец. Запрещаю, говорит, тебе, миленькой Иван Петрович, сиди, как сидел, и не рыпайся, а будешь рыпаться, так я тебя самого на чепь посажу». Так с тем Иван Петрович и вернулся. Да вот он — легок на помине, глянь!

Архип выставил в окно бороду, поклонился, сказал:

— Здорово-ти живешь, Иван Петрович! Здорово, отец наш.

— Здравствуй, Архип Иваныч, — ответил барин. Он невысок ростом, сухощав, на бритом умном лице большие темные глаза, из-под шляпы седые кудри, одет в английский пестрый казакин, в руке трость с золотым набалдашником, у ног скачет собачонка

Крошка, с котенка ростом. — Это какие люди к тебе прибыли? Ай, сколь расчудесно седельце! А вот это ведь казацкое седельце-то. И лошадки доброездные... Да уж, полно, не казаки ли у тя? Покажь, покажь их мне...

Пугачев с Семибратовым вышли на улицу и поклонились. Помещик Ракитин выведал у них: кто, куда, зачем, и сказал:

— Собирайтесь ко мне... Архип Иваныч! Не прогневайся... Это мои гости, мои гости. Я люблю гостей... А то — скука. Как раз к обеду утрафим. Я еще не ел с утра. Ем мало. Мне семьдесят лет, а в перегоняшки еще могу. Берите лошадей, собирайтесь. Про войну порасскажете, мы с женой любим про войну, у меня под Цорндорфом два сына убито, больше никого нет. Брат ушел. Я зело люблю гостей... — Он говорил резко, быстро, каким-то раздраженно-капризным голосом.

Казаки повиновались. Барин приказал конюху поставить казацких лошадей в конюшню, задать овса, выскрести, выхолить их.

И вот казаки — на барской кухне, сидят, трубки курят, посматривают, как повар с кухаркой пироги из плиты тягают, тоненькой лучинкой тычут в них — упеклись ли. У казаков слюни пошли: все бы съели, всю бы кухню, уж очень вкусный дух от плиты валит. Приходят старые бабки да старики с горшками, с плошками, поваренок отливает им в горшки щей, мяса накладывает. Благодарят, крестятся, уходят.

— Кому же это? — спросил Пугачев.

— Крестникам Иван Петровича да кумовьям, да мало ли у него. У него, почитай, полсела их. Надоели, вот тебе Христос. Барыня сердится — гони, говорит, их, а барин велит милостыню творить. Вот и бьешься, — брюзжал толстобрюхий повар с перебитым посередке носом. — О многих господах я слыхивал, а такого теленка, как Иван Петрович наш, еще свет не родил, вот тебе Христос. Все чегой-то пишет да пишет, да гостей водит к себе с большой дороги... Этта двух слепых приволок к себе, двух побирушек-пьяниц, в чистую половину завел, велел божественное петь. Ну,

барыня забоялась, как бы крохоборы вшей не натрясли, вытурила их. Барин осерчал, три дня не разговаривал с барыней, дулся, а драться чтобы промеж себя, этого у наших господ не заведено...

— А мужики-то у вас кабудь неплохо живут, — промолвил Пугачев.

— А чего им, — ответил повар, переворачивая лопаткой цыплят в жаровне. — У нас много мужиков в отхожий промысел идут, в Москву да в Нижний. Добрый заработок имеют, барину ладный оброк платят. Взять Хряпова, мясника, Нил Иваныча, он говядину во дворец поставляет в Питере. Он нашего барина крепостной, Хряпов-то, а вольную барин не дает ему. Наш барин упрямый, не приведи бог. Ему хоть кол на голове теши... — Повар потер брюхо, съел поджаристую корочку от цыпленка, сказал: — Хряпов-то намедни приезжал сюда, сказывал, быдто царица вольную мужикам собирается объявить, быдто епутаты со всей земли съехались в Москву — помещики да торговые люди. Есть, говорит, малость епутатов и от крестьян вольных, а от крепостных мужиков ни одного. Вот мы и дожидаемся великого решенья... Только, что ни говори, а покудов помещики живы, мужикам воли не видать.

Пришла из горниц женщина лет тридцати, некрасивая, курносая, лицо в оспинах, брови вылезли, одета неопрятно. С казаками — ни здравствуй, ни прощай, нюхнула воздух, поморщилась, буркнула что-то повару, вильнула хвостом, ушла.

— Кто такая? — спросили казаки.

— Да в горницах услужает, дворовая девка Марьюшка, сызмальства при господах живет.

Невтерпеж стало казакам, есть захотелось вот как... Пугачев ласковым голосом сказал повару:

— Эх, добрый человек, хоть бы варева-то плеснул нам малую толику, щец-то...

Но в эту минуту быстро вошел в кухню молодой лакей в сером сюртуке.

— Ну, как, Платоныч, пироги готовы?

— Готовы, — ответил повар.

Тогда лакей, поклонясь казакам, проговорил:

— Господа приказали просить вас откушать с ними.

— Как? — будто ошпаренные вскочили казаки. — Благодарствуем, мы как-нито здеся... Мысленное ли дело!

— Такова воля Ивана Петровича... Прошу.

— Постой, приятель, — сказал Пугачев. — Ведь мы с дороги. Хошь бы пыль из штанов повытрусить да сапоги деготком трохи-трохи смазать.

Лакей улыбнулся, хлопнул в ладоши, крикнул вбежавшему из горниц мальчишке-казачку:

— Щетку! Вычисти на крыльце гостей, умыться подай. (Пугачев, подмигнув Ваньке, прыснул в горсть.) Сапоги сырой тряпкой вытрешь... — И, обратясь к казакам: — А дегтем смазывать невозможно: первым делом — ароматы по комнатам пойдут, вторым делом — собачке вредно, головка разболеться может у них...

Пугачеву стало совсем весело, он тихонько всхохотнул и головой покрутил.

Вот казаки и в столовой. Они в длиннополых с красными лацканами опрятных чекменях и при саблях. Собачонка загремела бубенчиками, подскакала к гостям на трех лапках-спичечках и, поджимая четвертую лапку, звонко взлаяла на них, словно канарейка зачивикала. Она показалась широкоплечему Пугачеву совсем махонькой, ну прямо с блоху. Однако собачонка воображала себя страшным зверем, — она то и дело оглядывалась на хозяев, пучила бисерные глазки, свирепо оскаливала крохотную пасть: «съем, съем, съем», вгрызалась в сапожища Пугачева, делая вид, что сейчас в клочья разорвет казака и сожрет его вместе с сапогами.

— Не бойтесь, не бойтесь, — отозвалась из-за стола барыня, — песик не кусается.

— А кто ее ведает... — ухмыльнулся Пугачев, ради шутки пятясь от кукольной собачки и прикрывая рот ладонью: — Возьмет да и тяпнет.

Иван Петрович громко захохотал:

— Усь, усь!.. Крошка! Съешь их, съешь! Ну, присаживайтесь. Марфа Тимофеевна, не обессудь, —

заискивающе обратился он к жене, — донские казаки это... С прусской войны... Порасскажут... Любопытно.

Барыня пожала плечами и нахохлилась.

— Дозвольте нам сабли снять, ваше высокоблагородие, — браво вытянулся Пугачев, а глядя на него и Ванька.

— Голубчик! Да я по чину, коли хочешь, не высокоблагородие, а ваше превосходительство...

— Ой, прошибся я, господин барин...

— И не барин я, а... Иван Петрович.

— Вдругорядь прошибся! — крикнул Пугачев. — Дозвольте, Иван Петрович, нам с Иваном Семибратовым сабли снять.

— Снимите, снимите... Поставьте в угол... Это хорошо, — сказал хозяин, а хозяйка, чопорная дама в кружевном чепце, пристально рассматривала молодцеватых казаков. — Где вы сии тонкости переняли? — спросил хозяин.

— Будучи на прусской войне, а такожде в городе Кенигсберге и в Берлине, доводилось иметь видимость, как господа офицеры садятся снедать за стол, токмо сняв сабли... — Сознавая, в каком он обществе находится, Пугачев старался выражаться самыми высокими словами.

Пищу подавали два лакея. Пугачев присматривался к господам, как они кушают: они пироги ножом режут да маленькими кусочками в рот, и он также; они рыбу без ножа вилкой ковыряют, и он также. А когда Ванька Семибратов стал очень громко чавкать, он пнул его под столом ногой:

— Не чавкай... Свинья ты, что ли, у корыта?

Хозяин расспрашивал казаков про войну. Пугачев отвечал очень складно, слегка подвирая. А как подвыпил, стал врать гуще. Ванька Семибратов, в отмщение ему, тоже толкнул его локтем и шепнул:

— Ты всякую дуринку-то не городи, бесстыжие твои бельма. Они, чай, с понятием, хозяева-те.

Захмелел и хозяин. Он угощал казаков денисовкой.

— Сам Петр Первый уважал ее. Я опосля шведской баталии к государю на ассамблею угодил. Фе-

стиваль такой, по-тогдашнему — ассамблея. Вот было попито... Проснулся под столом.

Пугачев широко ухмыльнулся, чокнулся с хозяином, сказал:

— Уж больно крестьяне хвалят вас, Иван Петрович.

— Они-то меня хвалят, да я-то их не больно... Иной раз слушаться не хотят. Я стараюсь, как бы лучше, а они, того не понимая, думают, что это во вред им, сердятся на меня. Вон такой есть Пров Михайлыч, хороший мужик, работящий, я ему: «Здравствуй, Пров Михайлыч!» — а он, ни слова не ответив, этак срыву отвернулся, бороду вверх, да и пошел от меня прочь чесать. А вся и провинность моя в том, что он хотел кабак открыть и денег просил у меня на обзаведение, а я отказал.

— Значит, он не в полном своем уме, Иван Петрович, — вежливо проговорил Пугачев, и, полагая, что для приятного обхождения в знатном обществе подобает как можно чаще хохотать, он вновь захохотал. Так делывали, бывало, офицеры за столом губернатора Корфа в Кенигсберге. Вообще-то Пугачев привык хохотать громко, страстно, а здесь, повинуясь собственной находчивости, он похохатывал нежно, благородно. Ванька Семибратов сурово вращал глазами, ел молча и, взглядывая на смеющегося товарища, всякий раз стыдливо прыскал в горсть. Эх, жаль, у Пугачева носового платочка нет, он бы показал, как настоящий форс пускают...

Хозяин все подкладывал да подкладывал казакам пирога. Пирог был сдобный, слоеный, казаки отродясь такого не едали. От пятой доли Емельян Иваныч отказался:

— Благодарствую, горазд объелся, не лезет, — и очень громко, по казачьей привычке, рыгнул. Допустив столь великую промашку, он сразу спохватился, выпучил на строгую барыню глаза и замер.

Барыня милостиво улыбнулась и, приняв из рук лакея клубнику со взбитыми сливками, протянула эту сладость Пугачеву.

Вечером казаки пили чай на кухне с поваром, поваренком и кухаркой. Затем пришли два старика крестьянина.

— Вот вы, люди чужедальние, проехали много мест, — сказал повар и почесал крючковатым пальцем перебитый нос. — Не довелось ли слышать вам, будто бы государь Петр Федорыч Третий жив-живехонек и появился особой своей не то под Смоленском, не то под Полтавой во образе простого вахмистра?

— Кабудь слых такой влетал в уши, — ответил Пугачев. — Да ведь мало ли дурнинушку какую загибают... Врут!

— Врут ли, нет ли, не нам судить, — возразил повар, разламывая подсушенную на плите самодельную баранку. — Барин наш тоже говорил — врут, а промежду прочим, на свете всяко бывает.

Пугачев подумал, сказал:

— Ежели б Петр Федорыч объявился, он бы снова на престол сел.

— А кто же его пустит-то? Уж не государыня ли наша? Ха! Чудак ты, вот те Христос... А еще казак донской...

Пугачев сердито откликнулся:

— Коли народ похощет — быть ему сызнова царем, а не похощет — не прогневайся.

— Во-во-во! — И повар ткнул в грудь Пугачеву пальцем. — Ежели он, батюшка, истинно жив, в народе укрепу снискать должóн. А народ-то попрет...

— По-о-прет! — подхватили старики крестьяне. — Мир за кем хошь попрет, лишь бы польза миру была.

4

Казакам отвели на ночь горенку рядом с прихожей. Они разоблаклись и легли. На колокольне пробило девять часов. Молодежь по праздничному делу еще водила на луговине хороводы. В соседней горнице свет горел. Взад-вперед ходил Иван Петрович, сам с собой чего-то бормотал. Вот заиграл он на кла-

викордах и запел баском. Но вскоре музыка оборвалась, он закричал:

— Марьюшка! Марьюшка! Позови сюда Марьюшку!

Любопытные разговоры за стенкой начались. Пугачев встал, подошел на цыпочках к стеклянной занавешенной двери, чуть загнул край занавески. Его не видать, зато ему все видно: в соседней горнице горит под потолком целый куст свечей, у печки растрепа Марьюшка стоит; по паркетам вышагивает, руки назад, барин. Щеки его от винца румяны, сам слегка пошатывается.

— Вот что, Марьюшка, — говорил Иван Петрович, усаживаясь в кресло и отпивая из серебряного жбана квасу. — Ты в моем доме, Марьюшка, с малых лет отменно служишь. Я положил обет богу пещись о судьбах своих крепостных. А тебе тридцать пять скоро, а жизнь твоя зело не устроена. В девках ты... Я тебя, Марьюшка, замуж собираюсь выдать...

— Ой да, Иван Петрович, — стала пожимать плечами, отмахиваться рыжая, курносая растрепа Марьюшка. — Да и кто меня этакую возьмет? Никто не польстится, не позарится... Разве что пастух Гараська, колченогий дурачок...

— Да уж ежели я посватаю, женится на тебе самолучший молодец... Уж будь спокойна... Иди, приберись.

Марьюшка радостно засмеялась, закрыла лицо руками, убежала, тяжело пришлепывая голыми пятками. Пугачев шепнул Семибратову:

— Ванька, однако барин-то тебя хочет окрутить на Марьюшке...

— Ни в жизнь не соглашусь.

А барин между тем велел позвать кузнеца Власа.

— Вот что, Бова Королевич, — сказал он, окинув взором вошедшего красавца парня. — Я тебя, Влас, оженить хочу.

— Ваша господская воля, батюшка Иван Петрович. — И Влас, часто замигав, повалился барину в ноги.

— Встань да беги скорей домой, приоденься. И чтоб опрометью сюда.

Влас бросился домой. У Пугачева затомилось сердце. «Господи ты боже мой, — подумал он. — Так неужели он кузнеца принудит на такой растопырке ожениться?.. Не может того быть...»

Первой явилась Марьюшка в скрипучих полусапожках, в кумачовой кофте, рыжие волосы коровьим маслом смазаны, косичка с желтой ленточкой, толстые щеки подрумянены «куксином», вылезшие брови жженой пробкой подведены. Нескладная, с плоской грудью и широкими, как у лошади, бедрами, она заискивающе заулыбалась барину, обнажая большие, вкривь и вкось понатыканные зубы.

— Ну вот, — сказал барин, — ну вот... Сейчас и суженый припожалует.

Она провела пальцем под носом, почесала под мышками и снова прислонилась спиной к печке.

Чрез полированную гладь стола из карельской березы, звеня бубенчиками, проскакала в переступь на лапках-спичечках черненькая Крошка, подпрыгнув, уселась барину на плечо, стала лизать ему ухо. Тут послышались мужественные торопливые шаги, в горницу вошел красавец Влас в синего сукна поддевке. Вдруг он как вкопанный остановился, перевел вспыхнувшие глаза с барина на Марьюшку, голова его упала на грудь, богатырские руки стали комкать-мять войлочную шляпу.

— Ну вот... и суженая тебе, Бова Королевич. Она хорошая слуга мне... Я не покину вас, — промолвил барин и, положив Крошку на ладонь, стал пальцем щекотать ей брюшко. Собачка покряхтывала, отлягивалась лапкой.

— Люба ли? — громко спросил Власа барин и выжидательно строго поджал губы.

Марьюшка захихикала, ужимчиво прикрываясь кумачовым рукавом, а Влас, всхлипнув, схватился за голову, упал барину в ноги.

— Ваша воля, ваша воля, — бормотал он, задыхаясь. — А только не в согласье я... Не губите!

— Вот и хорошо, вот и отлично, — прикинувшись глухим, перебил его барин и закричал: — Посмел бы ты не согласиться!.. Да я бы в солдаты тебя продал, дурака!

Легкой поступью вошла старая барыня, на плечах кружевная накидка, на ногах бисерные туфли — дар игуменьи женского монастыря, вошла и важно села против мужа.

— Марфа Тимофеевна, вот будущие супруги. — И барин повел холеной рукой от Власа к Марьюшке.

Барыня вскинула к глазам лорнет, пожала полными плечами, нахмурилась, сердито залопотала не по-русски. Барин, пристукивая ладонью в стол, стал резким голосом что-то возражать ей. Так спорили они с минуту. Барыня опять пожала плечами, запрокинула голову и устало закрыла выпуклые, под черными бровями, глаза.

— Значит, Марфа Тимофеевна, приданое Марьюшке сшить из господского добра, — сказал Иван Петрович своей супруге. — Чтоб обильно было всего, большой сундук. Власу выдать добротного сукна тулуп, валенки и кожаные сапоги. Хорошую корову им дать, удойницу, и десяток овец. Свадьбу сыграть господским пивом и харчами... Кончено! В то воскресенье свадьба. Ступайте.

Кузнец вышел в коридор шатаясь. Он шел коридором нога за ногу, прикрыв глаза ладонью, подергивая плечами и отрывисто всхлипывая.

— Влас, — тронул его сзади босоногий, в одних исподних, Пугачев. — Как же это, а?.. Мысленное ли это дело...

— Смертным боем бить ее буду, стерву, — прохрипел Влас, глаза его стали страшными. — Году не пройдет, как сдохнет...

Он ушел. Надев штаны, чекмень и саблю, Пугачев на цыпочках вошел в барские комнаты. Он увидел лядащий зад барина и подметки его туфель: стоя на коленях, барин клал земные поклоны перед образом нерукотворного спаса. Кукольная собачонка сидела возле, поджимала то левое, то правое кукольное ушко и, вторя барину, мелодично полаивала на икону.

Пугачев кашлянул. Собачонка подпрыгнула, замелькав лапками, бросилась к вошедшему и залилась-запела канарейкой. Барин быстро поднялся, запахнул халат. Пугачев стоял навытяжку, каблук в каблук.

— Что скажешь, Емельян Иваныч, гость милый?— спросил помещик, сдерживая раздражение. — Не спишь еще?

— Не сплю, Иван Петрович, батюшка. Разговор ваш ненароком слыхал насчет кузнеца-то... Плачет кузнец-то, горазд горюет... Не можно ли, батюшка, в обрат поворотить дело-то?.. Помилосердствуйте.

— Нет, Емельян Иваныч, — сухо ответил помещик и нахохлился. — Приказ главнокомандующего должен быть свят и не отменяется. Сам поди знаешь.

— Ой, барин, отменяется, — нахохлился и Пугачев, назвав Ивана Петровича барином. — Коли приказ никудышный, солдаты сами рушат его для ради спасения жизни своей. Вот вы, барин, богу-то молитесь, а ведь бог-то молитву-то вашу навряд ли примет. Не по правде поступили вы, барин. Уж вы не прогневайтесь, я по-простецки.

Рот барина помаленьку открывался, в больших темных глазах замелькали злые огоньки.

— Вы помышляете — Марье добро сделали, ан вы великое зло ей сотворили: ведь кузнец-то убьет ее... Да и себя прикончит... Две души загинут ни за что ни про что... А кто в ответе перед богом да перед добрыми людьми будет?

— Стерпятся — слюбятся, казак,— сердито вымолвил барин и, размахивая полами халата, стал быстро взад-вперед вышагивать, его седые кудри мотались возле ушей. — Да и какое тебе дело в мои распоряжения встревать? Подо мной боле двух тысяч душ крестьянства... Я сам знаю... Иди-ка спать, казак, — повелительно махнул он рукой к двери.

— Душ-то у тебя много, это верно, — ехидно сказал Пугачев, поворачиваясь к выходу, — а в самом-то тебе настоящей души и нет... Пар в тебе, как в собаке...

— Пошел вон, дурак! — притопнув, крикнул барин и побежал в свои покои.

— Верно говорится: барская ласка до порога. Прощевайте, ваше превосходительство! — вслед ему дерзко бросил Пугачев. И почему-то вдруг вспомнилось Емельяну Ивановичу то далекое и жуткое, что произошло с ним в прусском походе по воле атамана Денисова. Вспомнил все до мельчайшей подробности, даже почудилось, как чмокает, вгрызается в спину плетка палача-казака и горят от стыда, от боли скулы... Будто вчера все было!

Войдя в отведенную казакам горенку, он сказал Семибратову:

— Собирай хабур-чибур... Поедем... Лучше где-нито в поле заночуем.

— Что ж ты трясешься-то, как сучка?

— С Иваном Петровичем разговор имел, с благодетелем. Побранка вышла. Эх, да... чего там... Видать, все бары одним миром мазаны. — Он взял свое боевое седельце и рывком выхватил из-под подушки заветную шапку с зашитым в ней богатством.

Казаки вышли, хлопнув дверью.

ГЛАВА X

Село Большие Травы. Гром

1

Недели полторы спустя казаки уклонились от Волги: река пошла влево, они ударились вправо.

Рожь набирала колос, лето в этих местах стояло засушливое, на нивах попы служили перед иконами молебны о ниспослании с небес «дождевого лияния». Густые толпы испитых, впавших в отчаянье крестьян молились усердно, опускались на колени, припадали лбами к пересохшей от зноя земле.

Казаки, проезжая мимо таких богомолебствий, снимали шапки, тоже крестились, тоже просили дождя: чрез засуху подножного корма для их лошаденок было мало. Но небеса как бы заперли на

ключ свои плодоносные источники, «дождевого лияния» не наступало.

Народ терял последние надежды, народ ждал голода и мора.

Вот, верстах в пяти, село Большие Травы: белая церковь на горе, обширный барский дом, кучей, как овцы, грудятся серые избенки, в стороне лес синеет.

Должно быть, из села еле внятно долетали звуки набата. Казаки приостановились. Пожар, что ли, там? Но ни дыму, ни огня.

Ветер дул, рожь шумела, вербы гнулись.

Мимо казаков, высунув языки, к селу пробежали два белоголовых, стриженных под горшок парня с дубинами, следом за ними — черный, как цыган, крестьянин с топором в руке, за ним, вприскочку, две молодых бабы с молотильными цепами. Слева, прямо по меже, тянулся вожжой народ к большой дороге, справа спешили люди по проселку, поддергивая портки, бежали мальчишки, бежали девчонки с косичками наподобие мышиных хвостиков, и все торопились к селу, в гору, навстречь заполошному набату.

Ветер пугал бегучие выкрики, казаки только и смогли уловить:

— Солдат... Солдата выдрали... Барское гнездо спалил!..

Вот остановился возле казаков простоволосый дядя в лаптях, он вторнул в землю вилы, оперся о рукоятку, в груди у него хрипело, с красного лица лил пот.

— Братцы, нет ли покурить?

Пугачев сунул ему свою трубку, спросил:

— Это чегой-то у вас стряслося?

— А толком и сам не ведаю... Все бегут, и я побег, — уклончиво и хмуро прохрипел дядя, ударяя стальным огнивом по кремню. — А надысь барин трое суток в погребе держал меня на чепи прикованным, ну простыл я дюже, задышка берет... У нас барин, в рот ему ноги, огневой, хуже бешеного пса... А управитель-то лютей барина, из немчуры. Барину-т хвамиль Перегудов, ране в полиции служил, деньжищ нахапал да на уродце-колченожке, барыньке

нашей природной, оженился. А та богачка шибкая. Ну-к, я пошел, спасибо.

— Стой... Так чего ж там у вас приключилось-то, на селе-то?

— А приключилось вот чего... С час тому прибежал к нам из села верховой, вот прибежал верховой и созвал всю деревню нашу. Теките, говорит, православные, в село, у нас там буча подымается. Заслуженного капрала Ивана Иваныча Капустина барин выдрал. Капрал, говорит, пришел к своим в побывку, бравый такой солдат, в рот ему ноги, весь в медалях, в немецких сражениях нахватал наград. И девушку, говорит, он высватал себе добрую, хотел к барину идти, чтоб, значит, дозволил венцы надеть. А седни большой праздник случись. Капрал-то возьми да и встань, говорит, в церкви рядом с нашим зверем-барином, а сам весь в медалях и мундир добрецкого сукна. А у барина-то нашего, в рот ему ноги, ни медали, ни креста, даже звезды, как у генералов, и той нет. Ну, людишки, знамо, все на заслуженного солдата глаза пялят, поклоны ему отдают, здравствуются... А на барина никто и оком не ведет. Барина лютая зависть забрала. И приказал барин выдрать солдата при всем народе розгами. Как зачали, говорит, с заслуженного солдата-то, с капрала-то, мундер срывать да штанцы стаскивать, повалился капрал пред барином на колени, завыл: «Ой, да не срамите меня, кавалера заслуженного, при всем честном народе, в чем же вина моя?» И как зачали, говорит, его драть, он закричал в народ: «Мужики! Вашу кровь проливают. Заступитесь!» Народишко взбулгачился, зашумел да на барина: «Пошто невинного дерешь, злодей?» Тут барин из себя вышел, приказал крикунов хватать да сечь плетьми нещадно. Как это верховой обсказал нам, мы все и взбеленились. Я вилы сгреб, есть усердие такое вилами барские печенки тронуть. Меня Митродором звать... Фу-у, опять задышка. Да вы не военные ли будете?

— Казаки. С Дону.

— Ой, робята... Уж вы не оставьте нас, бога для, пособите... А то слых есть, управитель-немчура, в рот

ему ноги, из города войско требует, а город-то недалече от нас... Ой, что только будет, что будет... Фу-у-у...

Пугачев предложил дяде Митродору сесть на коня, и все втроем они двинулись к селу.

2

Улица и переулки большого села, куда въехали казаки, были шумны, суетливы. Крестьяне и крестьянки всех возрастов бежали к барской риге, кричали:

— Удавился, удавился!..

Казаки тоже поспешили за народом. Рига окружена густой толпой. Привязав коней к пряслу, казаки протолкались вперед. Под навесом на перекладине висел крепкого сложения, полураздетый нестарый человек. Спина, бока и грудь вдоль и поперек исхлестаны плетьми, сгустки крови запеклись на потемневшей коже. Лицо разбито, один глаз закрыт, другой страшно смотрит на толпу. Возле, на сером камне, растрепав седые волосы, дико воет мать покойного, заламывает руки, простирает их к замученному сыну.

— Замолчи, старуха, не воротишь, — стоя перед ней на коленях, гладит ее по сутулой спине широкоплечий старик, Иван Капустин; седая борода его трясется, по щекам, по бороде потоки слез. — Эх, сынок, сынок... Не стерпел поруганья, сам на себя руки наложил... Не сразили тебя пули немецкие, сразила нагайка барская. А уж ты ли не вояка был!.. Голова на войне проломлена, нога стреляна, плечо рублено... Эх, сынок, родная моя кровушка...

Впереди толпы, обнявшись со своею матерью, обливалась слезами красивая девушка, невеста замученного.

— Вот, братцы, подивитесь, какую издевку допустил сучий барин над капралом ее величества! — гулким басом выкрикнул корпусный, с большими рыжими усами, солдат в артиллерийской форме.

«Да ведь это никак Перешиби-Нос», — мелькнуло в мыслях Пугачева.

— Снимай с петли, нечего полицию дожидаться! — скомандовал усач. — Где мундир с медалями, нужно приодеть, да и в гроб класть...

Эти слова ударили плачущей матери в сердце, она взвизгнула и замертво повалилась с камня. Усач, перекрестившись и крикнув: «Режь веревку!» — подхватил мертвеца за ноги, а забравшийся на перекладину парнишка рассек веревку ножом. Мертвеца положили на солому. Кто-то подал усачу мундир покойного с тремя медалями: за Цорндорф, Кунерсдорфскую баталию и за взятие Берлина.

— Здоров будь, Перешиби-Нос. — И Пугачев тронул товарища за плечо.

— Ой, да, никак, ты, Пугачев? — всмотревшись в лицо казака, изумился Перешиби-Нос. — Да какими это ветрами тебя к нашему берегу-то пригнало?.. — И зашумел: — А где сучий барин, где управитель?! Хватать всех прихвостней!

Толпа, как отара овец, бросилась в гору, к помещичьему дому.

А Пугачев с Семибратовым, всех опередив на конях, уже были возле каменных, с колоннами, палат.

— Занимай двери! Становись возле окон, чтобы мышь не проскочила... Вяжи дворню! — командовал Пугачев и первый, а за ним народ, бросился в палаты.

Дворня разбежалась. Трясущийся старик дворецкий в ливрее с позументами опустился на колени, заикаясь сказал, что барин и барыня, как только ударили всполох, приказали заложить карету и угнали в город.

— А управитель где?

— Управитель тоже изволил уехать с барином, — сморщив бритое дряблое лицо, захныкал дворецкий.

— Врешь! Чего врешь, старый лизоблюд! — звонко вскричали только что прибежавшие в хоромы мальчишки. — Мы не столь давно видали его... Он, немчура, холера, по барскому двору в колпаке совался.

Рыжий дядя Митродор ударил дворецкого по уху, тот упал на четвереньки, под крепкими пинками крестьян заскулил, пополз в угол. Крестьяне, мужики и бабы, похватали со столов подсвечники, тарелки, скатерти, стали срывать с окон кружевные портьеры.

...А толпа во дворе сшибла с амбаров, с кладовок, с каретника замки, вывозила экипажи, вытаскивала упряжь, ящики с вином, окорока, банки с вареньем, выкатывала бочки с медом, огурцами, моченой брусникой.

— Ложи, ложи сюда!.. В одну кучу, — показывая костылем, кричал большебородый сухой старик в белом балахоне.

Вырвавшиеся из псарни собаки с остервенением лаяли в сто глоток. Десяток псов с расколотыми черепами, с отбитыми задами крутились по земле, сдыхали в корчах.

...Отряд крестьян с дубинками ошарил весь двор, все закоулки, управитель — как сквозь землю.

Удалее всех шныряли вездесущие ребята. И на крышах и под крышами, в колодец заглянули, в помойку слазили. Нет нигде.

— Да, может, в лес утек, анафема, в рот ему ноги! — хрипел на бегу дядя Митродор с вилами под мышкой; он торопливо, с жадностью, перхая и давясь, уплетал барский пирог.

Распахнули житницу. Огромная золотистая гора пшеницы. Из-под стрех выпорхнули ласточки.

— Вот где богачество-то! — изумились крестьяне, ошаривая глазами житницу. — А и здеся-ка управителя-то нетути... Куда же он схоронился-то?

Пугачев, карабкаясь, залез на гору пшеничного зерна, поймал ухом какой-то подозрительный сипящий звук, зорко осмотрелся, и на лице его промелькнула хитрая ухмылка.

— Ну, мирянушки, сейчас чудо будет, — приметив нечто необычное, с веселостью сказал он. — Трохи-трохи потешу вас... Гляньте! — Он нагнулся и зажал большим пальцем едва приметный кончик дудки,

вершка на два торчащий по-над зерном. Крестьяне разинули рты и затаили дух. Вдруг зерно зашевелилось.

— Ой, ты! Управитель! — в один голос воскликнули они и, раздувая ноздри, попятились.

Из зерна, как из омута, разом вынырнула толстощекая, с жирным подзобком, шарообразная голова в синем колпаке. Голова, глубоко вздохнув, разинула рыбий рот, сморщила приплюснутый нос, сощурила безбровые глаза, громко чихнула и по-кошачьи отфыркнулась. Все злобно захохотали.

Рыжий дядя Митродор от ярости не мог произнести ни слова, ему невтерпеж было садануть управителя в бок вилами, но он опасался Пугачева. Хватаясь за грудь, он только хрипел, сплевывал, скорготал зубами. По его заросшим рыжей шерстью скулам ходили желваки.

8

Весь обширный барский двор полон народа. Люди суетились, кричали, бестолково бегали то к риге, куда вели управителя, то к барским палатам, то в церковную ограду. Здесь, возле церкви, под березками, гуляки пили заморские вина, орали песни, плясали, плакали. Гульба была и вблизи барских кладовых: оголодавшие крестьяне, пустив в ход ножи и зубы, лакомились окороками, маринованными рябчиками, вялеными осетрами, а ребятишки дрались возле банок с вареньем, перемазанные, чумазые, они поддевали варенье горстями, глотали с наслаждением, защуривая глаза. Собаки повылезали из прикрытий, стали с народом ласковы, виляли хвостами, получали подачки.

Подвыпившие крестьяне поставленную Пугачевым возле дома стражу сшибли, оказавшего сопротивление буйной толпе солдата Перешиби-Нос помяли, он с руганью бежал.

Все тот же сивобородый, бровастый дед в длинном балахоне, тыча костылем, распоряжался в комнатах:

— Соломы, соломы волоките, православные!.. Все огню предать. Поганое гнездо. На наших кровях добро нажито...

Распалившиеся, с лихорадочным блеском в глазах крестьяне взад-вперед носились по дому.

— Православные, тихо-смирно выноси иконы, — тыча костылем в передний угол и крестясь, приказывал бровастый дед. — Святые иконы жегчи великий грех, по избам разберем... Выноси партрет Петра Федорыча, он о мужиках пекся, его баре замучили... Петра Ликсеича выноси, Великого.

— А царицу-те спасать? — вопрошала курносая растрепанная баба, держа в руках портрет императрицы.

— Катерину погодь выносить, становь к стенке, пущай горит... Она не больно-то нам мироволит, а все боле дворянчикам. Она ходоков наших в железа велела заковать... Соломы, соломы волоки!.. Эй, народы!

Из окон кувыркаются стулья, кресла, зеркала, хрустальные шкафы. Барские портреты в золоченых рамах проткнуты вилами, сорваны со стены, растоптаны.

Шум, гам в горницах и во дворе.

А по небу плывет туча, отдаленный громовой раскат прогудел, но его никто в суете не слышал.

...Подвели к барской риге толстобрюхого, на коротких ножках, управителя. Он без кафтана, в одном шелковом пропылившемся камзоле, в суконных кюлотах, в длинных чулках и щегольских туфлях. На него пристально и страшно таращился помертвевшими глазами только что пойманный и повешенный толпой барский, ненавидимый крестьянами староста.

— О майн готт, я очшень, очшень боялся мертва тела, отпущайте меня, пожалюста. — Немец не попадал зубом на зуб, трясся, воловья жирная шея и толстые обвисшие щеки налились кровью, безбровые глаза часто мигали.

— Веди его... В омут... Камень на шею! — неистово кричал народ, передние посунулись к управителю, чтоб растерзать его.

— Ой, сохраняйте майнэ жизня... мужики-крестьянчики добренькой... Станем очшень смирно жить

поживать... — прижимая к груди руки, тоненько выскуливал немец; голосом, глазами, всем существом своим он молил толпу о пощаде. — Люблю вас буду очшень, очшень.

— Хах! — язвительно, дружно, словно выстрел, хахнула толпа. — Любишь ты нас, как тараканов: где видишь, там и давишь...

И взвились, сотрясли воздух и душу немца мстительные голоса:

— Душегуб! Убивец!.. Двоих стариков плетьми задрал до смерти, женщину брюхатую не пощадил, опосля твоих палок умерла, Вавилу застрелил, барскими псами народ травишь, трем мужикам собаки горло перегрызли, Ваньку с Кузькой не в зачет в солдаты сдал... По твоей да по барской милости, убивец, шашнадцать могил на погосте!.. Ты всю вотчину перепорол. Вот ты как нас любишь... Братцы, а седни нешто не лил он нашей кровушки? Мы за невинного капрала вступились, а ты нас в кнуты, в палочья, в плети. Братцы хрестьяне, смерть ему! Любил, змей, бороды драть, люби и свою подставлять... В омут! В речку!..

— Мужичка очшень хорошенькие, добренькие... Мне барин приказал... барин, барин, ваша господин... Змилюйтесь!..

Вдруг все пространство опахнуло ярким светом, рванул, потряс землю страшный громовой удар. Бушевавшая под навесом толпа вздрогнула, разом взлетевшие руки закрестились: «Свят, свят, свят...» А управитель, побелев, пал на колени, заткнул уши, завизжал:

— О майн готт, готт... Смерть!.. Отпускайте меня в домочек...

Крестьяне издевательски захохотали, им было известно, что управитель до ужаса боится грома.

— А-а-а, покойника да грома небесного спужался?! — проговорил кудрявый парень. — Перекиньте-ка аркан рядышком с энтим. Подводи!

Управитель со страху онемел. Чьи-то мстительные руки накинули ему на шею петлю.

— Стой, не так. Треба, чтоб не сразу подох. — Кудрявый парень с серьгой в ухе перетянул аркан

с шеи на подмышки, петля охватила грудь, прошла под пазухами и туго затянулась на спине.

Вздернутый управитель закачался лицо в лицо с удавленным старостой.

— Доннер... Блиц... Мертвый тел... О майн готт... Что ви делайт? Сольдаты, сольдаты идут сюда... Офицеры, пушка... Снимайт меня, мушьицка шволачь!.. Шволачь!..

Ударил гром, управитель завыл, закашлялся, толпа из-под обширного, на столбах, навеса повалила вон.

Туча приближалась с великим шумом. От потемневшего неба мрак растекся по земле. Упругий порыв ветра взметнул пыль и сор, по-озорному задрал подолы сарафанов, распахнул полы зипунов, стал срывать шапки, трепать бороды.

— Мушьицка шволачь! Шволачь! Всех каторга! Сибир... — крутясь на веревке и потеряв всякую надежду на спасение, отчаянно выкрикивал управитель.

Ветер пошалил и стих. Но вот ему на смену с гулом, треском, как смерч, пронесся ярый ураган. Роща зашумела, закачала плечами, молодые березы внатуг согнулись до земли. Упали первые крупные капли. Опять сверкнула молния, тарарахнул гром, воздух разом присмирел. Из черной тучи обильными потоками хлынул дождь-проливень.

Всюду быстрый хлюпающий топот. Загнув хламиды на головы, во все стороны улепетывал народ, спасаясь от дождя.

— Дождь, дождь! — скакали по лужам радостные мальчишки. — Ныне с хлебом будем... Дождь!

Расположенная в поле, на отлете от барского двора, рига осталась одинокой. В ней ни души, и кругом полное безмолвие.

— Ой, што ви делайт!.. Снимайт меня... — вопил вслед удалявшимся крестьянам подвешенный на веревке управитель.

Дядя Митродор поотстал от толпы, сорвал с плеча вилы и, гонимый силой мести, побежал обратно к риге. Вскоре там раздался короткий страшный визг.

4

Прошел вечер, наступила ночь.

Пугачев с Семибратовым нашли приют у родителей погибшего капрала. Сюда пришел и артиллерист Перешиби-Нос.

В светце горела трескучая еловая лучина, золотые угольки падали в корытце с водой и, взбулькнув, умирали.

В переднем углу под образами, на столе, накрытом набойчатой скатертью, покоилось тело капрала царской службы Ивана Ивановича Капустина: на груди медали, на глазах большие екатерининские пятаки.

Спать не ложились, всех обуяла тревога и мучительная скорбь. Старик, кряхтя и роняя слезы, мастерил гроб сыну. Семибратов помогал ему. Старуха пластом лежала на полатях, маятно вздыхала, плакала. На коленях Пугачева, хмурясь на жалкий огонек, мурлыкала пестрая кошка. Пугачев вполголоса расспрашивал артиллериста о Павле Носове.

— Любил я старика... Где-то он, каков?

— В побывку тоже, навроде меня, отпросился, — тихо ответил Перешиби-Нос и вздохнул. — Чижало нашему брату, солдату. С вами, вольными казаками, не уравнять. Казак отвоевался и лежи дома на боку.

— Ну, брат, и нам не дюже сладко, — возразил Пугачев, поглаживая кошку. — Бедность, чуешь, душу гложет. Вот и мы с Семибратовым в дальние края едем горе мыкать, не от чего иного, как от бедности. Да замест спокойствия эвот в какую бучу втюхались.

— Уж вы, казаченьки, не спокидайте нас в этакой беде, — сказал хозяин.

Пугачев вынул из торбы напильник с бруском и принялся натачивать саблю.

— Да-а, — протянул Перешиби-Нос. — Вспомянешь по-доброму, ерш те в бок, и прусскую войну. Да мы там, можно сказать, как паны жили. А как возворотились в Россию, боже ж ты мой, аж сердце кровью облилось. Встретили нас в Питере превеликой муштрой на немецкий лад, да телесные наказания почасту были, солдаты в уныние пришли, с отчаянья

на нож бросались али в петлю головой... За одну зиму, помню, в одной только нашей казарме, ерш те в бок, семеро повесилось. А кой-кто и в бега ударился. Это в столице. А придешь в деревню в побывку, там и вовсе сквернота одна: голод, бедность да истязания от бар великие... Эх, ерш те в бок...

Вдруг беседа прервалась: по улице вскачь промчалась лошадь, за ней другая.

— Солдаты! Солдаты идут! — кричали за окнами.

Пугачев выскочил на улицу. Дождь кончился. В небе стоял на рогу месяц. Ведя в поводу упарившегося коня, к Пугачеву подошел парень в заплатанном мокром кафтане и взмокшей, грибом, шляпенке. Сбегались люди.

— Хозяевы, на сход ладьте, — возбужденно сказал им парень. — Мы с Мишкой Сусловым из Сукромен прискакали, солдаты из городу к нам на подводах понаехали, сорок девять душ, ахвицер с нимя... Утресь сюды тронуться сулили, к обеду ждитя...

Откуда-то пьяная долетала песня. Собаки лаяли. На колокольне опять ударили всполох. Вскоре барский двор, покрытый после дождя вязкой грязью, наполнился крестьянами. Зажгли костры. Жители грудились кучками, каждый к своей деревне — Машкина, Чупрынова, Карасикова, — все они сбежались в село еще вчера, на зов набата, а теперь, судя по выкрикам, по гулу голосов, инодеревенцы сговаривались уходить подобру-поздорову восвояси.

— Кто верховодить будет? — слышались бодрые голоса. — Давайте поклонимтесь казákам.

— Слушай, громада! — Пугачев приподнялся на стременах и замахал шапкой. Возле него плотно сбились только жители села Большие Травы. — У кого ружья, самопалы, тащи сюда, а пороху мы в барском дому пошукаем... Перепалка будет добрая... Только вы не трусьте, крестьянушки...

— Нет у нас ни хрена, казак, — заголосили крестьяне. — А кулаками супротив ружей не намашешь. Побьют нас!..

И многие подхватили:

— Побьют нас солдаты... Ой, мати-богородица, чего ж нам, горемыкам, делать-то?

Слыша это, инодеревенцы, один по одному, стали крадучись подаваться в стороны, отставать от крестьян села Большие Травы, кой у кого на загорбках узлы с барским добром. Тогда Пугачев что есть силы закричал с коня:

— Куда вы, стой! Не можно, мирянушки, в этакое время втикать до дому. Не можно своих бросать... Коли вы сгрудитесь воедино и дадите отпор всем гамузом, от солдатишек и дрызгу не найти: ведь вас полтыщи, как не более, на кажинного солдата десяток мужиков, — за милую душу сомнете их, мирянушки. А уж мы постараемся... Мы Фридриха били, Берлин брали!

Крестьяне села Большие Травы безмолвно переминались с ноги на ногу, сопели, а те, что собрались утекать, кричали издали:

— Табе хорошо, казак! Ты вскочил на конь, расшарашил ноги, да и был таков... А ведь нам солдатня-то кроволитье учинит. Ахвицер-то поди лизаться не будет с нами.

И еще то здесь, то там слышались малодушные выкрики:

— Покориться надо барину, с повинной идти!.. Вот чего...

— А-а-а, с повинной?! Хоромы барские разграбили, узлов себе понавязали, господской наливочки нажрались да с повинной?

— Нате вам узлы, нате, подавитесь! — галдели инодеревенцы, с гневом швыряли в грязь тяжелую поклажу. — Эй, мужики, гляньте!.. Мы безо всего уходим...

Была серая ночь. В березах встряхивались, бредили грачи. На крестьян напала оторопь. В барский дом трусливые руки уже втаскивали выброшенную мебель, вносили узлы, рухлядь, вкатывали в каретник ободранные экипажи, а срезанную с фаэтонов кожу совали в кузова. Ожившая дворня, осмелев, бродила по комнатам, пытаясь под окрики дворецкого навести хоть какой-нибудь порядок в доме.

Толпа возле Пугачева редела, подтаивала с боков, как снежный ком возле костра. Казакам и Варсонофию Перешиби-Нос, сидевшему тут же на коне, летели в уши боязливые речи оставшихся. Крестьяне, размахивая руками, сердито сплевывая, говорили о том, что вот набегут солдаты, усмирят народ и учнут вешать чрез десятого. Так, мол, было в селе Вознесенском, в сотне верст отсель, троих зачинщиков повесили, четверых запороли насмерть. А возле Пензы, а в Тамбовском уезде, а под Тверью — всем зачинщикам карачун пришел, вечную память спели.

Дух Пугачева помутился. Ведь он, проезжий казак, главный зачинщик здесь. Уж кому-кому, а ему-то первая петля будет. А не плюнуть ли Пугачеву на мужиков, не бросить ли все это заделье да вместе с Семибратовым не сигануть ли под шумок в кусты?

Но тут вылез вперед огромный парнище. Он зычно крикнул:

— Братцы! — сорвал с кудрявой головы шапчонку и шмякнул ее оземь. — Отцы, братцы, старики!.. Нам так и так пропадать доводится. Стой, братцы, до последнего! Солдатишек мы побьем, барина зарежем. Тады новый барин приделится сюды, авось вольготней под ним жить станет. Пострадать должны за правду, братцы... И-эх! Пропадать так пропадать! — И парнище, подпрыгнув, с великим отчаяньем снова шмякнул свою шапчонку оземь.

Народ, разбившись на кучки, шумел, совещался, кричал, спорил. Но вот люди повернулись к парню, к казакам.

— Верно, Микитка, толкуешь, правильно... — Все тесно сбились возле Пугачева. — Ну, а как ты мекаешь, Омельян Иваныч?

У Пугачева сразу прошли все опасения, все страхи за себя.

— Громада! — встряхнув головой, громко сказал он. — Время зря тратить не приходится. Избирайте набольшого себе. Без головы не можно... Сами ведаете: руль кораблю дорогу правит...

— Тебя в набольшие, тебя! — в один голос загудела громада. — Будитя попа!.. Вали все в церкву

крест целовать, чтобы свято, чтобы друг за дружку, значит...

Всей ватагой двинулись к церкви.

В барской кузне четверо деревенских кузнецов, по указанию Пугачева, с азартом выковывали наконечники для пик.

Пока шла в церкви присяга, наступил рассвет.

5

Отчаявшиеся женщины, подхватив на руки малых ребят и обливаясь слезами, корили на барском дворе смятенных мужиков:

— Ах вы нехристи, ах вы пьяницы проклятые!.. Что это вы задумали?! Ведь солдаты идут... Бегитя, окаянные, скорей в лес... Хоронитесь!

Было присмиревшие мужики вдруг ощетинились, стали огрызаться, пинать баб в загорбки, началась свара, потасовка, мужья стали «учить» жен уму-разуму, давали подзатыльники, слегка крутили за косы. Плакали-заливались ребятишки, визжали женщины, сиплыми голосами орали мужчины. От рева, от гвалта качался воздух.

— Геть! — закричал подскакавший Пугачев. У него через плечо, как генеральская лента, повязано полотенце — знак власти. Бесшабашный, молодой, он казался теперь возмужавшим, зрелым.

Драка стихла. Бабы смущенно стали оправляться, мужики расчесывать пятерней потрепанные бороды, подбирать сбитые шапки.

— Эй, слушай! — звонко бросил Пугачев. — Кто помоложе да поудалей, садись на-конь. С полсотни конников наберется — и будя. Ну, живо, живо! Съезжаться сюда, на барский двор.

Несколько человек беспрекословно побежали к домам за лошадьми. Женщины сказали:

— Чем же вы, дураки бородатые, обороняться-то станете? Стойте ужо, мы хоть каменье таскать будем... А ну, бабы, за каменьем на речку...

Распоряженьем Пугачева и стараньем крестьян

все было приготовлено: мост чрез речонку на большой дороге разобран, трое ворот барского двора закрыты и приперты изнутри бревнами, лошади заседланы, пики розданы, камни скучены по всему двору, крестьяне вооружены топорами, косами, свинчатками, безменами, крючьями на веревках, длинными ножами. Нашлось пять ружей, но пороху было маловато.

Пугачев поскакал к церкви. Он быстро залез на колокольню, где бессменно дежурили косоротый старик и парнишка. Высокая колокольня стояла на горе, направо лес, налево лес, а прямо широкая столбовая дорога. И — как на ладони — пять убогих деревенек.

Поднявшееся над лесом солнце набирало силу, мокрая земля курилась, над мочежинами, над речкой залег туман.

Пугачев прищурился и, сделав ладони трубкой, впился взглядом в дорожную, покрытую сизой дымкой даль. Глаз степного человека зорок. Пугачев, пристально всматриваясь, вдруг засопел, плечи его зашевелились.

— Глянь, едут... На многих подводах. Дуй в набат, звоняй! — крикнул он, скатился с лестницы, вскочил в седло и, въехав в калитку барского двора, заорал в полный голос: — Е-е-едут!.. Дружки, приготовьсь!.. Стало, Варсонофий Перешиби-Нос — ваш командир во дворе. Его слушайте... Ворота да калитки на запор. Ни впуску, ни выпуску... Семибратов, конники, айда за мной!..

Сполошный колокол яростно бросал во все концы свой медный зов. Бабы разбежались по избам. Оставшиеся во дворе крестьяне стали истово креститься, потуже затягивали кушаки...

Полсотни конников с пиками двинулись за Пугачевым в ближний лесок, чтоб там схорониться до поры.

Два огромных козла, распространяя запах псины, вышли на улицу, раздумчиво стояли у калитки. Гоготали гуси, пели петухи, крякали утки, грачи с веселым граем улетали на поля.

— Омельян! — нерешительно окликнул Пугачева едущий рядом с ним Семибратов. — Как хошь, а я уеду... Пропадешь тут. Ну тя к ляду.

— Ну и проваливай к лешему под хвост, толсторожий дурень. Без тебя обойдемся... Лес по дереву да море по рыбине не тужат.

— Я к домам поворочу. На Дон... Как хошь... А тут не из-за чего биться... — Семибратов вздохнул, ему стыдно было поднять глаза на Пугачева. — Софье-то твоей кланяться?

— Подь в ноздрю, дура, — буркнул Пугачев и въехал с конниками в лес.

Семибратов, понурясь и злобствуя на себя, что покидает друга, постоял, подумал и, вздохнув, повернул за Пугачевым.

ГЛАВА XI

Войнишка. Пир горой

1

Солнце высоко взнялось. Воинский отряд остановился возле церкви. Прозвучал рожок. Полсотни солдат с ружьями соскочили с десяти подвод, окружили офицера. Не молодой, не старый, с унылым будничным лицом офицер, сугорбясь, сидел на коне. Ноги, брюхо серого коня и стоптанные, со шпорами, сапоги офицера заляпаны мокрой грязью.

С колокольни стащили косоротого старика и парнишку. Парнишка куснул солдату руку, рванулся, убежал. Офицер дважды опоясал старика нагайкой, спросил, где бунтари. Старик мычал, маячил руками — он был глухонемой.

Улица была пустынна, только горланили петухи да кошки шныряли чрез дорогу. Солдаты обежали два десятка изб — всюду пусто. Лишь в одной — столетняя старуха на печи.

Офицер в дороге простудился, у него болели зубы, он был зол и раздражителен. Он в душе проклинал свою судьбу, начальство и этих буянов-мужиков. За каких-нибудь два года вот уже четвертый раз его

гоняют на усмирение волнений, а в чинах обходят. Нет, не везет ему...

Отряд вынул из ружейных стволов паклю, забил пули. Все маршем, под бой барабана, направились к барскому двору. Офицер осмотрелся. Барский дом с садами глядел в поле, а в полуверсте зеленел сосновый лес. В барском дворе присмирели.

— Полон двор народа, ваше благородие, — докладывали солдаты, прильнувшие к щелям крепкого забора. — Сотни с две, а то так и боле...

— Отпирай! — И солдаты загрохотали прикладами в калитку. Верх забора утыкан длинными острыми гвоздями, чтоб не залезли воры. Только на верху высоких ворот не было гвоздей.

Офицер подъехал к воротам, сказал солдату:

— А ну, подержи коня, — поднялся во весь рост и встал на седло, теперь ворота оказались ему по пояс. Левой рукой он уперся в поросшую лишайником крышу ворот, в правой держал пистолет.

— Эй, вы! — сердито закричал он. — Возмутители против священных прав ее императорского величества. Немедленно открыть ворота! Немедленно выдать всех зачинщиков!

Весь двор пришел в движение. Суровая и любопытная толпа стала осторожно приближаться к воротам, над которыми высилась скрытая до пояса фигура офицера.

— Р-разойдись!.. Стрелять буду! Выдавай, мерзавцы, зачинщиков!..

Раздались отрывистые выкрики:

— Чтоб тебе язык в нутро поворотило! Нет у нас зачинщиков. Мы друг за друга.

— Мы не супротив государыни, мы супротив злодея-барина. Смертоубивец он!

— Шашнадцать могилов!.. Капрала задрал! Посмотри поди, капрал царской службы в гробу лежит. Вникни, разбери...

— Молчать, мерзавцы! — яростно гаркнул он. — Сдавайтесь, а то кровью весь двор залью...

Толпа завыла, в офицера и в сидевших на заборе солдат полетели камни, палки.

— Вали, вали! — подбадривал толпу Варсонофий Перешиби-Нос, перебегая от кучки к кучке. — Швыряй гуще!

Глаза офицера выкатились, он заорал:

— Нате вам, вшивые черти! — и выстрелил из пистолета.

Толпа шарахнулась в стороны, рыжий дядя Митродор с вилами, вскрикнув, упал замертво.

— Пли! — скомандовал офицер солдатам. Но увесистый камень, ударив офицера в голову, сразу оглушил его. Он взмахнул руками, пал животом поверх ворот и, потеряв сознание, вперевертк кувырнулся на барский двор.

— Ура-а! — радостно завопили мужики и с оглушительным гамом бросились топтать его.

— Стой, не трог! Тащи офицера к бане мыться! — распорядился Перешиби-Нос и, выбежав на середину двора, замахал шапкой, закричал: — Ого-о-о-нь... Стреляй солдатню!.. Пуляй, пуляй их...

Из окошек людской притаившиеся крестьяне открыли по солдатам недружную пальбу из ружей.

Завязалась перестрелка. На дворе беготня, крики.

— Эй, мужики! — сполошно заорал с высокой липы дозорный парень. — Дворня понаехала! С ружьями!

Действительно, человек двадцать дворни под началом барского бурмистра из богатеньких крестьян прытко подбегали на конях к помещичьему дому. Господские холопы еще вчера сопровождали беглеца-барина, сегодня вернулись на помощь воинскому отряду.

— Давай, давай веселей, солдатики! — шумел с коня ненавидимый крестьянами хитроглазый бурмистр. Голос у него пискливый, бороденка реденькая, щеки исклеваны оспой. — Мы своего господина слуги верные. Чего смотрите? Руби забор!

Топоры с кряком застучали в смолистые доски. Притащили два бревна. Раскачивая их, дворня и солдаты усердно долбили ими в ворота.

Перестрелка продолжалась. У мужиков порох на исходе. Два барских егеря хищно карабкались на

забор, как росомахи. Град камней сшибал с забора солдат и дворню. При каждой удаче осажденные орали дружное «ура».

— Забей пули в ружья! — скомандовал отряду старший солдат, заменивший офицера.

Ворота затрещали. С треском обрушились два звена забора.

Барский двор широко открылся. Крестьяне, увидав солдатские штыки, отхлынули прочь, стали жаться к флигелям, к людской, к сараям.

— Васька! — задрав к вершине дерева усатую голову, закричал Перешиби-Нос. — Пугача не чутко с мужиками?

— Едут, едут, растак их!.. Ура! — И Васька, как белка, поскакал по сучьям вниз и спрыгнул с дерева.

— Сыпь на полку порох! — скомандовал старший солдат.

По полю во всю прыть мчались серой лавой полсотни конников.

— Ударь, ударь, молодчики! — звонко голосил впереди конников Пугачев на своей любимой лошадке Ласточке. Рядом с ним, нахлобучив шапку до бровей, скакал — пика наперевес — Ванька Семибратов.

— Ур-р-ра... Ур-ра! — Чувствуя сильную подмогу, крестьяне во дворе разом хлынули к пролету. Впереди них, с грузным артиллерийским тесаком в руке, мчался Перешиби-Нос. — Ур-ра! Ура!

Заполошно ударил барабан. Солдаты и дворня, видя мчащихся конников и бегущих мужиков, сразу оробели. Дворня покарабкалась на лошадей.

— Ударь, ударь, молодчики! — И Пугачев с Ванькой Семибратовым мигом сбросили пикой с седел трех барских холуев.

Солдаты испуганно прижались спинами к забору, дали недружный залп и заорали: «Сдаемся!» Мстительно заработали мужицкие колья, топоры. С разрубленным черепом, истекая кровью, валялся бурмистр. Крестьяне яростно топтали его. Уцелевшая дворня, настегивая коней, утекала во всю прыть.

Солдаты в страхе побросали ружья, пали на колени:

— Мы не своей волей... Не убивайте нас!

Им вязали руки. Упорных, пустивших в ход штыки, без жалости умерщвляли.

Все было кончено.

2

В барском дворе зачинался пир. Победители поймали поваренка Мишку и выведали у него, что под барским домом есть подвал, а там бочка старой водки и гора бутылок. Набежавшие бабы топили кухню, кипятили в котле кофе, прямо в зернах, валили туда сахар, лили молоко: «Эх, хошь денек, да наш», — спорили друг с дружкой о том, как надо готовить кофе по-господски, незлобно перекорялись.

Хлебнувшие вина крестьяне резали, свежевали барских овец, свиней, тащили к стряпухам и мясо и квашеную капусту, ухмыляясь в бороды, говорили:

— Эх, хошь убоинки поесть... Ну и добро без барина... Паска господня!

— Вот ужо-ужо, — пугали их бабы. — Думаете, барин стерпит?.. Вот ужо-ужо. Всех вас передерут да перевешают...

— Ладно, ладно... Пожалуй, веревок не хватит... Да что, у нас ноги, что ли, отсохли? На вольные земли ударимся, в бега.

Послали благовестить в большой колокол. Во двор притащили аналой, хоругви, иконы, привели попа с дьячком, раздули кадило, велели попу облачиться, велели благодарственный молебен петь о дарованной победе, а ежели поп будет упорствовать, они надают ему по шее, тогда он больше им не поп и пускай убирается ко всем чертям...

Кудлатый смирный батюшка в лаптях и в посконной заплатанной рясе облачился в парчовые ризы, взял заскорузлой рукой кадило и, не попадая со страху зубом на зуб, начал молебен. Нос у него толстый, щеки толстые, голос толстый. Крестьяне во всю глотку подпевали ему. Мужики, страшно выкатывая глаза, азартно ревели быками, бабы тоненько повизгивали.

После молебна расселись на луговине обедать. Все хорошо подвыпили, даже ребятишки. Батюшка, отец Сидор, любитель покутить, больше не трясся, он хлебал жирные щи, жевал свинину, целовался, пел плясовые песни, плакал, пегонькая бороденка его моталась.

— Ох, ох, горе нам, братия моя... — качал он кудлатой головой. — И вас всех в Сибирь угонят, и меня заедино с вами, аки протопопа Аввакума-многотерпца...

— Пущай гонит, — шумели крестьяне. — А кто ж на него, на убивца, спину-то будет гнуть? А?

Сладкий кофе хлебали ложками; возле котла — давка, всем любопытно отведать барского пойла. Крепкими зубами хрупали зерна, сплевывали на луговину — горечь!.. Не то всерьез, не то в шутку укоряли баб:

— Не упрел горох-то ваш... Его варить да и варить надобно.

Пьяный поваренок, черноглазый Мишка, в белом колпаке и при переднике, покатывался со смеху:

— Зерна-т молоть надыть, кофей-то... Ах вы ду-у-ры!..

— Ври, молоть... На ветрянке, что ли?

— Пошто на ветрянке, а такая меленка есть ручная, хромоножка барыня сама мелет...

— Так что ж ты ране-то молчал, цыганские твои бельма! — напустились на него смутившиеся хмельные бабы; они с хохотом загнули Мишке салазки, навалились на него, стали целовать. Мишка орал, отлягивался от баб.

Несколько парней и мужиков, вспомнив о пленных солдатах, пошли угощать их. Шли в обнимку, пошатываясь, земля под ногами качалась.

Из пятидесяти человек двое солдат убиты, тридцать пять сидели взаперти, остальные пропали без вести — надо быть, бежали.

— Вот, солдатики, кланяемся вам винцом... Уж не прогневайтесь. — И крестьяне стали обносить солдат водкой, совать куски хлеба.

Связанные по рукам солдаты сидели в сарае на соломе, старые и молодые, с заплетенными, как

у девок, косичками. Недаром, когда они, направляясь в село Большие Травы, проходили по деревням, маленькие ребятишки, указывая на них пальцем, кричали:

— Мамынька, деда, тятя, глянь, — девки в штанах идут!

Солдатам на время развязали руки, они выпили вина, пожевали хлеба, утолили водой жажду, стали умолять крестьян:

— Отпустите, ради бога, нас, не делайте нам позора...

— И не проситя, и не проситя, — отмахивались руками крестьяне, — не бывать тому!.. Вы опять супротив нас пойдете.

Возле кузни — толпа. Мужчины сдернули с лохматых голов войлочные шляпенки, крестятся. На земле — безжизненное тело рыжебородого дяди Митродора в беспоясой, залитой кровью рубахе. Скуластое лицо спокойно, руки спокойны, они сложены на груди крест-накрест, они больше не схватятся за вилы, а плотно закрытые глаза никогда не увидят неба.

Рядом с ним сидит на камне в понурой позе сгорбленный отчаяньем капитан Несменов. Мундир, рейтузы, да и сам он весь — в грязи. Голова низко опущена. Он стиснул виски ладонями, — на указательном пальце золотое обручальное кольцо, — упорно глядит в землю, ничего не видит, ничего не слышит. Он крепко прикован цепью к трупу убитого им Митродора. Кузнецы постарались. Такова была воля взбунтовавшихся крестьян.

— Так и в землю его живьем закопаем с покойничком вместях... В одну могилу. Бог рассудит их... Чего, ахвицер, молчишь? Эй, ты! Говори.

Офицер опустил руки, вяло поднял голову, взглянул на толпу мутными глазами. Лицо у него некрасивое, нос длинный, губы толстые, глаз подбит, ухо надорвано. Он ни слова не сказал толпе, только вздохнул, вновь низко опустил седеющую голову, опять сжал ладонями виски. Истоптанному, избитому телу его было больно, мучительно сжималось сердце, сердце его тосковало большой тоской.

— Поди деревенька у тя какая-никакая есть?.. Поди тоже тиранишь мужиков-то крепостных своих?.. Да ты язык, должно, проглотил, чего ли? Эй, ты!

Нет, у капитана Несменова деревеньки не было, а была жена, мать, четверо детей, была унизительная бедность и лишения.

У рыжего дяди Митродора, что лежал бездыханным на земле, тоже была мать, жена и пятеро детей. Он тоже очень беден, он не богаче офицера, он, пожалуй, много бедней его. Вот теперь его семья осиротела, кормилец-поилец мертв. Но семья еще не ведала о его смерти, да лучше бы ей об этом и не знать, — то-то будет горе.

Степанида негромко сказала:

— Вот бы этак-то нашего барина-змея приковать... А этот какой-то смирный... Чегой-то жалко, бабы, мне его, ахвицера-т...

Вдруг плечи и полуседая голова сидевшего в согбенной позе офицера задергались, цепь звякнула, перхающий не то кашель, не то стон вылетел из его груди.

— Плачет, — прошептали бабы.

У ног офицера поставили кувшин с водой, положили полкраюхи хлеба.

— Пожуй... Испей водички-то. Человек ведь тоже... — послышались соболезнующие голоса.

Не отрывая от головы рук, офицер сердито пнул ногой кувшин, пнул краюху хлеба. Цепь, соединяющая пуповиной живого и мертвого, натянулась, звякнула, покойник шевельнулся.

А там, посреди двора, под тремя высокими липами, гулял народ. Три трехструнные балалайки звенькали, бубен бил, пастушьи рожки дудели, десяток парней прицокивал в такт пустопорожними бутылками. И под эту развеселую музыку с удальством и присвистом шлепали лаптями плясуны: девки в пестрядинных сарафанах поводили круглыми плечами, подбоченивались и, семеня ногами, проплывали павами. Возле них, приседая, подскакивая, кувыркаясь через голову, крутились парни.

В другом кружке гулял захмелевший поп. Он сбросил подрясник, сорвал с головы скуфейку и под общий хохот трижды пускался в пляс, трижды валился вверх лаптями.

— Винца, батя, переложил! — хватаясь за животы, хохотали бражники.

Всюду было весело: на барском дворе, и возле церкви, и на улице села. Крестьяне ходили в обнимку, пьяными голосами нескладно кричали песни. Драк не было.

Наступил вечерний поздний час, а село еще не угомонилось. Прилетевшие с полей скворцы, грачи и всякая малая пичуга сроду такого веселья не видали и не слыхивали таких разудалых песен.

3

В барском доме степенные крестьяне — старики и середовичи — окружили стол, тот самый стол, за которым еще так недавно пировали баре.

Замест бар сидят за столом пегобородые старцы с длинными клюшками в руках, сидит Емельян Иванович Пугачев да еще курносый дьячок с оловянными глазами и потешной косичкой. Кругом — народ. Все трезвые, и Пугачев трезвехонек. А вот как хотелось ему оскоромиться винцом, большой соблазн был, да на таком горячем деле не дозволила душа. Пугачев запхал в торбу восемь бутылок заграничного вина да Ванька Семибратов бутылок шесть, ежели все обойдется честь честью — погуляют: вот ужо, может статься, в соседнем селе такой пир загнут, такую хвиль-метель подымут с парнями да девахами, что ой-люли, завей горе веревочкой!

У дьячка Парамоныча от перепою да от страха рука дрожит, гусиное, хорошо очиненное перо по голубой господской бумаге идет вспотык, буквы пляшут, закорючки да хвостики виляют, строки клонятся книзу. Дьячок щурится, протирает круглые железные очки подолом холщовой набойчатой рубахи, вздыхает, крестится и говорит:

— Охо-хо... Братия, ослобоните... Страшусь против барина идти... Он меня, человека убогого, собакам стравит...

— Пиши, пиши, — понуждают его крестьяне, — ты ведь наш хлеб-то ешь, а не барский. Страдать, так всем вместях. Куда мы, туда и ты. Пиши!

Перо скрипит. Пишется слезное прошение на имя «благочестивейшей, всесвятейшей, всемилостивейшей и самодержавнейшей государыни Екатерины Алексеевны, всяческой матери сирых и убогих».

— Чего написал-то? — поводя пушистыми бровями, спрашивает важный видом Пугачев.

Дьячок, прищурившись и наморщив нос, читает:

— «...а как вышеглаголемый помещик в неизреченном жестокосердии своем идет супротив законов...»

— Пиши, — говорит Пугачев, — супротив всяких законов божеских и человеческих. И мы, горькие, не зрим себе заступления от толикого мучения и тиранства. Написал?

— Постой, постой, не шибко борзо. Слеп я, — скрипит дьячок пером и голосом; от дьячка пахнет винным перегаром и лампадным маслом, по его приплюснутому носу струится пот.

— Дядьки да деды, обсказывай, какие примали тиранства? — все так же хмуря брови, обращается Пугачев к крестьянам.

Дед Никита — борода лопатой, плешь блестит, — покряхтел, пошевелил покатыми плечами и, ударив клюшкой в пол, гулким басом произнес:

— Дочерь мою молодшую, замужнюю, брюхатая она была, на сносях... Барин выдрал ее кнутьями, будто бы она сала кусочек унесла с барского двора... По животу били. Она скинула мертвеньким, а на третий день богу душу отдала. — Никита заморгал, отвернулся.

Пугачев вздохнул и сердито крякнул.

Другой старик сказал:

— Барин полем проезжал, старуха моя помешкала поклон отдать, барин плетью ее по голове со всего маху, а в плети-то пулька-свинчатка, барин-от прошиб голову бабке-то, насквозь прошиб, до мозга.

Бабка ума рехнулась, по сей день в дураках ходит. Сладко ли?

— Пиши! — крикнул Пугачев дьячку. — Чего слюни распустил?

Встал третий дед, горбатый, он одет в последнюю рвань и тлен, заплата на заплате.

— Отпиши, Парамоныч, поусердствуй, — сказал он дьячку. — Внучка моя, девчонка Марфутка, при горбунье барыне в услуженье состояла. Ледащенькая такая да тихая... Чем-то не утрафила она барыне-т, злодей-барин своеручно арапельником собачьим исстегал ее, а тут схватил за ноги да разов пяток головенкой о печку грохнул... Горячка приключилась с Марфуткой-то, умерла, царство небесное ее детской душеньке...

Прошение «чадолюбивой матери отечества» строчится и час и два. Случаи мучения и тиранства приводятся страшные. В толпе слышатся тяжелые вздохи:

— Шашнадцать могил, шашнадцать могил...

Глаза горят, кровь в жилах то холодеет, то вскипает.

Возле двери в коридор стоят на карауле кудрявый парнище с топором и Ванька Семибратов.

Дьячок изнемог. Сердобольная рука ставит пред ним штоф водки.

— Пиши, — говорит Пугачев. — Тако поступать, как поступает рекомый злодей-помещик, и в Туретчине невмысленно, а ведь батьковщина наша Россия есть. Написал, что ли? И вознамерились мы, горькие, защитить себя самолично...

Долго еще писалось прошение. Зажгли пред дьячком четыре свечи. Выпил дьячок полтора стакана водки, нос сизым стал, губы заслюнявились, косичка расплелась. В конце бумаги дьячок написал:

«По неграмотству 392 хозяев села Большие Травы, а такожде деревень Машкиной, Чупрыновой, Карасиковой да Темной руку приложил страха ради и по великому понуждению дьячок Воскресенския, что в Больших Травах, церкви Иоанн Новопредтеченской».

Бросив перо и размяв движением пальцев затекшую руку, дьячок покивал головой и с горькой улыбкой молвил:

— Неразумные мужики... Жалко мне вас и себя такожде. Ведь высочайший престрогий указ есть — жаловаться мужикам государыне на господина своего не повелено.

— Мы выборных пошлем, как-нито всунут ей в ручки белые... В церкви где, али как... А где надо и деньжатами могим, дело покажет... Не погибать жа! — шумел народ.

— Мужики неразумные... Выборных ваших схватят и в цепи закуют. — Дьячок допил водку, закашлялся и, сугорбленный, пошел, пошатываясь, к выходу.

ГЛАВА XII

Погоня. Вино было крепкое

1

Опять ночь спустилась. В синем небе над белой церковью месяц встал. На колокольне дозорит зоркий и трезвый мужик Сысой. По дороге к городу выехали на «вершних» конях два расторопных парня с охотничьими малопульками. Чуть что — прискачут в село, поднимут гвалт.

Казаки ночуют на поповском сеновале. Они дали слово крестьянам не покидать их в такой беде. Варсонофий Перешиби-Нос, пришедший на родину в побывку, спит в хате престарелых родителей своих, жена его зачахла в городе и прошлой зимой умерла.

Вся природа погрузилась в сон. Спят леса, цветы и травы, спят собаки, куры, кони, спит смертным сном в гробу умученный, исхлестанный плетьми капрал.

Все спит в природе, лишь соловьи не спят, да «омертвевший» месяц привычно катится по небосводу, отражая на сонную землю солнцев свет.

Впрочем, во многочисленных избенках бедняки крестьяне не смыкают глаз. Им не до сна. Что-то будет завтра, чем-то кончится вся эта кутерьма, кто-то будет вздернут на удавке, кто выпорот кнутом, кого погонят на вечные времена в Сибирь или отдадут не в зачет в солдаты? Сердце растревожено, мозг горит, глаза таращатся во тьму, хоть выткни.

Не спит и побитый взбунтовавшимся народом грабитель-целовальник. Рыжеволосая кудлатая голова его обмотана мокрым полотенцем, одутловатое лицо в кровоподтеках, поврежденная в суставе нога вспухла, мозжит и ноет, она обложена намыленным мочалом. Целовальник постанывает тонким голосом и строптиво косится на икону, что не смогла уберечь его от разграбления.

— Свои жа, свои жа... Ах, черти голозадые, — бормочет он. — Ведь я такой же крепостной крестьянин нашего господина, с мужиками одних кровей. А вот пообидели, пообидели... своего же брата... за что, про что? Да гори они все огнем! Чтоб барин на осине их всех перевешал, сволочей анафемских! Охти мне... Чем же таперича я стану барину оброк платить!.. Ведь оброку-то барин пятьсот рубликов в год с меня дерет! А где я возьму? Все побито, все пограблено... А барин — сквалыга, он все едино взыщет, избу отберет, трех коров отберет, лошадушек к себе сведет, с сумой в куски пустит... Охти мне...

Он лежит на кровати, жена плачет, четверо ребятишек спят на полу, хорошие сны видят, улыбаются.

Отцу Сидору не заспалось. Свесив с палатей взлохмаченную голову, он крикнул:

— Матка! Беги за дьячком. Пущай к заупокойной обедне звонит. Капрала седни хоронить, Ивана Иваныча Капустина.

— Дрыхни! — огрызнулась матушка, дремотно покачивая ребенка в зыбке. — Еще третьи петухи не пели... Пьяница!

По груди, по лицу чутко спящего Пугачева сиганула мышь. «Ой!» — крикнул он сквозь сон, едва продрал глаза и, ничего не соображая, сел. Темно.

Он пощупал левой рукой — зашуршало сено. Он пощупал правой — наткнулся на чье-то широкое лицо. Это Семибратов взахлеб и с треском, как барабанный бой, храпел возле него, Пугачев пришел в чувство, ткнул соседа в бок, сказал:

— Ванька, вставай... Матрешка в ворота стучит...

Семибратов открыл сначала левый, потом правый глаз, пошлепал губами и сонно пробормотал:

— Чего врешь. Кака така Матрешка?

— Заспал, должно. Ведь ты сам же Матрешку-то пригласил сюда, девку-т...

— Ты слепых-то на столбы не наводи, ботало коровье!.. — осердился Семибратов.

Пугачев захохотал. Семибратов поднялся, поскреб двумя пятернями взъерошенные волосы, позевнул и вновь упал на сено.

— Да ты что, черт! — крикнул Пугачев и встряхнул Ваньку за шиворот. — Айда живчиком на улку, треба караулы проверить.

Он не больно-то надеялся на осторожность подгулявших вчера мужиков, ему самому не терпелось дознаться, бодрствуют ли караульные возле барского амбара, в котором заперты пленные солдаты.

Пугачев распахнул ворота поповского сеновала, казаки вышли на свежий воздух. Месяц закатился, побледневшие звезды еще не погасли, ночь кончалась, серел предутренний рассвет. Казацкие кони паслись во дворе на травке. В поповской избе открыто окно. Слышно, как скрипит березовый оцеп зыбки, как бессонная попадья, качая ребенка, бредит колыбельную:

Вырастай, моя малютка, будешь в золоте ходить,
Будешь в золоте ходить, чисто серебро носить...

Казаки перекрестились на церковь, отряхнулись от сена, оправили сабли. Кругом сонная тишина, только в стороне барского дома лениво побрехивали собаки. Пугачев с Семибратовым направились туда. Пугачев шел стройной, быстрой поступью, Семибратов вперевалку еле поспевал за ним.

Чем ближе подвигались они к барскому двору, тем отчетливей доносились до их ушей и лай собак, и отдельные выкрики.

— Чи мужики проснулись, чи дворня зыкает. — И казаки набавили шагу.

Вот и крашеный забор. Казаки нагнули шеи и чрез вчерашнюю пробоину в заборе пролезли в барский двор.

Пугачев вдруг широко открыл глаза, разинул рот и обмер.

— Ванька, — прошептал он. — Чего это? Чи сон, чи нет...

Ванька, чтоб окончательно проснуться, больно дернул себя за нос и тоже разинул рот. Пред казаками предстало поразившее их зрелище.

Чрез мутную сутемень полурассвета серел господский дом, на высоком балконе, в ливрее с галунами, стоял старый дворецкий, окруженный дворней.

На плацу пред домом неясно маячили построившиеся в две шеренги солдаты, а возле них офицер с рукой на перевязи и с обмотанной полотенцем головой. «Да неужто это он? И неужто это пленные солдаты?» — мелькнуло в сознании казаков. Да, это был капитан Несменов. Он начал выкликать солдат по фамилии и отмечать в списке:

— Митрофанов!

— Здесь.

— Палкин!

— Здесь.

— Дедушкин!

— Нету... Убитый он...

Оба казака, осторожно ступая, выпятились задом на улицу и притаились возле пролома в заборе.

«Измена, — подумал Пугачев, — всех пленных солдатишек выпустил какой-то враг... И офицера вкупе. Ну и дураки же мы».

Казаки напрягли слух. Офицер окончил перекличку и, подняв взор к балкону, болезненным голосом, едва ворочая языком, спросил:

— Лука Платоныч, а не знаешь, друг, куда наши ружья подевались?

— А ружья, ваше благородие, мужичье порастащило, — перегибаясь чрез перила, ответил дворецкий. — И господских три ружья украдено... Мой совет, ваше благородие, перво-наперво двух казачишек забеглых сыскать да сцапать, а третьего — солдата нашего села Варсонофия, фамиль Перешиби-Нос, он у своих родителев в побывке... Эта троечка — главные возмутители... Ежели их в кровь выпороть, всюе подноготную докажут. А опосля того и повесить не грех.

Пугачев с Семибратовым переглянулись. У них враз заскучали животы.

— Без ружей мы бессильны, — уныло сказал офицер и, постанывая, присел на разбитый из-под вина ящик. — Значит, барин ваш в незàдолге обещал прибыть?

— С минуты на минуту дожидаем. Ночной стафет с нарочным получен. Быдто антилерия идет, три пушки да конники... как их?.. дрягуны, што ли. Да скоро теперича, скоро. Ишь рассвет идет, небо-то на восточной стороне опахнуло прожелтью... Уж теперича всполох не забрякают на колокольне, не-е-т... Моим распорядком, ваше благородие, звонари сняты с-под колоколов, в подвале сидят. А егеря да доезжачие двух бунтовских конников на дороге изловили, парней нашенских, такожде в подвале обретаются, кнутобойной парехи ждут. А лапотники-то наши, вы сами ведаете, вином обожрались, до полден продрыхнут. — Дворецкий понюхал табаку, посморкался и спросил: — А не угодно ли вашему благородию крепкого чайку на скору руку? Самовар вскипел...

В этот миг мимо притаившихся Пугачева с Семибратовым проехали на рысях трое драгун. Увидав казаков, они повернули лошадей и, подъехав к ним, спросили:

— Помещичий дом этот, что ли?

— Этот самый, — сказал Пугачев.

— А вы кто такие? — спросил старший.

— Слуги барские. Добро его стережем, — ответил Пугачев. — Езжайте во двор, там чаю вам сготовили, самовар кипит.

Драгуны, не сказав ни слова, поехали к воротам, а казаки что есть силы припустились на попов двор. Прибежав, они поспешно стали снаряжаться: седлали коней, совали в торока хлеб, лук, бутылки с барским вином, перекладывая их сеном, чтоб в дороге не побились. Эх, надо бы Перешиби-Носа разбудить, да черт его ведает, где он ночует...

— Давай, давай, пошевеливайся, — торопил Ваньку Пугачев.

Восток все больше наливался зарей, в березах встрепенулись птицы, по соломенной поповской крыше степенно выступал лобастый кот, в хлевах стали взмыкивать коровы, а люди все еще не пробуждались.

Вдруг где-то близко, может быть возле барского двора, ревнула пушка, казацкие кони заплясали, лобастый кот, взлягнув задними ногами, оборвался с крыши, грачи дружно, с шумом сорвались с гнезд и закружились над селом. Казаки вскочили в седла.

— Втикаем, Ванька! — крикнул Пугачев. — Прядай, чертяка доразу!..

Пугающе и страшно ревнула другая пушка. Все село враз всполошилось, загрохали калитки, заскрипели ворота, стали отрывисто перекликаться люди.

Мимо церкви проскакал эскадрон драгун, за ним быстро шли безоружные солдаты. Затрубил рожок. Драгуны спешились.

— По избам! — раздалась команда. — Мужиков таскать на барский двор!

2

Казаки, нахлестывая коней, скакали к лесу. Окруженная верховой дворней, катилась по столбовой дороге к селу Большие Травы громоздкая карета с господами.

Казаки, не решаясь ехать большаком, правились по опушке леса, выискивали свертка на проселок.

— Омелька, — сказал Семибратов. — Ты врал поди, быдто бы Матрешка стучалась, меня требовала?

— Вот толсторожий дурак, — захохотал Пугачев, — погони нам не миновать, а он — Матрешка...

Они свернули на проселок. Вихлястая дорога пересекла березовую заросль и вынесла казаков на усыпанную полевыми цветами луговину. Здесь пасся большой табун барских лошадей. Жеребята, одногодки и стригунчики, то валялись на росистой траве, то, задрав хвосты и взлягивая, весело взад-вперед носились. На пригорке, сторожко подняв голову, стоял высокий, статный жеребец, вожак табуна. Под мягкими лучами выплывавшего из-под земли солнца рыжий жеребец казался изваянием из бронзы.

— Ах, сатана... Вот конь! — восторженно присвистнул Пугачев, любуясь жеребцом.

Жеребец повернул красивую голову с белой звездой на лбу в сторону казаков и заливисто заржал. Визгливо заржали в ответ и казацкие лошадки. Тогда почти весь табун бросил щипать траву и с любопытством повернулся к всадникам. Холеные, породистые кони, приветствуя казацких лошаденок, стали размашисто кивать им головами, как бы раскланиваясь с ними, и было двинулись им навстречу. Но бронзовый жеребец, чтоб прекратить беспорядок, сорвался с места и, распушив длинный, по щиколотку, хвост, с полным сознанием своей красоты и мощи, величественно и неспешно пронес себя по луговине, опоясав табун дугой. Когда он как вкопанный остановился, малые жеребята, сразу атаковав его, затеяли с ним потешную игру. Грациозно подобрав передние ноги, они подпрыгивали к его высоко вскинутой голове, пытаясь приласкаться, или, слегка согнув шеи, с разбегу проскакивали у него между ногами под брюхом, как под аркой. Бронзовый жеребец стоял, как изваяние, лишь пошевеливал хвостом, поводил ушами, с кротостью и любопытством посматривал на свое потомство. Статные кобылицы щипали сочную траву, косясь на красавца жеребца и тайно, может быть, вздыхая.

— Нам заводных[1] коняг треба взять, — сказал Пугачев, — а то на нашенских-то не утечь, словят, чего доброго.

— Жеребец не даст, загрызет, — возразил Семибратов.

[1] Заводной — запасной.

— Ты прочь гони жеребца, дуй его хорошень нагайкой, ежели сунется, а я спроворю двух добрых меринков, благо пастухи дрыхнут.

Пугачев отрезал от краюхи большой ломоть хлеба, круто посолил его и, привязав свою лошадь к березе, смело вошел в табун. Походил там, ласково, с цыганской повадкой, посвистал, выбрал крепкого коня — «Серко, Серко...» — шлепнул его по мускулистой холке, отломил кусок хлеба и всунул ему в мягкие губы. Конь съел вкусную подачу и, похрапывая, стал лизать соленую ладонь чужого человека.

Пугачев вынул из кармана ломоть, мазнул им по лошадиным губам и, поманивая коня: «Тпрсе, тпрсе, тпрсе», — сначала прытко зашагал от него, затем пустился трусцой к лесу, соблазняя послушно бежавшую за ним лошадь соленым лакомством. Миновав табун, Пугачев схватил коня за гриву и в момент уселся на него верхом. Семибратов, потряхивая нагайкой, наблюдал за рыжим жеребцом и за проворным другом. Жеребец сердито бил передней ногой землю, потом как-то по-особому пронзительно заржал и, выгнув шею, вмах помчался на пригорок.

Солнечный шар только-только успел выкатиться из-под земли, а казаки уже заседлывали в перелеске холеных барских лошадей.

Вдруг, и совершенно неожиданно, на казаков набросилась подкравшаяся молча собачья свора.

Псы примчались со стороны пасшегося табуна. Очевидно, они, вместе с пастухом, всю ночь честно стерегли табун, а перед утром их, как на грех, свалил тяжелый сон. Лохматый, весь в шишках чертополоха, пес яростно вцепился Семибратову в зад и сразу вырвал большой клок штанов. Семибратов дико заорал, с силой пнул пса сапогом, потерял равновесие, ляпнулся на спину и, продолжая орать, стал отчаянно отлягиваться ногами. Пугачева атаковали сразу три пса.

— Ванька, Ванька! — кричал он, выхватив саблю. — Держи, черт, лошадь! — Но, зная, что Ваньке приходится туго, он вмиг схватил левой ру-

кой поводья барских лошадей и, рубнув саблей, отсек лохматому псу, что наседал на Ваньку, хвост вместе с частью зада. Сдерживая взвившихся на дыбы коней и разъярившись, он рубнул другую собаку с такой силой, что развалил ее пополам, и сабля его, задев березовый пень, сломалась.

Семибратов вскочил и тоже выхватил саблю. Бесхвостый пес колесом крутился по земле, пронзительно визжал, а две уцелевшие собаки, испуганно поджав уши и ощетинив хребты, отскочили прочь. Подбегали два пастуха с кнутами.

— На-конь! — скомандовал Пугачев, быстро подобрав отломившийся клинок сабли. И казаки, продираясь сквозь чащу, ходко двинулись чрез заросль куда глаза глядят, за ними бежали привязанные к седлам казацкие лошадки.

Исхлестанные ветками и сучьями, с расцарапанными в кровь лицами, они вскоре выбрались на большую дорогу и верст тридцать без передыху проскакали во весь опор. Кони — как в мыле, из оскаленных ртов лепешками шлепалась на землю белая пена. Особенно заморился конь под Пугачевым: широкоплечий казак не тучен, но дюж, он весь как сбит из тугих мускулов и крепкой кости.

Казаки были в одних рубахах. Сложенные чекмени ремнями прикручены к седлу. Пугачев первым соскочил на землю и стал разминать затекшие ноги. Он взглянул озорными глазами на Ваньку Семибратова, устало слезавшего с седла, хлопнул себя по бедрам и раскатисто захохотал: на самом заду парня, обнажив тело, зияла прореха размером с большую сковородку.

— Эк тебя пронимает, бородатого лешегона, — ощупывая голый зад, уныло пробормотал Ванька Семибратов. Он суетливо стал искать выдранный клок штанов и на седле, и под седлом, и возле коня — на луговине. — Ой ты, горе. В дороге обронил, — чуть не плача, сказал он, лицо его стало глупым. — Чего ж делать-та?..

Тогда Пугачев схватился за живот и от неудержимого хохота повалился на землю. Семибратов подбежал к нему и пнул его сапогом в бок.

— Черт, сатана, — сердито надул он губы и стал Пугачева упрекать: — Вот украл барских-то лошадей, а пастухам из-за тебя от барина бучка будет.

— Ишь ты, жалостливый какой... Пастухи завсегда оправдаются, раз мы двух псов зарубили. А мы по крайности от петли спаслись.

Тут пререкания меж ними оборвались: вздымая дорожную пыль, скакал на них всадник.

— Варсонофий! — в один голос заорали казаки.

— Казаченьки! Ро́дные!.. — Артиллерист Перешиби-Нос спрыгнул с незаседланной лошади и бросился обнимать казаков. — Едва утек. Бог спас, а то бы... Ну до чего я радехонек, что с вами встренулся.

— Куда же ты теперь, Варсонофий?

— Я больше не солдат, ребята... Порешил в бегах быть. А то живота решат беспременно. Ужо-ко что будет там!

Чтобы не попадаться на глаза, они укрылись до сумерек в лесной трущобе. Расположившись у костра, в заросшей ельником балке, они принялись за обед, две бутылочки барского вина достали.

— Ой, что-то подеется с крестьянством, — проговорил Перешиби-Нос, и усатое, в оспинах, лицо его стало печальным. — Наипаче опасаюсь за родителев за своих.

— Крови много прольется, а толку ни на эстолько, — сказал Пугачев. — Ни к чему это.

— Таких вот войнишек много на Руси... Пых-пых — и погасло. Для крестьянства ничем-чего, одно душевредство... А барам хоть бы хрен.

Пугачев подумал и сказал:

— Вот коли б способа оказались все крестьянство зараз взбулгачить — дело бы.

— Мысли твои одобрительные, ладные мысли, — сказал Перешиби-Нос, и угрюмые глаза его оживились. — В мыслях-то всяко можно рассудить, а поди-ка сунься... Ого!

— Да, подходящих способов не чутко, чтобы зараз всех мужиков взбулгачить, — вздохнув, согласился Пугачев. — И откуль взялись эти баре? Кто их по всей земле понасадил, кто крестьян на поругание им отдал? От царей, что ли, повелось?

— Ничего не от царей, — возразил Перешиби-Нос, отхлебнув вина из бутылки и закусывая хлебом. Он, как и все старые солдаты, любил пофилософствовать. — Это от бога. Уж так устроено. А цари тоже из дворян на царство сажались. Народ сажал их. Взять царя Михайлу Федорыча, он боярин был, Романов. А кто до него царствовал, пес его ведает. Хошь и грамотный я, а ни хрена про царей не смыслю.

— Да нешто грамотный ты? — удивился Пугачев.

— Грамотный, — не без гордости сказал Варсонофий, вытер губы и рыгнул. — Я в денщиках у офицера Першина был, евонная любовница займовалась со мной, спасибо, поучила. А ты, Омельян, темный?

Пугачеву стало стыдно, он смущенно замигал, задвигал бровями и сказал краснея:

— Я дюже грамотный был, понимаешь, пономарь учил меня грамоте-то. Да упал я, чуешь, с дерева на прусской войне, вдарился головой о каменья. С той поры, чуешь, всюе память отшибло. Как корова слизнула языком. Ужо время будет в дороге, поучи меня, Варсонофий... Ты приделяйся пока что к нам...

Был солнечный день, а в хвойном густом лесу стояла прохладная сутемень. Все трое завалились спать, седла в головы. На спящих сразу же насели комары и мураши, но после вина и усталости беглецам спалось крепко.

3

Ни Ванька Семибратов, ни лежащий рядом с ними Варсонофий не могли сразу сообразить, что с ними происходит, — проснулись связанными по рукам; два драгуна, насев на них, крутили им веревками ноги.

— Караул! — заорал спросонок Ванька.

А два других здоровецких драгуна работали над лежащим Пугачевым.

— Геть, геть! — кричал, вырываясь, Пугачев. В момент подогнув ноги, он с такой силой ударил ими большеносого драгуна в брюхо, что тот закувыркался, как заяц с горы, а другого он сгреб за горло и давнул. Тот выкатил глаза и захрипел. К Пугачеву бро-

сились от связанных еще два драгуна, Пугачев вскочил и, оскалив зубы, стал отбиваться, как от собак медведь. Надавав им тумаков, он поймал закомелистую орясину и размахнулся ею, яростно крича:

— Убью! Только сунься...

Драгуны отбежали прочь. Старший скомандовал:

— Стреляй!..

Драгуны направили на Пугачева четыре ружья. Плачущий Ванька Семибратов вопил:

— Омелька, сдавайся, сдавайся скорее! Ой, смертынька...

Связанный Варсонофий с усилием приподнялся, крикнул драгунам:

— Солдаты! Братцы... Что вы делаете, в своего стреляете...

Пугачев отшвырнул жердину и миролюбиво сел. Солдаты опустили ружья и опасливо стали подходить к беглецам.

— Вы арестованные, — тяжело пыхтя, сказал старший драгун со шрамом поперек щеки. — Нам приказано схватить вас и в Большие Травы доставить.

Беглецы молчали. Варсонофий спросил:

— А чего же нам будет там?

— Петля, — ответил драгун.

Длительное молчание. Ванька Семибратов плаксиво скосоротился. Варсонофий Перешиби-Нос, вздохнув, сказал:

— Спасибо. Видать, вы — солдаты добрые. К своему же брату жалости у вас много. — И большие усы его задрожали.

— Мы присягу сполняем, — с раздражением ответил старший. — Вот приведем вас, вы упадите в ноги барину да начальству, покайтесь, авось помилуют. Я вам добра желаю...

— Ты нам добра желаешь, в воду пихаешь, а мы на берег лезем, жить хотим, — подняв голову и посматривая исподлобья на драгуна, насмешливо сказал Пугачев. — Ужо-ко вам медали дадут да по гривеннику денег за удальство, что своих, как Юда, предали. Ну, у меня медалей для вас нетути, а есть вино. Пять бутылок. Желаете выпить?

— На деле мы не пьем, — сказал старший и стал натрушивать из ладунки порох на пистолетную полку. — А твое вино все едино нашим будет. Сбирайтесь-ка!

— Эх, жалко, у меня сабля хряпнула пополам, — прищурившись на старшего, сказал Пугачев, — а то я показал бы тебе, как с плеч головы летят.

Драгуны, озлобленные, стояли в настороженных позах, готовые пистолеты в руках. Старший закричал на Пугачева:

— Больно-то не запугивай, мы не трусливого десятка! Как бы твоей толстой шее в петлю не угодить. Мне сказывали про тебя. Ты наиглавный возмутитель, Пугач-казак!

— Небось и я не из трусливых. Я и ожгусь, не затужу, — огрызнулся Пугачев.

— Вот что, драгуны, голуби мои, — ласково начал Перешиби-Нос. — Ведь мы не за кого-нибудь, а за крестьянство вступились. А ведь вы и сами из крестьян. На нашем месте, может статься, такожде и вы поступили бы. Мы супротив сучьего барина, ерш ему в бок, к мужикам пристали. Не вам бы, голуби мои, ловить нас да по мужикам стрелять. Бар, а не мужиков изничтожать надо!

Старший, глядя в землю, сказал:

— Ничего не поделаешь: присяга. С нас взыск.

— А вы, ребята, видали ее величества замученного капрала Капустина, весь в медалях? — спросил Пугачев.

— Нет, не видали такого, — сказал старший.

— Ну-к, побачьте. Он в селе Большие Травы в гробу лежит. На прусской войне он кровь проливал, а сучий барин в одночасье застегал его насмерть. Вот кровопивца какого вас пригнали защищать.

Драгуны смутились, переглянулись друг с другом и потупились.

— Да неужли правда это? — спросил старший и сел.

Перешиби-Нос, как очевидец, во всех подробностях пересказал происшедшее в селе Большие Травы.

— А ну, развязать им руки-ноги, — приказал стар-

ший, глаза и голос его подобрели. — Ладно, — сказал он, — будь что будет, а мы вас не потрогаем, только коней заберем.

— Забирайте. Не жаль, — проговорил Пугачев, незаметно подмигнув Перешиби-Носу. — Ванька! Тягай вина сюда, хлеб тащи, лук, свинина копченая тамо-тка есть. А это вот вам, приятели-драгуны, примите-ка. — И Пугачев, вынув из шапки червонец, подал его старшему.

Глаза драгун заблестели, губы приятно улыбнулись: «Этакое богатство свалилось, по два с полтиной на рыло», — а Ванька Семибратов, видя щедрость Пугачева, сразу заскучал и в душе обозвал приятеля дурнем.

Лошадей драгуны расседлали, пустили пастись, поджививили костер, началась пирушка. Пугачев откупорил шилом пять бутылок, каждую попробовал, две бутылки самого крепкого вина поставил в холодок. Пили по очереди из деревянной чашки. Было жарко, вино ударило в головы. Стали петь походные песни, стали обниматься. Старший драгун, покрутив усы и ударив себя в грудь, закричал:

— Меня самого сколько разов шпицрутенами, бывало, истязали... А царской службе моей осьмнадцать лет. Медалью награжден. А полковник наш зверь, чуть что, по зубам норовит. — Он затряс головой, высморкался и заплакал.

Три молодых драгуна тоже захмелели, они распоясались, сбросили ладунки, поснимали мундиры, никого не слушая, кричали все вместе какую-то несуразицу, лезли целоваться к старшему:

— Отец наш... Отец наш... Иван Назарыч... Умр-р-рем!.. Служба... Ур-ра... Турку бить... А мужика — ни-ни!..

— Бар бить!.. Они гаже турок! — кричал и Пугачев.

Беглецы пили мало, но и они были пьяны. А пьяней всех — Пугачев. С удалью напевая песни и приплясывая, он из оврага было покарабкался наверх, но четыре раза, под взрывы хохота драгун, вперевёрт кувыркался по откосу.

Выписывая вавилоны, он достал из холодка две бутылки крепкого вина и стал угощать драгун:

— Пейте-кося... За батьковщину! И-эх, разнопьяное винцо-пойлице!..

Вино было забористое, обжигало рот. Старший, хватив залпом, выпучил глаза, уперся кулаками в землю, опустил голову, фыркнул, как кот, и весь судорожно передернулся. Пугачев, покачиваясь, налил по второй.

— Таперь за дружбу нашу, за побратимство! Вестивал, саблея... — выборматывал он слышанные от «доброго барина» словечки.

— А сам-то чего не пьешь, казак?

— Ку-у-ды тут, — отмахнулся Пугачев и дал такой крен, что еле удержался на ногах. — Мы ведь еще до солнышка утопчивались. Эй, Варсонофий! Ванька!..

Но оба его товарища, широко раскинув руки, разбросав ноги, напропалую храпели. Пугачев захохотал, икнул, промямлил:

— Пья-пья... пьяные хари... Мордофили...

Драгуны хватили по второй, по третьей. И не успела еще откуковать кукушка, как все четверо они бесчувственно повалились на землю, что-то пробормотали, покричали и уснули.

Пугачев поглядел на них, ухмыльнулся и тоже прилег возле своих.

Кукушка опять закуковала, красноголовый дятел прилетел, запальчиво застучал по стволине стальным носом, как трещотка.

Когда драгуны захрапели, Пугачев приподнялся и тихо сказал:

— Ребята, пора.

Все трое пошли ловить и седлать коней. Ванька предлагал взять у драгун пистолеты и ружья.

— Не можно этого, — строго сказал Пугачев. — Пошто ж солдат под палки подводить... Забудь и думать.

Перешиби-Нос после слов Пугачева даже драгунского седла не взял, а вот как надо бы... Теперь им особенно-то опасаться в дороге нечего, можно ехать большаком. Ванька Семибратов у костра замешкался, он обшаривал карманы старшего драгуна.

Взмахнули нагайками, поехали. Пугачев оглянулся на храпевших драгун, засмеялся и сказал:

— Присяга...

Пробирались сквозь чащу. Семибратов подал Пугачеву золотой червонец.

— На, схорони. Нам пригодится, а им не за что... А и ловко же ты, анчутка, пьяным-то прикинулся. А глядя на тебя — и мы.

— Слышь-ка, Варсонофий, — начал Пугачев. Но тот быстро перебил его:

— Ах, ерш те в бок! Что же я, баран... Ведь пожарище там, ребята, страшенный, на селе-то... Два барских сеновала да гумно запалили мужики... До двух тысяч пудов сена. А на гумне скирды пшеницы прошлогодней немолоченой... Огонь фукнул выше колокольни...

— Ништо, ништо... Молодцы дядьки, — широко заулыбался Пугачев. — Ну, а каким пóбытом солдатишек-то из-под караула выпустили?

— Дворецкий, старый черт, слюнтяев деревенских обманул... Мне Мишка-поваренок сказывал, он, ерш те в бок, тоже в бега собирается, в лес удрал, воет. Вот выслал быдто бы дворецкий караульным похлебки мясной, да и сам вышел к ним. «Нате-ка, говорит, похлебайте, жалко мне вас, говорит, дураков. Эх, ребята, ребята!» А сам, змей, этот дворецкий-то, в похлебку-то сонного снадобья подмешал. Ну, те, знамо, набросились, да, где сидели, тут и торнулись носами. Так сонных и в подземелье, ерш те в бок, засадили их. Вот как учат дураков дикошарых.

Путники выбрались на большак и поскакали.

ГЛАВА XIII

Рыбий человек. Пугачев изрядно лечит зубы. Малина-ягода

1

Пугачев и Семибратов, завершив огромный путь, добрались наконец до селения Мамадыш, переправились чрез Вятку и, пробежав десяток верст, выехали на Каму.

— Эй, молодайка! — крикнул Пугачев. — Это какое жительство?

— А нешто не знаешь? Котловка это жительство, вот как. Котловка-село, — ответила улыбчивая круглолицая женщина и подцепила ведра коромыслом. Она молода, стройна, красива.

— А где бы нам ночь скоротать?

— Да где. Уж и не знаю где... Вот попроситесь нито к рыбьему человеку. Звать его Карп, а прозвищем Карась. Как есть — рыба. Проезжающие-то у него пристают. А вы, солдаты, што? Разбойников, чего ли, ловить наехали?

— Нет, мы казаки с Дону. По своей воле едем. Холстов да дегтю станем закупать.

— А-а, так, так... А то у нас по Каме, сказывают, разбойники шалят, купцов да богатых быдто грабят. Ну-к, намеднись солдаты пробегали мимо нас.

— Окромя дегтю, мы и женщин хорошеньких скупаем, — подмигнул ей Пугачев. — По пятаку за фунт.

— Дешево, чернявый, ценишь... Да ты, полно, уж не барин ли какой, живьем людей скупаешь? — Она вскинула ведра на плечо и пошла. — Прощевайте...

Оба конных витязя двинулись за ней. Ванька глаз не спускал с пышнотелой, румяной бабы, чего-то хотел сказать ей, но не находил слов, только шлепал губами, улыбался и краснел. Пугачев, подметив его смущение, сквозь смех бросил:

— Эх, и не речист ты, Ванька. — И, набекренив шапку, обратился к молодухе: — Вот этот толстогубенький велел сказать вам: ах, вы по нраву нам, приходите поиграть на лужок, на травку.

— Озорники какие, — стыдливо потупилась молодайка, несколько задерживая шаг, — нам не до игры. А вот коли холсты занадобятся, продала бы... И деготь у свекра есть.

— Благодарствую, — весело сказал Пугачев, подбочениваясь и покручивая бородку.—Вы нам холсты да деготь—мы вам толстогубенького... Баш на баш... Жалаите?

— Ах, нет... Мы только куделю да кошек меняем на ситцы, татары ездят, — повела глазами молодуха

и, плавно покачивая полными плечами, сказала нараспев: — А вот тебя бы, цыганок чернобороденький, — кивнула она Пугачеву, — пожалуй, выменяла бы, кабы воля моя была. Пригож ты, сниться будешь.

Ванька сразу померк, надул губы, а Пугачев заулыбался во все лицо, сдернул с головы мерлушковую шапку, широко взмахнул ею вправо-влево и молодцевато поклонился молодухе.

— Благодарствую вдругорядь. Ой, да ты, кундюбочка моя! Растревожила ты мое ретивое... Ой, да какая ж ты приглядчивая!..

— Не бесись, казак... Люди смотрят,—строго сказала она, нахмурилась, указала рукой на большую избу: — Вот здеся-ка Карп Степаныч жительство имеет, — и ходко пошла своей дорогой.

Казаки остановились. Пугачев все еще глядел очарованными глазами вслед уходившей молодухе.

2

Карп Степаныч, по прозвищу Карась, средних лет, небольшого роста, кругленький, безбородый, как скопец, плечи покатые, глаза умные, с прищуром.

Он оказался человеком расторопным, свел казаков с крестьянином Вавиловым, у которого Пугачев и сторговал за недорого небольшое суденышко с готовым дегтем.

У Пугачева было два червонца в шапке, да четыре червонца зашито в штанах пониже гашника, да за пазухой брякали рублевики, — ведь казаки за весь тысячеверстный путь истратили на харч всего только сорок три копейки. А Вавилову нужно было заплатить за суденышко и деготь ровно сорок два рубля.

Пугачев зашел с Семибратовым в амбарушку, обнажил кинжал, спустил штаны и стал добывать из-под гашника деньги. Батюшки-светы! Замест четырех червонцев зашиты в штанах лишь один золотой червонец и три медных деньги... Пугачев аж затрясся, бросил кинжал и заскрипел зубами.

— Омелька, что ты? — всполошился Семибратов.

— У нас с тобой только три червонца по десяти рублев да три медных гроша, — хрипло сказал Пугачев. — А три монеты золотых у пономаря в Царицыне под колокольней остались. Обманул нас горбатый черт, замест золота медяки зашил... Да, брат Ванька, не впрок купецкие деньги пошли нам.

Пожалели, потужили, нечего делать, доведется коней продавать. Запродал Емельян свою донскую лошадку Ласточку Карпу Степанычу за девять рублей двадцать три копейки, торговались долго, выпили. А барского коня хозяин присоветовал в Елабугу вести, да на базаре с цыганами не вожгаться, цыгане живо околпачат, а прямо ехать к воеводе, он хоть и собака, а рослых коней любит и деньжищ у него хоть двор мости, — хапуга, вор!

Барский конь Серко принадлежал Семибратову, а другого своего коня Пугачев пожертвовал по доброму своему сердцу Варсонофию Перешиби-Нос, тот на полдороге в леса свернул, чтоб укрыться где-нито от розыска и обзавестись хозяйством. Эх, хорош мужик! Путем-дорогой он казаков грамоте учил: буки-аз-ба, ба! веди-аз-ва, ва! Даже Емельян Иваныч поднаторел кое-как свою фамилию прутиком на песке царапать: «Пу-га-чов».

— Ну, Ванька, причмокни Серка в губы, почеломкайся... Только ты его и видел... — Пугачев вскочил на свою запроданную хозяину лошадку, Серка в чумбур взял, в повод и попылил вдоль камских берегов.

Вот оно село Понайка, вот Подмонастырка, а вот и городок Елабуга, всего двадцать верст каких-нибудь.

Дав лошадям передохнуть, выкупал их в Каме, пригладил скребницей, высушил и — прямо к воеводе.

Воеводский дом обширный, приземистый. У ворот в полосатой будке будочник с алебардой дремлет, по двору гуси вперевалку ходят, травку щиплют, свинья с поросятами месятку в корыте чавкают, два полицейских стражника — мещеряк да русский — возле открытой конюшни в трынку режутся, в картеж. В стойлах два коня овес хрупают, увидали новых лошадей, затопали копытами, заржали.

— Откуда? С пакетом, что ли?—прогнусил из открытого окна воевода. Левая скула его сильно вспухла, подвязана большим платком, куделя из-под платка торчит, красный нос в прыщах, глазки узенькие, темные волосы ежом.

— К вашей милости, — снял шапку Пугачев,—вот отменного коня продавать вам пригнал... Сказывали мне...

— Заходи! — крикнул воевода, умильно косясь на породистого рослого коня с атласной шерстью, в серых яблоках.

Пока Пугачев подымался наверх, воевода ударил в ладоши и что-то приказал бывшим во дворе стражникам.

— Ну, здоро́во, дружок, здоро́во, миленький, — ласково сказал он Пугачеву.

Видя столь приятное обхождение, Емельян Иванович взыграл духом, гаркнул:

— Желаю здравствовать вашему высокоблагородию!..

Воевода запахнул полы татарского бешмета, сел за стол и, подперев подбородок кулаками, лукаво прищурился на Пугачева.

— И сколько же ты, голубчик, просишь за лошадку?

— Да сто рубликов желательно бы...

— Сто рубликов? — чуть перекосив рот, переспросил воевода. — Горазд дешево, горазд дешево просишь.

— Это для ради вас токмо, ваше высокоблагородие, мне цыган да сальные пупы на рынке сто двадцать пять сулили.

— Дешево, дешево, спасибо. — Воевода легонько застонал, потрогал больную щеку и закатил глаза.— А ты кто таков сам-то, милушка моя? — спросил он, приятно улыбаясь.

— Я казак с Дону, — приятно заулыбался и Пугачев. — При мне паспорт.

Воевода вдруг вскочил, грохнул кулаком в стол и заорал петушиным голосом:

— Ах ты сволочь! Конокрад ты, сволочь, а не казак... Гей, стражники! — Он схватил звонок и оглуши-

тельно зазвонил. — Ты эту кобылицу у протопопа украл, у нашего протопопа! Вот ты какой казак... Ах ты сволочь!

Пугачев изумленно разинул рот и задвигал бровями:

— За что же так бесчестите меня? И вовсе не кобылица, а мерин это...

— Я тебе покажу — мерин! Ах ты сволочь... Встать у дверей! — скомандовал он вбежавшим стражникам, русскому да мещеряку. — Я тебе покажу, как у протопопа кобыл воровать. Я тебя, вора, в колодки, на цепь, на цепь! А завтра на базарной площади палач с тебя, конокрад, три шкуры спустит... Ах ты сволочь. Вор!..

В груди Пугачева заклокотало, глаза налились кровью.

— Геть, гадючье отродье! — заорал он вне себя и полез на воеводу. — Руки коротки, чтоб донского казака срамить. Еще тебя вареный петух в брюхо не клевал... Еще ты...

— Вяжи его! — кружась вокруг стола и схватив подсвечник, по-петушиному проверещал воевода. — Стражники!

И едва успел он рот закрыть, едва успел замахнуться на казака подсвечником, как Пугачев со всего маху треснул его по больной скуле кулачищем. Воевода взвыл и кувырнулся на пол, а Пугачев, отбиваясь ногами от стражи, выпрыгнул в окно.

— Конь! Где конь мой?..—замотался он по двору, и, не видя Серка, вскочил на свою донскую лошаденку Ласточку. — Гады! Коня моего збуздали... Коня давай, коня!.. Во-о-оры...

Поднялась невообразимая сумятица. Повыскакали воеводиха, ребята, нянька, писаришки, повар с поваренком; на трещотку, на свистки спешили во двор полицейские, старики солдаты, стражники, будочники, сбегались праздные зеваки: бабы, сапожники, сбитенщики, бурлаки с Камы, нищеброды.

— Ой, ой! — не переставая, вопила толстая воеводиха, указывая на казака. — Имайте! Мужа зарезал, разбойник... Мужа убил...

— Туда ему и дорога! — по-озорному кричали из толпы.

— Бейте всполох! Ворота, ворота запирайте... Ой, ой!..

Народ — ни с места. На Пугачева кинулись седые старики солдаты, стражники. Пугачев выхватил вгорячах саблю — ручка да остаток клинка в четверть аршина — и страшно заорал: «Геть, геть!» — Он показался толпе столь грозным, а сабля столь длинной и сверкающей, что толпа шарахнулась в стороны. Бывалая лошадка взвилась на дыбы, ударила в воздух задом. Пугачев оправил шапку и, сшибая толпившихся у ворот зевак, вымахнул на улицу.

Все это произошло в минуту. Пугачев, нахлестывая Ласточку, под лай собак, несся косыми переулками, вот прорезал он весь город и, чтоб обмануть погоню, поскакал полем в противоположную сторону от Котловки. Однако погони не было. Он выбрался на яровой лесистый берег, перевел дух и повернул лошадь на Котловку.

— Ну чего, продал коня-то? — встретил его возле избы Ванька Семибратов.

— Продал, — буркнул Пугачев.

— За дорого?

— Цену подходящую взял, — хмурясь, ответил Пугачев и добавил: — Расчелся горазд хорошо.

Вечером ужинали на берегу Камы, у самой воды, возле суденышка с дегтем. Карп Степанович потчевал гостей знаменитой камской белугой. Водка была. Пугачев пил с жадностью, молчал.

Наелись до отвалу. Ванька лежал на песке вверх лицом, сытно рыгал. Рыбий человек подправлял костер. Было сумеречно. Подошла с ведрами статная женщина, певучим голосом проговорила:

— Мир на беседе!

— Спасибочко, — ответили от костра. Хозяин сказал:

— Присаживайся, Катеринушка, покалякай с нами.

Она переняла пристальный взгляд Пугачева, охотно поставила ведра, расчистила ладонью песок от сора, присела. Пугачев сразу узнал в ней свою вчерашнюю знакомку, но не подал вида.

— Уехал старик-от, свекор-то? — спросил рыбий человек.

— Уехал... На завод вытребовали замест мужа моего, — протянула Катерина. — А свекровка-т в гости к сестре ушла в Свиные Горы. Одна домовничаю.

— Поди трохи-трохи страшновато одной-то? — спросил Пугачев. — Я вот один здеся-ка ночую, на суденышке на энтом, да и то страшусь, того гляди водяной ночью в омут утянет за бороду.

Катерина улыбнулась, в ее больших глазах вспыхнули любопытные огоньки. «Придет», — подумал Пугачев.

— Нет, я не боюсь одна. А коли и боялась бы, куда деваться?

В это время на островке в кустах защелкал соловей. Сердце Пугачева облилось истомой. Взор его приковался к губам Катерины, — губы улыбчивые, сочные, ему захотелось поцеловать их.

Карп Степаныч отрезал два ломтя хлеба, положил на них большой кусок белуги, подал женщине:

— На-ка, Катеринушка, покушай! Поберечь тебя некому, одна ты.

— Спасибо, — сказала Катерина. — Я домой снесу. Соседка наша, тетка Лукерья, в бедности мается, я с ней поделюсь.

Катерина встала, зачерпнула воды, взяла рыбу, попрощалась и пошла.

— Ой, бедно, бедно живет народишко,—вздохнув, сказал рыбий человек. — Наше село приписано к Авзяно-Петровскому дворянина Евдокима Демидова заводу. И земская контора при селе. Почитай, всех мужиков на завод угоняют. От мала до велика. Кто уголья жжет, кто руду копает. Голод, холод, мокреть, а жрать втридорога у конторы заводской надо купить, а заработок — грошики. С голоду пухнут, мрут. А спину гнут с зари дотемна, и поспать недосуг. Бунтуют, а толку нет, в бега бегут, да ловят их. Ой, горемышная на заводах жизнь.

— Тьфу ты! — с сердцем плюнул Пугачев. — Под барами крестьянству худо, на заводах того гаже... А где же хорошо-то?

— В могиле, — подумав, ответил рыбий человек.

8

Семибратов увел лошадей в ночное. Пугачев завалился спать на причаленном к берегу дегтярном суденышке: товар караулить надо. Лежал, в небо глядел, ночь была белая, звезд в небе не было.

Вот всплеск весла по воде. Пугачев чуть привстал. В блеклом мареве, совсем близко от него, лодка плывет.

— Катерина, — тихо позвал он и поднялся. — Посади меня в лодочку. Не заспалось тебе, что ли? Соловьев, что ли, плывешь слушать?

— Плыву соловьев слушать. Да плакать. Садись, цыганок.

И вот они в два весла подплывают молча к соловьиному острову. Малиной, земляникой пахнет, сладостный дух стоит, дикие утки в зарослях крякают. Пугачев взволновался: видит лицо побледневшее, видит губы улыбчивые, но голубые глаза ее печальны, слезы в глазах.

— Пошто же тебе плакать? Ты такая пригоженькая... — дрогнув сердцем, сказал Пугачев.

— О муже плачу, о хозяине. Умер хозяин. Убили его... На заводе солдаты застрелили, как бунт был. Одна я... — Весло упало из рук ее, и слезы стали падать в колени. Она в стареньком опрятном сарафане, с медными, как бубенчики, пуговками.

Лодка стояла в кустах. Пугачев молчал. Она вытерла слезы рукавом полотняной рубахи, сказала:

— Жалко шибко его... Во снях вижу. Все приходит ко мне, говорит-говорит, наговориться не может. Иным часом страшно... Боюсь. И жизнь не мила... Камень бы да в воду.

— Мертвого с погоста не вернуть, — сказал Пугачев, отламывая кудрявую ветвь талинки. — Потужишь да забудешь. Замуж выйдешь.

— А кто меня возьмет? — Она опустила голову, и губы ее задергались. — Парней у нас нет ладных, кто поздоровше, на завод гонят. Мозгляки одни на селе. Да так думаю: хозяина-то мне и не забыть вовеки.

— За-а-будешь,— протянул руку Пугачев и погладил руку Катерины.— Я тебя, Катеринушка, и взял бы в женки, да...

— Ну так что? Бери...

— Горе мое — женатик я. Врать не стану. И детки есть... Двоечка.

— Счастливая твоя жена, — вздохнула Катерина.

— Она-то счастливая, да я-то несчастный. До баб горазд охоч. Сердце у меня что ни на есть блудливое.

Катерина долго молчала. Она боялась поднять свой взор на чернявого. Он тоже молчал, он слушал соловьиные трели, и сердце его, как на качелях, стало качаться от Камы к родному Дону, где также в эту пору от земли до неба соловьиная ночь стоит.

Катерина прошептала:

— Ребеночек был у меня, сыночек. Петюнькой звать. Жил годик, а тут бог прибрал. Горевала я, жалко было в могилу-то свою кровушку тащить.— Она поникла головой, скрестила руки, и снова из глаз ее закапали слезы.— И пошто бог покарал меня, пошто мужа с сынком прибрал к себе?

— Еще родишь,— сказал Пугачев,— этому горю трохи-трохи помочь можно, а слезы лить нечего... Кто собирается избу рубить — не плачет, а бревна возит. Горе твое, говорю, поправимое.

Катерина вздохнула, подняла на Пугачева глаза, хотела улыбнуться, но губы ее вновь задрожали, задергались.

Пугачев схватил Катерину и с такой силой трижды поцеловал ее в мокрые глаза, в щеки, в закричавший рот, что лодка заколыхалась, и серый соловей, похожий на большого воробья, выпорхнув из ближнего куста, перелетел подальше.

Она оттолкнула Пугачева, с милым укором сказала:

— Какие казаки охальные, в чужих садах норовят малину рвать.

Пугачев вытер губы, подморгнул ей и захохотал негромко.

Она взяла корзину, подтянула за таловый куст лодку к берегу и вылезла на островок.

— Прощай, — с тоской сказала она. — В лес по ягоды пойду.

— Не прощай, а здравствуй. — И Пугачев тоже покарабкался на берег.

Ночью, пока Пугачев брал ягоды, в село Котловку приехал воеводский стражник, высмотрень. Он постучался в избу Карпа Степановича, кума своего, и стал его спрашивать, не пробегал ли, мол, в тутошних местах чернобородый, военного обличья, конный человек, — воевода, мол, приказал об этом человеке допытаться, и ежели где повстречается тот чернобородый, то и схватить его.

Карп Степанович Карась — мужик умный, он сразу догадался, что его постояльца ищут, и сказал:

— Нет, такого человека у нас не чутко. А по какому случаю воевода разыскивает его?

— Да оный человек воеводу нашего по сусàлам смазал. У воеводы зуб гнил, щеку эвот как разнесло. Ну-к, чернобородый-то как порснул воеводу по скуле, у него и зуб вылетел и рожа в прежнее положение пришла, зараз оздоровел.

Рыбий человек засмеялся, ухмыльнулся в кудлатую бороду и высмотрень.

— А для ради чего шум-то промеж них вышел? — спросил Карп Степанович и выставил угощение.

Стражник подробно рассказал, как было дело, и добавил:

— Опосля гвалту воевода плетью отстегал воеводиху свою: «Ты, говорит, жирная квашня, при всем народе осрамила мое званье. Кто ж меня, воеводу, смеет бить? Чернобородый не бил меня, а зуб пользовал по моему приказу...» Вся Елабуга со смеху покатывается, а воевода хоть бы что, вчерась вечером на краденом коне верхом по городу скакал.

Кумовья расстались перед утром. Стражник поехал в Елабугу пьяный, с песнями.

Пугачев, узнав о наезде соглядатая, низко поклонился рыбьему человеку:

— Спасибочко... Вовек не забуду тебе этого.

Опаски ради он спустил свое суденышко версты на две ниже села Котловки. Там прожили они с Семибратовым еще трое суток.

Исподнее у казаков поистлело; у товарищей, по заказу Пугачева, было к отплытию новое, добротного холста белье. Да еще Пугачев сделал себе два полотняных носовых платочка. Ванька Семибратов от платков отказался, — на что они ему сдались? Пугачев выругал его: мало ли на обратной дороге какой знатнецкий случай может быть, вот тогда носовые-то платки авось и сгодятся...

Пугачев не раз приходил в Котловку, чтоб повидаться с Катериной да холстов с дегтем докупить. Холстов он купил много, у одной Катерины пятьдесят три аршина, по две копейки за аршин, на рубль шесть копеек, да сверх сего выдал Катерине целый золотой империал за ягоды. Катерина заливалась слезами.

— Поплывем на Дон, вольной казачкой будешь, кундюбочка моя, Ванька в жены тебя возьмет.

— Как я брошу родную сторону? — плакала Катерина. — Здеся-ка на погосте сыночек лежит, а в Урал-горах муж убитый...

Рыбий человек, Карп Степанович Карась, прощаясь с Пугачевым, пристально поглядел в чернобородое, с веселым задором лицо своего гостя, сказал:

— Ну, Омельян Иваныч, доведется ли нам с тобой ощо когда свидеться?

— Мабудь и встренемся когда, — сказал Пугачев, по-простецки обнимая рыбьего человека. — Только навряд ли. Горазд далече до тебя.

Разве мог Пугачев когда-нибудь помыслить, что пройдет немного лет, и он снова будет в селе Котловке, да не простым казаком, а грозным мужицким царем в силе и славе, что призовет он рыбьего человека и повелит быть ему над всей волостью полковником...

Особенно трогательно, как с верным другом, расставался Емельян Пугачев со своей боевой кобылкой. С прожелтью белая Ласточка была не крупна, но крепка и вынослива, отличалась добрым нравом и резвостью.

— Ну, Ласточка, подруженька моя, оставайся. Послужила ты мне правдой-совестью... Прощай... — Он огладил лошадку и похлопал ладонью по ее крутой, сильной шее. Ласточка, похрапывая, кланялась ему, умными черными глазами глядела в чернобородое, такое родное лицо своего былого хозяина.

Пугачев, не оглядываясь, быстро пошел прочь. Ласточка вздохнула.

— Эхма! Никогда не забыть донскому казаку своей лошадки...

Уплыли втроем: Ванька Семибратов, Пугачев да тутошный крестьянин Вавилов. Рассчитаться с Вавиловым за посудину с дегтем денег у казаков не хватило, при благополучной торговле расквитаются в Царицыне.

В Царицын они приплыли уже глубокой осенью. Всю обратную дорогу, когда останавливались в селениях, слышали много разговоров о московских заседаниях выборных людей. Одни говорили, что, мол, выйдут новые законы, по которым мужик будет с землей и волей. Другие отрицательно мотали головами и в глаза смеялись легковерным:

— И не дожидайтесь! Все останется, как было.

И крестьянин Вавилов и Емельян Пугачев тоже думали, что баре вряд ли доброй волей расстанутся с землей. А Ванька Семибратов в разговоры не встревал, трудными делами он интересовался мало.

Итак, путь-дорога кончилась. Для молодого Пугачева она была поучительна. Он перенес в ней много испытаний, приобрел большой житейский опыт, возмужал и теперь смотрел на жизнь иными, менее доверчивыми глазами.

Правда, он не имел в душе ни особых намерений, ни каких-либо широких замыслов, он был как все. Он не задумывался о том, что его случайные встречи с купцами, воеводами, помещиками и эта мужичья войнишка в селе Большие Травы впоследствии окажутся нужными ему, как воздух, как дыхание.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Исторический пейзаж. Турция и Польша. Крестник Петра Великого

1

По своем воцарении Екатерина утверждала, что после разорительной войны с Пруссией России нужен многолетний мир. «Мир необходим нашей обширной империи; мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях».

Вместе с тем с самого начала царствования Екатерина желала иметь влияние и вес в Европе. Хотя она и старалась руководить внешней политикой самостоятельно, независимо от фаворитов и в особенности от иностранных при русском дворе послов, но главным, незаменимым ее советником всегда был граф Никита Панин, глава Иностранной коллегии.

Вскоре Россия стала играть политическую роль, равную роли главных держав Центральной Европы, а среди северных стран — первенствующую.

Обладая политическим искусством и тактом, Екатерина сумела расположить к себе Фридриха II и вела с ним обширную переписку по вопросам общеевропейских дел.

А с Францией и Австрией отношения России были натянутые. Русская дипломатия, связав судьбу России с Пруссией, руководствовалась в своих делах

системою так называемого «северного аккорда», куда входили: Россия, Пруссия, Англия, Дания, Швеция, Польша. Противовесом «северному аккорду» было франко-австрийское соглашение.

Но эта система не казалась достаточно прочной и устойчивой: яблоком раздора могла послужить судьба Польши, которой угрожал раздел.

Екатерине удалось без войны поставить Польшу и Курляндию в зависимое от России положение. Она действовала дипломатическим путем, распоряжениями полицейского характера и военными демонстрациями.

Польша меж тем постепенно приходила в упадок, крестьяне и ремесленники бедствовали. Власть короля Августа III сводилась почти на нет, господствовали крупные магнаты и шляхта, их поддерживало католическое духовенство. Однако паны все время враждовали между собой, внутренние смуты раздирали Польшу, а это было на руку соседним государствам.

В 1763 году польский король умер, и России пришлось энергично ввязаться в дела Польши. Екатерина добилась того, что новым королем был избран Станислав Понятовский, ее давнишний сердечный друг, когда-то состоявший при русском дворе. С этого времени политика Польши диктовалась всецело Екатериной, и Польша стала вассальным государством России. А в Европе стали ходить разжигающие слухи о намерении вдовствующей Екатерины вступить в брак с новым королем и в результате этого ловкого хода присоединить всю Польшу к России.

Русское влияние в Польше сильно раздражало Европу. В феврале 1768 года в Польше вспыхнул мятеж — как протест против русской политики. Мятеж возглавлял Иосиф Пулавский. Ядро восстания составляли паны, магнаты, шляхта. Они объявили Станислава Понятовского низложенным, а себя — главарями так называемой Барской конфедерации, учрежденной в Баре для охраны шляхетских привилегий. Для подавления мятежа из России были посланы воинские части, они соединились с войсками Станислава Понятовского. Начались неудачные для

конфедерации стычки. Поляки очутились в тяжелом положении, каковое усугублялось противошляхетскими восстаниями крестьян. В конце концов политические обстоятельства сложились так, что Польша оказалась накануне раздела между Россией и Пруссией. Польская дипломатия малодушно полагала:

— После бога первая и единственная есть Турция, могущая оказать нам помощь.

Меж тем Россия с давних пор воевала с Турцией, стараясь присоединить к себе Крым и открыть широкие ворота в Черное море. Чтобы вырвать из рук России Польшу и этим ослабить все возрастающее в Европе значение России, Франция задумала науськать на нее турецкого султана. Екатерина сильно разгневалась на Францию. Она говорила про нового французского посланника:

— Господин Сабатье будет мною встречен, как собака, попадающая в игру в кегли.

Турция оказалась податливой. Этому помог подвернувшийся случай: русский отряд, преследуя конфедератов, ворвался в турецкое местечко Балту. Султан, подстрекаемый Францией, высокомерно потребовал немедленного очищения всей Польши от русских войск, а вслед за этим объявил России войну.

Екатерина предвидела, что война с турками будет многолетней. Всюду закипела напряженная, по устроению воинских сил, работа. Много трудилась и Екатерина. Она обычно вставала в шесть часов утра и, по наблюдениям Миниха, проводила в занятиях по пятнадцати часов в сутки. Между прочим... она удовлетворенно говорила:

— Я так расщекотала наших морских по их ремеслу, что они огневые стали.

Весной 1768 года наши армии под предводительством графа Румянцева, Петра Панина и князя Голицына дошли до турецкой границы.

Стараясь возбудить в графе Румянцеве военный пыл и честолюбие, Екатерина писала ему:

«Великие дела увидим в нашем веку, и турецкая громада подвержена будет некоторому потрясению... На Вас Европа смотрит!»

На совещании в Государственном Совете Григорий Орлов высказал мысль об экспедиции в Средиземное море:

— Я буду настаивать на этом неотступно. Окончательную цель войны я вижу в том, чтоб по Черному морю было завоевано право свободного мореплавания.

Усиленно, не теряя времени, сооружался на Азовском море русский флот.

Двинув главные силы к границам Турции, Россия направила дополнительный воинский отряд в Польшу, чтобы покончить с конфедератами. Весной 1769 года выступил в Варшаву бригадир Александр Васильевич Суворов. Общее же командование русскими войсками в Польше принадлежало генералу Веймарну.

Конфедераты стояли под Брестом, ими руководили сыновья умершего старика Пулавского — Франц и Казимир. Выказывая находчивость, храбрость и высокую военную тактику, Суворов всюду разбивал конфедератов. При этом его военная задача облегчалась сочувственным отношением нашего, польского и жестоко угнетаемого шляхтой белорусского крестьянства.

Казимир Пулавский погиб в сражении, незадачливый Франц бежал в Америку, а меньшой их брат попал в плен и был препровожден в Казань к губернатору Бранту. Большие партии пленных конфедератов направлялись в глубь России: в Казань, Оренбург, Пермь, Тобольск, Челябинск.

В январе 1769 года произошло внезапное вторжение в Россию крымских татар. Многие русские были уведены в плен. Но этот разбойничий набег был последним.

Ранней весной 1770 года из Кронштадта отправился в первое океанское плавание весь наличный флот. Руководителем экспедиции в архипелаг назначен был не проходивший морской службы граф Алексей Орлов (он проживал на излечении в Италии).

Флот вели Спиридов и Эльфингстон. Талантливый ученик Петра Великого, адмирал Спиридов во время плавания усердно обучал команду стрельбе и маневрированию кораблей. Удивив Европу, флот довольно быстро, на парусах и веслах, покрыл огромное пространство, принял в Италии на борт графа Орлова, обогнул Грецию и вошел в архипелаг.

Подступив к Наварину, флот овладел фортами и взорвал их.

Преследуя турецкий флот, русские корабли настигли его у острова Хиоса, недалеко от бухты Чесмы. Неприятельский флот был во много раз больше русского. Он имел шестнадцать линейных кораблей, вооруженных тысячью двумястами пушек, шесть фрегатов и около сотни более мелких судов. У русских же было только девять кораблей с высокими бортами да несколько брандеров и мелких вспомогательных судов.

При виде столь крупного неравенства Орлов пришел в уныние. Но на военном совете русские моряки высказали единодушное желание победить или умереть. Воинственное настроение всей команды сулило победу.

Двадцать четвертого июня 1770 года начались военные действия на море.

Турецкий флот левым крылом примыкал к скалистому острову Хиосу, а правым — к отмели, ему трудно было свободно маневрировать.

Русский флот двумя колоннами двинулся на неприятеля. Адмирал Спиридов, имевший у себя на корабле «Евстафий» Федора Орлова, предводительствовал авангардом, контр-адмирал Эльфингстон — арьергардом, а главнокомандующий Алексей Орлов остался в кордебаталии.

Неумолчно гремели пушки. Русская эскадра постепенно приближалась к неприятельской. Ружейные выстрелы уже стали помогать пушечным. Корабль «Евстафий», руководимый храбрым адмиралом, сражался против трех кораблей и одной шебеки. Через несколько минут «Евстафий» сцепился на абордаж с самым сильным флагманским турецким кораблем.

Русские матросы уже перескакивали на неприятельскую палубу, началась отчаянная резня.

Русский унтер-офицер, бородач, кинулся к корме, стал срывать адмиральский турецкий флаг. Турки с гвалтом: «Алла-алла!» — набросились на него, в схватке отсекли ему руку. Стиснув флаг зубами, бородач с азартом стал отбиваться уцелевшей рукою, но его подняли на штыки. Подоспевшие русские в свирепой резне вырвали от врагов тело товарища, подхватили флаг и, как боевой трофей, вручили его тогда же адмиралу Спиридову.

Русские удальцы тем временем успели запалить вражеский корабль. Турки как угорелые носились по палубе, с заполошным криком тушили пожар: в трюме — порох, корабль вот-вот взлетит на воздух. Спиридов и Федор Орлов, почувствовав угрозу и своему кораблю, поспешно сели в шлюпку. И не успели они отплыть, как подгоревшая, охваченная огнем грот-мачта турецкого корабля грохнулась на «Евстафия», посыпались снопами искры, «Евстафий» загорелся. Люди стали бросаться в воду. Со страшным громом и треском взлетел на воздух вражеский корабль. Вслед за ним взорвался и «Евстафий». Турецкие корабли принялись впопыхах рубить причальные канаты и быстро уходить прочь.

Граф Алексей Орлов, наблюдая жесточайшее сражение и усмотрев, что «Евстафий» взорван, почел своего брата Федора погибшим, с отчаянья лишился чувств. Вслед за тем, очнувшись, он приказал поднять все паруса и бросился со своими кораблями в середину неприятельских, поражая их ядрами. Турецкий флот в смятении и беспорядке бежал в Чесменскую бухту. Дневной бой закончился.

Весь следующий день русские готовились к новой атаке, набивали горючим четыре брандера. Эти особого назначения суда должны сцепиться («свалиться») с противником, поджечь себя и спалить вражеский корабль. Работа на брандерах смертельно опасна. На клич охотников нашлось много — больше чем нужно.

В лунную тихую ночь на 26 июня русская эскадра стала подходить к турецкой. В начале второго часа ночи от стрельбы с русских кораблей загорелся турецкий фрегат. Взвились три боевые ракеты, означающие приказ: «Брандеры, вперед!» Четыре брандера понеслись на неприятеля. На головном — отважный молодой лейтенант Ильин.

— Ну, ребята морячки, вот сейчас славный фейерверк увидим! — сбив бескозырку на затылок, подбадривал он команду смельчаков. — А ежели и умрем, так с треском!..

Вот они уже в средине вражеской эскадры, вот «свалились» с турецким кораблем.

— Запа-а-ливай! — раздалась команда.

Горючее в брандере вспыхнуло. Снопы огня фукнули на неприятельскую палубу.

— В шлюпку! — скомандовал Ильин. И шлюпка, унося смельчаков прочь от смерти, заскользила по глади черных вод.

Неприятельский корабль взорвался. Смельчаки с Ильиным бросили весла, закричали «ура». Вот взорвался другой турецкий корабль, вот третий...

Брандеры работали на славу. От огромных пожарищ возникла сильная тяга воздуха: ветер упруго шел в сторону турецкой эскадры. Враг растерялся.

Русские моряки, пораженные невиданным зрелищем, кричали «ура», били из пушек по обезумевшим туркам. Языки пламени перелетали во тьме, подобно зловещим огненным драконам, падали на турецкие корабли, зажигали их. Со страшным треском взлетели сразу два турецких фрегата.

От взрывов сотрясалось пространство, кругом катились неумолчные гулы. Морякам казалось, что вскипало, выплескивалось море, что отблески пожарищ красили волны в кровь и бледный месяц перескакивал в страхе из облака в облако.

Взрывы продолжались. Вместе с фонтанами пламени и сизо-розовыми клубами дыма взлетали к небу пылающие паруса, объятые огнем мачты, обломки судов, разорванные на части трупы, и все это с шипением и шумом валилось в бездну моря. Воздух

содрогался, оглушительно гудел. Подернутый густейшим дымом горизонт качался.

Наблюдая огневую гибель вражеской эскадры, Алексей Орлов от возбуждения дрожал, прищелкивал языком и пальцами, хрипло выкрикивал:

— О матушка, о великая государыня!.. Видишь ли? Слышишь ли? Славу твоего пресветлого имени морячки наши держат с честью!

Под усами хмурого адмирала Спиридова нет-нет да и покажется восторженная улыбка.

Набежавший Орлов схватил его в охапку, подбросил вверх и, поймав на руки, принялся целовать:

— Победа, адмирал, победа!

А взрывы гремят. К рассвету вся турецкая эскадра была обращена в дым и пепел. Погибло шестьдесят пять турецких кораблей с двадцатью тысячами человек. Русские лишились одного корабля и шестисот восьми человек, — в том числе тридцати офицеров.

Спиридов под сильнейшим впечатлением огневого боя писал своему приятелю графу Ивану Чернышеву:

«Турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили и оставили на том месте престрашное зрелище, а сами стали быть во всем архипелаге господствующими».

Вскоре после Чесменского боя, покрывшего российский флот вечной славой, русским армиям удалось нанести туркам потрясающие удары и на сухом пути.

2

Весной, после победоносных стычек с турками, крупный отряд донцов под начальством полковника Кутейникова двинулся со второй армией графа Петра Панина в поход сильнейшей крепости — Бендерам.

Емельяну Пугачеву, призванному вместе с донцами, редко доводилось быть в таких тяжелых походах. Войска шли по опустошенному войной месту, селения еще в прошлом году были разрушены, преданы огню: ни фуража, ни продуктов... Жители разбежались. Да и весенняя погода подгуляла: днем то не-

стерпимая жара, то ливень, ночью — пронизывающий холод: у Пугачева стали побаливать ноги.

И еще невзгода: кругом свирепствовала страшная чума. Солдатам и казакам, как противочумное средство, иногда выдавали по чарке водки с чесноком и забористым турецким перцем.

Как-то случилось казакам добыть в брошенном шинке три больших бочки виноградного вина. Как раз подоспело два дня роздыха, казаки хорошо кутнули. Был пьян и Пугачев.

Сидели у костра, вспоминали Дон, сказывали занятные истории о турецких колдунах и ведьмах. Складней всех подвирал Пугачев.

Ванька Семибратов взял прислоненную к кусту нарядную саблю Пугачева, стал ее рассматривать. И все потянулись к сабле. Рукоятка ее отделана золотом, а по стальному клинку золотой насечкой — надпись.

— Откудов ты энту знатную саблюку добыл? — спросил Пугачева старый пегобородый сотник Кавун.

Пугачев сделал серьезное лицо и заплетающимся языком сказал:

— По-по-жалована мне оная сабля самим императором Петром Первым.

Пьяный сотник вытаращил на Пугачева глаза, спросил:

— Самолично? Петром Великим?

— Самолично... На крестины. Я Петру Великому, покойному императору, родным крестником довожусь.

Казаки разинули рты, примолкли, уставились на сотника, ждали, что он скажет. Сотник сказал:

— Это... это, брат, ого-го... Береги саблю! Эта сабля дорогого стоит. Да к ней, как ко святой иконе, прикладываться по воскресеньям треба. И чего ж ты, ведьмячья твоя лапа, молчал?

— А чего мне хвастать-то? Я не уважаю хвастунов, — сказал Пугачев, пряча под усами плутоватую улыбочку.

Весть о знаменитой сабле вскоре распространилась по лагерю. К Пугачеву казаки стали относиться с особым уважением. Пугачева это забавляло.

Через три дня он был приглашен в палатку полковника Кутейникова. Там сидел и походный атаман Тимофей Греков, начальник Пугачева.

— А ну-ка, Емельян, покажь саблю Петра Великого, — попросил атаман и прищурился. — Так ты доподлинно царев крестник?

Пугачев подал саблю и сказал, что Петр Великий доподлинно крестил его. Государь в то самое время проезжал в Воронеж корабли снастить. Об этом сказывала ему мать, а сам Пугачев этого не помнит, он был тогда несмысленышем, качался в зыбке, мамкину сиську сосал.

Тогда оба начальника враз захохотали, Пугачев понурил голову. Зажав в горсть густую бороду и смешливо прищурив глаза, атаман сказал:

— Да ежели б Петр Первый крестил тебя даже в остатний год жизни своея, то и тебе ныне было бы под пятьдесят годков. А тебе скольки? Поди не насчитать и тридцати. — Плечи и тугой живот атамана заколыхались в беззвучном смехе.

Пугачев переступил с ноги на ногу, почесал затылок.

— Да и надпись-то вычеканена по-арабски, — сказал полковник, подавая саблю Пугачеву. — Сдается мне, что ты отобрал эту саблю у какого-нито турецкого паши. Сознайся, ведь ты выдумал, что ты крестник Петра Великого? А ежели выдумал, то чего ради?

— Выдумал, как есть — выдумал, — сознался Пугачев, глядя в землю. — А выдумал не ради намерений каких, не ради паскудства, но чтоб *произвесть себя отличным от других*.

— Га! — Походный атаман Греков вскинул палец вверх. — От то гарно, казак Пугачев! Добре молвил: произвесть себя отличным от других.

Полковник Кутейников, подергивая сивый ус, согласно закивал головой. Пугачев бодро прикашлянул и, не мигая, глядел в лицо начальству.

— Только вот что, Пугачев, — сказал полковник. — Отличным от других надо стараться произвесть себя на поле брани, а не...

— В сражениях я, ваше высокоблагородие, о смерти не помышляю, первым в пекло лезу.

— Храбрость твоя ведома, Пугачев, — проговорил атаман, посасывая турецкую, с кулак, люльку. — Ну, ступай себе с богом. Служи.

Летом 1770 года началась кровавая осада сильной турецкой крепости Бендер.

Емельян Пугачев, особо отличившийся в этом горячем деле, был произведен за свою умную храбрость в чин хорунжего, то есть в первый казачий офицерский чин.

В ночь на 16 сентября, после ожесточенного штурма, крепость пала.

«Медведь издох», — доносил Петр Панин Екатерине. Однако этот медведь достался в руки победителей не даром: вторая русская армия потеряла при штурме пятую часть своего состава.

Тем временем армия Румянцева тоже одерживала победу за победой. Но беда в том, что в Турции усиленно распространялась смертоносная чума, и военачальникам пришлось вести русскую армию по малонаселенным местностям.

При впадении реки Ларги в Прут Румянцев встретил восьмидесятитысячную армию противника. У Румянцева было, вместе с больными, около двадцати тысяч человек. Он объявил войскам:

— Слава и достоинство наше не терпят, чтоб сносить присутствие неприятеля, стоящего в виду нас, не наступая на него!

Наступление произошло 7 июля. Турки были сломлены, разбиты и бежали.

В этой славной битве отличился любимец Бибикова молодой вояка Иван Иванович Михельсон. Ни тяжелые раны, полученные в прусской войне, ни плохое состояние здоровья не подорвали его отваги. Со своим эскадроном он первый ворвался в турецкий лагерь, быстро взял «на ура» восемь неприятельских пушек, но тут же был ранен в руку пулей навылет. За этот подвиг его произвели в премьер-майоры.

За частые поражения два великих визиря были смещены. Третий, Халимбей, узнав, что у Румянцева всего семнадцать тысяч войска, перебросил чрез Дунай свою стопятидесятитысячную армию в надежде раздавить Румянцева. На берегах реки Кагула 21 июля «азиатское количество столкнулось с европейским качеством». Был момент, когда многочисленные янычары смяли русских, наши побежали. Но тут с отборными гренадерскими полками бросился на выручку сам Румянцев. Раздался его зычный голос: «Ребята, стой!» Русские остановились, непоколебимой стеной окружили своего командира, гренадеры ударили в штыки, артиллерия довершила дело. Враг в беспорядке бежал, оставив на поле двадцать тысяч убитых, всю артиллерию и весь свой лагерь. У нас убитых было триста пятьдесят три человека.

В своем донесении о Кагульской победе Румянцев, сравнивая тактику своих войск с тактикой древних римлян, между прочим, писал Екатерине: «Не так ли армия вашего величества теперь поступает, когда не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только, где он».

За эту победу граф Румянцев был пожалован в фельдмаршалы, а впоследствии, в честь победы при Кагуле, в Царском Селе воздвигли мраморный обелиск.

Восторгаясь героизмом русских победоносных войск, Екатерина изрекала афоризмы:

— Победа есть враг войны и начало мира. Победою истребляется война и прокладывается путь к миру.

А между тем набор шел за набором, маломощное закрепощенное крестьянство, работавшее четыре дня в неделю на помещика, обессиливало, хирело.

3

Полк, где служил хорунжий Пугачев, после горячих боев был отведен на винтер-квартиры, в село Голую Каменку. Наступило зимнее затишье.

Однажды, попав в городок Елизаветград, Емельян Пугачев зашел, любопытства ради, в турецкую ко-

фейню, присел к окну и попросил себе кружку черной, незнакомой ему жижицы.

Тут было много военных, они вели шумные разговоры. Вот трое молодых, слегка подвыпивших офицеров-щеголей за столиком у окна. Хотя все трое навеселе, но беседа у них серьезная. Понял Пугачев из той беседы не все, а чтó понял, то показалось ему до крайности любопытным. Офицеры говорили о войне, о том, что-де эта война с турками должна проложить чрез Черное море путь-дорогу русскому хлебу к заморским державам, а то русская торговля на юге совсем хиреет. Выходило: битвы с турками не из-за чего иного начались, как лишь из-за того, чтобы помещик да купец могли зерно с своих полей и прочие товары пустить в торговый оборот за морем. Эге-ге, значит, вот из-за чего война... Нехай так!

Еще пуще привлекла внимание Пугачева беседа за столом, у стойки. Сидели там молодой гусарский офицер да сам хозяин заведения, полнотелый черноусый человек с иссиня-темными глазами. Как выяснилось из разговора, хозяин был черногорцем, часто живал в Петербурге и неплохо говорил по-русски.

— Да, да, господин поручик, странные на свете дела бывают, — с акцентом, громко повествовал черногорец. — Вот уже больше года по Далмации и Черногории разъезжает неизвестное лицо. То он лекарь, то он одетый в рубище мужик. И никто не может узнать, откуда он, кто он такой. Только вдруг объявляет себя... знаете, господин поручик, кем? Московским Петром Третьим!

Пугачев разинул рот и затаил дыхание: он жаден был до всяких слухов. Удивленно выпучил глаза и гусарский офицер.

— Да, да, — не терпящим возражения тоном продолжал черногорец. — И тогда многие стали стекаться к нему. А некто Марк Ямовик обратился к народу с речью, что этот таинственный человек есть подлинный император Петр Третий, бежавший из заточения в России, что он видел его в Петербурге. И в ручательство своих слов оный Марк Ямовик

давал свое имущество и голову свою на отсечение.

— И что же дальше? — поспешно спросил гусар, допивая кофе.

Черногорец пожал плечами, сделал гримасу недоумения, сказал:

— Что дальше — и сам не знаю. Жду вестей от своего знакомого из Черногории — Боро Станиссека, сына губернатора, умершего в Петербурге. Ну, а вы, господин офицер, видали покойного императора?

— А как же! — воскликнул гусар.

— Каков же он из себя?

— Из себя он был... из себя он был... — Гусар, повертывая голову, обводил неторопливым взором во множестве сидевших за столиками военных и штатских, русских, поляков и турок, и вдруг пристальный взгляд его остановился на большеглазом исхудавшем Пугачеве. — Вы видите вон того хорунжего?.. Под окном который, донской казак... Изрядно он смахивает на Петра Федорыча... И окладом лица и особенно глазами. Только бороденку сбрить.

Хотя гусар говорил негромко, но чуткий Пугачев даже сквозь шум кофейни услыхал эти слова.

На следующее утро под каким-то предлогом он пробрался в палаццо, где был штаб донских казачьих полков, и украдкою стал пристально всматриваться в надкаминное зеркало.

«Неужто жив покойничек? Стало, не зря народ о нем балакает», — думал он и все крутился пред зеркалом, набекренивал на ухо мерлушковую шапку.

К нему подошел с обнаженной саблей часовой-казак:

— Тебе, господин хорунжий, к докладу?

— Нет, — ответил резко Пугачев и вышел.

Столь поразившие Пугачева необычайные слова черногорца вскоре забылись. На смену пришли другие интересы и волнения. Снова раздался шум боевой опасной жизни. Но Пугачеву воевать больше не пришлось. Он тяжело заболел. От скудного питания у него образовались нарывы на груди, а от сильной

простуды — ревматизм в ногах: ноги ныли день и ночь. Из строя его отчислили на лечение.

Захворавший Пугачев лежал в лазарете. Большинство больных валялось на полу, на соломе, Пугачев же «огоревал» себе холщовую койку. Здесь помещались «нетрудные» больные, не было слышно ни криков, ни стенаний. Бродили санитары из слабосильной команды, раза два в день заглядывали лекари. Солдаты почему-то недолюбливали их, заглазно называли «людоморами». Соседи Пугачева — добрые, из нестарых мужиков. Велись беседы по душам о том о сем, а всего больше — насчет войны.

— Вот воюем, — сказал тамбовец, обросший рыжей щетиной: голова его была забинтована. — А поди раскуси, из-за чего война? Пес ее ведает.

— Из-за чего... По приказу! — протянул другой, чернявый. — Раз приказано — воюй.

Пугачев многодумно ухмыльнулся и проговорил:

— Хы, приказано... С бацу не прикажут, за зря. Попервоначалу обмозгуют дело-то, а тут уж и кулаки в ход.

— Вестимо! Без этого не можно, без розмыслу, — прошепелявил парень с выбитыми в рукопашном бою зубами. — Это тебе не в деревне: стенка на стенку — и никаких.

Пугачев помолчал, затем неожиданно спросил:

— У ваших бар поди много земли-то?

— Земли-то? — отозвался тамбовец в рыжей щетине. — Под нашим барином тыщи полторы десятин.

— А наш помещик, в отставке штык-юнкер Хитрово, на семи тысячах десятин сидит, — подхватил чернявый. — Всюе зиму хлеб-то евонный возят...

— Куда же?

— Куда?.. На Волгу, оттудов по весне — в Питер. Бурлаки тянут, путины две-три сломают за лето по воде.

— От нашенского барина тоже в Питер хлеб плывет. Прямо на удивление, сколь же народу в Питере-то, чтобы весь хлеб с Расеи сжирать?

— Эх, деревня, голова тетерья, — незлобиво пошутил Пугачев и закинул руки за голову. — Из Питера

наш хлеб в заморские разные страны тянется, на всякие торжища. Вот я в Кениксберге был, ярмарка там знатная живет, ну-к и там нашего хлеба да пеньки сколь хошь. Раскусили, мужики, куда хлеб-то втикает, труды-то ваши кровные?

— Да ты, Омельян, сам раскусил, а уж мы таперь жевать учнем, — засмеялись солдаты. — У тебя, казак, видать, ум густой, что твоя капуста.

— Звестно, — проговорил Пугачев. — А то хрюкнула свинья зря ума, ее волк и схрумкал. А вот ежели взять нашу сторону — Дон да Понизовье все, от нас хлеб в Питер не с руки возить, горазд далече, а надо где коло близи норовить. Вот тут-то, братцы мужики, Черное море зараз и сгодилось бы. Нагрузил кораблики, оснастил, да и дуй не стой на заморское торжище.

— Да уж это так, — поддержали солдаты.

— А чье Черное море-то? — поднялся на локте Пугачев. — Турецкое море-то, вот чье. Смекнули, братцы?

— Э-э-э, — протянули мужики и заулыбались. — Стало, хотится нашему царству-государству по султанскому морю путь-дорожку проложить?

— Кабудь так, — молвил Пугачев. — Чрез это и войнишка тянется. Петр Великий под Питером вызнал да отвоевал пути-дороги к тамошнему морю, а мы вот здеся-ка того же добиваемся.

Помолчали. Рыжий поправил бинт на голове, сказал:

— А на кой прах сдалось нам море? Нам бы только сытыми быть.

— Сытыми? — вскинулся на него Пугачев. — Горазд много захотел ты, дядя. Сытым быть... Ха! А не хошь ли воли да землицы барской, да чтобы и самому барином быть?

— А чего ж, — приподнялся на полу рыжий солдат. — Мужик от воли ни в жизнь не трекнулся бы, за волей он живчиком пошел бы, лишь бы поддержка была от миру.

— Как же, дожидайся... Поддержал волк ягненка за ногу... Ха! — ухмыльнулся Пугачев. — Мотри, дядя,

ежели б ты помещиком заделался, ой, по-иному загуторил бы. Пожалуй, завопил бы во весь рот: «А подавай сюды море! Жалаю корабли со своим хлебом водить!»

Все гулко засмеялись. Тамбовец в рыжей щетине, уцапав за рубахой блоху, сказал:

— Нам тысяч десятин не надобно, а хошь бы десятинки две-три, да чтобы свои, кровные.

— Во-во! — дружно выкрикнули солдаты. — Чтобы своя была земелька, не помещичья, а то, веришь ли, петуха на канат привязываем, чтоб на барскую землю не залез. У нас земли, что у журавля на кочке.

— Кабудь так, — одобрил Пугачев. — Я хошь и казак, а помещичью жизню насквозь произошел, трохи-трохи понасмотрелся. Вот ваш хлеб-то за границею плывет, оттуда взамен серебро да золото, а в чей карман? В ваш?

— Ха, в наш... В нашем кармане вошь на аркане... Эхе-хе... Вот воюем, а дома-то, может, кору с древес едят.

— Ну, будет вам, братцы, не канючьте, — примиряюще сказал Пугачев. — Есть и у вас, помещичьих, деревни сытые. Я видал. — И, помолчав, добавил: — А воюем мы, дружки, подходяще, охула не клади на нас. Злее вояки, чем крестьянство да казачество, и на свете нет. Супротив нас ни одни народы вырабатывать не могут, — кишка тонка.

— Да уж как поднапрем всем миром, знай беги от нас, да не оглядывайся!

Вошел «людомор» в очках. В его руке большая бутыль с настоем перувианской корки, из кармана торчит завернутая в тряпочку оловянная ложка. Вокруг хмуро примолкли.

4

Мелкие сражения все еще продолжались в Польше. По своим масштабам они не могли удовлетворить воинственный дух Суворова, — его тянуло к боям крупного значения, он стал проситься на турецкий фронт. К тому же у него были нелады с генералом

Веймарном, военачальником медлительным и допускавшим ненужные жестокости по отношению к конфедератам. Суворова это приводило в бешенство. Он страдал.

Екатерина призвала к себе Бибикова. Тот явился — подтянутый, неизменно веселый, с быстрым взором.

— Голюбчик Александр Ильич, — начала Екатерина. — До вас дело доспелось. Хочу вас просить немедля отъезжать в Польшу. Генерала Веймарна мы увольняем, он ни рыба ни мясо. Его заменяйте вы. Кланяйтесь Александру Суворову, мы производим его в генерал-майоры. Он на свою руку охулка не кладет, побивает полячков играючи. — На розовых щеках Екатерины появились улыбчивые ямочки, шутливым, но в то же время настойчивым тоном она сказала: — Токмо предуведомляю вас, голюбчик Александр Ильич, держите свое сердце взаперти: как бы оно от польских панночек обольщено не было и не претерпело бы...

— Мое сердце всегда у ваших ног и в полном распоряжении вашего величества, — сделав реверанс и плавный вольт рукой, в тон ей ответил Бибиков.

Екатерина, поджав тонкие губы, снова улыбнулась и милостиво погрозила ему пальцем.

Бибиков зашел в покои наследника Павла Петровича, которого он очень любил и с которым был в переписке. А пред отъездом в Варшаву направился за инструкциями в кабинет графа Никиты Панина [1], первого министра Российской империи.

— Ну, граф, благословляйте!

— Да благословит вас бог и великая Екатерина, — с лукавой улыбкой дипломата ответил Панин. Он несколько потучнел, обрюзг, но, как и всегда, бодр и в манерах великолепен. — Тучки, тучки, Александр Ильич, показались над нашими делами в Польше. И, окромя вас, некого мне туда послать. Разогнать доведется тучки-то.

— Как бы из тучки сильного грома не было, — сказал Бибиков.

---

[1] Братья Панины получили графское достоинство в 1767 году.

— Гром-от не там, а в Турции гремит. Европейские державы знатно злятся на нас: Чесму, да Кагул, да Ларгу не могут простить нам. Австрия союз с Турцией заключила, свои войска к Польше пододвинула. А Фридрих-король... ох, уж этот скоропоспешный рыцарь, коварник великий! Он также к польским границам пододвинул свои войска, но тайно. А вот Франция, та откровеннее всех: она послала в Польшу своего генерала Дюмурье с большим отрядом французов.

— И что же?

— Да ничего, — вздернув круглым плечом, с ужимкой ответил Панин. — Предстоит Суворову сабелькой изрядно помахать...

— В этом сомневаться не приходится. — И сидевший в кресле Бибиков закинул ногу на ногу.

Панин пристально поглядел в глаза Бибикову. Он считал его своим другом.

— Да и знаете что?.. — Прихрамывая на отсиженную ногу и поморщиваясь, Панин стал ходить по кабинету. — Только чур: между нами, доверительно... Неспокойно на Руси у нас, добрейший Александр Ильич, ой, неспокойно. Мужики пошаливают, господ норовят за горло взять, поместья жгут. А воинской силы нет, войска в Турции да в Польше. Сами видите — внутреннее положение отечества нашего не из легких...

— А где же неспокойно, граф?

— Где? Да во многих местах помаленьку. И под Пензой, и под Тверью, и в Нижегородской губернии, и в Казанской... Да мало ли? Вот года с два тому назад крупный бунт был возле Волги, в селе Большие Травы...

— Большие Травы? — поднял брови Бибиков. — Так это же именье Перегудова! Большой руки подлец, знаю, знаю.

— Может, он и подлец, — сказал Панин, приостанавливаясь, — а порядок-то нарушен.

— Зачинщики-то кару понесли?

— То-то, что нет! — выкрикнул Панин. — Каких-то двое казачишек проезжих да солдатишка тамошний

мужиков-то подбили к бунту. Подбили — да и драла. Так и не словили их.

— А сам Перегудов?

— А Перегудов уцелел.

— Жаль, — улыбнулся Бибиков. — Ведь он тиран и притеснитель.

— Да, да, — возбуждаясь проговорил Панин. — И не успели унять возмутителей в селе Большие Травы, как у нас под носом бунт содеялся, в псковской вотчине Ягужинского-графа. Там управляющий, некий французик де Вальс, кашу заварил. Или вот вам!.. — Граф прихлопнул ладонью лежавший на столе переплетенный том — «Экстракт дела о возмущении работных людей на Петровских олонецких заводах».

— Я, почитай, год в деревне прожил, — сказал Бибиков, — об этом деле мельком слышал, но тонкостей не ведаю.

— На Петровских заводах пушки льют, помимо всего прочего. — Панин сел за стол и придвинул к себе «дело». — К заводам приписано больше десяти тысяч крестьян — русских и карел. Работа принудительная: хочешь не хочешь, а иди. Не сообразуясь со здравым смыслом, администрация тягала крестьян на завод в самую горячую земледельческую страду. Это озлобляло мужиков. Вы сами знаете: на войну с турками пушки надобны, вот мужиков и заставляли работать чрез плети да палки день и ночь, а тут еще приказ — ломать мрамор для строящегося Исаакиевского собора. Мужику и спать недосуг. Каторгу из завода сотворили! Ну, народ и поуперся, возмутители нашлись. Калистратов, молодой мужик, да еще кой-кто из крикунов. Словом, коротко сказать, заварилась на заводах кутерьма, многие крестьяне кинули работу, в бега ударились; начались преследования, плети, пытки, насмерть забивали иных. Сенат всполошился, послал на завод комиссию из трех пьяных дураков, те сидели там не один месяц, бражничали, взяточки с заводского начальства брали. Сенат этих трех дураков снял, послал туда одного, умного — новгородского губернатора графа Сиверса. Ну, сами знаете, — Сиверс человек образованнейший и честнейший. Сам он

туда, по болезни, не поехал, а рассмотрел дело по бумагам и дал сенату свое мнение. В нем он во всем обвиноватил администрацию заводскую, а крестьян во всем оправдал.

— Да что вы?! — не без удовольствия воскликнул Бибиков.

— А вам сие в удивление? Он пишет, что причина ослушания крестьян состоит в чрезвычайно тягостном и беспорядочном наряде работников к поставке материалов, угля да леса, в самую горячую земледельческую пору; крестьяне, лишаясь, таким образом, возможности снискивать пропитание от своих земледельческих занятий, пришли в отчаяние. И главною причиною отчаяния этого несчастного народа были, по мнению Сиверса, бездарные правители петрозаводской канцелярии. Вот его записка, — сказал Никита Панин, перелистывая «дело». — Он ее кончает так: «Я молчал бы, если б не слыхал глухих жалоб, которых причины должны быть важны, если жалобы слышатся так издалека». Поелику доводы Сиверса были правильны, — ухмыльнулся Панин, — сенат оставил его записку втуне и замест трех первых дураков послал туда наводить порядки четвертого дурака, генерала Лыкошина. А волнение все шире да шире. Лыкошину довелось отправить в леса воинскую команду в сто человек, повел ее офицерик Ламсдорф. И вот слушайте, дорогой Александр Ильич... Ага! Чаек плывет... Прошу...

Лакей, подав чай и кучу сладостей, ушел.

— Привел свою дружину Ламсдорф в большое село Кижи, а там толпища больше шести тысяч; ружья, рогатины, кинжалы, — народ там, почитай, звероловы все, охотники. Щупленький Ламсдорф для храбрости выпил, стал гарцевать на конике, стал покрикивать:

— Выдавайте возмутителей! Становитесь на работы!

А те:

— Ты, барин, лучше передай-кось в наши руки царский манифест. Да убирайся вместе с солдатней, покудов жив, а то всем вам могила здесь будет!

Ламсдорф перетрусил, велел повертывать обратно. Толпа захохотала, двинулась за солдатами, ругала их, кричала:

— Ну, счастливы, солдатье, что стрелять не зачали! — Верст с восемь они провожали отряд свистом, руганью.

Сенат, получив известие, Ламсдорфа сместил, а послал к возмутившимся капитан-поручика Ржевского с подлинным именным указом императрицы. В указе некии льготы давались мужикам, мужики приглашались становиться на работу. Ржевский повел дело умиротворения по-умному. Несколько тысяч крестьян стали на работу. А непокорных в крае оставалось еще много. На усмирение послан был полковник князь Урусов. Ну, он и усмирил их... На сей раз все крестьяне объявили себя послушными... — Панин допил чай, опять зашагал по кабинету и воскликнул:

— Ох, уж эти послушные из-под палки крестьяне! Это, я вам скажу, — порох. Чуть что — и снова кутерьма... Нет, плохо в отечестве нашем. Мужик за пазухой камень держит... И как отрегулировать сей сложнейший вопрос о барине и мужике — хоть убей меня, не ведаю...

— Опасаюсь, как бы сей вопрос не взялся отрегулировать сам мужик, — угрюмо сказал Бибиков.

Он ушел от графа Панина встревоженным. Его сознание было угнетено. Из разговоров с сановниками, с дворней, из переписки с друзьями, да и по собственным наблюдениям он знал, что отношения между крестьянами и барами в дворянской России год от года становятся невыносимей. Вспышки, бунтарства, разбои. Назревают какие-то тягчайшие события, а воинской силы нет. «Хорошо, если бог пронесет грозу, если удастся скоро разделаться с Турцией и Польшей. А вдруг — тьфу, тьфу! — появится какой-нибудь Гришка Отрепьев? Запылает тогда дворянская Россия!»

Подобные мысли не давали спать и придворной знати, и крупным рабовладельцам, и многочисленному мелкопоместному дворянству. Беспокоили они и Ека-

терину. Впрочем, царица надеялась на «промысл божий» и на ретивость карательных отрядов. Ну, там она придумает еще какие-нибудь штучки, чуть полезные мужику и не очень вредные дворянам...

Барин тревожился, скучал, а потомственный мужик радовался. Петербург почти наполовину был населен крепостными: живущая при господах дворня, оброчные крестьяне, строительные работные люди... Кровно связанные со своей страной, они лучше всех знали о том, что творится на Руси. При встречах на базарах, в трактирах, церквах, шинках у них только и разговоров было, что о тяжелой доле мужика, о кровопролитных войнах, о том, что авось и на их улице будет праздник.

ГЛАВА II

Псковская вотчина

1

Граф Ягужинский был крупным рабовладельцем, имел металлургические заводы на Урале, чулочную фабрику в Москве; сам жил в Питере, часто путешествовал по заграницам, в свои деревни заглядывал редко.

Псковской вотчиной, где значилось по ревизским сказкам больше шести тысяч душ мужского пола, управлял его крепостной Герасим Степанов. Он был хорошо грамотен, много читал, умел играть на скрипке, был горазд на нотное пение; граф считал его натурой одаренной. Герасим с малых лет работал писчиком при конторе в селе Хмель, получал жалованье полтора, затем три, затем пять рублей в год, жил скудно. А как вошел в возраст, женился, был определен в приказчики. За неподкупную честность, отменное знание земледельческих работ, уменье ладить с крестьянами приказчик, на зависть многим, вскоре был назначен графом в управляющие псковской вотчиной. Герасиму

Степанову было в великое удивление, что ему, «худородному и маломощному, попущено столь почетное звание».

Прошло два года. Бесчестные завистники, жившие в селе, бывшие барские лакеи и прочего рода прихлебатели, всячески пытались оклеветать его пред графом, злокозненно мстя ему, что он — из мужиков мужик — вылез наверх и руководит ими, будто благородный. Летели на него в Питер грязные доносы, подковырки, кляузы.

Летом неожиданно приехал француз де Вальс, управитель московских вотчин графа Ягужинского. Волею проживающего в Петербурге графа Герасим Степанов смещен в приказчики, управителем же назначен вместо него де Вальс. От такой незаслуженной обиды Герасим Степанов впал в недуг, а враги его возрадовались.

Де Вальс донельзя корыстен и жесток. Для своего личного обогащения придумал завести здесь ткацкую фабричку. «Что ж, — раздумывал ловкий француз, — в этом крае лен родится в изобилии, труд даровой, заставлю подлых смердов полотна ткать, — аршин графу, два себе: граф сюда и носу не показывает — значит, путь к богатству верный».

Толстый, плешивый, на коротких ножках, де Вальс стал совещаться со своим подручным, чахлым, полубезносым французиком Антоном Бодеином. Решили, чрез угрозу и обман, сбирать в свою пользу ежемесячную дань с крестьян всей вотчины. Строжайшее объявление о сем крестьяне приняли враждебно. Ходатаем за них пришел Герасим Степанов. Ему тридцать два года, натурой он был крепок; лицом миловиден. Француз до своих очей его не допустил, велел вытолкать в шею.

Де Вальс держал себя князьком. По деревням разъезжал на тройке вороных, окруженный гайдуками, наводил страх, — при встрече мужики должны были валиться на колени, — сек правого и виноватого. Крестьяне дивились, чего ради какому-то французишке этакая власть на русской земле дана? Пробовали жаловаться, но толку никакого: француз успел

все начальство провинциальной псковской канцелярии задобрить взяткой, пирогами.

По-русски ничего не говорил, кроме: «Шволочь! Загною тюрьма, мать-мать-мать». При нем переводчик — Стахий Трофимов, безликий, робкий, природою из дьячков, когда-то состоял при походной церкви российского посланника во Франции.

Однажды вечером француз проезжал чрез небольшую деревеньку. В него полетели камни, палки, слышались выкрики:

— Убьем!.. Не минуешь наших рук.

Француз перетрусил, ударил кучера в спину, гнусаво заорал:

— Але!.. Марш-марш.

Утром был призван приказчик Герасим Степанов. Француз восседал в золоченом кресле, как царь на троне. Лысый, без парика, в расстегнутом бархатном камзоле, лицо одутловатое, в красных пятнах, на столе — собачий арапник.

— Вот что, любезный, — сказал через переводчика француз. — Мне известно, что мужики хорошо тебя слушаются. Внуши им, чтоб они вполне подчинялись мне и не буянили. Иначе худо будет и тебе и мужикам.

На то раздраженный Герасим смело ответил:

— Вашей милости должно быть ведомо, что любовь подчиненных надобно сыскивать кротким и отеческим отношением к ним. Вы же, сударь, желаете угнетать народ незаконными поборами, я о сем буду отписывать его сиятельству графу Ягужинскому.

Француз де Вальс на эти речи затопал ногами и, задав Герасиму Степанову страх, затаил на него большую злобу, как на человека опасного и непокорного.

Прошел февраль. Дыхнуло теплым ветром, дороги начали буреть, в березах заграяли грачи. Из-под Москвы приехали в село Хмель мастера (московские крепостные графа Ягужинского), привезли ткацкие станки.

— Это что же такое будет? — любопытствовали дворня и крестьяне.

— А вот заставит вас француз день и ночь тонкую пряжу прясть да полотна ткать, — не то в шутку, не то вправду наговаривали мастера. — Дочек ваших заберет на фабричку, сперва перепортит всех, опосля того прикажет над станками спину гнуть до самые смерти. Да и вам, отцы, делов будет невпроворот с этой самой фабричкой.

На крестьян уныние напало, крестились: «Господи, убереги от козней бусурманских...»

Станки вскоре были установлены в трех флигелях и большом амбаре. По деревням срочно составлялись списки на баб, на девок, на слабосильных мужиков.

Среди крестьян началось броженье. На барском дворе, на лесных заготовках, по овинам кое-кто из смельчаков заводил разговоры. Особливо же шел шум по кабакам, вино распаляло мысли, пьяные кричали:

— Нет, врешь! Не поддадимся хранчюзской образине.

— Братцы! Надо бучу зачинать. Сжегчи все окаянное гнездо, нарахать хранчюза, чтоб утёк.

В воскресенье староста оповестил народ, чтоб первая очередь в понедельник чем свет явилась на барский двор, — будут ткацким работам обучать. Бабы, девки плакали, мужики шумели:

— И не подумаем пойти! У нас своих делов по горло. Так и обскажи хранчюзу.

В полдни трех мужиков арестовали, баб с девками перепороли, большой плач стоял.

Народ схватился за последнюю попытку спасти себя. На многолюдном сходе пяти больших селений мужики порешили послать в Питер выборных с поклоном к сиятельному графу, чтоб граф освободил их от немилой работы, от поборов, чтоб убрал чужестранца и русскому народу притеснителя и поставил над ними, как допрежде, бывшего управляющего Герасима Артамоновича Степанова — он мужик верный, свой.

Ходоки с писаной бумагой выбыли в столицу. Но в пути, по кляузному доносу, были схвачены, избиты и приказом ожесточенного де Вальса увезены

со стражею во Псков. Особо сильно претерпел почтенный старец Данило Чернавин: у него нашли бумаги к сиятельному графу Ягужинскому. Прислужники француза топтали старика ногами, волочили по земле за бороду, прошибли череп.

Когда узналось об этом, началась немалая в народе заваруха. Крестьяне двухтысячной толпой подвалили к барскому дому, где сидели, запершись, два француза, переводчик и шестеро гайдуков-служителей.

Народ в тыщу ртов орал:

— Эй, управитель чертов! Покажись к нам на пару слов. Так-на-так перемолвиться охота...

Из форточки высунул бородатую с косичкой голову переводчик Стахий Трофимов:

— Братцы, чего вам надобно? Барин де Вальс просит вас не шуметь.

— Мы тебе не братцы! — с великим гулом и злостью отвечала несметная толпа. — А твой хранчюз нам не барин. Наш природный барин — граф. А твой хранчюз со всем своим кобельем пущай убирается отсюда восвояси. А то вот обволочем весь дом соломой и спалим вас всех!

Тут грохнул в раму град камней, треснули, зазвенели стекла. Осажденные в страхе бросились во внутренние горницы. А на улице все свирепей, все громче:

— Ломай амбар! Кроши станки ихние анафемские! Соломы, соломы тащи к дому... Давай огню.

Чернобородый, со страшным лицом дядя сшиб замок, толпа, распахнув ворота, ворвалась в амбар, раздался глухой грохот, треск, из амбара кувыркались колеса, шкивы, станины, — народ в ярости крушил чертовы затеи.

Французы, да и вся челядь едва не умерли со страху. По горницам заполошно сновали две румяные, с пышными телесами горничные, какие-то грязные кухонные бабы, лакеи, парикмахер Жан... Все суетились, хватали то одно, то другое, пихали в узлы. Де Вальс дрожмя дрожал, отдавая бессмысленные приказания. Он был пьян. Его обрядили в сарафан

и душегрею, голову обмотали шалью, одели бабой и полубезносого французика, обоих запхали в кухне на полати, загородили квашней, горшками, валенками, велели не дышать, иначе сыщут, сдернут и зарежут... А как наступил седой вечер, буйная толпа намерзлась, отощала, схлынула домой, грозя прийти завтра утром и вверх дном перевернуть французское гнездо.

Осажденные, добыв мужицкие подводы, тайно, проселками, удрали в бабьем виде в город Псков.

На масленой неделе в село Хмель прибыла из Пскова воинская в двести человек команда при четырех офицерах. Тихомолком взято ночью семеро замеченных в буйстве крестьян. А приказчик Герасим Степанов получил от де Вальса ордер немедля явиться к нему во Псков.

Его жена и мать ударились в слезы. Он сказал:

— Не поеду. Я лучше в Польшу убегу. Туда много наших мужиков ушло. А то де Вальс меня замучает. Я человек бесправный.

Тогда мать, жена и малолетняя дочь пуще заплакали:

— А мы-то? Мы пропадем без тебя. Нас в гроб вгонят... Положись на волю божью, поезжай.

2

А вот и старинный, когда-то вольный город Псков с седым кремлем-детинцем, видавшим полчища Стефана Батория, с древними соборами, с многочисленными храмами, с белокаменными палатами купцов Поганкиных.

Герасим Степанов всей душой любил свой город, но ныне вступил в него, как преступник в холодную тюрьму.

Оба француза с переводчиком, окруженные, как свитой, барскими холопами, жили во Пскове, в богатом доме графа Ягужинского. Герасим Степанов, унылый и взволнованный, предстал пред де Вальсом. Тот зверем взглянул на него, через переводчика спросил:

— Что ты, каналья, наделал? В селе Хмель и во всей вотчине у тебя свои люди. По наущению твоему они противу меня бунт подняли. Выходит — ты главный бунтовщик...

И не успел растерявшийся Герасим рта раскрыть, как француз приказал заковать его в ножные кандалы и бросить в каменный подвал под домом. В этой сырой темнице не было печи для сугрева, не было рамы в окне. Герасим попал прямо на мороз. Его здесь встретили воем и стенанием шестеро скованных, избитых ходоков-крестьян из села Хмель.

Едва живой старик Данило Чернавин, у которого неделю тому назад отобрали бумагу крестьян к графу Ягужинскому, слабым голосом, чрез вздох и сипоту, советовал:

— Намедни здесь писарь наш мучался в оковах, он требовал, чтобы вели его в гражданский суд... Требовай и ты, Герасим Артамоныч, ты шибкий грамотей, тебя послушают.

Наутро явился с ключом полубезносый француз Бодеин, отпер подвал. Герасим без всякой учтивости закричал на чахлого французика:

— За что вы, беззаконники, морите меня в морозном погребе?! Ежели я бунтовщик, отдайте меня к осуждению в гражданский суд.

Тогда по знаку Бодеина четверо с ружьями солдат вновь повели его из подвала в верхний этаж к де Вальсу.

— Мать-мать-мать, — сквернословно встретил его француз. — Мушьик! Шволочь! Пусть он, собака, не упорствует! — И, не получив от него учтивого ответа, француз с наскока ударил его по щеке и раз и два, велел связать ему руки назад.

И снова сырой холод, мрак. Зима еще не кончилась.

Шли дни и ночи, миновала неделя. К заключенным крестьянам никого не допускали, питали весьма скудно, даже для телесной нужды выпуска не было: в углу стоял вонючий, омерзительный ушат, его ни разу не выносили. Заключенные пребывали в злобе и унынии, роптали на бога, на судьбу, кляли начальство,

власть. Сивобородый старик с заплывшими от побоев глазами, Прохор Гусаков, вздыхал и охал.

— Где это видано, где это слыхано, — с надсадой кряхтел он, — чтобы над русским мужиком всякая заморская гнида измывалась, — и подымал свой голос до негодующего крика: — Баба государством правит! Сладко ест, сладко пьет да гуляет с толстомясой кавалерией, слез наших не видит, воздыханий не слышит, да ей и слышать-то охоты нет. Эх, неправда ты, неправда русская!

Небо засияло синью, капель была. Но в сырой подвал солнце не захаживало. В окно, лишенное рамы, виден тесный, скучный мир: деревянный, покривившийся забор, серая стена соседнего каменного дома да кусочек неба. У забора обледенелая гора смерзшихся помоев, на ней кошка дохлая с веревкой на шее, опорки, битые горшки, грязь, дрызг.

Повадилась к узникам мужицкая птичка — воробей, прикармливали крошками, радовались ему. Прилетал воробей каждое утро — толстенький, нечесаный, хохлатый, прилетал и, подмигивая и чирикая, как бы говорил: «Здоро́во, мужички, чирк-пере-чирк. Ничего, терпите... С крыш течет! Грачи кричат! Чирк-пере-чирк». На душе мужиков теплело.

На шестнадцатый день ввергли в узилище троих избитых крестьян псковской деревни Охабенье. Бородатые лица в синяках, глаза бессмысленно блуждают.

— Почитай, всю вотчину перепороли через десятого, пятьсот с гаком человек, — отдышавшись, стали жаловаться вновь пригнанные крестьяне. — А вот мы трое поупорствовали, нас по офицерскому приказу изувечили — ни сесть, ни лечь. Ох, разбойники, ох, ироды... А за хвабричку ихнюю, кою мы миром поломали, на всю вотчину превеликую наложили дань. Вот что хранчюз наделал, черная душа. Теперича последнюю корову со двора сводят, сундуки перетряхивают, с плеч шубы рвут... Ой, ты...

— Ну, а какова семья моя? — робко, срывающимся голосом спросил мужиков Герасим, и сердце его вперебой пошло.

— В бега ударилась, дружочек, твоя семья, вот что... В бега, в бега, в бега. Всю живность, все иждивение побросали, невесть куда скрылись, — и матерь твоя, и жена, и дочерь малая. Слых прошел, их тоже станут пытать да бить. Вот они и утекли подобру-поздорову... Утекли, кормилец, утекли. Мотри, не в Польшу ли.

Удрученный Герасим принял удар молча, только все в нем задрожало. Испитой, постаревший от голода и печали, гремя железищами на ногах, он сел в углу на опрокинутый ящик и предался злобным размышлениям... «Вот я, безвинный, лишился свободы, лишился семьи и здравия, — думал он, — дважды заушен был злодеем французом, аки прощелыжник, и заключен невесть за что жесточае сущего разбойника... Теперь уж никто не поможет мне. Погиб я...»

8

Наступила долгожданная святая ночь. Сотрясая тишину и стены древнего детинца, раскатисто ударил тысячепудовый колокол Троицкого собора.

Узники сразу оживились. Суетливо засветили фонарь и, взволнованные, глянули в темень весенней ночи. Превеликим гулом гудели многочисленные, с серебром, колокола. Звучные волны благовеста на фоне тысячепудовых, в октаву, переливов толкались в стены узилища, как бы подстрекая пленников к побегу, и, затопляя собою все пространство, уносились ввысь. И какая-то радость подхватила узников на крылья. Тяжелым вздохом выдохнув всю скорбь с души, узники под лязг цепей бросились обнимать друг друга.

— Христос воскрес, братцы! Христос воскрес! — Бороды их тряслись, по обтянутым щекам ручьями — слезы.

Но порыв ликования быстро схлынул, на душе вновь горько и черно, пожалуй, тяжелей, чем прежде. Два седобородых деда, Данило Чернавин да Прохор Гусаков, бессильно упав на землю, бились головами в стены, в отчаянии рвали на себе волосы и, мешая рыданья с хриплым кашлем, жутко вопили:

— Христос воскрес, это верно. А мы?.. Мы-то когда же воскреснем? Братцы, родненькие наши, все мы сгнием здесь...

Бросились утешать их, но и сами утешающие плакали навзрыд, и не было слов, и нечего было сказать, нечем помочь беде.

Подступил к окну часовой с ружьем, глянул в погреб:

— Эй, вы! Дураки такие. Ну, чего воете-то? Мужичье карактерное. Тьфу!

Он отошел, пофыркал носом, морщинистое, простодушное лицо вскоробилось жалостью, опять приступил к окну:

— Эй, Степанов, Вавилов, Злобин, хотите покурить? Нате вам, Христос воскрес... Эй, вы-ы-ы, сиволапые... Нате по яичку, разговейтесь.

Фонарь скудно мерцал. Благовест кончился. Перелаивались по городу псы. Где-то пропел петух-полунощник. Караульный на улице с ожесточением бил в трещотку. Тяжело прогремел железом по камню тарантас купца.

Проходил первый день пасхи. Старик Данило Чернавин занедужился вконец. У него все ныло и ломило: отбитые внутренности, исхлестанная плетками спина... Он кряхтел и охал, жаловался, что «внутрях палит», пил ледяную воду. Его положили на солому в уголок, тепло укутали. А как ударили по городу к торжественной вечерне, стал он удушливо хрипеть. Закованные в цепи крестьяне и приказчик Герасим Степанов окружили его, не ведали, чем умирающему пособить.

В это время жирный француз де Вальс и полубезносый французишка Бодеин, быв приглашены воеводой, генерал-майором Поздняковым, к пасхальному столу, вместе с многими почетными гостями до тош-

ноты обжирались вкусными яствами, запивали французской водкой, бургундским, английским портером, бишофом, вели веселые разговоры, хохотали во все горло, пуская из трубок ароматный дым: «ха-ха, хи-хи», — им море по колено...

...Герасим, да и прочие, что́ на ногах, стали чрез оконце умолять солдат:

— Служивые! Человек у нас мается смертно, Данило-дед. Бегите, служивые, скореича наверх, в господские покои, надобно какие-нито способа принять.

Явился пьяный кудряш-цирюльник, большеносый, черный, как цыган, и грязный. Он отворил кровь старику, перетянул ему руку выше надреза бечевой. Крови в глиняную чашку вытекло много, цирюльник выплеснул ее на побуревший снег, над снегом тепленький парок пошел. Старик сначала затих, потом стал метаться и стонать, слабым голосом звал Дуньку-большую, Дуньку-маленькую, Олёнку — внучат своих, — звал попа, чтоб причастил.

— Умираю, братцы, — шептал он. — Истоптали меня всего. Хранчюз приказал... Бог ему судья... — Он закрыл голубые тоскующие глаза, поежился. — Темно-о-о... Вздыху нет... На улку ба-а... — и, как рыба на песке, стал ловить ртом воздух.

С большой опаской, бережно подтащили его к окну, он захрипел, началась предсмертная икота, разинул рот с белыми зубами, вздрогнул и скончался.

Загремели железища, все опустились на колени.

Вошли с рогожными носилками четверо пожилых солдат. Лица их сумрачны. Переговариваясь взволнованным шепотом, осторожно переложили мертвеца на носилки, поплевали себе на руки, неспешно понесли.

Узники трясущимися голосами и глотая слезы затянули похоронное: «Святый боже». Морщинистое умное лицо мертвеца сделалось белым, сдвинутые брови распрямились, легли спокойно. Данило стал свят лицом и чист. Солдаты вынесли тело на волю, дверь могилы снова захлопнулась, щелкнули замки. На воле свежо, отрадно. Герасиму показалось, что мертвец Данило как бы силился взглянуть в

последний раз на заходящее солнышко, но глаза его незрячи. Веселая стайка воробьев на заборе встретила Данилу дружным щебетом: «Карачун мужичку, чирк-пере-чирк...» Две вороны терзали оттаявшую кошку с веревкой на шее, горласто дрались.

...А в этот самый миг камергер двора граф Сергей Павлович Ягужинский беспечально пребывал во дворце блистательной Екатерины Алексеевны, императрицы всероссийской. Располневшая царица-государыня, рачительная мать народа своего, разодетая в пух и прах в драгоценное злато и каменья, изволила собираться с блестящей свитой своей в придворный, ее величества, Эрмитажный театр на смотрение французской пьесы с танцами и переодеваньем.

...Меж тем де Вальс замыслил новое надругательство: пришел кудряш-цирюльник, наголо остриг всем по-каторжному волосы. Насильно обезображенные крестьяне, особливо старики, были неутешны, плакали.

Вскорости Герасима отвели из подвала в верхние покои к де Вальсу. Герасим приметил некую во французе растерянность.

— Ты — графский человек, посему я тебя к нему и отправлю, — сказал де Вальс. — Что граф изволит, то с тобой и учинит.

Вечером он был препоручен отставному сержанту Воинову да конюху Якову и увезен в Питер.

4

Графский дом в столице встретил Герасима немилостиво: под сугубым караулом, скованный, он просидел без всякого спросу и резолюции еще девятнадцать суток. Видно, графу не до него. На двадцатый день его впервые расковали.

В халате с золотыми кистями, без парика, пожилой, черноглазый, с горбатым носом, граф Ягужинский в малой столовой кофе пил. Пред ним в согбенной позе, изнуренный, безобразный и, как преступ-

ник, остриженный, стоял Герасим Артамонович Степанов. Граф прекрасно знал своего бывшего управляющего, всегда дорожил им, возвышал его. А вот сейчас, нимало не удивившись видом Герасима, взглянул на него с обидным равнодушием.

— Слушай, Герасим! А скажи мне, голубчик, вот что... — начал он изнеженным, с пришепётом, голосом. И стал выспрашивать о земледелии, каким способом размножить посев льна, как лучше удобрить землю и о прочем. О самом же Герасиме, о замученных де Вальсом мужиках будто ему и дела нет. Ведь знает же граф обо всем этом и — молчит. Тогда где же закон, куда делась правда, у кого мужик должен искать защищение себе? «Граф видит поруганный зрак мой и плачевное состояние мое, — раздумывал Герасим, — и хоть бы слово молвил в мое облегчение, а обидчику французу — в укор». Сам же заговорить об этом он не посмел: пред ним его владыка, сиятельнейший граф, а он — мужик, раб, даже не человек: он вещь.

Вдруг неожиданно гость — граф Александр Сергеевич Строганов.

— Ба! Что это за чудо? — взглянув на униженного, нищенски одетого человека, воскликнул он.

— А так... — замялся смутившийся хозяин, — крепостной мой, бывший управитель, псковской вотчиной моей командовал. Да вот де Вальс штуку с ним сыграл. — Граф Ягужинский усмехнулся.

— Позвольте, позвольте, граф, — прищурился Строганов и, откинув фалдочки мундира, сел на золоченый, обитый белым штофом стул. — Это какой де Вальс, это какой де Вальс? — зачастил он. — Уж не ваш ли московский управляющий? Ведь он же — жулик! Ведь он в Москве, помню, влопался в прескверную историю с заповедными, фальшиво привезенными из Парижа товарами.

— Да, да, — неприятно поморщился хозяин. — Но это дело мне удалось замять...

— Замять? — вскинул рыжеватые брови Строганов. — Удивляюсь... Вы, граф, такой же неисправимый добряк, как и...

Герасим Степанов открыл рот, насторожил слух, весь замер в напряжении. Граф Ягужинский побаивался острого на слова Строганова, виновато улыбнулся, достал золотую табакерку (подарок короля шведского Адольфа-Фридриха), протянул гостю:

— Прошу, граф... А что касаемо де Вальса, я непростительную ошибку допустил: перевел его в псковскую вотчину, отчего произошла большая худоба. В чем каюсь...

— Представляю, представляю, — гость аппетитно понюхал табаку и подмигнул хозяину. — А скажите, милый граф, вы часто наезжаете в свою псковскую вотчину?

Играя табакеркой и потряхивая головой, хозяин ответил с фальшивой улыбкой:

— К стыду моему, года три-четыре тому назад был там. А что?

— Понимаю, понимаю... Балы, приемы, выезды, парти де плезир в заморские страны. И я так же, и я так же, точь-в-точь... А до мужика, что́ денежки нам добывает на роскошество наше, нам и дела нет... — Гость скользом взглянул на бесправного раба, а тот недоумевал: стоять ли ему или отдать поклон и — вон.

— Знаю, граф, знаю, — поджав к бокам локти, хозяин замахал на гостя кистями рук, — вы, граф, превеликий вольтерьянец, знаю, знаю... И прошу — бросим об этом. Так вот я и говорю... де Вальс натворил там таких делов, что по меньшей мере достоин каторги... Словом сказать, он в Пскове схвачен, его везут сюда.

Герасим, слыша такие речи, покачнулся, кровь кинулась в голову, радостно сжалось сердце. Граф Ягужинский с видом сочувствия взглянул на него, а гость язвительно сказал:

— Выпустят вашего француза, уж поверьте мне. Может, вы даже сами опять замнете дело? Ась, ась? А нет — тот ракалья полицию подкупит, воеводу купит с потрохами... Да, да, поверьте. Где у нас на Руси найдешь такого честного человека, чтоб данной

ему большой власти во зло не употребил? Нет таких, нет таких... А-пчхи!

— А вот честный человек. — И граф Ягужинский кивнул головой в сторону близкого к обмороку Герасима.

Граф Александр Сергеевич Строганов сощурил на Герасима глаза и насмешливо проговорил:

— Не сомневаюсь. Но чего же ради он обрит, как каторжник, и имеет такой несчастный вид, словно его целый год держали в колодках? Ужели же это удел всякого честного русского?

Герасим схватился за голову и грохнулся на пол. Вбежали слуги.

...В кухне сидел мясник Нил Иванович Хряпов. Волосы смазаны репейным маслом, спускаются к ушам крышей. Он играл в шашки с поваром.

Спустя три дня Герасим Степанов оздоровел. Графский секретарь объявил ему, что приказом его сиятельства он определяется приказчиком в мызу Колтыши. Герасим обрадовался и этому небольшому месту, поспешил в Казанский собор, горячо молился пред иконой:

— Благодарю тебя, владычица, что не оставлен тобою в погибели и от всех скорбей избавлен паче надежды.

Потянулось время. Герасим то возвышался графом, то унижался до былинки. Наконец, граф вздумал направить его на свои уральские заводы. Там судьба сведет Герасима Степанова с мужицким царем Емельяном Пугачевым.

Прощаясь, граф сказал ему:

— В Москве чума, — долго не задерживайся. Справишь дела и — дальше. Отпишешь мне, что творится на моей чулочной фабрике. Чаю, все зачумели там либо разбежались. Ни слуху ни духу. Ну с богом.

ГЛАВА III

Моровое поветрие. Сухаревка

1

В конце 1770 года в Москве распространилась занесенная из Турции чума, или так называемая моровая язва, а в просторечье — мор.

Такой страшной гостьи не бывало в Москве со времен Алексея Михайловича, и как погасить пламень язвы — надлежащих знаний у медицины не имелось.

Главный доктор сухопутной госпитали, Афанасий Шафонский, стоя навытяжку пред главным начальником Москвы, престарелым фельдмаршалом, графом Петром Семеновичем Салтыковым, тугим на ухо, докладывал ему пискливым голосом. Маленький, седенький, простенький граф Салтыков, бывший главнокомандующий в прусскую войну, сидел в массивном, с очень высокой спинкой кресле, как боженька в киоте.

— Сия болезнь, ваше сиятельство, — докладывал доктор, — занесена к нам чрез вывозимые с войны вещи, как-то: ковры, ткани и прочее. Вопреки запрещению, вещи сии провозятся военными господами из Турции тайно.

— Что ж, войско наше мародерством занимается? Вот ужо сыну напишу... У меня там сын Ванька дивизией ворочает. Кха-кха... Какие ж признаки сей болезни? — И граф приложил к ушной раковине руку козырьком, чтоб лучше слышать.

— Первая симптома болезни — озноб, ваше сиятельство. Точно по коже подерет...

Граф нервно передернул плечами, он вдруг почувствовал в себе озноб, осанка его пропала.

— Еще какие признаки? — подавленно спросил он.

— Жар... Язык сух и словно клеем обложен. Пот. Тошнота, рвота. Тоска, беспокойствие духа, страх. А главнейший в заразе знак — слабость всего тела: руки, ноги дрожат.

У графа Салтыкова задрожали ноги. Этот прославленный победитель Фридриха II страшно боялся заразы, он остро переживал речь доктора. Затаив дыхание, он чутко прислушивался к тому, что совершается у него в организме.

— Голос становится томен, выговор невразумителен и замешателен, язык будто приморожен или прикушен.

— Так, так... Дальше, дальше... Я вас слушаю внимательно, чтоб проверить состояние своего голоса, — четко и раздельно проговорил граф. Убедившись, что выговор его не замешателен и язык не приморожен, граф несколько взбодрился и сказал: — Да вы садитесь, Афанасий Порфирыч. (Доктор Шафонский сел.) Ну-с, ну-с?

— Бывает бред, иногда бешенство, больного надобно вязать, но сие редко. Боль головы, как после угара, глаза мутные, у одних красны и как бы пьяны, у других выпучены...

— Выпучены? — хрипло переспросил граф. — Вот у меня выпучены глаза.

— У вас, граф, сие от природы. Успокойтесь, граф.

Фельдмаршал волосатой маленькой рукой потянулся к золотой, усыпанной бриллиантами табакерке (подарок австрийской императрицы Марии-Терезии), угостил доктора табачком, сам понюхал и, чтобы попробовать крепость ног, прошелся петушком по обширному, мрачному кабинету. Ноги не дрыгали, озноба не было, язык клеем не обложен. «Слава богу, слава богу». У двери стоял, как изваяние, под ружьем солдат. Возле камина, в расшитой ливрее, — такой же маленький, седенький, как и барин, лакей с отвислой губой и косичкой.

— Ну, а решительный какой-нибудь знак?

— А сие, граф, — багровые пятна, рекомые в народе «марушки», а в медицине — «петихии», они по всему телу, величиной в горошину и больше. Еще — черный чирей, рекомый — язвенный угорь, сиречь — карбункул. А такожде опухание многих желез, сиречь — бубон.

— Голубчик Афанасий Порфирыч, — с растерянной улыбкой сказал граф Салтыков, приближаясь к доктору, и почувствовал, что его некоторые железы как будто припухли. — Освидетельствуйте меня, пожалуй, нет ли на мне этих... этих марушек... и бубонов...

— Что вы, граф, — с иронической улыбкой воскликнул доктор. — В палаты вельмож и во дворцы сей болезни входу нет. Она ищет себе поживы среди людей низкого звания, среди черни.

— Нет уж, нет уж, потрудитесь осмотреть меня немедля. Что?

— Слушаю-с. — И Шафонский с затаенной ухмылкой на тонких губах поднялся.

— Васька! По́соби раздеться... — крикнул Салтыков дряхлому лакею и, поманив доктора перстом, направился в спальню, на ходу расстегивая золоченые пуговицы мундира.

Восьмидесятилетний Васька (ровесник своему барину), вздрогнув от окрика, сначала засеменил на месте, будто для разбега, затем кинулся, суча локтями, вслед за барином. Но граф вдруг остановился и, глядя выцветшими большими глазами в упор на доктора, спросил:

— А вы сегодня в заразной гошпитали были?

— Был-с.

— Тогда не надо...

— Но я же... я мылся, окуривался...

— Ну, ладно. Идемте... Что? Впрочем... Голубчик Афанасий Порфирыч, лучше завтра... Вы, голубчик, завтра, часиков в семь утра, в гошпиталь не заходите, а прямо из дома ко мне. Садитесь. Кха-кха...

Граф и доктор опять уселись, немного вкось друг к другу.

— Осмелюсь доложить вашему сиятельству, выработанные при медицинской конторе наставления, как предохранить себя от заразы, отпечатаны и развешаны повсеместно, но чернь срывает их.

— Срывает? Ах, негодяи. — Он встряхнул серебряный звонок и крикнул вбежавшему дежурному: — Вели, братец, добыть обер-полицмейстера Бахметева. — И, обратясь к доктору: — Что в наставлениях?

— Тело часто холодною водою с уксусом обмывать... (— Обмываю теплою, — сказал граф.) В покоях уксусом на раскаленные кирпичи поливать, окуривать в покоях часто можжевельником, ладаном, не выходить с тощим желудком на воздух... (— Не выхожу, — сказал граф, ему захотелось есть.) Ходя по улице, иметь во рту что-либо пряное: инбирь, калган, корень ир, чтоб обильно шла слюна, кою сплевывать. Часто нюхать уксус безоардический, еще лучше уксус «четырех разбойников», и оным мыть под мышками и в пахах. (— Мою в пахах, нюхаю «четырех разбойников», — повторял граф; отвисший и дряблый, как тряпка, подбородок его подпрыгивал.) И... носить на голом теле... вот это... — Доктор, поджав нижнюю губу, вытянул шею и выудил пальцами из-за ворота малый мешочек на шнурке.

— Что, ладанка? С наговором?! — вскинул голову граф. — В нашептыванья не верю, в ваши колдовские ладанки...

— Сие — не ладанка, сие есть камфара, ваше сиятельство. И позвольте вам презентовать. — Он достал из саквояжа такой же мешочек на шнурке и подал графу.

— Тогда другое дело, тогда другое дело. — Граф принял мешочек, понюхал его, перекрестился и, выпучив глаза, засунул ладанку за ворот. — Ну-с, ваше время истекло. Я жду генерал-поручика Еропкина. Кха-кха... Тьфу!

Доктор вскочил, вытянулся и с поклоном вышел.

Коридор, парадная лестница и комната ожиданий в нижнем этаже, куда он спустился, были подернуты сизоватым удушливым дымом от чрезмерных курений противочумными веществами. Каждые четверть часа по всем жилым комнатам графских опустевших палат пробегали казачки и лакеи, в их руках — железные совки с раскаленными кирпичами, на которые они поливали душистый уксус. На улице и во дворе вокруг дома боязливого фельдмаршала горели неугасимые костры, куда слуги бросали на страх чуме можжевеловые ветки.

В кабинет вошел генерал-поручик Еропкин, тоже бывший участник прусской войны. Он в белом небольшом парике, длиннолиц, сухощав, не стар, с живыми карими глазами.

— Чем могу служить, граф?

— Я призвал вас, голубчик Петр Дмитрич, вот зачем...— зашамкал Салтыков, сгорбившись и облизывая сухие губы. — Ведь мы с вами вместе Фридриха побеждали... Помогите мне, голубчик... Я всеми брошен, слаб, стар, а злое поветрие горазд шибко распространяется по Москве.

2

Мясник Нил Иванович Хряпов прибыл в Москву в конце июля 1771 года, в самый разгар чумы. Он назначил здесь свидание с огородником Фроловым, — хотелось у него призанять деньжонок, так как дела мясника сильно пошатнулись, он был разорен, терпел острую нужду, впадал в отчаянье.

Москва обширностью своею занимала в окружности тридцать шесть верст. В ней много просторных господских палат, с таким великим числом излишней дворни, что эти палаты представляли собою не дома в обычном смысле, а целые большие сельбища.

Господа, спасая животы, давно уехали в поместья, брошенная дворня погибала от заразы либо разбегалась по деревням.

В Москве сто тринадцать мелких фабричек и заводов при тринадцати тысячах постоянных работников (кроме приходящих с воли). Самая крупная фабрика — это Большой суконный двор у Каменного моста на берегу Москвы-реки. Хозяин фабрики — Илья Докучаев с товарищами. У него-то и остановился мясник Хряпов.

Чума началась в старой госпитали на Введенских горах, госпиталь сожгли, зараза перекочевала в центр Москвы, на Большой суконный двор. Граф Салтыков, по совещании с московскими сенаторами, постановил: «Здоровых фабричных вывести из Суконного двора за город, определить к ним лекаря, место житель-

ства оцепить, покинутый Суконный двор тоже оцепить».

Но фабричные, испугавшись каких-то казенных мероприятий и не доверяя начальству, подобру-поздорову разбежались в количестве двух тысяч человек с Суконного двора и стали, скрываясь, жить по всей Москве.

Всякие ремесленники, промышленники и работники обычно набирались в Москву со всего государства, они все почти из крепостных крестьян и постоянного жительства в Белокаменной не имели. Побросав все, они стали утекать по своим деревням, увозя с собой зараженный после мертвецов скарб, а иногда и захворавших товарищей. Поэтому чума не только распространилась в пределах Московской губернии, но и перебросилась в Смоленскую, Нижегородскую, Казанскую и Воронежскую.

А не любивший новшеств граф Салтыков, вопреки приказам Екатерины, продолжал упорствовать, медлил с необходимыми мерами пресечения, давая усилиться болезни. Он писал императрице:

«В установлении карантинов для всех выезжающих, как приказали ваше величество, кажется, надобности нет. И въезд в Москву запретить опасно: почти весь город питается покупным хлебом, — ежели привозу не будет, то будет голод, все работы станут; за семь же верст никто не пойдет покупать, а будут грабить; и без того воровства довольно. Москву запереть способу нет, войска нет, кем окружить».

Действительно, огромное пространство города и большие толпы людей, пришедших в страх, требовали для восстановления порядка много войска. Однако, по причине войны с Турцией, в Москве был лишь неполный Великолуцкий полк в триста пятьдесят человек да кой-какие команды из старых солдат.

К июлю язва очень разыгралась. Из двенадцати тысяч московских жилых домов в шести тысячах были больные чумой, а в трех тысячах — все жители вымерли.

Народ стал впадать в панику, переходящую в отчаянье.

— Мы не столь чумы боимся, сколь карантинов да больниц, — жаловался народ. — Из больницы либо карантина прямой путь — погост.

Мясник Хряпов, слоняясь по Москве в поисках огородника Фролова, насмотрелся разных страхов.

Он был жаден до жизни, до наблюдений над страстишками людей, он всем интересовался, всюду поспевал.

Придя поздно вечером к себе на квартиру, к дому купца Ильи Докучаева, суконного фабриканта, он постучал в запертые ворота. Залаял пес, подошел дворник, посмотрел в щелку, чрез высокий забор, сказал:

— Хозяин утресь из Москвы уехадчи со всей семьей. А тебя, друг, боле не приказано пущать, потому ты по заразам шляешься. На-ко вот, лови! — Дворник перебросил чрез забор завернутые в одеяло подушку и тощий, шитый разноцветными шерстями саквояжик мясника.

Хряпов спорить не стал, подобрал вещички, впал в раздумье, куда ему, на ночь глядя, идти. Он пошел кривым переулком. А был поздний вечер. Навстречу попадались редкие прохожие. Иные шли торопливо, зажав нос тряпкой, смоченной уксусом, шарахались от встречных в сторону, иные едва тащились, пошатываясь и хватаясь за стены, за фонарные столбы.

Какой-то старик, по виду мастеровой, упал, ударившись затылком в занавешенное окно жилого подвала. Стекло разбилось. Упавший застонал протяжно, хотел перекреститься, рука не донесла, перевернулся навзничь и затих. Хряпов с интересом остановился: умер или нет и что будет дальше?

В подвале вспыхнул огонек, отвернулась занавеска, чье-то бледное лицо мелькнуло. Вскоре заскрипела дверь, вышли двое. Лица замотаны тряпками, для глаз — щелки, оба в рукавицах, зацепили мертвеца петлей за ногу и поволокли его по пыльной дороге.

— Куда? — спросил их присевший на тумбочку Хряпов.

Те не ответили, подтащили мертвеца к чужому пустырю и, оставив его вместе с веревкой на ноге, быстро ушли домой.

Стало сильно темнеть. Выступили звезды. Ночь теплая, тихая. На пригорке блестели золоченые главы маленькой церковки. Вчера Хряпов молился в ней. Он знал, что в ограде — старый погост и луговина с рощей. Вот и отлично. Он на лужку между могил и переночует. Он поднялся и хотел идти, как вдруг заметил сквозь сутемень, что возле теплого еще мертвеца задержалась высокая, в лохмотьях, босая фигура. Хряпов, таясь, подошел ближе. «Умер, болезный? — не надеясь на ответ, спросил мертвеца нищий. — Ну, полеживай со Христом, царство тебе небесное».

Кряхтя, он присел, стащил с мертвых ног сапоги, обулся в них, веревку спрятал за пазуху и, крестясь, зашагал своей дорогой.

Хряпов только головой покачал, укоризненно почмокал и направился к златоглавой церкви.

Бросив подушку на луговину возле могилы с черным крестом, он до глаз накрылся одеялом и сразу уснул. Долго ли проспал — не знает. Только чует, — то ли во сне, то ли наяву, — будто телега скрипит, лошади всхрапывают: «Эй! А ну-ка сюда с крючьями...» Вдруг нечто тяжелое и острое вонзилось в его плечо, и мясника поволокли.

— Караул, караул! — спросонок закричал он и, едва продрав глаза, вскочил.

— Кто ты таков? — вопросил его всадник, офицер. А двое крючников бросили веревки и отцепили от суконной разодранной чуйки Хряпова железную кошку.

— Я приезжий из Питера купец, — сказал Хряпов.

— Почему ж ты, раз не очумел и жив, валяешься на земле, как падаль? Документ!

Хряпов подал паспорт. Офицеру поднесли фонарь. Проверив паспорт, он вернул его купцу, слез с лошади, уселся на могилу. Телега, поскрипев, остановилась возле ворот ограды.

— Сколько? — устало спросил офицер и закурил от фонарного огарка трубку.

— Тринадцать было. А четырнадцатого взяли под забором сейчас на пустыре, — ответили еще трое подошедших от телеги и тоже уселись на лужок.

— Подальше, подальше! — прогнал их офицер.

Санитары, называемые «полицейскими погонщиками», пересели. Все они одеты в вощаные[1] архалуки, в длинные вощаные рукавицы, на головы надвинуты пропитанные дегтем мешки с дырками для глаз и носа.

— Сколько голышей? — спросил офицер и взял в рот какую-то целебную жвачку.

— Восьмеро. С девятого только сапоги сняты.

— Скоты, ворье... Расстреливать на месте надо, — буркнул офицер и добавил: — Можно, ребята, к яме везти, закапывать.

— А вот маленько отдохнем, ваше благородие, дюже уставши. Покурим вот. С вечера не куривши.

Они стащили маски и рукавицы, стали закуривать от фонаря.

— А ты чего не куришь? — спросил мясника сухощекий бородатый погонщик. — Курить — от чумы пользительно, толкуют.

— Я чумы не больно-то боюсь. Меня и без табаку не возьмет. Глянь, какой я икряный... — сказал мясник, поглаживая толстое брюхо.

— Икряный? — ухмыльнулся бородач. — Мы таких, как ты, икряных-то, поди тысяч с двадцать закопали...

— Двадцать ты-ы-сяч?! — изумленно протянул мясник и перекрестился, страх напал. — Ваше благородие, да неужто эстолько народу мрет?

Не ответив, офицер скомандовал: «Поехали!» — и вскочил в седло.

---

[1] Из холста, проваренного в воске.

Мясника кидало в сон. Он вновь прилег между могил и укрылся с головой. Скрип телеги смолк за поворотом. Где-то вдали, нарушая тишину, прозвучал набат, протряслись два бегучих голоса: «Пожар, пожар за Москвой-рекой!» Но Хряпова набат не напугал, — его напугало другое.

Едва он успел забыться, как слышит сквозь сон, будто землю возле него роют и швыряют лопатами и какие-то люди шепчутся, что-то волокут, кряхтя, что-то поставили на землю, вот завсхлипывала, застонала женщина, и вслед за тем мужской сдавленный голос: «Маменька, вы погубите нас... Да молчите же!»

Хряпов с трудом открыл дремотные глаза и приподнялся на локте. Шагах в двадцати от него сквозь мрачную ночь маячили два ручных фонаря, один на земле, возле ямы, которую торопливо рыли двое, другой — в руке человека. Фонарь бросал свет на согбенную старуху, одетую в черное; из-под траурного, повязанного по-старушечьи платка глядело сухонькое треугольное лицо с вытаращенными, испуганными глазами.

— Смиритесь, маменька, не убивайтесь... Ау, папеньку не воротишь, воля божья на то, ау, — утешал старуху сын ее, поглаживая мать по трясущейся голове.

Она хныкала и шептала:

— Господи... Без панихиды, как собаку... Ой, Пров Михайлыч, Пров Михайлыч, жела-а-нный! — И слезы текли, и сморкалась она, и горько, болезненно постанывала.

По ту сторону свежей могилы серел некрашеный гроб.

— Скоро ли, молодцы? — тихо спросил сын и подошел к краю могилы.

— Можно спущать, Пантелей Провыч, — выпрямился бородатый приказчик, воткнул лопату в землю, вытер пот с лица.

— Давай, с богом, — сказал сын.

Хряпов поднялся, подошел ближе и спрятался за березой.

Гроб опустили на веревках в яму, стали быстро забрасывать землей. Старуха громко завыла, затряслась, поползла на карачках к могиле.

— Маменька! Замолчите! — зашипел сын. — Нищим, что ли, хотите сделать меня? Ведь ежели дознаются, что покойник у нас, все имущество наше в костер пойдет. И пошто вы притащились сюда, этакая хворая?

Вдруг старуха перекинулась на бок, судорожно скорчилась, впилась руками в землю, ее подбросило, она захрипела и вскоре смолкла.

Сын суетливо, на коленях, припал над ней, осветил потемневшее лицо фонарем, и точно какая сила опрокинула его на спину, вот он вскочил и бросился вон из церковной ограды, то взмахивая фонарем, как кадилом, то в отчаянье хватаясь за голову и оглашая ночь сумасшедшими выкриками:

— Маменька, тятенька... Господи! И за что такое наказание посылаешь мне?

Спину Хряпова опахнуло морозом, он задрожал и, пошатываясь и натыкаясь на могилы, поплелся к своему логову.

— Тут очумеешь, придется утекать, — бормотал он.

Старый приказчик сказал молодому:

— Дом наш чумной, Иван. Ведь и хозяйка зачумела. Оставаться в нем пагубно. Давай-ка, соколик, бежать отсель, пока чума не забрала.

— Да куда бежать-то, Митрий Федорыч?

— Куда все бегут... Знамо куда... в деревню. Господишки давным-давно все разъехались. А мы что? Да мы хуже господишек, что ли? Бросай, Иван, лопаты, все бросай, поедем.

— Митрий Федорыч! Ежели старуха мертвая, давай обснимаем серьги. Все равно ее ограбят, дак лучше мы, по знакомству, вроде как за старанье за наше.

— Брось, брось, Иван...— опасливо озираясь на мертвую старуху и крестясь, сказал старший. — Это тебе сатана внушает. Не дело говоришь, дружок. И грех и пагуба...

Хряпов перетащил подушку к самой церкви, к алтарю, и вновь прилег. Пред утром его сборол крепчайший сон. Пробудился от грачиного грая в вершинах берез, громких раздражительных выкриков и гнусавого пения. Три слепца у соседней богатой, с мраморным надгробием, могилы тянули:

Ой вы, гробы, гробы, превечные домы,
Сколько нам ни жити, вас не миновати...

Он поднялся, прищурил отяжелевшие глаза и видит: толпа сотни в три окружила рыжебородого тощего священника, стоящего на гранитном крыльце. Народ путано кричал:

— Подымайте, православные, иконы да кресты! Никого не слушайте... Никола-чудотворец оборонит нас... Не слушайте докторей! Они вам наскажут. Это никакая не чума, — это гнилая горячка зовется. Отец Осип, отпирай церковь!

— Не можно мне, братия и сестры. На крестные ходы запрещенье вышло, не велено нам.

— От кого запрещенье? От Амвросия? А мы его и слушать не хотим. Отчего ж такое у Егорья можно, у Покрова можно, у Всех святых, что на Кулишках, можно, а у нас нельзя?.. По всей Москве крестные ходы ходят... Отпирай!..

— Вчерашний день консистория подписку с нас отобрала, православные... Архиепископ наш Амвросий угрожает мерами лютыми. От сходищ людских зараза, мол, проистекает.

— А наплевать нам на Амвросия! Что он, главней господа бога, что ли? Мы в ответе, — отпирай!..

Вскоре большая толпа с хоругвями, крестами, иконами двинулась из церкви в обход своего участка. К толпе пристал и Хряпов. В разноголосицу надрывно пел народ: «Святителю отче Николае, моли бога о нас!» Священник кропил дорогу и дома святой водой. Трезвонили маленькие колокола. Утро было жаркое.

В толпе преобладали женщины, толпа настроена нервно, крикливо, в воспаленных глазах тупое отчаянье или покорность року, народ одет бедно: много

лапотников, еще больше босых, калек, увечных... Со всех сторон сбегались прихожане, толпа росла. От лежащих под заборами или посреди дороги мертвецов народ шарахался в стороны, иные отплевывались, но большинство в страхе и с малодушным трепетом осеняло себя крестом.

Вдруг двое застонали в толпе, шатаясь и охая, стали пробираться к жилью, третий, выкатив глаза, упал прямо в пыль. Кудрявый парень тащил в холодок внезапно захворавшего старика отца, помертвевшее лицо больного покрылось бурыми пятнами, лысина запотела; тоскливо закрыв глаза, он еле переставлял ноги, жевал язык, трясся и мычал. Парень, скривив дрожавший рот и не видя света, тихо скулил.

Навстречу крестному ходу протарахтели страшные черные дроги, возле них озлобленно шагали в страшных одеждах, в страшных масках полицейские погонщики. С ними — кудлатая дворняга. Из-под рогожной дерюги, прикрывавшей мертвую поклажу, торчали две пары голых ног, облепленных мухами, иссохших, в синих язвах... Дроги остановились возле очередного мертвеца.

Священника стало тошнить, он выронил кадило, оперся о плечо обомлевшего дьячка, похолодев, промямлил:

— Господи, не оставь душу погибающую. Лихо мне... Трясет.

3

Было раннее утро. Мясник Хряпов очутился на пыльной и грязной толкучке возле Сухаревой башни. Хотелось есть. Но съестного на рынке мало. Скушал блюдо толченого гороху да хороший скосок хлеба и выпил шесть кружек горячего сбитню.

Пока завтракал, жадными глазами осматривал шумную толкучку. Пыль, палящее солнце, необозримое многолюдство. Изредка тарахтят телеги, проезжает дозорный солдат верхом да, высунув языки, бегают поджарые собаки. Без всякого порядка торговки сидят где попало, как пни в лесу, торгуют молоком,

вареным осердием, овощами. Их — многие сотни. Шляются торговцы старым хламом, но, завидя полицейского, шустро скрываются в толпе. Кудрявый ярославец весело и звонко покрикивает: «А вот сусальных пряничков кому! А вот сахарных петушков, на грош пара!» Толпами бродят нищие, назойливо прося корочку хлеба либо грошик. Двух слепых с холщовыми кошелями провел поводырь-мальчишка, слепцы держались за длинную палку и гнусаво тянули стихиру о смертном часе. «Можжевельнику, можжевельнику! — надрывалась старуха крестьянка с мешком за плечами. — Покупайте, кормильцы, бают, можжевельником окуривать пользительно». Проходят не то сельские попики, не то монахи — неряшливые, лохматые, в ветхих рясах...

Слева — резкие крики, покрывающие сплошной гул многотысячной барахолки, — там скопом бьют вора, вот вор вырвался и, перепрыгивая, как конь, чрез повсюду рассевшихся торговок, окровавленный, в растерзанной рубахе, мчится прочь от смертного боя.

И снова крики: «Умер, умер!.. Двое окочурились». Это невдалеке от допивавшего сбитень Хряпова. Народ хлынул волной с того клятого места во все стороны. Важно шагал туда седоусый полицейский: «Где умер? Кто? По какому случаю?» — «Чума забрала... Не знаешь? Двоих». Полицейский остановился, затрубил в медный рожок. Двое умерших лежали в пыли, жалко подобрав к животу ноги. Торговки, подхватив свои корзины и безмены, суетливо перебирались подальше от теплых трупов.

Медный рожок еще раз прозвенел тревогу. Из стоявшего на пустыре, в бурьяне, наспех сколоченного сарайчика вышли двое в балахонах, зачалили мертвецов крючьями и лениво поволокли их, вздымая пыль, к сарайчику.

Вся эта человеческая драма почти никакого впечатления на великое торжище не произвела.

Впрочем, возмутился чисто выбритый желтолицый старичок. Он опрятно одет в серый полукафтан со светлыми пуговицами. Сидел он возле самой Сухаре-

вой башни за столом топорной работы, заставленным пузырьками разных величин, бумажными и холщовыми тюрючками и деревянными ящичками.

— Ах, проваленные, ах, идолы нечестивые, — качал он головой, и глаза его слезились. — На носилках повелено, а они волокут упокойничков, аки подохлых псов... Ах, люди, люди!

Хряпов с любопытством остановился возле него, сказал:

— Да, это верно, старичок. По всей Москве так. Я самовидцем был. Это не дело.

— Управа мала, людей нет, — воскликнул старичок и сердито подобрал сухие губы. — Начальство все поразбежалось, баре уехали, а чернь брошена на волю божию. Эвот полицейские и те из Москвы бегут, а многие померли. С первого сего августа взяты из розыскной экспедиции на смерть осужденные преступники, убивцы. Вот им-то и повелено таскать умерших.

— А ты сам-то кто, старичок почтенный, и чем торгуешь?

— А я, батюшка ты мой, штатный сторож при медицинской конторе, штатный сторож, мол. Вот и посылают меня каждый день в торговлю снадобьями душеполезными, сиречь — уксус «Четырех разбойников», стиракс, ладан, корень, калмус рекомый, и прочая.

— Эй, купца! Продаешь шурум-бурум? — подергал татарин завернутую в одеяло подушку мясника.

Хряпов, мерно шагающий по площади, грубо отстранил его и пошел было прочь, но его окружили «сальные пупы» — прасолы в чуйках, наперебой стали сулить ему цену. Хряпов злился, посылал их ко всем чертям. «Товар не продажный! Это постель моя», — покрикивал он, выбираясь из охватившей его кучки старьевщиков. Тогда они стали осыпать его насмешками:

— Он это из-под мертвого стянул.

— Я сам видел! Это подушка чумовая, братцы, самая счастливая.

— Где из-под мертвого? Где чумовая? В чем суть? — появился подвыпивший полицейский и, вырвав сверток из рук Хряпова, важно зашагал к пылавшему возле Сухаревой башни огромному костру.

Как ни доказывал Хряпов седоусому полицейскому, что подушка его собственная, как ни умолял его, — хмурый полицейский швырнул вещишки Хряпова в огонь, затем подошел к ведру, наполненному грязным уксусом, и сунул обе руки в жидкость. Один палец на его руке был обрублен.

— Макай, тебе говорят, — крикнул он на Хряпова, — а то на съезжий двор сведу... Зар-р-раза чертова... Нам так повелено.

— Повелено? А кто повелел-то? — кричали из толпы зевак.

— Не твоего ума дело, кто повелел. А только что повелено... — таращил красные глаза на толпу обозлившийся беспалый полицейский.

— Лекаришки это, немчура, — пискливо, с пришепетом, прогнусавил горбатый карапузик, отставной подьячий. Большая, не по росту, голова его вдавлена в крутую грудь. Личико лисье, хитрые и пронырливые слезящиеся глазки. Он стоял рядом с Хряповым, от него несло сиводралом. — Это они, они на погубление православных христиан бусурманские порядки завели, вот кто, — часто взмигивая, гнусавил подьячий. — Гошпитали, да лазареты с карантенами, да при церквах чтоб людей не хоронить, да имение жегчи.

— Они, они, это верно! — послышались в народе выкрики и злобные смешки.

— Я-то знаю, у меня и глаза и уши довольно действуют. Нас два брата с Арбата и оба горбаты... Дыра-дело, дыра-дело, — поддернув лежавшую на горбу клетчатую старенькую шаль и потешно подбоченившись, продолжал карапузик подьячий. — Например, повивального дела Эрасмус-немец — раз, штат-физикус Риндер — два, Касьян Ягельский — три, императорского воспитательного дома доктор Мартенс — четыре, уволенный от службы доктор

Шкиодан — пять... Да тут, ребята, и пальцев не хватит... Барон фон Аш, Иван Кулман, Кристиан Ладо. И токмо трое русских — Афанасий Шафонский да два доктора Московского университета, господа профессоры Вениаминов да Зыбелин. Вот вам — Медицинский совет рекомый. Все немцы, все немцы, ахти, как сладко... Дыра-дело!

— Да и царица-то наша — немка! Токмо русской прикидывается. Вот она и тянет своих-то, — неожиданно пробасил широкоплечий бородач, подстриженный в кружало, по-раскольничьи.

— Эй, кто сказал, кто это сказал?! — хватаясь за тесак, нырнул в толпу, как в омут, озверевший беспалый полицейский. — Лови, держи!

Толпа попятилась и, убоявшись обнаженного тупого тесака, кинулась врассыпную.

Замордованный, забитый, но своевольный и отчаянный народ на бегу зло перекликался:

— А что, не верно, что ли? Немка и есть... Скоро, скоро объявится царь-батюшка Петр Федорыч!..

— Слых есть, в народе скрывается, сердешный... Промежду нас бродит.

— Пущай только на Москву придет да ручкой поманит, все к нему прилепимся!

— Ой, ой, теките, чадцы Христовы, опять беспалый гонится! — И раскольник, подобрав полы и пригибаясь, скрылся в толпе, как медведь в трущобе.

— Други, други! — взывал бежавший рядом с Хряповым горбатый подьячий-старикашка. Напяленный на его лобастую голову гарусный колпак жалко свисал к левому плечу и встряхивался. — Нет ли у кого на шкалик?.. А солененький огурчик на закусочку у меня вот он-он... свежепросольный.

— Пойдем выпьем, — с готовностью предложил запыхавшийся мясник.

Они стали наискось пересекать большую, набитую народом площадь. Останавливались возле шумных кучек праздного, озлобленного люда. В каждой кучке — свой крикун. То старый солдат на деревяшке, то брошенный на произвол судьбы дворовый человек, то запуганный церковными властями загулявший по-

пик в драной шляпе грибом, или наказанный плетьми нагрубивший начальству посадский человек, или убежавший из лазарета фабричный. Но больше и громче всех орали ядреные московские бабы и беззубые старухи.

— Бани закрыли-припечатали!.. Где рабочему люду грешные телеса помыть? Озор-р-ство!..

— В карантены проклятые без разбору волокут. Из здоровых покойничков вырабатывают... Ха!

— Всю Москву извести хотят, весь простой люд.

— Бунт надо зачинать.

— Бунт, бунт! Это верно, — подхватывает народ, сторожко озираясь, как бы не угодить в лапы вездесущих будочников.

Мясник Хряпов ткнул подьячего в горб:

— Пойдем, а то как кур во щи попадешься тут.

— Да, да... Шумок зачинается... — подмигнул подьячий. — Шумит Москва-матушка, шумит. Да дож-ду-утся! А я люблю. Во мне, милый мой, такожде кипит все. Я человек обиженный. Шагай!

Свернув в переулок, они подошли к питейному дому с красной вывеской. В дом их не пустили, на стук в запертую дверь — крикнули:

— Идите к окошку! Ослепли, что ли?

В открытое окно вставлена железная решетка. Мясник, заглядывая с улицы в дом, потребовал два добрых шкалика тминной. Целовальник налил, сказал сквозь решетку: «Кладите деньги об это место», — и высунул на улицу кринку с уксусом.

Мясник бросил в уксус полтину серебром. Целовальник извлек ее щипцами, опустил в кринку восемь медных пятаков и, протянув из-за решетки мяснику щипцы, проговорил:

— Получи, почтенный, сдачу.

Опорожнив шкалик, горбун-подьячий прогнусил тенорком:

— Дивны дела твои, господи... Деньги в уксус, а из шкаликов твоих, может, пред нами какой чумовой трескал. Ты их в уксус-то макал? Шкалики-то?

— Нет, — ответил целовальник, — повелено токмо деньги в уксусе мочить.

После третьего шкалика подьячий загнусил песню и, сорвав шаль с горба, стал помахивать ею и приплясывать. Но сухое морщинистое личико его было печально, красные глаза в слезах.

— Пошагаем в Кремль, — сказал он заикаясь, — я кой-что тебе покажу там. Я все порядки знаю, Ох, мил человек, кругом зело паскудно... Тяжко, тяжко человеку жить. А наипаче мне. Живу в Москве, в немалой тоске... Дыра-дело, дыра-дело...

Они двинулись по Сретенке, по Большой Лубянке. Подьячий то и дело показывал по сторонам:

— Ишь сколько много домов-то заколочено. И там, и вот тут, и во дворе еще... Царица ты моя небесная! Это все выморочные. И хозяева в земле.

В церквах благовестили к обедне. Дорога пыльная, без мостовой, только на перекрестках проложены из крупных булыг тропки, да попадались деревянные настилы возле барских и богатых купеческих домов. По краям дороги росла чахлая трава, чертополох, крапива, а иные непроезжие тупички зеленели, как сельский выгон, там паслись козы, тупорылый бык лежал и, раздувая ноздри, нюхал воздух. Изредка встречались пешеходы — кто в церковь, кто с корзинкой на базар.

ГЛАВА IV

Красная площадь. Зодчий Баженов и архиепископ Амвросий

1

На Красной площади было почище и народу значительно меньше, чем на Сухаревке. Возле Лобного места паслись на травке, привязанные к деревянным рогаткам, две козы, — они принадлежали будочнику, который тут же прохаживался возле своей будки, раскрашенной наискось белыми и черными полосами. В торговых каменных рядах купцы и приказчики, заложив назад руки и поплевывая, от нечего делать

глазели на площадь или, поддев горсть овса, бросали стайке сизокрылых голубей.

Очень людно у церкви Василия Блаженного. Там пестрели рогожные и дощатые балаганы, текла торговлишка. На Иване Великом заблаговестили к «достойне». Весь народ на площади, побросав дела, оборвав на полуслове разговоры, обнажил враз головы, истово закрестился на кремлевские соборы.

Хряпов и не отстававший от него подьячий очутились на широком каменном мосту, перекинутом через глубокий ров, идущий вдоль стен Кремля. Ров когда-то был выложен белым камнем, а теперь порос бурьяном и крапивой, туда бросали всякий хлам, там ютились собаки и бездомные пропившиеся люди.

Мост служил проходом к Спасской башне. На мосту по обе стороны, многочисленные ларьки с новыми и старыми книгами, с лубочными картинками. В иных ларьках пожилые миловидные монахини торговали образками, крестиками, священным маслом, ваткой от гробов московских чудотворцев и собственным рукомеслом: бисерными мешочками, поясками, четками.

— Кто это? — Хряпов толкнул в бок своего приятеля и моргнул в сторону неспешно шагавшего мостом человека. Народ, расступаясь перед ним, давал ему дорогу, ларешники срывали картузы, низко кланялись. Человек только что вышел из остановившейся у моста пышной кареты с гербом графа Салтыкова и направился к Спасской башне. У него приятное напудренное, несколько женственное лицо, волнистые длинные волосы, умные, утомленные глаза, улыбчивый рот. Он в башмаках, в черных чулках, в коротких, по колено, штанах, чрез левое плечо небрежно перекинут итальянский бирюзового цвета плащ, на голове черная шапочка с павлиньим пером. Следом за ним — мальчик в сером полукафтане с красным воротником, в руке связка книг, под мышками — длинные бумажные рулоны.

— Кто это? — шепотом повторил вопрос Хряпов.

— Архитектор Баженов... Зело знаменит, в Кремле живет, — прошептал подьячий, треугольное сморщенное

личико его сразу облеклось в восторг и благоговейный трепет; он было хотел припасть к ногам знаменитого человека, чтоб получить пятачок на водку, но тот, обнажив по обычаю голову, уже входил в Спасские ворота.

— Зри, друже, — проговорил горбун, указывая на две шеренги попов, выстроившихся, как солдаты, под воротами башни. — Долгогривые во святом месте торг учинили, метлой бы их...

Попов — около сотни, брюхатых и тощих, волосатых и лысых, дряхлых и крепких. Рясы на них задрипанные, в заплатах, сапожишки рваные, двое — в лаптях. Все они — либо удаленные на покой за выслугой лет, либо изгнанные из церквей за пьянство, большинство же — не имеющие собственного прихода, обремененные немалыми семьями, обнищавшие тунеядцы. Обликом они розны, но преобладающее выражение лиц — нахрапистость, жадность, ханжество. Зажиточные люди относились к ним с нескрываемым презрением, беднота же скрепя сердце приглашала их на совершение треб по сходным ценам.

Оба спутника вдвинулись в гущу толпившихся возле попов людей. Попы, злобно косясь друг на друга, зазывают:

— А вот молебен у Иверской за четвертак!..

— Я отслужу владычице за пять алтын с акафистом!..

— Ну и служи! — перебивает его рыжебородый поп. — У тебя голос с гнусом, как у козла.

— А ты с утра пьян, зеньки залил.

— А вот панихида на кладбище: с подводой гривенник, пешком — четвертак.

— Обедню, обедню, обедню служу! Ничего не вкушал еще, могу служение совершать по чину апостольскому... За послужение — рубль.

— Возьми полтину, батюшка, — подходит к нему бедно одетый старик с внучкой. — Вот матерь девчонки от чумы померши, а моя дочерь. Сорок ден сегодня, как бог прибрал... Сороковуст...

— Дешево, дешево даешь, дед... — торопливо бросает бородатый пастырь, в руке у него крупичатый калач; скосив широкий рот, он вновь орет: — А вот святую литургию, поминальную обедню!.. Рубль цена, рубль цена! (Ледащенькая девочка, вложив палец в рот, с удивлением и страхом смотрит серыми наивными глазенками в отверстую пасть попа.) Дешевше не найдешь, старче праведный, — обращается он к старику.

— На-айду... Вас, как собак недавленных, — брюзжит под нос осерчавший старик и тащит внучку дальше.

— Девять гривен! — хватает его поп. — Соглашайся скорей, не то — закушу. — И он, поднеся калач ко рту, оскаливает желтые зубы.

— Стой, не закусывай! — останавливает его дед. — Бери шесть гривен. Не хошь?

— Могу и за шесть гривен, старче, только дрянно будет... Прямо говорю, вельми погано будет, лучше прибавить, а то ей-ей закушу... — Поп опять, застращивая нанимателя, подносит калач ко рту.

— Ну, так и быть... Бери, батя, семь гривен. Не по-твоему, не по-моему...

— Ладно. — Сунув за пазуху калач, поп срывается с места. За ним, едва поспевая, семенит на согнутых ногах дед и, держась за поясок деда, вприпрыжку — повеселевшая девчонка.

Подьячий, ударив себя по ляжкам, закатывается хехекающим бараньим хохотком:

— Слыхал? Закушу, говорит. А раз закусит, благодати лишается, литургию служить подобает токмо натощак... Хе-хе! Ну и хитропузые попы пошли.

Вдруг толпа примолкла, попы засуетились, пугливо завиляли глазами во все стороны: под воротами незаметно появились из Кремля — консисторский дьяк[1] в синем со светлыми пуговицами кафтане, с ним писчик и четверо консисторских стражей, вооруженных тесаками.

---

[1] Дьяк, подьячий — светские чиновничьи должности.

— Где попуешь? Какого прихода, говори! — закричал дьяк на толстого, потного, лохматого батюшку. Писчик открыл книжку, чтоб записать, а четверо стражей загородили на Красную площадь выход. Вопрошаемый что-то невнятно промычал, низко кланяясь дьяку, все же остальные духовные особы враз бросились гурьбой из-под ворот, смяли растерявшихся стражей и галопом поскакали наутек кто чрез мост, кто в ров.

Пятеро попов все же были схвачены и под едкий смех развеселившейся толпы отведены в консисторию на строгий суд архиепископа Амвросия.

2

На возвышенном Лобном месте, воздев правую руку и ударяя в каменные плиты посохом с медным шаром на верхушке, орал что есть мочи зверообразный человечище:

— Сюды! Сюды! Вся Москва — сюды... Курицыны дети, аз приидох к вам... Кайтеся, кайтеся!.. А не то всех покараю, всех лихоманке отдам...

И вновь и вновь бежит праздный люд к Лобному месту. Бабы, всплескивая на бегу руками, истерически завывают:

— Уродливый, уродливый! Митенька уродливый пришел... Митенька вещает...

— Бедный Митенька, несчастный Митенька... — подхватил их вопль одетый в тленное рубище юродивый. На его груди железный, пуд весом, крест, припутанный к туловищу тяжелыми цепями-веригами. Он бросил посох, порывисто закрыл ладонями испитое костистое лицо, стал рыдать-выскуливать жутким воющим голосом, переходящим в собачий лай, свалявшаяся борода его тряслась, черные волосы взлохмачены.

Толпа, охватившая Лобное место, затихла, люди стояли в каком-то оцепенении, рты открыты, взоры устремлены на Митеньку. Вот руки Митеньки упали, большие пылающие глаза его были мокры от обиль-

ных, градом катившихся слез, он вдруг тихо засмеялся и, тряся боками и задом, стал вяло, как во сне, не борзясь, приплясывать вперед и назад, вправо и влево, продолжая полоумно улыбаться.

— Митенька! Блаженненький! Помолись за нас... Отведи чуму, утихомирь, — выкрикивали, крестясь, бабы и, безотчетно подражая полоумному, тоже зачинали истерично притопывать, приплясывать и плакать.

А народ все прибывал, запоздавшие норовили протиснуться вперед, поднималась перебранка.

— Коза, коза! — пронзительно закричал вдруг Митенька. Толпа смолкла, навострила слух. — Коза из чужедальних земель приплыла, сама себе рога позолотила, барана с мосточка сбросила. Барана сбросила, козленочка зарезала. А козленочек-от бе-е-ленький, а козленочек-от неви-и-инненький!.. Она траву ест, вымем трясет, — вихляясь и взмахивая руками, выкрикивает Митенька, большие глаза его горят, брови скачут вверх и вниз, на лбу резкие продольные морщины. — А волк-от ходит, волк-от стережет козу...

— Кто же коза-то, блаженненький? Кто же волк-от? — приподнимаясь на цыпочки, вопрошали жители, плотно облепившие Лобное место.

— Тоже... Политикус, — проквакал горбун подьячий, ткнув локтем затомленного жаром мясника. — Коза-то, пожалуй, царица Катерина будет. А козленочек — шлиссельбургский узник... Хе!.. А баран-то... Хе-хе...

— Эй, эй, расходись! Рас-с-ходись! — со всех сторон наезжая на толпу, кричали полицейские рейтары.

— Стой, братцы, не беги! Блаженненький не выдаст!.. — орал народ.

Вдруг щелкнули ружейные выстрелы, и толпа помчалась прочь.

— Блаженный, уходи! Уходи, блаженный, покудов цел! — грозили полицейские юродивому.

— Не пойду, псы борзые. Мне козленочка жалко, козленочек бе-е-е... а его ножом... — отмахивался Митенька и, пав на колени, стал креститься, стал

ударять лбом в древние, обагренные многою кровью каменные плиты. — Я богомолец за всю Русь.

— Конец торгу! Конец торгу! Шабаш! — потрясая нагайками, гарцевали на Красной площади многочисленные рейтары, гнали торжище от храма Василия Блаженного. — Приказом главнокомандующего торг закрыт... До окончания чумы. Конец торгу!

— Слышь, приятель, — потрепал мясник по плечу безусого, безбородого человека средних лет, одетого в опрятную чуйку. Безбородый, углубившись, рассматривал у книгоноши картинки и книги. — Где же я тебя видал?

— Не знаю-с, не припомню-с, — ответил тот, вежливо приподнимая с лакированным козырем картуз. — Может, вы у графа Ягужинского изволили в Питере бывать? Я его сиятельства раб... Герасим Степанов...

— А-а-а, верно! — воскликнул мясник и широко заулыбался. — С тобой еще отваживались, помню, в людскую притащили тебя, упал ты, что ли.

— Так, так-с... был такой грех.

— Да пойдемте куда-нито в холодок, ежели не торопитесь. — Мясник был рад встрече с земляком, хотелось разузнать — как и что там в Питере.

И все трое, вместе с горбуном подьячим, перейдя ров, уселись возле кремлевской стены в тень на зеленую луговину, лицом к торговым рядам. Герасим Степанов развязал узелок, стал угощать житными с картошкой деревенскими пирогами, мясник на раскинутой по луговине шали горбуна рассыпал связку баранок:

— Хрупайте, угощайтесь...

И не успели они по баранке съесть, как к ним, плетясь нога за ногу, приблизился одетый в потертую казачью форму бородатый человек, он сдернул мерлушковую шапку, стал кланяться и, как бы стыдясь, стал тихим голосом просить подаяния. Хряпов сунул ему две баранки.

— Я, отцы и братья, яицкий казак, может слыхали, Федот Кожин, — сказал подошедший и присел

на лужок. — И отбился я, ежова голова, от своих товарищев, что посланы с вольного Яика к самой матушке-царице с жалобой на великие притеснения, нам чинимые злодеями нашими, старшинами...

— Эвот ты кто... — заинтересовался мясник. — Каким же манером ты отстал?

— От графа Чернышева указ был наших депутатов схватывать в Питере да на войну с турками гнать. Вот я и утек сюда. Ведь я, други, самой матушке в ручки прошение наше слезное подал. А ейный гайдук, ежова голова, два раза меня за это самое нагайкой вытянул.

Горбун подьячий, подмигнув казаку, захохотал барашком и сказал:

— За битого двух небитых дают... А ты на службу определяйся. Воинов великая недостача в Москве, берут.

— Слов нет, на службу я вчерась определился, ежова голова, — высморкавшись и смахнув слезу, ответил казак. — Из охотных людей конный полицейский батальон набран.

8

Часы на Спасской башне, установленные еще при царе Михаиле английским мастером Головеем, пробили одиннадцать.

В обширную, со сводчатыми расписными потолками келию архиепископа Амвросия, живущего в кремлевском Чудовом монастыре, молодой с напомаженными волосами келейник подал на серебряном подносе две чашки кофе, подогретые сливки и сдобные сухарики.

— Кушайте, Василий Иваныч, прошу вас, — несколько мешковатым жестом пригласил Амвросий архитектора Баженова. С изысканным поклоном тот принял чашку и стал помешивать кофе серебряной, с крестиком на конце, ложечкой.

— Не премину паки и паки возблагодарить вас, возлюбленный брат мой во Христе, — тенористо, с южным акцентом и чуть косноязычно заговорил Амвросий, прихлебывая кофе и прикрывая ладонью

черную, подстриженную с боков бороду, — что вот вы, человек ума просвещенного, предуведомили меня сегодня о непотребстве попов моих, кои, посрамляя сан свой, учиняют у Спасских ворот корыстный торг, приводя в соблазн паству. Иным часом там слышится скверномловная брань, а то и драка. А после служения многие из попов, не имея дому и пристанища, остальное время по харчевням провождают или же, напившись допьяна, по улицам безобразно скитаются. И многие мрут от заразы: здесь смертною язвою мы окружены все. И это — пастыри наши. И где же? Здесь, в древней столице православной. А что же в отдаленных селах? Страшусь подумать о сем.

— Воображаю, владыко, что подобные пастыри творят, обращая в христиан язычников, как-то: башкир, татар, черемисов, — нахмурясь, сказал Баженов.

— Вот, вот! — воскликнул архиепископ Амвросий. — Там, на окраинах наших, с несчастными иноверцами происходит сплошной разбой. Там прославленный умом Дмитрий Сечёнов подвизался неразумно. Да что далеко ходить, возьмите Москву нашу... Мой предшественник, покойный митрополит Тимофей, был паче меры добродушен, распустил вожжи, и чрез сие — все зло. Консистория, ведающая духовными делами, превратилась при нем в вертеп взяточников и пьяниц. Я наступил им на горло, во страх консисторским татям и разбойникам я издал приказ с угрозой садить нарушителей устава на цепь, сковывать в железы, вычитать жалованье без всякого послабления. Чрез сие нажил много врагов себе... — Амвросий закрыл умные, косо прорезанные, как у китайца, глаза и тяжело вздохнул. Невзирая на свой стариковский возраст, он имел темные волосы и свежее, чуть одутловатое лицо. — А нелюбовь ко мне лиц духовных передалась и в простой народ и даже в темные слои купечества. «Уж очень строг архиерей у нас, — ропщет народ, — даже крестные ходы запретил, по шапке бы его...» Да, строг! — возвысил Амвросий голос. — Держу вервие в руке, и уж замахнулся, и стану сечь вервием всякого, кто против неправды. — Глаза архиерея горели, он был возбужден, дышал глубоко. Как

бы устыдившись своей вспышки, он с мягкостью заулыбался хмуро сидевшему гостю и сказал: — Прошу прощенья, Василий Иваныч. Но, верите ли? Накипело, накипело у меня...

— Я, владыко, вполне сочувствую вам и предначертания ваши полагаю весьма пользительными, — сказал гость, приподымаясь.

Амвросий быстро, как на пружинах, тоже встал и витиевато спросил гостя:

— А когда же вы дозволите мне, старому монаху, посетить вашу храмину искусств, где вы, под сенью музы вдохновения, проявляете свой гений?

— Да хоть сейчас, владыко.

— С охотой.

Келейник почтительно подал Амвросию монашеский черный клобук с алмазным крестом и серебряный посох. По ковровым дорожкам оба, не торопясь, пошли анфиладой невысоких комнат, стены которых увешаны старинными портретами бородатых митрополитов московских.

Тридцатитрехлетний Баженов по справедливости считался при дворе выдающимся русским зодчим, он носил почетное звание члена императорской Академии художеств, а также звание профессора трех европейских академий: Римской, Болонской и Флорентийской. Он был в добрых отношениях с Григорием Орловым, работал одно время в артиллерийском ведомстве, имел чин капитана артиллерии. По личному поручению Екатерины он ныне занимался проектом перепланировки всего Кремля. Его модельная мастерская помещалась недалеко от Чудова монастыря, возле Ивана Великого.

— Не желаете ль по пути заглянуть в мое скромное книгохранилище? — И Амвросий отворил дверь в обширный зал, вдоль стены которого высились под самый потолок книжные шкафы, длинный стол посреди зала завален книгами, старинными пергаментными и папирусными свитками, хартиями, рукописями. Попахивало книжной затхолью и восковой мастикой от свеженатертого паркета, летала моль, солнце играло на позлащенных переплетах. — В сем тишайшем

склепе я провожу весь досуг свой. Ведь по случаю эпидемии я, грешный человек, никуда не выезжаю, сижу здесь, аки узник. И смею погордиться: ежели вы творец линий и осязаемых объемов, то я в некоем роде творец словесности. «Поучения» написал, еще «Службу Дмитрию Ростовскому», да заканчиваю «Рассуждение против атеистов и неутралистов», да вожусь над переводом «Псалтыря» с древнееврейского. От своего родителя, милостивый государь мой, унаследовал я склонность к занятию словесностью. Отец мой, по фамилии Зертис, родом из Валахии, был зело учен и служил переводчиком у гетмана Мазепы.

Баженов ввел архиерея в свою модельную мастерскую, насыщенную бодрящим запахом смолистой сосны и политуры. Там работало десятка два столяров, резчиков, токарей, лепных дел мастеров, чертежников. Все бросили работу, вытянулись, отвесили поклоны.

Кругом — сложенные возле стен в штабеля и всюду разбросанные бруски, колонки, лекала, барельефы, миниатюрные балюстрады, архитравы, рустики... Это — заготовка большой модели будущих колоссальных кремлевских сооружений [1].

Разметая рясой кудрявые стружки, Амвросий быстро приблизился к стене с наколотыми на ней, тонко исполненными акварелью, чертежами. В его прищуренных глазах заиграло восхищение.

— Дивное зрелище! Неизреченная красота, — искренне восторгался он, кивая головою и причмокивая.

— Это першпективный генеральный вид, владыко, — заговорил взволнованный Баженов. — А вот, в более крупном масштабе, самый дворец. Длина его по берегу Москвы-реки, с загибом в охват Кремля, триста сажен. Главная зала в нем, приходящаяся насупротив Архангельского собора, длиной пятьдесят

---

[1] Для устройства модели послужил лучший материал разобранного в 1767 году знаменитого Коломенского деревянного дворца, сооруженного в XVII веке.

сажен. Она будет высока, пространственна, светла и украшена колоннадой дорического ордена, обелисками и многими статуями, изображающими в аллегориях мощь государства Российского. А вот это весь, преображенный по моему проекту Кремль.— И Баженов подвел Амвросия к третьему огромному, в перспективе, чертежу.— Изволите видеть: Иван Великий и все кремлевские соборы включены в общую композицию, рекомую ансамбль. Все лишнее снесено, площадь расчищена, всюду колоннады, портики, обелиски, порталы, здесь триумфальные врата.

— Осанна, осанна вам,— не слушая его, продолжал восторгаться старик Амвросий.— Град горний, велия лепота...

Баженов оправил русые кудри, закинул голову, как будто стал выше ростом, в глазах, в лице — гордость, вдохновение, но возле губ трагические складки.

— Да! Не похваляясь, скажу,— воскликнул он,— ежели б все оное осуществить, сия сказка русская, сей русский гений воспарил бы на крылах. Довольно нам ходить на поводу у иностранцев. Эти де Ламоты, Шлютеры, Фростенберги и тутти кванти... Мы обязаны преклониться пред их гением, но у нас и отечественные зодчие достойны быть увенчаны лаврами бессмертия. Взять строителя собора Николы Морского в Петербурге Чевакинского, или помощника моего — Казакова, или Ухтомского, братьев Яковлевых, Мичурина, Квасова... Да вот недавно граф Строганов показывал мне рисунки своего крепостного парнишки, лет двенадцать ему,— Андрюшки Воронихина... Талант!.. Или взять дивный храм Василия Блаженного... Кто строил? Барма да Постник,— неведомые русские люди сотворили: шатровую форму деревянных церквей они перевели на камень и словно резцом изваяли из камня сие чудо всенародное, в центре — храм, и к нему впритык — восемь столповых церквей, восемь дивных башен, а всего совокупно девять храмов. И откуда взяли мысль? Такая сказка только во сне могла пригрезиться. Гений русский, гений русский! — воскликнул Баженов, губы его дрожали, глаза увлажнились.

Мастера и рабочие, приостановив дело, внимали красноречью архитектора, разинув рты. Архитектор кусал губы, хмурился. Амвросий сказал:

— Чаю, ваш преображенный Кремль затмит своим зраком и величественный римский собор Петра и прославленную площадь Марка в Венеции. Осанна вам!

— О, если б сие осуществилось! Но нет, не чаю того: у меня, владыко, много завистников, много недругов в Питере, и что бы я ни задумал, — чертежи расхвалят, да и отложат в сторонку: попроще надо, дорого, мол. Не везет мне, владыко... Великий неудачник я. — И вновь возле губ его резко прочертились складки.

4

...Пробил на башне час. Первый штоф быстро усыхал, захмелевший казак вышибал затычку из второго. Непьющий Герасим Степанов тихим голосом кончал рассказывать свою печальную историю.

— Вот что подлая душа, французишко де Вальс, с попущения графа Ягужинского, мог проделать надо мной, над скудородным русским. И не было мне со стороны закона ни толикого защищения... — Он вздохнул, покосился на клевавшего носом горбуна и закончил: — А еду я теперь простым приказчиком на его сиятельства графа Ягужинского заводы, на Урал.

— Ура-а! — закричал проснувшийся горбун подьячий — потешный, жалкий, вскочил и брякнулся.

— Эк тебя... Приснилось? — пробрюзжал мясник Хряпов.

— Дай-дай-дай... — квакал горбун, подползая к штофу, гарусный колпак его съехал на левое ухо. — Дай пососать. Все пропил, все потерял... Супругу схоронил, потомки мои бросили меня, господи помилуй, дыра-дело, дыра-дело... Нас два брата с Арбата, и оба горбаты. Ха! Погибаю, отцы. Измывались на службе всяко: били, заушали меня, водой поливали из ушата, эх... Ну, что ж из того... брал взятки, брал взятки... Тебе полтину, а начальству сотню... Начальник брюхо отпустил, я погиб... А нас таких пропоиц по Москве

многие тысячи. А почему? Вздыху мелкому человеку нет, вздыху, вздыху. Кругом неправда, друг дружку поедом едят. В злости все... Немцы, баре, карантины... А чума валит, господи помилуй. Дыра-дело, дыра-дело, господи прости. — Он выпил, зачихал, закашлялся, пустил слюну, развалился на лужку и быстро захрапел.

— Пьянь горючая, — с досадой сказал мясник и тоже выпил. — Ха! Горе у него... Велико ли у него горе-то? Подумаешь... дела большие у него, четвертак в день жалованья получал. Тьфу! А у меня, Гарасим... Веришь ли, нет ли? — возвысил он голос, вытаращил озлившиеся глаза и стал теребить бороду. — Ежели у тебя, Гарасим, горе, так у меня вдвое. Ведь я поставщик двора был! Чуешь? Во как... Двора-а-а императорского! А теперя разорили меня всего, донага раздели, анафемы. А кто? Жулик один, наш же брат-савоська, из простых. Сначала он, тварь низкая, ограбил Апраксина-графа. Граф, изменник, взятку на войне взял от короля Фридриха, а его Барышников ограбил. Граф подох, а Барышников раздулся, в миллионах теперя... Меня разул, раздел, всех зорит, кто под руку ему подвернется... Откупщик! Соль откупил, водку откупил... Взятки пригоршнями швыряет... Все законы за него. За награбленное золото чины себе купил... Помещик теперя, вот он кто! Своих мужиков дерет на конюшне: на́ мужик! На́ тебе, мужик! — Хряпов скрипел зубами, смаху бил кулаками в землю, ударял себя в грудь, рвал ворот рубахи, — в раж вошел. — Мужика мне жалко истязуемого, натуру мужицкую! Я сам мужик, барина Ракитина крепостной, я своим скудным умишком капиталы нажил, а Барышников, аспид, разорил меня... Где, Гарасим, правда, где закон, где бог?! Бей господишек!

Пьяненький, большеносый бородач казак, отхлебнув из штофа, заморгал на мясника покрасневшими раскосыми глазами:

— Разорили тебя, говоришь? Ну и слава те Христу, паки человеком станешь.

— Дурак ты, войско яицкое, — сплюнул сквозь зубы Хряпов и отвернулся от казака. Затем вдруг

вскочил с расшитого шерстями саквояжа и закричал на всю площадь: — Гарасим! Веришь ли? Обида, обида!.. Дом мой продали, баба с горя умерла, ребятишек по родне распихал, сам в великой нужде, вот наскреб остаточков тыщонки полторы, сюда прибыл, думал снова дело заводить здесь... А вот... эх, Гарасим! Веришь ли? Как поразмыслю, и не тянет уж больше ни к чему... Лютость во мне, Гарасим! Все печенки-селезенки горят. В разбойники пойду, в живорезы... Из купчишек, из гра-афьев пух пущу!.. Бей их, грабителей народных, бей! — Лохматый, захмелевший, он тряс бородой, махал кулаками, как в драке, красная рубаха из полурасстегнутых штанов вылезла. — Гарасим! Возьми меня, возьми к себе... Атаманом буду! — орал он, ударяя себя в грудь.

От Никольских ворот к ним пробирались вдоль кремлевской стены четверо стариков солдат.

— Брось, брось, жители, буянить, — издали покрикивали они. — Неровен час, начальник какой... Заарестует... Сами знаете — карантены, чума. Ну, здоровы будьте. И мы к вам.

Мясник сразу утих, старики, кряхтя и охая, устало присели на лужок, блеклые глаза их дремали, седые косички потешно топорщились из-под войлочных шляп.

Один из них был бомбардир Павел Носов — давнишний старый друг молодого Емельяна Пугачева. Со времени их разлуки на прусской войне прошел уже десяток лет, а Павел Носов мало изменился: такой же крепкий, закаленный, только погасли огоньки в глазах. Крепостной крестьянин, он своей долгой солдатчиной заслужил себе полную волю, ему бы можно на покой, но он так сроднился с военной жизнью, что упросил начальство оставить его послужить отечеству до смерти. Его направили на форпост, на вольные оренбургские земли, да вот он, будучи в Москве, за чумным лихолетьем, задержался.

Корявый и курносый старик, которого товарищи звали Васькой, развязал на косичке порыжевший бант, привычными пальцами ловко расплел косу, вынул торчавшую в ней по казенному образцу лучину,

стал расчесывать медным гребнем длинные, как у женщины, волосы.

— А мы с караула, в Кремле стояли... А теперича поспать в холодке, жарко дюже... Эвот! У вас и винцо и баранки. Богато, хрещеные, живете... Дайте-ка нам хотя по бараночке. В брюхе-то пусто у нас... Восемь гривен на месяц жалованья огребаем, — не зажируешь. А кругом дороговизна, ни к чему приступу нет. Вот помяните мое слово, голод будет, потому — чума.

— Не голод, а бунт... Усобица, — сказал бородач казак Кожин и сплюнул.

— Знамо дело, — подхватил старый солдат, беззубо давя деснами баранку. — Голод за собой и усобицу приведет. Жрать нечего, а выпить — душа горит.

— Слых был, врут ли, нет ли, — зашамкал беззубый семидесятилетний солдат Васька, — будто бы царь-государь Петр Федорыч оказал себя на Руси, в Полтавщине, что ли. Годов с пяток тому прошумела молва, да исчезнула... Врут — поди.

— Ничего не врут, — подхватил Павел Носов. — Петр Третий жив, правда-истина. В прошлом годе он где-то под Астраханью объявился, три солдата нашей батареи сказывали, они с офицером коней закупали тама-ка. По всему астраханскому краю вестно было: Петр Федорыч жив, он опять примет царство и станет льготить мужиков.

— Брешут, — убежденно сказал мясник, поднял штоф, взболтнул, пригубил. — Петр Федорыч померши, его погребения самовидцем был.

Горбун подьячий ожил, открыл воспаленный левый глаз, жалобно проквакал:

— Петра Федорыча придушили, Иоанна Антоновича зарезали... Дыра-дело, дыра-дело. Грех им, душителям неправедным.

5

Архиепископ Амвросий сидел в рабочем кабинете Баженова. С потолка спускалась елизаветинских времен в наборных хрустальных бляхах люстра с восковыми розового цвета свечами. Вдоль стен резные, по

рисункам хозяина, дубовые шкафы, шифоньерки, бюро. На стенах, обитых голубоватым штофом, два портрета кисти Антропова, несколько миниатюр Ротари и датского живописца Эрихсена. Дорогие ковры — дар графа Салтыкова. Письменный стол завален «Московскими ведомостями», брошюрами, книгами на русском и иноземном языках. Тут и «Эмиль» с первой частью «Исповеди» Руссо, запрещенные Екатериной, и старинный роман Гриммельсгаузена «Симплициссимус», и устав Вольного экономического общества. Рулоны чертежей, кроки, эскизы, готовальни, заграничные краски в тюбиках...

Амвросий поник головой, насупясь перебирал в смущении янтарные четки. Потом поднял взор на Баженова, проницательно посмотрел в его печальные, несколько рассеянные глаза и спросил, вздохнув:

— В то время вы, чаю, за границей были?

— Да, владыко, в Италии. И вскоре после убиения Иоанна Антоновича вернулся в Россию.

— Могу ли я вас спросить доверительно, по секрету, не доводилось ли вам, будучи за границей, читать отклики в иностранных изданиях о сем кровавом позорище русском?

— Разумеется, разумеется, владыко. Даже у меня сохранился изданный в Лондоне листок. — Баженов открыл полированный изящный секретер и, порывшись в бумагах, сказал: — Вот он: «Заметки путешественника на манифест от 17 авг. 1764 г.». Послушайте, владыко, выдержки: «Как ни была уже печальна судьба несчастного Ивана, ему не удалось избегнуть и последнего насилия со стороны нации, не охотно упускающей всякий случай проявить свое зверство». Ну, и так далее... А вот не угодно ли философическое умозаключение: «Одни и те же действия не всегда имеют одни и те же последствия. Родившиеся под различными созвездиями два изменника испытывают различную судьбу: один возведен в графы, кавалер многих орденов, сенатор (это про Григория Орлова, — пояснил Баженов), другому (Мировичу) отрублена голова, и тело его сожжено вместе с эшафотом».

— Я не наскучил вам? — закуривая заграничную сигару, спросил Баженов. — Эта эха в Европе наиболее спокойная. А был, помню, острый, как перец, отзыв «Свободного англичанина»; Екатерина, говорят, сим отзывом, да и многими подобными была зело задета. Она уразумела, что свободное мнение общества не щадит и особ коронованных. И прошу вас, владыко, обратить внимание: Европа кричит: народ, народ, народ!.. А при чем тут русский народ? В придворных злодеяниях русский народ ничуть не виноват. А общественное мнение нашей публики зажато клещами...

— Простой народ на сии темные события откликается по-своему, он свою имеет эху, — отозвался внимательно слушавший хозяина Амвросий. — На убиение принца Иоанна тотчас же отозвалась провинция. Я имею с некими сенаторами связи, чрез оных вестен, что вскоре после убиения появились в провинции сочувствия не токмо к участи Иоанна, но и к судьбе Петра Третьего. Так, год спустя рассматривалось сенатом по сему поводу шесть тайных дел, а в следующем году десять. Народ помнит, народ ничего не забывает и в основу суждений своих полагает правду единую, — закончил Амвросий и заторопился уходить.

— Минутку, владыко! Вот не угодно ли взглянуть на кусок из манифеста, заготовленного несчастным Мировичем, разумеется, от имени принца Иоанна...

— Я знаю этот манифест. Я не люблю Мировича! — воскликнул Амвросий. — Сей суеславный безумец суть наемник собственного тщеславия. Друг мой Василий Иваныч, сожгите сии продерзостные и гнусные строки, что изблевал бунтовщик якобы от имени Иоанна Антоновича. Мирович не о народе, Мирович о себе пекся.

— Ныне наша матушка, великая покровительница искусств, — сказал Баженов, — от претендентов на престол свободна: ни Петра, ни Иоанна нет. Опасаюсь — самозванцы будут... Как вы мыслите, владыко?

— Самозванцы были, есть и будут. — И владыко поднялся.

...Меж тем услужливый казак Федот Кожин расстарался еще двумя штофами, краюхой хлеба и зеленым луком.

Чрез залитую солнцем площадь проходили группами и в одиночку пешеходы, проезжали кареты, линейки с купеческими семьями.

Тяжело плелась вперевалку Марфуша-пророчица — московская дурочка. Она жила в башне у Варварских ворот, где келия старика монаха; она страшилась татей и разбойников, поэтому всю свою одежонку — платьев с десяток и ветхий заячий тулупчик — напяливала на себя. Она вся увешана тряпьем. Даже измызганную подушку, придерживая за угол, волокла по дороге. Двигаясь необьятной копной по площади, дурочка кривлялась и орала:

— Покарал вас бог, московские люди, покарал! Бога забыли, дураки, водку жрете! Каменией побьет вас бог, чертей нашлет. Брысь, брысь, черти, брысь! — Она стала плеваться и закрещивать пространство со всех сторон, затем направилась к приземистым одноэтажным галереям торговых рядов, расположенных, корпус за корпусом, между Ильинкой и Никольской. В рядах пусто.

— Жрать хочу, жрать хочу, — выскуливает дурочка.

Пятеро пьяных кузнецов, в кожаных прожженных фартуках, обняв друг друга за шеи, вспотык шагают от Варварки. — Открывай базары! — ругаясь, буйно кричат они. — Москву со всех застав заперли, привозу нет. Голоду хотите, бунту? Открывай Москву, а нет — громить учнем!

— Бунтует народ, — прислушиваясь к людскому гулу, промямлил лежавший вверх бородой мясник и сплюнул через губу.

— По всей России беспорядки, — поддержал его Герасим Степанов.

Закинув руки за голову, он лежал возле мясника, силился заснуть и не мог — душа скорбела.

Все восьмеро приятелей лежали вповалячку. Солдаты и маленький горбун похрапывали во сне.

— Эй, Фомка! — окликнул будочник пробегавшего сынишку и указал на лежавшего мясника с компа-

нией, — слетай, голубь, за ров, — чи живые там, чи мертвые. Пять, шесть, семь, восемь человек. Ежли зачумели, беги на пунхт, чтобы каторжан спосылали с крючьями. Стой, дослушай! Да чтобы не Спасским мостом волокли покойников, а в ров пущай скатят да по канаве к Москве-реке, тамотка у Живого[1] моста чумовой плот...

ГЛАВА V

Лихой казак. Войско Яицкое. В Царскосельском парке

1

Чума все еще давала себя знать и в нашей армии, действующей против турок. Однако быстрыми мерами ее там пресекли. Вскоре стала донимать наших воинов азиатская лихорадка. Госпитали были переполнены.

Болезнь Пугачева затягивалась. Он с завистью смотрел на своих выздоровевших товарищей, покидающих стены лазарета. Ой, да и наскучило же ему валяться среди больных!

Походный атаман Греков, видя, что Пугачев нуждается в длительном отдыхе, отпустил его вместе с другими хворавшими казаками на поправку домой.

Сказано — сделано: вот и родная семья. Софьюшка, да две девчонки, да паренек Трошка, да мать родимая. Бедность, нищета... Эх, горе, горе!..

Здоровье Пугачева восстанавливалось плохо. Старики станичники присоветовали ему хлопотать об отставке. В конце февраля 1771 года он на собственной лодке поплыл в главный их город Черкасск, где имел резиденцию атаман Войска Донского Ефремов. Там нашел приют у казачки Скоробогатой. В войсковой канцелярии сказал дьяку:

---

[1] Живой, или плавучий (на судах), мост шел чрез Москву-реку и упирался в Козье болото — место наказания преступников.

— Я прибыл сюда в отставку хлопотать: у меня болят грудь и ноги.

— Ложись в лазарет, — ответил дьяк. — И ежели твоя болезнь будет неизлечима, получишь отставку, а ежели оздоровеешь, опять на войну пошлем.

Пугачеву это не понравилось: идти на войну, покинув на произвол судьбы большую семью, у него не было никакой охоты. Он не знал, что ему делать. А в это время в действующую армию вновь затребовали отпущенных на отдых казаков, в том числе и Пугачева. Атаман Войска Донского Ефремов велел отдохнувшим казакам двинуться в поход, при этом намекнул им, что от похода можно откупиться. Пугачев со своей командой направился чрез Донец в действующую армию, но в дороге убедился, что по болезни он дальше ехать не в силах. Он нанял за себя казака Бирюкова, отдав ему двух заседланных коней, саблю, синюю бурку и двенадцать рублей. Бирюков уехал на войну. Пугачев остался на поправку дома.

Когда здоровье его несколько поокрепло, он поехал в Таганрог к своей родной сестре, казачке Павловой. Муж Федосьи Ивановны, казак Павлов, жаловался Пугачеву, что вот их вместе со многими казаками переселили с начала турецкой войны из Зимовейской и других станиц на вечное жительство в Таганрог. А жить здесь трудно, здесь все по-новому: замест атаманов заведены полковники, замест старшин — ротмистры, а донские привилегии и древние обычаи повелено матушкой-государыней забыть.

— Нас хотят обучать по-гусарски и всяким регулярным военным приемам.

— Врешь, Павлов, не может тому статься, — удивился Пугачев. — Как отцы и деды Войска Донского служили, так и вы должны служить.

— Не веришь, присмотрись. И как только почали ломать нашу казачью жизнь, многие из нас надумали отсель бежать. Да и бегут уж... Я тоже собираюсь...

— Куда намерен?

— Ежели с женой, то на Русь, а ежели один — в Запорожскую Сечь.

— В Сечь не попадешь, а на Руси поймают тебя, — подумав, сказал Пугачев. — И коли бежать, то бежать надо на Терек, там, слух был, нашего семейного народу много, прожить там способно и укрыться есть где — лесу довольно. А сверх того — атаману Терского семейного войска и указ дан, чтобы таких утеклецов у себя приючал. — Развеселившись, Пугачев ударил ладонью ладонь. — Бежим! И я с вами...

Сборы были недолги. Федосья отпросилась у начальства съездить в Зимовейскую станицу, повидаться с матерью, и вместе с братом Емельяном выехала туда, а Павлов с тремя товарищами должны были приехать недели через две, чтоб избежать подозрения ротмистра.

Когда все сгрудились, Пугачев троих беглецов и сестру оставил в степи, а сам с зятем Павловым прокрался ночью задворками домой.

— Вот что, матушка, — сказал он. — Зять-то мой с сестрой Федосьей мыслют за Терек бежать. Да и меня с собой присуглашают. Там воли больше.

Мать с женой и проснувшийся старший сын Трошка заплакали, стали отговаривать.

— Мы в такой нужде, а ты хочешь бросать нас. То по войнам шатаешься, то на Терек... Побойся бога!

Прошла неделя в тайных переговорах Пугачева с беглецами (он раздумал бежать с ними, а те настаивали). Наконец, видя неотступную просьбу зятя, Пугачев притворился, что согласен.

Посадив беглецов ночью в лодку, он спустился с ними по Дону на семь верст, высадил их на ногайский берег, а сам на лодке — прочь и крикнул:

— Дорогу на Маныч знаете? Идите той дорогой, в самый Терек упретесь.

— Стой, куда ты?! — всполошились обманутые беглецы. Зять выхватил саблю, кинулся за Пугачевым в воду. — Стой, лиходей!..

Но Пугачев только шапчонкой помахал и скрылся в сырой туманной мгле. Под ним холодная вода чернела, вслед ему сквозь туман летела отчаянная ругань покинутых.

Не найдя дороги к Тереку, беглецы спустя полтора месяца вернулись в Зимовейскую, их арестовали. На допросе в станичной канцелярии они показали, что Пугачев переправил их через Дон и хотел бежать с ними. А Пугачев знал, что за пособничество беглецам он может угодить на каторгу. Спасая себя, он взял хлеба и скитался по степи недели две. А как вышел хлеб, ночью вернулся домой. Жена, заплакав, сказала ему:

— Мать и зять увезены в Черкасск. И тебя ищут...

Пугачева вскоре тоже арестовали, увезли в Черкасск, но он из-под караула сбежал, трое суток просидел в камышах, по зимнему времени продрог, отощал, крадучись пробрался в Зимовейскую и там скрывался у себя на чердаке до рождества.

Живому духу Пугачева невтерпеж было томиться взаперти. За двое суток до рождественских праздников он объявил семье, что едет на Терек, и когда обоснуется там, то и их к себе возьмет. Ночью вскочил в седло и — поминай как звали.

Плутая по степным местам и стараясь скрадом объезжать заставы и пикеты, он благополучно прибыл в станицу Дубовскую. Здесь он обратился к войсковому атаману с просьбой приписать его в Терское семейное войско. Пугачев, конечно, утаил, что он беглый, и атаман Татаринцев охотно записал его в Дубовскую станицу. Тут он прожил самое малое время, выправил себе билет на три недели и махнул в станицу Войска Донского — Ищорскую.

Умный и находчивый, он стал проявлять свои богатые способности. Как-то в праздник, на большом сборище казаков трех станиц, он обратился к донским казакам:

— Что ж вы, други, смирнехонько сидите да небо коптите зря? Чего ж ради терские казаки получают жалованье и провиант не в пример больше вас? Вот избирайте меня своим атаманом, посылайте в Питенбурх, я в государственной Военной коллегии обхлопочу вам всякие льготы. У меня в столице крепкая

заручка есть. А нет, — так я и до самой государыни дойду, до самого графа Орлова...

Все три станичных атамана и старики развесили уши. Ухватки, взор и голос Пугачева им были по сердцу: «Ну и лихой казак!» Они единогласно дали заручную подписку с желанием иметь Емельяна Пугачева своим главным атаманом и снабдили его на путевые расходы в Питер двадцатью рублями.

Для каких-то своих умыслов Пугачев заказал двум казакам свинцовую печать атамана Войска Донского, а сам поехал в город Моздок, купил себе синий китайский бешмет, желтые сапоги, лисий малахай, саблю, белый шелковый кушак и провианту, заплатив за все это семь рублей сорок две копейки.

А при выезде из Моздока, 9 февраля, нарвался за рогаткой на заставу, был схвачен, посажен под арест и прикован цепью к стулу[1]. А выбравшие его казаки и резчики свинцовой печати были «нещадно батожьем наказаны».

Емельяна Пугачева, как злостного беглого и «прельстителя несмысленых казаков», ожидала жестокая расправа. Но дело обернулось по-иному. В ночь на 13 февраля 1772 года арестант выпросился у дежурного офицера за натуральной нуждой на двор. Его сопровождал часовой. Оба они вышли с гауптвахты, вытащили по необходимости и тяжелый чурбан, к которому Пугачев был прикован. Вышли, а назад не вернулись. В донесении о побеге Пугачева и солдата между прочим говорится:

«Оный Пугачев содержался на стуле с цепью и и с замком, которое стуло оставил у нужника с тремя цепочными звенами, а три звена и замок унес с собой».

Беглецы свели двух войсковых лошадей и за ночь успели изрядно ускакать. На день спрятались в лесу. Солдат, греясь у костра, сказал Пугачеву:

— А слышал ли ты, что в Яицком войске несусветная буча идет, кутерьма? Целая войнишка...

— Откудов знаешь?

— С ветерком доносит, землячок.

---

[1] Стул — очень толстый обрубок дерева, чурбан пуда на три.

2

Действительно, в войске яицких казаков было очень неспокойно.

...Приуральский край, за ним Среднее и Нижнее Поволжье переходят в раздольные донские степи. Все это вместе взятое огромное пространство издревле считалось казацким вольным краем. Сюда невозбранно стекалась всякого рода голытьба: обиженные правительством, помещиками, фабрикантами и заводчиками трудовые люди, приговоренные к каторге и виселице «смерды», беглые солдаты и гонимые официальною церковью раскольники.

Когда вольный Дон не стал вмещать этих гулящих по степям людей, они принуждены были податься на восток — в свободные приволжские просторы, на реки Иргиз и Яик [1]. Год за годом оседая здесь, они стали заниматься главным образом рыбной ловлей и охотой. Так с течением времени образовалось признанное правительством яицкое казачество.

Но, кроме русских гулящих людей, эти степные пространства спокон веков были еще населены иноплеменными народами — башкирцами, калмыками, киргизами, татарами и т. п. По этим местам в незапамятное время проходила широкая дорога кочевых орд, передвигавшихся на Дон, на Днепр, на Дунай и дальше.

Из века в век донское и днепровское казачество вело борьбу с кочевниками, утверждая свое господство в южных степях. Тем же самым пришлось поневоле заниматься и яицкому казачеству на юго-восточной окраине России.

Правительство, со времен Петра Великого, стремясь оградить интересы русской колонизации в богатом уральском крае и в оренбургских степях, поставило казачью жизнь на военную ногу.

Казаки стали подчиняться государственной Военной коллегии и руководствоваться в своей жизни законоположениями, исходящими из Петербурга.

---

[1] Река Яик и Яицкий городок после пугачевского восстания переименованы в реку Урал и в город Уральск.

Цепи на бывшей казацкой вольности все крепли и крепли, среди казаков все больше и больше стало наблюдаться расслоение. Казацкая, хоть и выборная, администрация — атаман и старшины — опиралась в своих действиях по преимуществу на зажиточную группу яицкого казачества. Образовалась таким образом «старшинская сторона». Она противопоставляла себя и свои интересы всей остальной массе казачества, так называемой «войсковой стороне».

И вот мало-помалу началась борьба между старшинской и войсковой враждующими сторонами.

Сыр-бор в Яицком войске загорелся из-за жульнических махинаций атамана и старшин.

Рядовые казаки получали от казны жалованье. Хлеба они не сеяли, а содержали себя рыбной ловлей на Яике.

С 1752 года все рыбные промыслы атаман сдавал частным лицам на откуп, уплачивая за это казне десять тысяч пятьсот рублей. Остальные деньги, полученные от продажи рыбы, шли на административные расходы и делились между казаками.

Вот тут-то и начались злоупотребления власти. Уже в продолжение трех [1] лет станичный атаман Мартемьян Бородин не выдавал казакам рыбных денег ни гроша, заявляя, что их едва хватает на покрытие откупа. Казаки впадали в нищету, начальство жирело.

Мартемьян Бородин, получив чин полковника, захватил себе в степи огромные участки земли, имел много крепостных из беглых крестьян, калмыков, киргизов, — словом, стал крупным помещиком. Человек с сильной волей, с жестоким характером, он был главным угнетателем казацкой бедноты.

Казацкая беднота стала предъявлять Бородину свои законные требования: «Давай деньги, кажи отчет!» Мартемьян Бородин прибегал к насилиям, многих наказывал плетьми, «яко озорников и людей мятежных», жаловался в петербургскую Военную

[1] С 1759 года.

коллегию, что большинство казаков бунтует и не слушается его. С той поры враждующие части войска получили в народе новые, так сказать дополнительные клички: меньшая, державшая сторону старшин, стала называться «старшинской», или «послушной стороной», а все остальные казаки — «войсковая», или «непослушная сторона», состоящая сплошь из бедноты.

Непослушная сторона решила послать гонцов к самой императрице с челобитной за подписями двух тысяч восьмисот человек. Казаки просили: атамана Бородина убрать и позволить им, казакам, выбрать нового атамана по своему хотенью.

Двое выборных потащились на край света, в Питер.

Екатерина отнеслась к просьбе казаков внимательно, приказала Военной коллегии по всей справедливости рассмотреть их дело, и «если то подлинно учинено против их привилегии и им принадлежит выбор наказного атамана из их общества, то дайте им по воле выбрать, кого захотят».

Однако даже повеление Екатерины в полной мере исполнено не было. Правда, командированный из Петербурга генерал-майор Потапов, прибыв весной 1763 года в Яицкий городок, велел выбрать из казаков сорок человек доверенных, которые могли бы доказать виновность атамана Бородина и старшин. Произведенным расследованием преступления их во всем подтвердились. Генерал Потапов отстранил от дел Бородина и двух старшин и попытался навязать войску своих кандидатов в атаманы. Казаки отказались. Уезжая в Петербург, Потапов оставил вместо себя офицера драгунского полка Новокрещенова. В конце 1765 года последовал указ Военной коллегии, по которому отстраненные атаман Бородин и двое старшин лишались чинов и должностей и с них взыскивалась в пользу казаков определенная сумма денег; предписывалось выбрать вольными согласными голосами трех кандидатов в атаманы и представить их имена Военной коллегии, а до утверждения нового атамана поручить управление делами выбранным из старшин и казаков.

Войсковая сторона указом была довольна. Но вскоре офицер Новокрещенов приказал: главного зачинщика междоусобия казака Логинова сослать в Тобольск, ездившего в Петербург с челобитной казака Копеечкина записать в солдаты, сорок человек доверенных, выбранных казачьим кругом, наказать палками и отправить без очереди на службу в Гурьев-городок.

Оскорбленное войско снова направило в Питер гонцов с жалобой на беззаконные поступки майора.

Прошло полгода.

Разбирать дело прибыл генерал-майор Черепов, командующий войсками в Оренбурге, человек свирепый и решительный. С генералом была отправлена из Оренбурга часть драгун. Он немедленно потребовал от казаков избрать трех кандидатов в атаманы: немилого бедноте дьяка Суетина, Митрясова и Федора Бородина, сына отстраненного атамана. Казаки ответили полным отказом избрать их и выдвинули в кандидаты своих трех человек.

Разгневанный генерал прервал с непослушными казаками переговоры. Наутро забил набат в колокол, сигнал: «Собираться в казачий круг».

Войско собиралось на площади, против каменного корпуса войсковой избы. Широкое место для круга ограждено деревянными перилами. Внутри перил — рундук, место для атамана и старшин.

Непослушная сторона казаков, по приказу генерала, была окружена цепью вооруженных драгун. Казаки смутились и, оставаясь в отдалении, не хотели приближаться к перилам у круга.

Генерал Черепов вместе с майором Новокрещеновым, старшинами и зажиточными казаками вошли в круг. Генерал занял на рундуке место атамана. Он поднялся с кресла и, крутя черный ус, сердито прокричал:

— Слушайте указ!.. Придвиньтесь ближе к перилам.

— Нам и здесь хорошо слышно. Не глухие... — ответили непослушные.

— Подойдите ближе! — побагровев, крикнул генерал.

Казаки не двигались. В морозном воздухе все замерло. Замерли в своих позах сидевшие на рундуке за столом старшины. Генерал сорвался с рундука, быстрым шагом вышел за перила, встал позади драгун, отдал им приказ стрелять по непокорным. Вслед за трескучим залпом в воздух почти все войско пало на землю. Казаки испуганно стали кричать:

— Помилуйте, ваше превосходительство! Мы не чуем за собой никакой вины.

— Пли!.. — загремел генерал.

Драгуны, не желая проливать кровь, снова дали залп в воздух, но несколько пуль все же угодило в лежащих на снегу казаков: трех человек убило, семерых ранило.

— Помилуй, батюшка, — валяясь на снегу, молили безоружные казаки. — За что?

— Будете ли повиноваться указам государыни?

— Ваше превосходительство! — стали выкрикивать казаки. — Войско завсегда богу, государыне и указам ее повинно.

Генерал скоро уехал в Оренбург.

Развал и неразбериха в Яицком войске продолжались. А время шло. Враждующие стороны жаловались одна на другую в Петербург.

В конце концов обеим сторонам по одному из пунктов спора удалось достигнуть соглашения: был казачьим кругом выбран и Военной коллегией утвержден в звании атамана рядовой казак Петр Тамбовцев. Человек честный, но слабохарактерный, он не мог сломить упорства старшинской партии. Постепенно подпадая под влияние старшин, Тамбовцев перешел открыто на их сторону, а казакам народной партии чинил всякие обиды. Казаки, раздражаясь, говорили:

— Не мы ли его выбрали? Вот те и свой брат-савоська...

Продолжавшаяся с Турцией война требовала новых боевых сил. Правительство решило в помощь действующей армии сформировать особый так называе-

мый Московский легион в шесть тысяч человек из вольных людей; туда должны были входить пехота, кавалерия и отряд яицких казаков в триста тридцать пять человек. Указ об этом был получен на Яике в начале 1770 года. Все Яицкое войско поднялось на дыбы, отказалось подчиниться этому указу. На площади, в избах, по хуторам были одни и те же разговоры:

— Не ходить! Из нас хотят сделать солдат. Хотят регулярство завести. Бороды скрести повелено... Над нашими исконными обычаями, над древлим благочестием насмехаться...

— Атаманы и старшины — предатели!

Собрался казачий круг. Казак Чумаков[1] сказал:

— Давайте от всего войска просить матушку-царицу, пускай освободит нас от легионной службы.

Громада подхватила:

— Все пойдем до императрицы, все поголовно... Как раньше наши деды-прадеды служили, так и мы на прежних поведенциях и отеческих порядках безо всякого отрицания служить должны. А в штат легиона не хотим!

Атаман Тамбовцев, негласно наущаемый коварным Мартемьяном Бородиным, решился на крайнюю меру: для сформирования легионного отряда хватать кого попало. Чрез бесчисленные насилия, мордобой и жестокую распрю было нахватано, наловлено сколько по штату надо — триста тридцать пять человек. Всех их держали под арестом, а в Питер донесли, что приказ Военной коллегии исполнен, и команда будет препровождена под конвоем в Симбирск.

Но напрасно атаман обольщал себя такой надеждой: растревоженный улей Яицкого войска все больше и больше раздражался. Боясь мести атамана, большинство казаков, спасая животы свои, рассыпалось по степям и дальним хуторам, благо летняя пора стояла, — везде приют.

Непослушная сторона успела тайно отправить в Петербург депутацию из двадцати двух человек, собрав им в дорогу по тридцать копеек с дыма.

---

[1] В будущем — один из главных пугачевцев.

8

Депутация, возглавляемая сотником Портновым, в июле 1770 года прибыла в Царское Село, где жила Екатерина.

Депутацию во дворец не пустили, не пустили и в парк, из которого можно бы как-нибудь, хоть по водосточной трубе, залезть в открытое дворцовое оконце. Как быть? Сотник Портнов с двумя молодыми казаками с утра ходил возле железных решеток, заглядывал в парк, не покажется ли императрица.

— Она! Ей же богу, она, — закричал бесхитростный Портнов и ткнул рукой по направлению спускавшейся от дворцового пантдуса к озеру группы: впереди две женщины — побольше и поменьше, возле них две собачонки, — тоже побольше и поменьше, на три шага сзади — высокий статный генерал с тростью («Это граф Орлов, Григорий Григорьич», — прошептал сотник), сзади него два пажа, а в некотором отдалении — пять гайдуков в малиновых кафтанах.

Около всех ворот в парк стояли с ружьями драгуны. Иван Портнов вложил пальцы в рот и трижды свистнул. Чрез две-три минуты к сотнику сбежались остальные девятнадцать казаков.

— Господи благослови, — проговорил Портнов, с легкостью перемахнул через невысокую железную решетку и, творя молитву, побежал прямиком к Екатерине, которая успела спуститься к озеру и теперь бросала подплывшим лебедям кусочки хлеба.

За Портновым, топоча, как степные кони, бежали два десятка казаков. Придерживая у бедер сабли, они боязливо озирались на гнавшегося за ними солдата с ружьем.

— Стой! Стой! Стрелять буду! — вопил солдат.

Где-то близко забил барабан тревогу, зазвонил колокольчик, раздалась крикливая команда. И вскоре целая рать, ружья наперевес, ринулись за казаками. Но казакам теперь не страшно: они уже подлетали к государыне.

Екатерина, одетая в светло-голубой просторный пеньюар и кружевной чепец, быстро повернулась на

шум и только лишь произнесла: «Что это значит?» — как запыхавшийся сотник Портнов, сдернув шапку, повалился Екатерине в ноги, уткнулся лбом в зеленую траву, а вытянутой правой рукой совал царице челобитную. Он по простоте душевной защурился, чтоб не ослепнуть от блистательного зрака государыни, рыжая борода его подрагивала, он пронзительно кричал:

— Мать всеблагая!.. Ваше величество! Прими, прими слезное прошение наше... Препоручаем себя вашему величеству. От наших старшин против беззаконных их поступков и наглого разорительства высочайшей десницей защити и оборони...

Два десятка казаков тоже стали на колени. Они смущенно мигали и ничего пред собой не видели, кроме трепетного белого листа бумаги и миловидной, «райского фасона», женщины.

Граф Григорий Орлов, блистая золотом кафтана и бриллиантами драгоценных колец, грозил им тростью, но про себя улыбался.

Екатерина приняла бумагу, подняла брови, сотник Иван Портнов услыхал «небесный» голос:

— Встаньте, казаки.

Бородачи поднялись, замерли, руки по швам.

Голос Екатерины сделался по-земному раздражителен. Она спросила:

— Ведомо ли вам, казаки, что мне лично подавать прошения регламент воспрещает?

— Ведомо, ваше величество! — гаркнул сотник Портнов и выпучил испугавшиеся глаза на Екатерину.

— А ежели ведомо, то чего ради ты это сделал, сотник?

— Винимся, ваше величество! — опять гаркнул Портнов. — Тако войсковой круг постановил, чтоб лично, значит... В ручки.

— Круг-то круг, — сказала Екатерина, — а над кругом все-таки я... я... Уж который раз вы чините сие беззаконие... И что вас мир не берет?

— Винимся, ваше величество! — И все казаки снова упали на колени.

Екатерина вскинула к глазам лорнет, с интересом присмотрелась к широкоплечим бородачам и заговорила по-французски с княгиней Головиной.

Орлов резко сказал казакам:

— Ответ чрез Военную коллегию... Ну, марш отсюда!

Екатерина, прервав разговор с Головиной, окинула Орлова улыбчиво-укоризненным взглядом и приказала похожему на девушку пажу:

— Проводи, пожалуй, казаков во дворец, пускай их там покормят. И... и... по стаканчику водки...

Казаки, облегченно задышав, третий раз бухнулись Екатерине в ноги.

В челобитной депутаты просили царицу не определять казаков в легионные полки, приказать удовольствовать их денежным и хлебным жалованьем, которого они не получали пять лет.

Через месяц Екатерина повелела Военной коллегии немедленно удовлетворить просьбу казаков. Но об освобождении их от легионной службы в последовавшем указе не было ни слова. Таким решением депутаты остались недовольны, в Военной коллегии вели себя дерзко, на предложение возвратиться на Яик не согласились и данную им грамоту на имя войска оставили в зале коллегии.

Вскоре казакам вторично удалось вручить императрице новую челобитную, где они вновь просили уволить их от службы в легионе.

Видя подобное упорство депутатов, Екатерина указала Военной коллегии: «Снисходя на просьбу яицких казаков, увольняем их вовсе от легионной команды, *куда их впредь не наряжать*».

Для умиротворения войска были командированы на Яик лично известный Екатерине, друг Григория Орлова, офицер Семеновского полка Дурново, а из Оренбурга — генерал-майор Давыдов.

Наступил март 1771 года. За это время стряслась беда с калмыками. Правительство решило послать на войну в Турцию двадцать тысяч калмыков. В ответ на

это тридцать тысяч калмыцких кибиток, бросив свои кочевья, бежали в Китай[1]. На Яик пришло высочайшее повеление командировать в Кизляр пятьсот казаков в погоню за калмыками.

Этот неожиданный сюрприз был войску весьма неприятен. Собирались один за другим четыре очень шумных круга. Непослушная сторона наотрез отказалась идти в команду.

— Почему?

— А вот почему... — И сотник непослушной партии подал атаману копию указа, полученную депутатами в Военной коллегии год тому назад. В этой копии столичным переписчиком был искажен в пользу казаков текст высочайшего указа и вместо слов: «*куда* (то есть в легион) их впредь не наряжать», в копии сказано: «*никуда их впредь не наряжать*».

Это послужило сигналом к полному отказу от командировки в Кизляр.

Генерал Давыдов и петербургский офицер Дурново послали обо всем этом донесение в Военную коллегию. А непослушная сторона вновь выбрала депутацию под начальством сотника Кирпичникова. Депутация прибыла в Петербург в средине лета 1771 года.

Сотник Кирпичников явился к начальнику Военной коллегии графу Захару Чернышеву, чтоб подать чрез него челобитную императрице. Но граф заорал на Кирпичникова:

— Ты чего шляешься один?.. Сколько вас здесь?.. Двадцать пять человек? Надоели со своими просьбицами... Придите все, тогда приму вашу челобитную. А может, и арестую всех.

Депутаты изыскивали способ подать челобитную Екатерине лично.

В июне месяце, когда императрица ехала в сенат, рыжебородый казак Федот Кожин, пав на колени, успел подать ей челобитную. Его арестовали, но он ухитрился сбежать в Москву.

---

[1] За восемь месяцев пути от болезней, стужи и разбойников погибло 100 000 калмыков.

Прошло около пяти месяцев. Военная коллегия дала полиции приказ: «Изыскать депутатов и на квартирах не держать, яко сущих злодеев». Вскоре шестеро депутатов было арестовано, им остригли волосы, обрили бороды и насильно отправили по приказу Чернышева простыми солдатами в действующую против турок армию. А высочайшего решения все еще не приходило.

Сотник Иван Кирпичников решил обратиться за покровительством к графу Григорию Орлову, но, узнав, что граф куда-то выехал, он обратился к его брату Ивану Григорьевичу. Захар Чернышев был ставленником Никиты Панина и, стало быть, враг партии братьев Орловых. Граф Иван Орлов по-простецки обласкал Кирпичникова.

— Слышал, слышал. Двенадцать лет тянется ваше дело... Ха! Это черт знает что, — сказал он. — Граф Чернышев ваше дело совсем запутал, знаю, знаю... Он большими делами руководствовать не может... Ну-с, так... Садись, сотник!

Он дал Кирпичникову письмо и сказал:

— Отправляйся прямо на Яик, а в Военную коллегию не заходи: граф Захар — он знаешь какой, пожалуй, по зубам даст. Это письмо передай капитану Дурново у себя на Яике. С этим письмом тебя и депутатов пропустят, где хочешь. Только Москву объезжайте. Чума лютует там...

ГЛАВА VI

Чудо. Пир во время чумы

1

Шел сентябрь 1771 года. Чума в Москве свирепствовала с особым ожесточением.

Люди вымирали в короткое время целыми домами. По улицам, в особенности на окраинах, валялись мертвые тела. В тех домах, где обнаруживался боль-

ной, ретивые начальники всех здоровых насильно с великим криком и скандалами угоняли в карантин или в госпиталь: там здоровые люди нередко заболевали и гибли. Такие меры восстанавливали население против лекарей и госпиталей. Распространились слухи, что начальство подкупило лекарей извести всю бедноту. Бани давным-давно запечатаны. Рынки закрыты. Начался голод. Многие, у кого еще остались силы, поспешили из Москвы крадучись утечь, иногда умыкая с собой и захворавших. Иные умудрялись даже убегать из госпиталей и карантинов. Их ловили, схватывали, избивали. Иногда на избивавших наваливалась толпа и побивала их камнями. Вся Москва была пронизана недобрым предчувствием. «Быть худу, быть худу!» — кричали по площадям и возле церквей юродивые и кликуши. Грабежи, убийства чрезмерно умножились. Твердой власти не существовало. Порядок всюду был нарушен. Народ все более и более охватывала паника. Казалось, еще немного, и Москва погибнет от чумы и беспорядка.

Но вот произошло чудо...

Темный народ поверил тому чуду и, вздохнув, подумал: «Стало, господь-батюшка оглянулся на нас, стало, не вся надежда потеряна». По всей Москве из края в край летела весть: «Старому попу в церкви Всех святых, что на Кулишке, явилась-де сама пресвятая богородица и сказала-де тому попу, как злое поветрие изжить... Теките, православные, в сию мать-церковь, поп врать не станет, обьяснит».

Вся церковь на Кулишке, вся церковная ограда, прилегающие улички и переулки полны народа. Шум, гвалт, как на пожаре. Ничего не разобрать.

И только глубокой ночью людская громада повалила от Всесвятской церкви с крестным ходом к Китай-городу. Из попутных храмов выходили с хоругвями, крестами, иконами новые кучи богомольцев, вливались в общую массу. Толпа росла, над толпой пыль вилась, слышалось громыхающее среди темной ночи нестройное пение стихир. Старый, лысый, но крепкий поп время от времени давал громким голосом поясненье любопытным.

— Два богобоязненных мирянина — гвардейского Семеновского полка солдат, раб божий Бяков, да другой — фабричный, раб божий Илья Афанасьев, оба духовные чада мои, во вчерашней нощи одарены были дивным сновидением...

— Как, оба враз увидали? — удивленно вопрошали маловеры.

— Оба враз, оба враз, братья мои! Вот в этом-то и есть чудо рачения божия о нас, грешных. И явилась им приснодева богородица и рекла: «Тридцать лет прошло, как у моего образа Боголюбской божьей матери, что над Варварскими воротами, никто-де свечей не ставит. За сие, прогневавшись, хотел Христос послать-де на Москву каменный дождь, дабы всю Москву с землей сровнять, но я упросила-де своего сына божия. И замест камениев быть по Москве трехмесячному мору. Молитесь-де тому образу, и испытание сие скоро прейдет».

Как ни глупа была эта басня, народ изумлялся, ахал, вздыхал, с упованием крестился, и во все стороны дерзновенное летело пение: «Пресвятая богородица, спаси на-а-с!»

Хоромы и московская контора графа Ягужинского были еще с августа заколочены. На карауле — старый солдат с ружьем. И Герасиму Степанову волей-неволей пришлось искать убежище на стороне. Ехать на далекий Урал в каторжную обстановку ему не больно-то хотелось, решил пожить в столице, авось скоро откроется контора, он подкрепит свои финансы и тогда уж двинется в путь.

Он нашел приют у своего земляка-псковитянина, старого монаха Иосифа, коротавшего дни свои в одинокой келье, что́ на башне у Варварских ворот. Туда вели ржавая железная дверь и темная каменная лесенка. Келья о двух узких, как щель, оконцах помещалась под самой крышей. Она скорей походила на тюрьму, чем на жилище человека: низенькая, круглая, как барабан, с закоптевшими каменными стенами, маленькой печуркой для сугрева и варки пищи. Одетый в порыжевшую, закапанную воском рясу и вытертую скуфейку, старец Иосиф тощ, высок и ли-

ком благообразен. Он весь в деле: то шил башмаки, то туфли для покойников, то сидел согнувшись над столом, красивым уставным почерком переписывал с копии редкого Софийского списка «Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию в 1468 году», иногда незатейно малевал дешевые, для деревень, иконы.

...Перед утром чрез открытое оконце вместе с прохладным ветерком стали долетать сюда некий шум и отдаленные звуки песнопений. Иосиф проснулся, толкнул в бок Герасима: «Чуешь, чадо, — Москва шумит!» Герасим вскочил, протер глаза. Монах стал подживлять погасавшую возле посребренного образа большую лампаду. Заскрипела внизу, хлопнула с треском железная дверь, кто-то пыхтел и ругался, поднимаясь по лестнице, вот дверь в келью распахнулась, в нее протиснулась боком, подобно копне, Марфуша-пророчица.

— Ишь дрыхнете! — завопила она и швырнула подушку к печурке. — Чу! Народ валит, попы идут, ангелы воспевают... Молитесь богу, все молитесь! Днесь спасение миру бысть... — Она жадно выпила два ковша воды, сорвала с седой головы старую соломенную шляпу с цветами и несколько чепцов и, заохав, повалилась в изнеможении возле печурки на пол. Она, как кочан капусты: на ней «семьдесят семь одежек». Скрытые юбками, на ней висели мешочки с тряпьем, с обглоданными костями, гнилыми огурцами и яблоками, сухарями, протухлой рыбой, пуговками, лентами, железными подковами. Она всю эту дрянь таскала с собой как драгоценность.

Рассветало. На Спасской башне пробило четыре. Монах с Герасимом высунулись из окна. С хлопотливым граем пронеслась осенняя стая галок. Пыльная, местами поросшая бурьяном и кустарником площадь пред Китайской стеной стала заполняться людом. Показался крестный ход, тускло мерцали, покачиваясь над толпою, запрестольные слюдяные фонари. Против Варварских ворот процессия остановилась,

пение смолкло, все головы запрокинулись, многие тысячи глаз с упованием воззрились на большой старинный образ Боголюбской богородицы, прибитый над аркой Варварских ворот. Народ стал усердно креститься, сгибать спины в низких поклонах, некоторые бросались на колени, земно кланялись. «Свечей, свечей! Лестницу давайте!» — слышались голоса. Появились свечи, появилась лестница, ее приставили к арке против иконы, и лысый старик штукатур в черном со сборками кафтане полез с пучком горячих восковых свечей. Вскоре свечи засияли перед образом. Герасим с монахом видели, как со всех сторон подходят в епитрахилях попы, доброхоты тащат аналои, расставляют их поближе к воротам. Рыжий поп гонит седовласого попа с аналоем прочь: «Я первый!.. Мое место!» За седовласого вступаются его прихожане, разгорается торг, шумное препирательство, потасовка. Так и в другом и третьем месте. «Православные, православные, уймитесь! Всем места хватит!» — взмахивая крестами, кричат попы, их больше дюжины. Наконец порядок восстановлен, народ разбился на кучки, каждая кучка у своего аналоя, возле своего попа. Начинают петь одновременно несколько молебнов.

Наступил полдень, уставшие уходили, им на смену являлись новые, толпа росла. Отряд конной полиции с офицером разъезжал вокруг ошалевшей толпы, разгонять толпу боялся. Показалась рота старых солдат-гвардейцев. Они тоже были бессильны, многотысячная толпа на их окрики не обращала ни малейшего внимания. Здоровенные, грязные, в кожаных фартуках, с засученными рукавами кузнецы (на Варварке три больших купеческих кузницы), пробираясь от кучки к кучке и косясь на воинскую команду, негромко внушали молящимся:

— Ребята, надо хоть дубины, что ли, в руки взять, либо каменьев. В случае солдаты нападут, солдат бить.

Всюду раздавалось: «Пресвятая богородица, спаси нас!» Лысый старичок штукатур уже десятый раз карабкался по лестнице к иконе, ставил все новые и новые свечи.

— Православные! Порадейте на всемирную свечу преблагой заступнице, кладите деньги вот в эти сундуки.

Появились два кованных железом огромных сундука. Зазвенели пятаки, гроши, полтины. Молящиеся взапуски друг пред другом изъявляли свою набожность. Подъезжали купеческие семейства на дрогах, на линейках, протискивались вперед, швыряли в сундуки серебряные рублевики, золотые червонцы. В воротах густо толпились молящиеся, не было ни проходу, ни проезду.

Настал вечер, народ не расходился.

В бесчисленной толпе было немало зараженных чумой. В этом диком скопище зараза невозбранно распространялась. До ночи упало около трех десятков человек, некоторые тут же умирали. Появились с крючьями арестанты и каторжные в страшных одеждах, в страшных масках, впереди — арестант с белым флажком в руке, что означало: «Берегись». Народ боязливо поджимался, уступал им дорогу, перебегал поближе к попам, поближе к чудотворной иконе; санитары, зацепив крючьями труп, волокли его к телеге.

Герасим с монахом успели выспаться и, вновь припав к окну, с тоской и болью в сердце наблюдали нелепое, но такое понятное им зрелище.

Наступила вторая ночь.

Черное месиво людей возле ворот опоясано со всех сторон пылающими кострами. Тысячи зажженных свечей в руках молящихся, подобно ивановским червячкам, светятся из ночного мрака. Пред ликом подъятого над воротами образа возжжен целый сноп свечей. Трепетный свет от них падает вниз в толпу, вырывает из тьмы лысые, кудлатые или крытые платочками головы. Всюду разрозненные, отрывистые выкрики, вопли, стоны, звяк медных пятаков, непрестанные всем хором возгласы: «Пресвятая богородица, спаси нас!» И где-то ловили, избивали карманников, где-то истошно вопили: «Караул, грабят!» Откуда-то налетала разгульная песня беспросыпных отчаянных гуляк.

Эту ночь, с 11 на 12 сентября, архиепископ Амвросий не сомкнул глаз. Он понимал всю опасность поповской затеи с чудом и решил утром же разделаться с корыстолюбивыми попами.

А между тем чума стала валить в Москве больше тысячи человек в сутки. Москве грозили голод и неисчислимые бедствия.

Главнокомандующий Москвы, престарелый граф Салтыков, послал Екатерине отчаянное донесение:

«Карантины ныне учреждать нужды не видится, да уже и поздно, из Москвы почти все выехали, да и подлость вся бежит: маркитантов, хлебников, калачников, квасников и всех, кто съестными припасами торгует, уже мало осталось. Мужики в город съестного из деревень не доставляют, не без опасности голоду, зима приходит, дров не везут, народ приуныл и обробел. Болезнь уже так умножилась, что никакого способу не остается оную прекратить. С нуждою можно что купить съестное, работ нет, хлебных магазейнов нет. Генерал-поручик Еропкин старается неусыпно оное зло прекратить, но все труды его тщетны. Кругом меня во всех домах мрут, и я запер свои ворота, сижу один, опасаюсь и себе несчастья. В присутственных местах все дела остановились, приказные служители заражаются. Приемлю смелость просить мне дозволить на сие злое время отлучиться».

Отправив письмо, Салтыков в тот же день бросил Москву на произвол судьбы и уехал в свою подмосковную, в Марфино.

2

Читая в Царском Селе это письмо, Екатерина разгневалась.

— Старый хрыч, —наморщив нос, сказала она и стала золотым карандашиком подчеркивать некоторые, возмутившие ее, строки. «Я запер свои ворота, сижу один, опасаюсь и себе несчастья», — она подчеркнула дважды и, кинув карандашик, воскликнула: — И это кунерсдорфский победитель! На войне

побеждал, на эпидемии в дрейф лег. Как твое мнение, Григорий Григорьич?

Они пили послеобеденный кофе в очаровательном крошечном «голубом кабинете», что рядом с опочивальней. Стены, потолок отделаны молочным и синим зеркальным стеклом с массивными украшениями золоченой бронзы. По стенам бронзовые барельефы в медальонах синего стекла. В глубине комнаты, на возвышении в одну ступень, — широкий турецкий диван, крытый голубоватым штофом, столик и два табурета на синих стеклянных ножках. Эту маленькую комнату Екатерина очень любила и называла ее «табакеркой». На столике — нераспечатанная колода карт и письмо фельдмаршала Салтыкова.

Бывший «сердечный друг Гришенька», ныне просто Григорий Григорьич, болезненно чувствовал охлаждение к нему императрицы. Он не знал, а лишь догадывался, что несравненный его кумир — Екатерина завела себе, так сказать, «тайную любовь на стороне». Он с душевной печалью глядел чрез зеркальное, до самого полу, окно, выходящее в собственный садик Екатерины. Тронутые ранними утренниками дубы, клены и липы медленно роняли свои пожелтевшие или рдяные, как кровь, листья.

— Как боевой герой, он достоин вечной славы, — сказала Екатерина, — а как администратор, он зело устарел. Я перестаю уважать и любить его. А ты как полагаешь?

Весь подтянутый, Орлов быстро повернул напудренное, чуть надменное лицо к царице и весьма почтительным голосом, в котором Екатерина-женщина, однако, почувствовала холодок уязвленного мужского самолюбия, ответил:

— На свете, ваше величество, многое превратно. Вот дуб. — И, не оборачиваясь, он махнул через плечо шелковым платочком в сторону парка. — Пришла осень, дуб теряет листья, наступит зима, дуб оголится, и уже вы взор свой не остановите на нем...

— Ах, ваше сиятельство, оставьте сантименты, я всерьез... Я имею на тебя, Григорий Григорьич, некоторые виды...

— Я рад слушать, ваше величество, — подчеркнуто вежливо, но с намеренной сухостью ответил Орлов.

Екатерина деловитым, уверенным голосом стала сетовать на всяческие беспорядки, царящие в ее империи:

— Подумать страшно... Рабы восстают на господ, фабричные — на владельцев... Даже на Каме появились разбойники. Пятнадцать воровских шаек! А война с турками тянется и тянется...

Она умолкла, понурившись, и в эту минуту, с порога:

— Граф Никита Иваныч Панин! — гортанным голосом прокричал курчавый негр в красном, обшитом золотыми галунами кафтане со срезанными полами.

Располневший, приятно улыбающийся темноглазый граф Панин, которому даровано право являться к царице без доклада, неспешно приблизился к ней, поцеловал протянутую руку, затем жеманно и не так, как раньше, — без тени вынужденного подобострастия, — раскланялся с Орловым.

— Садитесь, Никита Иваныч, — указала Екатерина на место возле себя и, взяв холодной рукой с оттопыренным мизинчиком пуховку, попудрила слегка вспотевший лоб. — Вы как раз кстати... Прочтите, пожалуй, что пишет этот московский старый хрыч...

Панин читал бумагу гримасничая. Полные губы его пробовали сложиться в улыбку, а подведенные брови хмурились.

Пригубив чашку с кофе, она горячо заговорила, пересыпая русскую речь французскими фразами. Она хорошо играла своим голосом, она умела обольстить им слушателя, а иногда привести его в трепет. Теперь голос ее звучал иронически, глаза раздраженно и нервно жмурились; она облизывала пересохшие губы.

— Никакого способу у него не остается прекратить болезнь! Как это вам нравится? Но не от послабления ли тех, коим поручена безопасность Москвы, вкралась болезнь в сей дивный город? Тому уже другой год, как нами повелено поставить пограничные кордоны и карантины по всем дорогам, откуда можно иметь опасение для Москвы. И вот в декабре про-

шлого года оная болезнь, чрез попустительство и ротозейство властей, появилась в Москве. Мы немедля предписали фельдмаршалу Салтыкову все те способы, кои только придумать можно для скорейшего пресечения сего зла. Но оный старый дедушка либо ничего из предписанного отселе, либо гораздо мало, да и то с крайним расслаблением проводил, полагаясь токмо на авось либо на милость всевышнего, но... — тут голос Екатерины зазвучал суровой иронией, — но, быв, по согрешениям нашим, часто милости божией недостойны, мы с благочестивым фельдмаршалом нашим довели Москву до того, что там мрет по тысяче наших подданных в сутки. Наш милый дедушка полагает все новое пустым и бесполезным... Какая рутина!.. Как это глупо... tout cela tient à la barbe de nos ancêtres... [1]

— Но ведь там теперь к сему делу генерал-поручик Еропкин определен вами, всемилостивейшая государыня, — заметил Панин.

— О да... Но сего мало. Граф Григорий Григорьич, пожалуй, собирайтесь ездить в Москву и, прошу вас, без промедления.

Орлов встал, поклонился и снова сел. В его мыслях промелькнул образ его опасного соперника — умного, ловкого Потемкина. Да и впрямь, не он ли, не Потемкин ли, подставляет ему ножку? Пресыщенное богатством и славой сердце его от сухих, официальных слов императрицы сжалось. Граф Панин со злорадным удивлением наблюдал столь разительно изменившиеся отношения императрицы к всесильному Орлову — лютому врагу Никиты Панина.

3

Всякому нужно было теперь о самом себе помышлять. Любивший покушать мясник Хряпов отощал. Озлобленный, он вышел утром из калитки серого деревянного домика на Большой Ордынке (здесь он

[1] Как все это отзывается бородою наших предков *(франц.)*.

нашел приют), снял картуз, усердно покрестился на все стороны и ходко зашагал к Серпуховской заставе, за которой отведено было торжище; туда съезжались из окрестных деревень крестьяне с продуктами. Улица была малолюдна.

Возле Коровьего вала вдруг он увидел троих бегущих в серых больничных халатах. Один из них, чернобородый, щупленький, сбросил мешавший ему длинный халат, сбросил шлепанцы и в одном белье кинулся что есть силы к Москве-реке. Мясник Хряпов от удивления остолбенел.

— Фролов, Фролов! — завопил он, узнав в бегущем ростовского огородника, которого он столько времени тщетно старался разыскать. Но мясника чуть не сшибли запыхавшиеся карантинные сторожа и два будочника с трещотками.

— Лови, хватай! — на бегу кричали они. — Из карантена удрали... Десячь чумовых... Фабричные суконщики... Держи, держи!

Из открытых на гвалт окошек перекликались жители: «Не пожар ли?» — «Нет, должно, голицынский карантен расшибли...» — «Ну?.. Вчерась, толкуют, на Введенских горах в лазарете буча была...» — «Да, начне-ется», — с вещим злорадством в голосе бросил из окна соседу длиннобородый дед.

«Быть бунту, — покрутил головой мясник и пошел вперед. — Вот те и Фролов...»

В четырех верстах за Серпуховской заставой, в чистом поле, торжище подобно большому пожару: длинной цепью костры горели, к небу густо смрад и дым валил. По сю сторону костров тысячи голодных москвичей (фабричных, мастеровых, мещан, «крапивного семени» из приказов) с корзинами, мешками, флягами. По ту сторону костров маячили сквозь дым вздетые кверху, как погорелый лес, оглобли. Всхрапывали выпряженные лошади. На телегах горы печеного хлеба, муки, картошки, капусты, всяких круп. Мужики-торговцы переругивались с покупателями.

— Грабители! Креста на вас нету... Этакую цену драть.

— Вот ужо господам вашим нажалуемся, они вам спины-то вздерут!.. Мы знаем, — вы графьев Черкасовых, —кричал старик купец в очках и в бархатном картузике. — Вот ужо, ужо!

— Ты нас кнутами не стращай, дедка! — отругиваются чрез огонь и дым два молодых крестьянина в лаптях. — Наши спины к этому привышны. Погодь, придет наша пора, всех графьев вот в этакий кострище пошвыряем... Да и тебе, алтынник, несдобровать!

— Эй, вы там! — покрикивает выслужившийся из солдат старый офицер на деревяшке. — Купил и уходи! Купил и уходи, — с воинственным видом култыхает он вдоль огней.

Костры растянулись сажен на двести. На луговине грызутся из-за костей тощие псы. У костров, где торг, расхаживают полицейские и старые солдаты-гвардейцы.

— А-а-а, войско Яицкое! — обрадовался мясник Хряпов, завидя одетого в гвардейский полукафтан казака Федота Кожина с палашом при бедре. — Определился?

— Служу, служу, знакомый, — во всю бороду заулыбался тот. —А ты чего покупаешь, говядины, что ли? Баранины? Тогда шагай, знакомый, эвот в тое место. Только за линию костров боже упаси переходить.

— Эй, борода! — чрез дым позвал Хряпов торговавшего мясом курносого, маленького, с большой бородищей смешного мужика. — Отвесь-ка поскорей заднюю баранью...

Тот взял безмен, прикинул, веселым голосом заговорил:

— Ну и баранинка. Сам бы ел, да барин забранится. Барская!.. Вези, говорит, Силантий, да хорошо продай, не обворуй меня, а то парёху получишь. У нас барин злой, перец ест... Резали его, да не дорезали. Он жив остался, а Петрухе-повару ноздри вырвали да фьють в Сибирь-землю... Нà, получай! — Он поддел баранью ногу на багор, подержал

немного над огнем и, переправив через костер, сбросил в чан с водой.

Подъезжали к торжищу купеческие и казенные дроги, тарантасы. Фабричные и мастеровые — тощие, с ввалившимися, ожесточенными глазами, жадно посматривали, как на эти экипажи грузят картошку, мясо, крупу, поднимали шумный ропот:

— Ишь возами увозят... А нам где взять? Фабрики все опечатаны стоят, заработков нет, жрать нечего... ребятенки голодают... Да что нам, последний крест, что ли, из-под рубахи продавать?

— Ребята! Грабь купцов!.. Расшибай лазареты, там жратвы довольно напасено...

Тут набежали сердитые солдаты, подкултыхал на деревяшке офицер:

— Р-р-разойдись!.. Огонь прикажу открыть...

— Молчи, ваше благородие! А то деревяшку твою оторвем да ею же и устукаем тебя...

— Дураки! Мерзавцы! Я в сраженьях ноги лишился, веру-отечество защищал.

— Бар защищал ты да купчишек-алтынников. Вот кого.

— Скуси патрон! Сыпь на полку порох! Стреляй! — взъярившись и притопнув деревяшкой, крикнул офицер.

Толпа разбежалась.

4

Наступило 15 сентября. Вечер был темный, лишь у Варварских ворот поблескивали, блуждали огоньки.

Герасим Степанов высунулся из оконца своей кельи. На Спасской башне пробило девять. Толпа стала редеть. Хрипели истомленные попы с дьячками, нестройно, устало подвывали богомольцы. Слонялись дурочки, юродивые, вещала под аркой Марфуша-пророчица. Пучеглазый парень в беспоясой рубахе лазил вверх и вниз по лестнице, гасил и зажигал свечи. В набитые доверху сундуки звякали на «мирскую свечу» деньги. Казна окарауливалась неболь-

шим отрядом богомольцев, вооруженных кольями, ножами, гирьками на веревках.

Герасим, прищурившись, с высоты своего оконца вдруг увидел: вынырнув из тьмы, к сундукам быстро подошли семеро бравых солдат-гвардейцев, с ними унтер-офицер и двое консисторских подьячих с сургучом и печатью. Молебны у десяти аналоев, расставленных на приличном расстоянии друг от друга, сразу прекратились; все взоры повернулись к сундукам; стало тихо и тревожно.

Подьячие, приблизясь к страже из богомольцев, твердо сказали:

— Владыкой Амвросием повелено казну в сундуках опечатать, дабы она...

В толпе кто-то заорал: «Бей подьячих!» — и вооруженные чем попало люди оравой бросились к бравым солдатам, смяли их, отняли ружья. Солдаты, едва вырвавшись из рук бунтовщиков, обнажили тесаки, стали защищаться. Опрокинутые подьячие, дрожа от страха и заикаясь, вопили: «Мы повелением владыки Амвросия сие творим, помилуйте!» Завязалась свалка.

В соседней церкви ударили в набат, при рогаточных караулах на улицах — бой трещоток. А следом зазвонили в колокола и в других церквах, и на Спасской башне.

Вскоре страшным сполошным звоном всколыхнулась вся тьма Москвы от края и до края.

Где-то пушка глухо ухнула, либо ударил далекий громовой раскат.

— Братцы, набат, набат... Чу, пушка! — Народ еще больше распалялся. — Зачинай, братцы, зачинай!..

Вмиг сундуки были опрокинуты, толпа, смяв духовенство, повалив аналои, набросилась на деньги, снова закипела отъявленная ругань, дикий крик и кровопролитье.

Образ боголюбской богородицы, пред которым только что проливались слезы, всеми сразу был забыт, он оказался никому не нужным, сотни свечей пред ним, догорая, гасли, жалко падали на дорогу.

Вся площадь громыхала гвалтом, воплями, неистовыми криками: «Караул, караул! Грабят... Бей их, бей начальство, дави толстосумов! Смерть Амвросию! Карантены, карантены! Жги! В Кремль, братцы, в Кремль!»

А сполох во всех церквах гудел, гудел. Всюду будочники непрерывно трещали в трещотки, трубили в рожки. И где-то вдали вспыхнули пожары.

У Герасима свело морозом кожу на спине.

И, словно вешние льды при половодье, по улицам, площадям и переулкам двинулся к Варварским воротам со всей Москвы народ.

Амвросий в мужичьем из сермяги армяке, с закрученными в косу и спрятанными под крестьянскую войлочную шляпу волосами, вышел на Кремлевскую площадь, слабо освещенную редкими масляными фонарями, земно поклонился златоглавым кремлевским соборам, вместе со своим племянником, консисторским канцеляристом сел в простую бричку и чрез Никольские ворота, крадучись, выехал в Донской монастырь.

Навстречу им с палками, топорами, железными клюшками, топоча сапогами по деревянному настилу, непрерывной цепью бежал и поспешно шел сквозь тьму народ, старые и молодые, женщины и ребятишки, задышно кричали на бегу прерывистыми голосами:

— Начальство владычицу грабит... Не дадим богородицу, не дадим! Животы положим за всевышнюю заступницу... Это новый архиерей все, смерть Амвросию!

Подъехавший к Китай-городу с пятью конными гусарами обер-полицмейстер Бахметев увидал десятитысячное скопище людей, толпившихся в крайнем возбуждении по обе стороны стены между Ильинскими и Варварскими воротами.

— Зачем вы здесь? — спросил Бахметев.

— На сполох сбежались... За матушку пресвятую богородицу до последнего издыхания стоять.

Бахметев пожал плечами и поехал с конвоем к генералу Еропкину с докладом. У Воскресенских ворот

он встретил бежавшую толпу. Народ стекался от Охотного ряда, с Моховой, Тверской. Впереди толпы, в синем из китайки балахоне, бородатый мясник Хряпов с дубиной на плече. Не переставая и повторяя одно и то же, он что есть мочи кричал:

— Ребята! Поспешайте постоять за мать пресвятую бороГодицу! — Весь взмокший, он облизывал пересохшие губы, потягивал на бегу из бутылки то ли вино, то ли воду. — Ребята! Поспешайте постоять за мать пресвятую богородицу...

Объятый кромешной тьмой, город был страшен. Но далеко не вся Москва примкнула к бунту. Многие, не зная куда, бежали ради любопытства. А большинство мирных жителей сидело по домам, накрепко заперев ворота. Сполошный набат, беспрерывный звук трещоток. топот, гвалт, ругань бегущих бунтарей, жуткий вой дворовых псов вселяли в сердца мирных людей немалый ужас. Сидящие взаперти не могли понять, что творится на Москве. Одни думали, что турки одержали над нами победу и берут Москву, другие — что фабричный люд разбивает карантины, иные полагали, уж не объявился ли в Кремле каким чудом сам государь Петр Федорович III, о нем давно живет молва среди московского народа...

Бой трещоток продолжался, набатный звон койгде еще гудел, будочники спешно загораживали улицы рогатками: «Нет проходу!.. Назад, назад. Нет проходу!» — но рассерженный народ воинственно опрокидывал преграды, все бежал, бежал, потрясая ночную тьму буйными бессмысленными криками.

И вот хлынула толпа от Варварских ворот в Кремль. Пробегая Спасским мостом, буяны опрокидывали в ров все книжные лари и лавки. Ворвавшись в Кремль, они бросились к Чудову монастырю, вломились в покои архиерея, всюду искали Амвросия, выволокли из-под его кровати за ноги какого-то пожилого сухопарого монаха с золотым наперсным крестом и, приняв его за Амвросия, начали трепать. Келейники и подоспевшие седовласые монахи стали

защищать его: «Православные, это ж не владыко Амвросий! Это евонный брат меньшой, Никон, архимандрит Воскресенского монастыря, на излеченье сюда прибыл...» — «А где Амвросий?» — «Невесть куда скрылся, еще вчера вон выехал...»

Тогда избитого Никона отпустили. От ужаса он лишился речи и через две недели умер. Бросились все ломать и коверкать, разбили кельи, разгромили консисторию, драгоценную библиотеку, вышибли окна, двери, изломали печи, в домовой архиерейской церкви буйные кучки раскольников содрали с престола серебряный оклад, похитили утварь и дорогие сосуды, антиминс разодрали на куски, иконы щепали топорами, из перин выпускали пух и перья.

А внизу тем временем взламывались купеческие винные склады.

Силач-кузнец тяжелым молотом сшибал с прикрякам огромные замки. Приставленные окараууливать склады старые, с седыми косами, солдаты-инвалиды, побросав кремневые ружья, тоже кинулись взламывать тяжелые, обитые железом двери. Им помогали скучавшие по вину монахи.

— Подается, подается!

Вот двери распахнулись, в носы шибанул из складов крепкий, веселящий сердце дух. Пред складом уже успели развести костер из поломанной архиерейской мебели, консисторских бумаг, драгоценных книг, расколотых икон. Из темных складов к огоньку повыкатили бочки с французской водкой, английским пивом, понатащили тысячи бутылок с заморскими винами.

— Чередом, чередом таскай, не бей! — покрикивали караульные солдаты, — прольешь, не выпьешь!

— Знай бей, хватит! На всю Москву у них, сволочей, запасено. А ну, попробуем господского! — Заработали тесаки, бутылкам ссекали, как курицам, головы, забулькало-полилось вино, вспыхнули новые костры, закружились мысли, развязались языки, повеселели ноги, у костров во всех местах разудалая песня грянула, плясы поднялись.

— И-эх, завей горе веревочкой... Гуляй, душа!

Полночная тьма колыхалась от пламени костров. Иван Великий, вознесясь во тьму седым столбом, мерно как бы покачивался; золотая его шапка, вобрав в себя отражение огней, казалось, строила странные гримасы.

Древняя историческая, видавшая многие виды Кремлевская площадь впервые за всю жизнь справляла в дни чумы страшный пир.

Кремль в эти часы был грозен.

Всех полицейских, офицеров и суровых в длиннополых сюртуках старцев, приходящих сюда с уговорами, толпа забрасывала камнями.

Бледный, встревоженный зодчий Баженов всю ночь простоял у окна модельного дома, пытливо вглядываясь в то, что творится перед его изумленными глазами.

К рассвету вся Кремлевская площадь, мощенная белыми плитами, покрытая перьями и пухом, казалась необозримым полем кровавой сечи. Она сплошь была усеяна то ли мертвыми, то ли пьяными телами. Гнусавый храп, предсмертные стоны, дикий бред и одуряющий винный запах густо нависли над площадью.

Весь красный, с подбитым глазом, Хряпов, широко раскинув руки и ноги, лежал вверх бородой возле царь-пушки и богатырски всхрапывал. Около него, сжавшись в комочек, ютился бездыханный, опившийся вином, жалкий горбун подьячий в жалком колпачке.

Не одна тысяча московского всех состояний сброда лежала вповалячку: челядинцы в замызганных кафтанах из мухояра, падкие на дармовое винцо мелкие купчишки, подьячие с козьими бородками и всякая «приказная строка», бабы, подростки, молодые иноки и седовласые брюхатые монахи, разные гулящие непотребные женки, фабричный люд, мастеровые, расстриги-попы и старые солдаты-инвалиды, бывшие в карауле при складах, немалое количество отвратительных нищих, кликуш, калек, юродивых...

В подвальных складах тоже много опившихся и утонувших в выпущенном из бочек вине и пиве.

Кремлевская площадь казалась мертвой. Лишь проснувшиеся голуби и галки, перелетая стайками и взвевая с площади легкий пух, изыскивали, что бы поклевать, да неприхотливые псы, робко повиливая хвостами, шлялись от тела к телу, облизывали заплеванные бороды и пожирали всякую изверженную дрянь.

Вслед за собаками и птицами, когда на Спасской башне отзвонили шесть и наступил рассвет, появились живые люди: полиция, будочники, солдаты, приехали на конях обер-полицмейстер Бахметев с офицером Саблуковым.

К девяти часам утра площадь была очищена от пьяных и проспавшихся.

Смерть за ночь широко прошла над человеческим месивом усердных вчерашних богомольцев: на белых кремлевских плитах осталось больше сотни мертвецов. И не разобрать — опились люди или очумели. Но не все ль равно? — страшные санитары-погонщики в страшных масках всех поволокли крючьями к чумовым страшным фургонам, повезли за город, в общую яму.

Маленький подьячий едет в могилу пышно, по-богатому: его аккуратно положили в фургон на самый верх. Несчастный в жизни, он теперь царит над мертвецами, он придавил собою мертвецов. Скорчившись калачиком, он тихонько лежит, и к жизни и к смерти равнодушный. Лишь полуоткрытый голый рот, подводя всему трагический итог, как бы хочет вымолвить: «Дыра-дело, дыра-дело».

Профессор академий — Римской, Болонской, Флорентийской — зодчий Баженов, распустив по плечам взлохмаченные волосы, опять стоял у своего окна и, наблюдая угрюмую действительность, молча глотал слезы.

По тряской дороге к смертным ямам чумные возы вдруг зашевелились, из возов послышались стоны мнимых мертвецов: «Спасите, спасите».

И снова возбужденная толпа, еще с вечера разгорячившаяся буйством:

— А-а-а, живых хоронят?! Кувыркай возы!.. Бей погонщиков, бей начальство! Выручай народ!..

И без всякого опасенья заразиться набежавшие люди голыми руками стали разбирать возы, вытаскивать из кучи мертвецов воскресших винопивцев и ярыжек.

5

Едва очистилась площадь от трупов, Кремль снова, и очень быстро, стал заполняться сбродом. Многие бросились в подвалы допивать вино. А большое скопище бунтарей, узнав, что Амвросий скрывается в Донском монастыре, живо сговорилось и побежало туда ловить его.

От генерал-поручика Еропкина примчался в монастырь офицер. Он предложил Амвросию скорей переодеться и немедля ехать вместе с ним на Хорошево, за город.

— Моя кибитка ожидает вас в конце сада князя Трубецкого. Поспешайте, владыко! Сюда бежит народ.

Действительно, разбив по пути несколько карантинов, мятежная толпа с шумом, гамом, ружейными выстрелами буйно подтекла к Донскому монастырю.

Архиерей еще не успел сесть в кибитку, как монастырские стены были атакованы народом. «Отпирай, отпирай!» — и ворота затрещали.

Окруженный старыми монахами, смятенный архиерей поспешно вошел в собор, поднялся на хоры, схоронился за иконостасом. Но ворвавшаяся толпа нашла его, выволокла во двор, к колокольне. Потрясенный, бледный, но не потерявший мужества, Амвросий твердо вопросил:

— Что вы, безумные, надо мною злоумышляете? Не я ли пекся о спасении вашем, не я ли хотел укротить попов, обманувших вас измышленным ими богомерзким чудом?

Толпа не слушала. Подстрекаемая целовальником Дмитриевым, толпа орала:

— Молчи, молчи, антихрист! Не ты ли послал грабить богородицу? Не ты ли воспретил хоронить покойников у церквей? Не ты ли присудил забирать нас в карантины?

— Бей супротивника народного! Бей богоотступника!

И толпа в семь кольев принялась избивать архиерея. Он рухнул на землю. Толпа остановилась. Но вот «присмотря, что правая рука отмашкою двигнулася, с чего принялися паки бить кольями по голове. Какой-то штрафной поп последним довершил ударом, оторвав несколько от главы, коя часть над глазом и осталася висящею».

Страсти в Москве не угомонились. Побросав свои жилища, многие отчаянные непроспавшиеся головы стягивались в кучки, всюду открыто слышались разжигающие выкрики — идти в Кремль, похозяйничать в соборах, разбить на Красной площади гостиный двор, пощупать купечество, разграбить и пожечь дворянские палаты, уничтожить карантины.

В иных местах бородатые неведомые люди кричали в подгулявшую толпу, словно швыряли в солому горящие головешки:

— Пропадает, пропадает, мирянушки, Русь крещеная! То войну с неверными господь попустил, то поветрие моровое. А пошто так? А по то, что немка нами правит, мирянушки! Куда она дела супруга своего государя нашего Петра Федорыча? А?

— В народе, коло нас бродит государь! — уверенно отвечают голоса из плотно сбитой, взбудораженной толпы.

— Ничего не в народе, — сморкаясь в красный платок, громко говорит седобородый представительный старообрядец в картузе со светлым козырем. — За границу его величество утек, к тальянцам. У папы римского в сокрытии живет.

— Р-р-ра-зойдись! — обнажая тупые тесаки, угрожающе орут подоспевшие жалкие видом старики

солдаты под водительством бомбардира Павла Носова.

Подгулявшая толпа встречает их дружелюбным хохотом. По толпе уже гуляют из рук в руки два штофа зелена-вина.

— Эй, деды-воины! А ну, выпьем за здравие государя Петра Федорыча. Ур-ра!

В эти разгульные дни подобных толп было в Москве много. Они состояли главным образом из барской дворни, брошенной бежавшими господами, да из фабричных работников с примесью «крапивного семени», ремесленников и мелких торговцев. О чем бы ни судачили эти толпы, о чем бы ни спорили, — разговоры о недовольстве Екатериной-немкой, разговоры о нетерпеливом ожидании скорого пришествия Петра III стихийно возникали всюду.

Генерал-поручик Еропкин отлично понимал, что спасение Москвы — в военной силе. Весь этот день он с большим трудом, «кусочками», «собирал команду, кой-как к вечеру сколотил отряд в сто двадцать человек и добыл две неважные пущонки». С этой горсточкой людей около шести часов вечера он двинулся от Остоженки к Кремлю.

На разношерстный, распаленный событиями сброд, заполнивший Красную площадь, появление отряда не произвело никакого впечатления. А при входе чрез Боровицкие ворота в Кремль отряд был встречен дубьем, ожесточенными криками.

Солдаты зарядили пушки, ружья, стали запирать ворота в Кремль.

После ружейного залпа и штыковой атаки многие трусливо побежали из Кремля, иных стали ловить, вязать, сажать в подвал.

На Красной площади шум не унимался, народ прибывал. Яицкий казак, бородатый и косоглазый Федот Кожин, сбежал со своей полицейской службы, подзуживал вооруженную кольями толпу:

— Дуй, братцы, напролом в Кремль! Нас сила, мы солдатишек, как курей, затопчем. Я вольный

казак войска Яицкого. Вперед, братцы! — свирепо косил он глазом и потрясал ржавым тесаком.

Шумел против Спасских ворот и мясник Хряпов. Подбитый глаз его завязан красной тряпицей, за эти неспокойные дни он заметно похудел, нос заострился, давно не чесанная борода свалялась в мочалку.

Из Спасских ворот выехал на рыжем рослом коне генерал-поручик Еропкин. Он бесстрашно врезался в толпу, всячески стал успокаивать народ:

— Полно-ка, полно, друзья мои. Опомнитесь да подумайте, что это вы затеяли...

В этот миг больно перепоясала Еропкина по сутулой спине увесистая дубина, полетели камнищи, кирпичи.

— Убивай, ежова голова, начальство! — орал подоспевший со своей оравой яицкий казак. — Вали напролом в ворота! Вперед, вперед, старатели!

— Братцы! — что есть силы горланил и Хряпов, размахивая железной палкой. — Постоим за себя!.. Не робей!..

Раненый Еропкин, грозя нагайкой и визгливо вскрикивая: «Стрелять прикажу!.. Будет вам, дуракам, жарко», — ускакал в Кремль.

Живо были подкачены в Кремле к Спасским воротам две пушки, и, когда народ ворвался в ворота, был дан выстрел картечью, а затем — ядром. Сраженные и насмерть перепуганные мятежники грудой повалились друг на друга. Оставшиеся в живых, придя в память, повыскакивали на Красную площадь. Вслед за ними выкачены на площадь и обе пушки. Офицеры Саблуков и Волоцкий дали по удиравшим еще два выстрела картечью и несколько залпов из ружей. Красная площадь опустела. Убито около сотни, схвачено двести сорок девять человек. Между пойманными множество подьячих и приказной мелкоты изо всех коллегий; были мясники с Охотного, крепостные крестьяне, бородатые раскольники и кабацкие ярыжки.

Попался и мясник Хряпов, раненный картечью в ногу.

Уведомленный о беспорядках фельдмаршал Салтыков 17 сентября утром въехал на шестерне каурых в первопрестольную столицу. Увешанный ладанками с камфарой и то и дело опрыскивая себя противочумными снадобьями, маленький, седенький, простенький, он сидел в обширной закрытой карете, как в большом сундуке суслик, и брюзгливо бормотал себе под нос проклятия подлым взбунтовавшимся людишкам. За спиной кучера и позади кареты — две жаровни с пылающими углями и раскаленными камнями; два казачка бросали в жаровни благовонный порошок и плескали уксус «четырех разбойников». От мчавшейся кареты с форейтором на передней лошади валили двумя хвостами дым и пар. За экипажем, поддергивая порточки, бежали босоногие мальчуганы, кричали:

— Глянь, глянь, пожар!.. Барина опаливают в карете!

Вскоре вступил в Москву и Великолуцкий, в триста пятьдесят штыков, полк.

Мятеж утих в Москве, но искры его перекинулись в подмосковные поместья, деревни, экономические и дворцовые вотчины.

В окрестных селах появились бунтари, нарядившиеся в военные мундиры. Ложными указами, якобы от губернской канцелярии, они стали сеять смуту. Это были дворовые люди, покинутые проживавшими в Москве господами, или потерявшие службу канцеляристы и подьячие, или обозленные на жизнь фабричные. Они действовали в разных местах складно, как по-уговору, — сзывали крестьян, отбирали подписки от попов и старост, говорили: «Коль скоро услышите в Москве набат либо пальбу из пушек, тотчас поспешайте в город с дубьем, рогатинами, топорами. В Москве крамола. Амвросий-изменник убит. Еропкин убит. Фельдмаршал Салтыков под караулом. Все они супротивники государыни. Из Петербурга указ получен: дворянские дома разрушать, всю рухлядь из оных палат делить промеж бедноты».

В разных деревнях и селах пятеро бунтарей было схвачено помещичьими пикетчиками, попался и яицкий казак Федот Кожин.

Стало холодеть. Чума приметным образом пошла на убыль. За всю эпидемию умерло в Москве более ста тысяч человек. Да немало было жертв и в двухстах заразившихся деревнях Московского уезда. На борьбу с чумой по одной только Москве была без толку затрачена правительством огромная сумма в четыреста тысяч рублей.

В конце сентября прибыл с большой свитой и воинскими частями граф Григорий Орлов. На месте убийства Амвросия были казнены виселицей уличенные в злодеянии — целовальник из московских купцов Иван Дмитриев и полковника Александра Раевского дворовый человек Василий Андреев. Изрядное число людей было наказано кнутами. Многие отсиживались в остроге, среди них — бывший придворный мясник Хряпов и казак Яицкого войска Федот Кожин.

ГЛАВА VII

Воинский отпор. Не пилось, не елось

1

Пока наши депутаты мытарились по Питеру в поисках правды, в Яицком городке произошли чрезвычайные события. Подоспел вторичный ордер оренбургского губернатора Рейнсдорпа на немедленную отправку команды в Кизляр для ловли калмыков.

Генерал Давыдов получил новое назначение, на его место прибыл из Оренбурга генерал-майор фон Траубенберг.

Человек решительный, самовластный, грубый и озлобленный действиями непослушных казаков, генерал Траубенберг настойчиво потребовал немедленной отсылки команды в Кизляр. Но сотники и казаки непослушной стороны в круг не пришли, да, в сущности,

и являться в круг было некому: почти все непослушные, боясь преследований, разбрелись по хуторам и займищам или жили в домах под укрывательством.

В январе 1772 года депутация, во главе с Кирпичниковым, возвратилась из Петербурга в Яицкий городок.

В тот же день сотник Кирпичников передал капитану Дурново запечатанное письмо графа Орлова. Прочтя письмо, Дурново сказал:

— Войско целый год поджидало вашего возвращения из Петербурга и до сего времени не отправило команду в Кизляр. Поэтому растолкуйте войску, что команду должно отправить немедля.

— А мне какое дело? — заносчиво возразил Кирпичников. — Как войско умыслит, так и поступит.

К вечеру, в доме отставного казака Толкачева, сотник Кирпичников отдавал отчет казакам. Весь дом был окружен большой толпой. Среди толпы слонялись и казаки старшинской стороны, но их брали за шиворот, выталкивали вон. Кирпичников вышел к народу и сказал:

— На челобитные наши, не единожды подаваемые самой императрице, резолюции не последовало.

— Что ж делать нам? — уныло раздались голоса.

— Не ведаю, — развел руками Кирпичников и, оглядевшись по сторонам, как бы опасаясь чужих ушей, заговорил не громко, но отчетливо: — А пакостит нам во всем граф Чернышев. Он многих наших выловил, кого плетьми драл бесчеловечно, кого в Петропавловскую крепость бросил, аки сущих злодеев и разбойников. Нам, братья казаки, самим за себя стоять надо, вот что. — Кирпичников поднял руку и потряс ею в воздухе. — Самим за себя, говорю! А то граф Чернышев всех изведет и с приплодом нашим, вот что. Он без ведома государыни генерала Траубенберга сюда прислал, чтоб доконать нас.

Глаза казаков загорелись, голоса окрепли. Потирая на морозе уши, казаки кричали:

— Говори, сотник, что нам делать?.. Мы от правды не трекнемся. Сказывай!

— Сейчас давайте спосылаем к капитану Дурново

выборных, и пусть наши выборные просят его немедля отрешить старшин, как сказано в указе. Сколько давать сроку? — спросил Кирпичников.

— День... Два дня... Мало!..

— Ежели на третий день по посылке старшин не отрешат, — угрожающе заговорил Кирпичников, — ежели положенного штрафа с них не взыщут и войску жалованье за пять лет не уплатят, тогда, братья казаки, мы поступим воинским отпором! — выкрикнул он, встряхнув высоко поднятыми кулаками.

— Верно! Воинским отпором... Чего терпеть!.. — по-боевому откликнулась толпа.

На другой день в избу сотника вошли три казака старшинской стороны.

— Генерал-майор Траубенберг приказал спросить, имеется ли у тебя указ, по которому ты мутишь народ?

— Указа нет, — сдвинув брови, сурово ответил Кирпичников.

— Думаешь ли ты круг собирать?

— Я не атаман.

— Хоть и не атаман, да войско слушается тебя больше, чем атамана.

— Уходите! — крикнул на них Кирпичников. — Да не шляйтесь ко мне, я иду в баню... Баба, собери белье!

Удивленный таким поведением Кирпичникова, генерал пожал плечами и нервно поскреб плохо выбритую щеку.

— Ну, я ж его, бунтаря, проучу.

Бывшему в войсковой канцелярии старшине Окутину он сказал:

— Будь друг, сходи, пожалуй, к Кирпичникову, прикажи ему от моего имени, чтоб немедля шел сюда. Атаман, старшины и послушная сторона желают услыхать от него, что воспоследовало по челобитью их в Санкт-Петербурге. Мы соберем круг.

Как только Окутин стал стучаться к Кирпичникову, тот выскочил из избы, дал старшине по шее и с бранью столкнул его с крыльца.

— А-а-а... Ты старшину бить?! — заорал тот. — Ведь я — полковник!..

Кирпичников затрясся и выхватил из ножен саблю.

— Уходи, покуда я из тебя двух полковников не сделал!.. Казаки, гоните его, собаку, со двора!..

Траубенберг, выслушав побитого Окутина, вспылил. В его груди закипело. Он прикидывал в уме собственные карты и карты своего упорного противника. Игра начинала становиться рискованной, — он сильно побаивался навлечь на себя недовольство при дворе, ему хотелось поэтому всеми силами без шума умиротворить непослушную сторону казаков. Он послал к Кирпичникову депутацию из тридцати казаков с дьяком во главе и с тем же старшиной Окутиным, — пусть они как можно резоннее втолкуют Кирпичникову, что так своевольничать нельзя, и пусть тихо-смирно приведут его в войсковую канцелярию.

Отряд спокойно, не борзясь, вошел во двор сотника Кирпичникова. Казаки легонько постучали в дверь. Ответа не было. Они постучали покрепче. Из сенец хозяйка закричала:

— Нет самого! Ушел.

— В баню, что ли? — Казаки осмотрели баню, — пусто. Осмотрели сеновал и хлев, — пусто. Опять стали стучать в дверь, стали ломиться и кричать: — Открой! По приказу его превосходительства.

На крик и грохот начали выбегать соседи, останавливаться прохожие. Быстро собралась буйная толпа казаков непослушной стороны.

— Наших бьют! — кричали они. — Хватай старшинских приспешников! Имай под свой караул!

Загорелось побоище. Казаки вязали друг друга, таскали пленных всяк в свою сторону. Трое бородатых казаков были схвачены старшинской стороной и на арканах уведены в войсковую канцелярию. Генерал Траубенберг приказал выдрать их на площади плетьми и посадить под караул.

Оскорбленная этим непослушная сторона воинственно приняла вызов Траубенберга. В казачью кровь вломился дух стойкого сопротивления.

По Толкачевой (она же — Кабанкина) улице, выходившей окнами на берег Яика, стали со всего города стекаться непослушной стороны казаки. На берегу запылали для сугрева огнистые костры.

Огромное скопище непослушных расставило по улицам собственные пикеты с приказом всех выходящих из своих домов казаков старшинской стороны ловить и сажать под караул. А сотники из бедняцких семей разослали повестки, чтоб все непослушные — как городские, так и живущие по хуторам и форпостам, и стар и млад, — тем же часом собрались на совещание в Толкачеву улицу.

И вскоре со всех сторон начали стекаться непослушные кто верхом, кто в санях, кто пеший.

Вся Толкачева и прилежащие к ней улицы, соседние дворы и избы наполнились народом. Зажигались новые костры, похрапывали лошади, слышалось гиканье, задорные разговоры, крик. В толпе много воинственных казачек-женщин. То боевым выкриком, то насмешливым, ядреным, под хохот толпы, словом они наддавали пылу, подогревали настроение.

Оставшимся в своих домах казакам старшинской стороны стало страшно. Им ежеминутно угрожали насилия от казацкой бедноты. Спасая себя, они под прикрытием морозных сумерек по одному, по два прокрадывались к войсковой канцелярии под защиту пушек. Туда же невесть с чего потащились в ночную пору подозрительные возы с сеном, с соломой, с барахлом.

— Стой! — закричали возле церкви пикетчики и засмеялись, окружив ползущий мимо них воз сена, из которого торчали ноги.

Баба испуганно стегнула лошаденку.

— Стой, кума, стой! — И молодой губастый казак Ермилка, уцепившись ручищами за торчавшие бахилы, выволок из сена икряного широкоплечего бородача.

— Здорово, Акинфиев! Куда собрался? — с хохотом загалдели пикетчики.

— А ну-ка, братцы, у кого пика повострей? Надо воз прощупать, авось еще рыбину проткнем... Ха-ха! — по-озорному громко закричал веселый Ермилка и выхватил пику у соседа.

— Погодь, толсторожий! — заплакав, что есть силы заорала тетка. — Там еще хозяин мой...

Вдруг весь воз вздрогнул и снизу доверху зашевелился, из сена вылезли еще четыре бородача с короткими винтовками. Посапывая и пыхтя, они конфузливо сдернули с голов шапки. Старик сказал пикетчикам:

— Не трожьте нас, ребята. Не делайте нам бесчестья...

— И не совестно вашим харям-то, казаки? — обрушились на них пикетчики. — Богатых защищать лезете да администрацию набеглую?.. А сами-то вы кто? Голытьба ведь...

— Точно, голытьба, — глядя в землю, забурчали пойманные. — Мы в долгах ходим у богатеев да у старшин... Вот и опасаемся перечить-то...

— Айда, приклоняйтесь в непослушную. А нет — шубы перешивать учнем вам, пыль полетит, — потряс губастый Ермилка нагайкой.

Баба по-злому заголосила, заругалась:

— Ах вы черти, черти. Опять кроволитья захотели?.. Видно, дожидаетесь, чтоб батюшко Исус Христос опять заплакал!

— Как заплакал? — разинули рты казаки и посунулись к Матрене.

— Как, как, — огрызнулась она, отирая горстью слезы. — Неужто не слыхали, — у Анны Глуховой спасов образ плакал горькими, когда проклятый генерал Черепов расстреливал вас, дураков бородатых, возле круга-то?..

Казаки переглянулись и закрутили головами.

С высоты пустынных небес глядел холодным глазом месяц. Каленый мороз крепчал. Раздираемые морозом, потрескивали бревна в избах. Казачьи бороды, мохнатые лошаденки, оголенные ветви деревьев в садах и огородах запушнели инеем. Мороз, словно

клещами, щипал носы, уши, жег щеки, леденил кровь, прохватывал зябким холодом насквозь. Но возбужденное казачество всю ночь не расходилось. Число костров умножилось.

2

Зацветало над Яиком памятное утро 13 января 1772 года. Народ на Толкачевой все прибывал и прибывал. Отставные и служилые казаки, конные и пешие, малолетки, подростки, жены, матери, кто вооружен ружьем, кто саблей, кто пикой, а то и просто палкой, — все это человеческое скопище шумело, волновалось; ребятишки затеяли игру; собаки носились взад-вперед, весело полаивали. Что делать, на что решиться — казаки не знали. «Мы правды ищем, своих правов добиваемся, а не кроволитья...»

— Ох, будет, будет кроволитье... — прорицали старухи.

— Глянь, пушки расставляют! — заголосили мальчишки и живо стали взбираться на деревья. Собачонки, крутя хвостами и задрав вверх морды, игриво облаивали их, как белок.

Действительно, на пригорках вблизи войсковой избы расставлялись по приказу генерала пушки с таким расчетом, чтоб они могли «анфилировать» улицы. За пушками строилась регулярная команда Алексеевского пехотного полка, сто пятьдесят человек старых солдат.

— Изничтожить хотят нас, — подавленно толковали между собою казаки.

Слухи о плачущем образе спасителя все крепли. А вот и сама Анна Глухова, крупная, колченогая, средних лет казачка. Окруженная толпой, она шла с базара, несла за ноги окостенелого на морозе зайца-беляка.

— ...а другорядь он, батюшка, плакал, когда из войска требованы были казаки в легион... Теперича такожде плачет, это уже в третий раз... Ох, быть беде, быть беде, — печалилась казачка Анна, крутя головой и горестно причмокивая.

— Верно, тетка! — закричал народ и большой толпой повалил в дом Анны Глуховой.

Церковный староста, благословясь, снял с божницы образ, всмотрелся в изображенный лик Христа, слез текущих не заметил, но все же усмотрел, что от глаз шли высохшие ручейки, как бы намазанные маслом. Еще завернули к старухе Бирюковой за образом богородицы.

Когда на Толкачевой улице заметили подходившую процессию с иконами, а в Кирсановской и Петропавловской церквах затрезвонили во все колокола, несметное скопище бросилось к иконам, мгновенно обнажило головы, и, как один, все упали на колени. И в тысячу уст истово завопили:

— Господи, Сусе Христе!.. Заступись, помилуй! Постой за дело правое. Боже, боже наш... Погибаем!

Пока проносили иконы в церковь, все непокорное воинство, весь народ лежал, уткнувшись лбами в землю, у всех горячие слезы текли в холодный снег.

— Спаси, спаси нас, владыко господи...

В это время генерал Траубенберг заряжал картечью пушки, а еще вчера посланный им гонец скакал к Оренбургу с донесением о восстании казаков и с просьбой выслать немедленную помощь.

Народная громада повалила с Толкачевой улицы вслед за иконами и, пройдя версту, остановилась возле Петропавловской церкви. Пока в храме пели молебен, пока непокорными казаками испрашивалось божие благословение пред началом решительных против врагов действий, священник Васильев, у которого лежало сердце к бедноте, заметив среди толпы высокого сутулого казака Максима Шигаева[1], сказал ему:

— Пойдем, друже, к гвардии капитану Дурново, укланяем его как-нибудь.

Придя в войсковую канцелярию, Шигаев упал Дурново в ноги.

---

[1] Впоследствии ближайшего сподвижника Е. И. Пугачева.

— Войско просит тебя, исполни, батюшка, все по указу пресветлой государыни.

— Пусть войско разойдется по домам, — ответил Дурново, — тогда дней чрез десять я все дела разберу.

— Войско просит сделать эту милость сегодня... Сядьте, батюшка Сергей Дмитрич, на коня да объявите войску...

— Нет, благодарствую, — с надменной усмешкой ответил Дурново. — Может, вы меня ухлопать хотите? Нет, ведь я велик у государыни-то. — И столичный щеголь Дурново гневно ушел в другую горницу.

Протискиваясь сквозь людскую гущу в храм, взлохмаченный священник и сутулый Максим Шигаев бросали в толпу:

— Помолимся, братья казаки, да присяга будет вам, чтоб друг за друга без обмана стоять, без хитрости... Начальство мольбам нашим, увы, не вняло.

После присяги и краткого молебствия казаки подняли три образа и, разделившись на два отряда, двинулись по Большой и Ульяновской улицам прямо к войсковой избе. Лица у всех угрюмы, в сердцах уныние: люди не знали, что сейчас ожидает их. Бабы громко вздыхали.

Впереди по белому снегу чернели на пригорках пушки, возле них — пушкари и регулярная команда. А сзади, на плацу, приведенные в боевую готовность двести пятьдесят человек казаков послушной стороны. Чуть поодаль — гневный генерал-майор. Он не торопясь, но воинственно расхаживает пред кучкой старшин с атаманом, что-то невнятно бормочет, косясь то на бравого капитана Дурново, стоявшего на пригорке с армейским офицером, то на медленно приближавшееся к нему скопище восставших.

Толпа неспешно шла в озлобленном молчании. Максим Григорьевич Шигаев, сообразив, что сейчас могут грянуть пушки, вдруг повернул коня к народу грудью и приподнялся на стременах.

— Стой, громада! (Взволнованная толпа, задерживая шаг, лениво приостановилась.) Потерпи, войско казачье, малость. Дай срок — я прихвачу старич-

ков с иконами да еще раз схожу перемолвиться с Сергеем Митричем Дурново... Авось он смилосердуется, рассудит нас со старшинами-то.

Громада согласилась. Шигаев соскочил с коня и с тремя стариками, несущими иконы, бесстрашно двинулся посреди улицы прямо на пушки.

Но толпу — точно шилом в бок: наиболее горячие и прыткие, вперемежку с любопытствующими мальчишками, стали прокрадываться вслед за Шигаевым, держась возле стен улицы. Первым бросился черный, как грек, Зарубин-Чика[1] с обнаженной саблей.

— Куда вы, лешие, стой! — кричал им встревоженный народ. — Пущай одни деды с Шигаевым...

Шигаев с чинно несущими иконы стариками едва достигли колокольни, как по знаку Траубенберга ударила пушка, за ней другая, третья...

Народ ахнул, подскочил, будто смертоносный вихрь ожег толпу. Вдруг раздались разъяренные вопли, и толпа сплошной лавой хлынула к врагу. В трех церквах резко забили набат, затрещали ружейные выстрелы, пронзительно завыли женщины, бросаясь в переулки, ломясь во дворы. Заполнив всю улицу взорвавшимся гамом, криком, визгом, осатаневшие казаки неслись вперед, вперед, на черные жерла медных пушек.

— Бей, кроши! — рвались, визжали тысячи бегущих голосов. Пушки мигом взяты приступом, часть пушкарей зарублена. — Повертывай послушным в рожу!.. Засыпай картечь!.. Фитиль, фитиль! — И раз за разом, оглушая окрестность, пушки уже стегают свинцовым градом помчавшихся кто куда послушных казаков и смятую команду старых солдат в седых косичках.

Раненный пулей в руку генерал Траубенберг, стреляя из пистолета, под натиском толпы стал с кучкой солдат быстро отступать к избе сотника Семена Тамбовцева.

---

[1] В дальнейшем тоже один из ближайших сподвижников Е. И. Пугачева.

— Бери главного медведя! — крикнул черномазый Зарубин-Чика. — Рубай, рубай! — хрипло завыл он, сверкая саблей.

Генерал Траубенберг, побелев, волчьим скоком взбежал на крыльцо, чтоб скрыться в избу. Но ловкий Чика упругим и резким взмахом сабли сразу свалил генерала с ног. С гиком налетели казаки, генерал был изрублен.

Возле батареи толпа человек в сорок наседала на капитана Дурново. Сабельными ударами разрубили руку, повредили голову, пикой сшибли с ног, стали бить дубьем, топтать.

— Что вы, проклятые! — закричал подбежавший Максим Григорьевич Шигаев; надвое расчесанная темно-русая борода его моталась. — Кого бьете? Государыня всех вас за него перевешает...

Казаки отрезвели, поволокли Дурново за ноги в тюрьму, бросили в холодный каземат и двери заперли.

Войсковой атаман Петр Тамбовцев и несколько старшин были заколоты. Ненавистный Мартемьян Бородин успел где-то схорониться.

По городу шел грабеж: жилища генерала, старшин, атамана и зажиточных казаков подвергались расхищению. Закоченевший на морозе труп Тамбовцева был обезглавлен. Посаженная на пику голова его высоко торчала возле войсковой избы. Мальчишки швыряли в голову снежками.

— Волоки кровопивцев в степь, пускай их в степи зверье сожрет!.. — слышались выкрики.

Пред вечером ударили сполох: набатный колокол, сзывая всех в войсковой круг, звучал теперь как-то по-особому уныло, страшно. Казаки толковали:

— Это бог пособил нам победить супротивников-то пресветлой государыни: мы казенный интерес соблюли и волю себе отвоевали... Государыня делом довольна будет.

Собрание было страстное. Многие казаки подвыпили. Избрали себе новых старшин, постановили предать ссоры забвению, жить спокойно, а главных врагов войска умертвить.

Постановление было исполнено немедленно: кой-кто из старшин и их дружков, дьяк Суетин и войсковой писарь Июгунов были убиты. Трупы их брошены в реки Чаган и Яик.

3

Чувство мести удовлетворено, земля Яицкого городка полита кровью, страсти еще не остыли, и многотрудное лихолетье для непослушных казаков не прекращалось.

Прошел слух, что из Оренбурга двинуто войско карать казаков. Люди в Яицком городке стали тужить, печалиться. И снова, как прежде, написали челобитную Екатерине, где обвиняли во всем генерала Траубенберга и войскового атамана Петра Тамбовцева, которые, «расставя по улицам пушки и зарядя их ядрами и картечами, начали по нас, нижайших, стрелять и побили насмерть более ста человек и многих переранили». В Питер была отправлена с этой челобитной депутация.

Екатерина, известившись о казачьих беспорядках, приказала послать из Москвы генерал-майора Фреймана с гренадерской ротой для наведения на Яике порядков силою оружия.

Меж тем миновала зима, отшумели воды Яика, приближалось лето. И вместе с наступавшим летом повел свое наступление на казачью жизнь генерал Фрейман. Выйдя с войсками из Оренбурга, он в середине мая был уже в крепости Рассыпной, и вскоре в Яицком городке стало ведомо, что Фрейман «речку Киндель перелазит».

Казаки чувствовали, чем пахнет поход Фреймана, казаки решили в руки ему не даваться и открыть против него военные действия. Круг постановил: просить помощи киргизского Нур-Али-хана, приказать форпостам доставить в Яицкую крепость половинное количество пороху и половинное число казаков.

Началась быстрая мобилизация, началась война.

К генералу Фрейману выехала депутация казаков под начальством есаула Афанасия Петровича

Перфильева (впоследствии главного и до конца верного соратника Пугачева). Фрейман ответил депутатам, что идет он на Яицкий городок с требованием выдать всех зачинщиков кровавого возмущения.

— Зачинщиков у нас нет, — сказал Перфильев. — Мы все повинны пред милостивой государыней.

— У нас имеются списки, — возразил Фрейман.

— Списки ваши неверные, — мужественно проговорил Перфильев. — А войско поручило сказать вам, что главные нарушители нашего покоя были атаманы Мартемьян Бородин да Тамбовцев со старшинами.

— Врешь, есаул... Вас к возмущенью подстрекали.

— Нет, ваше превосходительство. Имея каждый обиду, мы все сами собой, а не по возмущению чьему...

— Выдайте по списку сорок человек, остальным я никакого вреда не сделаю.

На некрасивом, суровом лице есаула Афанасия Перфильева забурели старые следы оспы. Кланяясь генералу Фрейману и глядя на него исподлобья злыми глазами, он сказал:

— Мы послали всемилостивейшей государыне челобитную... Вот дожидаемся указа. А вас нижайше просим, ваше превосходительство, границ Яицкого войска не переходить.

— Я действую по силе данного мне оренбургским губернатором Рейнсдорпом приказа. Поезжайте домой и постарайтесь привести казаков к повиновению. Даю вам сроку три дня.

Подобный ответ Фреймана, привезенный Перфильевым в военный лагерь на реке Ембулатовке, казакам не понравился. Казачий круг под напором старшин воинственно постановил: «Ежели Фрейман подойдет к реке Ембулатовке, вступить с ним в бой».

В продолжение пяти дней происходили неудачные для казаков стычки.

Восьмого июня генерал Фрейман вошел победителем в Яицкий городок и в нем укрепился.

Первая партия арестованных в восемьдесят шесть человек была отправлена в Оренбург, где уже работала следственная комиссия.

Из Петербурга пришло «высочайшее» повеление, пришла для свободолюбивых казаков великая беда, — Екатерина наносила решительный удар их старинным обычаям и вольности.

Как ответ на кровавый мятеж казаков, Екатериною повелевалось: в Яицком городке учредить должность коменданта с гарнизоном; должность атамана, войсковой круг и войсковую канцелярию упразднить; бить в набат навсегда воспретить, всех казаков разделить на полки с подчинением их оренбургскому войсковому начальству.

— В Персию надо втикать либо в Хиву, — узнав о «высочайшей милости», с отчаяньем говорил народ. — Пропало войско Яицкое!

Комендантом городка назначен полковник Симонов, а его помощником — бывший старшина Мартемьян Бородин.

Яицкий городок сильно опустел. Из четырех тысяч домишек и домов многие были заколочены: население частью разбрелось по степи и дальним хуторам, многие, — в том числе есаул Афанасий Перфильев и Зарубин-Чика, — бежали в укромные места, многие были схвачены, закованы в железы и направлены как преступники в Оренбург. Все остроги губернского города, тюремные избы, гауптвахты уже набиты до отказа арестованными. Стали вселять их в лавки гостиного и менового дворов, в дровяные амбары, в холодные и сырые подвальные помещения купеческих домов.

В оренбургских застенках начались допросы с пристрастием и великие пытки, кровь потекла.

А в Яицком городке жизнь становилась час от часу тягостней, печальней. Над оставшимся населением навис, будто каменная туча, страх ареста по оговору пытаемых в Оренбурге товарищей. Люди извелись, не пилось, не елось, смолкла живая речь, нигде не прозвучит смешинка, не всплеснется бодрый девичий голос, люди с ввалившимися глазами бродили, как тени, люди до утра боялись ложиться спать, шептались всю ночь в своих избах робким шепотом, то и дело подбегали к окну, чутко вслушиваясь в тьму ночи, не проскрипят ли под окнами шаги комендант-

ских солдат, не ударит ли в калитку приклад ружья: «Отпирай! Именем закона...»

И вот в такое-то мрачное время, когда смерть кажется всякому милее жизни, вдруг в Яицком городке тайно прозвучала весть, что где-то на Волге, будто бы в Царицыне, в том самом Московском легионе, от службы в котором так упорно отказывались казаки, объявился под видом простого солдата сам царь-государь Петр Федорович III и что он обещает великое защищение всем угнетенным и обиженным.

Эта весть не была для казаков внезапной, ослепляющей, — слухи о том, что Петр III жив, носились на Яике и пять и десять лет тому назад.

Но ныне, когда Яицкое войско было всего лишено и находилось в великом подозрении и опале, подобный слух был принят казачеством как достоверное известие. Вся казацкая громада сразу взбодрилась, всколыхнулась.

ГЛАВА VIII

Федот, да не тот. Скиталец Пугачев. В келье у Филарета

1

Что же случилось необычного и откуда возникла новая легенда о появившемся царе? А случилось вот что.

Сорок лет тому назад, в 1734 году, были переселены тысяча пятьдесят семь семей донских казаков на Волгу, между станицею Камышенскою и городом Царицыном. Образовалось так называемое Волгское казачье войско.

Для облегчения своей сторожевой службы казаки с охотой стали принимать к себе и записывать в казачество всех беглых и бездомных людей, искателей свободы и приволья.

В январе 1772 года записался в Волгское казачье войско крестьянин графа Романа Воронцова — Федот

Богомолов, бежавший от своего помещика из села Спасского, Саранского уезда. Вскоре Богомолова зачислили в Московский легион. Когда легион вышел из Дубовки и направился в поход на турецкую войну, новозаписавшийся казак Богомолов, «будучи безмерно пьян», объявил себя императором Петром III. По приказу начальства, после большого скандала с поверившими самозванцу казаками, Богомолов был схвачен, отправлен в Царицын, там присужден к публичному наказанию кнутом, вырыванию ноздрей и вечной ссылке на каторгу в Нерчинск. Единственный в Царицыне палач от беспросыпного пьянства захворал белой горячкой, пришлось писать в Астрахань, чтоб прислали другого палача. Пока шла переписка, Богомолов всячески подготовлял себе путь к побегу. Вместе с другими своими товарищами он сидел в колодках в крепком месте у Царицынских ворот под сильным караулом. За что содержался преступник и кто он такой, никто из караульных не знал. Такая таинственность крайне возбуждала любопытство стражи. Хитрый Богомолов этим с ловкостью воспользовался. Однажды ночью он подозвал к себе караульного солдата, показал ему на своем теле изображение креста и сказал:

— Глянь-ка! Это — царский знак. Я император Петр Федорыч Третий.

Солдат с трепетом поверил в басню, и дня через два толпы жителей Царицына стали собираться у Царицынских ворот, на окраине города, с тайной надеждой видеть императора.

Донские казаки и казачки, приезжавшие в близкий от Дона Царицын базар, перенесли эту «нелепу» и на Дон.

А в это время в Донском войске разгоралась своя собственная склока и неразбериха. Выбранный в атаманы в 1758 году помещик Данило Ефремов владел огромнейшим богатством. Он захватил себе большие пространства по реке Медведице, перевел туда часть своих крепостных из внутренних губерний и стал

широко принимать крестьян, бежавших от притеснений помещиков. И вскоре зажил полновластным и своевольным царьком. Лично известный царице Елизавете Петровне, он вымолил у нее согласие на то, чтоб звание атамана Войска Донского было наследственным в его роде, и передал это звание своему сыну.

Новый атаман, Степан Ефремов, уже не выбранный казаками, а, так сказать, коронованный отцом, был, как и отец, самовластен и тщеславен, но, не обладая его умом и тактом, стал злоупотреблять своей властью в ущерб казачьей массе. В 1771 году он подал в Военную коллегию проект, клонящийся к усилению власти войскового атамана и допущению его неограниченно распоряжаться всеми войсковыми суммами. Но тут дело сорвалось: одновременно с проектом Военная коллегия получила и донос на атамана Ефремова. Двое старшин обвиняли его в расхищении войсковой казны и провианта, во взяточничестве и, главное, в тайных сношениях с кабардинскими князьями и пограничными татарами, то есть в политической измене. А в это время, как известно, протекала война с Турцией.

Военной коллегией были приняты, в связи с доносом, экстренные меры. Она послала в резиденцию войскового атамана, в город Черкасск, одного за другим, трех генералов; среди них — тот самый генерал-майор Черепов, что расстреливал в Яицком городке безоружных лежачих казаков. Этим трем генералам был поручен общий надзор за атаманом и наблюдение, чтоб тот незамедлительно исполнил требование главнокомандующего выслать в Турцию новую партию казаков.

Властному атаману не по нраву были торчавшие пред его глазами генералы. Он решил посчитаться с Петербургом и кой-кому открыто говорил:

— Раз правительство прислало ко мне соглядатаев, так я уберусь со всем войском в горы и таких бед натворю, что Екатерина век меня не забудет. Стоит только Джан-Малибет-бею слово молвить, так ни одной души на Дону не останется.

Эти угрозы долетели до ушей правительства. Петербург потребовал атамана Ефремова в Военную коллегию. Ефремов отказался. Тогда Военная коллегия приказала генералу Черепову немедленно выслать атамана в Питер силою. Непокорному атаману после такого приказа бросилась в голову мысль открытой борьбы с Питером, он с высокомерием «начхал» на приказ и, выехав из Черкасска, направился по донским станицам с целью возбуждения казаков против правительства.

— Станичники! — взывал он на казачьих майданах. — Вам грозит регулярство, из вас хотят сделать солдат, осенью будет набор рекрутов. А вы, станичники, стойте за свои исконные права, держитесь за меня, я избавлю вас...

Среди донцов началось волнение.

— А-а-а, нас в солдаты?! В рекрутство?! — кричали они. — Это нам кашу гадит Черепов-генерал. Да мы доразу его в куски изрубим! Тут ему не Яик, а Дон!

Поднявшиеся в войске беспорядки повергли ничтожного генерал-майора Черепова в административный испуг и сердечный трепет за свою собственную шкуру. Озорной и взбалмошный атаман Ефремов теперь представлялся ему исполином, который одним щелчком способен погубить всю карьеру генерала. Желая не допустить опасного атамана в Черкасск, генерал выставил на дороге сотню вооруженных казаков. Но атаман в город и не думал возвращаться, он поехал в свое имение «Зеленый двор» и сказался больным.

А Черепов тем временем приказал прочесть в войсковом круге грамоту Военной коллегии о немедленном отзыве атамана Ефремова в Санкт-Петербург и о том, что распоряжения атамана с сего числа для казаков недействительны.

Казаки снова подняли шум. Они ненавидели этого представителя официальной власти, они желали стоять за свою власть, за атамана. Вразнобой кричали:

— Эта грамота дешево стоит: она подписана графом Чернышевым, а ручки всемилостивой государыни нет!

— Нашего атамана в город не впущают. Велено стрелять в него... Где это видано? По войсковом атамане мы стрелять не станем!

— Этот Черепов — нечистый дух, а не генерал. Он хочет нас в регулярство писать, в солдаты. В реку его!

Возбужденные казаки бросились к квартире генерала Черепова; дом, где он жил, разбили и разграбили. Генерал побежал, чтобы укрыться в крепость, его догнали, дали взбучку, поволокли топить в реке. Но навстречу бушевавшему народу уже ехал со свитой атаман Ефремов. Он спас Черепова, взял его в свой дом, лукаво сказал:

— Это войско, мой любезный генерал, не Яицкое, а Донское.

Бунтарство атамана кончилось так: его все-таки арестовали, доставили в Питер, там судили и, по совокупности преступлений, приговорили к смертной казни. Но Екатерина заменила казнь вечной ссылкой в Пернов [1].

Верностью донских казаков Екатерина очень дорожила. Дабы подкупить войско своей милостью и благоволением, дальновидная царица, скрепя сердце, помиловала и вожаков-казаков, замешанных в деле атамана Ефремова.

2

Обращаясь несколько назад, мы видим, что первый взрыв волнения среди донцов, когда атаман Степан Ефремов огорошил их известием, что казаков «обращают в регулярство», точно совпадает по времени с вооруженным мятежом яицкого казачества. И как раз в эту пору среди Волгского казачьего войска объявился, как было уже сказано, самозванец Богомолов под видом Петра III.

---

[1] В Лифляндии, на берегу Рижского залива.

Он все еще продолжал сидеть в тайном каземате у Царицынских ворот. Весть о нем перекинулась в Пятиизбяную станицу, а оттуда — по всему Дону. Перекинулась она и к яицким казакам. Самозванца Богомолова, чрез подкуп стражи, все чаще и чаще стали навещать любопытствующие люди. «Пожалуй, он и верно — царь», — говорили в народе.

В сети такой басни втюхался даже поп Никифор Григорьев. Самозванец, показав ему знаки, сбил с толку и попа.

— Уж ты, батюшка, постарайся, вызволи меня из беды, я тебя в митрополиты поставлю, — просил попа Богомолов. — В ночь на двадцать пятое я донских казаков ожидаю на выручку... Тревога будет. Кому надо — шепни.

В надежде получить себе великую корысть поп взыграл духом и, проходя мимо барабанщика, лежавшего возле своего дома на травке под рябиной, кой-что шепнул ему.

Но миновала назначенная ночь, наступило утро, тревоги не было. Однако весть о заговоре дошла до астраханского губернатора Бекетова, случайно прибывшего в Царицын. Он приказал перевести опасного колодника на гауптвахту, а попа схватить и заковать в железы.

Когда Богомолова под конвоем вели по улице, он заорал в толпу:

— Миряне, не выдайте государя!..

Но ему заткнули рот, бросили в телегу и вскачь умчали на гауптвахту. Арестованный поп с тоски, с перепугу был пьян. Его вели в канцелярию через базар. Он вырвался и кинулся бежать к народу:

— Православные, спасай!..

Праздная толпа обрадовалась случаю подраться с солдатней немилого правительства, быстро выломала колья в базарных шалашах и, оставив попа, бросилась к гауптвахте. Комендант города полковник Цыплетев велел ударить тревогу и приказал солдатам в случае надобности стрелять в народ. Бунт в Царицыне быстро прекратился.

В начале августа Федот Богомолов был нещадно бит кнутом, ему вырезали ноздри, в дополнение к «царским» знакам выбили на лбу позорный знак «К», что значит — «каторжник», и глухой ночью вывезли в Саратов для направления в Сибирь. Но изувеченный палачом Богомолов дорогою умер.

Так незадачливо кончил дни свои беглый крестьянин графа Романа Воронцова — сиятельного отца известной нам и тоже незадачливой «Лизки-султанши».

Высоко замахнулся русский мужик Федот Богомолов, да плохо ударил. Он не имел ни ума, ни находчивости, ни отваги, которыми обладал видавший виды донской казак Емельян Пугачев, поэтому и самозванство мужика Богомолова оказалось никчемным и имя его почти бесследно прошло для истории.

К двум бунтарям того времени примыкает и третий — войсковой атаман донского казачества Степан Ефремов, главный начальник Емельяна Пугачева, крупнейший помещик, известный в придворных кругах человек. Уж, казалось бы, ему-то в бунтарстве — все карты в руки. Влиятельный среди казаков и народа, он мог бы поднять и вести за собой все яицкое, волгское и донское казачество, легко мог бы выполнить то, чем грозил, то есть соединить свои силы с кабардинскими князьями, с кумыкским князем Темиром, с пограничными татарами, сильным ударом обрушиться на внутренние губернии, поднять крестьянство, занять Москву и стать неминуемой угрозой для Санкт-Петербурга. Но... Степан Ефремов в вожди не годился. В его натуре мы видим уязвленное пустое тщеславие, безвольную страстность и всякое отсутствие хотя бы малой идеи во благо народа. Впрочем, — казнокрад и стяжатель, крупный магнат, крепостник, — он и бунтарем-то стал по особым, личным причинам: наступили, как кошке на хвост, он и пискнул, скакнул на обидчика, царапнул когтями и — сдался. Вспыхнул, как порох, пустил дух и — погас.

Итак, все трое — барин, мужик и казак — соревновались, так сказать, на звание героя истории. Двое бесславно «просыпались», а третий — казак Пугачев — от края до края сотряс основы империи. И на-

прасно Екатерина II со спесивой иронией острословно писала Вольтеру: «Маркиз Пугачев, маркиз Пугачев...» Но, наверно, сердце ее в тот момент обливалось желчью и всамделишной трусостью: она чувствовала, только стыдилась сознаться, что казак Пугачев — не маркиз со страниц авантюрного романа французского, не презренный изгой, а доподлинный вождь народа — опасный и грозный.

3

Бродяжническая жизнь Емельяна Пугачева продолжалась.

В те времена вся Русь кишела беглецами, бродягами. Бежали работные люди от непосильного труда, бежали солдаты от военной службы, длившейся тридцать пять лет, бежали закоренелые каторжники или невинно осужденные, которым грозил кнут, колесованье, смерть; бежали купеческие дети, пропив отцовские или чужие деньги, даже бежали купцы, избавляясь от долговой ямы, тюрьмы, позора; бежал разный люд и сброд, а главное — массами скрывались от своих тиранов бар крепостные крестьяне.

Десятки и сотни тысяч замученных, но решительных и сильных волей людей, пренебрегая всякой опасностью, проходили труднейший путь бродяжничества в надежде найти лучшую участь и хоть кой-какую свободу.

Таким бродягой стал и бедный семейный казак Емельян Пугачев. Он лелеял малую мысль — найти притык себе и семейству где-нибудь на вольной земле среди таких же, как он, вольнолюбивых людей, растоптанных жизнью на родине.

Вот и гоняли его озорные ветерки то на Кавказ, то на границу с Польшей, то к старцам в скиты, то снова на Дон, на Яик, на Каму, на Волгу, в Казань... А там и пошло́ и пошло́. И уж не слабый ветродуй, верховик, а самый отчаянный кожедер-ветрище вспарусил думы бродяги, взметнул, закрутил и с маху бросил его прямо в огонь подоспевших восстаний.

И все уже было в треске, в громе, в пламени. И внутренний голос сказал ему: «Не зевай, Емельян! Проснись». Пугачев распахнул большие глаза в жизнь, как в сказку, и не ослеп, не попятился, а открыл широкую грудь навстречу всем ветрам, всем бурь-погодам.

В последний раз мы видели безвестного бродягу Пугачева в ночь на 13 февраля 1772 года, когда, разбив цепи, он бежал из тюрьмы городка Моздока.

Бродяжья фантазия, лукавая сметка и зовы жизни стали бросать Пугачева туда и сюда. Прошло порядочно времени.

И вот мы снова встречаем его в стародубском раскольничьем скиту у старца Василия. Пугачев признался старцу, что он беглый казак.

— И скажи ты мне, бога для, старец праведный, где бы мне голову приклонить да пожить по тихости. У меня на Дону жена с малыми ребятами.

Угощая странника редькой с квасом, старец сказал:

— А прямой тебе путь, милый мой, в Польшу. Здесь проходит всяких беглых множество, а там они бегут на Ветку[1], в раскольничьи разоренные скиты. Прожив там малое время, они придут на Добрянский форпост и скажут: «Мы раскольники, выходцы из Польши». А как обнародован указ, данный еще блаженныя памяти государем Петром Третьим, и по сему указу велено польских выходцев селить кто куда похощет, то и дадут тебе билет на жительство в любое место, кое тебе глянется. Вот застава с нашей местности перейдет подале, я тебя, чадо, выведу.

С грехом пополам Пугачев прожил у старца три месяца. Косил сено, работал по плотничьей части, сколотил себе деньжонок.

Старец предложил Пугачеву поучиться по церковным книгам грамоте. Пугачев сказал старцу Василию

---

[1] В бывшей Могилевской губернии, в то время захваченной Польшею.

(как и солдату Перешиби-Нос в своем пути на Каму), что он, Емельян, еще в юности своей знал грамоту больно ладно, да вот случился грех, в прусскую войну с дерева упал да головой о каменья вдарился... Не особенно прилежный, Пугачев вникал в учебу плохо, но, будучи натурой одаренной, он все же читать по печатному научился. А писать не горазд был и сам старец.

Вскоре, следуя советам последнего, Пугачев попал на Ветку, затем на Добрянский форпост. Там встретил много беглых, которые по чумному времени выдерживали карантин. Беглые научали Пугачева:

— Ты показывай на форпосте, что, мол, в Польше родился и желаешь подаваться на Русь. А ежели скажешь, что родина твоя — Дон, привязку сделают.

Пугачев чрез два дня так и поступил. На вопрос майора Мельникова: «Какой ты человек и как тебя звать-величать?» — он, не тая своего имени, ответил: «Я польский уроженец, зовусь Емельян, Иванов сын, Пугачев».

Он был записан в книгу. Лекарь-старик раздеваться не велел, только заставил три раза перейти через огонь, посмотрел ему в глаза, сказал:

— Опасной болезни нет в тебе, по здоровью не сумнителен.

Просидев шесть недель в карантине, они вдвоем с солдатом Логачевым получили от майора Мельникова паспорта для свободного прохода к месту избранного ими жительства на реке Иргиз, в дворцовую Малыковскую волость [1].

За время пребывания в карантине Пугачев часто хаживал к добрянским купцам-раскольникам Кожевникову и Крылову. Он даже помогал Кожевникову строить баню и толково исполнял торговые поруче-

[1] Подлинный паспорт Пугачева (в некотором сокращении): «Объявитель сего, вышедший из Польши и явившийся собою при Добрянском форпосте, веры раскольнической, Емельян, Иванов сын, Пугачев, по желанию его определен в Казанскую губ. в Симбирскую провинцию к реке Иргизу, которому по тракту чинить свободный пропуск и давать квартиры по указу, а по прибытии явиться с сим паспортом в Симб. провинц. канцеля-

ния. Видя в Пугачеве смекалистого, с сильной волей человека, Кожевников предлагал ему заняться в Добрянском форпосте торговлей, давал на это денег.

— Благодарствую, — ответил Пугачев, — займовался я и торговым рукомеслом, на Каму с дружком донским казаком ездил, в Котловку-село, холсты да деготь скупали с ним, суденышко свое огоревали. Да ни хрена не вышло. Купчишки в Царицыне, дай им бог здоровья, пообманули нас, ну мы с огорченьица кое пропили, кое так прахом пошло. Нет, отец, тяги к торговле не живет во мне...

— Воля твоя, — обидчиво сказал старик Кожевников. — Потчевать можно, неволить грех... Тебе бы, Емельян, атаманом быть. Удали в тебе много, токмо какой-то нескладный ты, непоседливый... Слоняешься, как Каин.

— Я атаманствовать не прочь... Ведь я на турецкой войне — хорунжий. К какому ж войску ты меня в атаманы метишь?

— Про яицких казаков слыхал? Перетырка там идет.

— Слыхал, слыхал... Яицкие казаки нам шабры, соседи.

Тем разговор и кончился.

Получив паспорт, Пугачев пошел к Кожевникову попросить в путь-дорогу милостыню. Тот подал ему рубль да большой хлеб и сказал:

— Кланяйся отцу Филарету, старцу скитскому. Меня, Кожевникова, на Иргизе всякая собака знает. Да, слышь, посовещайся-ка с Филаретом-то про Яик. Он башка-а-а.

В станице Глазуновской Войска Донского, куда приехал Пугачев, он с жадностью вслушивался в рассказы о кровавом восстании на Яике, о волнении

рию... приметами он: волосы на голове темно-русые и борода черная с сединой, от золотухи на левом виску шрам, от золотухи ж ниже правой и левой соски две ямки, росту 2 аршина $4^1/_4$ вершка, от роду 40 лет. Чего в верность дан сей от Добрянского форпостного правления. В благополучном по чуме месте 1772, августа 12. Майор Мельников, пограничный лекарь Андрей Томашевский, каптенармус Никифор Баранов».

волгских и донских казаков. Посмотреть бывалого человека набилась полна изба народу. Пугачев купил вина, стал угощать.

— Вот, батюшка ты мой,— хлопнув винца, обратился к Пугачеву седобородый казак-хозяин.— Объявился в Царицыне царь-государь, Петр Федорыч. Как ходил слух в народе много лет, что́ жив царь, так оно и вышло... Стало, не врал народ. А царь-государь долго скрывался, а вот в Царицыне объявил себя. Начальство опять схватило государя, да только его вдругорядь бог спас...

Глаза Пугачева заблестели.

— Бежал, что ли?— спросил он.

— Бежал, бежал,— с радостной готовностью враз ответила вся застолица.— А куда скрылся, не ведомо.

Пугачев наложил на большой ломоть соленых грибов, выпил водки, стал неторопливо закусывать.

— Ну, а чем же люб народу царь Петр Федорыч?— спросил он, чавкая грибы.

— Ха, голова с затылком!— зашумели собравшиеся.— Да нешто не слыхал, как народ-то весь мается?

— Взять нас, казаков...— сгорбясь, подошел от печки к столу отставной старый есаул.— Наше войско при Петре Федорыче в спокое жило, а теперича нас царица Катерина в регулярство писать измыслила, по солдатскому ранжиру. Эвот в Яицком городке войскового атамана больше нет и званья,— царский полковник Симонов посажен... Ох, беда, беда! Пропадает казачество.

— Под бабой ли али под царем век коротать?.. Подумать надо!— с задором и тоской выкрикнул хозяин.

— Петр Федорыч Третий, царь, бывалыча, и о мужиках знатно пекся,— заскрипел от печки стариковский голос.— Вот я монастырским крепостным был, да бежал,— теперя в казаки уж десять лет записан. Маялись мы под монастырем во́ как. А Петр Федорыч, как сел на престол, слободил нас, сирых, волю нам даровал. За это и был с престола, свет наш, скинут... А кем? Боярами большими да архиереями.

— Да он бы, ежели б господь привел поцарствовать, не токмо церковных да монастырских, а всех бы подчистую мужиков слободил!

— Ежели Петр Федорыч объявится, помещикам лихо будет, — нажав на голос, подхватил Пугачев. — По всей России царь поди освобождение мужику-то провозгласит. Лишь бы похотел прийти к народу своему.

— Придет, придет батюшка! Дай срок, придет, — осеняя себя крестом и вздыхая, с воодушевлением прорекали казаки и казачки.

Эти разговоры замутили Пугачеву голову и сердце. Он заторопился ехать на Волгу, в дворцовое село Малыковку[1], откуда в Мечетную слободу[2], что на реке Иргизе, к всечестному игумену Филарету, поближе к яицкому казачеству.

4

Река Иргиз, левый приток Волги между Хвалынском и Саратовом, издревле заселена была раскольниками. По переписи 1765 года обитало там тысяча сто восемьдесят оседлых душ. Но при переписи множество беглецов временно поутекало, и количество их не поддается исчислению.

Пройдя с котомкой за плечами около восьмидесяти верст, Пугачев достиг Филаретова скита с деревянной церковкой Введенья богородицы. Дремучий лес, кусты, узкая дорога в пеньях и кореньях, в лесу, на полянках, десятка полтора крепко срубленных избушек. Было утро, легкий снежок летел, из церкви вышли толпой в длинных одеждах старики бородачи. Впереди, подпираясь посохом, семенил вертлявый чернобородый человек с желтым испитым лицом, орлиным носом и живыми из-под хмурых бровей глазами. Суконный с беличьим воротником зипун его распахнулся, обнажив добротный подрясник,

[1] Город Вольск бывшей Саратовской губернии.

[2] Бывший город Николаевск бывшей Самарской губернии.

перехваченный голубым, шитым шерстями широким поясом, в левой руке ременные четки-лестовки, на голове — четырехгранная шапка с шерстяным внизу обручиком.

Пугачев сразу признал в нем игумена и, подойдя к нему, повалился в ноги.

— Благослови, старец ангельский... Раскольник[1] я, с Ветки шествую спасения ради. И шлет тебе добрянский купец Кожевников низкий поклон до самые земли.

— Встань, сын мой... Здрав буди именем господа. — Игумен Филарет прощупал Пугачева быстрым проницательным взглядом, по-старозаветному благословил его и поцеловал в щеку. От Пугачева пахло вином и редькой. Филарет чуть поморщился, черные глаза его по-хитрому заулыбались.

Старцы, уставя бороды в грудь, с любопытством толпились возле Пугачева. Кругом запорошенный снегом лес, перепархивали стайки веселых галок, тоненько перезванивали колокола.

— Я беглый казак донской, — тихо сказал Пугачем, прикрывая рот рукой. — Только не выдай меня, отец Филарет, приголубь, пожалуй...

— Что ты, что ты! Покамест ты путешествовал, купец Кожевников цедулку про тебя прислал с верным человеком, восхвалял тебя. Мужайся, чадо, и не унывай, что беглец суть, — ответил Филарет и переглянулся со старцами. — Исус Христос, господь наш, такожде не имел где главу приклонити... — И снова воззрился на старцев.

Старцы смущенно потупились. Все до единого они тоже были бродяги и беглые. И жизнь каждого из них замысловата и по-своему красочна. В эти глухие места, на Иргиз, бежали со времен Петра I всех толков раскольники не только ради спасения души, но и спасая шкуру свою от церковных гонителей, царских тиранов и помещиков. А в древние времена сюда слеталась и всякая вольница, искавшая свободы и

---

[1] Пугачев раскольником не был, но по практическим соображениям называл себя таковым.

легкой наживы. Но как выросли здесь раскольничьи скиты да уметы (постоялые дворы), в иргизских лесах и оврагах стало потише.

— Вот, зри, чадо, — сказал Филарет, указывая посохом. — Это ветрянка наша — муку молоть. За лесом — пашни, бахчи, пасеки. А эвот — омшаник, в нем господня пчелка зимует. Вот, оставайся нито, раб божий, потрудись вкупе с нашей братией бога для. А жительство у нас обширное, скитов много.

Пугачев быстро поднял голову, встряхнул плечами и надел заячью шапку-сибирку.

— Нет, старец ангельский, — сказал он, — спасать душу погожу, вот поболе накоплю грехов, тогда уж... А мне бы с тобой, отец, тово... побалакать кой о чем... Как на Яике-то? В народе молва — замордовали казачишек-то.

— Пойдем в келью, кстати молвить, и потрапезовать час приспел, — проговорил Филарет и, обратясь к старцам: — Грядите с миром, отцы, восвояси... Да будет над вами благословение божие.

Старцы отдали поясной поклон Филарету, побрели чрез лес, чрез сугробы, зверючьими тропками. Мимо идущего Филарета с Пугачевым двигались подводы с бревнами, сеном, дровами. Возницы загодя сдергивали шапки, низко кланялись Филарету.

— Вот бревна заготовляем, — пояснил Филарет Пугачеву, — трапезную ладим строить, число братии нашей приумножается, да и беглыми бог не оставляет, — о вчерашней ночи шестеро притряслось помещичьих, с ними — баба с ребенком. Да вот они...

Путники подошли к большой избе Филарета. Ставни расписаны белым и синим. На лбу ворот врезан восьмиконечный, крытый финифтью крест. Группа крестьян-оборванцев опустилась на колени. Четырехлетний мальчик в лапоточках, стоя возле матери, тер кулачками глаза и похныкивал.

— Хлеба, хлеба, отец игумен, хле-е-ба. Не жрамши... Хоть корочек, — в один голос завыли беглые, складывая крест-накрест руки на груди.

Пугачев быстро сбросил с плеч торбу и все содержимое ее высыпал в подставленные бабой полы шу-

бейки: мороженая рыба, куски хлеба, лепешки, криночка с маслом, — всю эту снедь наподавали Пугачеву в дороге. Баба, скривив рот, заплакала: «Кормилец, кормилец». Мальчонка уцапал лепешку и с жадностью — в рот.

— Нешто вас не покормили утресь-то? — строго спросил Филарет.

— Нет, отец... Кору в лесу с древес отымали да чавкали, да стебельки по ельнику, да желуди... Ох, ты...

Филарет постучал в окно посохом, выскочил белобрысый парень в беспоясой рубахе.

— Брат Пантелей, отведи сирых к отцу Ипату, пущай вдосыт напитает их, — приказал парню Филарет и, обратясь к мужикам: — А землянку-т нашли?

— Нашли, нашли, отец, спасет тя бог. Там, бают, человек вчерась задавился... Да нам ни к чему, господь с ним. Мы ведмежьей берлоге рады.

— Пошто в бега-то ударились? — шевеля бровями, спросил Пугачев.

— Ой, кормилец, — гнусаво заголосили вразнобой крестьяне. — Вишь, два семейства нас. Вишь ты, барин-то, помещик-то наш, гвардии подпрапорщик Колпаков Лексей Лександрыч, дюже свиреп, многих до смерточки запарывал езжалыми кнутьями. А нас вот, два семейства, на гнедого жеребца да на двух борзых кобелей сменять пожелал, в чужедальнюю сторону, вишь ты, довелось бы перебираться нам, убогим. Ну, мы поупорствовали. Нас всех перепороли на конюшне. И бабочку вот эту самую, тетку Маланью, тоже не пощадили. А тут, вишь ты, душевный человек, в ночь барина-то нашего дворня решила жизни, — по горлу ножом полыснули, по горлу, по горлу, родимые мои, гвардии подпрапорщика-то, барина-то. А барин-то, злодей, одинокий был, при нем девушков наших-то до двух десятков жило, спать к себе таскал по две да по три, это барин-то... Ну, тут шум великий содеялся, а до города далече, до начальства-то... Вот многие и дали тягаля, — поминай как звали. И мы, вишь ты, в том числе подобру-поздорову пожелали утечь. Вот тебе и вся недолга.

Пугачев сразу вспомнил путь-дорогу с Ванькой Семибратовым на Каму, вспомнил встречу с толстобрюхим барином, вспомнил хлесткие нагаечки барских холуев.

Над его переносицей легла вертикальная складка, сквозь зубы он сказал:

— А ведь я барина-то вашего, злодея, знаю, Лексея-то Лександрыча. И девок, коих он на прогул брал, видывал...

— О-о-о-о?! — изумились крестьяне. — Стало, ты бывал в наших-то местах?

— Бывал. И старика знаю, коего барин по огневым угольям босого таскал, как его?.. Григорий, кажись...

— О-о-о-о! Верно, верно... Не Григорий, а Гаврилой звать. Умер он, покойна головушка, умер. Антонов огонь приключился с ним, ноженьки-то почернели, дюже маялся, на всю деревню в голос вопил...

— Жалко старика, — сказал Пугачев. — А вашему барину нужно бы напредки шкуру до ребер содрать, а уж опосля прирезать.

Келья Филарета большая, о двух горницах, а кухня отдельно, чрез сени, — там и брат Пантелей жил. Гостевая горенка, куда вошли Филарет с Пугачевым, в четыре крохотных слюдяных оконца. В переднем углу в серебряных окладах темноликие иконы, кипарисные большие и малые кресты, три синего и красного стекла возжженные лампады. Огоньки играли на серебряных ризах, ласково дробили сутемень, горели тихими цветистыми отблесками. От этих огоньков и всего вида чистой горницы, пропахшей ладаном, воском и ароматом кипарисного дерева, сумрачной душе Пугачева стало уютно и тепло.

Раздевшись, Филарет подошел к кожаному аналою и, перебирая лестовку, сотворил краткую молитву. Пугачев рассеянно тоже помахал рукой. На широкой, жарко натопленной лежанке сидел бровастый и пучеглазый, как филин, рыжий кот. Кровать старца вся в шелках, гора подушек к потолку, белые наволоки в прошивках.

— Это — почитатели мои московские, да и тутошние казацкие женки такожде пекутся обо мне, многогрешном. Всего натащили в убогую келию мою, — как бы оправдываясь, проговорил Филарет певучим голосом. — Ведь сам-то из купцов я буду, — да, да, из московских купцов, во второй гильдии числился, мелочным товаром торговал. Только господь призвал меня к себе, и я все бросил, ибо — суета сует и всяческая суета есть суета мирская.

Пугачев в разговор не вступал, только потряхивал в знак согласия головой да бросал взгляды на горячую лежанку. Старец же Филарет говорить зело любил. Высокий и тощий, стриженный по-кержацки в скобку под горшок, как и Пугачев, он и лицом своим, и живыми то веселыми, то строгими глазами смахивал на Пугачева.

— Я, старец ангельский, на печку сяду, чего-то ноги окоченели, зашлись. На турецкой войне застудил их, ноют дюже, да и раны... — сказал Пугачев, взгромоздился на лежанку, приятно закряхтел, снял стоптанные сапоги, принялся сматывать с ног прелые онучи. Рыжий кот потянул ноздрей крепкий, как спирт, дух, блаженно зажмурился, замурлыкал. Пугачев, посапывая, развесил онучи на душник.

Филарет опустился в кресло под белейшим чехлом, начал, смакуя слова, вспоминать вслух о Москве и нравах ее, о греховной жизни вельможной знати, о матушке Екатерине и Григории Орлове, с коим она восхотела прикрыть свой блудный грех таинством венчания, да синод не разрешил ей — наступил на длинный шлейф, затем он перешел на воспоминания об императоре Петре III и трагической судьбе его.

— Вот он, он... Зри, чадо Емельян. С живого царя списан. — И старец указал перстом на поясной, в масляных красках, портрет Петра, висевший в простенке между окон.

Пугачева как ветром сдунуло с лежанки. Он с живостью подбежал к портрету, сощурил по-кошачьи глаза и, выборматывая: «С живого. Ишь ты... С живого...» — жадно впился в картину. Однако малень-

кие оконца скудно давали свет. Пугачев вытащил из предыконного подсвечника толстую, желтого воска свечу, затеплил ее от лампадки и, ошаривая пламенем лик царев, стал как бы впитывать в себя странные черты молодого, в седых буклях человека, насмешливо глядевшего на бродягу-казака большими улыбчивыми глазами.

Ему не раз доводилось видывать царские портреты, только он мало обращал тогда на них внимания, — думал, что царей малюют понаслышке, как в ум взбредет. А вот тут — с живого!

— Сей портрет прислан мне чрез московского первой гильдии купца Бурдастова в дар от гвардии секунд-майора Ярославцева, почитателя истинной веры. Портрет зело схож, сказывали мне...

— Он не в бороде, царь-то, — тоном сожаления тихо проговорил Пугачев.

— Даром что не в бороде, — возразил старец, — зато нам, рекомым раскольникам, соизволил манифестом даровать «крест и бороду», сиречь — пресек гонения на нас, сирых, установил нам право по старозаветному обычаю бороду носить и поклоняться животворящему кресту восьмиконечному, а не крыжу постыдному, аки у рекомых православных. А наипаче мил сей праведник нашему старозаветному сердцу тем, что дал разрешенье всем сущим за границей нашим беглецам-раскольникам ничтоже сумняшеся воротиться в Русь, селиться, кто где похощет, строить свои храмы и чинить церковную службу по-своему. Да, поистине сей император Петр Федорыч светлой памятью своей во вся дни почиет неисходно в сердцах наших... — Филарет вдруг встал и порывисто выбросил руку с лестовкой к портрету. — И если б сей государь снова появился среди своего народа, чтоб низвергнуть с престола воровски захватившую трон дщерь Вавилона окаянную, мы, старообрядцы, все до единого сложили бы к его царским стопам земные богатства наши: злато, жемчуг, серебро и самую жизнь свою отдали бы на служение сему великому страдальцу! — со страстностью восклицал в полусумраке тенористым голосом старец

Филарет. — А ты ведаешь, какая сила на Руси мы, рекомые раскольники? Мы и грамотностью взяли, и многие вельможи к нам преклонны, и доброй половиной всех капиталов владеем мы...

Свеча в руке Пугачева дрожала; опустив голову, он дышал всей грудью, с внутренним трепетом вслушиваясь в слова Филарета.

— Раб божий Емельян! — горящими глазами взглянул на него старец. — Сотворим молитву о пресветлом государе Петре Федорыче. Ежели он в бозе почил лютой смертью от рук нечестивой боярщины, да будет ему место свято в небесном раю отца славы. А ежели он жив и здравствует, как гласит людская молва, да явится он снова на поприще всенародное, да соберет возле знамен своих силу великую, и да вложит сам бог в десницу его карающий меч, а в сердце — пламя... Молись, Емельян! — И чернобородый старец упал на колени пред лампадами. То часто ударяясь головой в землю, то воздевая руки к небесам, он выдыхал гулким шепотом жаркие слова молитвы.

Пугачев, как зачарованный, стоял дубом позади Филарета, рассеянно болтал рукой, думал о своем, заветном, водя помутившимся взором от огоньков лампады, от распростертого на полу старца к насмешливым устам Петра, к угревной лежанке, на которой рыжий кот, сшибив лапой прелую онучу, сладострастно жевал ее, зажмурившись. «Без бороды, без бороды... Скобленое рыло... А глазом, кажись, схож...» — думал Пугачев, вспомнив турецкую кофейню и любопытный разговор гусара с черногорцем.

Старец поднялся и снова сел устало в кресло. Пугачев сам насквозь был пропитан дорожными слухами о Петре III. Желая проверить их, он спросил старца:

— А нешто в народе чутко?.. Про самогó-то, про императора-то?

— Чутко, сыне мой, чутко. — И многознающий начетчик-старец стал в убедительных словах рассказывать усевшемуся на лежанку гостю о том, что уже на его памятях четырежды объявлялись под именем императора Петра III какие-то люди-человеки. Но по

малому ли уму своему или по воле божией самозванцы те всякий раз были уловляемы. Вот и последний самозванец в городе Царицыне, тому назад всего четыре месяца, был схвачен, но будто бы бежал, только нам плохо в сие верится. Скорей всего — самозванца задавили палачи.

— Самозванец, не настоящий? — дыша сквозь ноздри и колупая мозоли на ногах, спросил с лежанки Пугачев.

— Да, сыне мой, мнится мне — не настоящий. А настоящий — может, и жив; может, Петра Федорыча бог спас. Ну, да жив ли, не жив ли, не нам знать, а только народ ждет его с упованием и народу все едино — царь али самозванец, лишь бы заодно с ним был. И то сказать: народ похощет — любого вождем своим сотворит!

Пугачев выпучил глаза на Филарета, замер. Наступило молчание.

Но вот встал в дверях брат Пантелей.

— Обоз пришел с Яицкого городка, отец игумен, — сказал он, отдавая поясной поклон игумену. — Казаки рыбкой да икоркой кланяются святой обители твоей. Выгружать благословишь?

— Нà ключи. Я помедля выйду.

Слово «икорка» вызвало в Емельяне Пугачеве вкусовое ощущение; ему захотелось есть, на минуту он позабыл о самозванце, но все же, превозмогая чувство голода, сказал:

— Чудно́ все это отец честной игумен. Чу́дны слова твои... Похощет народ, любого вождем над собой сделает... А ежели... самозванный он, вождь-то?.. Разжуй, старец ангельский, чтоб в мысль мне пало.

Старец взглянул в суровое лицо гостя и, подойдя к нему, спросил:

— Грамотен ли ты, чадо?

— Нет, темный, — глухо ответил Пугачев.

— И читать по-печатному не маракуешь?

— По-печатному — могу. А вот писать...

Старец вздохнул, сказал:

— Вопрошаешь меня о самозванцах. Изволь, обскажу... Самозванцев много на Руси было о всяку

пору. Но главные суть — два ложных объявленца: два Дмитрия. Сие в досюльные времена началось, в смутную годину, при царе Годунове Борисе... А как помре Борис, сын его, вьюноша Федор, вступил на царство. Ну, Лжедмитрий Первый и сковырнул законного царя Федора и сам сел царствовать...

— И долго он в царях ходил?

— Нет, не долго. Наущенный боярами народ дознался, что не царь он да что латынскую веру ввести умыслил, растерзал его.

— Ишь ты, — задумчиво сказал Пугачев. — Стало, не угодил народу. — И неожиданно, просящим голосом: — Старец ангельский, попитал бы ты меня трохи-трохи. Животы подвело... Спроворь, пожалуй.

— Добро, добро. — Старец подхватил Пугачева под руку и повел трапезовать.

В кухне жарко. Хозяин и гость разделись до рубах. За столом, покрытым чистой браной скатерью, сидели два бородатых казака. Они вскочили, бухнулись Филарету в ноги. Обняв казаков, он благословил их.

Голодный Пугачев дорвался до осетровой икры. Он наложил ее стогом в оловянную тарелку, накрошил луку и давай есть икру большой деревянной ложкой, словно кашу. Но вот горбоносый, чубастый сотник Терентьев, степенно оглаживая бороду, завел речь. Пугачев сразу оживился.

Терентьев подробно рассказал о последней кровавой схватке, когда беднота на богачей поднялась, казенного генерала убили, войскового атамана Петра Тамбовцева убили, а с ним еще четверых старшин. Пугачев, слушая, то и дело задавал вопросы, ему хотелось все знать до подоплеки.

— Любопытен и жаден ты, в корень смотришь. Сие зело одобрительно, — похвалил его Филарет. — Хлебай уху.

Казаки говорили:

— Великое разорение у нас... Многих похватали, казни ждут. Умышляли мы всем войском бежать в Астрабад, да генерал Фрейман повернул нас...

— Нет, — сказал Пугачев, — не в Астрабад, а куда бежал Некрасов[1], вот туда надо, на Кубань-реку... Там наши донцы примут вас и не покашляют.

— Да мы бы не прочь и ныне туда утечь, да с чем? Ни денег, ни человека-знатеца нет, — проговорил Терентьев.

— Деньги есть, — не задумываясь, хвастливо сказал Пугачев и приосанился. — У меня на все войско хватит. И места те я знаю хорошо. А вам, казаки-молодцы, атамана треба доброго, вот чего.

Все уставились на Пугачева. Проницательный Филарет, взглянув Пугачеву в глаза, с лукавым недоверием спросил:

— Откуда ж у тебя, чадо, деньги столь великие?

— Это — мое дело, — помедля, ответил Пугачев загадочно. Филарет ухмыльнулся в черные усы. Пугачев деловито продолжал:

— Ладно, господа казаки... Я как-нито смахаю на Яик лично, рыбы мне надобно трохи-трохи купить да икры. Там разведаю, чем дышите. И вы уж не оставьте меня, буде нуждица придет, насчет... рыбы-то.

В церковке зазвонили к повечерию. Игумен Филарет с казаками пошли молиться. Пугачев улегся спать.

За трое суток, проведенных в скиту, Пугачев отъелся, подобрел лицом, впалые щеки его закраснелись. Снова ходила в нем силища. Он целыми днями сидел в бездействии на печке, с интересом слушал, что говорит ему старец Филарет, но у того целая охапка всяких дел — придет, потолкует и надолго скроется. Впрочем, Пугачев рад побыть и в одиночестве. Все сильней, все настойчивей его обольщала мысль пробраться на Яик, уговорить казаков идти всем войском в Туретчину, — только пускай выберут его, Пугачева, атаманом. А что же, и выберут. Чем он не вышел? А уж ему ли не суметь войску угодить — он чело-

---

[1] При Петре I, в 1708 году, после Булавинского бунта много донских казаков под началом Игнатия Некрасова бежало из России на Кубань.

век бывалый, всяческих генералов несчетное число перевидал. Эх, и зажил бы Емельян Иваныч Пугачев. Семью перевез бы к себе, в каменных палатах обитали бы...

Мерещилась его живому воображению и другая ослепляющая возможность, но он, с решимостью и ничуть не сожалея, гнал ее прочь, как колдовское наваждение.

Игумен Филарет проводил его до Мечетной слободы.

ГЛАВА IX

Заграничный купец. «Как во городе было во Казани»

1

В сызранской степи, на берегу речки Таловой, от Яицкого городка в шестидесяти, от Иргиза в семидесяти верстах, находился так называемый Таловый умет, или постоялый двор.

Покосившаяся, в шесть окон, изба, большой сарай, две амбарушки, баня да кой-как крытый пригон для лошадей. На высоком шесте, прибитом к воротам, укреплено старое колесо и болтается на бечевке клок сена — самодельная вывеска: заезжайте, мол, обогреться и коней покормить.

Лохматый, сидящий на привязи барбос выставил из катуха седую от мороза башку и сипло залаял в степь. И сразу со всех сторон набежала с дурашливым лаем целая свора шавок.

Низкорослый хозяин Талового умета Оболяев с пегой бороденкой и добрыми обморщиненными глазами цыкнул на собак и закричал пришлой беглянке бабе, рубившей колуном дрова:

— Старуха, слышь, едуть, еремина курица! Затопляй скорей печку.

Подводы, одна с мешками муки, другая с двумя седоками, остановились у ворот. Пугачев не торопясь выпростался из саней. Он — в овчинном новом

тулупе, в валенках, в заячьей белой шапке-сибирке, в огромных собачьих рукавицах. Старик, хозяин лошадей, — Филиппов, выпряг их, повел в хлев отстояться.

— Будь здоров! — поприветствовал Пугачев Оболяева и прошел с ним в избу. — Сколько до Яицкого городка считаете?

— Шестьдесят верстов, еремина курица... А твоя милость — какой человек, откудов и куда путь держишь?

— Я заграничный купец, на Яик за рыбой еду... А тебя как звать? Живал ли ты в Яицком городке?

— Я пахотный солдат Оболяев Степан, а прозвищем — Еремина Курица. Я сам-то из мужиков Симбирского уезда, а сызмальства в Яицком городке в работниках трепался у богатых казаков, у самого атамана, еремина курица, царство ему небесное, Петра Тамбовцева работал. Мне все казачество, еремина курица, знакомо. Да и ныне вот то один, то другой наезжают ко мне в умет, потужить да покалякать... Мне вся их подноготная ведома.

— Погано живут?

— У-у-у, не приведи господь... — затряс головой Еремина Курица и шумно отсморкнулся на земляной пол. — В тоске живут.

Пугачев выпил одним духом ковш квасу, крякнул, спросил, вытирая усы:

— А не поедут ли люди на Кубань со мною, к некрасовцам? Как полагаешь?

— Да чего полагать! Знамо, еремина курица, поедут... Ежели, твоя милость, желаешь, близехонько тут два казака живут в землянке, два брата Закладновы, они гулебщики [1], лисиц приехали имать.

— Не можно ли спосылать за ними? Мол, у проезжающего нуждица до них есть.

Вскоре после трапезы в избу вошли два рослых казака, братья Закладновы.

— Кто нас требует? — спросил Григорий Закладнов.

---

[1] Охотники.

— Я, — ответил Пугачев. Покосившись на бабу у печки, он сказал: — Выйдемте-ка, потолковать треба.

Оба брата Закладновы, Еремина Курица и Пугачев подошли к сараю. Пугачев тихо заговорил:

— Вот, господа казаки, скажите-ка, не утаивая, что у вас там, какие разорения, какие обиды от старшин?

Братья Закладновы, переглядываясь друг с другом и с Ереминой Курицей, пересказали Пугачеву, что творится сей день в войске Яицком.

— Многих под караул берут, многих сыскивают, — говорил Григорий Закладнов, всматриваясь в хмурое лицо Пугачева. — Слых идет, в Оренбурге двенадцать наших к четвертованию приговорены, сорок семь — к повешению, да трое — к отсечению голов...

— Не слых идет, а доподлинная правда, — перебил брата молодой парень Ефрем Закладнов. — Самолично я объявление читал. Следственная комиссия этак постановила от семнадцатого сентября сего года. В Питер увезли постановленье-то на подпись всемилостивой государыне.

— А-я-яй, а-я-яй, — причмокивая, качал головой Пугачев. — Надо, господа казаки, как-нито выкручиваться из беды, а нет — всех вас переимают. Я бы вас мог на Кубань свести, к некрасовцам, на реку Лобу. А там отдались бы в подданство турецкому султану. Нам бы только границу проскочить, там у меня товару на двести тысяч рублев, на первое время я все войско коштовать бы стал. Да и турецкий паша нас встретит, ведь он мне знаком, он хоть пять миллионов нам выдаст, только знай живи...

— А кто таков ты сам-то? — с недоверчивостью в голосе спросил Пугачева оробевший Григорий Закладнов.

— А сам я — заграничный купец Емельян Федоров, раскольник. Меня за раскол царские чиновники шпыняют, едва в тюрьму не угодил. Мне такожде треба куда-то укрыться. Только вы, господа казаки, о нашей беседе — молчок, чтобы шито-крыто!

Братья Закладновы повеселели. Григорий даже перекрестился.

— Дай-то, господи! Мы пошли бы все с тобой... Ефремка! Тащи-ка господину купцу лисичку в подарочек...

— Благодарствую, не надо, — сказал Пугачев. — Стало быть, я в Яицком городке лично буду. А вот казак Денис Пьянов либо Толкачев дома? Старец Филарет балакал мне о них.

2

Вечером 22 ноября 1772 года Пугачев со своим спутником, крестьянином Филипповым, въехал на двух подводах в Яицкий городок, направились сквозь сизые с морозцем сумерки прямо во двор раскольника Дениса Пьянова, отставного казака.

— Принимаешь ли, старичок, гостей? От всечестного игумена Филарета поклон тебе привез, — перекрестясь на иконы двуперстием, сказал хозяину Пугачев.

— Мы добрым гостям завсегда радехоньки. А кои по благословенью отца Филарета жалуют, рады наособицу, — приветливо ответил седобородый, румяный крепыш-хозяин.

За ужином пили вино, вели беседу все о том же самом. Хозяин толковал, что народ в городке живет в отчаянье и великом унынии, казаки ждут расправы.

После ужина завалились спать: Пугачев с хозяином на печке, крестьянин Филиппов на полу. Жена Пьянова, Аграфена, с дочкой ушли в другую половину. Когда Филиппов захрапел, хозяин Денис Пьянов толкнул Пугачева в бок и зашептал:

— Гостенек, слышь-ка... Спишь? Молва ходит, будто в Царицыне воровской человек объявился, государем Петром Федорычем себя назвал. Да бог знает, ныне слуху нет о нем. Иные баили, что скрылся он, иные, — что засекли его насмерть... А ты ничего в дороге-то не расчухал про это самое?

Сердце Пугачева замерло. В хмельную голову бросилась кровь. Он ответил казаку:

— Не воровской человек выдал себя за царя, а сам царь объявился в Царицыне, сам Петр Федорыч. Правда, в Царицыне его схватили, только он ушел, а замест его замучили другого, чтоб следы скрыть.

Пьянов широко открыл глаза, стараясь рассмотреть чрез тьму лицо гостя.

— Не может тому статься, гостенек, — сбираясь с мыслями, возразил он Пугачеву. — Ведь государь наш Петр Федорыч умер в Питере.

— Неправда твоя, — убежденно сказал Пугачев и приподнялся на локте. — Государь был спасен от лютой смерти в Питенбурхе, такожде и в Царицыне.

— Навряд ли, — усомнился Пьянов.

Пугачев ничего не ответил. Он в душе выругал себя, что малознакомому человеку наболтал какую-то несуразицу, в которую и сам не верил. А все винцо... Помедля, он перевел разговор прямо к своей заветной цели, исполнение которой казалось ему вполне возможным.

— И как это вы, вольные казаки, терпите толикое утеснение в привилегиях своих? Где же отвага ваша?.. Бабы вы... (Пьянов вздыхал, почесывался, обороняясь от наседавших на него тараканов и клопов.) А я бы провел вас в Туретчину, на Лобу на реку...

— Мы бы рады-радехоньки пойти с вами, — зашептал Пьянов, закрещивая широкий позевок, — да только как же пройдем татарские орды? Да и люди мы все бедные...

— Орда нам рада будет. А на выход я подарю в каждую семью по двенадцати рублев.

— Да что ты за человек?! — с изумлением негромко воскликнул Пьянов. — И откудова у тебя эстолько денег?

Тогда Пугачев вновь начал рассказывать затверженную им басню о том, что он заграничный торговый человек, и о своих, оставленных на границе, богатствах: парча, ковры, халаты, сапоги, — все это он накупил в Египте да в Персии, а по чумному времени товары в Россию ввезти не мог.

У хозяина от этих речей набеглого гостя кружилась голова. Поелозив по печке задом, он придвинулся к гостю вплотную и, волнуясь, сказал:

— Статочное ли это дело... Ведь такой уймы денег ни у кого нет, ни у единого купца... Разве что у государя...

Пугачева как подбросило. Он сел, свесил ноги с печки и, ударяя себя в грудь, произнес:

— Я и есть государь Петр Федорыч. В Царицыне-то бог да добрые люди сохранили меня. А замест меня засекли солдата караульного.

Вскочил и Пьянов, тоже свесил ноги, вытаращил на Пугачева глаза. А тот, опамятовавшись, испугался своих слов, схватился за голову, громко окликнул храпевшего на полу Филиппова:

— Эй, Семен, Семен, Филиппов!

— Чего гайкаешь? — не вдруг отозвался крестьянин.

— Ты ничего не слыхал?

— Нет, я спал крепко. А чего такое?

— Мне попритчилось, — сказал Пугачев, облегченно передохнув, — быдто в окно кто сбрякал.

— Спьяну тебе, должно, — недружелюбно ответил Филиппов, косясь на смутно маячившую фигуру Пугачева: в замерзшие окна скупо вплывал лунный свет.

Взволнованный Денис Пьянов, дрожа и постукивая зубами, слез с печки, накинул на плечи татарский бешмет и вышел очухаться на улицу. Следом за ним выбрался и Пугачев. Сели рядом на крыльцо, многодумно молчали.

У оставшегося в избе старика Филиппова защемило сердце: он сквозь сон слышал разбудивший его выкрик Пугачева: «Я не купец, а я государь Петр Федорыч». Господи помилуй, господи помилуй... Как же быть? Ведь влопаешься чрез знакомство с таким оголтелым... Господи помилуй!..

— Как же тебя бог сохранил? И где же ты, свет наш, целые десять лет скитался? — тихо заговорил Пьянов. Он верил и не верил словам своего подвыпившего гостя.

— А со мной милостью божией так стряслось: прибежала ко мне во дворец гвардия, графы, князья и взяли меня под караул, да, спасибо, капитан Маслов отпустил меня. Я принял на себя зрак простого человека и скрывался в Польше да в Цареграде... В Египте был, у фараонов... (Пугачев шевелил бровями, напрягая мысль, про какую бы страну еще сказать.) В Персии был, в Пруссии. А оттудов прямо к вам, на Яик...

Пьянов встал и, плохо еще владея мыслями и чувствами, низко поклонился Пугачеву.

— Хорошо, батюшка. Я перемолвлюсь со стариками насчет Туретчины-то. Что скажут, перескажу тебе.

— Токмо, чур, Денис Иваныч, балакай с людьми по выбору, не всякому о сей тайне ляпай, — внушительно погрозил Пугачев пальцем.

Звезды на небе — крупные и яркие. Лобастый с перламутровым отливом месяц катился книзу. На голубоватой церкви блестел в голубом сиянье восьмиконечный крест. Не стукнет, не брякнет, всюду холодная предутренняя тишина. Мороз важно продрал расслодевшего на жаркой печке Пугачева. Он зябко передернул плечами, мысль его прояснилась, он понял наконец, на какую погибель обрекает себя этим ночным разговором с Денисом Пьяновым. В его душе встал страх. «К черту, к черту. Отрекусь от слов. На попятный сыграю», — стискивая зубы, подумал Емельян.

— Вот что, Денис Иваныч, — мужественным голосом с решимостью начал он. — Я тебе молвил, быдто я истинный царь Петр Федорыч... Чуешь? Ну дак... — сказал он и вдруг запнулся. Ослепляющая мысль, которую он все время гнал от себя прочь, снова навязчиво встала перед ним во всей своей силе. А в крови его продолжал еще хмель гулять, — вино за ужином было крепкое. Пугачев весь, от головы до пят, как-то покоробился, вздернул плечом: «Эх, была не была. Назвался груздем, полезай в кузов». — Слышь, старик, не всякому, мол, сказывай-то... А я вдругорядь молвлю тебе: я есмь всамделишный царь!..

Огибая церковную ограду, двигался с дозором разъезд солдат. Кони пофыркивали и храпели, легкий парок подымался от их разгоряченных в беге тел. Сидящие на крыльце, пригнувшись, шмыгнули в избу.

Пугачев прожил в Яицком городке у казака Пьянова целую неделю. Пьянов, улуча момент, как-то вышептывал ему:

— Вот, ваше величество, баял я о вас старикам нашим казакам про усердие ваше в Туретчину нас вести, на Кубань. Они пришли в радость и говорят: это, мол, дело великое, надо со всеми, мол, казаками перетолковать, вот когда они соберутся всем гамузом на багренье, тогда уж...

— А что я царь есть, про сие сказывал?

— Явственно объяснить пострашился, вашество, а обиняком давал намек.

— А они что? — Пугачев перестал дышать.

Денис Пьянов, заикаясь, вымолвил:

— В сумнительство пришли.

Пугачев нахмурился, крякнул.

С утра до вечера он стал пропадать на базарах: приглядывался к народу, жадно внимал, не говорят ли что о тайно проживающем в Яицком городке Петре Федоровиче III. Но ни звука об этом в народе не услышал, и не знал Пугачев, радоваться ему по сему случаю или сожалеть.

Он купил себе пестрядины на рубаху да полтора пуда сазанов, а мужик Семен Филиппов навьючил два воза рыбы, и оба путника направились обратно.

Девятнадцатого декабря, по навету крестьянина-предателя Семена Филиппова, Пугачев был в Малыковке сыскан, схвачен стражей и представлен к «управительским делам». На допросе сознался, что он беглый донской казак Зимовейской станицы, а ежели на него от Семена Филиппова такой поклеп был, то, верно, он с пьяных глаз советовал казакам бежать на Кубань, а сам никакого намеренья не имел и в разговоре с Пьяновым царем себя не величал.

Его заковали в кандалы и направили сначала в Симбирск, далее — в Казань.

В степях поднялась несусветная метелица, пришлось задержаться на постоялом дворе в Сызрани два дня. Войдя в избу, Пугачев жаловался, что ознобил ногу, просил стащить с него сапоги. Когда разували, из сапога выпало пять столбиков золотых и серебряных денег, завернутых в бумагу наподобие трубочек. Пугачев развернул одну из них, вынул оттуда червонный в два рубля пятьдесят копеек, велел купить на четвертак вина. Эти деньги дал ему игумен Филарет.

— На мне был «через» (пояс) с серебряными деньгами, да в гаманце[1] рублей с тридцать, да рубашка стеганая дорожная, в ней зашито было сорок два рубля. Да, видишь, в Малыковке обобрали меня всего, повытчик обобрал. Ну, да бог с ним. Дай господи жить ему с моими деньгами.

За обедом Пугачев с двумя сопровождавшими его крестьянами, Шмоткиным и Поповым, хорошо выпили. Пугачев дал Шмоткину якобы на сохранение несколько червонцев.

Спустя два дня, когда улеглась метель, стали садиться в сани. Шмоткин отозвал Попова в сторону, показал ему десять золотых.

— Наш Емельян-то хочет от нас уйти... Как ты думаешь, не прижать ли мне червонцы-то?

— Брось... Пропадай он с ними... Верни деньги-то ему, — отсоветовал Попов. — Да смотри, брат, ухо-то держи востро. Не давай ему вожжей в руки. Эвот он какой, черт. А глазищи-то — страсть! Давечь пьяный зыркнул на меня, я чуть не обмер.

— Благо ты сказал мне, я теперя и сам с саней не сойду, да и рогатину из рук не выпущу.

Скованного в кандалы Пугачева, опаски ради, стали прикручивать к саням цепью.

— Чего вы, ребята, делаете? — укоряюще заговорил Пугачев. — Эх, братцы, братцы. Ведь в Цареграде хранится неисчислимое множество денег моих.

---

[1] Кожаный кисет для денег.

Ведь я купец, с заграницей торг водил. Не присугласитесь ли вы, братцы, довезти меня до Стародуба-то? Сотворите милость, постарайтесь. Коли бог принесет подобру-поздорову в Стародуб, я невесть как награжу вас, золотом засыплю до макушки.

— Нет, Емельян Иваныч, — возразил Попов. — Мне своя голова дороже всякого богатства.

В Казань Пугачев был доставлен 4 января 1773 года.

При допросе он был раздет. Его спину протерли круто посоленной водой, на коже выступили темные полосы. Тогда ему задали вопрос: кнутом или плетью наказывали его и по какому поводу бежал он в Польшу? Пугачев показал то же, что и в Малыковке, добавив:

— Ни кнутом, ни плетью я наказан не был. А сек меня на прусской войне полковник Денисов, — я его лошадь упустил.

По приказу казанского губернатора фон Брандта Пугачев был посажен в так называемые «черные тюрьмы», что в подвалах старой полуразрушенной губернской канцелярии, в кремле.

Вслед за арестом Пугачева сыск направился схватить и Дениса Пьянова. Но тот сумел бесследно скрыться.

3

В тюрьме Пугачев повел себя по-умному. Он, как и прежде, стал выдавать себя за раскольника, всем говорил, что вины на нем никакой нет и страждет он по поклепному делу за «крест и бороду». По ночам, когда большинство арестантов спит, он раскидывал выданный ему рваный полушубок, становился на него, чтоб не застыли ноги, и, гремя кандалами, начинал усерднейше, с коленопреклонением, молиться. Такую комедию он проделывал часто. И по всей тюрьме разнеслась о нем слава как о человеке набожном, благочестивом. Караульные солдаты стали относиться к нему с сочувствием и жалостью. Все называли его Емельяном Иванычем. Особливо начали отличать его

зажиточные раскольники города Казани, приносившие в тюрьму душеспасительные подаянья заключенным. Пугачеву всегда перепадало больше всех, но он, по святости своей, самые сладкие куски раздавал караульным солдатам и товарищам. Словом, смиренный Пугачев был тих, скоропослушен и при этом всегда задумчив. Случайно узнав от раскольников, что в Казань заказывать иконы прибыл игумен Филарет, Пугачев взмолился.

— Ой, да скажите вы ему... Ой, да пусть похлопочет об освобождении моем.

У Филарета не было крепкой руки среди администрации, а как он торопился ехать обратно на Иргиз, то оставил приятелю своему, купцу Щолокову, письмо с горячей просьбой выручить раскольника Емельяна Пугачева из узилища кромешного. Сам же Щолоков был в это время по торговым делам в Москве.

Филарет уехал. Щолоков не приезжал, Пугачев продолжал томиться в неизвестности несколько недель. За это время он хорошо спознался с колодником Парфеном Дружининым, купцом пригорода Алата, Казанской губернии. Купцу сорок восемь лет, лицом тощ, борода козлиная, погасшие глаза ввалились.

— А сижу я здесь давно, — покашливая, жаловался Дружинин. — У меня в пригороде свой домик, жена да трое ребят. Купцы выбрали меня целовальником — казенной солью торговать в селе Сретенском. Год времени спустя сделали мне учет, в соли нехватка вышла семи тысяч пудов. За сие дело стражду.

— Вижу, улепетывать отсель надо, Парфен Петрович. — И Пугачев подмигнул купцу.

— Добро бы... Да как? Способов нетути. Солдат на штык подденет.

— Примыслить надобно. На-а-айдем способà.

Застучали запоры, заскрипела железная дверь, в тюрьму вошел низенький, присадистый, седобородый человек в лисьем кафтане. У сопровождавшего его мальчика за плечами на веревке связка больших пшеничных калачей. Присмотревшись к подвальной промозглой мгле, старик спросил:

— А где тут донской казак Емельян Иванов?

— Я самый. — И Пугачев, гремя цепями, поднялся. — Ой, да уж не ваша ли милость Василий Федорыч Щолоков?

— Как есть перед тобой, — ответил купец. — Васютка, сбрось-ка несчастненькому два калачика.

Пугачев, смущенно помигивая и глядя с кротостью в ясные глаза Щолокова, проговорил:

— Распречестной игумен Филарет приказывал вашей милости кланяться нижайше и попросить вас, чтоб вы обо мне, бедном, постарались пред губернатором.

— За что сидишь?

— По поклепному делу, за крест и бороду.

— Добро, миленький. Я и до губернатора схожу, мы с ним хлеб-соль водим, и до секретаря схожу.

— Постарайтесь бога для! — посунувшись к купцу, шепотом заговорил Пугачев. — Да посулите губернатору-то сто рублев, а то и поболе. И секретарю, у которого дело мое, такожде суньте хоша рублев с двадцать. На взятку господишки-то падки. А денег у меня много, на хранение у отца Филарета оставил я, — врал Пугачев.

Щолоков подарил Пугачеву рубль и чрез несколько дней пошел к секретарю Абрамову с просьбой, что «ежели дело колодника Емельки не велико и не противно законам, то не притесняйте его, за что вам старец Филарет служить будет».

Вскоре Пугачеву повезло, — должно быть, раскольник Щолоков помог. По определению губернатора в марте 1773 года с него сняли тяжелые кандалы и только на ноги положили легкие железа. За благочестие, послушание и кротость Пугачева часто отпускали с прочими колодниками в город на работу, он широко этим пользовался, ходил по Арскому полю, пытливо изучал расположение Казани, поумному заводил случайные знакомства, ласковой шуткой и подачкой приручил к себе хмурых конвойных солдат. Словом, все шло как по маслу, надежда на побег возрастала у него.

4

Тем временем участь его решалась в Петербурге. Велик ли, мал ли преступник Пугачев, но Екатерина все же заинтересовалась им. Шестого мая было ею повелено: «Казака Пугачева наказать плетьми и как бродягу, привыкшего к праздной и продерзостной жизни, сослать в город Пелым, где употреблять его на казенную работу, давая ему в пропитание по три копейки на день». Это высочайшее повеление неторопливо поплелось по убойным весенним дорогам из Питера в Казань.

Будто почуяв над собой угрозу, Пугачев заторопился. К тому побудил его поразивший всех арестантов случай. Как-то под вечер он с купцом Дружининым таскал в тюремную кухню воду из колодца. Вдруг на внутреннем дворе, огражденном частоколом, раздался бой барабана и следом — громкий, протяжный стон, затем стон стал затихать, затихать и снова! — душераздирающий безумный вопль. Дружинин охнул, затрясся, зажал уши. У Пугачева пошел по спине озноб.

— Ведут, ведут! — послышались отовсюду выкрики. — За смертоубийство сотню кнутов получил, это колодник Новоселов Ванька...

Мимо Пугачева с Дружининым провели полуживого человека с оголенной, в кровь исхлестанной спиной. Его поволокли под руки два старых солдата с угрюмыми лицами. Он еле переставлял закованные в железа ноги, все время как бы падая вперед. Закрыв глаза, он в полузабытьи жевал губами и тоненько, по-щенячьи, постанывал, голова моталась, руки повисли, как у мертвеца. Сзади наказанного шли с бумагами в руках франтоватый секретарь и бледнолицый офицер в стоптанных сапожишках.

А в нескольких шагах позади — откормленный, мордастый палач; гладко бритое лицо его простодушно и глупо, по низкому лбу ремешок, поддерживающий аккуратно расчесанные волосы; он — в красной шелковой рубахе, в татарском, с форсом накину-

том на плечо бешмете, в козловых, крытых лаком сапогах.

Он, несомненно, пьян, идет враскачку, пошатываясь и сплевывая чрез губу. Наглым взглядом окинув толпу присмиревших колодников, он погрозил им ременным окровавленным кнутом. Колодники, которым в скором будущем предстояла страшная встреча с палачом, кланялись ему в пояс, подхалимно улыбались, но большинство с лютостью сверкали на него глазами и сквозь зубы шипели: «Палач, заплечный мастер, смертоубийца, кат! Чтоб утроба твоя распалась... Чтоб тебя земля не приняла... Чтоб кровью нашей охлебаться. Кат! Чумной!»

Пугачев с Дружининым забились на нары, легли бок о бок, долго лежали молча.

— Вот и нам будет то же. Видал? — начал Дружинин.

— Я те сказывал, нужно в побег нам, — ответил Пугачев. — Как погонят нас на Арское поле на работы, да коли караул будет невелик, в лодку сядем, да и были таковы. Ведь теперя вода-то полая, попрет...

— На лодке несподручно, не враз ее сыщешь, а надо сухопутьем. Я лошадь куплю, только куда тронемся?

— Об этом не пекись... — успокоил Пугачев. — На Яик можно либо на Иргиз. Лишь бы выбраться.

Утром пришел восемнадцатилетний сын Дружинина — Филимон, принес отцу съестного. Отведя парня в сторону, отец велел ему всенепременно купить лошадь и телегу: «Мы с дружком бежать надумали». Сын стал отказываться, стал уговаривать отца эту затею бросить: «А то — словят, смертию казнят».

— Я тебя страшной клятвой прокляну! — перекосив рот, замахнулся на парня Дружинин.

Сын заплакал, покашлял в кулак, сказал:

— Ладно, тятенька. Сполню.

Чрез два дня подвода была готова. Был готов к побегу и караульный солдат Григорий Мищенко. Он уважал Пугачева, верил ему и на его предложение бежать ответил радостным согласием.

Двадцать девятого мая, в восемь часов утра, Пугачев с Дружининым направились к караульному офицеру.

— Ваше благородие, — сказал Дружинин, низко кланяясь, — отпустите нас за милостыней к соборному протопопу отцу Ивану Ефремову, он мне родня.

Офицер, вполне доверяя Пугачеву и Дружинину, отпустил их, а в конвой к ним назначил солдата Рыбакова и пожелавшего сопровождать их солдата Мищенко. У Пугачева кровь бросилась в голову: все идет не надо лучше. Офицер строжайше наказал солдатам:

— Далее попа никуда с колодниками не ходить, чрез полчаса быть обратно на тюремном дворе.

Войдя в поповский дом, Дружинин облобызался с тучным протопопом, вынул денег и попросил соборного дьячка, любившего выпить, сбегать за вином, пивом и медом. Выпивали наспех, без закуски, залпом. Впрочем, сами пить весьма береглись, а накачивали вдосыт солдата Рыбакова, не знавшего о побеге. Солдат быстро охмелел, по губам слюни, стал стучать кулаком в стол, мямлить потолстевшим языком:

— Н-н-ну... Собирайтесь поскореича... Пора, эй, вы!

Ему дали еще стакан водки, смешанной с пивом. Он выпил, крякнул, вытаращил глаза и запел песню. Его подхватили под руки и повели. У церкви стояла запряженная кибитка. На облучке сидел парень Филимон Дружинин. Чтоб обмануть солдата Рыбакова, отец Дружинин крикнул:

— Эй, ямщик! Что возьмешь до Кремля доставить нас?

— Пятак, — ответил Филимон.

— Больно дорожишься, — сказал Пугачев. — Ну да ладно уж... Пользуйся.

Пугачев с Дружининым сначала впихнули в кибитку пьяного солдата Рыбакова, затем залезли сами с солдатом Мищенко, закрылись рогожей. Парень Филимон пришпандорил коня кнутом, кибитка понеслась. Рыбаков сразу же заснул. А когда отъехали от

Казани верст десять, он очнулся, ткнул Пугачева в бок, пробормотал:

— И чегой-то столь долго едем?.. Слышь...

— Да вот, брат, — смеясь, ответил Пугачев. — Кривой дорогой везут. Стой! Приехали... Вот и Кремль. А ну, вылазь, служивый.

Он столкнул Рыбакова на дорогу, свистнул по-разбойничьи, и кибитка, утонув в пыли, умчалась. А пьяный Рыбаков, ничего не соображая, кой-как добрел до дворцового села Царицына и упал под забор в крапиву возле управительского дома.

Губернатору Якову Ларионовичу фон Брандту было доложено об утеклецах лишь на пятый день побега.

Старик губернатор, слушая доклад секретаря, хотел рассвирепеть, но, щадя свое неважное здоровье, передумал. Он лишь с укоризной покачал головой, почмокал губами.

— Ах, господа... Вы меня без ножичка зарезаете... Ну что я отвечу генерал-прокурору сената? Вот не угодно ли? — И губернатор старческой рукой с синими склеротическими жилами сунул секретарю столичное письмо, где сообщалось высочайшее повеление от 6 мая — «наказать Пугачева плетьми и сослать в Пелым». — Это письмо из Санкт-Петербурга двадцать пять дней тащилось. Вот это поспешение! Ну-с. Кого я накажу плетьми, кого в Пелым сошлю? Вы говорите, оный беглец бежал? Молодец... Ах, какой молодец! А ежели он бежал, надо его скоренько поймать... Поймать, поймать негодяев! — вспылил фон Брандт, но, услыхав свой резкий, опасный для здоровья выкрик, тотчас пресек себя и отхлебнул брусничной воды со льдом.

Началась удивительная по своей российской медлительности розыскная канитель. Впрочем, фон Брандт тотчас приказал сообщить во все свои уезды о побеге, а в иргизских селениях предписал вести поиски утеклецов с особым тщанием, ибо «живущие на Иргизах раскольники бесстрашно всяких бродяг к себе приемлют». Однако двухнедельные поиски ни к чему не привели. Раздосадованный губернатор

с прискорбием сообщил в Питер генерал-прокурору сената князю Вяземскому, что высочайшее повеление о телесном наказании Пугачева и ссылке его в Пелым «не учинено, ибо предуказанный Емельян Пугачев за три дня до получения вашего сиятельства письма, с часовым, бывшим при нем солдатом, бежал». Это губернаторское письмо тащилось до Петербурга ровно сорок семь суток и лишь 13 августа в двенадцать часов ночи было срочно доложено вице-президенту Военной коллегии графу Захару Чернышеву.

Петербург — не Казань. Петербург сразу оценил, чтó за птица Пугачев. Поскакали курьеры на Дон, в Оренбург, в Казань с непреклонным приказом ловить продерзостного Емельку Пугачева, ловить, ловить!

ГЛАВА X

Избавитель нашелся

1

В тот самый день, когда граф Чернышев подписывал в Питере указ оренбургскому губернатору и грамоту Войску Донскому о поимке Пугачева, то есть 14 августа 1773 года, Емельян Пугачев, весело на обе стороны поплевывая и подмурлыкивая песню, подъехал на своей собственной лошадке к знакомому ему Таловому умету. Хозяин умета Степан Оболяев, увидя гостя, радостно закричал:

— Ах, живая душа на костылях! Где запропастился, откудов тебя, еремина курица, бог принес? Боле полугода не видались.

— Да так, брат... Шатался кой-где по белу свету, — уклончиво ответил Пугачев и спросил: — А что, брат, Степан Максимыч, меня не шукали здесь? А как Денис Пьянов, казак, жив ли?

— Про тебя, еремина курица, слава богу, не чутко, — ответил хозяин. — А вот Пьянов где-то

бегает. На Яике комендант полковник Симонов проведал, быдто бы Пьянов подбивал казаков на Кубань втекать, а тебя будто в атаманы, еремина курица... А ну, пойдем в избу, арбузов отведаем, поспели... Ныне, еремина курица, бог уродил арбузов-то... — Хитрый, неглупый уметчик отлично знал, что Пугачев сидел по поклепному делу в казанском остроге, но, не слыша от него об этом ни слова, счел нужным не огорчать своего гостя расспросами.

Пугачев прожил в Таловом умете с неделю. Он жадно искал встречи с казаками, поэтому с утра до ночи проводил время в степи, благо погода была хорошая, стрелял сайгаков [1].

Однажды, выслеживая раненого сайгака, он верст на пятнадцать ушагал от умета Ереминой Курицы.

Берег речки. Он за день уморился и прилег в кустах. И как только дал телу отдых, все те же навязчивые мысли охватили его голову. Вот он — безвестный, бежавший из тюрьмы бродяга. Поди его всюду ловят, ведь он преступник важный, не вор, не конокрад какой-нибудь, ведь он тогда невесть чего наболтал про себя старому Денису Пьянову: «Я царь, я царь...» «Ой, словят, ноздри вырвут, на каторгу сошлют... Эх, бедная моя головушка!.. Знать, не дождаться мне денечков золотых. А может, и пофартит еще. Может, яицкие казаки вожаком своим выберут. А я повел бы их, я бы на Кубань повел их либо в другие вольные места. А как утрафил бы казакам трохи-трохи, они, может статься, и атаманом поставили бы над собой. Чего бы лучше. Атаман вольного Войска Яицкого Емельян Пугачев! Булава в руке, войсковая печать в кармане!..»

— Была бы голова, будет и булава, — сказал он вслух, и от вожделенных мечтаний что-то похожее на стон вырвалось из его груди.

Вдруг видит — на противоположном высоком откосе маленькой речонки зашуршал-зашевелился куст, из-за него вылез дед с котелком и стал спускаться к воде.

---

[1] Степных антилоп.

— Здорово, старина! — выйдя на берег, крикнул Пугачев. — Беглый, чево ли? От сыщиков, чево ли, спасаешься? Да ты меня не бойся, я и сам вроде как...

— Ой, кормилец, — вглядевшись в чернобородого детину, сказал старик. — Беглые мы, это верно. От лютого помещика тягаля задали. Нас здеся-ка в укрытии четыре семейства. Не жравши сидим. В городок бы надо за хлебушком, да опасаемся. Нет ли у тя хошь корочки, кормилец? Да ты сам-то кто будешь?

Пугачев распластал ножом пополам буханку хлеба, сказал:

— Лови, дед, — и перебросил хлеб чрез речку.

— Ой ты, кормилец, ой, миленький... — давясь радостными слезами, прокричал старик. А Пугачев, будто сраженный пулей, мигом упал в кусты: на том берегу, один за одним, выросли шестеро конных казаков.

— Ты что́ за человек? — спросил старика рыжебородый.

— Житель, кормилец. — Краюха хлеба выпала из рук старика.

— Кажи паспорт!

— Нетути, кормилец. — И старик повалился в ноги рыжебородому. Тот вытянул его нагайкой, огляделся по сторонам, махнул своим:

— Эй, сюда!.. Ого, да тут много их, глянь, каких нор понарыли, что твои суслики. А ну, молодцы, пошукай!

Казаки бросились выгонять на свет живущих в земле людей. Выскакивали из нор старые и молодые, бабы, ребята. Казаки подстегивали их, вязали руки.

— За что экая напасть... Ой, господи! — вопили женщины. —Родненькие наши, помилуйте нас, пожалейте.

— Пожалеть? — взъершился было рыжебородый, но сразу сбавил тон. — Я-то пожалел бы, да ведь с нас взыск. Поди про старшину Бородина слыхали, про Мартемьяна? Он нас самих в нагайки. Черти-то вас носят, окаянных. Нет, чтобы куда подале схорониться, к городку претесь все.

— Нужда велит, кормилец. Ой, ослобони, родименький...

— Вот скажите без утайки, — важно подбоченился казак, — не слонялся ли промеж вас чернобородый такой, лет ему с тридцать пять, росту, по приметам, не больно высокого, взором нахрапист, а звать — Емелька Пугачев. Вот, дедушка, укажи, где он, ты врать не будешь. Тогда живчиком развяжу всех, идите на все стороны.

Пугачев, лежа на противоположном берегу крохотной речонки, обомлел, вмялся в землю, затаил дыхание.

— Ну так как, дедушка? — переспросил рыжебородый.

Старик поднял с земли хлеб, сдунул с него песок, раздумчиво посмотрел за речку, в сторону Пугачева, затем перевел глаза на казака, сказал:

— Нетути, кормилец. Не примечали такого человека. — Лицо его вдруг изморщинилось, борода затряслась, колени подогнулись, он охнул, схватился за куст.

Пугачев едва передохнул. «Ой, дед... Вот спасибо-то». Подбородок его дрогнул, сердце под рубахой заныло-застучало.

Рыжебородый приказал:

— Китаев с Конопатовым, гоните их в городок на одном аркане, сколько их?.. Шесть, восемь, одиннадцать... А мы дальше.

Беглецов нанизали, как бусы, на длинную веревку. Беглецы тащили на себе немудрый скарб, крутили головами, крестились, плакали. Сзади всех была привязана маленькая, щупленькая, одетая в рвань девочка. Она семенила босыми ножонками, все оглядывалась да оглядывалась на свою пещеру, терла заскорузлыми кулачками глаза, обращаясь к верховому казаку, пискливо поскуливала: «Ой, дяденька, ой, миленький, я куколку забыла тама-ка. Развяжи меня, я куколку возьму». Вот ее-то пуще всех было жаль Пугачеву.

Когда скрылись все и стало тихо, он подумал: «Ну, Омелька, берегись... А то висеть тебе, «царю», на перекладинке».

Он возвратился в умет ночью.

Как-то в конце недели, придя с охоты домой, встретил он в умете троих незнакомых крестьян с бритыми, как у каторжников, головами.

— Ну-ка, Степан Максимыч, вот животину добыл, — сказал он хозяину и сбросил из-за спины убитого сайгака. — Освежуй, брат, да свари похлебки с кашицей. А вы что за люди? — обратился он к крестьянам.

Хотя на Пугачеве простая, запачканная сайгачной кровью, грубого холста рубаха и рваные коты, а на голове колпак из шерсти, но суровое выражение загорелого чернобородого лица, властный взор и повелительный голос испугали крестьян, они повалились незнакомцу в ноги.

— Ой, желанный человек, мы беглые поселенцы, мужики, Алексеев да Федотов, а я — Чучков зовусь. И гнали нас из-под Москвы, с Коломны, на стругах, на вечное поселение в Сибирь-землю. Половина в дороге перемерла народу-то... Вот, брат... Из Казани-города мы, тройка нас, бежали да сюда ударились... Уж не оставьте нас...

— Хорошо, братцы, не унывайте, — напуская важность на себя, говорил Пугачев. — Я вас не оставлю... А покудов живите свободно здесь. Только старшинских сыщиков страшитесь.

Ободренные крестьяне утирали кулаками слезы. Старший из них, Чучков, улучив минуту, шепотом спросил уметчика, что это за человек толковал с ними.

— А это дубовский важный казак, — скрытно, похитрому ответил Еремина Курица. Спустя два дня, нарядив крестьян на дальний сенокос, он уехал в Яицкий городок к знакомому казаку Григорию Закладнову.

В Яицком городке смятение и неустройство продолжались. Казаки ожидали своей участи по делу об убийстве генерала Траубенберга. А тут, после бегства казака Дениса Пьянова, распространились слухи, что у Пьянова-де суток трое жил некий «великий

человек», а кто он таков, — неведомо. Вместо скрывавшегося Пьянова полковник Симонов приказал схватить его жену Аграфену. На допросе под присягой и пристращиванием она показала только, что был-де в их доме проезжий купец с черной бородой, из себя видный и нахрапистый, купил-де рыбы и уехал, а какой он человек, она не знает. Аграфену продержали под арестом всю зиму и ничего не добились от нее. Значит, ни начальство, ни казаки не могли доподлинно узнать, кто такой этот «великий человек» и зачем он побывал в Яицком городке.

Пока Пугачев сидел в остроге, слухи множились, приукрашались. Какой-нибудь старый дед-казак, нос в нос соткнувшись с другим таким же дедом и взяв с того страшную клятву, шептал, что «великий человек», пожалуй, не кто иной, как сам батюшка-государь Петр Федорыч, Денис Пьянов, мол намеки делал.

— К рождеству в нашем городке объявиться, свет наш, обещал.

— Не к рождеству, а весной, когда казаки всем гамузом на плавню соберутся, на багренье.

Да и среди казаков, что помоложе, всю зиму ходили упорные слухи. Так, на охоте за лисицами казак Гребнев повстречался с товарищем своим Зарубиным-Чикой.

— Будь здоров, Чика! Ну, каково промышляешь? А слыхал про добрые вести?

— Про худые слыхал... Будто в Оренбург указ Военной коллегии поступил, расправу над нами скоро будут чинить. Бежать доведется. А добрые вести не про нас, брат.

— Есть добрые вести, ой, Чика, есть, только под большой тайной поведаю тебе. Гришка Закладнов быдто сказывал, что у Ереминой Курицы проживал купец. Закладнов купца того в умете прошлой зимой встретил. Купец спросил Гришуху: «Слыхал я, будто яицкие казаки в большой беде. Верно ли?» Тот обсказал всю несчастную бытность казацкую. Купец записал слова его и молвил: «Я под видом купца посещу ваш Яик и буду иметь высокое пребывание свое у Де-

ниса Пьянова», — сказал так и куда-то скрылся. Вб, брат Чика...

— Любо слушать, — проговорил меднолицый, чернобородый Чика, слез с седла и стал раскуривать трубку. — Ну, а дале что?

— А дале — Гришуха Закладнов быдто бы встретил купца вдругорядь. Купец собрался от Ереминой Курицы в Мечетную к старцам ехать. Вскочил в седло по-молодецки, да и гаркнул: «Прощевайте, господа казаки! Был я у вас в Яицком городке. К весне опять буду с великими делами. Всех вас избавлю от лютых бед. Сабли точите да порох готовьте!» — стегнул коня плетью, да и был таков.

— Кто же он?! — вскричал, загорелся похожий на цыгана Чика.

— Великий человек. То ли обапол царицы живет, то ли сам кровей царских.

Слухи крепли. Казаки, таясь от баб и болтунов, не на шутку стали готовиться к встрече *избавителя;* не спалось, не елось, — эх, только бы весна пришла!

Но пришла весна, рыбные плавни кончились, избавитель не явился. Пришло лето, расцвели-разлопушились сады. И вместо избавителя пал на яицкое казачество громовой удар. Правда, приговор по делу восстания был значительно смягчен. Замест шестидесяти двух смертных приговоров чрез повешенье, четвертованье и отсеченье головы «всемилостивейше» определено: шестнадцать человек наказать кнутом, вырезать ноздри, поставить знаки и сослать на Нерчинские заводы «вечно», кроме сего, шестьдесят восемь казаков наказывались более умеренно, — от плетей и ссылки в Сибирь с женами и детьми до отдачи в солдаты. Все же остальное мятежное казачество, две тысячи четыреста шестьдесят один человек, от наказания пока что освобождены. Указано вновь привести их к присяге.

Меж тем возвратившийся уметчик Еремина Курица, войдя в хомутецкую, немало удивился: Пугачев, положив локти на стол и шевеля бородой, читал вслух книгу.

— Не пожелаешь ли послухать умных слов? — обратился он к хозяину и подал ему книгу. — Вот книжица. Нюхни!.. Всем книгам книга, такой ни у старца Филарета, ни у губернатора нетути. Книга сия немецкая.

Пораженный уметчик, умевший кой-как читать, поднес книгу к подслеповатым глазам, — действительно, буквицы в книге не русские, книга в важнецком из свиной кожи переплете пахла кисловато, вкусно, на переплете золотой орел, обрезы золотые. Хозяин наморщил лоб, недоуменно задвигал бровями, спросил:

— Откудов, гостенек дорогой, эту премудрость добыл?

— Бог даровал, — уклончиво ответил Пугачев (он купил ее за две копейки в Казани на толчке). — Садись. Слухай.

— Да неужто маракуешь не по-нашенски-то? — озадаченно спросил хозяин.

— Кабы не знал, не стал бы. Я по-немецки буду умом читать, глазами, а тебе — по-русскому калякать. Чуешь?

— Ах, еремина курица, да откудов же знаешь все это?

— Откудов, откудов... Не твоего ума дело, — сказал Пугачев. — Я в Пруссии был, в Туретчине был... Ну, слухай.

Вошли беглец крестьянин Чучков с своей бабой. Пугачев закрыл книгу.

Баба сказала:

— Идите нито в баню-то, мужики. Жару много.

Уметчик, чтоб подальше от греха, бросил слушать чтение Пугачева и стал звать его париться. Парились вдвоем. Увидав на груди Пугачева, под сосками, два белых сморщенных пятна, уметчик спросил:

— Чегой-то у тебя такое?

Нахлестываясь веником, Пугачев смолчал, но подумал, что уметчик неспроста задал ему такой вопрос. Что бы это значило? Уж не видался ли уметчик с Денисом Пьяновым, которому Пугачев в конце прошлого года назвал себя Петром III?

Ужинали в хомутецкой, или «постоялой», горнице, в ней обычно останавливались прохожие и проезжие постояльцы. Русская глинобитная печь, возле нее у трубы — густые тучи тараканов, в углу рукомойник и лохань, в ней плавают арбузные корки. Стены черные, прокоптелые, и в солнечный-то день здесь мрачно. Воздух пропах кислятиной, копотью, дегтем, вонью прелых онуч. Вдоль стен — нары с пыльными, просаленными обрывками кошмы, клочьями овчинных полушубков, грязным тряпьем, пучками соломы в головах. На стене, возле двери, на деревянных спицах — хомуты, вожжи, чересседельники.

После ужина Пугачев уходит с уметчиком спать на свежий воздух в большой сарай; по-казацки — «баз». Там широкая, под пологом, кровать со свежим сенником и большими пуховыми подушками. Спят крепко. Пугачев во сне то храпит, как конь, то бредит с визгливыми стонами и криком.

Поутру, умываясь у колодца, Пугачев прищурился на уметчика, заговорил:

— Вот, Степан Максимыч, ты давеча в бане спросил, что-де за знаки на мне. Так это знаки — чуешь какие?

— А какие такие знаки, еремина курица?!

— Курица, Максимыч, ты и есть, — с притворным упреком сказал Пугачев. — Ужели не слыхал ничего о царских знаках? Ведь всякий царь от рожденья имеет их. Экой ты, право...

— Да ты, еремина курица, что́? Откудов у тебя царские знаки могут быть?.. — воскликнул удивленный уметчик и приткнул на землю ведро с водой.

— Не сдогадываешься, значит, к чему говорю? — утираясь ручником, взволнованно произнес Пугачев. — Экой ты безумн-а-й! — Пугачев швырнул ручник на плечо уметчика, сверкнул глазами, с властностью сказал:

— Да ведь я — государь ваш Петр Федорыч...

Брови уметчика скакнули вверх, он покачнулся. Задыхаясь и потряхивая пегой бороденкой, стал выборматывать:

— Ерем кур... Ер кур... Как же это?.. Чтоб ко мне, в умет... Ер кур, ер кур... Ведь указы есть государыни Катерины... По всему свету, ерем кур, везде толкуют... Да нет, не может тому статься, ерем кур... Государь Петр Федорыч умер.

— Врешь! — грозно притопнул Пугачев. Уметчик вздрогнул, одернул рубаху, вытянул руки по швам. — Петр Федорыч, слава Христу, жив... Это выдумка была, что умер. Ты взирай на меня, как на него. Я и есть он, он и есть я.

В голове уметчика сразу — буря мыслей: в Царицыне государь объявился, Денис Пьянов убежал, разные слухи, золотой орел на книге, знаки на груди... И — все спуталось. Он стоял на дрожащих ногах и кланялся, кланялся и бормотал, не смея поднять глаз.

— Уж не прогневайся. Не прогневайся, ер кур... По глупости, по простоте с тобой, как с простым человеком. Не вели казнить, ер кур...

— Да что ты, раб Степан! Чего же ради мне гневаться на тебя? — Пугачев взял его под руку и повел к окруженному ракитами пруду, где хлюпались утки. — Ведь ты же, Степан Максимыч, не ведал, кто я. Да и впредь до времени чтоб никакого почтения не оказывал ты мне. Чуешь? А обходись со мной, как с простым человеком. И что я — государь, никому, окромя яицких казаков, не надо сказывать. Да и не всякому балакай, а только казакам войсковой стороны, а старшинской стороне избави бог открыть. А ба-а-бам... — Пугачев строго пригрозил уметчику пальцем. — Чтоб ни единой бабе, ни войсковой, ни старшинской. А то они по великой бабьей тайности на базарах болты начнут болтать.

— Слушаюсь, надежа-государь. — Во рту уметчика пересохло, сердце обмирало, как на крутых качелях. — Я Гришухе Закладнову доложу, вы его знаете с евонным братом Ефремкой: как зимусь в прошлом годе лисиц промышляли они, вашей милости показывались. Григорий обещал вскорости быть.

— Хорошо, — сказал Пугачев. — Я помню его. Так смотри же, Степан Максимыч, постарайся. Ведь я

тебя не оставлю, счастлив вовеки будешь. Ведай, тебе откроюсь: лютые вороги мои в цепи меня заковали, в тюрьму в Казань бросили, только бог спас помазанника своего. Побереги меня, Степан.

Через три дня Григорий Закладнов действительно приехал в Таловый умет, выпросил у Ереминой Курицы ненадолго лошадь для работы и собрался уезжать. Уметчик тихо зашептал ему, указывая на Пугачева, задумчиво сидевшего возле база:

— Слышь, Гришка, как ты думаешь об этом человеке, велик ли, мал ли он?

— А я почем знаю... Ведь он ране сказывался купцом заграничным Емельяном Ивановым.

— Царь это, — набрав в грудь воздуху, выдохнул уметчик и уставился в бородатое лицо Закладнова. — Сам государь Петр Федорыч... На выручку, еремина курица, к вашей войсковой бедноте явился. Книга у него с золотым орлом, знаки. Вот, еремина курица, какие дела-то...

Закладнов разинул рот, сбил на затылок шапку и, замигав, воскликнул:

— Вот так диво дивное!.. Ну, стало, господь-батюшка поискал нас...

К ним важной выступью, голову вверх, подходил Пугачев. Остановившись в трех шагах от Закладнова, он спросил:

— Слышал ли ты, Григорий, обо мне от Степана Максимыча?

— Слышал, батюшка.

— Ну, то-то же. Я не купец, а Петр Федорыч Третий, царь. Поезжай, друг, поскореича домой и толкуй добрым старикам, чтобы ко мне приезжали, да не мешкали. Присугласи их... А коли замешкаются и добра себе не захотят, я ведь долго ждать не стану, я ведь скроюсь, как дым. Искать будете, а не найдете. А я держу в помыслах всех вас избавить от разорения старшин и на Кубань увести. Да смотри, Григорий, чтобы старшинская сторона не узнала. У тебя жинка имеется?

— Как же без жинки!

— Ну так и ей не говори. А то сыщики ваши по степи рыщут, всякий куст обнюхивают.

Закладнов, большим поклоном поклонясь, залез было в телегу. Уметчик сказал:

— Погоди! Каша упрела. Заправься, да уж и поедешь тогда.

Закладнов обедал со всеми на голом столе, Пугачев — за особым столом, накрытым браной скатертью. Возле Пугачева — книга. Когда он замечал, что вся застолица смотрит на него, брал в руки книгу и, шевеля губами, про себя читал. Григорий Закладнов только головой крутил да причмокивал.

2

...В Яицком городке возле церкви — несусветимый плач и вой: на многих подводах угонялись в Сибирь сто сорок четыре бедняцких души, целыми семьями, с малыми ребятишками и дряхлыми старцами. Огромное скопище бедноты, сбежавшейся на проводы, мрачно окружало готовый тронуться обоз, а народ все еще прибывал. Оцепившие обоз конные и пешие солдаты щетинили штыки, замахивались нагайками, понуждая народ не напирать и расходиться по домам. Офицерик-немец в темно-зеленом сюртуке и шляпе с белой выпушкой выкрикивал с коня:

— Какие тут узоры?! Р-р-разойдись!.. Н-не толпись! Что, что? По заслугам на каторгу везут... Зря не будут.

— Тебя бы, немецкого барина, туда-то, — запальчиво бросали бабы из толпы. — Тебе русской крови нешто жаль? А на них нет вины...

— Что, что? Благодарите всемилостивейшую монархиню, что ваши головы остались на плечах...

— Благодарим, благодарим! — явно издевательски зазвенели мужицкие и бабьи голоса. — Много довольны государыней.

Офицерик-немец, притворившись, что не понял «оскорбления величества», весь вспыхнул, стегнул коня и — прочь от крикунов.

По улицам ходили патрули, не давали собираться в кучки. От дома коменданта, полковника Симонова, усугубляя страдания приговоренных, прогарцевала к заставе нарядная сотня богатеньких казаков. Заломив бараньи, с бархатом, остроконечные шапки, сверкая на солнце сбруей и оружием в чеканном серебре, сотня важно проехала мимо печального обоза. Богатенькие бросали презрительные взгляды на удрученно сидевших в телегах каторжан, своих былых товарищей. Те, отворачиваясь и скрежеща зубами, посылали им вдогонку проклятия.

Но вот команда: «Вперед, вперед!» — заскрипели телеги, обоз двинулся, увозя насильно в Сибирь сто сорок четыре души приговоренных. Выдохнув протяжное «о-о-о-ой ты...» — они истово закрестились на церковь с погостом, надрывно, давясь слезами, взголосили в провожавшую толпу:

— Прощайте, прощайте, желанные казаченьки!.. Простите нас, грешных. Хоть когда вспомяните... Прощайте, могилки сродников наших! Ой, рядышком не лежать нам с вами, белы косточки. Прощай, Яик вольный!.. Прощай, весь мир честной... Прощай, прощай навек, вольное казачество!

Толпа отвечала, как буря в лесу, общим ревом, взмахивала шапками, платками. Заглушая грохот и скрип обоза, громко рыдал весь народ в толпе и на телегах — от нежных девушек до бородатых, закаленных в боях казаков. Густейшая пыль, поднявшаяся в воздухе, размазалась по лицам сырой от слез грязцой. На тридцати пяти телегах — котомки, сундучки, кошели, мешки, и в каждом заветном семейном сундучке упрятан заветный узелок с родной землей, — когда настигнет смерть в чужом краю, всякий чает получить под гробовую доску щепоть священнейшего праха, родной своей земли, облитой в долгую жизнь яицкого казачества немалой кровью и слезами.

Из дворов выбегали запоздавшие, бросались пред проезжавшими телегами на колени в пыль, земно кланялись, с болью слезно выкрикивали: «Прощайте, прощайте, страдальцы безвинные, до Страшного суда Христова!» — И так — по обе стороны дороги, пока

двигался обоз, вплоть до самого выезда из города. У женщин, сидевших на телегах, от напряженного плача и выкриков лица пожелтели, голоса осипли. Иные женщины, обессилев, лежали поперек телег лицом вниз, вздрагивая плечами, взахлеб, приглушенно рыдая. Их отцы, мужья и братья сидели с окаменелыми лицами; иной сидит-сидит, и вдруг слезы потекут, он их не унимает, только головой трясет и хватается за сердце. Спокойно и даже с удовольствием сидели на телегах малолетки, весело перекликаясь с соседями.

— Ванька! — кричал белобрысый трехлеток. — У нас конь уда-ле-е-е...

— Нет, наш лучше... У нас с хвосто-о-ом!..

— Акулька! Глянь, два кота на крыше-е-е...

— Наплева-а-ать! А у нас у бабушки брюхо схватило... Плачи-ит...

Обоз ушел, сто сорок четыре души уехали мучиться, умирать в чужую землю, покинув на родине заколоченные хаты.

Обоз ушел, но не ушло из Яицкого городка смертное уныние. Вольное дыхание увядало, как вянет зеленеющая крона дерева, у которого подрубили корни. Хотя жизнь все же кой-как тащилась, но всяк существовал теперь стиснув зубы, и каждое казачье сердце нудно ныло, как исхлестанная езжалыми кнутами спина.

Солнце светит, но света не дает, птицы распевают, но людские уши замурованы, колокола заливисто и весело гудят, но каждому бьет в душу погребальный звон. И каждый видит пред собой отверстую могилу, куда «милостию» зазнавшегося Петербурга и высокоматерним попечением «благочестивейшей» императрицы свалены все вольности казацкие, свалены все вековечные устои свободолюбивого народа, задавлены и тоже свалены в могилу полные героизма мятежные вспышки казацкой бедноты, столь опасные для дворянского покоя империи Российской.

И мерещится опальным казакам, что чьи-то услужливые руки уже похватали лопаты, чтоб эту отверстую могилу казачьих вольностей сровнять с землей. И ме-

рещится казакам, будто ставят многочисленные виселицы, будто возводят эшафот и палач восходит по кровавым ступеням эшафота к плахе с топором.

Ждет, ждет казацкая громада избавителя, однако избавитель не приходит.

Но вдруг, — как в подземном замурованном подвале, до отказа набитом людьми, где нечем дышать и не для чего жить, — вдруг чья-то сильная рука пробивает брешь, и вместо смерти снова в подвале жизнь.

Вдруг, когда уже казалось, что все погибло, трубным звуком прогудела весть: «Избавитель нашелся!»

8

Шел теплый дождь, темнело. Еремина Курица задал лошадям овса, подбросил коровам сена, собирался домой на печку. Слышит, топочут кони, видит сквозь сутемень и сеть дождя — двое казаков-гулебщиков подъехали к умету.

— Не можно ли от не́погоди укрыться у тебя, переночевать? — спросил низкорослый казак Кунишников. — А то сайгаков промышляли мы да запоздпились.

— Заезжайте, заезжайте, места хватит, — сказал Еремина Курица, сразу сметив, что осторожные гулебщики не ради охоты на сайгаков приехали сюда.

Казаки соскочили с лошадей. Бородач Денис Караваев с бельмом на правом глазу, подойдя вплотную к Ереминой Курице, тихо проговорил:

— Не ты ли хозяин умета будешь?

— Я самый. А что?

— Да ничего. — Караваев помялся, повздыхал, с опаской поглядел по сторонам, спросил шепотом: — Правда ли, что у тебя скрывается человек, который будто бы называет себя государем Петром Федорычем?

Уметчик подергал пегонькую бороденку, переступил с ноги на ногу, боялся дать прямой ответ.

— Кто это вам наплел такие баляндрясы? — в смущенье бросил он.

— Григорий Закладнов, вот кто.

— А-а, так, так,— сразу повеселел уметчик.— Стало, вы оба, ерем кур, войсковой стороны будете? Дело. В таком разе поведаю: есть у меня такой человек. Только теперя, ерем кур, видеться с ним не можно, чужие люди есть, а оставайтесь вы до утра, тогда уж...

Приехавшие пустили стреноженных лошадей на траву, пожевали хлеба с арбузом и, за поздним часом, устроились спать на базу на сене. У противоположной короткой стены сарая, за цветистой занавеской, ночевали Пугачев с хозяином умета.

— Гости, ерем кур, приехали к тебе,— ложась спать, шепнул уметчик Пугачеву,— утречком прими их, батюшка.

— Ладно,— шепотом же ответил Пугачев.— А ты утресь проведай, бывали ли они в Питенбурхе во дворце и знают ли, как к государю подходить? Ты прикажи им, как войдут ко мне, чтобы на колени стали и руку мою, руку облобызали бы.

Утром уметчик подошел к проснувшимся казакам, переговорил с ними, распахнул ворота сарая,— хлынул ослепительный солнечный свет,— и с торжествующим выраженьем помятого, еще не умытого лица отдернул занавеску. Казаки увидели пред собою сидящего за столом чернобородого, черноусого, с горящими глазами детину. Они вскочили, отряхнулись, оправили свои кафтаны и, подойдя к столу на цыпочках, упали на колени.

— Уж не прогневайтесь, вашество, мы путем и поклониться-то не смыслим,— с волненьем проговорил, заикаясь, бельмастый Караваев.

— Встаньте, господа казаки.— И Пугачев протянул им руку ладонью вниз. Те с робостью приложились к руке.— Ну, а чего ради прибыли вы ко мне, господа?

— А мы к вам, ваше... величество, присланы милости просить и заступления за нас, сирых...

Пугачев взглянул в их лица пронзительно: уж не притворяются ли, не злоумышляют ли против него. Но лица их были подобострастны, голоса звучали

искренне. Торопясь, но с толком казаки поведали Пугачеву о той немыслимой беде, в которую попало Яицкое войско.

— А мы хотели по-старому служить, по прежним грамотам, как при царе Петре Великом.

Пока шла беседа, у Пугачева было то скорбное, то гневное лицо, он пыхтел, сжимал кулаки, бормотал: «Ах, злодеи, ах, негодники!» А как кончили, он огладил бороду, потрогал книжку с золотым обрезом и, выбирая слова, произнес:

— Ну, други мои, слушайте в оба уха, что́ скажу, и старикам вашим передайте... Ведайте, други, ежели вы хотите за меня вступиться, то и я за вас вступлюсь. Помоги нам, господи... — И Пугачев, подняв к небу взор, двуперстием истово перекрестился.

Казаки заплакали, повалились Пугачеву в ноги:

— Приказывай, надежа-государь!.. Все войско примет тебя. Не выдадим, надежа-государь... Верь!

Сердце Пугачева вскачь пошло, губы запрыгали, он сморщился, сморгнул слезу, быстро встал.

— Ну, соколы ясные, детушки мои! У вас таперя пеший сизо́й орел, так подправьте сизо̀му орлу крылья! — И Пугачев выкинул руки вверх и в стороны. Большие черные глаза его сверкали, весь вид его, невзирая на бедную одежду, стал важен и внушителен. Казаки, разинув рты, попятились... Обнимая их, он с дрожью в охрипшем от волнения голосе говорил:

— Я жалую ваше войско рекою Яиком, рыбными ловлями, угодьями, всей землей безданно и беспошлинно... А такожде и сенными покосами... И солью... Бери соль дарма, вези на все четыре ветра, кто куда похочет...

— Много довольны, ваше величество, милостью твоей великой, — вновь упали казаки в ноги Пугачеву. — Верой и правдой служить станем, крест поцелуем... Умрем!

В распахнутых воротах маячил, выставив бороду, беглый крестьянин Чучков. Внимая неслыханному разговору и тому, что казаки величают чернобородого

надежой-государем, Афанасий Чучков обратился в столб. Заметя его, Пугачев махнул рукой, крикнул:

— Иди, иди, брат, не твое дело тут!

Совещание в сарае продолжалось. Пугачев велел казакам приготовить знамена, купить голи разных цветов шелку и шнура, а ему, государю, наряд добрый, фасонистую, с бархатным верхом шапку.

— Не можно ли записать, надежа-государь, что́ да что̀ надобно купить? А то у нас головы дырявые. Да добро было бы указ ваш выдать на войско.

Пугачев смущенно замигал, покряхтел, почесал за ухом, молвил:

— Ни чернил, ни бумаги нетути здеся. Я бы, конешно, написал. Впрочем сказать, ведомо ли вам, детушки, что указы пишут великие писаря царевы, а император токмо подпись кладет? Ну, так вот, поезжайте скореича на Яик, объявляйте войску обо мне да дня через два, много через три, опять сюды скачите.

— Сенокосы у нас, надежа-государь, страдная пора! Не можно ли, батюшка, недельку повременить? — сказали казаки, кланяясь.

— Ну, нет, господа казаки... — возразил Пугачев строго. — Надобно как можно поспешать. А то в огласку дело пойдет, и вам и мне худо будет... Тогда меня здесь и не сыщете. Уж вы, детушки, старайтесь сами о себе... Да и о других пекитесь...

Кунишников с Денисом Караваевым сели в седла и, приветствуя Пугачева поднятыми на пиках шапками, скрылись в степи.

Крестьянин Афанасий Чучков подбежал к Пугачеву, сдернул колпак с обритой по-каторжному головы, припал к ногам его и, целуя сапоги, выкрикивал сквозь внезапные слезы умиления:

— Батюшка, надежа-государь, не оставь рабов своих, холопов...

Пугачев поднял его.

— Скоро не станет рабов. И ты слободу примешь... А покудов никому не сказывай, кто я есмь, — сказал он и с проворством пошел к речке Таловой выку-

наться. Его походка — четкая, быстрая, легкая. Чучков, глядя на него, залюбовался: «Ишь ты... Как девка складная идет, не по-нашенски, не по-мужиковски...»

Пугачев разделся, с маху бросился в речку. Лето кончалось, а вода все еще теплая, как молоко парное. Поплавал бы подоле, да спешить надо, и песню бы спел, да нет уж, опосля.

Но в счастливые моменты Пугачев без песен не жил. Вот и тут, надевая одежду прямо на мокрое тело, он тенористо и складно запел:

При бережку, при лужку,
При счастливой до-о-оле,
При станичном табуне
Конь гулял на воле,
Казак был в нево-о-ле...

Пел с огоньком, бросая слова и выразительные взгляды в сторону Яика, ныне ставшего ему родным и близким.

Гуляй, гуляй, серый конь,
Пока твоя во-о-ля.
Вот поймаю, зауздаю
Шелковой уздою.
Ты бежи, бежи, мой конь,
Бежи, торопися...

— Да, верно, — оборвав песню, сказал он самому себе. — Торопись, поторапливайся, Емелька... Тебе, темному, на Иргиз к старцам треба спешить, писаря искать... А то казаки и впрямь в дураках оставят. Эх ты, ца-а-арь!..

Он вприскок — на умет и, на скорую руку похлебав овсянки, заторопил Еремину Курицу ехать с ним на Иргиз-реку.

— Не опасно ли, батюшка? — предостерег его уметчик. — Ведь вас знают там все...

— Бог сохранит, — сказал Пугачев. — Мне письменного человека в канцелярию мою до краю надобно. А их, чаю, в скитах довольно.

4

Дорога была грязная. Путники на двух сытых конях ехали верхами степью. В Исакиевском скиту остановились. По приказу Пугачева уметчик сбегал к старцам, отыскал игумена, сказал ему, что объявился государь Петр Федорыч и что оный государь приказывает всем скрытным в иргизских скитах беглецам немедля идти под Яицкий городок и там дожидаться повелений. Игумен перекрестился, сказал:

— Дай-то бог. А скрытных людей нет у нас. Было человек с полсотни, да от команды сыщиков поразбежались все. А как соберутся — пошлю, беспременно пошлю.

Путники тронулись в Мечетную слободу, к куму Емельяна Ивановича — Степану Косову, тесть которого, старик крестьянин, Семен Филиппов, в прошлом году с испугу донес на Пугачева. Сердце не лежало ехать к куму, да Пугачеву пришла блажь вызволить от Степана Косова свое имущество.

Прибыв в Мечетную, уметчик остановился у околицы, а Пугачев поехал к куму, но дома не застал того, — кум возил хлеб на гумно. Пугачев направился к жнивью и возле слободы встретил возвращавшегося домой Косова. Тот изменился в лице, глаза его испуганно забегали.

— Откудов бог принес тебя, куманек?.. Вот встреча... — озираясь по сторонам, сладко запел он.

— Откудов — сам ведаешь, — неласково ответил Пугачев. — Дай бог здоровья тестю твоему, в казанском остроге по его милости тюрю с червяками хлебал. А вот, кум, помнишь поди, у тебя рубахи мои, да рыба, да лошадь остались...

— Все, родимый мой, в Малыковку забрали, да и меня не единожды таскали на допрос... Слых был, что ты из тюрьмы утек... Верно ли? А паспорт-то, Емельян Иваныч, есть ли у тебя?

— Знамо есть, — зорко всматриваясь в лицо кума, ответил Емельян.

Степан Косов, мужик большой, сильный, шел по дороге пешим, рядом с ним ехал в седле встревоженный допросом Пугачев.

— А покажи-ка.

— Для ради каких делов, кум, запонадобился тебе мой паспорт?

Путники вступили в край Мечетной слободы.

— Паспорт-то? — переспросил кум и, завидя двух жителей, стоявших у ворот, поманил их рукой к себе. Те стали лениво подходить. Косов шагнул к Пугачеву, сказал в упор: — А пойдем-ка лучше к нашему выборному, — и протянул руку, чтоб схватить коня за узду.

Но Пугачев, опоясав плетью сначала кума, потом своего коня, помчался. Под быстрый тропоток копыт, под шум ветра в ушах в его сознание внезапно вломились отрывки песни:

Ты бежи, бежи, мой ко-о-нь,
Бе-е-жи, торопи-ися...

Он покрепче нахлобучил шапку, взмотнул локтем, захохотал.

— Чего ты, ерем кур?! — крикнул подскакавший к нему уметчик.

— Лихоманка задави этого Косова, — вытирая пот с лица, ответил Пугачев. — Собака, паспорт требует. Было за грудки взял. Едва утек...

— Пошто же ты, батюшка, поехал к таким злодеям?

— Айда к скитам! Уж там-то нас не вдруг сыщешь... — И всадники ударились к Тимофееву скиту, что верстах в пятнадцати от Мечетной.

Было уже темновато, а в лесу и совсем темно. Всадники, перекрестившись на избяную церковь с восьмиконечным «древлего благочестия» крестом, въехали во двор скитского игумена, старца Пахомия. Вкусно пахло свежим хлебом. Из пекарни вышел маленький курносый старец с седой косичкой...

— А, купец никак, раб божий обшит кожей... Хехе... А это кто? Эге!.. Еремина Курица... Ах ты

живая душа на костылях, — посмеиваясь и щуря глазки, шутил старец.

Пугачев слез с коня, спросил:

— А нет ли, отец Пахомий, у тя письменного человека?.. Шибко надобен... А опричь того — беглецов нет ли?

— Да вот я! — воскликнул веселый старец и подбоченился. — Я и письменный человек, и беглец, и на дуде игрец... Хе-хе-хе...

В этот миг по дороге затарахтела топотня, на быстрых рысях пробежала ватага конников, впереди на рослом мерине пугачевский кум — Косов.

— Погоня, ер кур, ер кур... — прошипел уметчик.

Тут Косов вдруг завернул коня, крикнул своим:

— А вот, кажись, и они... Айда во двор, робята!

Пугачев, бросив лошадь, стремглав кинулся мимо пекарни, мимо старцевых келий, по огородам, через тын, скакнул в челн и, подпираясь шестом, переправился на тот берег реки Иргиза.

Чрез сутемень долетали до него крики, ругань во дворе Пахомия.

— Говори, чертов сын, куда утек смутьян? — сердито спрашивал Косов помертвевшего уметчика.

— Эвот-эвот туды он побежал, ер кур, — бормотал уметчик, кивая головой. — Вон в ту келейку.

Уметчика заперли в баню, и человек двадцать погони вместе со старцем Пахомием принялись обшаривать все кельи. Ударили в набат. Медный колокол гулко бросал сполошные звуки во все концы надвинувшейся ночи, в дремучий за Иргизом лес, в котором укрылся Пугачев. На звон набата вылезли из своих дальних келий сонные старцы. Творя «Исусову молитву», озираясь, искали, не зачался ли где, боже упаси, пожар. Даже с соседнего, Филаретовского, скита приехали на конях люди. Поиски бесплодно продолжались, сентябрьская ночь была темна, а в скиту — всего два самодельных фонаречка.

Погоня, захватив с собой арестованного уметчика, уехала ни с чем.

Когда все смолкло, Пугачев перебрался обратно чрез Иргиз, зашел в монастырский двор. В кельях

крепко спали. Он тихонько отворил дверь в пекарню, принюхиваясь, нащупал в темноте буханку хлеба, разломил ее, покормил хлебом своего коня и сам почавкал с аппетитом.

Не торопясь, Пугачев залез в седло и пришлепнул застоявшуюся лошадь по ядреной холке. Ехал лесом, озираючись. Дремучий лес безмятежно спал. По всему Иргизу, по всем марчугам и сыртам лежала ночь. Он посмотрел на звездное небо, ковш Большой Медведицы зацепил собою черную кайму лесов, — невзадолге и рассветать начнет.

Пугачев крутил головой, дивился незадачливому дню. Но уныния и в помине не было, он легонько посвистал и замурлыкал себе под нос:

Гуляй, гуляй, серый конь,
Пока твоя во-о-ля...

Милое слово «воля» взбадривало его, он смело глядел вперед, в свое будущее и чрез открывшиеся степи, залитые розоватым светом всходившего солнца, правил серого коня к осиротевшему теперь Таловому умету, где должны ожидать государя своего от Яицкого воинства гонцы.

ГЛАВА XI

Посмотренье царю гонцы делают с сумнительством. Петр так Петр, Емельян так Емельян

1

Яицкий городок осушал от слез глаза, солнце стало светить по-иному, а сердца многих сжимались волнующим предчувствием. Почти никто еще ничего путем не знал, но слухи о новоявленном царе распространялись. Этому способствовали бельмастый бородач Денис Караваев и низкорослый, с простова-

тым лицом, Кунишников, недавно вернувшийся домой из Талового умета.

Молодой казак войсковой стороны, краснощекий Мясников рано утром заглянул в дом Дениса Караваева, проведал о «батюшке» и с этой вестью поспешил к дружку своему Зарубину-Чике. Тот сидел в предбаннике, лил свинцовые пули с Петром Кочуровым, известным запивохой.

— Слыхали чудо? — И белобрысый, мордастый Тимоха Мясников, покручивая маленькую бороденку клинышком, было принялся рассказывать.

— Чудо не чудо, — перебил его быстроглазый Чика, — а этот слых мне давненько в уши влетел, мне Гребнев сказывливал, а ему Гришуха Закладнов, живовидец... Только я шибкой веры не даю, мало ль что брякают... Вот болтали же, что в Царицыне объявился царь, ну ему ноздри и вырвали, царю-то...

Мясников не хотел распространяться при запивохе Кочурове, он позвал Чику с собой на базар, живенького-де поросеночка присмотреть. Путем-дорогой Мясников говорил:

— Батюшка ведь повелел прислать к нему двух человек. Не поехать ли нам с тобой, Чика?

— А зачем дело стало? Вот завтра и поедем не мешкая, — ответил падкий до приключений Зарубин-Чика.

— Караваев толковал, что он тоже собирается с кем-то к батюшке...

— Ну и пускай едут, — сказал Чика, — они своим чередом, мы — своим.

Их встретили двое молодцов войсковой стороны.

— Куда, братцы, шагаете? Не на базар ли?

Остановились, стали закуривать, трут не зажигался, шутили, смеялись. Подошел патруль из трех солдат.

— Расходись, расходись, казаки-молодцы, — мягко сказал старший. — Нешто не читали приказа комендантского?

— Неграмотны, — прищурил глаза черный, как грек, Чика. — Уж шибко много приказов комендант ваш пишет, лучше бы жалованья поболе платил.

— Попридержи язык, — изменив тон, строго сказал старший. — Я, брат, помню тебя... В канун преображенья господня, помнится, по тебе плеть гуляла... Иди-ка, брат.

— Сегодня в твоей руке плеть, завтра в моей будет, — бросил задирчивый Чика и зашагал прочь, бубня: — Дождетесь, косы-то девкины овечьими ножницами обстрижем...

И в другом и в третьем месте появлялись патрули, следили, чтоб казаки войсковой стороны не табунились. Подходя к своей хате, Чика увидел пятерых, сидевших в холодке, казаков, они резали ножами арбузы и, сторожко озираясь во все стороны, вели беседу.

— Мне сам Денис Караваев сказывал, — потряхивая рыжей курчавой бородой, говорил вполголоса веснушчатый Андрей Кожевников. — Доподлинный государь на Таловом умете... Приглашает казаков к себе, двух либо трех, вроде как депутатов войсковых.

— Беспременно надо ехать к батюшке, — подхватили казаки. — Эй, Чика, садись на чем стоишь!..

— К кому это ехать? — спросил Чика, присаживаясь к товарищам на луговину и подцепив сочный кусок кроваво-красного арбуза.

— Да ты что, впервой слышишь? Ведь объявился государь.

— Неужто? А кто же вам сказывал? — прикинувшись непонимающим, спросил Чика.

— Да Денис Караваев с Кунишниковым, вот кто, — с раздражением ответил рыжебородый Андрей Кожевников. — Доведется ехать укрыть его, батюшку, а то у старшинской стороны ноздри широки, как у верблюда ухо, живо пронюхают... Не возьмешься ли ты за это дело, Чика? Государя поберечь?!

— Отчего не взяться, я возьмусь, поеду, — не задумываясь, ответил тот. — А куда же укрою его?

— А уж это не твоя печаль, — сказал Андрей Кожевников, поплевывая арбузными семечками. — Вези прямо ко мне на хутор, там Михайло да Степка, братья мои. Там есть, где укрыться. Стало, едешь?

Чика охотно согласился и на это предложение Кожевникова, утаив от него, что дал слово также и Мясникову ехать к «батюшке». Казаки, завидя патруль, похватали недоеденные арбузы и быстро разошлись.

В это время к бельмастому бородачу Денису Караваеву постучался в калитку высокий, сутулый, с надвое расчесанной темно-русой бородой Максим Шигаев. Ему открыла белобрысенькая девчоночка в красном платке. Караваев, от которого начались все слухи о «батюшке», сидел у печки, рылся в огромном сундуке, окованном железом. Ему помогала жена его, румяная и круглая. На полу навалены цветные тряпки, бабьи наряды.

— Здоров будь, Денис... Здорово, Варвара, — поприветствовал Шигаев. — Чего это вы тут ярмарку развели?..

— Да вот... по хозяйству... Девчонке ленту ищем подходявую, — запнулся хозяин.

Варвара неприязненно покосилась на гостя и вышла в сени.

Умный Шигаев сразу сметил опасливое настроение хозяев. Усаживаясь на скамью, спросил:

— А правда ли, Денис, сказывают, в Таловом умете царя ты видел?

Караваев взглянул в серые, острые глаза гостя и — отрекся:

— Ничего не знаю я... Это народ плетет... Глупость какая!

Казаки войсковой стороны относились к Максиму Григорьевичу Шигаеву с подозрением, — 13 января прошлого года он принимал большое участие в кровавом деле против старшин и генерала Траубенберга, но почему-то был помилован и не понес никакого наказания. Хотя официально всякому было ведомо, что Шигаев прощен за спасение капитана Дурново от смерти, однако подозрительные казаки плохо этому верили и меж собой толковали: «Наверняка из войсковой в старшинскую сторону Максим Шигаев по тайности переметнулся».

Видя такое к себе недоверие хозяина, Шигаев помрачнел, еще больше ссутулился и, глядя в пол, сказал:

— Понапрасну вы, братцы, сторонитесь меня. Я завсегда за народ. Не я ли первый с тремя стариками да с иконами на Траубенберга шел, а вы все бочком-бочком да возле стенок? Добро, что от картечи меня избавил, мимо просвистала... Эй вы, нéлюди, обижаете меня за зря. Что ж вам, сердце свое, что ли, вынуть: на, смотри!.. — Он говорил быстро, заикаясь, затем встал, мазнул рукой по надвое расчесанной темно-русой бороде и зашагал к выходу. — Прощай!

— Постой, Максим Григорьич, — остановил его пристыженный Караваев. — Не потаю от тебя: доподлинно видел человека, кой называет себя Петром Федорычем. С Сергеем Кунишниковым оба-два — мы были у него третьеводнись. Царь приказал чрез три дня прибыть к нему. Поедем-ка со мной, голубь... раз ты не супротив народа... Ты человек головастый и в Питере бывывал, вот и посмотришь государя, перемолвишься с ним.

— Давай поедем... — с готовностью согласился Шигаев, серые, острые глаза его подобрели.

— А мы вот с бабой, уж не потаю от тебя, тряпочек цветных государю-то выискиваем на хорунки[1] да позументу... Он наказывал. Стало, завтра двинемся?

— Ладно. Уж раз сказал, вилять не стану.

Меж тем Зарубин-Чика еще с вечера стал собираться в путь со своим дружком Мясниковым. Жена Чики, узнав, стала бранить его:

— Забулдыжник!.. Этакое дело затеваешь... Да тебе ли нос совать? Мало тебя дерут да в кагалаге морят за буйство за твое?

— Замолчь! — заорал Чика и, предупреждая жену, чтоб она о «батюшке» никому и пикнуть не могла, оттрепал ее за косы.

В избе Мясникова тоже происходила свара. Молодой краснощекий Мясников боялся жены, как заяц волка. Жена у него, суровая, черноглазая и

---

[1] Знамена.

сильная, любила погулять и выпить. Когда Мясников робко заикнулся, что завтра собирается с Чикой депутатом к государю, Лукерья сразу оглушила его страшным криком, сорвала с полки вожжи, чтоб дать мужу лупку. Мясников было схватился за саблю, но, опамятовавшись, бросился спасаться в огород. Лукерья настигла его, свалила меж гряд и потрепала. Тихий Мясников побожился Лукерье, что не поедет гонцом к «батюшке». И примиренье состоялось.

Утром за Тимофеем Мясниковым заехал громкоголосый, никогда не унывающий Зарубин-Чика. Лукерьи дома не было, ушла к обедне в церковь.

— Уж полно, ехать ли нам, — стал мяться Мясников, вспомнив вчерашнюю перетырку с бабой. — И без нас найдутся... Да и пошто ехать-то? Как бы худа какого не было...

— Ну и дурак ты, Тимоха... Вот баба! Ведь вчерась ты сам меня звал. Сбирайся живо, толсторожий черт! — дружески заругался горячий Чика. — Вроде как гулебщиками будем, я и ружьишко прихватил.

Друзья выехали верхами в Таловый умет. А спустя часа два следом за ними потряслись в телеге и Денис Караваев с Максимом Шигаевым. Им и в мысль не приходило, что впереди них правятся «на посмотренье к батюшке» два других посланца войсковой стороны — Мясников и Чика.

Всадники прибыли в Таловый умет к вечеру. Зарубин-Чика спросил подметавшего двор крестьянина, дома ли хозяин и тот человек, что живет у него. Крестьянин ответил, что оба они, и хозяин и гость, куда-то уехали, а скоро ль вернутся, он не знает.

— Да не ты ли Афанасий Чучков? — спросил Чика.

— Я самый, а вы кто такие будете?

— Ты нас не страшись. — И Чика назвал себя с товарищем. — Мы депутаты от войска к батюшке-царю, гонцы. Вот видишь, и твое имя узнали. Не святым же духом мы. Нам сказано было. И ежели государь где схоронился, толкуй нам без боязни: мы слуги его величества.

Тогда крестьянин сказал:

— Царь велел, чтоб вы его подождали тут... А он, правда, что уехал, не вру... Сегодня в ночь, а то завтра будет здеся во всяком разе...

Зарубин-Чика понимал, что оставаться возле умета при большой дороге опасно: мало ль тут народу проезжего да прохожего бывает. Он сказал мужику:

— Мы в степь подадимся. Вон возле тех кустов крутиться станем. И заночуем там. А как батюшка пожалует, кликни нас.

Другая пара — Максим Шигаев с Караваевым, — не доехав верст трех до умета, заночевали в степи. Утром, бросив телегу в кустах, Денис Караваев погнал верхом в умет. Крестьянин Чучков сказал ему, что ни «батюшки», ни Ереминой Курицы нет еще, а вот два казака прибыли сюда, Мясников да Чика, эвот-эвот они за теми кустишками живут.

Услышать о двух незваных свидетелях Караваеву было неприятно. Ну, Мясников туда-сюда, а вот Чика — человек причинный и нахрапистый, от него всячинки можно ожидать. Вообще Караваев, да и не он один, а многие казаки побаивались друг друга «при начатии столь великих дел». А вдруг неустойка... Господи ты боже мой!.. Хорошо, ежели петля, а то — четвертовать учнут.

— А ты ничего не сказывал им про государя?

— Все обсказал... Они назвалися епутатами. Ну, я и... тово...

— Ах ты чудак-рыбак... Пошто ж ты всякому ляпаешь? Договоришься, снимут с плеч башку, — уныло поблескивая бельмом, пенял ему Караваев. — Ну, я с товарищем по ту сторону речки буду. Когда приедут, уведомь, мальчонку пошли...

Подъезжая к «ночеве», Караваев приметил у своей телеги двух всадников, Мясникова и Чику. А Максима Шигаева, с которым он приехал, возле телеги не было. Зная отношение к себе казаков и опасаясь встречи с Чикой, грубияном и охальником, осторожный Максим Шигаев спрятался в приречных камышах.

— Здоро́во, Денис Иваныч! — крикнул Чика навстречу подъехавшему Караваеву. — Сайгачишек, что ли, пожаловал стрелять? А где же товарищ твой? Мы тебя сам-друг видели. Кто он таков?

Караваев уставился бельмом на Чику, неохотно сказал:

— Да тут... как его... калмычонок один подсел ко мне. Сайгаков ушел промышлять, надо быть.

Зарубин-Чика на всю степь захохотал:

— Ой, да и лукавый ты, Караваев!.. Даром что долгобородый, а лукав, лукав, брат. Ведь ты к государю, к Петру Федорычу, приехал с Шигаевым... А то-о-же — калмык, калмычонок... — И Чика снова захохотал во все горло.

— Полно врать-то тебе, болтушка, — огрызнулся Караваев. — Мы и не слыхивали этого ничего. Откудов здесь государю быть? Окстись!

2

В это время «государь» прибыл в умет. От двух бессонных ночей лицо его утомленно, глаза потускнели.

Крестьянин Чучков, низко кланяясь и пособляя слезть «батюшке» с седла, спросил:

— А где же Еремина Курица?

— Курицу твою петухи затоптали в скиту у Пахомия, — грустно улыбнулся Пугачев. — А мужики из Мечетной весь хохол ей повыдергали, да поди и во щи покрошили. Ну, а был ли кто от войска Яицкого?

— Были, были, надежа-государь. Четверо!

Афанасий Чучков вместе с племянником Ереминой Курицы, Васькой, залезли на крышу сарая, стали махать шапками.

Быстро прискакал Караваев. Простодушно осклабясь, он поздоровался с Пугачевым, как с знакомым, и пригласил пожаловать в свой стан, к телеге, где дожидается казак Шигаев.

Пугачев попросил Ваську подмазать свои рваные сапоги дегтем, встряхнул пропылившийся армяк,

подтянулся, расчесал медным гребнем волосы на голове и бороду, сел на свежую караваевскую лошадь и поехал рысцой вперед. А Денис Караваев направился пешим вслед за ним.

Подъехав к задумчиво сидевшему на траве возле телеги Максиму Шигаеву, Пугачев слез с коня, поклонился казаку и молча сел рядом. Горбоносый, с надвое расчесанной бородой, Максим Григорьевич Шигаев показался Пугачеву степенным и заслуживающим доверия. А Шигаев, приняв Пугачева за простого человека, не обращал на него никакого внимания, он нетерпеливо посматривал на Караваева, подходившего к ним, и громко закричал ему:

— Ну как, Денис Иваныч? Не прибыл еще сам-то?

— А вот он, вот наш батюшка, — указал тот, подходя, на Пугачева.

Оторопевший Шигаев вскочил, бросил робкий взгляд на Пугачева, сорвал с головы шапку и со всем почтеньем поклонился ему:

— Ой, прости, милостивец, что по дурости своей казацкой шибко дрянно обошелся с тобой.

— Ништо, ништо, друг мой, — проговорил Пугачев. — А вот скажи-ка мне, чем закончилась ваша тяжба со старшинами, с недругами вашими?

Высокий и тонкий Максим Шигаев, сутулясь и держа руки по швам, принялся рассказывать. А Караваев, раскинув на лугу большой женин платок, как скатерть, стал готовить угощение: сотовый мед, яблоки, арбузы. Вдали, быстро приближаясь к становищу, показались два всадника. Шигаев оборвал речь, выкрикнул:

— Ишь ты! Опять Чика с Мясниковым. Боюсь этого вора Чики, человек он сорвиголова, задира. Давай, государь, схоронимся в камыши, пускай они своей дорогой правятся. А то с этим Чикой пропадешь, пожалуй.

Шигаев и Пугачев, не раздумывая, поспешили в кустарник и, отойдя немного, засели в камыши, а Караваев торопливо стал прятать в телегу угощение.

— Где государь? — еще издали закричал Чика. — На умете сказывали, что он здеся-ка.

Караваев растерялся, смотрел на подъехавшего ближе Чику озлобленно, не зная, что ответить ему.

— Чего шары-то уставил на меня? А это чья шапка? — И Чика указал кнутом на валявшуюся шапку Шигаева. — Я все равно не уеду отсель, пока своеглазно не увижу, хоть трое суток просижу. Мясников, слезай!

Оба всадника соскочили с коней.

Караваев волновался, большую бороду его шевелил легкий ветерок. Он вздыхал, бормотал себе под нос, бесцельно ходил вокруг телеги, вытащил из передка мешок. Чика смотрел на него выпуклыми черными глазами насмешливо и нагло. Караваев не выдержал, прерывающимся голосом заговорил:

— Слушай, Чика. Только ты не обидься, друг. Мы, признаться, опасаемся тебя. Сам знаешь, дело у нас затеялось, прямо скажу, страховатистое, голов лишиться можем.

— Ну?

— Поклянись, что ты зла нам не учинишь... Тогда мы тебе батюшку покажем. — Денис Караваев достал из мешка икону и водрузил ее на телегу, прислонив к арбузу. — Вот помолись-ка, брат, богу да клятву принеси. Тогда поверю тебе.

Зарубин-Чика с Мясниковым, помолясь иконе, облобызали ее и поклялись держать все в тайне.

Караваев как живой воды хлебнул, быстро спрятал икону, залез на телегу, повернулся в сторону речки и призывно закричал:

— Максим! Шигаев!.. Выходи...

Из кустов вышел Пугачев, за ним — длинный Шигаев. Быстро и четко ступая, Пугачев приблизился к телеге.

— Здравствуй, Войско Яицкое! — приподнятым тоном сказал он. — Раньше ваши отцы и деды, да и сами вы в Москву да в Питенбурх к великим государям ездили, а ныне бог внял слезам вашим — сам монарх явился к вам. Вот я тот, кого ищете, Петр Федорыч Третий, царь.

Мясников и Чика низко поклонились Пугачеву. У Чики кровь прилила к щекам и заныло сердце: он чаял увидеть царя в сиянии и славе, а пред ним простак.

— Бояре возненавидели меня: ведь я за простой люд заступник был, а бояр не миловал. Они меня престола лишили и задумали извести смертию, да бог сохранил помазанника своего. Я долго странствовал. А ныне положил в сердце своем снова на престол вступить... Окажите мне, детушки, защищение и помощь.

Голос Пугачева звучал искренне, речь выходила складной, в печальном, исхудалом лице — большая скорбь, но глаза, глядевшие в упор на Чику, горели решимостью. Казаки вперебой проговорили:

— Послужим, батюшка... Рады служить тебе...

Караваев суетливо готовил трапезу. Пугачев сел на траву. Сзади него стоял Максим Шигаев. Денис Караваев кромсал арбуз, преподносил на кончике ножа лучшие куски царю. Подошел с умета крестьянин Чучков, поклонился и, не дожидая приглашенья, сел рядом с Пугачевым, подогнул под себя ноги в трепаных лаптях. Мясников и Чика, стесняясь сесть с государем без зову, отошли к телеге, присели на оглоблю. Караваев подставил Пугачеву на блюде мед. На запах налетели из тальника осы и шмели. Шигаев отмахивал их от государя шапкой.

— Да, други мои, — говорил Пугачев, исподлобья все еще косясь на Чику. — Много я за двенадцать лет скитаний претерпел бедности. Вот и ныне, видите, каков? — Он с пренебрежительной ухмылкой одернул полу армяка, вздохнул: — А мне ли, государю, в сем непотребном платье хаживать? Ничего, терплю... Народ мой верный еще пуще терпит.

— Терпим, терпим, батюшка... Ну, да об эфтом в другой раз, в свободное времечко, а теперича, ваше величество, покажи-ка нам, батюшка, свои царские знаки, — осмелев, проговорил Денис Караваев. Он, в сущности, сказал-то спроста, сгорая нетерпением, чтоб все присутствующие, особливо коварный Чика, скорей уверовали в царя новоявленного.

Пугачев вскинул голову, сдвинул грозно брови и бросил Караваеву в упор:

— Раб ты мой, а хочешь повелевать мною!..

Все враз замерло: Денис Караваев от резкого окрика «батюшки» побелел. Чика разинул рот. Мясников привстал с оглобли. Максим Шигаев, кланяясь и желая скрасить грубость Дениса, сказал певучим голоском.

— Не прогневайся, свет наш... Мы не обучены... Мы путем и молвить-то не смыслим.

Пугачев схватил нож и, проговорив:

— Раз не верите, так смотрите же, — распорол ворот рубахи. — Ведайте, вот знаки царские...

Все нагнулись над знаками на груди пониже сосков. У толстощекого Тимохи Мясникова руки и ноги от страху затряслись. Казаки, прищелкивая языками, выражали удивление, Денис Караваев даже перекрестился. Только Зарубин-Чика остался осмотром недоволен, он отошел в кусты тальника, там, крадучись, просмеялся, затем вышел из кустов и стал шептать Караваеву, стараясь удержаться от улыбки:

— А пошто же он в бороде и стрижен по-казацки? Да и сряда мужичья. Царь-то Петр Федорыч на портрете бритый, видывал я в канцелярии.

— А это он, свет наш, опаски ради укрывает себя, чтоб сыщики прицепки не сделали. Сего дня и бороду запустил в рост.

Подслушав шепот, Пугачев приободрился.

— Царь есть великая особа, други мои, — поучительно начал он. — Когда государь сидит на престоле, он народа своего не зрит и скорбей его не чует. А вот пришел царь в народ, его не с радостью, а с сумнительством встречают. Эх, детушки, детушки!.. А вы верьте мне. Вот примечайте, как узнают истинных государей. — И, раздвинув на левом виске волосы, он показал след от старой оспины.

— Надежа-государь, орел это, что ли? — пополам согнувшись над сидевшим «государем» и уставя горбатый нос в белое сморщенное пятнышко, робко вопросил длинный Максим Шигаев.

— Не орел, а императорский герб, друг мой.

— Что ж, надежа, все цари с гербом рождаются, алибо промыслом божиим по восшествии на престол сие творится?

Пугачеву почудилась в голосе Шигаева издевка.

— Из предвеку так, — сурово произнес он, подымаясь. — А и то сказать, вам, простым людям, оной тайны ведать не положено. — Пугачев видел, что ему плоховато верят. Скорбно у него на сердце стало и жутко. Он каждую минуту ждал, что его обзовут вором и набросят на шею аркан. Ба! Да ведь у него есть книжка с золотым орлом! А не поможет ли она убедить казаков в его царственном происхождении? Он хлопнул себя по карманам штанов, суетливо пощупал за пазухой — книжки не оказалось: видимо, он обронил ее в киргизском лесу, спасаясь от погони. «Дурак, дурак, этакую знатную вещицу потерял». Но медлить недосуг. Внутренне взволнованный и оробевший, он выпрямился во весь рост, сложил руки на груди, с гордостью откинул голову и вопросил отчаянным голосом: — Ну, верите ль таперя мне, детушки, что я есть истинный царь Петр Федорыч, владыка ваш?

— Верим, верим! — дружно откликнулись казаки. — За великого государя признаем.

Пугачев весь затрясся и смахнул с побелевшего лица горошины пота.

Наобещав казакам всяких благ, он приказал двум из них ехать в городок за хорунками, а двум оставаться здесь, оберегать его особу.

Шигаев с Караваевым выехали в Яицкий городок, а Пугачев с Чикой и Мясниковым направились в степь.

3

Двигались верхами. Ночевали в степи без костров, таились, опасаясь сыщиков коменданта Симонова. Утром опять тронулись в путь. Чика вел царя чрез Сырт, гористой степью, на хутора братьев Кожевниковых.

Пред Пугачевым расстилались незнакомые, скучные места. На душе было смутно, тягостно, он не

знал, что́ его ожидает впереди. Он весь теперь — в зависимости от Чики и Мясникова. А что у них в мыслях? Может быть, оба казака — предатели. Ну, этот краснощекий, с беленькой, клинышком, бородкой, кажись, парень ничего. А вот черный, лупоглазый Чика? Выжига, околотень какой-то, прямо — черт! Ведь Чика сразу усомнился, что Пугачев есть царь, да поди и теперь не верит. Неужто они, дьяволы, предадут его? «Эх, Емельян, Емельян... Не попятиться ли тебе, отпетая твоя головушка, пока не поздно?.. Подумай-ка над тем, что затеял ты, дитятко безумное... Ради малых ребятишек, ради жены да матери родимой пожалей бесшабашную башку свою». В тяжелом раздумье Пугачев ехал на серой кобыле, повесив голову и надсадно вздыхая.

Гуляй, гуляй, серый конь,
Пока твоя во-о-ля... —

снова назойливо пришла ему на память все та же песня. Но милое слово «воля», получив на этот раз особый зловещий смысл, направилось отравленной стрелой против его собственного сердца. И сердцу стало невыносимо больно. Где она, золотая воля? Была и — нет ее.

— Вздремнулось, ваше величество? — спросил его ехавший справа Чика.

— Вздремнулось, казак. Третью ночь не сплю.

— Скоро на месте будем, — проговорил Чика и почему-то вздохнул.

Пугачев протер глаза, встряхнул плечами, задумался. Он посмотрел по сторонам, — все та же выжженная степь, кой-где холмики, кой-где деревцо торчит.

Исподволь, незаметно, и степь, и небо, и все четыре конца земли свернулись, словно необозримый плат, обняли Пугачева, приплюснули; он стал, как в мешке, охваченный со всех сторон какой-то плотной пустотой, и — все исчезло.

Он зябко вздрогнул, шире открыл глаза, — степь, небо, голова в голову Чика мотается в седле. Пугачев уголком глаз поглядел чрез плечо в чубастое,

чернобородое, медное от загара лицо казака и заговорил:

— Петр Первый, покойный дедушка мой родной, странствовал в чужих землях лет семь. А я вот десять годков за границей пробыл. Да два года меж простого люду странствовал по Россиюшке... И где только не привел мне бог побыть.

Казаки молчали, словно оглохли оба.

— Ведь Иван Окутин, старшина ваш, поди, помнит меня, — продолжал он менее уверенно. — Поди не забыл, как я жаловал его саблей да ковшом, когда в цари садился.

Казаки молчали.

«Плохо дело», — решил Пугачев и не на шутку оробел. Конь под ним закачался, степь заколыхалась, пред глазами встал туман. Напряжением воли овладев собой, он спросил:

— А как вы, други мои, полагаете, согласны ли будут ваши казаки признать меня?

Опять молчание. Пугачева бросило в холод, потом в жар. Но вот Тимоха Мясников ответил:

— А кто ж их знает, ваше величество, может статься — примут, а может, и не примут...

А Чика добавил покровительственно:

— Уж мы постараемся, ваше величество. Люб ты нам.

Теперь недоверчиво взглянул на него Пугачев: «Вот поди узнай, что у человека на сердце». Просверкала речка Малый Чаган, поросшая тальником. Невдалеке на взлобке серел Чаганский форпост. И как легли сумерки, три всадника подъехали к хутору младшего брата Андрея Кожевникова, Михайлы.

Михайло сидел на завалинке со стариком, отставным казаком Шаварновским. Седоусый казак жил из милости на хлебах братьев Кожевниковых в отдельной избе.

— Куда, братцы, путь держите? — спросил Михайло, подымаясь с завалинки и здороваясь с Чикой и Мясниковым.

— Да куда, к тебе! Вот и гостя привезли. Принимай, браток.

Михайло взглянул на чужого человека в верблюжьем армяке и в холщовой рубахе.

— А что за человек?

— Государь Петр Федорыч, батюшка наш, — не моргнув глазом, выпалил Чика. На душе Пугачева потеплело, а Михайло, как в землю врос, стоял столбом и таращил глаза, потеряв способность речи.

— Язык, что ли, ты, Михайло, проглотил? — сказал Чика. — Ведь мне твой брат Андрюха так и молвил: вези, говорит, прямо к нам на хутор, есть где укрыться.

Пугачев потупил глаза. Ему неприятен был такой прием.

— Боюсь, братцы, прямо боюсь, — наконец проговорил Михайло. — Ведь у меня завсегда народ толчется, сыщики шмыгают, долго ли до беды. Воля ваша, опаска меня берет. Вот, может, к дедушке?..

— А милости просим! — радостно воскликнул Шаварновский, и продубленное лицо его взрябилось улыбчивыми морщинами.

Изба старика небольшая, чисто внутри выбеленная. Сели за ужин. Пришел старший Кожевников, рыжебородый Андрей, внимательно, с подозрением присмотрелся к гостю, поморщил нос, вздохнул: гость что-то не понравился ему. А гость сидел в переднем углу, держал себя с достоинством, цепко присматривался к людям. Ему хотелось воздействовать на умы собравшихся, уверить людей, что он есть подлинный государь. Он ждал подходящего момента, с интересом вслушиваясь, что нашептывают братьям Кожевниковым Чика с Мясниковым. «За меня стоят... Слава те Христу, за меня!.. Спасибо Чике», — думал он.

Михайло Кожевников стал сдаваться. Шептал:

— Ведь я, господа, не столь давно с депутацией в Питер ездил. Ну и там слух такой... Жив, мол, Петр Федорыч. Правда, публикации о его смерти были, а вот в прошлом году болтали же в народе, что он,

батюшка, объявился-де в Царицыне и там запытан.

Пугачев подбоченился, веско проговорил:

— Эту побаску враги мои лютые распускают, что я запытан в Царицыне. Вот я — жив, здоров. — И повел длинный рассказ о царской незадачливой судьбе своей. Он говорил плавно, вдумчиво, грудным глубоким голосом, располагающим к доверию. Он выдумывал разные небылицы о чудесном избавлении из-под ареста в Ораниенбауме (с помощью какого-то капитана Маслова), о своих заграничных странствиях, о возвращении в Россию и т. п.

Он сочинял находчиво и складно, дивясь себе. И чем больше привирал, тем сильней работала его фантазия. Все развесили уши, вытянули жилистые шеи в сторону «батюшки», слушали не мигая. Лишь Андрей Кожевников поглядывал на Пугачева подозрительно, курчавая рыжая борода его обвисла, веснушки побелели, он все больше убеждался, что это не царь, а какой-то «охряпка» подставной.

— В святых книгах предуказано пророками объявиться мне, государю, года чрез полтора... Ну, я не смог сдержаться, видя народ свой в великой пагубе. И было мне видение в нощи, будто бы голос присносущий наущал меня: «Благословенный раб Петр, иди-де в Яицкий городок, спасай войско, оно тебя примет и защиту даст, а то и не увидишь-де, как всех их у тебя растащут. В Яицком городке, молвил голос, даже образ спасителя рыдает дненощно, видя утеснение казацкое...»

— Рыдал, рыдал!.. Так и было. Точь-в-точь!.. — кривя рот, вскричал седоусый старик Шаварновский, и по его щекам покатились слезы.

— Да неужто верно, детушки? — ловко притворился Пугачев (он на базаре в Яицком городке слышал о «рыдающем спасителе»).

— Правильно, ваше величество, — подтвердила застолица: — У казачки Анны Глуховой в хате образ тот...

Пугачев, кряхтя после сытного ужина, покачал головой и, не подымаясь со скамейки, сделал трудный

полуоборот к иконам и набожно осенил себя двуперстием. И все за ним перекрестились.

— Стало, и сам бог так велит, господа казаки. Посему и пришел я к вам. Вы, детушки, только держитесь за мою правую полу да не отставайте. Сизо́й орел вознесет вас и даст вам жизнь добрую. А ежели сизо́го орла упустите, не пеняйте на него, — сизо́й орел найдет себе место... — с оттенком угрозы закончил он.

— Что ты, батюшка! — И старик Шаварновский, тряся сивыми усами, опять пустил слезу.

Вся застолица, передохнув от горячих речей царя, заговорила:

— Оставайся с нами, надежа-государь. Послужим тебе!

— Благодарствую, — ответил Пугачев.

Чика, помедля, встал и низехонько поклонился ему:

— Я, ваше величество, сейчас двинусь к войску о твоей персоне объявить. Баклуши бить некогда...

— Хорошо, друг, поезжай. Сроку даю тебе три дня. Уведомишь, что́ молвит войско.

А на другой день Пугачев приказал и Мясникову ехать в городок — купить красные козловые сапоги, шитую подушку на седло и богатый намет вместо потника. Дал ему три рубля, сказал:

— Отыщи, друг, писаря доброго и надежным людям объявляй о государе Петре Федорыче. А где я пребываю своей персоной, того не сказывай.

В тот же день уехал и Андрей Кожевников. Мрачный, разрываемый сомнением, он мчался вмах. Приехав в городок, он стал жаловаться Максиму Шигаеву, что «вор Чика навязал им какого-то охряпку-проходимца, да и говорит, вор, что это Петр Федорыч». Умный Шигаев, видя душевное состояние Андрея Кожевникова, притворился, что сочувствует ему.

Зарубин-Чика тоже мучился сомнением; дело с «батюшкой» нечисто! Прибыв домой, он поздним вечером направился к Денису Караваеву.

— Слушай, Денис... только, бога ради, не таись от меня, — дело общее затеваем... Что за человек этот самый... Петр Федорыч?

Бельмастый Караваев в начале слепо верил, что тот «великий человек», пред которым они с Кунишниковым в сарае Ереминой Курицы когда-то стояли на коленях и проливали слезы умиления, есть воистину надежа-государь. Но после осмотра «царских знаков» в его душу вломилось сомнение. Однако сейчас ему не хотелось откровенничать. Оглаживая волнистую бороду свою и недоверчиво поглядывая на Чику, он молчал.

— А знаешь что, Денис Иваныч, ведь мне «батюшка»-то наш открылся: ведь он не царь, а простой казак, — не моргнув глазом, ловко соврал плутоватый Чика, явно стараясь вызвать скрытного Караваева на откровенность.

К бородатому лицу Дениса Караваева прилила краска. Он подошел к окну, заглянул на улицу, заглянул под занавеску, не подслушивает ли их любопытная Варвара. Затем взволнованно положил Чике руку на плечо:

— Поклянись ты мне, Чика, что ни отцу с матерью, ни жене, ни чужим людям не станешь болтать?

— Вот тебе Христос, ей-богу, нет, да что ты, Денис!

— Тогда слушай, — шумно передохнув и как бы прощаясь со сладким сновидением, решительно заговорил Денис Иванович Караваев. — Конешно, горько нам думать, что он не царь, а, допустим, донской казак. Ну и бог с ним. Пусть он вместо государя за нас заступит, а нам все едино, лишь бы в добре быть.

Глаза Чики заиграли, к бронзовым щекам тоже прилила густая краска.

— Так тому и быть! — крикнул он и с отчаяньем, с каким-то горьким удальством бросил шапку об пол. — Стало, так на роду написано нашему войску.

— А может, он и царь... Почем нам знать? — пытаясь озадачить Чику, задумчиво молвил Караваев.

— Нам хуч бы пес, абы яйца нес... — махнул рукой Чика.

4

«Царь он или не царь?» — ломал голову Зарубин-Чика. Он пробыл в Яицком городке несколько дней, ходил по базарам, прислушивался к голосу народному. Большинство казаков войсковой руки знали, что где-то вблизи городка скрывается государь, но относились к этому по-разному:

«Коли это подлинный царь, тогда раздумывать нечего. Коменданта со старшинами перевязать, и айда всем войском к батюшке. Ну, а ежели он подставной, тогда как? Часть войска примет, другая — не примет. Стало, опять усобица пойдет, опять кроволитье. А наша жизнь после мятежа и так вся вверх дном. Чегой-то, братцы, боязно... Сумнительство берет...»

И Чика и Мясников, ничего путем не сделав, ни с кем в городке не переговорив, а лишь наслушавшись сбивчивых базарных разговоров, явились на хутор братьев Кожевниковых.

Мясников привез государю сафьяновые сапоги, подушку под седло и хороший намет. Пугачев спросил, объявили ли они надежным людям о государе-императоре. В ответ Чика с Мясниковым стали наперебой врать:

— Многим уважительным людям объявили, надежа-государь, и в городке и по зимовьям... Кои верят, а кои в сумнительстве. Мы твоим именем приказывали верным людям собираться по нашей повестке на речку Усиху.

— Ну ладно, увидим, что будет, — ответил Пугачев сурово.

Общим советом решено: здесь оставаться опасно, надо тотчас же уезжать на вершину речки Усихи, — отсюда двадцать, от Яицкого городка полсотни верст. Место там открытое, степное и безлюдное. А на кургане — высокое дерево, залезешь — все концы видать.

Ночью оседлали четырех коней и втроем поехали. Четвертый крепкий конь — заводной, в запас под Пугачева. «Батюшка» не толст, но тяжел и силен, редкая лошадь могла долго бежать под ним.

Новое место Пугачеву понравилось.

— Шибко караулистое место, дозорное, — похвалял он, — уж тут-то не сцапают нас врасплох.

Тимоха Мясников по приказу Пугачева снова уехал в городок за представителями войска. Чика остался с Пугачевым сам-друг. «Кто же, кто же он? Царь или не царь, царь или обормот дико́й?» — неотступно мучило Чику. И вот, не выдержав, мысленно перекрестился, бухнул напрямки:

— Не прогневайся, батюшка, скажи-ка мне сущую правду, не утай: точный ли ты государь есть?

Пугачев по-страшному засверкал на Чику глазами. Но Чика не струсил, заложил руки за спину и на грозный взгляд Пугачева ответил наглым и смелым взглядом.

— Не стращай, батюшка, я не больно-то пуглив. А лучше откройся, ведь нас немного здесь, ведь двоечка только, ты да я. Мне вот Денис Караваев сказал...

— Что он, безумный, сказал тебе?

— А то и сказал, что ты донской казак, — ловил Пугачева нахрапистый Чика. — Уж не прогневайся, гостенек милай!

Пугачев затрясся, заорал:

— Врешь, дурак! Врешь! — плюнул и пошел быстрым шагом к речке.

— От людей-то, может, и утаишь, да от бога-то не утаишь! — закричал ему в спину Чика и поспешил за ним следом, чтоб разом кончить разговор.

Пугачев круто повернулся к Чике, тот остановился в трех шагах от него, посверкали друг на друга глазами, как обнаженными саблями.

— Я точный государь, Петр Федорыч. Всю правду говорю тебе со истиной. А ты раб мой подначальный! — запальчиво прокричал Пугачев, ударяя себя кулаком в грудь.

Чика, всячески сдерживаясь, твердил свое:

— Я Караваеву Денису клятву принес, чтобы в тайности держать... Ну так вот и тебе, батюшка, клянусь, уж ты верь мне. И какой ты есть человек, — донской казак или нет, велика ль мне в том корысть?

А раз мы приняли тебя, батюшка, за государя, стало — и делу конец, стало — так тому и быть.

Голос Чики был теперь с дрожью, искренний, на глазах навернулась влага. Пугачев вплотную приблизился к нему и, собрав всю внутреннюю силу, молвил:

— Ну, Чика... Своими речами в пот ты меня вогнал... Только молчи, только, чур, молчок... Слышишь, Чика? Пускай умрет это в тебе. Чуешь? Христом-богом заклинаю... А то и твоя и моя голова с плеч покатится. Да и только ли это одно. Думки мои сердешные, розмыслы загинут. Ну, сядем давай, потолкуем. (Они сели на луговине.) Фу... И сам не знаю, чего со мной... — Его била лихорадка, зубы стучали, белки глаз пожелтели, задергался живчик возле левого виска. — Поведаю правду тебе... Знай: я есть донской казак Емельян Иванов Пугачев.

Он поднял глаза на тяжело дышавшего Чику, полагая, что тот, обозленный, вскочит с бранью, плюнет ему в бороду и, бросив его, уйдет. Но, к немалому изумлению Пугачева, бронзовое, мужественное лицо Чики, обросшее черной клочковатой бородой, грустно улыбалось, а насмешливые, наглые глаза выражали теперь дружелюбие.

— Вот спасибо! Вот благодарим! — радостно выкрикивал он, подымаясь. — Нам все едино — что хлеб, что мякина... Петр так Петр, Емельян так Емельян... А казачество за тобой пойдет... Пойдет, пойдет! — Он был крайне возбужден, переступал ногами, подергивая плечом.

— Как ходил я по Дону да по разным городам, — говорил повеселевший Пугачев, — везде, брат Чика, толковали, что Петр Федорыч жив и здравствует. И мыслю я, Чика, сгрудить великую силу да Москву взять. Войска-то там нетути, на войне с турками солдаты...

— А ежели, ваше величество, вы и не завладеете Московским царством, — сказал, захлебываясь, Чика, — так мы с вами сделаем на Яике свое царство-государство.

— Вперед заглядывать нечего, — сказал Пугачев. — А я от тебя, Чика, не потаю: о том, что я про-

стой казак, еще трем людям открыл — Шигаеву, да Караваеву, да Пьянову.

— Эх, ваше величество! — Чика уже не слушал Пугачева. — Выпить бы на радостях... Душа горит!

— Погодь, погодь, друг... Тому время не приспело еще.

Легли спать без костра, укрывшись потниками и бешметами. Чика сразу захрапел. Взволнованному Пугачеву не спалось. Он потрясен был столь неожиданным оборотом дела. После объяснения с Чикой он сразу почувствовал себя бодрее, неумелое притворство, что он царь, связывало его свободу по рукам, по ногам. И это тяготило его. Так пусть же не он, не Емельян Пугачев, а ближайшие его сотоварищи вводят в заблуждение народ именем царя, он же пред народом и пред избравшими его в цари казаками будет прав, он будет чист душой.

Ночь была в звездах, темная и тихая. Пахло полынью, увядающими травами, сухой землей. Слышно, как стреноженные лошади хрупают траву, пофыркивают, неуклюже переступают на трех ногах по луговине.

В смятенном сознании Пугачева толпились беспорядочные мысли, образы. Жена, ребятишки, множество знакомых и незнакомых лиц, старец Филарет, Еремина Курица, старый бомбардир с прусской войны Павел Носов, и Ванька Семибратов, и Перешиби-Нос, и тот пьяный солдат, которого он выставил из воровской кибитки в городе Казани, и конокрад воевода, которому он выбил зуб, и какие-то бабы-молодицы, вроде Катерины, заигрывали с ним. Весь народ кланялся ему и называл... великим государем.

«Ай, дурачки, ай, дурачки вы, детушки... И пошто вам государь?» — нашептывал Пугачев, хлопая во тьме бессонными глазами, затем начал рассуждать сам с собой полным голосом, затем встал и, прикрыв храпевшего Чику своим зипуном, направился к речке, ходил взад-вперед вдоль берега, говорил, говорил, в задумчивости останавливался, ерошил густую шапку волос, швырял в степь вызывающие выкрики, с силой

ударял себя в грудь сжатыми кулаками. И снова зачинал ходить вперед-назад, вперед-назад.

Голова горела, мозг воспалялся, — слышались ему громы пушек, барабанная дробь, и кони скачут, и виселицы воздвигаются, и пожаром объято все кругом.

Пугачев таращит безумные глаза, всей грудью выдыхает: «Ух ты!» — и бежит к речке, пробует рукой дремотные струи, — вода холодна. Припав на колени, он до плеч погружает в воду кудлатую голову.

Степь молчит, караулистое дерево не шелохнется, неколебимая вечность безмолвно проплывает над землей, сменяя ночь на день, сбрасывая прах ночной в бесконечную череду столетий.

ГЛАВА XII

«Не ради себя, ради черни замордованной положил я объявиться». Клятва

1

Утром над степью появилось солнце. Стали в балке, крадучись, разводить огонь. Чика присмотрелся к Пугачеву, покачал головой.

— Э-э, да ты, ваше величество, седеть зачал. Глянь, в бороде и на висках у тя...

— Ну? С чего бы это? — буркнул Пугачев.

— Да кой тебе год-то будет?

— Тридцать пять...

— Молодой ты, — любовно сказал Чика. Пугачев как-то сразу стал ему родным и близким.

— Глянь, двое конников! — вскричал Пугачев и кивнул к востоку, где верстах в четырех от стана ленивой рысцой двигались всадники.

Чика живо поймал лошадь и без седла вмах полетел им напересек.

— Стой! Куда вы, ребята?

Оба казака остановились.

— Сайгаков промышлять едем. А ты откуль?

— А вот поворачивайте коней, айда к дымку. Там человек нас ждет.

— Кто такой?

— Великий государь Петр Федорыч, — крепко сказал Чика и, насупив брови, со строгостью взглянул на казаков.

Те изумились («откуда быть в степи государю»), но перечить не посмели, да и любопытство одолевало их.

Пугачев, завидя приближавшихся, быстро надел новые красные сапоги, медным гребнем расчесал волосы и бороду, разбросал ковром нарядный намет, положил шитую бисером подушку, сел и подбоченился левой рукой. Не доезжая до него, всадники вместе с Чикой соскочили с лошадей, чинно приблизились к Пугачеву, низко поклонились ему.

— Ваше императорское величество! — браво гаркнул Чика, сдернув шапку с головы. — Дозвольте доложить! Это двое наших казаков, Чапов да Кочуров.

— Куда путь держите? — кивнул казакам Пугачев.

— Да вот сайгачишек пострелять собралися.

— Ну нет, други мои. Уж раз вы встретились со мной, так уж не уходите от меня. Я государь ваш... (Казаки переступили с ноги на ногу, переглянулись.) А ежели вы замыслите убежать, бойтесь... Как вступлю в городок, велю повесить вас.

Казаки с внутренней неохотой повиновались.

Вскоре приехал из города Тимоха Мясников. Улучив минуту, Чика отвел его в сторону и поведал разговор свой с Пугачевым. Тот не особенно удивился, подумал и, таясь, сказал:

— Наше дело маленькое. Царь или не царь он — да-кось наплевать. Войско захочет, так и из грязи сделает князя.

— Проворства и способности, я примечаю, с избытком в нем. Опять же с норовом он, видать... Горазд люб он мне, — сказал Чика.

— А нам чего же боле надобно? — рассудительно промолвил краснощекий Мясников; он был предан начатому делу искренне и бескорыстно, стал деятелен, отважен и сноровист. — Мы его за царя сочтем. А уж он за это постарается для нас... Так ли, Чика?

— Так, так, Тимоха... Только, чур-чура, великая тайна это...

— Дурак ты какой... Башка-то у меня одна ведь.

После обеда Чика поехал на хутора Кожевниковых да Коновалова попросить снеди и палатку для царя. Утром вместе с Чикой в царскую ставку прибыли Сидор Кожевников (младший из братьев), старик Василий Коновалов и еще четыре казака. Разбили Пугачеву палатку, а сами, десять человек, жили под открытым небом с неделю. Впрочем, деловитый Мясников то и дело гонял в городок.

На другой день приехал Михайло Кожевников. Его сомнение в «батюшке» ловко разбил Чика. Теперь Михайло слепо верил, что Пугачев есть царь.

Емельян Иванович считал Михайлу Кожевникова человеком бывалым (в Питер ездил), для дела полезным и пригласил его в свою палатку.

— Не наезжали ль к тебе, Михайло, какие люди с розыском?

— Нет, батюшка, ваше величество, все благополучно... Когда же вы, батюшка, объявитесь?

— А когда войско на плавни соберется, тогда уж...

— Не знаю, батюшка, — подумав, сказал Михайло, — ведь туда старшины понаедут и казаки послушной стороны. Пожалуй, вас принять не согласятся.

— А тогда мы всех казаков послушной стороны перевяжем и со славой в городок войдем.

— А ведь там, в городке-то, Симонов-комедант с регулярным войском да с пушками. Пожалуй, не допустит вас.

— Не допустит, и не надобно. Тогда мимо пройду, на Русь пробираться стану.

— А с кем же на Русь-то пойдете?

— Так полагаю, люду разного огромно много пристанет ко мне. — А ежели малое людство будет, скроюсь опять. Ведь мне не надлежало еще показываться год семь месяцев, да кровь печенками стала спекаться во мне, как увидел я на Руси, что народ-то простой терпит. Ах, бедные вы, несчастные детушки мои... Ведь не ради себя, *ради черни замордованной положил я до сроку объявиться.* Ведь пришел я к вам

на отеческую и вашу славу, други мои. А уж сам я царствовать не стану, чего-то не нравится мне царствовать, а возведу на царство Павла Петровича, сына моего. Ну, а начальство во всяком месте сменю, губернаторов, да воевод, казнокрадов, да взяточников, да душегубов всех вон! И по всей Руси казацкое устройство заведу. Чтобы солдат и духу не было.

Так изложил Пугачев программу своих действий.

Приехал Иван Харчев поклониться государю полведром водки.

— Ежели бог допустит, мы, ваше величество, головы за вас положим и послужим вам... — сказал он.

— Благодарствую. Вы меня побережете, детушки, и я вас поберегу.

Морщась от дыма, расторопный Тимоха Мясников варил в овраге похлебку из баранины, мешал в котле крутую кашу с салом. Чика кромсал астраханские селедки, арбузы, хлеб, накрывал под деревом ужин прямо на земле.

За ужином Пугачев восседал на почетном месте. Он в набойчатой чистой рубахе и пестром халате — дар старика Василья Коновалова. Михайло Кожевников вытряхнул из торбы несколько оловянных чарок. А одну серебряную, с орлом, купленную им в Питере, он подал Пугачеву.

— Ишь ты, государственная, — улыбаясь, сказал тот. — Благодарствую.

Иван Харчев, глотая слюни, вытащил затычку из дубового бочонка и налил всем хмельнику [1].

Пугачев взял чарку с орлом, поднял ее и громко провозгласил:

— Здравствуй я, надежа-государь, Петр Федорыч Третий!

Все поднялись с места и во весь голос закричали:

— Быть здорову тебе, отец наш! На многие лета здравствовать... — и выпили.

Этот первый заздравный тост и публичное признание казаками Пугачева царем своим прошли торжественно и чинно.

---

[1] Хорошо очищенная водка.

Собравшиеся, особливо сам Пугачев, ясно почувствовали, на какой опасный подвиг они обрекают себя, в какую мучительную неизвестность бросают свою жизнь. У всякого в этот большой момент не раз перевернулось сердце и застыла в жилах кровь: но дело сделано, возврата нет! Борода Пугачева тряслась, он смахнул пот с лица. Резко прокаркал пролетавший ворон. Казаки проводили его тревожными взорами.

— Присядьте, господа казаки, — кивнул Пугачев; он хотел бы показать фасон, но ни вилок, ни ножей не было, он взял кусок селедки рукою и, снова вспомнив трудные господские слова, сказал:

— Я приобык на фуршетах есть, чтобы саблея да вестивал, а вот довелось же...

— Уж не прогневайся, батюшка. — И Харчев налил по второй.

— А теперь давай выпьем в честь всемилостивой государыни, — невпопад проговорил старик Василий Коновалов.

— Не гоже за нее пить, — строго остановил его Пугачев. — Катька в беду меня ввела. — Он поднял вторую чару, возгласив: — Здравствуй, наследник мой, Павел Петрович!

Все закричали в честь наследника «ура», выпили. Прежде чем выпить чару, Пугачев всякий раз крестился. Становилось шумно.

— Эх, хороша беседа, да подносят редко, — шутил веселый Чика.

Пугачев замигал, отвернулся, вытер халатом набежавшую слезу, с горечью в голосе сказал:

— Разрывается, разрывается отцовское-то сердце мое... Ох, и жаль мне Павла Петровича, нарожонное детище мое, шибко жаль... Спортят там его, сердешного...

Казаки притихли, с умилением и любопытством взирали на своего царя, изливавшего родительские чувства.

Горячий, неуравновешенный Зарубин-Чика глядел на Пугачева во все глаза, шептал, как во сне:

— Господи помилуй... Да ведь он — царь, да вот ей-богу же он всамделишный царь Петр Третий...

2

Спустя два дня в Яицком городке решались вопросы первостатейной важности. Шигаев, Зарубин-Чика, Мясников, Караваев, еще илецкий казак Максим Горшков темным вечером сидели без огня в бане. Они прослышали, что до коменданта Симонова дошли кой-какие вести о таинственных событиях.

— Ну, братцы, таперя уши-то пошире надо держать, а рот-то поуже, — вполголоса сказал Чика.

Эта пятерка в последний раз совещалась пред началом дела, признать ли Пугачева за царя?

— Раз такой слух в народе издавна утвердился, что Петр Третий жив, — заговорил, покашливая, длинный Шигаев, — значит, казаков надо к тому склонять, что есть он истинный царь. А обличьем, сказывают, смахивает на покойного императора, и человек, кажись, расторопный.

— Проворства в нем хоть отбавляй, казак смышленый, — заметил Чика. — И сильный, черт... Под ним малодушная лошаденка на четыре колена раскорячится...

— Я полагаю, братцы, признать его, — сказал Тимоха Мясников. — А ты как, Денис Иваныч?

— Я в полном согласье, — ответил Караваев.

— А ты, Горшков?

— Да чего про меня толковать, я не спячусь. А спячусь — убейте, — басистым голосом проговорил безбородый, как скопец, Максим Горшков.

В тесной бане каганец погашен, лишь в каменке раскаленные угли золотились, красноватые отблески мягко ошаривали напряженные лица казаков.

Умный Шигаев, мазнув пальцами по надвое расчесанной бороде и покашляв, неторопливую, дельную речь повел:

— Ну, други, не единожды советования промежду нас были, и, видать по всему, домыслили мы принять на себя почин к объявлению войску Яицкому, что рекомый Пугачев есть истинный и природный царь Петр Федорыч. Стало, *отныне мы берем объявившегося государя под свое защищение и ставим над собой властелином.*

Все притихли, едва переводили дыхание. Складные, значительные слова товарища глубоко западали в душу, пьянили кровь.

— А кто из нас сему воспротивится, того смертию казнить, — гулко добавил Максим Горшков.

— Это верно, — подтвердили все, — чтоб страх среди нас был за дело наше общее.

— Слушай дальше, казаки, — помедля, сказал Максим Шигаев. — У нас, на Яике, жизнь нынче учинилась трудная, и удовольствия никакого мы от Петербурга не получили. Так ли, братья казаки? И злоба неутолимая на толикую несправедливость завсегда крылась в нас и доныне кроется. А вот теперь время приспело и случай удобный в руки нам пал. Стало, приняв государя, мы чаем, что будет он восстановителем изничтоженных прав наших, вольностей наших и обрядов дедовских, *а бар и всяких господишек, кои в сем деле больше всего умничают, он с корнем истребит силою народною...* Да он, батюшка, и сам такожде мыслит, он, батюшка, с очей на очи сказывал мне сие. Опричь того, я чаю, что сила наша умножится и приумножится от черни, коя тоже вся вконец разорена.

Совет закончился обоюдною клятвою и целованием креста, который был захвачен с собою предусмотрительным Караваевым. Все пятеро облобызались друг с другом, говоря: «Бог нам в помощь... Дай-то господи... Либо головы положим, либо здоровы будем и во счастии. И ты будь здрав, государь Петр Федорыч!» Взволнованные казаки роняли слезы, но тьма скрывала эти их слезы от них самих.

3

Петербургским ставленником, комендантом Симоновым, были пущены в народ соглядатаи. Они толкались по кабакам и базарам, прикидывались простачками или пьяными, пытались завести разговоры по душам, но казаки сразу узнавали их.

— Молчком, братцы... Высмотрень идет, сыщик комендантский.

Иной казак-запивоха и взболтнет что-нибудь в питейном и выкрикнет с угрозой:

— Погодь, погодь, скоро добрая учнется раскачка! Весь Яик на дыбы подымется...

Его хватали, волокли «еле можахом» в канцелярию, давали проспаться, а на допросе он, знай, одно твердил: «Ничего не помню, зря ума молол, гораздо пьян был». Ему вписывали спину, морили суток трое в каталаге и ни с чем выбрасывали.

Коменданту полковнику Симонову крайне нужно было знать, где скрывается преступный человек, принявший на себя имя покойного государя, и кто те злоумыслители, которые укрывают самозванца? Но казаки столь крепко спаяны и молчаливы, что Симонов никак не может залучить в свои сети хотя бы одного предателя-доносчика. Даже приведенный сюда из Малыковки арестант Еремина Курица не смог дать нужных о Пугачеве сведений. Симонов выходил из себя, посылал во все стороны розыскные отряды, но толку не было.

Меж тем партия Пугачева не дремала, молва о царе шла теперь по городку между степенными людьми более открыто. Старый казак Плотников, пригласив к себе соседа казака «середовича» [1] Якова Почиталина, вел с ним разговор.

Василий Якимыч Плотников пользовался всеобщим уважением, к нему стекались все новости и часто приходили казаки за советами. Его дом не богат, но гостеприимен. Старик жил со своей старухой и внуком Васькой, а сын был убит в прошлогоднюю усобицу.

— Великие милости нам царь обещает, — говорил Плотников. Он благообразный, бородатый, с большой лысиной и крючковатым, как у филина, носом. — Как ты думаешь, следует ли нам принять его?

— А как же не принять, Василь Якимыч, — почтительно ответил старику пожилой усатый Почиталин. — Ведь житьишко наше день ото дня гаже.

---

[1] Средних лет.

Пришел на огонек молодой казак Сидор Кожевников, поздоровался со стариками, отвел хозяина к печке, зашептал:

— По важному делу к тебе, Василий Якимыч.

— Да ты не таись. Почиталин — свой человек.

Сидор взглянул в открытое, большеусое, со впалыми щеками лицо Почиталина и, присев на лавку, обратился к хозяину:

— Государь требует, Василий Якимыч, как можно постараться о хорунках. Не поможешь ли, Василий Якимыч? Мы искали, да...

И не успел он досказать, как явился краснощекий Тимоха Мясников и стал тоже говорить о знаменах.

— Да еще государь наказывал голи разных цветов купить, да шелку, да галуна. А денег не дал. А у меня за душой хоть бы грош.

— Денег я собрал, — ответил хозяин и полез в сундук. — Я десять рублев собрал, кто два, кто рубль пожертвовал. Хватит поди. — Он вытащил из сундука матерчатый сверток.

— Ну-ка, держи, Тимофей, давай размотаем.

Два огромных войсковых знамени, старых и потрепанных, сероватого и синего цвета протянулись от стены к стене.

— Да откуда ты это, Василий Якимыч? — воскликнули трое гостей и восторженно заулыбались. — Ведь это наши, войсковые...

— Они, они, — ответил хозяин, лысина его блестела, борода шевелилась от самодовольной улыбки.— Как есть они. Государыней жалованные войску. Это мне один детина притащил. Как убивали генерала Траубенберга, казак Дроздов спроворил из войсковой избы стянуть.

— Государыня — войску, а войско государю их пожалует! — И здоровяк Тимоха Мясников захохотал.

— Ну, а батюшка-т не собирается в городок прибыть? — спросил Почиталин.

— Нет, — ответил Мясников. — Я об этом толковал государю, он сказал: «А пошто я к ним воровски поеду? Пущай-ка лучше войско пришлет ко мне выборных своих, старичков либо середовичей, тогда, го-

ворит, я усоветуюсь с ними о дальнейшем. Да еще, говорит, всенепременно письменного человека добудьте мне, чтоб с бумагой явился, с чернилами». Вот что молвил батюшка.

Казаки помолчали, подумали. Ни Плотников, ни Почиталин, разумеется, не знали, что «батюшка» не царь, а такой же простой казак, как и они.

— Слышь-ка, Яков Митрич, — обратился хозяин к Почиталину, — чего нам долго грамотея-то искать? Посылай-ка к государю Ивана своего... Чего лучше.

Глаза Почиталина горделиво заблестели, он подергал длинный серый ус, сказал смиренно:

— Да поди молод для этаких делов мой Иванушка-т... Правда, голова-то золотая у него и книжки многие с отрочества читывал, а чего он в государевом деле смыслит?

— Брось, брось! — посыпались на него подзадоривающие восклицания. — Царь не станет с него строго взыскивать. Парень натореет живо, а в почете-то будет в каком... Ого!

Морщинистые щеки Почиталина-отца вспыхнули. Потупив глаза в пол, проговорил:

— Что ж, ежели ваш совет да его усердье будет, благословлю сынка, благословлю.

В этот миг раздался резкий стук в закрытое ставнями окно. Хозяин крикнул:

— Васютка знак подает... Лезь, приятели, в подвал, хоронись! Знамена, знамена хватай с собой! — и погасил огонь.

Закрыв за ними люк, перекрестился и, нервно вздрагивая, вышел на улицу. Поздний вечер был. Медленно вдоль улицы, направляясь к его дому, шел патруль. Солдаты громко разговаривали, смеялись, их объемистые короткие трубки попыхивали сквозь сутемень огоньками и дымили.

— Есть в доме кто чужой? — спросил Плотникова старший.

— Никого нетути... Свои только.

— Не ждешь ли царя, старик? — крикнул седой капрал с косичкой и захохотал.

— Окстись, служивый, — продрожал голосом пе-

репуганный Плотников. — Отродясь не слыхивал. Какой такой царь? Откудов он?

— Тебе о том лучше знать, — на ходу сказал капрал. — Кое-кто у нас на примете имеется из ваших. — И патруль, удаляясь, растаял во тьме.

Плотников проводил их ненавистным взором, постоял, подумал, поблагодарил притаившегося у ворот внучка своего Васютку, что караулит хорошо, и хотел уже домой идти, как вдруг показался из-за угла пьяный старшина Мартемьян Бородин. Этот богач, из-за плутней которого разгорелось кровавое дело яицких казаков, распоряжением Петербурга снова был восстановлен в своих правах. За самостоятельный характер Плотникова, за смелые его речи на войсковых кругах Бородин считал старого казака личным своим врагом.

— Стой, казак!! — заорал он, когда Плотников повернулся было к калитке. — Руки по швам! Пред кем стоишь?

Плотников вытянулся.

— У тебя, старый черт, сборища бывают!.. Царя, сукины дети, ждете!.. Я вам покажу царя!.. — Бородин развернулся и ударил старика в ухо.

Удар был крепок. Плотников покачнулся, сквозь стиснутые зубы замычал от боли, в голове звон пошел.

Васютка громко заплакал, побежал в дом.

Тучный Мартемьян Бородин напирал на старика грудью, сжимал кулаки, собирался еще ударить. Плотников пятился.

— За что ж бьете, ваше высокоблагородие, меня, старика? Побойтесь бога... — с горьким укором сказал он.

Мартемьян Бородин, запыхтев, еще раз с силой ткнул казака жирным кулаком в лицо и с грязной руганью зашагал дальше. Из разбитого носа Плотникова потекла кровь. Не вытирая ни слез, ни крови, Плотников вошел в дом.

— Вот, приятели, смотрите, как нашего брата сволочные старшины за верную службу потчуют, — жаловался вылезшим из подполья казакам.

— Да кто тебя? Матюшка Бородин, что ли?

— Он, брюхатый боров, он!

— Эх, и дураки мы, ребята, не зарубили его, дьявола, когда растатурица была, — сказал Тимоха Мясников. — Да еще дождется. Быть ему на пике!

ГЛАВА XIII

«Здравствуй, Войско Яицкое!»

1

Пред полковником Симоновым в комендантской канцелярии стоял колченогий отставной казак Кононов.

— Как получил сведения сии? Показывай, — звонко приказал узкоплечий Симонов с большим шрамом на щеке. — Писарь, заноси.

— Во избежание новой смуты... — опираясь на клюшку и покашливая, робко начал Кононов. — Ко мне... это самое... пришел, значит, мой крестник, как его... Петр Кочуров, в сильном во хмелю. Во избежание смуты молвит мне: «А вот, говорит, крестный, слухи, говорит, ходят о царе... как его... быдто царь проявился под Яиком». Я, конечно, на крестника загайкал: «Ой ты, говорю, пьяный дурак. Откудов сии посоромные речи слышал?» Он говорит: «Да Мясников Тимоха брякал мне, токмо никому не приказывал сказывать...» А я возьми да и спроси крестника своего: «А где же, мол, этот проходимец, этот царь упомещается?» А крестник говорит... как его... что, мол, «где-то на Усихе... То ли на Усихе на речке, то ли на кожевниковских хуторах...» Сам пьяный, это верно... Может, и врал все с пьяных глаз... А во избежание смуты, вашескородие... надо бы... как его... проверку тому месту произвесть.

Тем временем выехали к Пугачеву депутаты войска — Кузьма Фофанов и Дмитрий Лысов. Чтоб отвлечь подозрение, они правились поодиночке и в разное время, сначала в Сластины зимовья, принадлежавшие Мясникову, в десяти верстах от городка.

А сам Мясников еще ночью прибыл в это место и поджидал казаков.

Фофанов всегда пользовался доверием товарищей, а юркий Лысов, избежавший, подобно Шигаеву, наказания за бунт, был у бедноты в подозрении. Человек сравнительно зажиточный, смекалистый и настойчивый, он прямо к горлу с ножом пристал к Тимохе Мясникову: возьми да возьми меня к «батюшке». И до того Мясникову надоело, что тот скре́пя сердце взял его.

Но дело сделано, и все трое отправились из Сластиных зимовьев в стан Пугачева. Сутулый, небольшого роста, Лысов, пошевеливая козлиной бородкой на треугольном сухощеком личике, рассказывал разные побаски, беспечно хохотал.

Ну до чего нахрапист этот дьявол Митька!

А вот и караулистое дерево, а вот и стан. Зарубин-Чика, верный страж царя, увидав вдали трех всадников, принял их за передовой отряд объездной команды, что по-казацки — эртаул. «Ах, черти, — подумал он, — придется в бой вступать, людей хватит у нас...» — И стал маячить пикою, что означало: «Не подходи, сопротивляться будем».

— Ха, пугает... Уж не батюшка ли это? — сощурив пронырливые глаза, закатился деланным хохотом сутулый Митька Лысов и, по озорству, тоже стал маячить пикой. Но дальнозоркий Мясников, узнав осанистого Зарубина-Чику, поспешил сделать на рысистой своей лошади беглый круг, что означало: «съезжаются не враги, а товарищи». Такой же ответный круг сделал и Чика.

— Детушки, бегите скорей к старикам, примите коней от них с честию, — приказал под деревом Пугачев бывшим при нем Коновалову и Сидору Кожевникову.

У речки белела царская палатка. Возле нее горел костер, толпились вновь прибывшие к государю люди — казаки и четыре татарина: пожилой плечистый Идыркей Алметьев, прозвищем Идорка, его сын Болтай, еще Барын Мусаев, прозвищем Баранка, и еще старик Аманыч. Когда Фофанов и Лысов подошли, Пугачев приосанился, сказал громко:

— Здравствуй, Войско Яицкое! — и протянул им правую, вниз ладонью, руку. Те, низко наклонясь, облобызали ее. Лысов, мысленно смеючись, подумал: «Ручка навряд ли царская, этакой лапищей волков давить». — Пошто же вы, други мои, прибыли сюда? — спросил Пугачев.

— А прибыли мы в честь поклона вашему величеству, — степенно отозвался Фофанов. — Опричь того, хотелось ведать нам, в добром ли вы здоровье...

— Благодарствую. Я великий государь ваш Петр Федорыч. Поставьте меня на престол по-прежнему. Тогда по всей Руси державу казацкую сотворю, сниму с народа все тяготы, горькие слезы вытру, чтоб всякой душе вольготно жилось. А сюда призвал я вас, детушки, чтоб вы оповестили войско собраться ко мне скопом... — Пугачев нахмурил брови и потер ладонью лоб, ему хотелось говорить складно, веско, и чтоб не мужичья, не простая его речь была, а складная, как у царя, как у старца Филарета. «Эх, беда... в башке мыслей много, а язык-дурак не вырабатывает». — И я, значит, так порешил... Значит, высокие умыслы во мне царские такие... Повелеваю собраться казакам, сот до пяти, об это место в полной походной амуниции. Чуете, господа казаки мои верные? Также повелеваю великим моим царским именем оповестить войско ждать меня, государя, на первом же обеде[1]. С пятисотенным верным воинством своим я, великий государь, прибуду к ним.

— Навряд ли, надежа-государь, плавни-то у нас будут, — прервали его Фофанов и Лысов. — Как бы Симонов-полковник не отказал нам рыбу-то ловить...

Пугачев прищурился, посоветовался глазами с Чикой и, забрав в горсть бороду, раздумчиво проговорил:

— Хорошо... Хорошо... Да и не время, детушки, рыбу ловить... Это верно. Мы и на другую горазды

---

[1] Первый обед — первая остановка на кормовом месте, при выезде казаков из Яицкого городка на плавни; сюда со всех хуторов, со всех мест съезжаются казаки и присоединяются к общей массе.

ловлю, замест багров — пики, да ружья, да пушки картечами забьем. А рыба не уйдет. А все ваши протори я царской своей казной покрою.—Пугачев вдруг оживился, вскинул голову, взмахнул рукой: — И промыслил я, великий государь, идти с силой прямо в Яицкий городок. Якобы ведет царь не Яицкое, а Донское войско... Сие будет полковнику Симонову в страх, а нам во славу!

Казаки молчали. За спиной государя стояли подошедшие от костра четверо татар. Махалкой из конского хвоста Идорка усердно отгонял от государя налетавших шмелей и мошкару. Фофанов, кланяясь, сказал:

— Ваше величество, не сумлевайтесь... Мы о ваших приказах войско оповестим...

— Благодарствую. Да вот одежишку бы привезли мне, вишь сряда-то на мне какая, вот я весь тут, — ухмыльнулся Пугачев и потрепал заплатанные штаны. Даже чекменя [1] нетути.

— Ежели сыщем, привезем, — грубовато ответил Митька Лысов, он вконец разочаровался в «батюшке». — А то, верно, сряда-то у тебя не государева. Пожалуй, войско увидит в такой сряде, носом закрутит. — И Митька хихикнул.

Пугачев сверкнул на него глазами, Чика из-за спины государя угрожающе Митьке кулаком потряс.

Мясников раскинул на луговине два знамени. Пугачев, прищелкивая языком, полюбовался, сказал:

— Горазд огромные, да мало их, треба еще, — и велел каждое знамя разорвать на две части.

Лысов, Фофанов, Мясников уехали. Навстречу им попались молодой Иван Почиталин и старик Василий Якимыч Плотников, пожелавший скрыться от преследований избившего его старшины Бородина.

Перед поездкой к государю Почиталин-отец трогательно проводил своего сына:

— Служи, служи, Иванушка, делу казацкому. А занадобится, и живот свой за святое дело положь...— И отец поцеловал сына в пушистые льняного цвета кудри.

---

[1] Чекмень — военный казачий кафтан, мундир.

Пугачев отдыхал в палатке. Широкоплечий Идорка, увешанный кривыми ножами и кинжалами, стоял у входа. Старик Плотников и Почиталин Иван слезли с лошадей, подошли к палатке.

— Стой,—прошептал Идорка и предупреждающе помаячил им рукой. — Бачка-осударь спать легла...

— Не сплю! — крикнул из палатки Пугачев. — Кто там? Входи!

Старик и юноша, войдя в палатку, опустились на колени пред сидевшим на чурбане возле маленького столика Пугачевым. Столик — четыре вбитых в землю кола, сверху, замест досок, натянут потник из кошмы. На столике взрезанные арбуз и дыня. Пугачев выплюнул семечки, бросил в угол обглоданную арбузную корку, вытер об рубаху руки, усы и бороду, и протянул для целования правую руку. С волнением припав к руке, старик Плотников сказал:

— Вот, ваше величество, сей детина шибкий грамотей, казак наш яицкий, Ваня Почиталин.

— Гарно, гарно... Будешь писать по моему указу, молодец, — с чувством особого удовольствия сказал Пугачев, окидывая внимательным взглядом долговязого, с голубыми глазами, краснощекого юношу.

— Я ведь, ваше величество, пишу больно худо, — боюсь, не потрафлю вашей милости,—робко, срывающимся голосом проговорил Почиталин.

— Ништо, ништо, потрафишь... Служи, молодец, я не оставлю тебя...

— Буду стараться, ваше величество, по край ума своего. А это — вот вам, извольте, носите оное во здравие. — И Почиталин подал Пугачеву новый зеленый с золотым позументом зипун, шелковый кушак, бешмет подержанный да с бархатным верхом мерлушковую шапку-трухменку.

— От кого же это прислано мне?

— Сей срядой я вашему величеству кланяюсь, — сказал молодец.

— Благодарствую, — проговорил, улыбаясь, Пугачев, поднялся, стал встряхивать зипун с золотыми позументами, — ах, добер, горазд добер, — и натягивать его на себя; зипун в плечах трещал,

2

Между тем Тимофей Мясников приехал в городок домой, чтоб сшить себе сапоги и снова мчаться к Пугачеву. На него с плачем набросилась жена:

— Вот, доездился, толсторожий дурень. Чего глаза-то вылупил? Ищут тебя! Ой ты, горюшко наше... Замест тебя, проклятущий ты дурак, брата Гаврилу твоего сцапали.

Мясников разинул рот, схватился за голову: «Загибло дело, пропал государь, погоня будет». Забыв про сапоги и ни слова не сказав жене, он побежал к приятелю казаку Лухманову, схоронился у него на подволоке под крышей и послал хозяйскую девчонку разыскать Степана Кожевникова.

Тот быстро прибежал на зов.

— Степа, друг, — выдавливая из себя слова, заговорил расстроенный Мясников. — Дуй само скоро на Усиху, уведомь «батюшку», мол, Мартемьян Бородин ловить его выступил в поход. Поспешай, Степа, а то всем нам неминучая погибель...

Рано поутру Степан Кожевников примчался на хутор своих братьев. Старик Шаварновский сказал ему, что его брат, Михайло Кожевников, вчера вечером схвачен розыскным отрядом Бородина и уведен. Степан Кожевников, проскакавший всю ночь, вяло выслушал и, едва не падая от усталости, поплелся в сарай, чтоб хоть чуточку поспать.

— Что ты, в уме ли ты? — зашумел Шаварновский. — Мчи скорей на Усиху, а то все загинем...

Степан, пробурчав: «Шибко уморился я», — койкак превозмог усталь, окатил голову ключевой водой и мигом выехал в стан «царя».

Широкоплечий, статный, тонкий в талии, Пугачев в новом наряде был неузнаваем. Сверкая на солнце золотыми позументами зеленого зипуна, лихо надвинув на густые брови бархатную шапку-трухменку, он важно прохаживался по луговине, рассуждая с десятком окруживших его людей.

Подскакавший Степан Кожевников закричал с седла:

— Чего же вы тут! Мясников приказал сказывать вам проворней убираться отсюдов... Старшина Бородин ищет вас, сюда спешит. Мишку зацапал, братейника моего...

— Казаки, нá-конь! — раздалась немедля команда Пугачева.

Все в момент оседлали лошадей, бросили палатку с провиантом и, под водительством Чики, пустились по реке Усихе вскачь.

Эта внезапная тревога была напрасной, скорой опасности не предстояло: старшина Мартемьян Бородин с арестованным Михаилом Кожевниковым возвратился в Яицкий городок.

Допрос, длившийся четыре часа, чинил сам полковник Симонов. На все вопросы: где Мясников, жил ли у них на хуторе злодей, именующий себя царем, куда он скрылся, — Михаил Кожевников сначала ответил отказом, затем, после истязания плетьми, открыл, чтó знал.

Полковник Симонов живо отправил на Усиху, где караулистое дерево, отряд из тридцати казаков под началом двух сотников и сержанта с приказом схватить «злодея» и всю его воровскую шайку (Симонову еще неизвестно было имя самозванца, он называл его «злодей»).

...Проскакали вмах верст пять. Вдруг Чика заполошно крикнул:

— Стой! — и, обратясь к ехавшему рядом с ним Идыркею, бросил: — Глянь, высмотрень хоронится...

— Адя-адя! — И татарин с Чикой помчались к кустам, где, припадая к коню, старался спрятаться наездник.

Вместе с Пугачевым все остановились, с горячим любопытством наблюдая за погоней.

Вскоре показались Идыркей с Чикой. Татарин вел на аркане приземистого, простоволосого человека, одетого в зеленый ватник. Он был пьян или притворялся пьяным, шел пошатываясь. Его круглое, щекастое лицо бессмысленно улыбалось, хищные рысьи

глаза смотрели на поджидавших его всадников с наглостью.

— Это писаришка симоновский, ваше величество, — сказал Пугачеву Ваня Почиталин. — А ране-то он Матюшке Бородину служил. Из богатеньких, бедности не мирволил. Теперя пропил все, забулдыга...

Идыркей снял с него петлю и, держа в руке наготове кривой нож, ждал приказа.

— Сколько тебе, Иуда, высмотрень проклятый, Симонов-то платит за предательство твое? — зашумели казаки.

— Много... А вам, братцы казаки, заплатят того боле, — буркнул высмотрень. — Эге ж, да тут много вас, голубчиков... Степка Кожевников, Ванька Почиталин, Кочуровы братейники, Плотников, старый черт, Чика... Эге ж! Ну, и погуляет же по вашим спинам плетка... Не отвертитесь, голубчики...

— Молчи, козье вымя, Иуда, леший,—заругались казаки, сверкая взорами. Старик Плотников судорожно ухватился за рукоятку сабли.

— Эге ж... А это что за чучело? Кабудь не нашинский, — мотнул высмотрень круглой головой на Пугачева. — Э-ге-ге-е-е, так вот вы какого вора царем-то своим... Хватай его, господа казаки, прощенье примете!..

И без того угрюмые брови Пугачева сдвинулись, в широко распахнутых глазах засверкали огни, он наехал конем на прощелыжника, раздельно спросил:

— Кто вор?

Тот открыл рот и в страхе попятился от всадника. Сделалось необычайно тихо, все как бы омертвело вокруг.

Сдерживая гнев в груди, Пугачев снова повторил:

— Кто вор?

— Ты вор! — с пьяной отчаянностью выкрикнул предатель и, обомлев, быстро-быстро посунулся назад.

Со свистом сверкнула в воздухе кривая сабля. Пугачев с такой неимоверной силой рубанул предателя, что у того кисть вскинутой руки и круглая рысья голова отлетели прочь.

— Гга-а-хх, — гулко раздалось вокруг, и казачьи груди сразу во всю мочь задышали.

— Убрать падаль! — приказал Пугачев.

— Да чего, батюшка, ваше величество, убирать эту стерву-то, — весь трясясь, проговорил Чика. — Его, гада, сей же ночью волки слопают... Дозволь, батюшка, сабельку твою в порядок привести. — Он осторожно взял из рук Пугачева блестевшую на солнце саблю, с усердием вытер ее о полынь-траву, затем о полу своего чекменя и, низко поклонясь, подал Пугачеву.

Опять все двинулись вперед. Скакали молча. Казаки только переглядывались друг с другом да, таясь, показывали глазами на Пугачева. Да-а-а, они не промахнулись: «батюшка» на согрубителей, на поперечников мирских — лют. Он, свет, сумеет народную силенку в своих могутных руках держать. С этаким можно вершить немалые дела. Жить да быть ему, долго здравствовать!

Пугачев тоже не проронил ни слова. Бурная вспышка гнева постепенно затихала в нем.

Проскакав от стана верст десять, Пугачев предложил путникам свернуть в степь.

— Ой, бачка-осударь, пошто нам степями колесить, хурда-мурда делать, а езжай в хутор Толкачев, там и людей, борони бог, много нахватаешь, — сняв с головы малахай, почтительно советовал государю крепыш Идорка.

— А ты?

— Моя татарским кибиткам пойдет, наберу людей, выезжать буду на дорогу, вас выжидать. Как побежишь в городок, и мы к тебе всем гамузом пристанем.

Кони стали в круг, Пугачев посредине. Держали совет, что делать.

Чика, пошептавшись с Иваном Почиталиным, сказал:

— Идорка дело толкует. Нужно пробираться к Толкачевым хуторам. Может, там и верно народ есть — казаки войсковой руки, да и новые подойдут.

Тогда на городок пойдем с ними. А нет, — на Узени ударимся, там место скрытное, камыш.

— А вы как полагаете, Кочуровы? — И Пугачев раздумчиво перевел на братьев глаза.

— Да так же, как и Чика, — ответил Кузьма Кочуров.

К нему присоединились опрошенные Василий Коновалов, Сюзюк Малаев и другие. Пугачев сказал:

— Мало ли, много ли людей соберется к нам на Толкачевы хутора, а идти на Яицкий городок не миновать. Коли удача будет, супротивников в городке перевяжем. А нет — врассыпную кинемся, кто куда. Как, Чика, по-твоему?

— По-моему, ваше величество, лишь бы в городок нам подступить, оттудов перебегут к нам многие, кои у Симонова на примете, ведь он цацкаться не будет с ними, живо порубит головы...

— Стало, едем к Толкачевым, нехай так, — решил Пугачев, и все двинулись рысцой на Толкачевы хутора, что в ста верстах от городка Яицкого.

Чика был прав: полковник Симонов не дремал, Симонов по всему городку разыскивал Тимофея Мясникова, Коновалова, Чику, старика Василья Плотникова.

3

— Вот мы к народу правимся, — сказал на привале Пугачев, — надо бы чего-нито письменное люду-то объявить. А ну-ка, молодец Почиталин, напиши само хорошо, посмотрю — мастер ли писать.

Иван Почиталин с трепетом повиновался. Из торбы, где были всякие письменные вещи и книжонки, он достал бумагу, медную чернильницу и гусиное перо, отошел в сторону, раскинул на луговине бешмет, лег на него брюхом и, перекрестившись, принялся за работу.

Мысли распирали разгоряченную голову парня. Он был толков, не по годам своим вдумчив, он много слышал стариковских разговоров об утраченной казацкой вольности, о том, как было бы чудесно жить,

если б было у казаков то, да это, да вот это. Впрочем, Иван Почиталин сейчас выскажет в бумаге, чего ждет народ, он с большой ясностью и сам понимает чаянья сирых людей. Да и сам «царь-батюшка» в дороге много толковал, только вот как бы поскладней, да покудрявей, да чтоб рука проклятая не дрыгала... ишь пляшет...

Пугачев со свитой, не расседлывая коней, не разводя костра, чтоб приготовить пищу, очень долго стояли молча в отдаленье.

Подойдя к Пугачеву и поклонясь, Иван наконец подал ему бумагу. Все уткнули носы в письмо, дивились четкости почерка, кудряшкам, завитушкам; Пугачев, нахмурясь, шевелил губами, затем сказал:

— Хорошо пишешь, горазд, горазд. Будь секретарем моим.

— Это — манифест, ваше величество... Вам подписать вот тут надлежит. — И секретарь обмакнул перо в чернила.

— Что ты, что ты, молодец, — смутившись, отмахнулся Пугачев. — Мне руку свою до самой Москвы не можно казать. — Он провел быстрым взглядом по напряженным лицам казаков и счел нужным добавить веско: — А почему так, в оном есть великие причины, коих уму простому ведать не подобает. Только одно скажу: где рука, там и голова... Чуешь, секретарь? Подпиши замест государя сам.

Почиталин, поклонившись, подписал; Пугачев, бережно сложив бумагу, сунул ее за пазуху.

В полночь, в сентябрьской темноте, прибыли на Толкачевский хутор. Местность тут удобная: степь, перелески, речка. Здесь много казачьих хуторов, разбросанных то тут, то там. Хозяина не было, радушно встретил гостей хозяйский брат, Петр Толкачев. Чика отвел его в сторону и сразу атаковал:

— Государь требует, чтоб все живущие здесь казаки собрались поутру сюда. Иди, Толкачев, объяви соседям...

Уставшие, все улеглись спать на сеновале, но Чике не до сна. Он знал местность хорошо; долго вышагивал чрез густую тьму по хуторам, проваливался

в ямы, натыкался на изгороди, нагайкой отбивался от собак, будил хозяев, объявлял:

— Завтра утречком собирайтесь, братцы, на Толкачевский хутор. Великий человек там вас будет ждать, а кто такой — узнаете. Коли доброй жизни хотите себе, не зевайте, казаки.

Так ходил он от хутора к хутору, пока не изнемог.

Рано утром 16 сентября к дому Толкачева подошло до полусотни казаков, калмыков и беглых русских крестьян. Их пустили в дом.

В небольшой горнице, в переднем углу под образами, сидел принаряженный, важный видом Пугачев. А возле него, в некотором отдалении, не шелохнувшись, стояла свита. Вошедшие с жадным любопытством пялили глаза на «великого человека» и на свиту.

— Опознайте меня, детушки, — негромко сказал им Пугачев.

Тут выдвинулся Чика и с жаром заговорил:

— Солнышко красное нам засияло, приятели казаки, белый свет в незрячие очи вошел: с нами сидит-присутствует сам государь Петр Федорыч Третий!

Толпу охватила оторопь, удивленье, страх. С улицы под окнами кричали вновь пришедшие:

— Выходи, покажь нам, кто есть великий человек!.. Эй, Чика... Пошто суприглашал нас?

Тогда все вышли на улицу. Горело солнце. Воздух ядрен, пахуч, щеглы хлопотливо оклевывали в палисадах спелую рябину, пели петухи, крякали жирные утки, медленно плыли сквозь «бабье лето» дымчатые паутины, а над ними, в заоблачной голубизне, с прощальным курлыканьем раскидистым углом тянули к югу журавли.

Пугачев невольно взбросил к небу голову, со щемящей, ударившей в душу тоской взглянул на вольную стаю любезных сердцу птиц: «Вы вот улетаете, а я, кажись, в силки попал», — но, поборов мгновенное смущенье, смело вошел в круг народа.

— Я истинный государь ваш Петр Федорыч Третий. Верьте мне, детушки. Я жив, а не умер. Вот я пред вами весь тут. А замест меня похоронен другой, схожий со мной обличьем. Так богу угодно было и

добрым людям. Служите мне верой и правдой, я вас у своего царского сердца стану держать... Жалую вас всей вольностью, жалую я вас, великий государь, морями, травами, землей, рыбой, жалованьем добрым... Вы первыми в моем царстве будете. Я между миру бывал, повсюду хаживал. В странствиях своих самовидцем я был, сколь тягостно чернь живет, сколь люто мучают ее баре-господишки... Опричь того, уведомился я про ваши великие обиды... — Пугачев уставился в землю, покачал головой и, вздохнув, возвысил голос: — Да, да, детушки, правда говорится: когда настоящего пастыря не станет, народ погибает начисто. А вот я, государь ваш, защищу вас и покараю нещадно всех супротивников ваших, уповайте на меня!

Все как один повалились на колени.

— Послужим тебе, батюшка, послужим до последнего издыхания! Всем народом под свое защищенье тебя возьмем! — выкрикивал воодушевленный люд. У многих катились слезы. — Повелевай, отец наш!

Две молодицы принесли из часовни старозаветную икону. Началась чинная присяга государю. Всяк, от мала до велика, с усердием целовал икону, в безмолвии земно кланялся царю.

— Теперя, детушки, отправляйтесь по домам. Объявляйте по форпостам и где люди есть, что я, государь ваш, тут. А завтра, сев на коня, с пикой в руках, при сабле, при ружье, при полной парадной амуниции, быть вам коло меня. Кто не явится, рук наших не минует. С изменником я крут.

— Твоя воля, батюшка!.. Присягали тебе. Рабы твои по гроб.

4

На другой день вооруженные собрались всадники. К Пугачеву еще примкнули казаки двух форпостов — Кожехаровского и Бударинского. Всего походных людей скопилось больше сотни. Сияющий Пугачев сел на рослого гнедого жеребца, въехал в круг и приказал:

— Секретарь! Читай войску манифест...

Все соскочили с седел, обнажили головы и, по примеру Чики, подняли кверху правые руки. Иван Почиталин развернул бумагу и громко, не борзясь, стал выговаривать: [1]

— «Самодержавного амператора нашего, великого государя Петра Федаровича всероссийского и прочая, и прочая, и прочая. Во имянном моем указе изображено Яицкому войску: как вы, други мои, прежним царям служили до капли своей до крови деды и отцы ваши, так и вы послужите за свое отечество мне великому государю амператору Петру Федаровичу. Когда вы устоити за свое отечество, и ниисточит ваша слава казачья отныне и до веку и у детей ваших; будете мною, великим государем, жалованы казаки, калмыки и татары. И которые мне государю, амператорскому величеству Петру Федаровичу, винныя были, и я государь Петр Федарович во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершин и до устья и землею, и травами, и денежным жалованьем, и свинцом и порахам и хлебным провиянтом, я, великий государь-амператор, жалую вас.

Петр Федаровичь 1773 года сентября 17 числа».

Толпа ответила радостными кликами, полетели вверх шапки.

«Семнадцатый сентябрь, семнадцатый сентябрь,— лезло в уши Пугачева, он старался и не мог припомнить. — Семнадцатый сентябрь... Что бы это значило?» Но раздумывать не было времени.

— Нá-конь! — взмахнув рукой, скомандовал он. — Развернуть хорунки!

Пять разноцветных знамен, прибитых к пикам, запестрели в солнечном сиянии. На каждом знамени нашит белый восьмиконечный старозаветный крест.

Пугачев, за ним все — перекрестились.

— Вперед, детушки!—раздалась зычная команда государя.

Губастый горнист Ермилка проиграл в медный рожок. Впереди двигалась шеренга знаменосцев, за нею

[1] Манифест приводится с сохранением орфографии.

Пугачев со свитой, за ним — стройными рядами остальные. Бежали в отдалении женщины, старики и дети, взмахивали прощально шапками, платками и руками, крестили в счастливый путь, кричали: «Дай бог удачу! Господь вас храни!» — обильные утирали слезы.

Войско приняло путь на Яицкий городок.

Дорога была не пыльная, кони бежали рысью.

«А-а-а, вот оно что. Семнадцатый сентябрь... Да ведь моя Софьюшка именинница сегодня», — вспомнил наконец Пугачев.

Может быть, в этот миг вспомнила его и Софья. В родной Зимовейской станице уж несколько раз тревожили ее, то и дело таскали к станичному атаману, лазили в подпол и на подволоку, скрытую стражу возле ее хаты ставили, держали на уме: авось опасный беглец Емелька Пугачев домой вернется, авось им в лапы угодит. «Эх ты, шатун, шатун, Омельянушка, зернышко мое. Спокинул меня, сироту, с малыми ребятами», — шепчет, может быть, брошенная мужем Софья, а сама глядит чрез Дон, от церкви на холме, в сторону восточную, глядит и плачет.

Пугачев вздохнул, задумался, голова его поникла. Подметив настроенье государя, Чика подъехал с левой руки его, громко спросил:

— Не можно ли, ваше величество, песню вдарить?

Пугачев поднял на него пустые, отрешенные глаза и ничего не ответил. Тогда Чика моргнул курносому толсторожему парню с рыжим из-под шапки чубом:

— Ермилка, запесначивай!

Мордастый Ермилка откашлялся, ухмыльнулся, узенькие глаза его превратились в щелки, он поправил чуб, пошлепал губами и, чуть откинувшись в седле, высоким голосом запел:

Ты возмой, возмой, туча грозная,
Ты пролей, пролей, част-крупен дождик...

Казаки оживились, и стоголосая песня бурей ударила в степь и в небо:

На Руси давно правды нетути,
Одна кривдушка ходит по свету.

Взбодрился и Пугачев. Он знал эту песню и мастер был петь. Он хотел пристать к зычному хору казаков, но, подумав, что государю вряд ли подобает петь в трезвом виде, намеренье свое пресек.

По дороге прилеплялись к войску казаки из ближних хуторов, татары и калмыки. Рать росла.

А между тем давнишний указ графа Чернышева от 14 августа о поимке беглого казака Емельяна Пугачева, скрывшегося из казанского острога, был доставлен оренбургскому губернатору Рейнсдорпу с особым гонцом в начале сентября. В указе строжайше повелевалось: разыскивать беглеца в пределах Оренбургской губернии, «особливо Яицкого войска в жилищах», а поймав, заковать в крепкие кандалы и «за особливым конвоем» отправить в Казань.

Губернатору Рейнсдорпу была совершенно непонятна столь великая тревога Петербурга по поводу бегства какого-то там жалкого острожника: сбежал, и черт с ним; их многие тысячи таких... Раздраженный Рейнсдорп ответил в Петербург в Военную коллегию, что всяческие меры приняты были, но, к сожалению, беглец не обнаружен.

По злой иронии судьбы Рейнсдорп подписывал этот свой рапорт 18 сентября 1773 года, как раз в тот день, когда Пугачев, легко овладев Бударинским форпостом, подходил к Яицкому городку.

А поиски меж тем с обычной волокитой продолжались в пределах губерний Оренбургской и Казанской, а также по станицам Войска Донского.

Но напрасно ищут бродягу Пугачева: чванному Петербургу еще не скоро будет ведомо, что бродяги Пугачева нет и духу на Руси, а есть под именем Петра Федоровича III грозный вождь восставших — Емельян Иванович Пугачев.

Волею народа он есть и — действует!..

СОДЕРЖАНИЕ

Емельян Пугачев

Книга первая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Шишков
Вячеслав Яковлевич
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ 6

Редактор *З. Кондратьева*
Художественный редактор *А. Лепятский*
Технический редактор *С. Розова*
Корректоры *Р. Пунга* и *Д. Эткина*

Сдано в набор 25/IX 1960 г.
Подписано к печати 2/II 1961 г.
Бум. 84×108[1]/32=24 печ. л.=39.36 усл.
печ. л., 37,1 уч.-изд. л. Тираж 180 000 экз.
Зак. 1820. Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.